
ЕВГЕНИЙ
САЛИАС
СОЧИНЕНИЯ


ЕВГЕНИЙ
САЛИАС
СОЧИНЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ САЛИАС



СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ



ЕВГЕНИЙ САЛИАС



СОЧИНЕНИЯ
ТОМ ВТОРОЙ

На Москве

(Из времени чумы 1771 г.)

Исторический роман
в четырех частях



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1992

ББК 84Р1
С 16

Подготовка текста и комментарии
Ю. БЕЛЯЕВА

Художник
Г. КЛОДТ

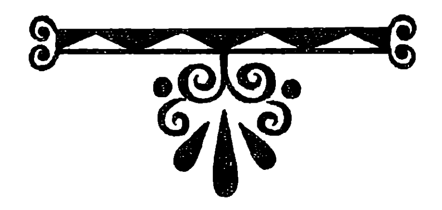
С $\frac{4702010101\text{-}182}{028(01)\text{-}92}$ без объявл.

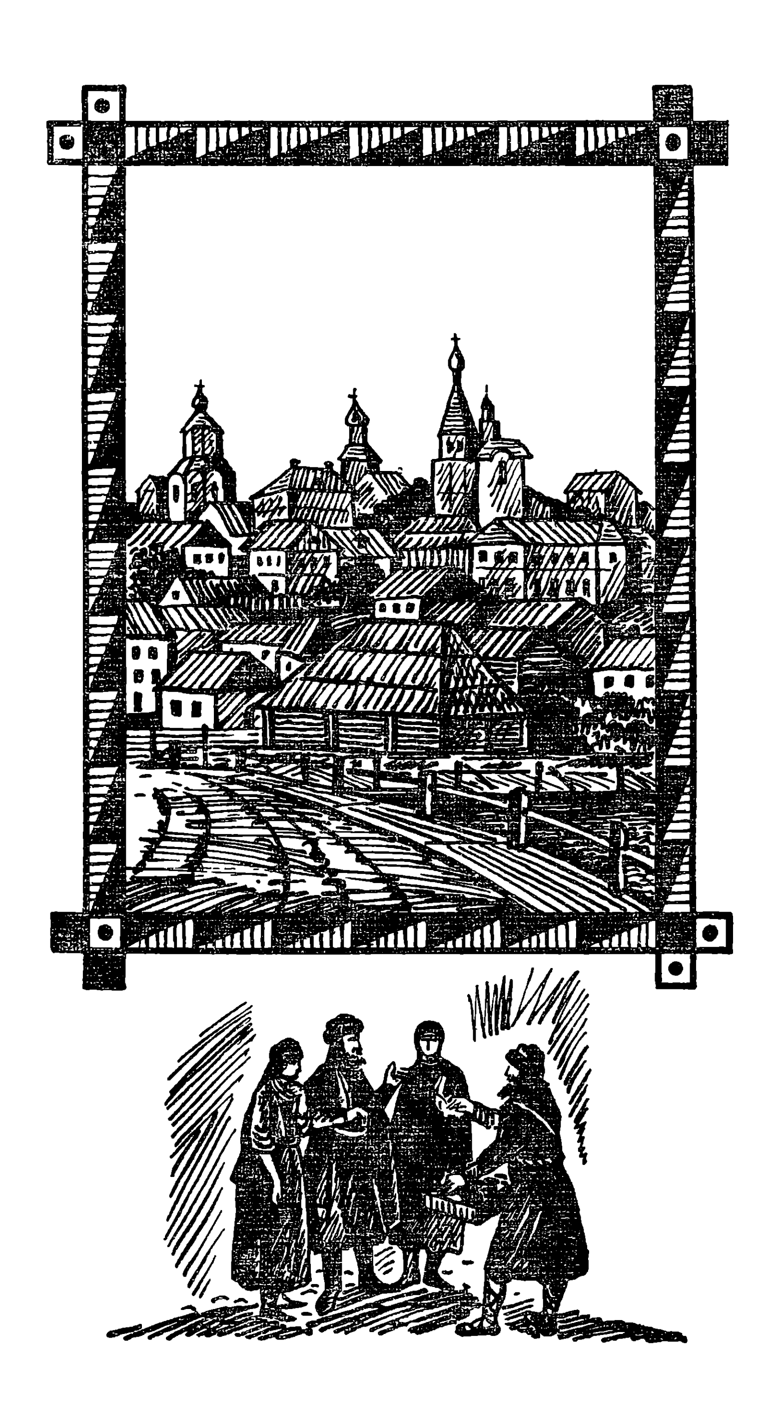
ISBN 5-280-02674-3 (Т.2)
ISBN 5-280-02673-5

НА МОСКВЕ

(Из времени чумы 1771 г.)

Исторический роман
в четырех частях







... Грех наших ради на Москве и слободах помирают многие люди скорою смертию!..

(Из донесения князя Пронского)

...La femme en amour — est esclave ou despote!..

Vauvenargues [1]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Екатеринин день, 24-е ноября 177 * года. Морозное, ясное утро. Солнце поднялось на безоблачном небе и засияло над серебряными сугробами, в которые увилась вся святая Русь. На небе солнце яркое, лучистое, золотое; на земле тоже яркие, лучистые снега и снега без предела, будто золото с серебром побились об заклад, кто кого переспорит, кто кого затмит. И этот начинающийся светлый день — праздник большой для всей Руси, и Великой, и Малой, и Белой; этот день царский — именины великой Государыни. День прогульный, день с обедней и с молебном в храмах, со всякой суетой, катаньями в городах, с песнями и хороводами по селам и весям.

В 13-ти верстах от Москвы по Коломенской дороге, рысцой бежала пегая лошаденка, а за ней прыгали по ухабам крестьянские розвальни, и в них сидел бочком молодой парень. Он тоже пегий в своем пестром тулупе с ярко-белыми заплатами. Полспины, плечо и правая рука ярко-белые из новой овчины, левое плечо постарше, серое, замасленное, годовалое, а грудь вся черная, ей пятый год пошел.

Пегий парень и пегий конь оба спешили скорее добраться до матушки-Москвы.

— Нынче Улю увижу!! Улю увижу!..— повторяет парень и мысленно, и вслух.

Для него, видно, весь мир Божий — Уля!

---

[1] Женщина в любви — рабыня или деспот! *Вовенарг (фр.).*

А конек, верно, тоже мечтает: авось в Москве овсеца увижу!

Молодой парень уже третьи сутки в пути. Он выехал из родного села, из-под Рязани, в первый раз от роду. На селе недавно всем миром положили на сходке мужики избавиться от парня-бобыля и, взамен маленького клочка землицы, приходившейся на его долю и который всем миром у него оттягали, дали ему лошаденку, санки, один рубль денег, краюху хлеба, две охапки сена для коня — и спровадили.

— Куда хошь ступай!..— было ему напутствие.— Ходи по оброку, плати не плати,— черт с тобой, лядащий!— только с глаз долой сгинь! Хоть миром за тебя оброк уплачивать будем, только бы нам с тобой развязаться, не видать тебя на воле во веки веков. Порченый!..

И парень-бобыль, по имени Ивашка, отвесил всем поклон,— особливо прощаться ему было не с кем — и, сев в санки, пустился в путь, в Москву.

«Уж коли ехать куда,— думал он,— так вестимо в Москву». Там прежние господа живут, которые его село года с три тому назад продали. Там же и Уля, единственный человек на свете, который Ивашку любит, не считает лядащим и порченым и которую Ивашка тоже до страсти любит.

Ивашка не опечалился, что его всем миром вытурили из родного села. Он слыхал, что в городах, особливо в Москве, хорошо живут.

Ивашка знал, что ему нигде особенно хорошо не уживется, потому что он воистину Богом обиженный, лядащий, порченый, ни на что не годный. Вот уже 20-е года ему пошли, а он ничего сделать не умеет, всякое дело у него вверх ногами выходит: все-то он испортит или, занятый своими дурацкими мыслями, все проворонит; ахнет потом, а уж дело испорчено.

И чуден тоже уродился парень... Так, со стороны посмотреть, пригожий, смирный, ласковый, вина в рот не берет, богомольный. Даже страсть как любит и уважает все божеское, т. е., стало быть, церковное.

И вот теперь силком, по приговору мира, едет в Москву. Чуть свет выехал с последнего ночлега, и лошаденка начала приставать.

Хоть и недалеко до Москвы, а, видно, придется отдохнуть среди дороги, остановиться, дать лошаденке клочок сенца и самому поглодать ломоть хлеба, оставшийся от краюхи, взятой с села.

Между тем дорога оживилась. Попадалось навстречу все больше народу, пешеходов, богомолок; обозы тянулись, шли целыми кучками хорошо одетые люди. Видно, близ столицы народу сытнее живется. И не видать Москвы, а чуешь, что недалеко до нее, глядя на кожухи и зипуны и бабьи платки пестрые...

Проехал Ивашка большущее село, каких еще ни разу не видал с самой Рязани, и дорога пошла в гору. Лошаденка уже еле-еле ноги тащит. Ивашка решил, что, взобравшись на горку, делать нечего — надо будет остановиться.

Он вышел из саней, пошел пешком и поднялся в гору, глядя себе под ноги и раздумывая о своей заботе: что будет он делать в Москве? Глубоко задумался он, а сам все шагает около саней. Но вдруг попался ему прохожий. Ивашка будто проснулся, пришел в себя, поднял голову и ахнул во все горло. Ахнул парень, рот разинул, глаза выпучил и не знает, что и делать...

Перед ним вдали, направо, будто как на ладони, потянулось что-то такое... Господь его ведает! Диво дивное! Из конца в конец что-то большущее, дымчатое, сизое и все усеянное яркими золотыми пятнами, будто как ночью костры видать в поле.

Ивашка понял, что это и есть матушка-Москва. И страх его взял. Как туда теперь и въезжать?! Такой страх взял, что хоть сейчас садись опять в санки и поворачивай оглобли домой. Лошаденка тоже стала и будто тоже на Москву смотрит и тоже что-то думает. Верно, думает:

«А что сено? Как там оно?..»

Ивашка отвел санки в сторону дороги, где место было повыше, недалеко от двух берез. Живо выпряг он лошадь, поставил к саням, чтобы вычистила она сама все, что было там сенца, а сам сел на откос и стал, не сморгнув, глядеть на это диво дивное, что расстилалось там, внизу, как бы в облаке, меж краев земли и неба, в полублеске, полудыме.

Робость его прошла, и то диковинное чувство, которое так часто копошилось у парня на сердце и ради которого он и прослыл порченым, вдруг захватило его всего до косточек. Знал он его хорошо, оно-то и заставляло его всегда бросать всякую работу...

Оно-то и заставляло его вдруг вместо работы песнь затянуть, лихую или заунывную, душевную, и часто не чужую песнь, не ту, которую все на селе знают и распе-

вают, а свою, самодельную, со своими словами. Бог весть откуда на ум идущими.

После этого, бывало, всегда Ивашке вдруг, неведомо почему, сгрустнется; случается даже, что и слеза прошибает... Так, сдуру... И уйдет куда-нибудь он подальше, чтобы свои на селе не увидели да на смех не подняли. Бывало, что, забравшись в душу, это диковинное чувство начнет будто грудь распирать, растет и растет, будто задушить хочет, в мир Божий кругом будто оборотнем обернется, чем-то другим... Так, что иной раз в сумерки светло покажется, зимою в мороз — весной запахнет...

II

Громкий говор, крики, хохот и чей-то хриплый голос разбудили Ивашку. Он оглянулся.

В нескольких шагах от него стояли три мужика и баба, а перед ними, лицом к Ивашке,— худая, тощая, сгорбленная старуха, вся в лохмотьях, с длинной клюкой в руках. Мужики тешились, а она злилась, хрипела и клюкой грозилась на них.

Видал старух Ивашка, но этакой, почитай, отродясь не видел.

«Как есть ведьма»,— подумал он.

Прохожие мужики, смеясь, пошли своей дорогой, а старая, увидя Ивашку, подошла к саням.

Разглядев ее поближе, Ивашка и вовсе поверил, что это ведьма. Старая, беззубая, с провалившимся ртом, с маленьким, сморщенным и коричневым лицом, с мутными кровавыми глазами; седые лохмы выбились из-под платка; тощая, черная шея с руку толщиной, костлявые, длинные, как крючья, руки. Она приковыляла, злобно взглядывая на Ивашку, будто он чем-то обидел ее, и хрипнула, тыча клюкой вперед.

— На Москву сюда?

— На Москву,— вестимо, вот прямо по дороге.

— А ты не обмани, а то я тебе палкой...— прохрипела она.

— Чего обманывать, бабушка. Вот она, Москва-то.

— Где она? не ври! энти тоже врали: вон она... Где она? Пустая дорога... а бают: вон она!

— Да тебе Москву надо?

— Вестимо. Треклятую, будь ей пусто... провались она... Господь ее разрази! Растреклятая! ни дна б ей, ни

покрышки... Провалиться ей в преисподнюю,— злобно, почти задыхаясь, проговорила старуха.

— Что ты, бабушка, что так! Вишь, гляди, какая она! что храмов Божиих! вишь, какое от них сияние.

— Проклятая она! Проклятое место...— продолжала выхрипывать старая, и, подняв клюку, она яростно грозилась в воздухе.

«Ишь какая сердитая!— подумал про себя Ивашка.— Обожди, я тебя подвезу. Вот покормится лошадка, и поедем».

Старуха помолчала, поглядела Ивашке в лицо своими красными глазами, проворчала что-то сердито и, не сказав спасибо, села на край саней.

— Тебе что надо в Москве?— заговорил Ивашка.

— Алеха у меня там.

— Сын, что ли?

— А ты не озорничай,— побью...

— Вишь, какая! Ничего спросить нельзя.

— Надо, спешить надо! — ворчала старуха,— а то помрешь, так и не скажешь разбойнику... Не будет ничего знать, а это дело сам отец диакон все знает, когда солдат помирал, то при нем наказывал. Алехе все... Убью я его, озорника, разбойника!

И старуха опять подняла свою палку и опять стала грозиться.

«Ишь!— подумал Ивашка,— знать, из ума выжила».

— Да, спешить надо,— бормотала старуха,— ноне еще хуже... жгет... горит... Утрось легла, так среди дороги легла, думала — помираю... Разбойники!..

— Хвораешь, что ли?

— Хвораешь!— сердито отозвалась старуха, и одним движением злобным и быстрым она распахнула полушубок и платье. Ивашка, при виде ее обнаженной груди и плеча в пятнах и язвах, невольно отодвинулся от старой.

— И чего ка́жешь!.. Ну тебя совсем!— выговорил он.

И Ивашка вдруг осерчал на старуху и на весь мир Божий. Бурча со зла и бранясь, он заложил скорей лошаденку, впустил старуху в сани, сел на откос, поодаль от нее, и погнал лошадь рысцой.

Старуха начала тотчас подремывать и клевать носом, потом скорчилась, свернулась клубком, как собака, на дне саней и скоро лежала почти без признаков жизни.

«Знать, пристала старая, много верст, видно, ушла,— подумал Ивашка.— А ну вдруг померла, мертвое тело

ввезешь в столицу — прямо в Сибирь! Этакие старые, случается, помирают вдруг. И что это она, леший бы ее взял, казала? Чудная хворость... Экая гадость какая... Тьфу!»

Но скоро Ивашка забыл про свою старуху и глядел только вперед.

Народ уже шел по дороге кучами; возы, обозы, сани и дровни уже попадались постоянно. Строения большие и малые появлялись на каждом шагу. Ивашка все ждал, когда начнется Москва, и не знал, что Москва уже началась.

Наконец вдалеке показались по бокам два каменных дома, а среди дороги протянулся пестрый столб. Это была застава и рогатка.

Ивашка сначала даже и не понял, что это за притча. Загорожена дорога! Ну, как не впустят да велят повернуть оглобли домой!

Миновав рогатку без помехи и въехав в московские улицы, Ивашка в себя прийти не мог. Глаза у него разбежались на дома, на прохожих и проезжих.

Благодаря праздничному дню, на улицах было особенное движение.

Зазевавшись направо и налево, Ивашка даже забыл про свою старую ведьму, которая все так же без движения лежала в санях, и только проехав несколько улиц, он вспомнил, что не мешало бы облегчить санки.

— Эй, бабушка, бабушка! — начал он будить ее.— Проснись! приехали.

Но старуха не двигалась и не подавала никаких признаков жизни. Долго провозился с нею парень, остановил наконец санки и начал расталкивать ее.

Несколько прохожих подошли к ним и от безделья тоже стали будить старуху да расспрашивать Ивашку, откуда, куда и зачем он.

Наконец старая пришла в себя. Она огляделась мутными глазами и потом начала бурчать и браниться.

— Приехали!— кричал Ивашка.— Куда тебе надо?

— К Миколе,—отозвалась наконец старуха,—в церковь Миколы.

И на вопрос прохожих, к какому Миколе, так как их в Москве не перечтешь, старуха вспомнила наконец, что ей нужно к Миколе Ковыльскому.

Она поднялась из саней, злобно огляделась на всех, попробовала было идти, но зашаталась и села на снег.

— Аль ты хворая?— спросил кто-то, но старуха

разразилась бранью. Ивашка отвечал за нее, что она хворая! Бог весть, что у нее, только неродное.

— Уж ты довези ее до места; где ей, старой, идти? — сетовали Ивашке прохожие.

Делать было нечего; парень опять посадил старую ведьму и повез, внутренно недовольный обузой, которую взял на себя.

Расспрашивая прохожих, поворачивая по бесконечным переулкам, то вправо, то влево, часто путаясь и ворочаясь снова назад, парень наконец доставил старуху к церкви Николы Ковыльского. Опять пришлось растолкать и поднять задремавшую старуху. Она опять, с трудом выбравшись из саней, не сказала спасибо, а, снова ругая и Москву, и Ивашку, вошла на церковный двор.

Ивашка хотел было отъехать, когда целая толпа ребятишек окружила старую ведьму с клюкой, и поднялся такой веселый гам вокруг нее, что Ивашка должен был опять вылезать из саней и спасать старую от целой стаи буйных головорезов.

Старухе нужно было в дом просвирни. Найти, по счастью, было не трудно. Домик просвирни около колокольни оказался тот самый, к которому они подъехали

Когда старуха пошла в калитку, ворча и бранясь, а мальчуганы отстали от нее, Ивашка сел в свои сани и поехал.

— Слава тебе, Господи: развязался, — сказал он вслух, — вот этак-то всегда: свяжешься с кем-нибудь ради одолженья, а потом себе хлопот наживешь. И лошаденку-то заморил, бедную.

Действительно, пегий конь едва таскал ноги, а между тем приходилось разыскивать теперь дом прежних помещиков, где жила Уля.

III

Парень Ивашка и девушка Ульяна, его молочная сестра, прозывались когда-то в родном селе и во всей округе: мужицкие дворяне.

Тому назад 25 лет помещик капитан егерского полка, Борис Иванович Воробушкин, выйдя в отставку, купил имение около Рязани и поселился в нем. Вследствие скучной и однообразной жизни, сорокалетний холостяк помещик скоро и легко пленился до страсти одной 18-ти-

летней крестьянской девушкой, собственной крепостной. Девушка эта немедленно переселилась в усадьбу помещика, а через года два появился на свет ребенок — девочка, которую назвали по имени матери Ульяной. Борис Иванович стал тотчас подумывать о женитьбе на своей крепостной. Дело это было заурядное, и, кому ни заявлял бы об своем намерении Борис Иванович, никто не удивлялся. Но через несколько недель после рождения ребенка мать вдруг умерла при таких странных обстоятельствах, что в вотчину чуть не нагрянули начальство и суд.

Сама ли она отравилась или была отравлена — осталось покрыто мраком неизвестности. Во всяком случае, Борис Иванович страшно горевал и всю свою любовь перенес на крошечную девочку, носившую дорогое ему имя.

Маленькой Уле достали тотчас с села кормилицу, и не только все баловали всячески новорожденную, но даже ласкали и баловали до безобразия кормилицу, из страха неосторожным словом как бы не испортить молока ее. Вследствие этого баловства и обилия молока решено было и ее новорожденного сына Ивана тоже взять в дом и дозволить кормить обоих младенцев. Через несколько лет Уля и мальчуган Ивашка, молочные брат и сестра, жили оба в доме Бориса Ивановича, как бы собственные дети. И вдруг, как-то невзначай, неизвестно когда, присоединилось к ним и прозвище, на которые падок народ. Уля и Ивашка были прозваны «мужицкие дворяне».

Дети жили как голубки, обожали друг друга, и, по странной случайности, было в них даже что-то общее. Когда обоим минуло по 12-ти лет и они еще не знали, а только смутно начали было понимать от разных обмолвок дворни, что Борис Иванович Уле отец наполовину, а Ивашке совсем не отец, случилось вдруг нечто простое, но имевшее огромное для них значение.

Борис Иванович скоропостижно скончался! Месяц спустя приехал в вотчину вступать во владение всем имуществом брат покойного, офицер морской службы, Капитон Иванович Воробушкин. Его приезд в вотчину ждали все как бы светопреставления! Но все ошиблись: ничто в доме не изменилось. Капитон Иванович полюбил свою племянницу почти так же, как любил ее отец. Мальчуган Ивашка остался тоже в усадьбе. Капитон Иванович относился к нему хладнокровно, но, однако,

Ивашке жилось так же хорошо, как и прежде; его не обижали. Прошло так еще около четырех лет. Капитон Иванович переехал в город Рязань, вскоре же вдруг женился, и сразу все изменилось в жизни «мужицких дворян».

Парня Ивашку тотчас отправили из города на село к его матери, а 16-тилетней Уле, уже девице, а не девочке, житье стало трудно. Супруга Капитона Иваныча, Авдотья Ивановна, была полурусская, полунемка, известная в Рязани повивальная бабка. И прежде не отличалась она кротостью нрава, но, сделавшись вдруг барыней, вскоре начала так чудить, что не только Уле, но и самому Капитону Иванычу приходилось несладко.

Не прошло года после женитьбы, как Воробушкины, по настоянию Авдотьи Ивановны, уехали из Рязани в Москву. Авдотья Ивановна говорила, что настоящие дворяне должны жить в столице, что она желает обзавестись знакомством и жить по-барски.

Воробушкины переехали в Москву, а Уля была отправлена, несмотря на все просьбы Капитона Ивановича, к своей кормилице.

«Мужицкие дворяне» были снова вместе, но при совершенно иных условиях. После жизни в усадьбе с добрым Борисом Ивановичем, а потом с Капитоном Ивановичем им было теперь мудрено жить в маленькой, ветхой избенке кормилицы и помогать ей в работах.

Женщина добрая и умная считала, конечно, Улю барышней и не позволяла ей ничего делать, тем более что получала за это частые подарки от барина из Москвы. Зато Ивашке приходилось нести на себе много тягостей простого мужика, о которых он знал лишь понаслышке, когда жил в усадьбе. Уля могла помогать любимому брату только тайком от кормилицы. Через четыре года, после отъезда Воробушкиных, имение и крестьяне были очень дешево проданы, а племянница помещика, Уля, была вдруг вытребована к ним в Москву. Девушка не знала, радоваться ли этому. Ей чудилось, что не на радость поедет она. Досыта наплакавшись, молочные брат и сестра расстались.

Ивашка, оставшись один с матерью, сильно переменился. И прежде был он негоден на многое, что приходилось делать, а теперь окончательно прослыл за шального и порченого. Вдобавок женщина стала все более баловать сына-полубарчонка и делала уже сама все, что

следовало бы делать ему. Она и сеяла, и пахала, и работала и за себя, и за него. Но недолго длилась эта жизнь праздного шатуна Ивашки. Однажды, отправившись в крещенский мороз в соседний лесок тайком срубить ель на дрова, т. е. на порубку, женщина была поймана, высечена и сдана в городской острог. От всего происшедшего,— быть может, от перепуга, быть может, и от наказания розгами,— она заболела, сидя в остроге, и, прежде чем суд успел решить, что с бабой делать, она была уже на том свете.

В следующую за тем весну, когда начались посевы, Ивашка оказался вполне ни на что не годным. Он только и знал, что пел песни, отлично играл на балалайке или сидел по целым часам молча, о чем-то раздумывая и глядя на всех бессмысленными, будто мертвыми, глазами. Случалось тоже, что вместо работы он брал уголь, а то и просто макал руку в грязь и мазал по заборам, везде где случится, какие-то рожи, или зверей с ногами и хвостами, или Бог весть что.

Мужики Ивашку ругали, били, секли... но ничего не помогало.

Наконец, протерпев все штуки порченого парня, мир собрался и спровадил его... на все четыре стороны.

Судьба господ между тем за все это время несколько изменилась. Когда супруги Воробушкины переехали в Москву, то наняли большой каменный дом на Пречистенке, выписали много людей из своих двух вотчин, обзавелись как всем необходимым, так и всем тем, что только попадалось на завидущие поповы глаза Авдотьи Ивановны. Они зажили на широкую и барскую ногу.

В новых знакомых недостатка не было, тем более что Авдотья Ивановна, корчившая важную барыню, приглашая гостей, охотно и любезно всех кормила, поила и даже давала деньги взаймы.

Капитон Иванович вскоре же начал замечать своей супруге, что при их маленьком достоянии скоро не на что будет жить, но Авдотья Ивановна и слышать ничего не хотела.

Действительно, через год, два жизни в Москве они уже переехали на другую квартиру, поменьше первой, причем продали часть имущества и несколько человек из выписанных дворовых людей. Еще через два года Капитону Ивановичу пришлось продавать имение, полученное от брата, и у него оставалось только свое собственное — маленькое, бездоходное, степное. Еще че-

рез год Воробушкины переехали уже на Ленивку, в маленький мещанский домик.

После двух десятков прислуги у них оставалось теперь только две женщины и приходилось уже подумывать о продаже последнего степного имения.

Авдотья Ивановна не унывала и все по-старому тратилась всячески. На все доводы мужа она отвечала, что их достояния на их век хватит, но главная досада ее была в том, что по мере того, что они переезжали с одной квартиры на другую и продавали то, что имели, круг знакомых также уменьшался и изменялся.

Когда они явились в Москву, у них все-таки бывал кое-кто из видных лиц города; теперь же, по злобно-насмешливому выражению Капитона Иваныча, осталась у его супруги только одна приятельница, да и та вдова расстриженного попа.

На своей настоящей квартире, на Ленивке, Воробушкины уже жили теперь совсем на мещанский лад, перебиваясь оброком, получаемым из степного имения.

Авдотье Ивановне было обидно до зарезу, что приходилось жить попроще, и она стала изыскивать всякие средства доставать денег. Еще когда-то в Рязани, будучи повивальной бабкой, она слыла за женщину, у которой много разных сереньких дел и сереньких знакомств, помимо родильниц и новорожденных, и только такой добродушный и чистый душою человек, как Воробушкин, мог жениться на ней. Конечно, Авдотья Ивановна, теперь, после замужества, растолстевшая и обленившаяся, в то время была очень тонкая и бойкая женщина. Она тогда сразу поняла, что за человек дворянин Воробушкин, и в два месяца сумела его заставить на себе жениться. Теперь, протратившись в Москве, Авдотье Ивановне приходилось снова помянуть стариной и изыскивать окольные пути добывания денег.

Воробушкин чуял что-то нехорошее, но был, однако, еще не вполне уверен, что жена срамит его дворянское звание и имя. Капитон Иваныч был чистейшая и честнейшая душа, никогда не спускавшаяся вполне и не погружавшаяся без боли в дрязги житейские. Он вечно и пылко, по-юношески, витал разумом в таких пределах, которые были совершенно недоступны его супруге.

IV

Еще юношей, восемнадцати лет, Капитон Иваныч был отвезен отцом в Петербург и отдан в морской корпус. Как и почему попал молодой Капитоша в моряки, он не знал. Он стал учиться прилежно и скоро был выпущен унтер-лейтенантом во флот. Сражаться молодому Капитону, конечно, ни разу не пришлось, и он вышел в отставку тотчас по получении известия об «вольностях дворянских», дарованных государем Петром III. Но плавания, путешествия, хотя не далее берегов Швеции, сделали из Воробушкина такого человека, про которого говорили теперь, что он многое знает, многое видал и очень занимательный собеседник. Действительно, когда Капитон Иваныч рассказывал соседям по вотчине о Финляндии, о разных городах, имена которых его слушатели не могли даже сразу выговорить, не только запомнить, то соседи слушали, разиня рты, а сам Воробушкин чувствовал невольно свое превосходство перед многими другими дворянами. Сызмала Капитон Иваныч был из того же сорта людей, к которому принадлежали теперь его любимцы Уля и Ивашка. Он больше любил смотреть на небо, на облака и звезды, чем на землю. Он любил гулять по лесу, но не ради хозяйских забот, а ради собирания грибов. Он любил ходить по хлеборобным нивам, но тоже только затем, чтобы, нарвав пучок васильков, принести их домой и поставить в воду. В каком виде уродился его хлеб, он при этом не замечал и не любопытствовал даже заметить. Зимой, любя цветы, он заводил горшок с розаном, поливал его аккуратно и любил так же, как Уля, заведя зяблика или овсянку, ходить за ними, разговаривать с ними. Так же как Ивашка, любил он бывать в церкви, подтягивать на клиросе дьячку, ставить и поправлять свечки у образов, подавать кадило, носить образ или хоругвь в крестном ходу. И странное дело! Морская служба, дежурство на корабле в тихие, летние ночи, путешествия к чужим берегам, встреча с матросами и моряками разных стран света, выслушивания рассказов о дальних пределах, об Америке, Африке, Японии — все это еще более развило в Капитоне Иваныче и укрепило то неуловимое и неясное ему чувство, которое было теперь так чуждо его супруге. И немудрено, что, наследовав от брата вотчину, где оказалась Уля, он полюбил девочку тотчас за те наклонности, которые оказались в родной племяннице Уле,

уродившейся действительно в него, в своего дядю. А Ивашка,— который не был ни ему, ни Уле родней,— по счастью, оказался тоже их поля ягодой.

И первое время в вотчине покойного брата все трое зажили на славу. Ивашка любил песни и выдумывал свои собственные, пел их на свой самодельный лад. Уля не умела петь, но любила слушать песни. Капитон Иваныч проводил по два, по три часа, в особенности в сумерки, в саду, в том, что мурлыкал тоже какую-то странную песенку, которую он называл «шведским романцом».

По переезде в столицу на жительство Воробушкин зажил по-своему.

Капитон Иваныч знал всю Москву, и вся Москва знала Капитона Иваныча. Он очень любил знакомиться — привычка, оставшаяся еще от морской службы и путешествий. Он говорил, что всякий новый знакомый непременно расскажет что-нибудь новое. Действительно, у Капитона Иваныча, при его любознательности, была особенная способность из всякого выпытать все, что только возможно.

От самых именитых вельмож и до последнего дворника. Капитон Иваныч знал каждого в лицо, знал по имени, знал чуть не всю его подноготную. Когда он шел по Москве, то ежеминутно слышал около себя, направо и налево, привет и поклон, и всякий обращался к нему особенно любезно и ласково. Не было человека, которому бы Капитон Иваныч был не по сердцу. Добрая и честная душа его будто чуялась всяким в маленьких глазах его, в ясном лице, в улыбке, в голосе.

К довершению всего, Капитон Иваныч особенно любил услужить, одолжить, схлопотать всякому, елико возможно. Постепенно, незаметно для него самого, у Воробушкина явился такой громадный запас всяких знаний, что он иногда действительно удивлял некоторых знакомых. И эти знакомые, что бы у них ни случилось, всегда обращались к Воробушкину.

Священник не стыдился обратиться к Капитону Иванычу с вопросом, касающимся до религии, и Воробушкин, зная не только все церковные службы наизусть, но и прочитавший кой-какие священные книги, мог многое пояснить. Помещик спрашивал Капитона Иваныча насчет молотьбы или посева в заморских землях, и хотя Капитон Иваныч из всего заморского видел только один остров Гохланд, Свеаборг и Стокгольм, однако

отвечал кое-что и, ничего почти не понимая в российском немудреном хозяйстве, толковал об мудреном заморском.

Всякий прихворнувший из знакомых или заболевший опасно, приняв все меры, все-таки посылал к Капитону Иванычу спросить совета, и Воробушкин являлся вдруг в качестве медика и случалось, что вылечивал гораздо лучше, скорей, чем настоящий знахарь. Кузнец обращался к барину с вопросом о ковке лошадей. Дворнику Капитон Иваныч объяснял, какая метла или лопата лучше, как ее следует держать. И, в порыве увлечения и поучений (а Воробушкин все делал с увлечением), барин не стыдился взять вдруг метелку в руки и начинал для примера усердно мести улицу первопрестольной столицы. За этим занятием застал его однажды знакомый сенатор и перестал ему потом кланяться.

В подобных случаях Авдотья Ивановна выходила из себя и говорила, что муж позорит свое дворянское происхождение. Но Капитон Иваныч каждый раз на подобное замечание отвечал:

— Не тебе, чухонке, меня дворянскому обхождению учить!

Даже разносчики города Москвы, которых не только десятки, но даже сотни ежедневно и ежечасно проходили мимо ворот и окон дома Воробушкина, тоже застаивались с знакомым барином, толкуя с ним подолгу, советуясь насчет своего товара. И на всякий вопрос и всякое сомнение как важного вельможи, так и простого мужика, Капитон Иваныч мог дать неглупый совет, слышанный от кого-либо когда-либо.

Это происходило, конечно, от громадной его памяти; но Капитон Иваныч и не догадывался, что есть на свете такая особенная способность, называемая памятью, и что есть люди, у которых такой способности нет. Он думал, что во всякой голове все, когда-либо виденное и слышанное, непременно с пользой остается навеки.

Единственные люди, с которыми Капитон Иваныч не любил знакомиться и избегал, елико возможно, даже отчасти боялся, были подьячие, судейские крючки разных палат и коллегий.

Воробушкин даже додумался сам до того открытия, что подьячие — прямые потомки Иуды Искариота. Так как московские подьячие составляли нечто вроде особой касты, подобно духовенству, то Капитон Иваныч и мог прийти к этому предположению. Одного только не знал

он, и хотя спрашивал у многих священников, но добиться толку не мог, был ли Иуда Искариот женат и были ли у него дети, прежде чем он предал Христа и повесился.

Вопросы вроде этого, церковные и иные, особенно занимали любознательного Капитона Ивыныча. Иногда, додумавшись до чего-нибудь, он носился с своей мыслью целый месяц и передавал ее каждому встречному и каждому новому знакомому, и всегда кончалось тем, что вопрос так или иначе разрешался.

Капитон Иваныч и Авдотья Ивановна, почти с первого же года женитьбы, зажили, как кошка с собакой. Хотя Воробушкин был кроткого нрава, ладивший со всеми, но с такой особой, как его супруга, ладить было совершенно невозможно. Если когда он пробовал соглашаться со всем с женой и отмалчиваться, то все-таки и тогда были ссоры, потому что Авдотья Ивановна начинала придираться и к тому, что муж все соглашается и, что ему ни скажешь, все молчит.

— Вишь, умница какая! Петух сусальный! Словом подарить не хочет! — начинала браниться Авдотья Ивановна.

И действительно, супруга подметила верно. Воробушкин, в особенности когда надевал свой мундир, при своем маленьком росте, быстрый в движениях, с большими толстыми ногами, невольно смахивал чуть-чуть на тех петушков, вымазанных краской и сусальным золотом, которые продавались разносчиками на всех углах столицы.

Жизнь супругов шла особняком. Капитон Иваныч старался удалиться от бранчливой супруги всячески, а Авдотья Ивановна от зари до зари сидела у окошка квартиры — глядела на проезжающих и прохожих.

Сначала, в первый год жизни в Москве, она сидела у окна в позолоченном пунцовом кресле, расфранченная, в кружевах и бантах. Теперь же, в маленьком домишке на Ленивке, Авдотья Ивановна сидела у окна на рваном кресле, с двумя простыми спальными подушками за спиной, и уже не расфранченная, а по исконному российскому выражению — «растерзанная». Когда-то она считала для дворянки и офицерши необходимым вышивать что-либо бисером, и делала это, хотя не любила вообще никакой работы. Теперь же ей приходилось, глазея у окна на прохожих, вязать чулки и фуфайки уже по необходимости, ради продажи. За последний год, исключая ссор с мужем, Авдотья Ивановна почти не

сходила с своего места у окна. Сюда приносили ей утренний чай, здесь же она и умывалась, здесь и обедала, в разные с мужем часы.

Капитон Иваныч, с своей стороны, с утра уходил из дому и бродил положительно по всей Москве, по своим бесчисленным знакомым, и везде бывал принят с распростертыми объятиями. Всякий, при виде его, начиная с сановника и кончая купцом, священником, встречал его с искренним, внезапным восклицанием:

— Ах, Капитон Иваныч! — и в восклицании слышалось неподдельное довольство.— Ах, как хорошо, что зашли! Мне у вас спросить надо.

И знакомый тут же спрашивал что-нибудь, по-видимому, совершенно не касающееся Капитона Иваныча.

Вообще — зачем, как и в какой недобрый час дворянин Воробушкин женился на рязанской повивальной бабке последнего разбора и получухонке — было покрыто мраком неизвестности. Часто думала об этом Уля и вздыхала тяжело. Кабы не барыня — что бы за жизнь их была!

Между мужем и женой было так мало общего, что им случалось побраниться иногда даже из-за такого пустяка, который вовсе не касался их обыденной жизни. Так, однажды, отправившись летом, еще до приезда Ули, прогуляться на Воробьевы горы, Воробушкины запоздали там. Капитон Иваныч пришел в такое восхищение от вида на всю Москву, от Головинского дворца и сада и от всей прогулки, что, сладко улыбаясь супруге, чуть не первый раз с самого медового месяца, предложил посидеть еще часок лишний и полюбоваться видом, когда поднимется луна на небе. Авдотья Ивановна, давно изучившая мужа, все-таки невольно выпучила на него глаза.

— Что же мы тут будем делать? — спросила она.

— А вот, когда встанет луна,— прошептал, все улыбаясь, Капитон Иваныч с сияющими глазами,— да пойдет она по небу и начнет светить на нас, и на Воробьевы горы, и на Москву, то, должно быть, будет удивительно...

— Да что?

— Все! Все...

— Что удивительно-то?

— Да все же, все!..

Авдотья Ивановна закачала головой и, поняв нако-

нец, в чем дело, заговорила не только презрительно, но даже сожалеючи супруга:

— Ах ты шальной!.. Ах ты дура, дура!.. А еще помещик, офицер царской службы!.. Ведь это никакой парнишка деревенский, никакой крестьянский сопляк такой глупости не выдумает и не предложит. Сиди, вишь, до ночи на горе за пять верст от дому! Зачем? На небо да на луну посмотреть. Да разве она, дурак ты этакой, у нас-то не светит? разве ты ее из окошек не видаешь всякий день?

И слово за слово, благодаря особенному восторженному настроению Капитона Иваныча, которое вдруг разрушила своими словами его супруга, муж и жена страшно поругались на краю горы, в виду, так сказать, всей Москвы. Кончилось тем, что Авдотья Ивановна отправилась домой одна, а Капитон Иваныч, уже не ради наслажденья, а на смех жене, просидел на Воробьевых горах, голодный и холодный, вплоть до утра, а затем, вернувшись, объявил жене, что будет ей назло всякую ночь ходить на Воробьевы горы на луну глядеть. Часто вспоминал потом Воробушкин этот случай, но трудно было решить, кто из двух супругов был тут виноват.

Уля, по приезде, решила эту прошлую ссору супругов беспристрастно и справедливо.

— Вы сами, Капитон Иваныч,— сказала она,— совсем виноваты. Нешто можно такое предлагать Авдотье Ивановне? Мы с вами люди простые, нам и любопытно на луну, на звездочки любоваться, а нешто Авдотья Ивановна, занятая разными делами, может этакое делать?..

— Правда,— отвечал Капитон Иваныч,— и я дурак, что с ней, чухонкой, по сердцу разговариваю. А все ж таки скажу, прости мне Господь Бог, а я вот как чувствую... Всей душой чувствую... такое, чего она не смыслит! Я, Уля, сокол, а она свинья... Я это многим разъяснял, и все со мной согласны!

Авдотья Ивановна оставляла мужа спокойно болтаться по Москве и «галок считать», как она выражалась, но во всем, что касалось дома, хозяйства и их домашних дел, она не уступала мужу ни пяди, и все творилось по ее воле.

Таким именно образом за последнее время и было растрачено почти все состояние и было распродано почти все, что можно было продать. Капитон Иванович сердился, кричал, бранился, но все-таки кончалось тем, чего

желала супруга, и тогда Капитон Иваныч, махнув рукой, уходил из дому иногда на два, на три дня и не ночевал даже дома.

За год перед тем Авдотья Ивановна, распродавшая тех дворовых, которых привезла с собой, продала наконец и человека Василья Андреева, жившего у Воробушкиных много лет, и любивший его барин не мог ничего сделать.

И главная беда, главная обида Капитона Иваныча заключалась в том, что Авдотья Ивановна продала лакея в одни руки, господину Раевскому, а жену его, очень красивую женщину,— в другие руки, бригадиру Воротынскому, старому греховоднику, который купил Аксинью вовсе не в услужение.

Василий Андреев, прежде человек смирный и трезвый, стал пьянствовать и, уходя из дому барыни, погрозился, что он из-за нее в каторгу пойдет. Но Авдотья Ивановна была не из тех барынь, которых этим можно было испугать.

За последнее время у Авдотьи Ивановны явился новый план. Давно уже, около года, была у нее одна мысль, но, несмотря на свое презрение к мужу, она всетаки не решалась долго заявить об этом. Она чувствовала, что это намерение уже чересчур поразит мужа и поведет к целому ряду крупных ссор, а пожалуй, и больше того. Капитон Иваныч, пожалуй, Бог знает чего наговорит! План этот касался уже их мужицкой дворянки, т. е. красавицы Ули. Действительно, сказать об этой новой затее Капитону Иванычу было даже и для Авдотьи Ивановны несколько страшно.

V

24-го ноября солнце, сиявшее перед Ивашкой, ярко светило и в окошко беленькой горенки в мезонине небольшого серого дома на Ленивке... Весело, празднично льются и сияют золотые лучи чрез причудливые узоры, что разрисовал мороз на стеклах окошечка. Вся горенка была всегда светла, сама по себе от белой, без единого пятнышка, штукатурки стен и потолка, от нового белого пола, от кровати с белым, как снег, одеялом и белой кисейной занавеской. Теперь же, от яркого солнца зимнего, золотисто-красного, белая горенка блестит и светится как-то особенно чудно. Заглянуть бы кому-нибудь

в эту горенку, и он непременно, тотчас бы заметил, почувствовал, что не похожа эта горенка на другие! А что в ней такого особенного? Ничего!

Горенка эта вся белая, золотистым огнем горит в лучах солнца, которые будто играют, переливаются по стенам и на полу. У стены снежно-белая девичья кровать, несколько ясеневых стульев, маленький комодец под белой салфеткой, в углу киотик и четыре простые иконы без риз. Над ними свесилась старая верба от прошлого еще праздника; пред ними лампадка стоит, а около нее пузырек со святой водицей и вынутая просвира, сухая, потрескавшаяся, тоже полугодовая. У окна узорчатого столик и на нем корзинка. На окне клетка, и в ней серая кургузая пичуга попрыгивает от зари утренней до зари вечерней.

Вот и вся горенка — и все, что в ней есть!..

Да, но в ней еще в белом платье и переднике девушка Уля сидит перед столиком у окна. Вот от Ули, знать, вся горенка-то и имеет чудный вид. Уля — душа этой горенки...

Кажется, что, и не зная, можно было бы догадаться, что это горница Улина. Ее лицо, чистое, светлое, и взгляд ее больших ясно-серых глаз, и милая ласковая улыбка всякому сразу выдают ее душу, тоже ясную, чистую, добрую, и всю вот... как на ладони!..

Глянет Уля на нового человека — и кажется, будто глаза и губы ее, все лицо вечно-безмятежно радуются чему-то и будто говорят кротко:

«Нате!.. Вот я!.. Вся тут! Хотите — любите, хотите — нет...»

И новый человек невольно взглянет на Улю тоже весело и тоже кротко. И ему покажется, что он Улю давным-давно знает. И тотчас же новый человек догадается, что, однако, очень мудреного говорить Уле не надо и мудреного с нее взыскивать тоже не надо... А все то простое, и Божье, и человеческое, все то, на чем мир стоит, Уля лучше всех давно поняла, знает, чувствует! Как в ней самой, на душе ее ясно ей все и понятно, так и вокруг нее в мире,— тоже все ясно ей и понятно.

И Уля похожа, право, на свою горенку. Так же чиста, и бела, и светла она и лицом, и душой, как светла горенка. Как золотые лучи солнца проливаются теперь сквозь хитрые узоры окна в белую горницу, так же иной теплый и ясный свет, не всякому ведомый, проливается в душу Ули, когда она одна по целым часам сидит здесь

за столиком с работой в руках, а мысли ее тихо по миру бродят. И этот свет душевный не сияет ярко, не блещет, а будто тихо мерцает в ней, как лампада, и тихо отражается на ее губах, в кроткой улыбке, в ее безмятежном светло-сером взгляде.

— Славная она какая! — тотчас же говорит или думает про Улю новый человек.

Молодой глянет на нее и присмотрится еще, покосится так, что Уле иной раз надо поневоле глаза опустить... Старый глянет — повеселеет, будто старая душа встрепенется в нем... Злюка иная глянет на Улю и отвернется тотчас, как сова от луча солнечного, как грешник от иконы и лика угодника. А ребята большие и малые, от грудного младенца до большущего буяна и головореза, — все лезут и липнут к Уле, как мухи на мед. Взрослый подросток все ей свои затеи поверяет, а грудной младенец сейчас начнет приглядываться к ней, будто глядеться в свет ее глаз, надеясь увидать там то самое, что еще недавно знал... пред тем, что сюда прийти, в этот мир!.. И младенец, пристально вглядевшись в этот лучистый свет Улиных глаз, тотчас усмехнется, — для людей простовато, глупо, а на деле мудрено, хитро; будто, переглянувшись с Улей, поняли они оба такое, что другим людям неведомо и непонятно, про что они — себе на уме — одни с ней знают!..

Уля почти целые дни сидит здесь в своей горнице и шьет, покуда светло на дворе. Много дает работы Авдотья Ивановна... Конца ведь и не будет этой работе, потому что барыня не на себя, а чуть не на всю Москву шьет ее руками и поставляет всякое белье. Сидит Уля с утра до обеда, а пообедав, накинет на плечи шубку, выглянет за ворота на минуту, подышит морозным воздухом, пробежит по льду на тот берег Москвы-реки или до угла Пречистенки, иногда сбегает до церкви к знакомой просвирне на минутку, и опять домой. И такая же веселая, только румянее от мороза, вбежит по крутой лестнице в свой мезонин и опять сядет работать. Иной раз, однако, она долго держит шитье в одной руке, иголку в другой, — и обе руки лежат недвижно на коленях, а глаза ее устремились на любимца чижика в клетке и глядят ласково, как он прыгает, чиркает лапками по жердочкам, клюет семя и попискивает свою однообразную, немудреную, безобидную песню.

Уля любит своего чижика особенно потому, что ей кажется, будто его жизнь в клетке и ее жизнь в мезони-

не — та же самая — простая, одинокая, будто никому не нужная, ни миру Божьему, ни людям, ни себе самому. Сдается невольно, что и этому чижику, и Уле равно незадача какая-то на свете! И правда, чижик тоже удивительная пичуга. Точно его Бог чем обидел, и будто он покорно принял это, как бы неизбежное, заслуженное, и без попреков, смиренно покорился своей судьбе.

В этот день ясный, праздничный Уля все-таки сидела за работой, но ей было как-то не по себе, она тревожно поглядывала и прислушивалась вокруг себя. Внизу слышались громкие голоса барыни и Капитона Иваныча. Будто предчувствие чего-то сказывалось в Уле, и работа не клеилась. Все чаще оставляла она иголку и задумывалась, вспоминала последние слова и взгляды барыни — особенные, многозначительные, обещавшие мало добра, много худого...

Со всяким худом кротко, многотерпеливо и смиренно сживалась Уля, говоря:

— Видно, такова моя судьба.

Но за последнее время надвигалась страшная гроза на ее серенькую, скромную и безобидную жизнь, и Уля чуяла невольно, что даже при всем ее вечном смирении и покорности судьбе мудрено будет пережить эту грозу. Она чуяла, что Авдотья Ивановна и вдова расстриги обе затевают что-то...

Уля знала, что имущество Капитона Иваныча было формально передано когда-то жене по слабости характера, и теперь остатками этого имущества Авдотья Ивановна и по закону могла распоряжаться, как хотела. А Уля, по продаже рязанского имения, осталась за ними... Тогда Капитон Иваныч не захотел продать свою крепостную племянницу, а выписал из купчей. Он хотел, напротив, устроить ей вольную и собирался сделать это постоянно... и не собрался! И все его имущество, и крепостные были уже теперь не его, а Авдотьи Ивановны. На просьбы его отпустить его племянницу на волю барыня-супруга обещала... завтра и на днях, с весны до осени и с осени до весны...

VI

Ивашка, сбыв с рук старуху, начал расспрашивать прохожих о том, где Ленивка.

Через час путешествий по улицам Москвы он нашел

наконец дом Воробушкиных. Среди тени и грязи, между десятками маленьких деревянных домиков, нашел он тоже небольшой домик, неопределенного цвета, серый не от краски, а от времени и ветхости. Подивился он, в каком плохом домишке поселились его прежние господа. Такая ли бывшая их усадьба на селе! Ивашка въехал на грязный двор и, увидя какую-то женщину, выглядывавшую из сарая, переспросил на всякий случай, здесь ли живет барин, Капитон Иванович Воробушкин.

— Здеся, здеся,— отозвалась женщина,— тебе что нужно? Дело какое? Ты повремени... У них ныне с утра шум.

Ивашка, вылезший из саней, вопросительно глядел на женщину.

— Повремени,— продолжала она,— с утра шум... Подрались еще до обедни. Чего глаза выпучил?

Ивашка прислушался, и действительно, в маленьком сереньком домике слышались голоса, и, несмотря на то, что он давно не видал Капитона Иваныча и его супруги, он узнал голоса обоих.

Ивашка спросил про Улю. Женщина сказала, что барышня у себя наверху, и вызвалась пойти ее позвать.

Через несколько минут показалась на крыльце красивая, стройная фигурка в простом белом платьице и удивленно оглядела двор. Уле странным показалось, что какой-то приезжий, чужой человек спрашивает ее, и, ожидая каждый день какой-нибудь неприятной нечаянности, она уже испугалась известия. Но вот она увидела приезжего и опрометью бросилась к нему и повисла у него на шее.

— Иваша! Иваша!— залепетала она и, не имея сил от радости произнести что-либо, молча потянула его за руку в дом.

— Пойдем ко мне,— шепнула она в сенях,— у нас внизу с утра идет война. Бедный Капитон Иваныч! Чую, что из-за меня.

Девушка провела Ивашку к себе в мезонин, усадила и стала расспрашивать. Ничего особенного не мог ей передать молодой парень. Единственное известие, которое могло затронуть Улю за живое, была смерть матери Ивашки и ее кормилицы, о которой она ничего еще не знала. Скоро все новости Ивашки истощились.

— Ну, ты что? Как поживаешь?— спросил он Улю.

Грустно взглянула она в лицо своего молочного брата, вздохнула и понурилась.

— Что я? Всякий день жду, что попаду Бог весть куда. Капитон Иваныч ко мне ласков по-старому и из-за меня много терпит. А уж Авдотья Ивановна, Бог с ней!.. Не мне одной от нее плохо приходится. У нас ведь, Иваша, всякий день крик и ссоры. Капитон Иваныч с утра до вечера пропадает из дому, уж больно ему тошно становится от нее.

— А она, верно, к тебе привязывается,— заметил Ивашка,— ведь ей нужно с кем-нибудь браниться.

— Да, ко мне,— отозвалася Уля и задумалась.

Видно было, что она особенно озабочена какой-то одной мыслью. Раза три или четыре во время веселой и радостной беседы с Ивашкой она задумывалась и вдруг не слушала, что он говорит.

Ивашка хотя давно не видел ее, но прежде хорошо знал и угадывал малейшее движение ее души.

— Да ты что? С тобой что? Замуж тебя, что ли, прочат силком?— спросил он наконец.

— Нет, какое замуж... Кто на мне женится!.. Я и здесь, в Москве, с тем же прозвищем осталась, как и нас на селе с тобой звали...

— Мужицкие дворяне!— рассмеялся Ивашка.— Ну, так, знать, Авдотья Ивановна на тебя замышляет что-то?

— Конечно.

— Да что же такое?

— После скажу. Теперь ты лучше расскажи, что будешь делать, как будешь жить. Здесь, в Москве, мудрено, и я все о тебе думала. Тебе бы в певчие поступить к какому-нибудь вельможе. Житье хорошее, берегут ради голоса. Только одно: вина пить не позволяют; да ведь ты же и не охотник до него.

— Да, это хорошо,— задумчиво проговорил Ивашка,— а покуда я просто куда батраком наймусь.

— Лакеем?— спросила его Уля.

— Это что такое?

— А это здесь зовут. Значит, служитель в горнице.

— Чудно,— отозвался Ивашка.

Уля хотела что-то заговорить, но к ней в комнату пришла кухарка Агафья и позвала вниз к барыне.

— Авдотья Ивановна беда как осерчала,— объяснила она.— Увидела она его лошадь с санками, спросила: чьи? Сказала, что он у вас сидит, она и озлилась. Идите вниз.

Ивашка немножко перетрухнул от непривычки, но Уля была совершенно спокойна и ясно улыбалась.

— Ты, голубчик, не робей; ты вот отвык... а мне теперь скажи, что она хоть с ножом в руке бегает, так я не боюсь. Хуже того, что было, не будет.

И друзья отправились вниз. Капитона Иваныча уже не было дома, и внизу у Авдотьи Ивановны сидела в гостях ее приятельница, мещанка Климовна, вдова расстриги попа, с которой у барыни были теперь всегда разные тайны.

«Распопадья», как называл ее Капитон Иваныч, исполняла разные поручения разных барынь. Она была вхожа во все московские дома, знала все московское барство и являлась ежедневно, но, конечно, с заднего крыльца и через девичью. Она, подобно Воробушкину, знала всю Москву, и вся Москва ее знала, но встречала презрительно.

Теперь она сидела у Авдотьи Ивановны, ела принесенный ей из кухни студень и таинственно, шепотом, объясняла Авдотье Ивановне, что она все ее мудреное дело справила, что не нынче завтра все будет кончено.

— И про Сидорку-портного там сказано, и про попугая сказано. Все как следует! — таинственно говорила Климовна.— От меня, стало быть, известиться?

— Ну да, от вас. Вы укажете, где попугай и где портной. Ну ладно... Только бы мой сусальный петух не взбунтовал через меру...— прошептала Авдотья Ивановна задумчиво.

Когда Уля вошла в горницу, обе прекратили свою тайную беседу. Климовна, хитро улыбаясь, расцеловалась с Улей, Авдотья Ивановна сердито спросила: где Ивашка?

— Тут, в прихожей... прикажете позвать?

— Вестимо. Он, поганец, должен был прямо к барыне идти, как приехал, а не к тебе на вышку. Хоть и продана вотчина и не мой он, а все-таки должен уважить барыню.

Ивашка вошел в горницу, слегка робея, и поклонился.

— Здравствуй, шальной; зачем пожаловал? Думал, Москва без тебя не простоит...

— Всем миром, Авдотья Ивановна, порешили и отправили меня. Сказывают: не гожусь.

— Что же? Тут-то, полагаешь ты, что годишься? Что ты будешь делать?

Ивашка объяснил, что наймется куда-нибудь в услу-

жение, а до тех пор просил позволения остаться в доме у барыни.

Авдотья Ивановна задумалась. С одной стороны, она понимала, что к мужнину полку прибыло, что Капитон Иваныч, Уля и Ивашка будут теперь заодно и против нее в каком бы то ни было деле. С другой стороны, Авдотья Ивановна уже разочла, что можно отобрать у Ивашки санки и коня за постой и продать.

После минутного молчания она произнесла нерешительно:

— Ладно, оставайся; там видно будет.

И тотчас, к удивлению Ули, Авдотья Ивановна стала собираться и одеваться, чтобы идти вместе с Климовной куда-то по делу.

Уля невольно широко раскрыла свои красивые глаза и, не сморгнув, глядела на одевавшуюся барыню. Отсутствие ее из дому с Климовной предвещало всегда что-нибудь очень дурное.

Когда обе женщины вышли из дому, Уля села на первый попавшийся стул и глубоко задумалась.

VII

Ивашка долго стоял молча над Улей, с грустным выражением лица, почти даже с глупым выражением, и смотрел на ее поникнутую голову, бессознательно рассматривал красивый ровный пробор ее светло-русых волос. В голове его вертелась все одна и та же мысль: как пособить горю, как избавить Улю от Авдотьи Ивановны? И вдруг, словно надумав нечто очень умное и важное, он выговорил быстро:

— Уля, знаешь что?.. всем бы бедам конец — выходи ты замуж.

Уля подняла на него голову и глянула с изумлением.

— Что?!

— Выходи, говорю, замуж.

Уля, несмотря на свое грустное настроение, звонко и весело расхохоталась.

— Чего ты? Я не в шутку... Подумай только: выйдешь замуж, от барыни избавишься.

— Ах ты, Иваша, Иваша! — перебила его девушка,— все ты тот же! Сколько времени не видала я тебя, а все ты тот же.

— Чего тот же?— вдруг будто обиделся Ивашка.

— Да ты не обижайся... Вижу, вижу. Уж и губы распустил, как бывало прежде,— тихо и почти нежно произнесла Уля.

— Что же такое я сказал?— обидчиво заговорил Ивашка.— Вестимо, кроме эдакого, ничего не придумаешь. Выходить тебе замуж и наплевать тебе на Авдотью Ивановну и на всех.

— Изволь, сейчас выйду, да только за кого?

— Ну, как за кого?!

— Да так: за кого?

— Да я почем знаю.

— Ну, вот и я не знаю.

— Неужто же в столице нет никого? Народа в столице много.

— Да, народа, Иваша, много, да замуж не за кого.

— Отчего же так?

— А оттого, Иваша...— И веселое лицо Ули вдруг омрачилось. Она помолчала и выговорила:— Оттого, Иваша, что для мужицкой дворянки нигде пары не найдется. Я одна как перст, сама по себе, ни к кому не пристала. Во всей Москве есть у меня одна старушка-просвирня, с которой я могу водиться. Для одних хоть бы для дворян, для купцов,— я крепостная холопка; для других — хоть бы для прислуги нашей,— я барышня, только не настоящая, боковая...

И в светлых, серых глазах Ули вдруг показались две крупные слезы. Ивашка заметил их и вымолвил:

— Что ты! зачем? Ну вот и плакать! Боковая... что такое боковая?!

— Так меня, Иваша, здесь зовут. Как кто осерчает на меня зря, без толку, так и назовет «боковой» барышней.

— Что же это значит такое? мне невдомек...

Но Уля не отвечала на этот вопрос и продолжала тихо, глядя в пол:

— Вот оттого мне и не за кого замуж выходить. И за мужика нельзя, и за купца нельзя; а за барина — и говорить нечего. Мы с тобой, Иваша, мужицкие дворяне с детства были, да так и останемся. Ты еще — другое дело. Кто тебе приглянулся, ты и женишься, а я же не пойду говорить какому-либо человеку: сделай, мол, милость, женись на мне! Да и не до того, Иваша...

— Никому не пара!..— бормотал Ивашка, как бы про себя. И он вдруг ахнул на всю горницу, точно будто испугался чего-то.

— Что ты!— воскликнула Уля.

— А за меня!

Уля не поняла. Ивашка вопросительно глядел на нее, пораженный сам своим открытием.

— Что?

— За меня.

— Что за меня? Что ты говоришь?

— За меня, за меня выходи!

Уля все-таки не сразу поняла и, поняв, опять звонко рассмеялась.

— Ей-Богу, Уля, за меня выходи! Ведь я буду вольный,— вот тебе Христос,— скоплю денег, откуплюсь, и как мы с тобой заживем отлично! Я пойду в дворники либо в кучера, а ты...— Ивашка запнулся.

— Вот то-то, Иваша, и не знаешь. Вот то-то и дело: ты в дворники, ну, стало быть, я — в кухарки.

— Нет, как можно!

— То-то, стало быть, нельзя. Ну — в горничные девки.

— Нет, как можно!

— Ну — в прачки, поломойки...

— Да нет, чего ты врешь!

— Ну, так как же, Иваша? Ты дворник, а я, будучи твоей женой, буду барышней-чиновницей? Видишь, вот никак и не клеится.

Ивашка вздохнул и выговорил тихо:

— Да, и то, не клеится.

И оба замолчали. Уля снова понурилась и думала о том, что часто приходило ей на ум: неужели же никогда не найдется человека, который полюбил бы ее, за которого она могла бы выйти замуж и зажить своим домком, своим счастьем. Часто невольно и смутно представлялся ей этот вопрос, и она отгоняла его, как нечто незаконное, как пустую, глупую мечту. Но теперь, когда в первый раз другой, хотя и ее молочный брат, заговорил об этом с ней, ей сразу яснее, настоятельнее представился этот жгучий вопрос.

Почему же и нельзя? почему же не найдется такого человека? Может быть, и найдется, может быть, и нашелся бы давно, если бы она не избегала так упорно и не боялась так страшно всякого нового знакомого. Хоть бы вот этот молодой барин, которого встречала она несколько раз на Знаменке, когда бегала в гости к просвирне... Этот молодой барин, который, будучи в церкви, прошлое Светлое Воскресенье, в конце заутрени пробрался через всю густую толпу прямо к ней, подошел вдруг и сказал:

«Христос воскресе» — и прежде чем она успела опомниться, трижды расцеловался с ней. И с тех пор много ночей мешало ей спать его веселое, красивое, улыбающееся лицо. Хоть бы он?! Если бы она с тех пор около года не избегала его тщательно, не бегала к просвирне совсем другими переулками, что было бы теперь? Может быть...

Но мысли Ули были прерваны внезапным скрипом отворившейся двери. На пороге показался Капитон Иваныч и, увидя Ивашку, взмахнул руками и ахнул:

— Иван! Иван!

И через секунду Капитон Иваныч душил Ивашку в своих объятиях и целовал его в обе щеки.

— Какими судьбами?! Ах, оголтелый народ! Ведь видел я, уходя, коня твоего на дворе, спрашивал этого черта, Маланью: кто тут? Говорит: приказчик приехал. Откуда? говорю. Не знаю, говорит. Ан это ты! Какими судьбами в столицу пожаловал?

Ивашка снова рассказал подробно, как был спроважен всем миром с родного села.

— За что? — воскликнул Капитон Иваныч.

Ивашка повел плечами и усмехнулся.

— Да все то же, Капитон Иваныч: говорит, лядащий, порченый, негодный; ну и спровадили.

— Порченый!..— забурчал Капитон Иваныч, насмешливо усмехаясь.— Давай Бог им всем, подлецам, быть такими порчеными! Я по сию пору, Иван, не могу себе простить, попрекаю себя ежечасно, что тебе вольную не выговорил или за себя не взял при продаже вотчины. Был бы ты теперь у нас вот с Улей вместе.

— Да,— рассмеялась Уля,— был бы с нами! Да с Авдотьей Ивановной.

— Да, точно,— рассмеялся Капитон Иваныч и отчаянным жестом бросил свою шапку в угол.— Да, с моей Авдотьей, пожалуй, что и хуже, чем в крепости на селе. А вот что, Улюшка. Мы сегодня с ней опять шумели,— слышала, чай.

— Слышала.

— И знаешь, о чем?

— Знаю.

— А ну, вот и не знаешь.

— Знаю, Капитон Иваныч, не спорьте.

— Да не можешь ты знать.

— Почему-с?

— Потому, что я и сам не знаю!

— Вот так хорошо,— совсем развеселилась Уля.

— Ей-Богу, не знаю, вот как перед Богом!— добродушно и весело воскликнул Капитон Иваныч.— Шумела, шумела она, меня обругала... Постой, как бишь обругала?.. Мудрено что-то... Паркалком или карапалком, что-то такое. Это, вишь, такой народ есть, вроде калмыка. А я ее назвал и того хуже: сидоровой козой. А за что все это у нас было — доподлинно не знаю. Затевает она что-то, я это чую, а что она затевает — не знаю; вестимо, скверное.

— Ну а я, Капитон Иваныч, знаю,— полугрустно, полувесело произнесла Уля.

— Ну, скажи, коли знаешь.

— Нет, не скажу. Вы ей скажете и все дело испортите.

— Не скажу, что ты! ну, ну... Ей-Богу, не скажу.

— Ладно, не в первый раз. Хоть разбожитесь,— не скажу. Когда будет время, сама приду и все вам выложу, а теперь ни за что не скажу. Вы только испортите. Как она придет, так ей и бухнете. Еще хуже и выйдет.

В коридоре в ту же минуту раздался голос барыни, и все трое, как по данному знаку, разошлись в разные углы комнаты и одинаково робко поглядывали на дверь.

— Легка на помине... как черту и подобает быть!— пробурчал Воробушкин.

Авдотья Ивановна вошла, запыхавшись и от ходьбы, и от своей большущей, тяжелой шубы, и от платка, который был намотан вокруг ее головы и шеи. Разоблачившись при помощи Ули, она оглядела всех трех и проговорила:

— Небось сидели все кучкой в уголке да шептались, а чуть меня заслышали — рассыпались по горнице.

— Ну, да как же,— отозвался Капитон Иваныч,— вишь ведь, какой комендант, подумаешь!

— Для такой мокрой курицы, как ты, я не токмо что комендант, а весь фельдмаршал Салтыков.

И с этих слов снова начался тот же шум, к которому так привыкли и люди Воробушкиных, и Уля, и даже соседи по Ленивке.

Покуда муж с женой перекидывались, придумывая, на сколько хватит разума, ехидные слова, Уля незаметно выскользнула из комнаты к себе в мезонин. Ивашка, послушав, поглядев исподлобья в лицо обоих супругов, тоже вышел вон и отправился на двор, вспомнив о том, что его лошаденка стояла, не кормясь, уже добрых часа три.

Сойдя с заднего крыльца, он, однако, не нашел на дворе ни саней, ни лошади.

«Ишь, добрый какой человек! — подумал он, — распорядился уже и убрал коня; поди, и овсеца засыпал».

Он заглянул в конюшню, в сарай, сбегал на задний двор, взглянул за ворота; но ни лошади, ни саней не было нигде. Уже в испуге бросился он на кухню спросить двух женщин.

— Конь?.. Конь?.. Санки?.. Санки мои?! — воскликнул он, вбегая в кухню.

— Эвося хватился, — выговорила одна из двух женщин, Маланья. — Твой конь давно у Климовны.

— Какой Климовны?

— А то, поди, и она уж небось давно продала да на эти деньги корову какую купила.

Ивашка стоял пораженный, почти не понимая ни слова. Женщина объяснила ему, однако, что покуда он болтал с Улей, барыня вместе с Климовной вышли из дома, потолковали, а там уселись в его санки и съехали со двора. А домой барыня вернулась уже пешком.

— Ну, ну! — воскликнул Ивашка, широко разевая рот от изумления и перепуга.

— Ну, она, стало, и отдала и коня, и санки Климовне на продажу.

— Кто?

— Да барыня же. Вот оголтелый-то!..

Ивашка даже выронил из рук свою шапку. Увидя его пораженную фигуру, изумление и отчаяние, обе женщины стали уговаривать и успокаивать парня и даже утешать.

— Ты, голубчик, спасибо скажи, что она тебя самого с санками не продала кому, — убеждала парня Маланья. — Она, голубчик, с Климовной белыми арапами торгует; так что ж ей чужой конь? Либо санки твои?

Ивашка, не слушая, поднял свою шапку, побежал в горницу, шибко влетел и застал Авдотью Ивановну уже одну в углу, на кресле, с ватрушкой в руках.

— Авдотья Ивановна!.. — забормотал он робко.

— Ну?

— Авдотья Ивановна... Как же-с?.. — и парень запнулся, глядя на спокойное и отчасти удивленное лицо барыни. — Мне сказывают на кухне... Сказывают, что вы моего коня...

Ивашка опять запнулся, так ему казалось странным и глупым все происшедшее.

— Продала? — вопросительно-спокойно выговорила барыня. — Точно. И не дорого. Цены на коней плохи теперь, да и заморил ты его дорогой. Ты, я чай, не овсом и не сеном, а, так полагаю, ременным кнутом кормил его всю дорогу.

— Да как же-с?.. — Ивашка развел руками. — За что же?.. И опять, конь этот не ваш.

— Да ты это что... — вдруг заговорила другим голосом Авдотья Ивановна. — Ты, никак, меня допрашивать пришел!.. А в полицию хочешь? В холодную хочешь? — Авдотья Ивановна встала и приблизилась к Ивашке, закинув слегка голову назад и руки за спину, — в солдаты — хочешь?.. В острог — хочешь?..

— Помилосердуйте!.. — вдруг выговорил Ивашка, отступая и кланяясь разгневанной барыне.

— Какой прыткий! Нос и уши обрежут на конной площади через палача! Хочешь? Прыткий какой... — И, поглядев несколько минут в лицо растерявшегося парня, Авдотья Ивановна выговорила вдруг тише и как будто даже кротко:

— Пошла вон, дурафья!...

Ивашка живо убрался из горницы, осторожно и тихонько затворил за собой скрипучую дверь и вышел опять в сени; здесь он стал и развел руками.

— Вот так колено! — проговорил он наконец, — да и что же конь, коли она, сказывают, белыми арапами торгует! А я было продать да разжиться хотел коньком. Ай да барыня! Вострая!

VIII

Между тем Ивашкин пегий конь был уже давно на маленьком дворе нового тесового домика вдовы расстриженного попа, Климовны. Конь был выпряжен из саней и привязан на морозе к кольцу. Вид у коня был самый плачевный. Он не ел со вчерашнего дня, и первое его впечатление от столицы было самое грустное. Насчет овсеца, о котором он мог мечтать дорогой, в виду первопрестольной столицы, не было и помину. Если б можно было влезть в душу пегого коня, то оказалось бы, что он думает: «Ну, уж хороша Москва! хороша столица! черт бы ее подрал! хуже нашей деревни. Там хоть иной раз голоден, так мошенническим образом и по соседству

у коровы что стащишь. А тут вот стой перед стеной, привязанным к кольцу».

Климовна между тем сидела у окошечка, спешно пила чай и поглядывала на вновь купленного зеленого попугая, сидевшего на перекладине в углу. Она рассчитывала, допив последнюю чашку, идти продавать и его, и коня, нежданно добытого у ротозея Ивашки.

Вдова расстриженного попа, Климовна, была женщина лет пятидесяти, казавшаяся гораздо моложе своих лет. Она занималась уже давно всякого рода делами, и все эти дела, почти без исключения, пахли острогом. Хотя она была вдова и бездетна, не имела никого родни, но дом ее был полон. Шум и гам не прерывался с утра до вечера, и всякий прохожий, который не знал, кто живет в этом домике, невольно думал, что в нем или особенное веселье и много ребят, и больших, и малых, или же беда какая приключилась: пожар или убийство какое и переполох от него.

Если бы, ничего не зная о житье-бытье Климовны, простой человек зашел в этот дом, то непременно бросился бы тотчас вон и пустился бы бежать что есть мочи.

Однажды так и случилось. Какой-то молодчик ошибся домом и, посланный к соседу Климовны, дьякону, попал к ней. Два живые существа вышли к нему навстречу в сени. Молодец заорал благим матом, как если бы в него пырнули ножом, и бросился бежать, завывая во весь голос и крестясь на бегу. Калитка сразу не подалась, и он как ошалелый перемахнул через забор. Весь переулок до угла промчался он, как ошпаренный, и долго потом рассказывал о том, что видел.

А дело было очень простое. Климовна покупала и продавала все, что можно было купить и продать, начиная от дров и кончая чепцами, начиная от лошадей и коров и кончая крепостными людьми, которых покупала и продавала из рук в руки, не имея права записывать на себя. Но главная статья ее дохода, ее любимый товар, в котором она знала толк и цену и на котором заработала много денег, были всякие карлики и инородцы, калмычки, башкирчата, киргизята и т. д. Даже раза три за всю ее деятельность удалось ей достать и продать очень дорого двух арапов и одного каракалпака. Понятное дело, почему парень, попавший в ее дом, встретя никогда не виданного крошечного калмычка и громадного худого как палка, черного, как уголь, арапа, перемахнул через забор, завывая на весь квартал.

Действительно, небольшой дом Климовны, комнат в пять, переполненный всевозможными уродцами, с разноцветными лицами, разных возрастов и разного роста, от аршинного карлика и до саженного туркменца, мог навести ужас на всякого простого человека. Сама Климовна привыкла к своему дикому и, главное, злому товару.

Многие умные и опытные люди советовали Климовне быть осторожнее. Действительно, ей попадались такие карлики и такие киргизята, которые могли нипочем не только зарезать ее ночью, а просто загрызть в припадке дикой, животной злобы.

Климовна только усмехалась, когда ее предупреждали, но, конечно, никому не говорила о тех способах, благодаря которым она держала всю эту разнохарактерную и разношерстную ораву в повиновении.

А способы эти были самые разнообразные и самые сильные. Ей случалось расправляться с своими жильцами железным прутом, и однажды одну злую калмычку она заколотила до смерти. В другой раз посадила карлика на цепь и продержала несколько дней голодным, но когда дала ему кусок хлеба, он съел его и через час умер в судорогах. Долго жалела о нем Климовна: пятьдесят рублей пропало.

Между тем вдова расстриженного попа была женщина добродушная во всех своих отношениях с остальным миром. Даже своих уродцев она, в сущности, любила, но походила на того охотника, который проводит в болоте и лесу целые дни вместе с своим первым другом, легавым псом, обожает его, называет своим кормильцем, делится с ним ломтем хлеба, взятым из дома, и в то же время нещадно бьет его по нескольку раз в день.

Теперь, окончив последнюю чашку, Климовна надела шубу и пошла в ту горницу, несколько побольше других, где жили, ели, спали и сидели целые дни ее жильцы. Трое из них, карлик и два калмыка, спали на матрацах на полу вповалку, как собаки. Двое каких-то страшно курносых инородца, узколобые, коричневые, мохнатые, играли в какую-то мудреную игру из палочек и камешков, причем изредка били друг дружку щелчками по лбу, но без всякой злобы, а, очевидно, по правилам игры. Еще трое диких человечков сидели на полу неподвижно на поджатых ногах, как каменные истуканы, и не дремали, и не шевелились, и даже не взглянули на нее, когда она вошла.

— Ну вы, народцы,— обратилась Климовна к своим жильцам с своим любимым всегдашним выражением.— Будьте умники, я скоро вернусь.

На это не последовало никакого ответа. Только один старый, желтый и сморщенный карлик Филипушка, спавший в углу, проснулся, посмотрел на хозяйку бесстрастными глазами и перевернулся на другой бок, лицом к стене.

Климовна, наказав единственной, но зато громадного роста прислуге Марфе приглядывать за «народцами», быстрыми шагами делового человека побежала по переулку.

IX

Через полчаса вдова была на заднем крыльце большого барского дома, темного цвета, с белыми балконами, белыми колоннами и белыми ставнями.

— Доложите, голубчики, обо мне его превосходительству,— ласково сказала она попавшимся людям.— Скажите — по делу, насчет лошадки, уже Павел Дмитрич знает.

— Барин на дворе,— отозвался старший лакей.

— Ну, вот и хорошо,— ласково произнесла Климовна и шмыгнула вон из передней.

Действительно, около настежь растворенных дверей сарая, где виднелись экипажи, стоял, повернувшись к ней спиной, плотный человек, среднего роста, в простом нагольном, но очень опрятном и щегольском полушубке. Это был сенатор Павел Дмитриевич Еропкин. С низким поклоном подошла Климовна к важному хозяину.

— Ваше превосходительство, честь имею кланяться. В добром ли здоровье?

Еропкин обернулся. Простое и доброе лицо сенатора, очень некрасивое, с толстым, неправильным носом, маленькими глазами и большим толстым подбородком, сразу, однако, выдавало человека прямого, добродушного и честного.

— А! Климовна, здравствуй! Ну, что? Зачем пожаловала? Замуж, что ли, собралась?

— Никак нет-с, ваше превосходительство, а вот вы изволили как-то сказывать, что конька ищете, так вот-с...

— Что ж, продаешь?

— Так точно. Хороший конь, здоровый и масть самая прекрасная, вся разная... Всех колеров.

— Ишь какой!— засмеялся Еропкин,— и гнед, и сер, и вороной — вместе. Любопытно... Я еще этаких коней не видывал.

— Отличный конь. Верьте слову. Не хочу зря божиться.

— И не краденый?

— Что вы, ваше превосходительство!

— То-то, Климовна, а то нехорошо, как если русского сенатора вместе с тобой за мошенничество в суд потянут. Нет уж, голубушка, что другое, а коня я у тебя не куплю. Извини, пожалуйста, не серчай. У тебя, поди, все краденое. Душа-то твоя и та, ей-Богу, полагать надо, краденая... Ты, голубушка, не сердись. Коли я с тобой по улице где пройду, так сейчас всяк честный человек подумает, что ты меня с чужого двора свела, слимонила и продаешь.

Климовна стала божиться, что конь ее не краденый, а купленный у госпожи Воробушкиной.

— Ну, эта барыня тоже тебе под стать. Была года с два тому ничего, а теперь, слышно, тоже стала промышлять тем, что плохо лежит без присмотра.

— Да ведь этот конь не ее, а собственно ее супруга, Капитона Иваныча Воробушкина; он продает.

— А, вот это другое дело! У него я куплю, но прежде видеть надо. Конем, прости, голубушка, отец родной родного сына радует. Таков российский обычай. Приведи его завтра да принеси цидулку от господина Воробушкина, что конь его, вот и куплю. А без цидулки и не ходи, потому что ты, извини, голубушка, первый вор на Москве и первый подлец. Извини, голубушка!

Все это говорил Еропкин самым ласковым и кротким голосом, держа руки в карманах полушубка, и только при последнем слове «подлец» вынул правую руку и прибавил убедительный жест, как бы ради того, чтобы скорее и лучше вразумить Климовну, что она действительно — баба-подлец.

Климовна, с своей стороны, нисколько не обиделась, так же ласково и почтительно раскланялась в пояс с сенатором и пошла со двора.

Выйдя за ворота, она пробурчала:

— Нет, этому не продать, а надо бы скорее продать. Надо будет объявить вместе с портным и с попугаем. А то ведь кормить приходится. Околеет конь, Авдотья

Ивановна со свету сживет, тогда еще не поверит, что околел. Хоть хвост ей тогда с палой скотины принеси для улики или всю падаль к ней вези на двор напоказ. Скажет — обворовала, продала, а деньги хочешь утаить.

И Климовна, тем же быстрым шагом, почти рысью побежала по переулку.

X

Через пять дней по приезде Ивашки в Москву, около полудня, Авдотья Ивановна опять собралась одна вон из дому. Это случалось редко, Капитон Иваныч, сидевший за воротами на скамейке, увидя уходящую жену, покачал головой.

— Не знаю я твоей затеи,— проворчал он ей вслед,— но чует мое сердце, что добра не жди.

Авдотья Ивановна быстро обернулась, и Воробушкин ждал, по обыкновению, брани, но, к его величайшему удивлению, Авдотья Иванована злобно поглядела ему в глаза, промолчала и, отвернувшись, ушла, ничего не говоря.

«И что она может затевать? — думал Воробушкин, оставшись один.— Продавать уж нам нечего, а на продажу последнего имущества я таки не дам моего согласия».

Не прошло получаса, как к воротам домика подошел плотный, несколько сутуловатый человек в офицерском мундире, очень засаленном и без шпаги. Красное лицо его и взгляд маленьких масленых глаз сразу не понравились Капитону Иванычу.

— Где тут живут, позвольте спросить,— заговорил он хриплым голосом,— господа помещики Воробушкины?

— Я сам он и есть, Воробушкин,— отозвался Капитон Иваныч,— чем могу служить?

— Да вот, извольте видеть, в ведомостях пропечатано... Вчера еще я хотел быть, да времени не было...— И отставной офицер полез в карман и достал аккуратно сложенный, немного запачканный, серый газетный лист «Московских ведомостей».

— С кем я имею честь разговаривать?— прервал его Капитон Иваныч.

— Прапорщик в отставке, Прохор Егорыч Алтынов.

Воробушкин, знавший всю Москву — и большую

и малую, и важную, и серенькую,— никогда до тех пор не встречал прапорщика Алтынова. Но имя его было ему знакомо, и он помнил хорошо, что с этим именем соединяется что-то особенное и очень негодное. Благодаря своей замечательной памяти, Капитон Иваныч тотчас сам себе сказал, что он непременно, хоть через час да вспомнит, кто такой этот Алтынов.

Но когда прапорщик развернул газетный лист и указал то, что привело его в дом Воробушкина, то Капитон Иваныч слегка ахнул и позеленел лицом. Он прочел в объявлении: «На Ленивке, в третьем от угла доме, занимаемом господами, продается за излишеством, из себя видная и ко исправлению швейной и всяких работ способная девка 20-ти лет. Тут же можно известиться о продающемся портном, любопытном попугае и пегом мерине. Желающим покупать подает сведения сама госпожа».

«Так вот что! Вот она затея! — подумал он.— Улю продавать! Ладно... Авдотья Ивановна! Сначала мы похитрим, а потом уж если нельзя будет перехитрить, то посражаемся уже не языком и словами, а хоть до ножей дойдем».

Капитон Иваныч передохнул, успокоился на сколько мог и тотчас сообразил, что отказываться от объявления, сделанного женой, и спровадить Алтынова ни к чему не приведет. Он узнает впоследствии, в чем дело, и явится опять.

— Пожалуйте!— говорил Капитон Иваныч быстро и любезно и ввел гостя в горницы.

Затем он еще быстрее спустился в кухню, позвал Маланью, стиравшую целую кучу тряпья в корыте, и в двух словах объяснил ей все.

— Звать тебя Ульяна, а не Маланья; годов-то тебе больше, да стой на своем, что, мол, двадцать пять, и шабаш...

Люди, любившие Капитона Иваныча, конечно, гораздо более, чем барыню, и обожавшие Улю, которую все-таки называли барышней, всегда с удовольствием были заодно с барином.

Маланья, глупо ухмыляясь, хотела было оправиться, отогнуть подол, поправить платок на голове, но Капитон Иваныч запретил.

— Как есть чучело, кикиморой, так и иди!..— И тотчас же Капитон Иваныч, весело усмехаясь, повел за собой глупо ухмылявшуюся Маланью. Но вдруг женщи-

на на половине дороги ухватила его за руку и вскрикнула:

— Батюшка, Капитон Иваныч! А ну как он все-таки купит?

— Ври! Купит! Нешто ему тебя нужно? На кой прах ему тебя!.. В газетах проставлено «видная из себя», стало, пригожая, а у тебя и подобия нет!.. Иди, иди!..

Маланья, однако, с последним мнением барина о своей физиономии, очевидно, не согласилась.

— Эх, Капитон Иваныч. А ну, в самом деле купит...— бормотала она боязливо и готова была уже взвыть. Вследствие этого женщина появилась в горницу за спиной Капитона Иваныча, несколько печальная и оробевшая.

— Вот-с,— отрекомендовал совершенно серьезно Капитон Иваныч.— Молодец баба... на все что угодно. Прелюбопытная-с. И девица!

Чего ожидал Воробушкин, то и вышло. Алтынов вытаращил глаза и спросил:

— Разве это?

— Что-с?— схитрил Воробушкин, будто не понимая.

— Эта разве в продаже?

— Эта самая.

— Ты Ульяна?— обратился Алтынов к бабе.

— Я-с...— нерешительно ответила Маланья, но, увидя гневное лицо барина, пробормотала: — Я самая Ульяна... девица... как они вам сказывают...

Алтынов осмотрел с головы до пят толсторожую прачку, которой было уже лет за тридцать, невольно почесал за ухом, потом прочел снова объявление в газете и поднял глаза на Воробушкина.

— Что-с? Неподходящая? Не нравится?— спросил Капитон Иваныч.

— Куда ж мне эдакую? Вахрамею... Сами посудите...

— Отчего же-с... она, право, доложу вам по совести, стоит десяти...

— Неправильность мне тут кажется,— досадливо щелкнул Алтынов пальцем по листу газеты.— Тут, извольте видеть, сказано, двадцати лет. Положим, всегда малость лет убавляют в публикациях, но все-таки не до этого... Опять печатается при сем, что эта девица, и опять-таки, что видная из себя. И цена, как я слышал,— дорогая. Ну-с, а этот товар, что вы изволите продавать, идет в рублях семи, ну пятнадцать, что ли, много дешевле иного коня. Вы меня извините, а я за Ульяну вам

и пяти рублей не дам. Вы извольте взглянуть только ей в рыло... Черта ли я буду с ней делать!

— Стало быть, не хотите покупать? — отозвался серьезно Капитон Иваныч.

— Нет-с, — уже сердито сказал Алтынов. — Вы меня извините за беспокойство, только я все-таки должен прибавить, — заговорил он, глядя снова на Маланью, — что мне чуется неправильность либо какое недоразумение. Мне Климовна сказывала...

— А, Климовна, знаю! — воскликнул Капитон Иваныч, — да она, сударь, пустобрех... Она и про меня расскажет, что я красавец писаный и что мне шестнадцатый год пошел. Вы, видно, Климовну не знаете, распопадью.

Алтынов пожал плечами, как-то медленно, нерешительно уложил газетный лист снова в карман и, извиняясь за беспокойство, мрачный, вышел из горницы.

Капитон Иваныч, весело ухмыляясь ему в спину, проводил его за вороты и уж готов был весело посмеяться после ухода прапорщика, когда вдруг у самых ворот появились Уля и Ивашка. Не успел еще Алтынов отойти от ворот, как они весело заговорили с Воробушкиным.

Алтынов вернулся снова, косо взглядывая на Улю. Не дожидаясь вопроса, он обратился к Уле и сказал, двусмысленно улыбаясь:

— Честь имею кланяться. Извините, не знаю, как имя и отчество.

Капитон Иваныч захрипел, закашлялся, тараща глаза на Улю, но ничего не помогло; она, озираясь и оробев, тотчас отвечала:

— Ульяна Борисовна...

Алтынов насмешливо обернулся к Воробушкину:

— Сама пташка голос подает... только подманить умей! Нашего брата, государь мой, военного человека, провести мудрено. Позвольте уже мне до другого раза отложить. Будет как-нибудь ваша супруга дома, я с ней и побеседую.

Капитон Иваныч вдруг переменился в лице; голос его задрожал, но он отчетливо выговорил:

— Я в своем дому барин и коли не захочу что продавать, то со мной сам фельдмаршал Салтыков ничего не поделает, — граф Петр Семенович, коего я имею честь лично знать...

Уля и Ивашка сразу все поняли: что за человек и зачем приходил Алтынов.

— А захочу я кого продавать,— продолжал уже вне себя Капитон Иваныч,— так и прежде всех Авдотью Ивановну продам или променяю на какую-нибудь цепную собаку и в придачу дам еще сто рублей-карбованцев, чтоб нашел такой дурень, чтоб ее купить...

Алтынов, увидя в маленьком человечке-барине сразу совсем другую личность, равно способную как улыбаться мягко, так и отпор давать, сразу предпочел убраться и, не говоря ни слова, поклонился и ушел.

Капитон Иваныч опустился на скамейку. Руки дрожали у него так, что табакерка, которую он было достал, упала на землю. Ивашка и Уля взяли его под руки и увели в дом, стараясь всячески успокоить.

— А! Что выдумала!.. Нет, что выдумала, проклятая баба!..— сто раз повторял Капитон Иваныч,— тебя продавать!.. Да я ее продам этому Алтынову... За алтын продам... Даром отдам! Не купит — в речку утоплю!

Долго Уля напрасно успокаивала Воробушкина и наконец предложила ему пойти куда-либо в гости прогуляться.

— Не будет этого, николи не будет!— повторял Капитон Иваныч.

— Ну, и не будет!— спокойно повторяла Уля,— и лицо ее и взгляд были так же спокойны, как и голос.— А вы все-таки не сердитесь, а то захвораете потом. Ведь он еще не купил меня?

— Нет, да какова бестия супруга-то моя! — воскликнул Капитон Иваныч.— И когда это она надумалась?

— Я уже это, Капитон Иваныч, давно знаю.

— Как знаешь?!

— Да-с, уже недели две, коли не больше, как Авдотья Ивановна хлопочет об этом. Поэтому и Климовна зачастила, и сама она из дома стала часто отлучаться. Она уже в двух местах была и с двумя важными господами меня торговала.

— Ты лжешь!.. ты во сне видела!..— воскликнул Капитон Иванович, и глаза его заблестели ярким светом.

Уля улыбнулась кротко и грустно.

— Не лгу!.. Ишь, вы как рассердились, родной, уж и меня в лгуньи поставили.

Капитон Иваныч закрыл лицо руками и стал качать головой из стороны в сторону.

Ивашка и Уля стояли перед ним грустно, задумчиво;

каждый думал о своем. Оба они хорошо понимали, что весь этот гнев, и пыл, и угрозы ничего не значат, что если Авдотья Ивановна задумала ее продажу в чьи-либо руки, лишь бы только за хорошую цену, то это рано или поздно будет сделано. И Уля задумывалась теперь только об одном вопросе:

«Кому продаст и что из того будет? Вдруг вот этакому барину, как Алтынов. Что тогда делать?» — и Уля решала теперь, что останется только утопиться.

Ивашка, стоя перед Капитоном Иванычем, думал свое:

«Вот если бы я был не порченый, был бы человек, как другие, смышленый, я бы сейчас придумал, как помочь делу. А вот я, дурень, ничего не могу придумать. Вот ни на что я не годен,— лядащий как есть!»

И вдруг пришло на ум Ивашке предложить Авдотье Ивановне продать его в солдаты, а себе взять деньги с тем, чтобы Улю уж не продавать.

«Попробую,— решил Ивашка,— ныне же ей и скажу. Меня в солдаты возьмут».

Он сообщил свой план, но Капитон Иваныч тотчас же обругал его за глупость.

— За нее,— воскликнул он,— голубушку, писаную красавицу, сто рублей никто не пожалеет, а то и двести. А за тебя, губошлепа, что дадут?— двадцать пять рублей. Дороже солдата нет.

Уговорившись все трое, чтобы ничего не сказывать покуда Авдотье Ивановне о посещении Алтынова, они разошлись.

Капитон Иваныч отправился тотчас к одному умному человеку совета попросить, как быть в таком деле. Он в первый раз, быть может, в жизни шел сам за советом, не зная, что и придумать.

Ивашка тоже вышел со двора и отправился на другой конец города, в Басманную, наниматься в услуженье.

Накануне ему попался на улице солдат-денщик и спросил про какую-то улицу, Ивашка объяснил, что сам только вторые сутки в Москве. Солдат тоже оказался приезжий накануне. И вследствие этого они оба тотчас подружились и разговорились.

— Мы, стало быть, с тобой чужие оба,— заговорил солдат.

Слово за слово, оказалось, что его барин — офицер из армии,— из-под турки, остановился на квартире родственника и захворал.

— Нам треба теперь достать кого-нибудь мне в помощь; один за ним не уходишь. Поступай к нам!..

Ивашка тотчас согласился, и решено было, что на следующий день он придет наниматься.

XI

Офицер, из сдаточных солдат, прапорщик нежинского карабинерного полка в отставке, Прохор Егорыч Алтынов жил в маленьком домике, холостой и одинокий, но в его доме, недавно им приобретенном, всегда жило много народу. Вдобавок народ этот был самый разнохарактерный, чуть не сброд со всего света: мужчины и женщины, старые и молодые, русские, хохлы и даже татары. Прохор Егорыч был нечто вроде делового и коммерческого человека, по казенному же выражению — он был просто притонодержатель.

Полиции было хорошо известно все, что происходило в доме прапорщика; но так как в то же время ей было и очень выгодно занятие Алтынова, то Прохор Егорыч был ею не только оставляем в покое, но даже пользовался особым уважением и любовью всех будочников Лефортовской части. Алтынов, так же как и Воробушкин, никогда не бывал дома. Вечно занятый своими разнообразными делами, он рыскал по Москве с утра до вечера.

Самые частые и самые выгодные его сношения были на Басманной, в известном всей Москве и даже в окрестностях, трактире «Разгуляе». Благодаря знаменитому трактиру, целой улице суждено было остаться навеки под этим именем.

Как у Алтынова в доме, так и в «Разгуляе», у хозяина трактира и кабака Князева, проживали, появляясь и исчезая, постоянно всякого рода личности обеих полов и всех возрастов. В этом числе попадались люди с клеймами, т. е. каторжники, беглые из острогов, а равно и вернувшиеся тайком восвояси из Сибири.

«Разгуляй» был, конечно, тоже под особым покровительством полиции, благодаря двум беспечнейшим людям всей Москвы обер-полицмейстеру Бахметеву и обер-коменданту царевичу Грузинскому. Оба они были любимцы старой развалины — героя, впавшего в детство, генерал-губернатора Москвы, фельдмаршала графа Салтыкова.

Разница между «Разгуляем» и домом Алтынова была та, что в знаменитом кабаке водились всякие люди — воры, грабители и каторжники, а Алтынов сам заводил у себя всякий сброд.

Главное его занятие состояло в том, чтобы покупать беглых людей, которых была, конечно, масса не только в Москве, но во всей России. Личностей, обогащавшихся такого рода делами, было на Руси много. Алтынову еще не очень счастливилось, а между тем у него был уже очень порядочный капитал.

Делалось это просто, под охраной законных документов. Беглый дворовый являлся к нему, составлялся акт, по которому прапорщик становился его владельцем и затем тотчас продавал его,— конечно, под вымышленным именем,— в другие руки. Человек через несколько времени бежал от нового хозяина, иногда снова являлся к Алтынову, и прапорщик, выдумав ему новую фамилию, продавал его снова. При этом, конечно, дворовый получал на чай рубль и два, и три, иногда и гораздо больше, а Алтынов получал по сорока, по сту и более рублей.

Продажей этой Алтынов занимался, конечно, не в Москве, где его уже давно знали и считали личностью темною. Для ведения же этих дел был у него помощник и приятель подьячий.

Для продажи беглых он обращался или к приезжим на время в Москву, или же сам ездил в губернские города. Однако самая выгодная отрасль торговли были не дворовые. В Москве не было сколько-нибудь богатого барского дома, где бы нельзя было найти в числе приживальщиков калмычонка, калмычку, или карлика, или киргизенка. Самые важные вельможи, в особенности самые богатые барыни, имели по два, по три образчика такого рода, и самое выгодное дело была кража этих татарчат и продажа во внутренние губернии. Кража эта производилась десятком помощников или денщиков и производилась очень искусно и очень дерзко. Всякий калмычонок или карлик крался так же, как крадется кошка или собака. Их сманивали со двора, заманивали лакомством или же грабили и увозили самым дерзким образом. Здоровенный денщик, переодетый гайдуком или казаком, разъезжал с этой целью верхом по московским улицам. Когда ему попадалась маленькая фигурка калмычонка или киргизенка, он останавливался, заговаривал с ним, ласкал, кормил яблоком, пряником, шутил,

предлагал покататься на лошади. Глупое существо почти всегда соглашалось.

Солдат садился верхом, взяв на руки маленькую фигурку и, прокатив с людного места в безлюдные улицы, уже скакал во весь дух к Лефортовской части, где был дом Прохора Егорыча. Иногда калмычонок, сообразив, в чем дело, яростно завывал, но ненадолго: вор затыкал ему рот тряпкой с опасностью задушить.

На другой же день или на третий краденый живой товар отдавался Климовне на продажу или если инородец был смышлен и потому опасен, то сбывался он из Москвы в провинцию.

Конечно, многим были известны проделки Алтынова, известны все темные дела, происходившие как у него, так и в «Разгуляе»; но все-таки и сам Алтынов, и «Разгуляй» продолжали процветать. Только за последнее время одна покража очень дорогого каракалпачонка, принадлежавшего самому фельдмаршалу Салтыкову, чуть-чуть не погубила Алтынова. Один из его денщиков, самый глупый, Трифон, поймал генерал-губернаторского инородца на Кузнецком мосту и, вместо того чтобы украсть его, попался сам. Трифона судили за кражу, высекли, посадили в острог; но через два месяца он уже снова проживал у Прохора Егорыча, как ни в чем не бывало.

Помимо этого, у Алтынова было другое, тоже не менее выгодное занятие, в котором была помощницей та же вдова Климовна.

Дело состояло в разыскивании видных из себя дворовых девушек, покупке и перепродаже их. Цены на этот товар были самые большие. Цена ниже ста рублей не спускалась и доходила до трех и пяти сот. И этот род торговли тоже немало обогатил Алтынова; он жалел только, что нельзя видных из себя девиц также доставать даром, т. е. воровать, как уворовывались калмычата и киргизята.

Впрочем, и тут Алтынов нашелся.

Купив и продав кому-нибудь из московских бояр-селадонов красивую девушку, Алтынов иногда уговаривал ее бежать и находил, конечно, часто полное сочувствие, укрывал ее у себя. Но вслед затем он девушку стращал доносом, передачей в полицию, делал новый документ и продавал в новые руки.

Подобных дел было у Алтынова так много, что в иные

дни он был завален делами с утра до вечера, едва успевая наскоро пообедать.

Если у него теперь, после нескольких лет, не было большого состояния, то благодаря тому, что две трети нажитых рублей шли в карман начальства, начиная от будочника соседней будки и кончая домом генерал-губернатора, под сенью которого, благодаря его дряхлости, водились первостепенные крючки-подьячие, каких не нашлось бы по всей России. Крючки-таланты и лихоимцы-гении.

Немало приходилось делиться и с подьячими при совершении фальшивых документов. Кой-что попадало, конечно, и в карман вдовы расстриги, которая занималась приискиванием живого и красивого товара.

Алтынов отлично понял все лицедейство, которое разыграл перед ним господин Воробушкин, подставив толсторожую Маланью вместо красавицы Ули. Он повидался снова с Климовной, поговорил с ней, и было решено обождать, дать супругам Воробушкиным вдоволь набраниться, даже хоть подраться, и затем сделать куплю.

Алтынов только справился осмотрительно, как опытный человек, какие были права барыни Воробушкиной на Улю, и из собранных сведений оказалось, что несколько лет назад Капитон Иваныч дарственною записью все свое имущество передал жене. Вместе с этим оказалось, что Уля была записана крепостной и исключена из числа прочих душ при продаже имения, но в том же звании простой крестьянки принадлежала теперь самым законным образом госпоже Воробушкиной.

После появления Алтынова в доме Воробушкиных начались постоянные, как выражались соседи их, «шум и драча». От зари до зари в соседних дворах и на улице слышны были крики уже охрипших голосов.

Капитон Иваныч повторял тысячу раз, что он не позволит продажи своей племянницы, что будет жаловаться фельдмаршалу, поедет жаловаться самой царице в Петербург, перевернет весь свет, умрет прежде, чем допустит такое срамное дело. Затем он не спал ночи, уходил и бродил по Москве, советовался со своими бесчисленными знакомыми, ругал и поносил жену по всей Москве, но, разумеется, толку от этого было мало.

Всякий, вместо совета, разводил руками и говорил:

— Да как же вы это, Капитон Иваныч, прежде не подумали? Как же это вы, Капитон Иваныч, при жизни

все жене передали? Как же это вы, Капитон Иваныч, себя-то по миру пустили? Как же вы племянницу-то в крепости оставили да жене подарили?!

Но все это Капитон Иваныч знал сам отлично; обо всем этом уже не раз думал и грустил; не раз даже плакал, и его только раздражали эти охи и ахи знакомых.

Несколько дней кряду обойдя Москву несколько десятков раз, Капитон Иваныч, как и ожидала Уля, свалился с ног и лежал в своей комнате, еле ворочая языком.

После всяких сильных душевных потрясений и волнений Капитон Иваныч всегда впадал в такую слабость, что можно было ожидать его смерти.

XII

Теперь, через несколько дней после появления в доме Воробушкиных Алтынова, Капитон Иваныч лежал еле живой в постели.

Уля сидела около него, ухаживала за ним — бледная, задумчивая, грустная. Она не спускала глаз со своего дорогого Капитона Иваныча и не столько грустила о предстоящей своей продаже, сколько об исходе его болезни. Ей казалось, что на этот раз Капитон Иваныч не встанет.

Между тем в соседней горнице у барыни сидел гость, Прохор Егорыч, пил чай со свежей сайкой и часто поглядывал в окошечко.

Он ждал подьячего, который должен был написать фирменную бумагу на куплю приобретаемого им товара.

На этот раз этот живой товар казался Алтынову настолько выгодным, он надеялся сбыть с рук с таким отличным барышом, что, конечно, заботился, чтобы самый акт был сделан вполне по форме, чтобы не могло быть потом какой бы то ни было помехи.

Наконец во дворе появилась маленькая фигурка в длиннополом кафтане и через минуту вошла в горницу, где была барыня и Алтынов.

— А, вот и дорогой Мартыныч! Милости просим! — воскликнул Алтынов и представил подьячего барыне. Мартынычу дали выпить пять стаканов чаю; затем из сумки довольно почтенных размеров он достал кучу бумаги и исписанной, и белой и тотчас же принялся за свое священнодействие. Во-первых, он тщательно, долго

и медленно чинил громадное и великолепное гусиное перо, даже два раза принимался делать раскеп, сразу не удавшийся. Во-вторых, он прочитал бумагу, которую достала из-за образов Авдотья Ивановна. Это был документ Ули, в котором и была вся суть. Авдотья Ивановна боялась, что он попадется в руки мужа и что тот изорвет бумагу, и тогда хлопотам не было бы конца.

Прочитав бумагу, подьячий задал несколько вопросов барыне, касавшихся до продаваемого товара. После этого Мартыныч, положив перед собой лист гербовой бумаги, размахнулся рукой, и пальцы его со страшной быстротой и ловкостью завертелись на левом углу листа бумаги, кладя бесконечные десятки штрихов и завитушек. Можно было подумать, что Мартыныч хочет только исчеркать, испачкать зря весь гербовой лист. Наконец пальцы вдруг остановились, перестали вертеться, перо тихо пошло на бумаге слева направо и вывели первые слова документа: «тысяча седмь-сот, семь на десятого года декабря...» и т. д.

Покуда Мартыныч писал, Авдотья Ивановна приблизилась и полюбопытствовала посмотреть серенький четвероугольник, отпечатанный на правой стороне листа.

В четвероугольной рамочке, с разными завитушками величиною в вершка полтора, был двуглавый орел со скипетром и державой. Над головами орла стояли четыре цифры года 1770, под хвостом и лапами орла — цифра 40 и две букв. К. О. В самой рамке, вокруг орла, шла надпись на всех четырех сторонах: под сим гербом писать всякие крепости от 50 и на 1000 рублей.

Когда бумага была написана, Мартыныч вполголоса, чтобы как-нибудь не услыхал больной Капитон Иваныч, прочел содержание ее, заключавшееся в следующем:

«Тысяча семьсот семидесятого года декабря в третий день, жена морского корабельного флота отставного лейтенанта Авдотья Ивановна, дочь Воробушкина, и в роде своем не последняя, продала я отставному армии прапорщику Прохору Егорову, сыну Алтынову, собственную свою крестьянскую девку Ульяну Борисову, рожденную после бывшей третьей ревизии, которая досталась мне по дарственной от законного мужа моего морского корабельного флота лейтенанта Капитона Иванова, сына Воробушкина, Рязанского уезда, Рамбургской дороги, из села Отрады, Хвостово тож, а взяла я, Авдотья Воробушкина, у него, Алтынова, за ту свою

крепостную девку денег сто рублев, а наперед сей купчей оная крестьянская девка от меня, Воробушкиной, иному никому не продана, не заложена и ни у кого ни в чем и ни в какой крепости не укреплена; а ежели кто во оную мою Воробушкиной крестьянскую девку станет почему-нибудь вступаться, то для очистки от сих вступающих данная мне, Воробушкиной, от прежнего той крестьянской девки, помещика подлинная дарственная запись ему, Алтынову, выдана при сем в состоявшей сей купчей. При впредь будущей ревизии означенную крестьянскую девку записать ему, Алтынову, за собою и за нее, как подушные деньги, так и прочие по указам поборы платить ему же и наследникам его, а мне, Воробушкиной, и наследникам моим до того дела нет. А о написании всей договорной цены без утайки семьсот пятьдесят второго года указ при сем объявлен...»

Мартыныч прочитал бумагу, как-то особенно искусно и незаметно переводя дыхание, так что не остановился ни на секунду... Голос его звучал несколько минут, как, бывает, после дождя гудит тоненькая дождевая струя, стекая из желоба в кадку.

— Ну-с, пожалуйте, распишитесь,— сказал подьячий,— а там уж после я у себя в палате свидетельские рукоприкладства приищу.

Авдотья Ивановна с трудом, пыхтя и сопя, промарала нечто подходящее к письму... и вздохнула. Алтынов бойко и привычной рукой тоже «руку приложил» и прехитро расчеркнулся, точно будто чертика с хвостом и рогами нарисовал одним махом.

Затем и прапорщик, и подьячий собрались идти вместе окончательно узаконивать документ в губернский верхний надворный суд.

Красавица девушка, полудворянка и мастерица, была куплена очень сходно и выгодно. Алтынов втайне несказанно радовался покупке, ибо был убежден, что через несколько дней продаст ее любителю такого товара, бригадиру Воротынскому. Алтынов надеялся, не без основания, нажить на этот раз не менее трехсот рублей.

— Ну-с, до свидания, высокоблагородная Авдотья Ивановна! — сказал Алтынов, прощаясь.— Завтра утром принесу денежки, а вы уж будьте столь добры, приготовьте все... Что же хорошего, если она начнет ломаться, да придется мне, яко владетелю законному, идти за будочником?! Срамоту пустим на всю улицу, и не столько мне будет срамно, сколько вам. Что же? Я купил,

деньги отдал, и вы продать были вольны! А тут вдруг будет ослушание. Скажут все, что вы ей не барыня!

В эту минуту за спиной говорившего Алтынова раздался тихий голос:

— Никакого ослушания и никакой срамоты не будет!

Все обернулись. Уля, бледная, но спокойная, стояла на пороге горницы.

— А будешь артачиться,— закричала вдруг Авдотья Ивановна,— так слышала? С будочником на веревочке через Москву и поведут!

— Позвольте,— протянул руку Алтынов к барыне,— не серчайте! Я уже им говорил, да оне слушать меня не захотели.— И он обернулся к Уле.— Опять я вам скажу, будьте спокойны! Хотя по документу вы значитесь простого, крестьянского звания, но я знаю, кто вы такая. Неужто вы думаете, что я покупаю вас для каких-нибудь черных и для вас неприличных работ? Помилуйте!.. Да на то у меня есть прислуга. Вам у меня будет житье хорошее. И горница у вас будет своя, и звать вас все будут по имени и отчеству — Ульяной Борисовной. И обиды вам у меня никогда никакой не видать, божусь я вам перед Богом... Вот, на образ глядя, крестом знаменуюсь...

Покуда Алтынов убедительно говорил, даже прижимал кулак к груди, Уля как-то тупо смотрела на него, и ни одной мысли ясной не было в голове девушки. Она действительно чувствовала, что за последние два дня как бы отупела. Сначала она все думала и раздумывала, как избавиться от гнусной продажи; но, конечно, ничего не придумала, кроме как пойти утопиться, броситься с Каменного моста в Москву-реку, которая была в нескольких шагах от дома.

Теперь, глядя на грудь Алтынова, по которой он убедительно стучал себя кулаком, она бессмысленно считала медные пуговицы на его сюртуке и на камзоле, видела, как нескольких пуговиц не хватало, видела, как из кармана камзола торчал вязаный с бисером кошелек с рваным концом. Однако там, где-то на сердце, будто лежало тяжестью твердое решение — покончить с собой, которое она неуклонно надеялась исполнить.

Опытный крючок Мартыныч глядел теперь на нее, не сморгнув, через свои огромные очки, сидевшие как верхом на его огромном, красном носу. И, пристально всмотревшись в бледное лицо девушки, в ее большие

ясно-серые глаза, Мартыныч чуть слышно пробормотал что-то и почесал у себя за ухом.

Он думал про себя:

«Ну, я бы тебя, стрекозу, покупать не стал... С тобой Егорычу-то помаяться немало. Ваша сестра, вот такая, как ты, такое колено отмочить может, что деньги прахом пойдут».

И Мартыныч вспомнил, как весной, после продажи одной дворовой девки, вроде Ули, он же ходил в суд по уголовному делу. Проданная девка зарезала своего нового барина, подожгла дом, а сама бежала и была уже поймана случайно в Ярославле.

— Так вы обещаете мне,— говорил между тем Алтынов Уле,— что никакого завтра содома у нас не будет? А то и припасу начальство... Потому что, как вам, может быть, неизвестно, бумага, написанная сейчас здесь, будет подписана в суде, а завтра утром и деньги ваша барыня от меня сполна получит.

Уля молчала и пристально, хотя чуть-чуть бессмысленно, смотрела в лицо Алтынова.

— Ответствуй же! Что столба из себя изображаешь!..— закричала опять Авдотья Ивановна.

Уля спокойно перевела глаза на Авдотью Ивановну и выговорила тихо и медленно:

— Хотите вы одну мою просьбу, последнюю, исполнить?.. Позвольте мне остаться у вас денька три, покуда Капитон Иваныч совсем выздоровеет или уже...— голос Ули дрогнул, и она едва слышно прибавила: — или скончается...

Авдотья Ивановна и Алтынов переглянулись и молчали.

— Позвольте обождать. Или выходить Капитона Ивановича, или похоронить... И тогда я, как перед Богом, без всякого сопротивления пойду хоть к ним...

И продавщица, и покупатель молчали в нерешимости, не зная, согласиться ли с живым товаром.

Опытный крючок Мартыныч решил дело.

— На мой толк, Прохор Егорыч, следовает вам дать свое согласие. С первого раза сделайте поблажку сей девице — будет не в пример лучше... Я их сестру знаю.. С ними только лаской да потворством что сделаешь, а приказами или розгами ничего не поделаешь. Это ведь — извольте видеть — что такое?— указал Мартыныч прямо в Улю своим толстым пальцем, выпачканным в чернилах.— Знаете вы, что такое вот под сим серым

платьем перед вами состоит? Ведь это, сударь мой, порох! Именно говорю вам: порох. Пороховой магазей!.. Подсунь сюда сернячок или уголек,— в пример я так говорю,— так произойдет такое происшествие, что все тут вверх ногами встанет. Иная дурашная баба, доложу вам, может целый квартал одним чихом в месиво обратить! В римской истории, доложу я вам, был такой случай: одна римская баба во время одной войны...

Но Прохор Егорыч не дал Мартынычу рассказать про римскую бабу и про войну. Он обратился к Уле и, потолковав с ней, согласился на то, чтобы девушка оставалась у Воробушкиных вплоть до выздоровления или вплоть до кончины Капитона Иваныча, но обещалась бы добровольно идти к нему. Однако Алтынов дал Воробушкину срок и выздороветь, и умереть. Более недели ждать он не соглашался, и условие это было для него важно, так как тайные переговоры о перепродажи Ули были у него уже начаты.

Через минуту Алтынов и Мартынов вышли за ворота дома, и подьячий мелкими шажками, припрыгивая, едва поспевая за здорово шагавшим Алтыновым, досказал ему и про римскую бабу, и про войну и передал ему все свои соображения в доказательство того, что Алтынов напрасно купил порох в ситцевом платье.

— Ну, ну! — спокойно отвечал Алтынов,— не учи! Знаешь пословицу: «Ученого учить, только портить».

— Да я, Прохор Егорыч, знаю, что у вас ума палата, но извольте видеть...

— Да, братец,— сострил Алтынов,— у тебя есть палата, да только не *ума*, а казенная, а у меня именно палата ума. Не с этакими я дело благополучно до конца доводил, как эта девчонка. А если это порох, то мы, Мартыныч, первым делом его подмочим.

— Да как, Прохор Егорыч? Как подмочить?

— А вот как, голубчик. Уведу я ее к себе на целую неделю, сам буду перед ней на карачках ползать, да и всех в доме заставлю ей в глаза глядеть да ее приказы слушать. Ей мой дом и покажется раем небесным после криков да брани Авдотьи-то Ивановны. А там, как станет она у меня шелковая, тут я ее в гости и поведу — хоть к бригадиру,— да в гостях и оставлю. Оттуда бегай, сколько твоей душеньке угодно, когда я получу уже с него по документу триста рублей.

XIII

В конце Знаменки, там, где она вдруг крутым спуском примыкала к речке Неглинной, на открытом месте горы стояли большие барские палаты, видные отовсюду. Дом выходил на Знаменку и переулок, а с горы шел вплоть до речки большой сад с огромными столетними деревьями. Дом был построен когда-то в начале столетия известным на всю Москву боярином Ромодановым.

Андрей Иваныч Ромоданов уже лет с десять как умер. В этом доме жила теперь его вдова Марья Абрамовна Ромоданова, урожденная княжна Колховская, женщина лет шестидесяти, но которой на вид нельзя было дать и пятидесяти.

В огромном доме, кроме старой барыни, жил еще ее единственный внук, молодой барчонок, недоросль двадцати лет, Абрам Петрович, и затем десятки, если не вся сотня всякого рода прихлебателей.

Два огромные флигеля и многие надворные строения были переполнены бесчисленной дворней.

Еще в царствование императора Петра II, когда весь двор переселился в первопрестольную, вместе с этим двором переехал в Москву и князь Абрам Колховской с своей семьей. И здесь, в Москве, незадолго до смерти молодого государя, князь отдал свою пятнадцатилетнюю дочь, богатую приданницу, за придворного Андрея Ромоданова, который был почти нищ, но зато считался приятелем Долгорукого, фаворита государя.

Не прошло и нескольких месяцев после свадьбы, как Долгоруков отправился в ссылку, и князь горько сожалел, что поспешил со свадьбой.

При воцарении государыни, покровительницы немцев, оба семейства, и Колховские, и Ромодановы, остались в Москве и перестали сразу быть близкими ко двору людьми.

Андрей Иванович Ромоданов, с первых лет супружества, не только забрал в руки свою молоденькую жену, но и всю ее родню. Он отличался умом, большим красноречием и тяжелым нравом и скоро был прозван в Москве Соловьем-Разбойником.

— Говорит — что твой соловей, а действует — что твой разбойник! — отзывались о нем знакомые.

Начиная от старого тестя и жены, Марьи Абрамовны, и кончая даже знакомыми, все трепетали перед Андреем

Ивановичем. Князь-тесть вскоре умер, а молоденькая Марья Абрамовна была тотчас заперта, как в монастырь, и муж позволял ей только иногда появляться на больших балах или на больших обедах.

Но еще строже и безжалостнее относился Андрей Иванович к единственному сыну — Петру. Когда молодому малому минуло двадцать пять лет, он вдруг, совершенно неожиданно для всех, по тайным причинам, женил сына на очень бедной девушке, совершенно неизвестного рода, но замечательной красоты.

Через год в семье Ромоданова произошла драма. Был сделан донос императрице Елизавете Петровне на Андрея Ивановича. Государыня прислала в Москву двух сенаторов судить дело келейным образом, ради великого срама и чтобы не позорить дворянство. В чем состояло все это дело — рассказывалось в Москве на разные лады. Во всяком случае, молодая невестка, родив на свет ребенка, названного в честь прадеда Абрамом, через несколько дней умерла, но, однако, в чем-то успела покаяться перед своим молодым мужем.

На похоронах во цвете лет погибшей жены молодой Петр Андреевич в церкви, во время заупокойной литургии, бросился на отца и два раза ударил его. Это произошло на глазах всей Москвы и стало известно всем. Но все, что присоединилось к этому рассказу, было двумя сенаторами, приехавшими судить дело, скрыто и замято.

После этой истории старый Андрей Иванович заперся в своем доме и окончательно не пускал к себе никого.

Через год умер и сын. И Москва заговорила, что Соловей-Разбойник уморил его, что не следовало после происшедшей истории оставлять молодого малого в доме старика, погубившего свою невестку.

Андрей Иванович прожил еще десять лет взаперти, чуждаясь людей, и вдруг собрался идти в монастырь.

— Пора старому греховоднику грехи свои замаливать,— отозвалась Москва.

Но старику не пришлось надеть рясы. За месяц до срока, назначенного для пострижения, он умер. Его нашли поутру мертвым в постели, а около постели — нечто, очень удивившее всех... Огромный портрет его покойной невестки, висевший всегда на стене, был снят и поставлен невдалеке от кровати. Каким образом порт-

рет, который видели накануне вечером на стене, попал сюда — недоумевали все.

И вот, Марья Абрамовна, запертая более тридцати лет в доме мужа, вдруг стала свободна и независима. Сейчас по привычке она продолжала жить смирно и тихо, почти не пользуясь большим состоянием, которое сумел удесятерить покойный муж. Но понемногу, из года в год, Марья Абрамовна, как говорили про нее приятели, «вкусила древа познания добра и зла!».

Теперь Ромоданова, просидевшая в четырех стенах своей горницы с пятнадцати лет почти до пятидесяти, старалась как бы наверстать потерянное. Никто во всей Москве не жил так весело и столько не пользовался всякими развлечениями и удовольствиями, как Марья Абрамовна.

Дом ее был открыт для всех и был золотым дном для всякого, даже для ленивого, чтобы тащить и грабить. Марья Абрамовна была обкрадываема всеми, начиная с управителей в имениях и кончая ближайшими своими наперсницами. И состояние ее было уже теперь не в том виде, в каком оставил его покойный муж.

Ромоданова была женщина очень добрая и очень ограниченная. Сидение взаперти и постоянный трепет перед деспотом-мужем сделали то, что почти шестидесятилетняя и независимая женщина все-таки не имела теперь собственной воли, и ею помыкал всякий, кто бы он ни был, а управлял вполне самый искусный из всех, покуда не появлялся другой, еще более искусный. В доме ее шла постоянная война между самыми разнородными личностями, и всякий из них стремился подчинить своему влиянию богатую барыню. Но подчинить себе вполне Марью Абрамовну было невозможно, именно потому, что человек самый искусный или просто последний, вышедший из ее горницы, переделывал все на свой лад. Таким образом выходило, что она слушалась и всех, и никого.

Было, однако, три лица, которые делали из нее почти все, что хотели, и если бы они соединились вместе и стали действовать сообща, то, конечно, все ее имение скоро перешло бы в их руки. Но, на свою беду, эти три человека боролись между собой и были злейшие враги.

Первый из них был гувернер внука-недоросля и в то же время домашний врач, главный советник и наперсник барыни, уроженец Митавы, Христиан Кейнман.

Это был человек лет под сорок, но лицом казался чуть

не юношей. Белый, розовый, пухлый, какая-то смесь булки с пастилой. Вместо бороды и усов у него был, несмотря на года, юношеский пух и при этом светлые, почти белые, детски-добродушные глаза. Он был любимцем не только Марьи Абрамовны, но всех вообще московских барынь, и преимущественно пожилых. Будучи родственником и тайным помощником в некоторых делах знаменитого в то время в Москве доктора штадт-физикуса Риндера, Кейнман проник во все дома столицы.

Приобрев порядочные средства от добросердых московских дательниц, он мог бы уже давно поселиться самостоятельно, но предпочитал жить в доме Ромодановой и называться гувернером ее внука... На это были особые причины... У немца была впереди давнишняя серьезная цель, и теперь он уже начинал усиленно к ней приближаться. Дело было в том, чтобы законным образом как-нибудь похерить своего питомца, недоросля Абрама. Чем более в барыне росли и укреплялись дружба и доверие к немцу, тем скорее должна была решиться участь ее внука.

Москва толковала, что будто бы Марья Абрамовна давно уже не Ромоданова, а госпожа Кейнман, и что не нынче завтра тайный брак ее с учителем будет объявлен, но это нелепость. С времени знакомства бодрой и веселой барыни-вдовы с немцем прошло лет пять-шесть, и Москва напрасно ждала «срамного происшествия». Ромоданова была не из тех барынь, что заводила себе домашних любовников.

Другая личность, безвыходно торчавшая в гостиной, спальне и вообще во всех горницах дома без исключения, как свой человек, был монах Донского монастыря, отец Серапион.

Монах был совершенная противоположность пухлорозовому учителю. Отец Серапион был черен, смугл, длинен, худ, с крючковатым носом, с узенькими черными глазами и с такими бровями на лбу, что у иного в тридцать лет нет таких и усов. Что касается до густой бороды, то у него, по воле природы, была за двух — и за себя, и за немца.

Под всем известным в Москве именем отца Серапиона скрывался, как говорили, какой-то кавказский князь, бежавший с родины после убийства своей возлюбленной и ее мужа. Последнее, быть может, добавила сама Москва; в действительности же верно было только то, что

отец Серапион был несомненно восточного происхождения, вернее всего — грузин. Монах был человек вовсе не свирепый и не страшный, напротив,— очень веселый и приятель со всеми. Единственная личность, с которой он был постоянно на ножах и которого стращал как-нибудь прирезать, был немец.

Общего между ними ничего не было,— ни капли. Только разве одна особенность: как, со своей стороны, Кейнман ломал русский язык, которого никак не мог выучить, точно так же и отец Серапион, несмотря на русское монашеское платье, тоже говорил таким особенным, исковерканным языком, что часто одним русским словом своего собственного сочинения распотешивал целое общество.

Третье лицо, и самое влиятельное, в доме Ромодановой, которое Марья Абрамовна обожала — и уже давно, еще при жизни покойного деспота мужа, была дворянка, однодворка, жившая в доме с молодости, и почти ровесница самой барыне. Так как Анна Захаровна Лебяжьева была наперсницей и первым другом Ромодановой еще во время ее замужества и заточения, то понятно, что теперь она стала первым лицом в доме, и у нее за последние года накопился уже такой капитал, что она купила себе подмосковное имение.

Анна Захаровна ухитрилась быть другом и балтийского учителя,и кавказского монаха. Каждый из них, считая себя ее приятелем, все-таки старался ее выжить из дома и более или менее занять ее место; но это было невозможно. Без Анны Захаровны Ромоданова не прожила бы и трех дней, и, в сущности, первое лицо и хозяйка в доме была эта приживалка Лебяжьева. Она же занималась всеми мамушками молодого барина, Абрама Петровича, и вообще его воспитание касалось до нее одной, так как Марье Абрамовне, при всех ее затеях и веселой жизни, не было времени заниматься внучком.

Несмотря на то, что бабушка почти не видала внучка и он проводил целые дни в девичьих и во флигелях с дворней, однако Марья Абрамовна все-таки почему-то тяготилась его присутствием в доме. Благодаря именно этому обстоятельству, в последнее время было решено распорядиться судьбой молодого недоросля на особый лад.

После совещания, на котором присутствовали четыре лица: сама Ромоданова, друг-приживалка, друг-учитель и друг-монах, было решено отдать Абрама в монастырь.

На этот раз, впервые в жизни, отец Серапион оказался одинакового мнения с Кейнманом.

Упечь молодого недоросля в послушники, а потом в монахи было выгодно для всех в доме, ибо все боялись, что через год-два Абрам Петрович может жениться, и хотя, конечно, ему выберут жену, но ведь на грех мастера нет,— и вдруг явится новая барыня, молодая, и приберет все в руки, начиная с Марьи Абрамовны. Так или иначе, но декабрь месяц 1770 года был почему-то поставлен как последний срок поступления молодого, уже двадцатилетнего барчука в один из московских монастырей, преимущественно в Донской. С ним вместе должен был поселиться, в качестве наставника, отец Серапион.

Об этом уже не раз совещалась и Ромоданова, и даже Анна Захаровна с преосвященным Амвросием, московским архиереем.

Если бы преосвященный согласился сразу с мнением богатой и легкомысленной барыни, то Абрам был бы уже давно в рясе; но, на беду затейников, преосвященный каждый раз советовал Марье Абрамовне дело отложить и не спешить, и только за последнее время он согласился на то, чтобы молодой Ромоданов поступил в послушники в монастырь, где брат преосвященного, Никон, был архимандритом, т. е. в Новый Иерусалим. В этот день Ромоданова позвала к себе внука, осталась с ним глаз на глаз и долго разъясняла ему дело, открывала все прелести, спокойствие и богоугодность монашеской жизни. Абрам слушал бабушку долго, внимательно и с веселым выражением лица. Он не боялся монастыря; ему казалось, что на свете так весело жить, что всюду будет весело. Однако, когда бабушка кончила свою речь, Абрам ласково и заискивающим голосом сделал ей неожиданный вопрос:

— Бабушка, голубушка!.. Нельзя ли уж вам попросить преосвященного меня назначить не в Новый Иерусалим, а в Зачатьевский или вот в...

— Да ведь он женский!..

— Ну, то-то, в женский... Голубушка, бабушка!.. Попросите... Я знаю, что это не полагается... Но ведь если преосвященный прикажет...

Ромоданова очень рассердилась и тотчас прогнала внука без всяких разговоров.

Абрам был далеко не глуп, но сильно избалован своей средой и обстановкой. Кроме того, молодой недоросль,

мало и редко видавший веселящуюся бабушку и не любивший ее, был всей внешностью и лицом вылитый портрет деда, Андрея Ивановича, память которого не была сладка бабушке. Зато нравом своим Абрам был в мужском платье — Марья Абрамовна. Даже характером своим, своею беспечностью, легкомыслием и своею бесхарактерностью внук был похож на бабушку, как мог бы только походить родной сын на отца или мать.

Ромоданова порхала по Москве, повинуясь и собственной потребности, и по советам всех своих друзей и приятелей, а Абрам сидел больше дома с своими приятелями и приятельницами, с приживалками, с дворовыми, сенными и горничными девушками и тоже веселился на свой лад.

И точно так же, как Анна Захаровна, немец и монах воевали между собой по поводу преобладания и власти над старой барыней, точно так же вокруг Абрама воевали дворовые и преимущественно сенные и горничные за владение молодым барином.

Разнохарактерное население больших палат относилось к барыне и барину особенно. Марья Абрамовна, добрая, но взбалмошная, никому ни в чем не отказывавшая, не была, в сущности, никем любима. Часто за ее спиной, почти все без исключения, целая сотня дармоедов, нахально издевалась над ней и ругала ее. Точно так же и юного барича, за исключением его наперсниц, никто не любил в доме,— ни нахлебники, ни дворовая мужская половина. Даже Анна Захаровна, его воспитывавшая, относилась к нему равнодушно и не только не мешала его любовным похождениям, но даже потворствовала им. Ей было не до того; у нее было всегда две цели в жизни, из которых одна уже была достигнута: нажить хорошенькое состояние и выйти замуж за красивого молодого человека из полудворян.

Среди десятков всяких приживальщиков в доме Ромодановой особенно отличались от всех четыре существа.

Первое их них, самое заметное, была здоровенная, сильная, как добрый мужик, добродушная, как любой ребенок, ласковая со всеми и вечно улыбающаяся, старая арапка, за которую Марья Абрамовна заплатила такие деньги, на которые можно было бы купить целое подмосковное имение в сто душ. Арапку привезли в Петербург на корабле и прочили продать самой императрице Елизавете Петровне, но государыня скончалась,

а новая молодая государыня не пожелала иметь арапки, называя это глупым обычаем.

Один из друзей Ромодановой, петербургский сенатор, был ей должен тысячу рублей, давно взятых взаимообразно у богатой вдовы, и, чтобы расплатиться с ней, прислал ей арапку.

Ромоданова махнула рукой на долг и оставила арапку у себя.

Другая фигурка, отличавшаяся от прочих, была маленькая карлица, про которую ходил слух, что она «сбоку» приходится племянницей самой барской барыне Лебяжьевой.

Это была уже двадцатилетняя девушка, страшно дурная собой, злая и старообразная. Настоящее имя ее почти все забыли, хотя она и родилась в этом доме. Все звали ее «Тронькой», и все всячески дразнили ее.

Давным-давно барыня погрозилась однажды, еще восьмилетней девчонке, ее ударить. Девчонка, при всех гостях, вдруг почему-то окрысилась, озлилалсь, погрозилась сама кулаком и вымолвила:

— Тронь-ка, попробуй!..

И к удивлению барыни и всех присутствующих, она злобно, ехидно повторила несколько раз:

— Тронь-ка! Тронь-ка!..

Девчонка была наказана сильно и вдобавок с тех пор осталась с этим прозвищем. Грубое слово, сказанное барыне, заменило собой имя, данное при крещении.

От природы ли или от суровой жизни, но двадцатилетнее существо, хотя и казалось ребенком по росту, по злобе своей было совершенный зверь. Иногда Тронька, доведенная шутками дворни до исступления, падала на пол, и с ней делались припадки, от которых разбегались боязливо все праздные шутники.

Наконец, года три назад, одна из дворовых женщин, особенно награждавшая Троньку колотушками, поймала карлицу над таким занятием, о котором хотели довести до начальства. Тронька, подставив стул к люльке полугодового ребенка этой женщины, умостилась на нем и тихонько колола его булавками всего до крови.

Тут вспомнили, что за год перед тем ребенок одной из дворовых женщин — неизвестно как — истек кровью. Троньку чуть-чуть не разорвали на части, застав за этим занятием, и сама Анна Захаровна должна была спасти ее от разъяренной толпы дворовых. Зато с тех пор Тронька не могла пройти ни одной комнаты, чтобы не получить от

кого-нибудь здоровую колотушку, и как с тех пор жила она и не зачахла,— надо было удивляться живучести ее натуры.

Третье замечательное лицо в доме Марьи Абрамовны был недавно приобретенный каракалпачонок.

Так как во всех домах Москвы водились киргизята, калмычата и башкирчата, поэтому богатой барыне было это не диво. Всех калмычат, которых она имела, она раздарила и, узнав, что мудренее всего иметь каракалпачонка, она тотчас выписала себе пару через оренбургского вице-губернатора; но один из них умер на дороге.

Этот молодой дикарь, лет восемнадцати, по имени Ахей, не отличался ничем особенным. Многие принимали его просто за дворового мальчугана, хотя отчасти смахивающего на калмычонка. Единственно, что умел он делать,— это петь какую-то песню с таким диким визгом, что всякий, кого угощали этой затеей из соседней горницы, думал невольно, что там кого-нибудь режут ему на потеху.

Четвертое существо, наиболеее уважаемое во всем доме, с которым все обходились ласково и предупредительно и которое, в противоположность всеми битой Троньке, все ласкали,— был здоровенный, белый, жирный, заморский, очень дорого заплаченный кот.

Его обожала Марья Абрамовна, любил даже Абрам, и если не любили, то ласкали сотни рук во всем доме и флигелях. Все, от барыни и до последней девчонки в доме, иначе не называли как: «Василием Васильевичем». Еще барыня позволяла себе иногда в минуту нежности назвать его «Васей» и «Васинькой», но никто из приживателей и прихлебателей никогда бы не осмелился обратиться к барскому коту иначе как со словами:

«Мое почтение! Как ваше здоровье, Василий Васильевич?»

Наконец,— сверх всех этих заметных личностей дома Ромодановой,— отличался от всех особенно резко и не имел с ними ничего общего дворовый человек, Иван Дмитриев. Это был холоп-деспот, наследие прошлых лет и покойного Андрея Ивановича.

XIV

Первого декабря, часов в десять утра, в доме Ромодановой было маленькое волнение.

Барыня наконец собралась ехать к преосвященному

Амвросию перетолковать окончательно о поступлении внука в послушники.

Давно уже все домочадцы и дворня толковали об этом, но всякому думалось, что Марья Абрамовна, откладывая свое намерение в долгий ящик, успеет сто раз умереть, прежде чем молодой барчук поступит в монастырь.

Сам Абрам был несколько теперь смущен при виде сборов бабушки. Разумеется, несмотря на уверения Анны Захаровны и особенно отца Серапиона и на все их доводы, что Абраму будет в монастыре гораздо приятнее и веселее жить, нежели дома, молодой малый, узнав, что никак нельзя поступить в женский монастырь, стал грустить не на шутку. Он понимал, что дурашная бабушка выдумала Бог весть что. Кто-то сказал ему, надоумил, что надо бы поступить в офицеры гвардии, а не в монахи.

На дворе уже была подана к подъезду огромная, светло-голубая карета, с позолоченными фонарями, с огромными козлами в ярко-желтом чехле. Шесть лошадей цугом с форейторами нетерпеливо двигались и играли, так что несколько конюхов держали все три пары под уздцы.

Наконец показалась барыня, провожаемая большой свитой, в числе которой были, конечно, Анна Захаровна, сам виновник торжества, смущенный внук, несколько других приживалок и даже арапка. Все стали на подъезде, и одна Марья Абрамовна, подсаженная восемью руками, весело впорхнула в карету, сказав кучеру свою всегдашнюю фразу:

— Смотри, Аким, не убей барыню.

Это говорилось всякий день по три и четыре раза, при всяком выезде. Кучер Аким, сильный и бодрый старик, с огромной бородой, каждый раз отвечал:

— Помилуйте, матушка-барыня! А Бог-то на что же?

Однако предупреждение это было не лишнее, так как Ромоданова держала кучу великолепных лошадей, молодых и бойких, и с ней постоянно бывали маленькие происшествия.

Когда в Москве говорили, что кого-нибудь разбили лошади, чью-нибудь карету растрепали вдребезги, то москвичи всегда спрашивали, не Марью ли Абрамовну. Многие советовали ей завести себе более смирных коней, но Ромоданова всегда отвечала:

— Я не мещанка, чтобы с кнута ездить.

Два высоких, красивых гайдука ловко влезли на запятки кареты. Вся свита барыни полукругом осталась на подъезде и проводила глазами высокую, тяжело колыхающуюся на рессорах колымагу.

Когда экипаж выехал за ворота и шибко двинулся по улице, вышедшие из дома стали расходиться.

Молодой барин стоял на краю подъезда, смущенный, опустив голову, неподвижно и, глубоко задумавшись, продолжал глядеть на ворота, где исчезла сейчас карета бабушки.

— Что, соколик, сгрустнулось,— выговорила около него полная женщина, с толстым, немного красноватым лицом.

Это и была его воспитательница Анна Захаровна, барская барыня.

— А как же не грустить? Вы как бы думали? Этакое глупство затеять?.. Богатейшего вельможи внука да в монахи отдавать... За это и барыню, и вас, а пуще всего вас... розгами бы... Да! розгами! Да еще моченными в квасе...

Это выговорил дворовый Иван Дмитриев.

Анна Захаровна только отмахнулась рукой. Говорить или спорить с Дмитриевым все считали в доме невозможным: это было все равно что воду толочь. Во-первых, все знали его особую страсть противоречить во всем, всегда и всем, потом знали, что Дмитриев за словом в карман не полезет. Если он мог постоянно грубить барыне, то с остальными, конечно, дозволял себе все, что хотел.

Единственное лицо в доме, никогда не слыхавшее от Дмитриева дурное слово,— был молодой барин.

— Чем же плохо будет Абраму Петровичу в монастыре? Выстроит себе келью свою...— заговорил отец Серапион, появившийся тоже в кучке, столпившейся на подъезде.

— А ты бы уж, отче из турок, помолчал лучше!— огрызнулся Дмитриев на монаха-кавказца.— Тебе это на руку. Ведь тебя прочат с барином в пустыне-то на житье... Ну да, нехай, пусть идет в послушники. Помрет барыня, так мы рясу-то вывернем наизнанку, и выйдет у нас капральский мундир.

— И как ты,— вдруг вскрикнула Анна Захаровна,— смеешь этак говорить про барыню! Дай Бог ей еще сто лет здравствовать!..

— Не кричи — перекричу!— тихо, но грубо отозвался Дмитриев.— А сметь я стал, когда еще ты не смела

утереть носу без спросу! Ты ведь, поганая, с ним, туркой, да с немцем выдумали первого московского жениха и молодца в монастырь упрятать. Я бы тебя самое в схиму бы посвятил да живую бы в Киево-Печерской лавре в пещерах зарыл по горло в землю или бы замуровал в стену по пояс. И была бы ты у меня, волей-неволей, Анной-столпницей! Уж там бы не стала об женишках помышлять!

Анна Захаровна махнула рукой и отвернулась. Стоило только кому-либо ее попрекнуть ее заветными мечтами о замужестве, и она тотчас отступала побежденная.

Дмитриев обернулся к барину и потянул его за руку.

— Пойдемте мы с вами ко мне, раскинем мыслями, как нам в монастыре-то пристроится, чтобы скоромничать вволю.

И Дмитриев увел Абрама к себе в горницу.

Отец Серапион вместе с Анной Захаровной отправились в горницы барской барыни, где уже был приготовлен самовар.

Едва только приятели уселись за чай, как явилась в горницу одна из бесчисленных сенных девушек и стала оглядывать всю комнату.

— Ты что?— рассердилась Анна Захаровна.

Она не любила, чтобы ее беседы наедине с отцом Серапионом нарушались кем-нибудь из дворни.

— Да вот, позволите видеть,— начала горничная,— я насчет Василья Васильевича... он у вас?

— Видишь, что нет.

Горничная вышла из горницы, встретилась в большой прихожей с дворецким дома и сделала ему тот же вопрос:

— Николай Кузьмич, не видали ли вы, где Василий Васильевич?

— Нет, не видал.

Горничная отправилась далее. К ней навстречу бежала крошечная и дурнорожая Тронька и издали уже кричала.

— Там нигде нет, мы обежали все горницы.

Через несколько минут в большей половине дома Ромодановой сновали десятки смущенных людей — дворовых, горничных — с одним и тем же именем на языке. Всех занимало одно: где Василий Васильевич? Не прошло и десяти минут. как уже весь дом, десятки народа, начиная от самой Анны Захаровны и отца Серапиона и кончая арапкой и каракалпачонком Ахеем, все было на

ногах. Многие выбежали на двор, некоторые даже на улицу, и везде повторялись одни и те же слова:

— Василий Васильевич! Пропал! Нету!!

Добрая и ласковая барыня была Марья Абрамовна, никто ее особенно не боялся и особенно не любил, но все поняли теперь, что на свете всему есть границы.

Можно было иногда ей грубить, можно было иногда не исполнять в точности ее приказаний, но допустить пропажу Василия Васильевича было уже нельзя. Все были перепуганы. У Марьи Абрамовны все-таки бывали в жизни минуты и даже дни, в которые она круто и безжалостно поступала с своими рабами.

Теперь невольно и вдруг все вспомнили, как за два года перед тем две семьи дворовых пошли в Сибирь из-за того, что маленькой собачонке барыни перебили лапку.

Большая часть всего люда, населявшего большой дом Ромодановой, тотчас бросилась со двора и рассыпалась по всем соседним улицам, расспрашивая и разузнавая, где может быть беглец.

Между тем Марья Абрамовна сидела уже в приемной московского преосвященного. И старый, седой как лунь монах пошел доложить о ней и еще не возвращался. Барыня и не подозревала, но чуяла сердцем, какое страшное несчастие случилось за ее отсутствие в ее доме. Василий Васильевич был ее первый и неизменный друг, разделявший даже ее вдовье ложе.

XV

Ивашке совсем не везло в Москве. В недобрый час, знать, приехал или треклятая старуха ведьма сглазила его. Поступил он в услужение к больному офицеру. Житье было плохое, впроголодь, ибо кормили плохо. Денщик-солдат все сулил Ивашке, что выздоровеет барин — будет житье лучше, но офицер становился день ото дня все плоше.

В первый день, что Ивашка поступил, больной был еще на ногах, и Ивашка его видел; но офицер тотчас же приказал денщику парня к себе в спальню не пускать, чтобы незнаемый человек чего не украл. Ивашка так обиделся, что хотел даже уходить. Дня через три офицер совсем слег в постель и уже не вставал, а еще через два дня не отходивший от любимого барина денщик просил Ивашку помочь кое-что убрать в горницах в спальне.

— Да ведь как же быть? Ведь он не приказывал к нему входить,— заметил Ивашка.

Денщик махнул рукой.

— Не бойсь, не увидит... Он уж не в себе. Так его захватило, что ничего не смыслит и околесицу несет.

Действительно, убирая горницу, Ивашка взглянул в спальню и увидал на постель офицера. Молодой барин настолько переменился за несколько дней, что Ивашка подумал, не другой ли лежит на кровати. Одно только поразило Ивашку: рука офицера и плечо, высунувшиеся из-под одеяла, напоминали ему его старую спутницу. Ивашке показалось, что те же самые черные пятна, какие видел он на старой ведьме, были и на офицере. Но Ивашка сам себе не поверил.

— Этакая пустяковина какая в голову лезет!— подумал он.— Та была хворая, и этот хворый — это верно. Но чтобы у них у обоих одна и та же хворость была — это совсем пустое.

Наутро Ивашка снова должен был войти в горницу больного.

Офицер не спал, глядел во все глаза, но лежал неподвижно, даже глазами не шевелил, и опять показалось Ивашке, что у него такие-же кровью налитые глаза, какие у той бабушки были.

Денщик от усталости и бессонных ночей около барина тоже прихворнул и с утра лежал в кухне, на ларе. Лекарь и два фельдшера, лечившие офицера, стали бывать чаще; фельдшера стали уже ночевать, говоря, что долго не продежуришь: скоро больному конец.

Наконец, на второй день после того, что денщик захворал, а Ивашка его заместил, лекарь, навестивший больного, подошел при Ивашке к кровати, ощупал больного и щелкнул языком.

— Готово!— выговорил он.

Офицер был мертв.

Ивашке, недавно нанятому пришлось хлопотать о похоронах, потому что денщик лежал в кухне в бреду и нес такую же околесицу, как его барин несколько дней назад.

Так как Ивашка, только что приехавший в столицу, ничего не мог сделать один, то лекарь дал ему в помощь одного фельдшера. Нашлись у офицера в шкатулке коекакие деньги. На них его и похоронили, дав предварительно знать в полицию, а равно и в военный госпиталь.

Приехал доктор, важный, с орденами, расспрашивал

фельдшеров и лекаря, как и отчего помер офицер. Они рассказали.

— Чудно,— сказал важный доктор,— это, должно быть, горячка, да из самых скверных, гнилых.

Денщика, который был в безнадежном состоянии, по приказу важного доктора, положили в тележку и отвезли в военный госпиталь, на Введенские горы. Ивашка вдруг остался опять без места,— хоть на улице ночуй! Не зная, что делать и не желая идти на хлеба к Воробушкиным, Ивашка обратился с просьбой к лекарю.

— Что же, пожалуй,— отвечал тот,— иди ко мне из-за харчей, а жалованья я тебе положить никакого не могу. Я человек бедный.

Ивашка тотчас согласился. Он рад был найти хоть кров.

На другой день он был уже на квартире лекаря, человека холостого, одинокого и очень доброго. Через два дня после поступления, проснувшись утром, Ивашка стал по приказанию будить нового барина. Лекарь поднялся, напился чаю, но опять лег спать, жалуясь на смертельную боль в голове.

«Скажи на милость!— подумал Ивашка.— И этот захворал».

— Что это у вас здесь, в Москве народ какой все хворый! — заметил Ивашка в разговоре с фельдшером.

— Нет! — отозвался фельдшер.— Мы в Москве — ничего. А я вот так полагаю, что та самая офицерская горячка, что ни на есть заразительная, оттого и денщик захворал, и лекарь. Да и я, признаться сказать, что-то себя плохо чувствую.

Наутро новый барин Ивашки не вставал с постели, а фельдшер все жаловался, что ему очень не по себе и к вечеру тоже слег.

Через три дня Ивашка вдруг очутился в новой квартире один с двумя покойниками. Послали его в этот день на рынок купить яиц и капусты; когда же он вернулся, то нашел фельдшера мертвым, а барин-лекарь при нем последний вздох испустил.

Старуха, хозяйка дома, взяла на себя распорядиться похоронами.

— А ты, паренек,— сказала она Ивашке,— убирайся на все четыре стороны! У тебя, должно быть, глаз скверный. Останешься здесь — и меня сглазишь, и я помру. Уходи да и не заглядывай ко мне в дом!

Ивашка опять очутился на улицах Москвы, на морозе, без дела, без крова, да вдобавок еще гододный.

«Мудрено здесь жить,— думал он, грустно и тихо двигаясь по незнакомым ему улицам.— Уж лучше бы на село, просить мир, чтобы назад пустили. Буду старательно работать, хоть мужицкое дело и не под силу. А все-таки лучше, чем здесь, в столице, из дома в дом мыкаться».

Более всего занимало и беспокоило Ивашку то обстоятельство, что он как будто всем, к кому поступал,— приносил несчастье.

«Оно и в самом деле,— думал он,— глаз у меня, должно быть, скверный. Ведь хозяйка-то правду сказала...»

И он вдруг остановился среди улицы: это соображение перепугало его. Выгнанный старухою из дома, он поневоле шел теперь к Воробушкиным просить пристанища, хоть дня на два. Уля может его к себе в горницу пустить. Но соображение, что если у него этакий глаз — он может тоже сглазить Улю или Капитона Иваныча,— испугало его.

Ивашка остановился, сел у ворот первого появившегося дома и не знал, что делать. Голод его мучил, а куда идти и как быть — он не знал. Он начал соображать и рассуждать сам с собой.

«Ведь по приезде в Москву был же он у старых господ и у дорогой Ули? Ведь не сглазил же их. Правда! А ну, как теперь сглазит!.. Нет, негодно это!.. Не пойду я к ним!» — решил Ивашка.

Просидел он около часа у неизвестного ему дома. Голод все сильнее сказывался в нем, да вдобавок как-то голова отяжелела, стало нездоровиться.

Сколько просидел бы тут Ивашка — мудрено сказать, если бы к нему не подсел, чтобы отдохнуть по дороге, какой-то человек с большущими очками на носу и в длинном кафтане. Барин не барин, да и не простого звания.

Глянув пристально в бледное лицо парня через свои большущие очки, вновь подсевший спросил его:

— Кто ты таков? Откуда?

Ивашка объяснился.

— Те-те-те! — проговорил подьячий. Это был Мартыныч.— Вон как! гора с горой не сходится, а люди-то как, бывает, могут встренуться... А я чуть не прямехонько из дома твоих старых господ — Воробушкиных.

Однако Мартыныч, прежде чем начать говорить, порасспросил Ивашку и, когда узнал все, что было ему нужно, не сказал Ивашке ни слова о продаже его молочной сестры. Помолчав немного и пораздумав, Мартыныч, как-то хитро ухмыляясь, спросил:

— Так в животе-то пусто? Бурчит? Голоден?

— Да-с, со вчерашнего дня маковой росинки не видал.

— Ну, иди за мной. Я тебя накормлю. Только ты, братец мой, не пеняй — даром кормить не стану. Мне давно нужен верный человек и трезвый. Ты у меня на побегушках будешь... У меня делов много... Посылать приходится в разные концы, везде сам не добежишь. Вот я тебя за мой хлеб и буду рассылать, да, окромя того, с тебя что-нибудь еще получу. У тебя тут что, в мешке-то? Какое добро?

Ивашка развел руками. В его небольшом мешке, кроме всякого тряпья, ничего не было. Только и была одна шапка из хорошего бобра с меховым околышком, которую ему позволили взять после покойного офицера, в виде жалованья за прослуженные дни.

— Какое же у меня добро?— сказал он,— вот шапка есть. Коли желаете, извольте...

— Покажи.

Ивашка живо развязал мешок, отыскал в тряпье шапку меховую и подал Мартынычу.

Мартыныч примерил ее; она пришлась как раз на его лысую голову. Он даже обрадовался и весело хлопнул рукой по голове и по шапке.

— Ладно, шапка моя, а я тебя за нее месяц буду даром кормить. Ну и посылать тоже, парень, буду — страсть!.. Верст ты мне двадцать пять верных за день набегаешь.

— Этого я не боюсь,— повеселел Ивашка.

Через несколько минут Мартыныч и Ивашка уже входили в небольшой домик подьячего. Их встретили пожилая женщина и целая орава детей более дюжины и всех возрастов, мал мала меньше.

— Вот вам нового батрака привел,— заявил Мартыныч,— звать Ивашкой. Только, чур, ты его, Марфа Герасимовна,— обратился он к жене,— по хозяйству не помыкай... Он у меня в гайдуках будет состоять и на посылках.

XVI

Новое место очень понравилось Ивашке. С следующего дня началась его служба, состоявшая в том, что он бегал из конца в конец по всей Москве с разными поручениями от своего нового барина.

Одна только беда была: все как-то нездоровилось Ивашке; то полегчает, то опять хуже. На третий день после поступления на новое место ему совсем было скверно; просто ноги не ходят и голова как свинцом налита.

День этот был суббота, и много людей попадались Ивашке краснорожих, с вениками под мышкой. Ему пришло тоже на ум пойти в баню.

Здорово выпарившись на полке, Ивашка еще с двумя другими мещанами, ради потехи, выскочил на мороз, вывалялся в сугробе, и опять полез на полок париться.

Ночью его всего исковеркала лихоманка, но на другой день утром, встав пораньше, чтобы успеть побывать у ранней обедни, Ивашка в церкви только вспомнил о своей хворости. Здоровехонек был малый. В тот же день, несмотря на воскресенье, Мартыныч послал его с новым поручением.

— Ты мне ныне, хоть и в воскресный день, одну посылочку отхватай. Только одну!

Эта одна посылочка была зато хорошая. Мартыныч послал Ивашку в военный госпиталь, на Введенские горы. Ивашка отправился с радостью.

«Узнаю там,— подумалось ему,— про того денщика офицерского... Коли он здоров, так, может, мне опять местечко с жалованьем достанет».

Передавая какую-то бумагу от Мартыныча самому главному доктору госпиталя, Шафонскому, Ивашка увидел, что он ему знаком.

— Эй, парень,— сказал главный доктор,— да я тебя видал. Ты, никак, был в услужении у того офицера, что помер в Лефортове?

— Точно так-с.

— Ну, а ты что? Здоров?

— Слава Богу-с.

— Ну, счастлив ты.

Ивашка хотел было спросить о денщике офицера, но не успел и рот раскрыть, как Шафонский сам сказал:

— А твой, брат, товарищ, солдатик-то, давно помер от той же болезни.

Ивашка ахнул.

«Вот тебе и денщик! — подумал он, — а я его было о месте хотел просить... Он мне теперь, кроме как на том свете, никакого не достанет».

Ивашка даже усмехнулся.

«Нет, этакое место зачем? — подумал он. — Этакое место я всегда успею сам себе достать».

— Это еще что, он помер — это не важно, — продолжал Шафонский. — А вот что скверно: болезнь-то свою гнилую занес, кажется, он к нам в госпиталь. Тут у меня уже семь человек больны той же самою гнилою хворостью.

Ласковый доктор отпустил Ивашку и велел передать Мартынычу на словах, что по известному делу сам заедет дня через два.

Уже в сумерки вернулся Ивашка на квартиру и, войдя в дом хотел было пройти в горницу, где всегда работал новый его барин, но Марфа Герасимовна остановила его.

— Что тебе? Не ходи. Не велел себя тревожить. Ему что-то нездоровится.

Марфа Герасимовна сказала это самым простым и спокойным голосом, не переставая вязать чулок, но Ивашка от этих слов ахнул во всю глотку и руками всплеснул.

— Что ты, что ты! — оторопела хозяйка.

Но Ивашка и сам не знал, что отвечать. Его нежданно, сразу поразила мысль, что новый, уже третий хозяин, тоже захворал.

Мартыныча ему, конечно, было не жаль, но его перепугала мысль, что если бы он решился отправиться к Уле, то наверное сглазил бы ее, и теперь она была бы хворая.

— Вот что, Марфа Герасимовна, — начал Ивашка решительным голосом, — я от вас уйду совсем.

— Что ты! — удивилась опять хозяйка.

Ивашка объяснился подробно и откровенно. Марфа Герасимовна была женщина добросердая, толковая, ей жаль стало парня.

— Что ты, голубчик, этакой вздор мелешь!.. Все враки. Нешто глаз есть? нешто здорового человека глазом сделаешь хворым? Все пустое... Оставайся...

Но Ивашка упорно стоял на своем.

— Да ведь он, поди вечером встанет здоровехонек! — уговаривала его хозяйка, — ведь ему так только малость

прихворнулось. Это даже с ним часто бывало, только вот ныне на голову жалится, а то, бывало, на ноги жалился. Полно, пустое все...

Но Ивашка уперся, как осел, пошел за своим мешком и, взвалив его на плечи, пришел прощаться.

— Нет уж что ж! Бог с вами! Вы были до меня ласковы. Уж такая моя несчастная судьба. Пойду уж куда-нибудь, найду себе пристанище, а то от этакого греха на село вернусь. Там у меня этакого глаза не было. Это меня под Москвой одна старая ведьма испортила.

— Ну, как знаешь, Господь с тобой! — выговорила Марфа Герасимовна.

Но когда Ивашка был уже на улице, она выбежала за ворота и стала его звать.

— Стой, стой... Шапку! Шапку возьми!

— Какую шапку?

— А вот шапку твою... как же можно, за что же? Мы грабители, что ли! Ведь ты шапку отдавал за харчи, за целый месяц, а теперь уходишь. Бери, бери...

Ивашка было стал отказываться, но хозяйка настаивала на своем. Стащила с него мешок, развязала его сама и сунула туда шапку.

У Ивашки не было ни гроша денег; единственная вещь, которая могла дать ему возможность прокормиться несколько дней, была эта шапка. Он подумал, согласился и даже поблагодарил добрую хозяйку.

XVII

Пройдя две-три улицы, Ивашка остановился.

— Господи помилуй! — выговорил он вслух.— Что же это такое? Что же мне теперь делать? Неужто в самом деле у меня этакий завелся глаз треклятый? Ведь теперь грешно, выходит, и поступать к кому-нибудь, коли этак всякий хозяин от меня заболевать будет.

В конце улицы Ивашке попала на глаза маленькая церковь, выкрашенная ярко-красной краской. Народ толпился на паперти, и многие с двух сторон улицы входили в церковь.

Ивашка почти бессознательно побрел тоже и вошел в маленькую церковь.

«Богу помолиться,— подумал он,— свечку поставить не на что, ну, так хоть помолюсь. Авось Бог милостив — надоумит, как мне с собой быть».

Церковь была крошечная и битком набита народом. В ней шла всенощная накануне престольного праздника.

Ивашка любил Богу молиться, даже любил прислуживать священнику и часто помогал церковному старосте у себя на селе. Их отец диакон, человек сердитый, так вымуштровал Ивашку, что он знал теперь службу церковную лучше иного священника. Ивашка, найдя уголок в церкви, сложил свой мешок, а сам пробрался к царским вратам и, тотчас став на колени и осеняясь крестным знамением, начал класть земные поклоны.

Отвесил он поклонов сотню, слегка поясница устала, и он встал на ноги, вздохнул и грустно оглядел весь иконостас, кучу свечей восковых и дивные большие образа, которые так и сияли, так и вспыхивали, будто искру золотистую сыпали ему в глаза.

«Ишь какие церкви на Москве! — невольно подумал он.— Не то что наш храм на селе. Черненький, серенький, по крашеному старому полу будто тропинки протоптаны. А тут и полы-то сияют...»

Вспомнив, что он занят грешными мыслями, Ивашка снова стал креститься и прислушиваться к службе. Через минуту он опять задумался о том, как ему быть, куда идти. Когда кончится всенощная — хоть на улице ночуй.

И не успел Ивашка додумать свою думу о том, куда деваться, как невольно вытаращил глаза, разинул рот, забыл молиться, забыл думать о своем горе, забыл о храме и о службе церковной.

Шагах в двух от него, перед ярко сияющим образом иконостаса, в лучах десятков пылающих свечей, стояла на коленях перед престольным образом Божией Матери только что тихо подошедшая и опустившаяся на колени барыня.

С тех пор, что Ивашка был в Москве, он много видел барынь всякого рода. И таких, что пешком ходят, и таких, что в золотых каретах проезжают, но этакой он еще ни разу, не только в Москве, но и во всю свою жизнь никогда не видал. Ни лица этакого удивительно белого не видел он, ни этаких черных, как уголь, и сияющих, не хуже свечей, глаз. Ивашка с тех пор как себя помнил, любил заглядываться на красавиц, которых было на его родной стороне немало. И здесь, в Москве, несмотря на свое горькое мыканье с квартиры на квартиру да возню с покойниками и похоронами, он все-таки не раз заглядывался на разных красавиц, и богатых, и бедных,

и простых, и вельможных. Падок был парень на красоту женскую до страсти! Но ни одна из виденных красавиц не производила на него такого впечатления, как эта барыня на коленях перед Богородицей, ярко сияющей в лучах паникадил.

— Ах ты, Господи!— прошептал Ивашка,— вот так барыня!— И вдруг он прибавил уж громко: — Вот красота-то! Ах ты, Господи!..

Стоявшие около Ивашки обернулись на него. Какая-то старуха заворчала, дураком обозвала, но Ивашка ничего не заметил и не слыхал, потому что сама барыня, невольно слышавшая его восклицание, прервала молитву и вскинула на него своими чудными глазами. На одно мгновение сверкнули эти глаза на Ивашку, и снова отвернулись, и снова смотрели на образ. А Ивашка глубоко, тяжело вздохнул от этого мгновенного взгляда, и вздохнул так, как если бы его кто со всего маха ударил кулаком в грудь.

— Помилуй Бог!— проговорил он чуть слышно, как с перепугу.

И вдруг действительно страх на него напал. Этакого, что делается теперь у него на сердце, никогда с ним и не бывало. Колдовство, что ли?! В храме-то Божием?! Нешто в храм колдунья залезет?

Так или иначе, но Ивашка невольно попятился от амвона и успокоился лишь тогда, когда очутился среди густой толпы.

Но все-таки глаза его были словно колдовством прикованы к этой барыне, которая не спеша, и усердно, и важно молилась на коленях, кладя медленные поклоны. И так до конца всенощной простоял Ивашка, не спуская глаз с этой барыни и следя за всеми ее движениями через головы молящихся прихожан. Скоро ли кончилась всенощная — он не помнил и не знал.

Вкруг него стала толпа редеть, церковь пустела, а барыня все стояла на коленях перед образом, будто задумалась или все молилась, и поодаль от нее оставался один Ивашка на своем месте. И вдруг сердце в нем стукнуло и душа в пятки ушла.

Барыня поднялась, обернулась и пошла прямо на него. Шла одна, должно быть, мимо, но, увидя малого, который прервал ее молитву своим восклицанием, она остановилась перед ним.

Глаза ее здесь, среди потемневшей церкви от поту-

шенных свечей, все-таки страшно сияли, будто в них был свой огонь неугасимый.

— Ты это сказал? Ахнул про красоту? — выговорила она тихо.

— Я, — еле-еле отозвался Ивашка.

— Про меня?

— Про вас! — еще тише пролепетал Ивашка.

— Нехорошо! Грешно в храме Божием мирские помыслы иметь. Будь то на улице, — пожалуй. В храм ходят молиться. А коли уж не то на уме, то лучше не ходить.

Но, знать, у Ивашки был какой-нибудь особый вид, несчастный и горемычный. Барыня хотела было идти, но вдруг опять остановилась, смерила его с головы до пят, вгляделась в его бледное лицо, большие, добрые, серые глаза и спросила: кто он и откуда. Ивашка объяснился.

— Ну, иди за мной! Я тебя к себе в услужение возьму.

Ивашка отмахнулся обеими руками.

— Избави меня Бог и помилуй! Что вы! Вас-то чтобы я на тот свет отправил! Да Бог с вами...

Не сразу объяснился Ивашка, не сразу поняла его красивая барыня, но когда поняла, то едва заметно усмехнулась, положила ему руку на плечо и промолвила:

— Ну, коли дело только в глазе, так иди!

И она так взглянула ему в глаза, что у Ивашки в голове помутилось.

Он вышел из церкви вслед за новой хозяйкой. Она шла медленно и ни разу не обернулась. Казалось, что тяжелая и горькая дума не выходит из ее головы.

У Ивашки тоже была своя дума, и тоже тяжелая, но уж не глаз его смущал. Ивашку смущала барыня, его околдовавшая своим видом, своим взглядом, своим словом... Когда она остановилась у ворот большого каменного дома и красавица барыня приказала ему стучать кольцом, то тут только Ивашка вспомнил, что забыл в церкви свой мешок. Новая хозяйка вошла во двор, отпустила его за мешком в церковь, но наказала непременно быть назад. Ивашка обещался и чувствовал, что ослушаться ее у него и мочи не будет.

Живо сбегал он в церковь, которую уже запирали. Пономарь пустил его, но никакого мешка не оказалось.

— Ротозей, — сказал пономарь, — ведь тут Москва.

— Что Москва? — спросил Ивашка.

— Еще спрашивает! что Москва!.. У нас не зевай. В Москве-матушке не токмо мешок, а зубы изо рта украдут, коли зазеваешься.

XVIII

За Москвой-рекой, в начале Ордынки, издали виден был, среди рядов маленьких деревянных строений и домишек, большой каменный дом, белый, как снег, почти боярские палаты.

Дом этот стоял в глубине большого двора, а за ним виднелись высокие, голые стволы столетних дерев, которые летом превращались в целую рощу.

Трудно было найти кого-нибудь не только в Замоскворечье, но и во всей Москве, кто не знал бы, чей это дом. И старый фельдмаршал, генерал-губернатор Москвы, и всякий лавочник могли бы с удивлением отвечать на вопрос:

— Чей дом?! Мирона Митрича дом!!

Если спросить, кто такой Мирон Митрич, то всякий важный вельможа, дворянин и чиновник отвечали бы, пожимая плечами, насмешливо улыбаясь, что это — всем известный купец первой гильдии Артамонов, собственник тоже известного Суконного двора, что у Каменного моста. А вместе с тем,— собственник золотых приисков где-то там далеко, в Сибири.

Многие острили при этом, что хорошо бы было собственника послать в его поместье.

Наоборот, если бы обратиться с вопросом: что за человек купец Артамонов?— к кому-либо из московских мещан, простолюдинов, вообще к черному народу, то всякий из них, сладко улыбаясь, отвечал бы:

— Это Мирон Митрич. Это человек вот какой! Хороший человек! Золотой! Благодетель!..

Высокий каменный дом виднелся через высокие каменные ограды, но ворота были всегда и днем и ночью на запоре. Во дворе были всегда спущены три цепные собаки, которые всякого незваного гостя изорвали бы в минуту.

Купец Мирон Артамонов, известный всей Москве и даже в окрестностях Москвы как первый богач, пришел в Москву четырнадцати лет, босой, с мешком, в котором была краюха хлеба, пара лаптей и пара онуч, из коих и состояло все его имущество.

Мирошка, мальчуган смышленый, бойкий, поступил в лавочку, где был на побегушках года два. Потом сделался приказчиком в лавке богатого купца Докучаева. К двадцати годам Мирошку стали звать Мироном, что случалось не со всеми,— другие и до пятидесяти лет оставались Ваньками и Петьками. Мирон, двадцати лет красивый юноша, здоровый, никогда не хворавший, сильный, крепкий, умный и особенно смелый на словах, был уже главным приказчиком, почти управителем всех торговых дел купца Докучаева. Через десять лет Мирон уже был пайщик Докучаева. В тридцать пять лет Мирон сделался Мирон Митрич. Но этого еще мало; он сделался зятем того самого купца, к которому поступил в мальчики на побегушках.

Теперь у Мирона Артамонова, купца первой гильдии, было состояние вдвое-втрое больше, чем у наследников его тестя. Если он оставался владельцем половины Суконного двора, то ради того, чтобы своим выходом не разорить окончательно своих шуринов.

Но не одно богатство, нажитое честным образом, сделало Артамонова известным. Когда заходила речь о его состоянии, приобретенном без всякого мошенничества, то всякий равно соглашался, что такому человеку, как Мирон Митрич, немудрено было нажиться. Кому же тогда и наживаться? Ума — палата, нравом — кремень, жизнью — монах или пещерный пустынник, речью — что твой генерал или сановник.

Действительно, Артамонов почти с двадцатилетнего возраста отличался такой энергией, таким толковым и пытливым разумом, такою простотою не только в обыденной жизни, но даже в одежде и в пище, что трудно было найти ему подобного.

На слова Мирон был скуп, но резок; мало скажет, но так скажет, что отрежет. Кажется, с самой царицей, если бы пришлось, Артамонов за словом в карман не полез бы. Многих в Москве вельмож, и сенаторов, и генералов случалось ему так отбрить, что они всю жизнь оставались его врагами.

Женился Артамонов на дочери своего хозяина и покровителя не по любви и даже не по собственной воле.

Богач Докучаев, которому дороже всего в мире было его нажитое с трудом состояние, искал для единственной дочери, наследницы всего, такого мужа, который бы не мог не только разориться, но мог бы приростить капитал. Лучше выбрать было нельзя. С тех пор, что Артамонов

был у него приказчиком, состояние уже втрое увеличилось. Богатый купец, сам сосватав свою дочь, выдал ее замуж за своего приказчика и, не стесняясь, объяснил всем, что тут дело идет не о дочери, а о капитале.

Года два спустя после свадьбы дочери у пожилого Докучаева вдруг родился сын, потом другой и третий. Дочь перестала быть единственной наследницей, но Докучаев не жалел, что приобрел в Артамонове зятя. Состояние его росло не по дням, а по часам.

Сам молодой Артамонов жены не любил, но жил мирно. Жена была женщина недалекая, болезненная, но тихая и крайне богомольная.

Каждый год родились у нее дети, но все хворые, слабосильные и все умирали на седьмом и восьмом году. Всех их было четырнадцать человек, но в живых осталось теперь только четыре. Артамонов относился ко всем детям совершенно равнодушно, да ему и некогда было; занятый своими торговыми оборотами, он едва успевал заехать домой пообедать и отдохнуть, чтобы снова отправиться по делам.

После родов последнего из детей хворая Артамонова умерла. Последний ребенок, сын, был назван Дмитрием, тем же именем, что назвали когда-то первого сына, давно умершего.

Оставшись вдовым, с двумя большими сыновьями, с дочерью, уже молодой девушкой, красавицей, и с новорожденным младенцем, Артамонов вдруг стал заниматься с детьми, более чем прежде. Однако двух старших сыновей, Пимена и Силантия, Артамонов не любил. Оба были парни не только недалекие, но даже глуповатые, ни на что не способные, хотя каждому из них было теперь лет под тридцать. Артамонов звал их в насмешку «миндали», журил изредка и постоянно посмеивался над ними.

Красавицу дочь, свой живой портрет, он любил с каждым годом все более и более, потому что видел в ней ясно выраженные задатки своего собственного характера.

Действительно, красавица Павла Мироновна была как две капли воды похожа и лицом, и характером на своего отца. Но более всех любил и даже обожал Артамонов своего последнего сына, мальчугана странного, почти диковинного, развитого не по летам, удивлявшего своим ранним рассудком всех родных и знакомых.

Любимец Митя был мальчик худой, бледный, слабо-

сильный; по сходству лица напоминал мать, но нравом был тоже в отца. Во сколько старшие сыновья, Пимен и Силантий, не смели пикнуть в доме и боялись отца, как огня, во столько Павла и даже мальчуган Митя пользовались полной свободой и даже иногда не слушались отца.

Митя особенно был независим, и часто случалось одиннадцатилетнему мальчугану говорить отцу:

— Ты, тятя, этого не смыслишь, а я вот знаю... Вот как надо...

И действительно, иногда Артамонов был поражен справедливостью замечания ребенка. Часто бывало, что его тридцатилетние сыновья наглупят в чем-нибудь, Артамонов призвал их на ответ и, сидя под образным углом, судил их и заставлял Митю судить.

После приговора, произнесенного Митей, Артамонов журил больших сыновей и прибавлял:

— Миндали вы, миндали! Поучитесь вот уму-разуму у братишки махонького!

Только Павлу не смел Митя судить. Впрочем, и отец, и братишка равно обожали ее. Когда Павле минуло двадцать лет, она собралась замуж за молодого, красивого приказчика своего отца, Барабина. Артамонову не хотелось иметь Барабина зятем. Он считал своего приказчика и наперсника хотя и очень умным и толковым малым, но злым и жестоким.

Когда поднялся в доме Артамонова вопрос о сватовстве Барабина, то год целый происходила тихая, едва заметная борьба между отцом и дочерью. Мирон Артамонов и Павла друг другу уступить не могли: нашла коса на камень. Это боролись два Мирона Артамоновых между собой.

Несмотря на то что Барабин сватался не из-за состояния дочери своего хозяина, а был действительно в нее безумно влюблен, Артамонов боялся за будущность своей единственной дочери-любимицы. На все доводы дочери он противопоставлял только то соображение, что Барабин человек умный, дельный, но бессердечный, злой человек. Молодая девушка видела в женихе только очень сильно влюбленного в себя молодца,— из ряду вон красивого.

Через год борьбы Артамонов уступил. Павла вышла замуж.

Артамонов, оставшись с двумя глупыми сыновьями и с одиннадцатилетним Митей, который все умнел не по дням, а по часам, стал меньше заниматься делами, и

жизнь его делилась между горем и радостью,— горем от несчастной семейной жизни любимой дочери и радостью от любимца мальчугана.

Теперь со свадьбы Павлы прошло уже три года. Жила она с мужем из рук вон плохо, была вполне несчастлива, и вся ее жизнь, все заботы и помыслы ушли на полуторагодового ребенка.

Отношения между Артамоновым и зятем были холодные, суровые. Артамонов не любил и не уважал своего зятя. Барабин тоже недолюбливал строго судившего его тестя и был уверен, что все его несчастье семейное происходит от тайных советов Артамонова.

Тит Барабин был странный человек. Умный Артамонов ошибался, считая его злым. Это мнение основывалось на том, что Барабин слишком строго часто обращался с сотнями фабричных на Суконном дворе своего тестя.

Между тем эта строгость и это жестокосердие происходили оттого, что Барабин не прощал слабостей людских. Леность, праздность, пьянство и всевозможные мелкие пороки людские находили в нем всегда лютого врага, тем более что всем этим слабостям он сам не был подвержен.

Несчастье семейной жизни с женщиной, которую Барабин любил до страсти, заждилось на том, что Барабин был до безумия ревнив и страшно вспыльчив. С первого же года женитьбы все ссоры мужа с женой происходили из ревности, и в минуту пыла он был способен на все.

Однажды он бросился на Павлу с ножом и едва не ударил ее в горло... Затем целых два месяца провел буквально у ее ног, вымаливая себе прощение.

Павла, сначала обожавшая мужа, понемногу измучившись, начинала охладевать, понимала, что с таким мужем трудно ужиться. Сначала она пробовала уничтожить всякий повод к ревности, запиралась дома, никого не видала, никуда не выходила в гости, жила совершенно затворническою жизнью. Но это не помогло. Когда не к кому было ревновать, Барабин ревновал к возможности неверности жены в будущем. За последнее время Барабин ревновал жену, бывавшую только в церкви и у отца,— к священнику, к дьякону, даже к нищим на паперти и на особый лад ревновал к ее отцу: был уверен, что она ходит туда жаловаться, плакаться. Он был уверен, что жена его, которую он обожает, его не любит,

даже ненавидит, что она с ним несчастлива и жалеет о своем девичестве, и это озлобляло его. Он упрямо хотел быть счастливым и хотел, чтобы она была тоже счастлива.

Каждое утро и каждый вечер он клялся и обещался себе самому ни к кому не ревновать жену и исполнять ее малейшие прихоти, ласкать и обожать ее от зари до зари. И всякий день бранился с ней, мучил ее и мучился сам.

Так или иначе, но умная, пылкая и богато одаренная Павла была несчастлива, тайно недовольна своим существованием. Она не жаловалась, потому что сама так устроила свою жизнь, и старалась в любви к своему ребенку найти утешение от всех домашних бурь.

Но так как при двух мамушках, приставленных к ребенку, дела и забот ей было мало, свободного, праздного времени много, то блуждающая горячая мысль ее долго бродила и наконец нашла себе пищу во всем том, что мог ей дать храм Божий со всеми его бесконечными обрядами, милостынью, нищими, монахами, постами, грехом, адом... Но и здесь Павла не была утешена вполне, не нашла полного удовлетворения тому, чего страстно искала ее блуждающая в полутьме мысль.

За последнее время она часто приводила из церкви домой разных нищих и блаженных, чтобы накормить, оделить и снарядить в дорогу куда-нибудь в Киев, к Макарию или даже и на Афон.

Однажды привела она из церкви какого-то чудного нищего. Он был чрезвычайно дурен собой, лет за пятьдесят, кривой, хромоногий, но в одном его глазе светилось, горело столько удивительного огня, столько ума и силы, что Павла была не на шутку поражена им.

Муж, взглянув на такого красавца, позволил ей оставить нищего у себя в доме. Кривой и хромой взломщик-бродяга прожил в доме Барабиных целый месяц и ушел в какой-то монастырь за границами русского государства.

Но пребывание его в доме не прошло бесследно. Многое рассказал он Павле и многое разъяснил. И он первый поколебал в молодой женщине веру в достоинство ее мужа.

Дом, в котором жили Барабины, был недалеко от дома Артамонова и был построен на земле, подаренной Павле отцом при ее замужестве. Он выходил в переулок, известный всей Москве по своему имени — Чертов переулок.

Дом этот был невелик и на вид очень прост: после отцовых палат новое помещение даже показалось Павле сначала очень неприглядным и скучным, но затем она привыкла. Когда, год спустя, отец стал уговаривать дочь и зятя переехать жить к нему, то Павла еще более мужа воспротивилась этому. Барабин не хотел иметь в тесте свидетеля своих постоянных семейных бурь, а Павла полюбила новую маленькую горницу, в которую она уходила грустить наедине и по целым дням о своей странной судьбе.

Павла думала, что она все еще любит этого мужа так же, как любила еще невестой и затем в первый год замужества; но теперь ей все чаще и чаще приходилось уверять себя в этом...

Будто кто-то нашептывал ей постоянно, что это неправда, что ее чувства не есть любовь!..

Вот в этот дом и в эту семейную обстановку и привела Павла из церкви добродушного сероглазого парня, которого ей стало жаль. Ивашка и не предполагал, какой подвиг совершила красавица барыня и какую ответственность брала на себя пред мужем, спасая его с улицы от голода и холода.

XIX

У генерал-губернаторского дома был большой съезд: стояли целые ряды огромных карет, запряженных цугом разношерстных лошадей.

Впереди других, несколько поодаль, стояла большая карета с особою черною и мрачною упряжкой, которую знала вся Москва, так же как и фигуру ее владельца,— преосвященного Амвросия.

У фельдмаршала был приемный день.

Старик герой, увенчанный лаврами, именуемый победителем Великого Фридриха, был уже теперь дряхлый, выживший из ума старик, хотя ему было только семьдесят лет. Фельдмаршал дошел до последнего предела слабости: простудившись на днях и нажив себе насморк, он однажды так сильно чихнул, что лишился сознания и пролежал без памяти несколько часов. Его сочли уже было мертвым двое докторов.

Это передавалось теперь всеми в Москве. Кто смеялся и говорил: «Вот так чихнул!» А кто рассуждал, что

при такой дряхлости трудно чихать, а еще труднее управлять Москвой и целым краем.

В большой белой, с мраморными стенами, приемной фельдмаршала тихо, почтительно шумела или, лучше сказать, ворковала толпа разных вельмож и сановников. Они явились представиться генерал-губернатору, напомнить о себе или доложить по делу и просить разрешений и указаний.

В приемной, между другими, был обер-полицеймейстер Бахметьев, обер-комендант царевич Грузинский и несколько известных в Москве офицеров: граф Брюс, князь Макулов, Кречетников, Загряжский, Мамонов и другие.

Преосвященный был в кабинете фельдмаршала и, уже давно войдя туда, вероятно, совещался с ним. Вся эта толпа с нетерпением ожидала выхода архиерея, чтобы скорее отделаться и уехать домой.

В углу приемной, около окна, сидели и шепотом разговаривали о чем-то, по-видимому крайне важном, два чиновника в мундирах.

Это были два самые известные доктора по всей Москве: начальник военного госпиталя Шафонский и любимец всех сановников и вельмож, в особенности всех московских барынь, немец Густав Риндер.

Шафонский, полный и высокий мужчина, немолодой, но очень еще моложавый на вид, с умным лицом, с бойким взглядом, что-то горячо, хотя шепотом, доказывал своему собеседнику, сопровождая речь сильными телодвижениями, обличавшими в нем южную натуру.

Собеседник, худой, изжелта-красный, с странными зелеными глазами за большими золотыми очками, едва шевелил губами, не сделал все время ни одного жеста и говорил особенно странно. Казалось издали, что он изрекает только самые приятные для своего собеседника вещи, даже одни любезности. В сущности же, все, что говорил он в эту минуту, были одна злоба и ехидство.

Невдалеке от них сидел тот самый генерал и сенатор, в своем ярком мундире, к которому бегала Климовна продавать Ивашкина пегого коня. Это именно был Павел Дмитриевич Еропкин, мало и редко появлявшийся в обществе и живший замкнутой жизнью в собственном маленьком домике, в отдаленной части города.

Некрасивое лицо его, с крайне резкими чертами, поневоле привлекало внимание всякого своей неправильностью; зато в глазах будто светились вся ясность

и кротость души этого человека. В лице его была в особенности одна странность, бросавшаяся сразу в глаза, заключавшаяся в том, что чуть не всю половину лица составлял большой подбородок, с большим ртом и толстыми добрыми губами.

Скромного и ласкового, готового на всякую услугу сенатора Павла Дмитриевича знали, конечно, все; но все знали тоже, что он человек не особенно прыткий и далеко не уйдет по службе. Лишь недавно достиг он до звания сенатора,— Бог весть почему,— может быть, благодаря своему добродушию и общему уважению. Павел Дмитриевич был особенно известен тем, что прощал и извинял все, всем и всегда, как истинный христианин, но это происходило не из религиозного источника, а из какого-то иного, очень замысловатого. Павел Дмитриевич, что бы ни случилось, кто бы чего ни натворил, всегда, находил, как объяснить проступок и как извинить.

Однажды какой-то пьяный поп, допившийся до горячки, осквернил святотатственно храм и, не кончив литургии, бросился к себе домой, зарезал свою жену и двух детей, а затем бросился на улицу и кидался на прохожих с ножом, покуда его не поймали. Многие в Москве при этой удивительной повести говорили:

— А ведь вот, поди, Павел Дмитрич и этого оправдает. Что-нибудь найдет и ему в извинение.

И Павел Дмитрич нашел извинение, узнав, что поп запил с горя после его перевода Амвросием из богатого прихода в бедный. Однако через меру снисходительный Павел Дмитрич был особенно строг к самому себе. За ним ничего не водилось мало-мальски дурного; вся его жизнь была как на ладони, чиста и безупречна, но зато и проста. Многие умные головы московских вельмож говорили про Еропкина:

— Хороший человек, а уж куда скучно с ним... Уж этот не развеселит. Проведешь с ним вечер вдвоем — приедешь домой как с похорон.

И действительно, Павел Дмитриевич мало говорил, больше молчал, слушал, раздумывал и вздыхал в ответ своим мыслям о слабостях рода человеческого или вообще о всякой суете мира сего.

— Э-эх,— добродушно говорил он, воздыхая.— Един Бог без греха. Все мы люди, человеки... Прабабушка-то наша, Евушка, яблочка отведала, ну,— вот мы и того...

— Да вы-то бы разве это сделали? — допрашивался

какой-нибудь знакомый по какому-либо случаю, когда Еропкин брал нового виновного под свою защиту.

— Лукавый силен, никто за себя ручаться не может. Кажись, и не сделал бы, а зарока давать нельзя.

— Да ведь украл он или нет?

— Украл-то украл.

— Стало быть, и вы бы украли? И вы вором бы могли быть?..

— Помилуй Бог! Не случалось еще... А вы спросите: почему украл... Вот что... Судить легко. Не судите, да не судимы будете...

Будь Еропкин менее известен своей неподкупной честностью, прямодушием характера и спартанской стойкостью в соблазнительных случаях, то давно бы по его речам стали бы его самого подозревать и осуждать за безнравственность суждений.

Теперь, сидя здесь в зале у фельдмаршала, стоик-сенатор скучал донельзя. Он не любил ездить к Салтыкову, потому что ему и незачем было. Его визит ограничивался тем только, что он поклонится, фельдмаршал пошамкает что-нибудь, пожует, понюхает табаку — и конец аудиенции! Бывал Еропкин у фельдмаршала, конечно, только в большие праздники и в царские дни.

Теперь, сидя один в стороне от всех, Павел Дмитриевич прислушивался к разговору двух докторов. Но, убежденный, что врачи, которых он положительно не любил и не уважал, потому что они все «мошенники и надуватели рода человеческого», он слушал их невнимательно, да и говорили они тихо.

Павел Дмитриевич давно решил, о чем у них идет такая живая беседа.

«Небось,— думал он,— пичкали вы оба какого ни на есть больного, да и спровадили на тот свет своими мазями да бурдицами, а вот теперь и сцепились... Каждый друг на дружку сваливает, кто уморил».

И рассуждение это Еропкин закончил, однако, тотчас таким умозаключением:

«Э-эх! Один Бог! Все Бог!.. Будь-ка я доктор, тоже стал бы народ морить, да не каяться: на другого бы знахаря-товарища сваливал. А нельзя, так на Господа Бога свалил бы, на судьбу...»

И Павел Дмитриевич поднял указательный палец и стал как будто грозить в воздухе, будто разговаривая с каким-то воображаемым доктором, который стоял перед ним с повинной.

Но вдруг сенатор спохватился, вспомнил, что сидит в приемной фельдмаршала и что это движение могут заметить и посмеяться над ним. Подобного рода рассуждения с самим собой случались с ним постоянно. Это была привычка, которую знали все его знакомые.

— Ну, что?— спрашивали иногда у него в шутку друзья.— Перетолковали вы с Павлом Дмитриевичем с Еропкиным? Кто кого убедил?

— Да... Конечно...— отшучивался Еропкин.— Зато если бы нас,— меня вот с Павлом Дмитриевичем,— сослали на остров какой необитаемый или бы в тюрьму засадили, то мы бы не скучали. Мы ведь спорим до слез, а не ссоримся никогда.

В ту минуту, когда Еропкин поймал себя на убедительном жесте и огляделся,— все находившиеся в зале поднялись с мест. В дверях кабинета показался выходящий преосвященный. Самые важные сановники подошли к нему под благословение.

Амвросий каждому говорил что-нибудь, спрашивал. В числе последних подошел Еропкин. Амвросий, также любезно улыбаясь, благословил сенатора и выговорил с оттенком шутки:

— Давно не имел чести вас видеть... Все изволите анахоретом проживать; сами никуда не жалуете и к себе не пускаете в гости...

Это был намек на то, что Еропкин давно не был у преосвященного с визитом и недавно не принял приезжавшего к нему Амвросия.

Скромный, прямой философ и стоик в обыденной жизни, сенатор Еропкин не мог питать особенной дружбы к хитрому, честолюбивому и самовластному до жестокости владыке. Еропкин все извинял, а Амвросий все карал без пощады.

Целая кучка гостей проводила преосвященного до прихожей и вернулась в залу. Еропкин задумчиво проводил преосвященного только глазами и мыслию.

— Это он, ваше превосходительство, в ваш огород камушком пустил,— раздался голос доктора Риндера около него.

— Да,— добродушно отозвался Еропкин.— Поди ж ты какой!.. Кабы он меня в церковь заставлял чаще ездить,— понятное дело... А то, вишь, заставляет силком в гости ездить да силком к себе принимать. Хоть грешное дело, а не лежит у меня к нему сердце.

— Да. Если правда, что сказывают,— заговорил

Риндер и, наклонясь, шепнул сенатору что-то на ухо, прибавив: — Я чай, слыхали?

Лицо Еропкина мгновенно омрачилось, глаза блеснули ярче.

— Это клевета, государь мой, — более чем строго выговорил он. — Нет и не народилось еще той бабы деревенской, которая врала бы пуще Москвы белокаменной.

— Да оно так-то так, — отозвался доктор, смущаясь.

— Если завтра матушка государыня Москва, — продолжал бурчать Еропкин, — скажет, что я младенцев у себя втихомолку режу да кровь их пью, так, право, я не удивлюсь.

Риндер начал подобострастно хихикать. Вечно всем всегда прислуживающий немец подошел было теперь к сенатору перекинуться словечком именно потому, что через несколько дней ему приходилось иметь до Еропкина просьбу в сенате.

Риндер собирался уже отойти, когда добродушный Павел Дмитриевич выговорил, глядя в маленькие, зелененькие и мигающие глазки доктора:

— За примером, государь мой, ходить недалеко. Ведь вот про вас сказывает же Москва, что вы пуще всего любите пользовать одиноких вдовушек и преклонных старушек. Что вам все попадаются оне недолговечные, все помирают да вам по завещанию свои вотчины оставляют.

Риндер в одно мгновение сделался пунцовый, хотел что-то выговорить и поперхнулся.

Еропкин продолжал спокойно смотреть в изменившееся лицо немца.

«Ишь как покраснел! — думал Павел Дмитриевич. — Подумаешь, и впрямь оно правда».

* * *

В зале поднялся легкий шум. Сидевшие повскакали с мест. В дверях появилась маленькая, худая фигурка в лиловом атласном шлафроке и в такой же ермолке. На ногах пестрели вышитые туфли; на каждой был вышит розан и колчан со стрелами, перевитый узлом ленточки. Туфли эти были в большой моде и назывались à la dauphine или à la Marie-Antuanette. По крайней мере, сотня барынь в Москве носила их. В числе этой дамской сотни был и сам генерал-губернатор города Москвы — лавра-

ми увенчанный победитель Германии, фельдмаршал и кавалер всех российских орденов.

Те дни, в которые герой Салтыков побеждал Фридриха во время оно, были давно и быльем поросли. Дряхлый старик был в Москве на покое. Он был когда-то, еще недавно, всероссийским народным героем, имя его облетало все избы святой Руси. Теперь же старая развалина пережила свою славу. «Граф Салтыков» теперь звучал совершенно иначе, нежели «граф Салтыков» лет за двадцать перед тем. Теперь Петербург, а за ним Москва, прозвали прежнего героя именем его вотчины, где он проживал каждое лето и которое называлось Марфино. Фельдмаршала звали — Марфой и Марфушкой или вместо «граф Петр Семенович» называли — за глаза, конечно,— «графиня Марфа Семеновна».

Когда все поднялось и приблизилось, Салтыков сделал несколько шагов. За ним в близком расстоянии следовали его два адъютанта, не спускавшие с него глаз, так как графу случалось часто поскользнуться на паркете и адъютанты кидались спасать его от смерти. Действительно, в его положении и в его годы падение было бы, конечно, последней минутой его жизни.

Самые блестящие мундиры, в лентах и орденах, находившиеся в зале, ближе всех придвинулись и стеснились вкруг шелкового шлафрока генерал-губернатора. Вопрос о здоровье его сиятельства обошел все уста.

Салтыков широко раскрыл беззубый рот, замигал глазами и прошептал, как всегда, отрывисто и обрывая последний слог:

— Слава Богу! Отлично!.. Слава Богу! Совсем молодцом! Хочу завтра новую выдумку докторскую испробовать! Водой себя! Холодной! Водой! Поливать!..

И старик окинул глазами всю обступившую его кучку сановников, как бы стараясь убедиться, понимают ли они, в чем дело.

Два генерала, стоявшие ближе всех и втайне убежденные, что обливание холодной водой непременно уморит фельдмаршала, сразу все-таки сочли нужным согласиться с ним.

— Прекрасное дело, ваше сиятельство,— сказал один,— новое изобретение — первый сорт.

— Сказывают, король французский этим занимается,— выговорил другой.

— Да, да,— проговорил Салтыков, не слыхавший ответов.— Отлично!.. Отлично!.. Совсем молодцом!..

И он, обернувшись к адъютантам, почему-то смерил их с головы до пят, потом снова обратился к гостям и вдруг мотнул головой, как будто неожиданно вспомнив новость, которую хотел сообщить обществу:

— Хочу холодной водой! Обливаться!.. Отличное дело, говорят.

Только некоторые из обступивших фельдмаршала слегка вытаращили глаза; большая часть сановников привыкла к тому, что фельдмаршал, вдруг забыв совсем за секунду сказанное им, повторял снова то же самое.

— Да!— раздался в задних рядах голос Еропкина, ответившего на чей-то вопрос, сделанный шепотом: — Память короткая... Что же? Одна нога в гробу!..

Стоявший в передней шеренге обер-комендант Грузинский стал быстро докладывать фельдмаршалу, что все обстоит на Москве благополучно.

После него несколько человек по очереди приближались к графу, тоже докладывали всякий про свое. Салтыков смотрел каждому говорящему пристально в лицо, мигал глазами, шамкал губами, и лицо его принимало старческое, добродушно-глупое выражение. Это именно то выражение, которое бывает у людей в две различные эпохи жизни: в первый раз в люльке или на руках кормилицы и затем снова, во второй раз, спустя лет 70 или 80,— когда одна нога в гробу, а другая запоздала последовать примеру первой. Салтыков так смотрел на каждого говорившего, что бы он ни говорил, как будто тот рассказывал что-нибудь очень удивительное и очень смешное вместе. При этом он улыбался, как улыбается младенец.

Когда несколько сановников отбарабанили быстро свои словесные доклады, все равно убежденные, что фельдмаршалу что ни скажи — все равно, тогда к Салтыкову приблизился доктор Шафонский, а за ним с насмешкой на лице встал вплотную Риндер.

— Ваше сиятельство, долгом счел приехать подтвердить вам снова мои опасения...

Шафонский запнулся на минуту, как бы соображаясь с мыслями и собираясь изложить дело толково, чтобы сам Салтыков как-нибудь понял.

— Прошлую середу я имел честь вам докладывать о болезни дурного качества, открывшейся в моем госпитале. Вы изволите помнить?

Шафонский остановился и вопросительно глядел на фельдмаршала; но Салтыков с тем же бессознательно-

добродушным выражением также вопросительно глядел на доктора.

— Изволите помнить? У меня солдаты мрут. Мрут! Мрут солдаты! — вразумительно и громче выговорил Шафонский.

— А-а-а! — протянул фельдмаршал. — Солдаты?.. Солдаты... Я сам солдат! Я люблю солдат!.. Я сам солдат!.. — И, подняв свою старчески-коричневую и костлявую руку, фельдмаршал слабо стукнул себя в грудь костлявым кулачком.

— Да-с, солдаты мрут. Ничего не поделаешь. Надо бы, ваше сиятельство...

— Мрут! — прервал его Салтыков. — Зачем? А вы лечите... Лечите... Вы доктор.

— Я снова буду просить ваше сиятельство... — начал Шафонский.

— Вы доктор? — повторил Салтыков.

— Чтобы вы соизволили... — продолжал Шафонский.

— Вы доктор?! — громче и еще добродушнее, еще чаще мигая старыми глазами, проговорил Салтыков.

— Точно так, — пришлось ответить доктору.

— Ну, вот-вот...

Салтыков поднял руку, взял Шафонского за пуговицу мундира, притянул его к себе и, положив другую руку ему на плечо, потянулся к нему головой. Шафонский невольно сообразил, что фельдмаршал хочет сказать ему что-то на ухо. Будучи гораздо выше его ростом, он чуть-чуть согнул колени, присел вежливо, насколько мог, и подставил ухо под старые, шамкающие губы фельдмаршала.

— Лечить надо! — шепотом проговорил Салтыков и одобрительно шлепнул доктора по плечу. — Лечить надо!... Как солдат болеть — вы его лечить! Он хворает, а вы лечите! Он пуще хворает — а вы пуще лечите! Вот!

И фельдмаршал, шлепнув снова Шафонского по плечу, рассмеялся весело и хрипливо. Вся его фигура, казалось, говорила публике:

«Что, мол? Какову штуку сказал доктору на ухо?! Раскуси, поди!..»

— Однако, ваше сиятельство, — настаивал обученный доктор, — позвольте мне госпиталь оцепить, никого не впускать и никого не выпускать. Я уже прошлый раз докладывал... Вы изволили дать согласие, но я встретил полное противодействие во всех подлежащих властях.

Слова: «не впускать» и «не выпускать» почему-то вспомнились старику. У него оставалась память только одного рода — память на созвучие слов, слышанных за несколько дней. Тому назад неделю фельдмаршал слышал, проезжая по улицам, чье-то восклицание за каким-то забором:

— В три погибели согну!

И эти слова: «в три погибели» преследовали старика и днем и ночью. Он даже повторял их вслух, поднимая указательный палец, а иногда три. И повторял, глядя на три пальца:

— В три погибели. Раз... два... три...

Вспомнив слова Шафонского, сказанные в предыдущий раз, старик вспомнил отчасти, в чем было дело.

— Военный госпиталь?.. Так, так... Забор сделайте. Прикажите лесу возить.

Шафонский хотел снова заговорить. Риндер вежливо оттеснил соперника и выговорил сладкозвучно:

— Явился просить, ваше сиятельство, от имени графа Петра Ивановича Панина, сегодня к столу. Будет у него фокусник после стола, прямо с острова Сицилии!

— Да, да, знаю,— выговорил Салтыков и, пошарив в карманах шлафрока, обратился к адъютанту:

— Разбойник! Табакерка где? В карман не положил. А? Душегуб?..— добродушно прибавил он.

— Вот она-с,— протянул адъютант табакерку, всю покрытую бриллиантами, и подал ее на ладони, почтительно нагибаясь перед фельдмаршалом.

Салтыков встрепенулся.

— Опять... Опять! Да не делай ты этого! Разбойник!.. Съедет с ладошки! Прямо об пол!.. Подавай в кулаке! Невежливо,— да верно! А с ладошки об пол! Эка разбойник!

И фельдмаршал, немножко рассердившийся из-за табакерки, повернулся ко всем спиной и, забыв сделать прощальный поклон, пошел к двери кабинета.

Адъютанты последовали за ним вплотную, готовые ежеминутно поддержать старика, если он поскользнется.

Сановники, переговариваясь, пересмеиваясь шепотом, понемногу очистили залу, и через минуту на площади началось движение экипажей, начался разъезд.

Из всей публики — один доктор Риндер вошел в кабинет фельдмаршала вслед за адъютантами. Шафонский

проводил его глазами и злобно выговорил ближайшему чиновнику:

— Задавил бы этого немца... Что делают! Тот по старости, а этот по упрямству.

Чиновник быстро отошел от рассердившегося доктора. Около него очутился один Еропкин, задумчиво стоявший, немного наклонясь и как бы раздумывая о чем-то очень важном.

— Ваше превосходительство, что мне делать? Посоветуйте! — заговорил Шафонский.— В госпитале вот уже две недели мрет народ. Болезнь самая недоброкачественная... Служители даже при больных заболевают. Хоть и страшно сказать, а я полагаю, что эта хворость — моровая... Вот что на войне была, да и теперь в Молдавии народ укладывает.

— Что вы, голубчик! — удивленно проговорил Еропкин.— у вас, в госпитале? Моровая? Как бишь ее звать? Язва? Сиречь — выходит — чума?

— Да что же прикажете? — извинялся Шафонский, растопыривая руками. — ведь не я же ее выдумал... Один за другим умирают люди. А при постоянном сообщении между Введенскими горами и городом может перейти в самый город. Я во второй раз докладываю фельдмаршалу... В канцелярии его два раза часа по три просил, кланялся, усовещевал Господом Богом, чтобы позволили госпиталь мне оцепить, хоть на время.

— Ну, что же?

— Ну, и ничего не добьюсь. Риндер, сами знаете... У него не один фельдмаршал — вся Москва в руках. Он говорит, что все враки, что никакого морового поветрия у меня в госпитале нету.

— Да почем он знает? Был он у вас? — спросил Еропкин.

— Вестимо, не был. Зачем он ко мне поедет?

— Так из чего же он?

— Да это у нас старая история... Древнее римской истории. Изволите видеть... Я в разговоре сказал как-то Марье Абрамовне Ромодановой, что ее доктор Кейнман ничего в медицине не смыслит... Так — шут парадный! А он — любимец Риндера. Та и скажи Риндеру, а этот на меня теперь злобствует. А тут, как на грех, моровая-то и появилась в госпитале. Именно как на грех! — с отчаянием выговорил Шафонский.— Случись это месяц назад, мне бы сейчас оцепление разрешили бы. А вот

дернул меня черт этого Кейнмана похулить!.. Вот теперь с госпиталью-то и возись. Да того и гляди — Москву зачумит...

— Да-с,— усмехнулся Еропкин,— это верно, из малых причин — великие события совершаются. Ну.

XXI

Капитон Иваныч сильно хворал и был серьезно плох в продолжении трех дней.

Уля не отходила от постели больного, почти не спускала с него глаз и начинала поневоле думать, что Капитон Иваныч не переживет и более не встанет. Болезни особенной у него не было, но была всеобщая сильная слабость. Уля внутренно упрекала Авдотью Ивановну как в своей продаже, так равно и в том, что она этой продажей, может быть, убила старика.

Авдотья Ивановна, конечно, не сидела около мужа. Она только изредка заглядывала в комнату больного, подходила к кровати его, глядела ему в лицо и возвращалась к себе. Она была, однако, несколько озабочена болезнью мужа и начинала отчасти, насколько могла, раскаиваться в своем поступке.

На четвертый день Капитон Иваныч проснулся несколько бодрее, поговорил немного с Улей, даже пошутил.

Авдотья Ивановна заглянула также к нему и подошла к кровати. Капитон Иваныч, услышав звук от скрипнувшего пола, открыл глаза, увидел жену, тотчас через силу приподнял руку, отмахнулся и отвернулся от нее к стене лицом. Авдотья Ивановна тотчас обозлилась и, набранившись вдоволь над кроватью больного, ушла от него вне себя и стала срывать свой гнев на всех, попадавшихся ей навстречу.

— Ну, ты! — крикнула она попавшейся ей Уле.— Нечего сиделку-то справлять!.. Ступай к своему барину, а то он тебя через полицию вытребует.

Уля вспыхнула и проговорила твердо,— что с ней случилось, быть может, в первый раз в жизни:

— Уговор был, Авдотья Ивановна, что я пойду туда, когда Капитон Иваныч выздоровеет. И раньше этого я не пойду. Вы мне приказывать больше не можете,— произнесла Уля, сама себе удивляясь.— Если вы меня продали, то вы больше мне не барыня...

Авдотья Ивановна от изумления и гнева чуть не упала с ног на пол. В первую секунду она уперлась глазами в кроткое лицо девушки и не знала, что делать.

— Да я тебя...— закричала она чуть не на весь двор, не зная, что прибавить.

И, совершенно рассвирепев, Авдотья Ивановна крикнула двух девушек и велела гнать Улю вон из дома.

Уле пришлось выйти за ворота и обождать там, покуда пройдет гнев барыни. Через час она пошла снова в дом и стала просить прощенья у Авдотьи Ивановны, умоляя оставить ее еще дня на два.

Авдотья Ивановна между тем надумалась, что если Уля уйдет, то действительно некому будет ходить за больным. Не поворачивая головы к стоявшей около нее девушке и не глядя на нее, она выговорила злобно:

— Ладно... А как поправится твой приятель, так чтобы твоего духа не пахло!..

Через два дня после этого Капитон Иваныч встал с постели, и супруга, видя его здоровым, не замедлила объяснить ему, что все кончено: купчая совершена и деньги получены. Авдотья Ивановна боялась, что это опять с ног свалит мужа, но не утерпела душу отвести.

На Капитона Иваныча подействовало это известие совершенно обратно тому, чего ожидала супруга. Он не стал кричать и браниться, а, постояв молча перед женой, тихо вышел из горницы.

«Ну, и слава Богу! — подумала Воробушкина.— Понимает, что нечего уж тут кричать».

Между тем Капитон Иваныч заперся у себя и спешно, аккуратно брился. За последнее время он на смех жене отпустил себе усы и бороду, чего никакой дворянин не решился бы сделать. Капитон Иваныч в минуту озлобленья заявил супруге:

— Бороду отпущу и все-таки дворянин буду!

И — слово за слово — он поклялся исполнить свою угрозу... и исполнил. И стыдно ему было, а три месяца проходил он в бороде.

Теперь, через час времени, Капитон Иваныч появился перед женой чисто выбритый, в своем новом мундире, который надевал раза три в год, и в новых сапогах.

— Обрился? Довольно мужиком-то ходить! — заметила Воробушкина, насмешливым взглядом смеривая мужа, но отчасти боясь причины его туалета.

— Да-с, обрился,— отвечал Капитон Иваныч.— На

то есть важные причины. Хорошо было по переулку гулять в бороде. А теперь не до скоморошества.

— За разум взялся...

— Пожалуйте, сударыня, мою новую шляпу! — перебил он жену важно и таинственно-строго.

Авдотья Ивановна рот разинула.

— Что же-с? Ушки вам заложило, что ли?.. Пожалуйте шляпу!! — говорю я.

— Зачем это?.. Что ты?! Ума, что ли, решился? На свадьбу, что ли, собрался? Раздевайся поди!.. Нечего, сам говоришь, скоморошествовать... А сам разрядился без толку...

— Тут уж не скоморошество. Тут преступление законов. Пожалуйте новую шляпу!

— Зачем! Зачем! Чучело!

— А затем, чтобы вас в острог и Сибирь спровадить.

Авдотья Ивановна окончательно потерялась от изумления. Она была убеждена, что муж за время болезни сошел с ума.

— Нечего на меня глаза-то таращить!.. Я знаю, что говорю... Пожалуйте шляпу.

Не зная, что сказать, даже почти не понимая, что ей надо сделать, Авдотья Ивановна закричала на весь дом:

— Не дам!.. Пошел, раздевайся!..

— Не дадите — в старой пойду,— спокойно выговорил Капитон Иваныч.

Он дошел до вешалки, снял старую шляпу, надел ее и подошел к супруге таким шагом и с таким видом, как будто бы собирался пригласить ее на прогулку или на танец.

— Да будет вам, сударыня, повивальная барыня, известно и ведомо,— многозначительно заговорил Воробушкин,— что я думаю положить предел вашим чудодействиям и преступлениям всяких законов, божьих и человеческих.

— Ах ты, дура, дура!..— отозвалась, качая головой, Авдотья Ивановна, и злобно глядя на мерно рапортующего супруга.

— Нет-с, не дура... Отправлюсь я тотчас к господину высокосиятельному фельдмаршалу, Петру Семеновичу Салтыкову, с жалобой на то, что вы, чухонская душа, изволите торговать дворянскими душами.

— Поди... поди!.. Он тебя в холодную будку и велит запереть.

— Ну, вот-с мы это и увидим — кого запрут! —

решительно произнес Капитон Иваныч и вышел из дому.

Авдотья Ивановна, слегка смущенная, проследила за ним и видела, как он медленной и важной походкой вышел из ворот.

Выйдя на улицу, он остановился, снял свою шляпу, оглядел ее и, видимо, колебался. Не хотелось, видно, старику идти в старой шляпе. Но затем он вдруг решительным жестом нахлобучил шляпу на голову и двинулся по переулку.

Авдотья Ивановна осталась среди горницы в нерешительности. Таких отчаянных действий еще Капитон Иваныч никогда против нее не предпринимал. Авдотья Ивановна имела об законах самое смутное понятие и знала, что муж в них все-таки сведущ.

«Черт знает что из этого может еще выйти! — думала Воробушкина.— Ну, как он меня под суд упечет?»

И ей пришла мысль догнать мужа, уговорить, наобещать с три короба. Она знала, что если Капитон Иваныч отложит раз какое-нибудь свое намерение, то в другой раз уже не соберется.

В эту минуту вошла в горницу Уля, повязанная платком и в салопе. В руках у нее был небольшой узелок.

— Прощайте, Авдотья Ивановна! — выговорила она.— Иду к новому барину.— И девушка улыбнулась.— Только помните, Авдотья Ивановна...— И глаза Ули странно заблистали:— Коли будет что со мной дурное да придется мне утопиться, то я и вам житья не дам! Непременно мертвая ходить начну к вам. Вы меня извели и со свету сжили, ну, я утопленницей... и буду к вам являться, покуда вы не замолите свой и мой грех.

Авдотья Ивановна была так поражена этими словами, что забыла догонять и мужа, забыла даже прикрикнуть на дерзкую девушку.

Уля грустно и тихо вышла из горницы, затворила дверь, и когда Воробушкина пришла в себя и выбежала за ворота, то ни мужа, ни Ули уже не было и следа.

Часа через два Капитон Иваныч возвратился домой — бодрый, отчасти даже веселый. Войдя в дом, он весело заявил супруге, что дело обстоит как нельзя лучше, что обещали ему в канцелярии фельдмаршала все устроить. Не снимая шляпы, вытянув руки по швам, Капитон Иваныч встал перед женой и проговорил, будто бы почтительно докладывая:

— Я их просил вас малость посудить и в острог

посадить... Обещали постараться!.. А завтра мне будет личный авдиенц у фельдмаршала, что значит по-заморски — свидание. Жив я не буду, многоуважаемая и достопочтеннейшая сударыня Авдотья Ивановна, покуда я вас в рог бараний не согну!

И Капитон Иваныч повернулся на каблуках и вышел; однако, обойдя все горницы и узнав, что Ули уже нет в доме, он ушел к себе, сел в уголке своей комнаты и, закрыв лицо руками, заплакал.

Какой-то чиновник в канцелярии действительно обещал ему заняться делом о продаже Ули и взял с него вперед три рубля, но Капитон Иваныч слишком хорошо знал сутяжничество московских подьячих и в особенности канцелярии генерал-губернатора и нисколько не надеялся на успех своего дела. К тому же он сам знал законы настолько хорошо, что понимал, что жена имела полное право продать его племянницу.

XXII

Уля между тем быстрыми шагами шла по московским улицам, почти с одного конца города на другой.

Уля, благодаря опросам прохожих, скоро нашла домик нового барина. Алтынов, по обыкновению пропадавший по целым дням из дому, оказался дома. Он удивился внезапному и добровольному появлению девушки.

— Добро пожаловать, милости прошу! — ласково старался он выговорить.— Верно, Авдотья Ивановна прогнала от себя?

— Нет-с, сама пришла. Уговор был у нас: как выздоровеет Капитон Иваныч, так и прийти. Сегодня он вышел из дому, а я пошла к вам. Что прикажете делать? Куда идти?

Голос девушки был тихий, выражение лица кроткое; только глаза как-то особенно блестели. Она говорила и двигалась как бы в чаду, не вполне еще будто сознавая свое новое положение, сулившее много горя.

Алтынов, человек смышленый, много видов видавший, легко распознававший людские нравы, пристально пригляделся к лицу своей новой покупки. Он помолчал несколько минут и соображал. Он понимал, что имеет дело с такого сорта существом, которое может вместо

выгоды принести ему много забот и хлопот. Глядя в лицо Ули, Алтынов вдруг чуть не раскаялся, что отдал уже сто рублей.

«Как бы мои денежки не пропали! — думал он.— Один способ: лаской взять».

И Алтынов мгновенно решил внутренно обставить жизнь Ули, по крайней мере на первое время, как можно приятнее и легче.

«Ангелом прикинусь!» — решил он и прибавил:

— Присядьте, Ульяна Борисовна! Снимайте салоп, садитесь... Велю я подать самоварчик и с вами побеседую, чтобы вы как следует знали, какое вам предстоит у меня житье.

Уля молча разделась, повесила на вешалку салоп и узелок свой, села на стул у окна и с заметным на лице удивлением глядела на Алтынова во все глаза.

Алтынов велел подать самовар, усадил за стол девушку и стал ей объяснять, что ее пребывание у него в доме продолжится недолго, что ему таких крепостных, которые смахивают на дворян, иметь не рука, что его дело торговое — купить, продать и барыш взять. Поэтому он предложил Уле делать что ей угодно, хоть целый день гулять по Москве, никакой работы в руки не брать и ничем себя не марать, не тревожить.

— А когда явится какой покупатель,— кончил он,— мы с вами отправимся на смотр. Есть у меня один на примете вельможа, богатеющий и добрый... Не чета вашей Авдотье Ивановне. Я, чай, слыхали: бригадир Воротынский?

Уля при этом имени быстро вскинула глаза на Алтынова. Она слыхала о старом бригадире не раз, но молва называла его нехорошим именем, которое сказать даже девице нельзя.

— Вы, может быть, что-нибудь дурное слышали! — тотчас проговорил Алтынов.— Не верьте, все враки... Кого в Москве не оболгут!.. Да я так только, к примеру сказал, а может, вы совсем и не к нему попадете...

Затем Алтынов отвел Улю в маленькую горницу, чистенькую и светленькую, где все было опрятно. Горница эта была лучше и богаче ее собственной на Ленивке и сразу поневоле понравилась Уле.

Если бы не жаль ей было своего доброго Капитона Иваныча и если бы не было в ней какого-то необъяснимого внутреннего страха перед этим хозяином дома, то она бы, пожалуй, не стала печалиться о своей судьбе.

Ласковее Алтынова еще никто с ней не обращался никогда, за исключением, конечно, самого Воробушкина.

День целый просидев в этой горнице, Уля прислушивалась и приглядывалась.

В небольшом доме постоянно толкалось пропасть народа. По двору тоже ходили всякого рода фигуры. Две или три показались даже Уле особенно страшными. Один из них высокий, саженный, широкоплечий великан особенно напугал ее своим лицом: он был с рваными ноздрями. Уля знала, что это отличие каторжников. Однажды среди дня раздался громкий голос Алтынова. Он позвал этого великана и при этом назвал его таким именем, которое показалось Уле даже страшным. Уля отчетливо два раза услышала слова: Марья Харчевна!

Когда смерклось, она легла на кровать, уткнулась лицом в подушки и, не выдержав, горько заплакала. Наконец от слез, усталости и всего перечувствованного за весь день девушка заснула крепким сном.

Проснувшись поутру, открыв глаза и увидя свет на дворе, она вскочила как ужаленная. Она испугалась мысли, что заснула и проспала так крепко. Мало ли что могло случиться! Зарезать могли!

Через несколько минут к ней вошла кухарка Алтынова и позвала ее вниз к барину.

Уля робко спустилась по лестнице. Ей казалось, что вчера почему-то она меньше боялась всего с ней происшедшего. Однако веселое, спокойное и довольное лицо Алтынова успокоило ее снова.

— Здравствуйте, Ульяна Борисовна! Как почивали? Вот эта дура,— показал он на кухарку,— вчера из-за вас двадцать розог получила.

— Как из-за меня? — воскликнула Уля.

— Да так. Получила ведь, Лукерья?

— Получила-с,— отозвалась женщина, глупо ухмыляясь.

— За что же? — выговорила Уля.

— Да ведь вы без ужина остались. Я отлучился, а эта дура не догадалась, а вы не спросили... Да ничего, ей не впервые... Ну-с, пожалуйте, покушайте чайку и закусите. А затем у меня будет до вас просьба. Обещаете исполнить? Дело очень немудреное.

— Что прикажете? — отозвалась Уля.

— А вот, изволите видеть сего лежащего на окне зверя?

Уля обернулась и увидела на подоконнике, под

лучами пригревавшего солнца, большого, жирного, белого кота.

— Извольте прослушать, в чем дело. Сей зверь был мной ненароком найден на улице. Стало мне его жаль. Потерялся он, без хозяина, думаю я, голоден бедный зверь — дай его возьму домой,покормлю. Я ведь человек, Ульяна Борисовна, сердечный, ко всякому скоту сердце у меня. Вот и взял я его и принес домой, накормил. Так вот он у меня и остался, а сам я оповестил всех своих приятелей, чтобы разузнавали, чей кот. Не укрывать же мне скота или воровать? Ну, вот сегодня узнаю я, что сей зверь принадлежит генеральше Ромодановой, пропал оттуда, и что там идет теперь великая порка людская. Порют там и старого, и малого. Зверь — оказывается — любимец генеральши. Обожает она его пуще внука родного. Вот я и прошу вас: возьмите вы его, отнесите к генеральше и скажите, что нашли на улице. Меня не поминайте: она меня знает и не любит. Но только при этом извольте с нее стребовать награждение — рублей хоть пять, что ли. Понимаете теперь, в чем дело?

— Понимаю.

— Так снесете мне его?

— Снесу-с.

— И деньги стребуете?

— Если дадут; а не дадут, что же я могу сделать?

— Даром не оставляйте.

— Как же это я могу?

— Ну, как знаете. А снести да бросить его на двор и всякий может. А вы вымолите у генеральши на бедность, что ли. Скажите — не ели тря дня.

— Ведь это неправда.

— Что неправда?

— Да все неправда.

— Эй, голубушка, Ульяна Борисовна, с правдой долго не проживешь! как раз отощаешь. Нет, уж вы, за всю мою ласку к вам этак не супротивничайте, а то ведь я могу и в гнев войти. А вы у меня теперь в крепости, по документу. Хотите, я прочту документ? В нем сказано, что я волен в вашей жизни и смерти.

Алтынов часто делал то, что предлагал Уле, т. е. читал купленным людям выдуманную им самим форму купчей, в которой говорилось, что он может своим крепостным носы и уши резать, наказывать до смерти плетьми и кошками железными, за ноги вешать, в реке топить и т. д.

— Прочесть вам? — пристал он к Уле.
— Зачем же? Я и так знаю, что куплена.
— Так снесете и деньги вымолите?
— Постараюсь.
— Вот и умница. Ромоданова живет около вас; вы небось и к себе заглянете, с Капитоном Иванычем повидаться?
— Если позволите.
— Отчего же? только будьте домой засветло.
Поев щей и каши через силу, Уля взяла огромного и тяжелого кота и тихо направилась с ним снова в свою сторону.

XXIII

Когда Уля вошла на большой двор палат Ромодановой, то заметила в нем особенное затишье. Не было веселых и праздных кучек холопов, не было смеху, не было никаких затей, как бывало всегда. Алтынов говорил правду, объясняя Уле, что уже три дня идет в доме Ромодановой великая порка людская.

Марья Абрамовна плакала непрерывно и лила слезы не хуже любого фонтана. От зари до зари нечувствительная к внуку, но чувствительная к коту боярыня повторяла на всевозможные лады,— то нежно, то грустно, то особо ужасным голосом:

— Ах, Вася, Вася! Где ты, мой Вася? Может быть, давно на том свете!

Лебяжьева уговаривала и успокаивала барыню на все лады, клялась и божилась, что вывернет всю Москву наизнанку, но непременно найдет Василия Васильевича. Вместе с тем Анна Захаровна внутренно злилась бесконечно на все и на всех и на самую барыню. По милости пропавшего кота уже третий день как не было у нее минуты свободной, все приходилось сидеть около барыни.

— Ах, Вася, Вася! — восклицала барыня.

«Ах, черт тебя с ним побери!» — думала в ту же минуту Лебяжьева.

— Чует мое сердце, что он на том свете! — восклицала барыня.

«Так его туда и пустили!» — злобно думала Лебяжьева.

— Где-то он, мой голубчик? — восклицала барыня.

«В раю, в раю, беспременно»,— ехидно думала барская барыня.

— Ах, Вася, Вася! — снова восклицала Ромоданова.

«Ах, дьявол, дьявол!» — мысленно заключала Анна Захаровна.

Когда Уля появилась на большом дворе, едва таща жирного кота и чувствуя, что он ей обломал руки, ее встретил кучер, увидел ношу и закричал благим матом во весь двор:

— Батюшки! Голубчики! Василий Васильевич!

И он бросился опрометью на главный подъезд, влетел в швейцарскую и, распахнув настежь двери, заревел во все горло:

— Василий Васильич!!

Не успела Уля пройти через двор, как уже всюду раздавались голоса, и пискливые, и крикливые, и басистые, повторявшие на все лады:

— Василий Васильевич! Василий Васильевич!

А сам Василий Васильевич, вероятно, почуяв, что он дома, что ему нет более нужды в неудобной постели на худеньких руках девушки, мягко спрыгнул на пол и поднялся по лестнице. Навстречу ему бежали уже десятки лакеев и горничных, а за ними туча приживальщиков. Всякий нагибался, растопыривал руки и восклицал: «Василий Васильевич!» — и старался взять кота на руки, чтобы иметь несказанное счастие и выгоду поднести его самой барыне. Но толстый Васька, будто насмех, будто понимая холопскую любезность всего этого народа, не давался никому в руки, ускользал у всех из рук и сам направлялся в ту горницу, где всегда сидела генеральша и где было у него свое собственное кресло.

Марья Абрамовна, безмолвная и бессловесная от избытка чувства, переполнившего ее сердце, приняла Василья Васильевича в свои объятия.

Нацеловавшись с ним вдоволь, барыня приказала тотчас вычистить, накормить Васю, а затем привести скорее к себе.

— Я у него расспрошу все!.. Он все скажет... Он, голубчик, все понимает! — говорила Марья Абрамовна.— Узнаю я, кто Иуда-предатель. Никогда мой Вася сам из дома не убежит.

Марья Абрамовна была права. Если бы Василий Васильевич умел говорить, то, конечно, рассказал бы барыне, каким образом ловкий Алтынов заполучил его, чтобы сорвать с генеральши деньги. Хоть пять рублей,

а все пригодятся. Узнав, что кота принесла какая-то девушка, которую и прежде люди генеральши видали по соседству, Марья Абрамовна приказала позвать ее к себе.

Была ли барыня-причудница особенно в духе по случаю находки дорогого друга или действительно личико Ули, грустное, раскрасневшееся от ходьбы и морозу, сразу понравилось генеральше,— Ромоданова приняла девушку особенно ласково и усадила около себя, чего не позволяла никому, кроме важных знакомых.

Уля начала было через силу, несмотря на свое отвращение ко всякой лжи, рассказывать, как она нашла кота среди улицы, но тут же, после двух, трех вопросов генеральши, спуталась, все переврала и привела генеральшу к вопросу:

— Да ты, голубушка, все врешь? Все неправда ведь? скажи!

— Неправда-с,— произнесла Уля.

— Ты это все приврала?

— Приврала-с,— грустно улыбнулась Уля.

— Вот как! Сама же и сказывает. Так зачем же? Говори всю правду, не бойся!

— Не могу я правду сказать... Мне от этого худо, очень худо будет...

Но — слово за слово — Марья Абрамовна выпытала у девушки все, что хотела, и не только про кота и про Алтынова рассказала Уля, но рассказала все до мельчайших подробностей касавшееся до нее самой, и до ее продажи, до Капитона Иваныча и его домашней жизни.

На Марью Абрамовну, видно по воле Божьей или на счастье Ули, нашел хороший стих. Стих этот находил на нее часто, но всегда зря. И в такие минуты много доброго делала она, но много и глупого.

Марья Абрамовна, насладившись видом снова принесенного и уже сладко спавшего на своем кресле кота, обернулась ласково к Уле, стала гладить девушку по головке и выговорила:

— Ну теперь ты моя. Я тебя покупаю... Будешь ты у меня, и будешь ты ходить за Васильем Васильевичем. Но только помни: обязанность твоя будет святейшая!.. А коли уворуют — не взыщи: сошлю на поселение. Ну, пойди к Анне Захаровне — отведут тебе горницу. А я сейчас пошлю к этому грабителю Алтынову за тебя деньги и прикажу сегодня же доставить документ.

— А если он не продаст меня вам? — выговорила Уля.

— Что ты, глупая!.. Как он смеет!

И Уля через несколько минут сидела в незнакомой ей горнице, опустив голову на грудь, глубоко задумавшись о том, что с ней творится. Будто волна моря житейского подхватила ее и несет, уносит куда-то — быть может, на счастье, быть может, на горе.

«Что-то будет?! — невольно думалось девушке.— Неужели же Авдотья Ивановна, продав ее из-за корысти, по воле Божьей, сделала это на ее же, Улино, счастье».

XXIV

В то время, как Марья Абрамовна выпытывала всю подноготную от Ули, Абрам сидел в горнице своего первого друга и наставника Ивана Дмитриева.

С тех пор, что бабушка съездила к Амвросию и окончательно перетолковала об его поступлении в монастырь, смущенный Абрам почти безвыходно сидел у Дмитриева. Они оба нескончаемо советовались о том, что делать.

Конечно, Иван Дмитриев советовал баричу прямо и резко разрешить вопрос простым неповиновением.

— Скажите: не хочу! — говорил он баричу.— Хочу, мол, поступить в гвардию!.. Ехать в Петербург!.. Я уж бегал не раз к законникам, расспрашивал... Все говорят, что силком вас не только бабушка, но и отец родной в монастырь отдать не может.

Но этому совету недоросль последовать не мог. Да и в речах Ивана Дмитриева слышно было сомнение. Открытое противодействие Марье Абрамовне было всетаки более или менее опасно как для барича, так и для самого Ивана Дмитриева.

После многих бесед и лакей, и барич решили повиноваться беспрекословно, надеясь на то, что бабушка умрет, и тогда он сбросит рясу послушника монастырского и наденет капральский мундир.

Рассчитывать на смерть бодрой и моложавой Марьи Абрамовны было, конечно, не очень утешительно. Она могла прожить еще долго. И главная, хотя смутная надежда как дворового, так и его воспитанника зижди-

лась на страсти веселой и легкомысленной старухи к бойким лошадям.

— Авось,— говорил Иван Дмитриев,— вывернут ее где кони на голыши мостовой и расшибут башку на четыре части.

При этом, как часто случалось, Иван Дмитриев пугал барича прямым и грубым предложением.

— Перекинуться бы вам словечком с Акимом-кучером. Пообещать вольную да рублишек с тысячу! Он бы тогда бабушку-то как-нибудь растрепал по Москве.

— Что ты! что ты! — замахал руками Абрам.— Ты иной раз такое скажешь, что дрожь берет... Нешто этакое дело возможно?!

— А что же? Вы в этом будете неповинны. Он все на себя примет. Да и ни у кого и догадки не будет. Скажут — лошади разбили; а Аким болтать не станет, что магарыч от вас получил.

Абрам стал доказывать Дмитриеву, что если он наймет Акима, то главная вина и грех падут все-таки на него.

— Да грех-то грехом,— рассуждал закоснелый холоп,— я о грехе не говорю! Я собственно про закон говорю! Закону, в случае догадки, дело будет до Акима, а не до вас.

— Бог с ней! — заключал Абрам всякую такую беседу о бабушке.— Пускай живет и своей смертью умирает. Лишь бы только они не вздумали меня из послушников совсем монахом делать.

— Ну, это пустое. Этого, говорю вам, никто поделать не может. Тогда мы к самой императрице подадим жалобу. Я хоть сам в Питер пешком пойду и вашу просьбу государыне подам. Да этого они и не посмеют.

Под словом «они» и Дмитриев, и Абрам разумели триумвират — бабушку, Кейнмана и Серапиона; Анну Захаровну они исключали из числа заговорщиков против счастья Абрама, так как барской барыне было, в сущности, все на свете равно чуждо, что не касалось до ее мечтаний о женихе.

Подобного рода беседы и даже споры между дядькой-наставником и баричем постепенно, незаметно для обоих все-таки действовали на недоросля.

Абрам выезжал мало, почти не бывал в гостях и не имел сверстников, друзей и товарищей для каких-либо

забав и развлечений. Бабушка всегда порхала одна по знакомым и никогда не брала его с собой. Абрам одевался по моде, богато и изящно, но затаскивал свои дорогие кафтаны, камзолы и кружева преимущественно по девичьим и передним.

Между обитателями большого дома у Абрама тоже не было сверстников, а был один близкий человек — гроза всех этих обитателей — Иван Дмитриев, грубый, дерзкий, не дававший спуску никому. Единственное существо, к которому Иван Дмитриев относился и сердечно, и отчасти даже почтительно, был молодой барин. Остальные обитатели дома были для него как бы существа низшего разбора. Одних он ненавидел, других он презирал, к третьим относился как к неодушевленным предметам и даже не разговаривал с ними никогда, не отвечал на их вопросы.

Трудно было решить: хороший ли человек, но изломанный судьбой был этот дворовый Ромодановых, или злой и уже от природы с дурными наклонностями. Он, однако, уподоблялся самой смирной лошади, выпущенной на волю без узды. Самая заезженная кляча в этом случае начинает зря скакать, тыкаться в стены лбом и лягаться во все стороны. Иван Дмитриев, которому старая барыня спускала все без исключения и которого избаловала своим потворством и поблажкой, был ленив, груб, неблагодарен и вдобавок совершенно недоволен своей судьбой и своим положеньем. Он был крепостной, но жил и действовал как вольный, делал, что хотел, не повинуясь никому и не имея даже никакого определенного занятия в доме. В то же время все то, что мерещилось его честолюбию и чего желалось ему втайне, было совершенно невозможно как крепостному. Имея свои деньги, полученные по завещанию от покойного барина, он давно мечтал сделаться купцом, быть не Ванькой-холопом, а быть: «ваше степенство». Но старая барыня ни за что на свете не хотела отпустить его на волю.

Тайна странного положения Дмитриева в доме, этих странных отношений между барыней и дворовым была известна лишь им двум и отчасти барской барыне Анне Захаровне. Источник всего терялся в темной истории, случившейся двадцать лет назад вскоре после рождения на свет Абрама и смерти молодой барыни, его матери. Почти с того времени старый барин Ромоданов особенно стал любить и баловать Дмитриева, включил его в свое

завещанье, оставил ему пятьсот рублей в личное распоряжение, но в то же время, умирая (чего Дмитриев не знал), строго-настрого заказал жене ни за что не отпускать этого Дмитриева на волю.

— Болтать будет — про что знает! — сказал боярин.

И старый заезженный конь без узды, т. е. крепостной холоп, распущенный, избалованный, ленивый, завистливый, раздражительный, был в тягость всем в доме и в тягость самому себе. Только один Абрам, по-видимому, любил, а в сущности, только привык к Дмитриеву, а лакей, со своей стороны, тоже, по-видимому, любил барича, а в сущности, считал его в будущем якорем спасения для своих честолюбивых замыслов. Барич, наследовав от бабушки, мог его со временем сделать вольным купцом — одним почерком пера.

Беседы Дмитриева с Абрамом, частые, долгие и откровенные до цинизма, имели, по счастью, не слишком большое влияние на молодого барина; иначе он давно бы стал негодяем. В сущности, Дмитриев воспитывал барича — и воспитал. Теперь молодой недоросль был уже отчасти на ногах, отчасти самостоятелен, и результат воспитания был незамысловатый. Все на свете сводилось к одному правилу: что богатому и родовитому барину должно быть все на свете — трын-трава! И во всем ему должно быть — море по колено!

— Вырастите и живите в свое удовольствие! — говаривал Дмитриев.— Хотите вы Ивана Великого на сторону свернуть... Ну и старайтесь. И гляди — свернете.

Иван Дмитриев был смолоду красив и большой любезник и ухаживатель за прекрасным полом и во дворе, и в околотке. Когда Абраму было еще только двенадцать лет, Дмитриев поверял уж ему все свои сердечные тайны, рассказывал свои любовные похождения, иногда ужасные, показывал ему на улице, в церкви, на гулянье, иногда даже у себя, своих любезных и знакомил с ними Абрама. Водил его еще ребенком с собой в гости к этим женщинам и показывал ему своих детей, прижитых таким образом на стороне. И Абраму еще не минуло полных шестнадцати лет, когда он вдруг сделался соперником учителя-лакея и, отвоевав у Дмитриева одну уже пожилую его любезную, стал сам ее возлюбленным.

Дмитриеву это очень понравилось!

Теперь роли переменились: Абрам стал дон-Жуаном первой руки и постоянно поверял свои сердечные тайны Дмитриеву, и лакей с удовольствием исполнял роль Лепорелло.

Все это было известно Лебяжьевой; но до нее главным образом касалось содержать в порядке и чистоте не сердце и душу барича, а его белье, его платье и его горницу.

До бабушки не касалось ни то, ни другое. Кроме дядьки Дмитриева и барской барыни, были еще два лица, входившие по обязанности в соприкосновение с душой и разумом молодого барина.

Это были два учителя — немец Кейнман и дьячок с Остоженки с такой мудреной фамилией, что никто в доме не мог ее запомнить.

Первый — полу-учитель, полудоктор, усерднее лечил и услаждал беседами Марью Абрамовну, нежели учил барича. Дмитриев давно уже убедил питомца, что отношения немца с его бабушкой — дело нечистое. Дмитриев знал, что это вздор и клевета, но считал нужным и выгодным вселять в Абрама неприязнь и к учителю и к бабушке. Дьячок с букварем, псалтырем, с указкой и с книжками, одна грязнее и глупее другой, сильно зашибал, очень любил «монаха», как называл он косушку вина и часто являлся он к барину на урок в таком виде, что лыка не вязал и, сидя за столом, кивал носом, пьяно и глупо хихикал без причины или вдруг принимался горько плакать. Во всяком случае, он служил для Абрама неисчерпаемым источником для всяких грубых шуток, потех и затей.

Теперь уже, одолев давно букварь и умея кой-как писать и читать, Абрам занимался разными науками с Кейнманом. Названия наук были разные, и некоторые очень мудреные, но всякий урок раза два в неделю поселял в ученике познания, касавшиеся исключительно или географии Прибалтийского края и отчасти Финляндии, или же познания в анатомии и в фармакологии. Абрам знал наизусть все города и городки около Риги, Митавы и Ревеля, отечества Кейнмана, и знал отлично, где у человека печень, сердце, какая разница между артерией и веной.

XXV

Когда Уля явилась на двор дома Ромодановой с Василием Васильичем на руках, Абрам услыхал и увидал в окошко тот переполох, который наделала девушка, явившись с беглецом.

— Ваську нашли! — выговорил Иван Дмитриев.— Ну, и слава тебе, Господи! Повесил бы я его, проклятого, вместе с вашей бабушкой на один сук! Что из него шума было! Вы чего это?!

Иван Дмитриев выговорил эти слова с некоторым удивлением, так как барич, ухватившись за подоконник, пытливо, внимательно глядел на девушку, которая несла через двор кота. Наконец он быстро вскочил на подоконник, отворил форточку и высунул голову.

— Чего вы? Чего вы? — повторил Иван Дмитриев.

— Да, она! она! — вскричал Абрам.— Ей-Богу, она!

Дядька-наставник, конечно, в секунду сообразил, в чем дело.

— Вона, и Ваську нашла одна из ваших!

— Нет, Иван. Это совсем другое дело. Это та самая девушка, про которую я тебе говорил столько раз; та, что от меня бегала. Она, она! — с особенным оживлением повторял Абрам.

— Форточку-то заприте. Мороз. Простудимся оба зря. Ишь ведь вы как встрепенулись! — усмехнулся Иван Дмитриев.

— Да ведь я ее больше месяца не видал! Думал, из Москвы уехала. Ну, теперь, шалишь,— не пропадет, с глаз не спущу. Побегу туда.

И Абрам заметался по горнице Ивана Дмитриева, отыскивая шляпу.

— Скажи на милость! — выговорил Дмитриев уже с некоторым удивлением,— вот что значит, когда сразу что не дается, сейчас больше захватывает. Не бегай она от вас, действуй, как наши сенные, так небось вы бы теперь не забегали так.

— Нет, нет, Иван, это совсем другое дело! Побегу туда.

И Абрам нашел свою шляпу, забыл ее надеть на голову и, держа в руках, вышел и побежал через двор. Уля была уже у барыни. Абрам был готов прямо тотчас ворваться туда и повидать ту единственную девушку, которая не давалась ему, как кладь, в руки и в которую,

вследствие именно этой причины, он и был отчасти влюблен,— быть может, в первый раз в жизни.

Однако на пороге комнаты бабушки барич вдруг остановился.

Уля, видевшая его близко и говорившая с ним только два раза, знала его в лицо и даже однажды, изменив себе, ясно доказала, что тоже неравнодушна к нему. Но кто такой этот молодой барин — она, быть может, не знала. Абрам сообразил, что девушка, нечаянно, вдруг увидя его в комнате барыни, которой она принесла кота, не сумеет себя сдержать. От нечаянности может что-нибудь случиться, а бабушка, пожалуй, увидит, заметит, догадается. Особенно дурного из этого ничего не могло быть, но все-таки лучше действовать осторожнее.

Абрам постоял у дверей и отошел. Выйдя в парадные комнаты, он стал ходить взад и вперед даже с некоторым волнением и начал прислушиваться, присматриваться и караулить, когда девушка, сдав кота и получив вознаграждение, снова пойдет через двор. Он решился броситься за ней вслед и на этот раз уже более не выпускать из рук.

— Хоть двадцать верст придется пешком идти, а дойду до ее дома, узнаю, кто она и где скрывается. Шалишь, голубушка! проморила меня чуть не год!

Долго Абрам ходил взад и вперед по комнатам, все прислушиваясь и выглядывая в окно. Но никто не вышел с подъезда, и о девушке, принесшей кота, не было ни слуху ни духу. Наконец барич не вытерпел и пошел к Анне Захаровне.

— Кто это Ваську принес? — выговорил он.

Лебяжьева поглядела в лицо юноши и покачала головой.

— И как это вы, Абрам Петрович, кричите этак! Услышит бабушка, задаст она вам — Ваську!..

— Ну, голубушка, виноват. Ну Вася, Василий Васильевич. Принес-то кто его?

— Принесла девица какая-то.

— Ну а теперь где?

— Да лежит на своем кресле и спит небось.

— Да не Васька,— черт с ним! Я про девушку спрашиваю. Она где?

— А она у нас оставлена. Я уже ей и горницу указала.

— Как у нас! — воскликнул Абрам.

— Да так, у нас. Ее Марья Абрамовна обласкала и купить хочет.

— Что вы! Анна Захаровна! Голубушка! Что вы!

И Абрам вдруг полез обниматься с Анной Захаровной.

— Ах вы горячка, горячка! — закачала головой Анна Захаровна.— Когда это у вас пройдет? В монастырь собираетесь, а сами не можете пропустить ни единой, что называется, нашей сестры. Чуть юбку какую увидели, сейчас и запрыгали.

— Да верно ли это, Анна Захаровна? Верно ли, что бабушка ее покупает?

— Верно, верно.

— И она у нас осталась?

— В горнице сидит, говорю вам. Сама отвела. Так и осталась у нас. Да вы-то, греховодник, прости Господи, вы-то ее откуда знаете? Знаете ее? Ась-ко?..

Абрам несколько пришел в себя, сообразил, что поступает не совсем осторожно, и прикинулся очень искусно.

— Вестимо не знаю. А так! Больно это все мне чудно показалось, оттого я и прибежал спросить. На черта мне — останется она, купят ее или прогонят. А собственно чудно! — принесла Ваську девка, а бабушка ее покупает. Все причуды!..

— Опять вы говорите: Васька! Будет вам когда-нибудь от бабушки!..

Но Абрам уже не слушал Анну Захаровну. Он выскочил в коридор с целью тотчас разыскать в лабиринте комнат больших палат бабушки ту горницу, в которой сидит теперь этот клад, давно не дающийся ему в руки.

Первая фигура, попавшаяся ему навстречу, была Тронька.

— Эй! Ты! Бесенок! — остановил ее Абрам.— В какой горнице поместили ту, что принесла Ваську?

— А в той самой, где надысь Савельич помер.

— Вон как! — выговорил Абрам весело.— Никто в ней жить не хотел, так ее поместили. Она Савельича не знавала, стало быть, и бояться не может!

И Абрам весело, чуть не подпрыгивая, бросился на другую половину большого дома, прямо в ту горницу, где за месяц перед тем жил и умер старик дворовый, которого люди все считали немножко колдуном, так что после его смерти никто не соглашался идти жить

в его горницу, несмотря на то что она была одна из лучших.

Когда Абрам увидел дверь этой горницы слегка приотворенной и из нее скользил в темный коридор луч золотистого света, то у недоросля, привыкшего к постоянным похождениям такого рода, вдруг слегка застучало сердце сильнее. Он приостановился, перевел дух и храбро двинулся к двери. Через секунду он был на пороге горницы, где, опустив голову на руки, сидела Уля.

XXVI

Абрам, несмотря на свою обычную дерзость, долго простоял не шевелясь на пороге и глядел на опущенную русую головку Ули. Он не знал, как подойти, что сказать, чтобы сразу не очень испугать эту девушку, единственную из всех ему знакомых или им виденных в Москве, которая молча и боязливо, но все-таки упорно отстаивала себя давно от его любезностей и преследований, и притом совершенно особенно, на свой лад. Она защищалась от Абрама, как казалось ему, именно этим молчанием, этой кротостью и этим спокойствием в лице и во всем ее существе. Только раз, давно уже тому назад, на Святой, когда он вдруг подошел к ней в церкви, взял ее врасплох и похристосовался с ней, то она вся вспыхнула, и глаза ее, поднятые на него, засияли особенным светом, который выдал ее душевную тайну.

Абрам долго простоял бы в нерешительности, но шум в коридоре заставил его переступить порог и притворить дверь. Уля очнулась, подняла голову, увидала молодого человека, вскрикнула и замерла...

Абрам что-то выговорил и сделал два шага вперед, но Уля ничего не расслышала, не поняла. Она не двинулась, а будто застыла на месте и только взмахнула на него руками, будто отчаянно, судорожно хотела защитить себя от страшного привидения, от которого не имела силы бежать.

— Вы... Здесь!.. Вы в этом доме! — прошептала она наконец.— Вы внучек Марьи Абрамовны или другой?.. Кто вы?

— Да-с. Я ее внук... Я думал, вы это знали!.. Теперь я не удивляюсь, что вы от меня так бегали... Вы думали, что я... так... барчонок какой-нибудь... московский.

Абрам выговорил это самодовольно и, приблизясь,

сел около Ули; но девушка тотчас вскочила и отошла к окну, пугливо озираясь на него. Она все еще не могла вполне прийти в себя, что около нее, в одной с ней горнице, глаз на глаз очутился вдруг тот самый красавец барин, которого она уже год лелеет в своих тайных мечтах.

— Что же вы от меня бегаете? Чего вы боитесь? Я пришел только расспросить вас, как вы нашли Ваську и правда ли, что бабушка вас покупает?

А горячая мысль Ули была уже далеко. Она думала:

«Она меня купит!.. Умрет... он ее наследник! Он один! Я его буду!! Да, его буду! Что захочет, то и будет делать!»

И личико Ули из удивленного, пораженного нечаянностью, стало вдруг грустным и сумрачным. Ей стало грустно и обидно! Какая пропасть сразу легла между ней и этим «милым» ее снов и грез! Чрез день-два она будет крепостная его бабушки и его самого.

— Неужели вы не знали, что я Ромоданов? Абрам Ромоданов?! — с удивлением спросил юноша.— Меня вся столица знает. Ведь вы прикидываетесь? Ей-Богу!

— Зачем же я буду прикидываться? — кротко удивилась Уля, в свою очередь.— Я никого про вас не спрашивала... Никому не говорила.

— Вы, однако, видели раз, как я с бабушкой проехал мимо в карете!

— Да, помню... но... я об этом не думала. Видела, но не подумала.

Наступило молчание, но Абрам тотчас прервал его вопросом:

— Скажите, у вас есть... Ну жених, что ли? Любезный? Ну, кто-нибудь, кого вы любите? Есть? Говорите правду!

— Жениха нет, а милый человек, любезный, хороший, дорогой, золотой...

— Есть?

— Есть! — тихо шепнула Уля, опуская глаза.

— Кто он? Говорите!

— Что же спрашивать? Зачем спрашивать? — както грустно отозвалась девушка.

— Я знать хочу. Мне надо... Надо знать...

Уля молчала и не шевелилась, но, когда Абрам встал и двинулся к ней, она вдруг встрепенулась вся и боязливо глянула на него.

— Говорите, кто ваш дорогой, золотой; не скажете,

тотчас я вас поймаю и зацелую,— дерзко выговорил Абрам, подходя к девушке.

Уля вспыхнула и отодвинулась быстро в сторону. Абрам в секунду настиг ее, в один прыжок, и крепко обхватил.

Смущенную и трепетную, привлек он ее к себе и целовал ее пунцовое испуганное лицо.

— Ты ведь меня любишь,— через минуту выговорил Абрам.— Я твой дорогой и золотой, я это знал. Зачем же ты от меня укрывалась, бегала?

— На все воля Божья! Вот не убежала. Прямо на вас судьба навела. И что будет теперь?!

— Что я захочу, то и будет! Так ведь?

Уля молчала и думала: «Разумеется!»

Она умела избегать его издали, как и воробей умеет укрываться в чаще ветвей от кружащего в выси ястреба. Но, раз попав в его когти, что пользы порываться?

Уля была так поражена этой неожиданной встречей в доме богатой барыни. Горячие ласки, первые в жизни полученные девушкой, так смутили ей душу и разум, что она с трудом могла держаться на ногах.

— Уйдите!..— шепнула она, окончательно теряя силы от его новых, неожиданных поцелуев, от его лица, горящего у ее лица.

— Сейчас! Уйду! Но вечером я буду у тебя. Чур, не запирать дверей!

— Уйдите!

— Не запрешься?

— Не знаю...

— Не отвечай так. Говори правду.

— Ей-Богу, ей-Богу, не знаю,— прошептала Уля.— Может быть, запру... Может быть, не... Не знаю, ей-Богу! Как Господь на душу положит.

— Запрешься — всему конец. Я завтра на тебя глядеть не стану. Помни!

— Как хотите. Ваша воля.

— Что «как хотите».

— Не глядите...

— Так, стало быть, запрешься от меня.

Уля молчала упорно, закрыла лицо свое и опустила голову, как виновная.

— Да отвечай же мне!

— Отвечать! Что тут отвечать! Нечего отвечать! — вдруг резко вымолвила Уля с оттенком горечи.— Вы сами знаете, все знаете! На вас Господь меня навел... Ну

и пускай! Пропадай все... Что я могу сделать? Я бы и рада... Да что я могу сделать?..

— Как ты чудно говоришь? — изумился Абрам.— Подумаешь, ты жалуешься! Подумаешь, ты уже моя крепостная и не смеешь мне перечить, не смеешь ослушаться... Так я, милая, не хочу... Этак уж я сам не хочу! Я думал, что ты меня любишь, по своей воле будешь поступать!

— Ах! вы не понимаете... Не понимаете!

— Что? Скажи!..

— Ах, я и сама не знаю... Мне себя жалко... Пропаду я так, задаром, как другие пропадали... Я думала, моя судьба другая будет! Но пускай... Пускай! на все воля Божья!

— Ты не пропадешь... Я тебя буду любить и всегда, всегда... всю мою жизнь. Умрет бабушка, ты станешь моей женой.

— Полноте! Зачем пустое говорить? Зачем лгать?.. Я не малолетняя... Я знаю все, что будет вперед...Много горя будет. Ну и пускай будет!

Уля смолкла, наклонилась над креслом, где сидел Абрам, как бы против воли обхватила его голову руками и хотела поцеловать, но не смела от охватившего ее стыда и только прижалась щекой к его голове.

— Вечером я буду,— шепнул Абрам.— Чур! не запираться.

— Нет! Нет...

— Не запрешь?

— Запру. Запру...

— Да ведь ты же говоришь... Пускай... Воля Божья!

— Ах, дорогой мой, дайте одуматься!.. Все это так, вдруг... Одумаюсь — и тогда что хотите. Хоть топиться прикажите... Уйдите!!

И Уля осталась одна в своей горнице, грустная и задумчивая.

XXVII

На другой день утром Уля, явившись к Марье Абрамовне на службу, т.е. сидеть около толстого Васьки, была поражена новостью. Она нашла в комнате у барыни Абрама, и старуха разъясняла внуку подробно, что именно он должен отвечать преосвященному на все вопросы, которые тот может сделать. Оказалось, что Марья Абрамовна посылала внука к архиерею, чтобы

явиться лично и изустно передать ему о своем желании поступить в монастырь.

Новость, что молодой человек поступает в монастырь, так поразила Улю, что она тут же ахнула и всплеснула руками.

Марья Абрамовна крайне рассердилась на новую служанку, которую собиралась покупать.

— Чего ты кричишь?! Да и не твое это дело! — воскликнула барыня.— Мало ли какие разговоры я при тебе буду вести! Ты должна стараться не слушать! А коли слышишь, то делай вид, что не знаешь и не понимаешь ничего.

Уля почти не слыхала выговора. Едва только молодой барин вышел от бабушки, Уля воспользовалась первым предлогом, чтобы уйти тоже и узнать от Абрама объяснение всего слышанного. Но она нигде не нашла его. Молодой барин, которому уже подали карету, был у дядьки во флигеле.

Уля постояла минуту на парадной лестнице и, не зная обычаев дома, не зная того, что Абрам не может уехать, не простившись с бабушкой, вообразила себе, что он тотчас уедет. А она хотела во что бы то ни стало переговорить с ним, спросить, что значит эта ужасная, непонятная новость.

«Он? В монастыре?! Да ведь это Бог весть что!..» — повторяла Уля мысленно.

И вдруг, в этой кроткой, стыдливой и робкой девушке явилась ей самой незнакомая, внезапная решимость. Она сошла с крыльца, перебежала двор, разыскала помещение дядьки и явилась на пороге горницы Ивана Дмитриева, как если б уже сто раз бывала там.

И барин и дядька изумились ее появлению. Уля, едва переводя дыхание, закидала Абрама вопросами об ужасной для нее новости.

«Совсем бесстыжая! Или безумная!» — решил про себя Дмитриев, разглядев внимательно отчаянно решительную фигуру Ули. Дядька, знаток прекрасного пола, не догадался о том, что происходило на душе этой девушки.

Узнав от Абрама и от Дмитриева, что дело поступления в монастырь вовсе не так ужасно, как она думает, да, пожалуй, еще и не состоится, Уля вздохнула, провела рукой по глазам и по лицу своему и вдруг будто проснулась, будто очнулась от глубокого сна. И в ту же секунду

она вспыхнула, смутилась и бросилась вон из горницы Дмитриева.

— Шальная! — проводил ее лакей-дядька.

Чрез полчаса Абрам съехал со двора, провожаемый дворней. Лицо его было насмешливо-веселое.

Лихие кони Ромодановой быстро домчали карету до Кремля и Чудова монастыря, где жил Амвросий, и чрез несколько минут Абрам уже входил в просторную келью, где всегда работал архиерей.

Преосвященный Амвросий, архиепископ московский и калужский, был человек уже за шестьдесят лет, но казавшийся гораздо моложе. Черты лица его были неправильны; чересчур толстый нос портил его, но живые и умные глаза, немного хитрый взгляд оживляли это лицо.

Амвросий был южного происхождения. Отец его, родом валлах, Степан Зертиш, был взят в конце предыдущего столетия гетманом Мазепой как переводчик с греческого и турецкого языков.

В 1708 году в октябре, в бытность Степана Зертиша в Нежине, у него родился сын, названный Андреем.

Скоро мальчик остался круглым сиротой, и родной брат его матери, малороссийский дворянин происхожденьем, проживавший в Киеве, выписал его к себе. Дядя этот, Каменский, был настоятелем в Киево-Печерской лавре.

Мальчик, отличавшийся бойкими способностями, был помещен дядей в Киевскую академию, затем отправился в Львов, где два года учился еще и узнал польский и латинский языки. Знакомство с польским языком дало ему возможность прочесть много сочинений в переводе с европейских языков.

Уже лет двадцати восьми Андрей Зертиш вернулся снова в Киев, был усыновлен своим дядей и под именем Зертиша-Каменского отправился в Петербург. Здесь он был сделан тотчас учителем семинарии при Александро-Невском монастыре. Когда ему минуло тридцать лет, он решился исполнить давнишнее желание — постричься в монахи. С этой просьбой обратился он к человеку, которого наиболее любил и уважал,— к Феофану Прокоповичу.

Но умный старец целый год, несмотря на все просьбы, не дозволял молодому Андрею поступать в монахи. Видя, что никакие доводы не действуют на молодого человека, Феофан Прокопович дал ему прочесть книгу

«Похвала супружеству», которая должна была убедить молодого Андрея, что житейское море и мирская жизнь гораздо привлекательнее и легче, нежели монашеские.

Но образованный, умный и втайне честолюбивый молодой человек упорно стоял на своем. Он мечтал не о том, как трудно служить и угодить Богу, а о том, что легче надеть митру, нежели генеральскую шляпу. Честолюбие двигало им, и рассудок заставлял предпочесть поприще духовное всякому иному поприщу.

В 1739 году Андрей Зертиш постригся в монахи под именем Амвросия. Спустя девять лет, в царствование императрицы Елизаветы, он уже сделался архимандритом Воскресенского монастыря, именуемого Новым Иерусалимом, и в то же время стал членом Синода, пользуясь покровительством императрицы, которой был лично известен. Еще через пять лет он был уже епископом. Перед самой смертью императрица перевела его на епархию близ Москвы — Крутицкую и Можайскую. И наконец, года за три перед сим, Амвросий был назначен императрицей Екатериной архиепископом Московским.

Поводом к покровительству со стороны царствующей императрицы были сочинения Амвросия, из которых самое известное имело большой успех в обеих столицах. Оно называлось: «Рассуждения против афеистов и натуралистов».

Амвросий, как человек умный и просвещенный, к тому же очень начитанный, знавший теперь хорошо пять или шесть языков,— вел жизнь очень строгую и простую и много работал. Помимо управления самою важною в России епархиею, он постоянно работал, читал, переводил, писал и издавал в свет и свои труды, и сочинения других лиц. Между прочим, он издавал сочинения Феофана Прокоповича. Некоторые из этих изданий Амвросий печатал за границей в Геттингене, и поэтому он переписывался со многими немецкими учеными.

Наконец, кроме постоянных, срочных занятий, он уже несколько лет работал над огромным трудом. Это был парафрастический перевод псалтыря с еврейского языка на русский.

У Амвросия была еще и другая работа, другая особенная страсть. Он любил строить. Ему часто говорили о том, что ему следовало быть не монахом, а архитектором. Будучи в Новом Иерусалиме, он на свой

собственный счет кончил дело Никона, т.е. достроил главный храм. Когда он был назначен в Новый Иерусалим, то монастырь находился в самом жалком виде: все валилось, все падало. Еще немного, и заброшенный монастырь мог бы превратиться в кучу развалин и перестать существовать. Когда же Амвросий покидал Новый Иерусалим, то монастыря нельзя было узнать, и если много денег присылала ему на постройки императрица, то, может быть, еще больше положил он на монастырь своих собственных.

Переведенный из Нового Иерусалима на епархию Крутицкую, Амвросий и здесь снова принялся за архитекторство. Наконец, сделавшись московским преосвященным, он за свой счет занялся украшением внутренности Чудова монастыря, где жил. В то же время он выхлопотал себе позволение у императрицы заняться обновлением пришедших в ветхость кремлевских соборов и, благодаря его страсти строить, Благовещенский собор в Кремле был возобновлен заново, и Амвросий мечтал точно так же восстановить все остальные.

Несмотря на свои разнообразные занятия, преосвященный много выезжал, любил бывать в обществе и охотно принимал у себя людей всех классов. Всякий, имевший до него дело, имел и легкий доступ. Единственное исключенье составляло духовенство, которое Амвросий держал в ежовых руковицах и часто относился к нему со строгостью, доходившей до жестокости. И насколько московское общество, сановники и барыни любили преосвященного, настолько же духовенство ненавидело своего «владыку-полутурку». Строгость Амвросия объясняли именно тем, что он — полухохол, полуваллах, проведший полжизни за границей и на юге, не знавший близко положения, нравов и условий жизни российского духовенства. Он хотел упрямо и резко, сразу, как фокусом, поставить все на ту ногу, на какой видел католическое духовенство в Галиции. Со вступлением Амвросия в московскую епархию началась тотчас упорная, отчаянная и жестокая, даже бесчеловечная борьба с вековыми и коренными обычаями и нравами всей духовной иерархии, ему подведомственной.

В тот день, когда молодой и богатый барич Ромоданов явился у подъезда Чудова монастыря и велел о себе доложить преосвященному, у Амвросия сидел монах крошечного роста, весь седенький и сморщенный, как старый гриб. Это был его родной брат, старец Никон,

который при протекции Амвросия был теперь архимандритом того же Нового Иерусалима. Никон приехал на побывку к владыке-брату, которого обожал, за новыми указаниями в общем для них и близком деле — борьбе с монастырскою распущенностью.

Амвросий принял барича тотчас и, обласкав, усадил.

— Вот оно и кстати,— выговорил он.— Вот тебе, сударь, и твое начальство налицо.— И, обратясь к Никону, преосвященный объяснил, что молодой Ромоданов просится в послушники в Новый Иерусалим. Абрам, конечно, разумно смолчал, но вся фигура его, щегольской наряд, молодое и веселое лицо, с немного дерзким выраженьем избалованного барчонка,— все так противоречило намерению «служить Господу Богу», что маленький сморщенный Никон, оглядев барича, решительно мотнул головой.

— Нет! Уж спасибо,— гнусляво пробурчал он.— Нам таких в пустыню не треба. С картинки сорвался! Этакий всем моим инокам головы свертит, альбо споит к кругу, коли богат. Нет, братец-владыко, уволь.

Амвросий едва заметно улыбнулся.

— Так не желаешь Ромоданова в Иерусалим?

— Ни, ни, нехай хлопец в Москве клокчет да на твоих очах Богу молится. А у меня не рука ему быть.

— Ну, стало быть, в Донской... к Антонию...— обратился Амвросий к баричу.

— Как прикажете! — весело и бойко проговорил Абрам, играя своей красивой шляпой, лежавшей на его коленях.

Преосвященный пригляделся, молча и пристально, к баричу, вздохнул как-то странно, будто позавидовал молодому юноше богачу и отпустил со словами:

— Мой усердный поклон бабушке... Так, когда угодно, я скажу Антонию...

И Абрам, выйдя из келии, быстро сбежал по лестнице на подъезд.

«Спасибо, этот сморчок меня не захотел к себе,— думал он.— А то бы в Новый Иерусалим... Не ближний свет! Шутка сказать! А Донской все-таки под городом».

XXVIII

На Введенских горах, в одной из горниц большого каменного флигеля, прилегающего к еще большему казенному зданию огромных размеров, сидел за своим

письменным столом доктор Шафонский, директор военного госпиталя.

Около него, на подачу руки, лежали в беспорядке кипы разных книг иностранной печати. Шафонский вообще много работал, но за последние дни более, чем когда-либо.

Уже более двух недель он находился в тревожном состоянии. В его госпиталь взошла болезнь, не поддававшаяся никакому лечению. Все заболевшие умирали.

Доктор и директор госпиталя был человек умный, начитанный, не только медик, но еще ученый, человек крайне образованный по своему времени. Его, доктора, уже давно интересовала та болезнь, которая была на южнорусских границах и опустошала Молдавию и Валахию. Прислушиваясь, приглядываясь к тому, что делала чума на далекой окраине, Шафонскому не раз приходило на ум, что, пожалуй, эта болезнь может перейти и на север, пробраться в Россию, в самое сердце ее, вместе с возвращавшимися на родину солдатами.

Еще в те дни, когда чума оказалась на границе России, Шафонский уже доискивался, собирал сведения о характере этой страшной болезни и о том, в каком виде проявилась она за сто лет перед тем, в царствование Алексея Михайловича. Сведений, конечно, собрал он мало. В тех документах, которые попадались ему в руки, говорилось только, что «Господь Бог прогневался на русскую землю, что «за грехи наши помирают многие люди скорою смертью». Сведения эти были важны для доктора и ученого только тем, что они ясно доказывали неослабную силу чумы, как в жарких странах, так и среди русского мороза.

Затем Шафонский следил с тайным страхом человека образованного за приближением незваной гостьи. Гостья эта, в виде какой-то таинственной и безжалостной ведьмы, двигалась все ближе и ближе и была уже наконец в Малороссии. Действительно, она двигалась на Москву точь-в-точь так же, как недавно тащилась и притащилась в Москву старая бабушка, которую подсадил к себе в сани Ивашка.

Еще осенью Шафонский счел своим долгом предупредить московские власти об опасности. Он говорил о чуме постоянно со всеми, начиная от полуживого Салтыкова и кончая мелкими чиновниками. Но москвичи — и знатные, и незнатные, образованные и полуграмотные — одинаково относились к словам доктора со

смехом, шутками, прибаутками, и Шафонский в два месяца чуть не прослыл за шута или за человека, который помешался на чуме.

— К нам-то, в Москву, чума придет!..— отвечали ему.

Наконец, однажды, случилась самая простая вещь: умер приезжий из армии офицер, остановившийся в Лефортове.

Шафонский мельком узнал от кого-то о смерти офицера — быстрой и странной. Другой не обратил бы на этот факт никакого внимания, но Шафонский, получив известие, тотчас поехал в Лефортово на квартиру офицера, расспросил фельдшеров, мрачно насупился после расспросов и взял к себе в госпиталь захворавшего денщика.

Денщик вскоре умер, но после него заболели другие, и пошла очередь.

Шафонский с утра до вечера не отходил от больных, лечил, возился с ними на все лады, доставал из разных мест, где только мог, книгу за книгой, зарывался в эти книги, бегал от книги к больному, от больного опять к книге, ни о чем не говорил ни с кем и только изредка отвечал как будто сам себе, как будто на какой-то вопрос:

— Да, да...

Сказать вслух, хотя бы даже самому себе страшное слово чума, он, однако, долго не решался.

Наконец, когда уже десятый человек, заболевший после денщика, умер в госпитале в течение нескольких часов, Шафонский вдруг, как будто решаясь на самоубийство, бросился стремглав к генерал-губернатору.

Салтыков выслушал доклад, вытаращил глаза, понюхал табаку из табакерки и ничего не сказал. Но Шафонский заметил, что как ни дряхл сановник, а все-таки понял, о чем докладывает директор госпиталя.

И вдруг он увидел в глазах и на лице генерал-губернатора такое выражение, что сам смутился. Если бы он сделал на базу генерал-губернатора какой-нибудь большой скандал, что-нибудь в высшей степени неприличное, то Салтыков посмотрел бы на него именно так.

Глаза старика сановника говорили доктору:

«Ну, батинька, этакой штуки я от тебя не ожидал».

Присутствующие ожидали, что генерал-губернатор велит этого нахала и выскочку вывести вон.

Действительно, этот доклад не повел ни к чему. Салтыков отнесся к заявлению директора госпиталя, как

к поступку дурашного человека, выскочки, который кидается болтать зря, как какая-нибудь старая баба-сплетница.

«Ошалел он, что ли?! Или крестика захотелось?» — если не говорил, то думал Салтыков.

Весело хохотали в этот день адъютанты фельдмаршала, рассказывая и вспоминая, какое колено отмочил директор госпиталя.

— Каково это?..— рассказывали они знакомым.— Приехал да при нас и хлоп этакую новость!.. В госпитале у него, видите, чума!..

Многие смеялись до слез.

Быть может, если бы не старая развалина Салтыков, другие сановники Москвы поверили бы известию хоть наполовину.

Но появился добрый гений, хороший человек, всеми любимый, теплый человек, общий приятель — доктор Риндер, который хохотал более всех над Шафонским и своим неподдельным, веселым смехом успокаивал всех, даже самых боязливых.

Шафонский сидел больше у себя, на Введенских горах, с своими книгами. Риндер, наоборот, уже лет с двадцать ни одной книги в руки не взял, зато сидел, с утра до вечера, у разных вельмож и в особенности у разных старых барынь. Он был вхож во все дома Москвы, во все палаты. Везде был свой человек, везде «голубчик, батюшка — Густав Карлыч», везде пророк и вещатель.

Много народу уморил он из своих приятельниц, но делал это как-то так мягко, хорошо, ласково, сердечно, что и сердиться нельзя было. Умирающий, обставленный его микстурами, как-то всегда удивительно сладко улыбался благодетелю Густаву Карлычу и до последней минуты верил, что он спасен. И разве только с того света мог обратиться к Риндеру с укором:

— Ах, мошенник! Надул ведь... Уморил...

Покуда Шафонский волновался, мучился и как ученый, и как доктор, и, наконец, как гражданин, Риндер летал из дома в дом, из палат в палаты, обедал, завтракал, играл в карты, в колечко, в бирюльки, чуть не танцевал.

Если бы кто-нибудь другой из докторов первый произнес слово «чума» в Москве, то, быть может, Риндер и призадумался бы, но эта страшная гостья оказалась так невежлива, что объявилась прежде всего Шафонско-

му. И этого было достаточно, чтобы Риндер не захотел признать ее прав на существование в столице.

Борьба двух врагов докторов, русского и немца, была не равная. Помимо их разного образа жизни, их характеров, помимо того, что Риндеру все были приятели, а Шафонского, сидящего вечно на Введенских горах, никто не знал, были и другие причины. Шафонский был только директором больницы, а Риндер был штадт-физикус и главный член конторы государственной медицинской коллегии.

Риндер был, стало быть, сам сановник, важная птица, и наконец, что важнее всего, Риндер был немец, а Шафонский только русский.

Прошло три недели после смерти денщика, привезенного из Лефортова. В госпитале Введенских гор все заболевали и умирали один за другим солдаты, сторожа и рабочие. И однажды Шафонский, сознавая ясно, какую бурю он поднимет, ожидая, что, быть может, он сам себе сломит шею и потеряет место директора, сел за письменный стол и написал следующий осторожный рапорт в контору медицинской коллегии, где председал его личный враг — Риндер.

«Московской Генеральной Госпитали Конторе небезызвестно, что из находящихся при той госпитале надзирателей и работников, и их жен и детей, живущих в Казенных Госпитальных на Введенских горах покоях, помре приключившимися им жестокими горячками, минувшего ноября с 18, по сие число, человек до десяти, из коих, по усмотрению состоящих при помянутой госпитале Медицинских чинов, некоторые оказались в сумнительстве к заразительной болезни: того ради Государственной Медицинской Коллегии Конторе Московской Генеральной Госпитали Контора, сим представляя, требует, дабы оная Контора благоволила состоящих в Москве докторов, собрав общим от той Конторы присутствием, находящихся в здешней Госпитале больных, то же надзирателей и работников и прочих чинов, и их жен и детей, одержимых болезнями, неотменно сего числа освидетельствовать, и что по тому общему свидетельству окажется, учинить, к сохранению Высочайшего Ее Императорского Величества интереса и общенародной пользы, к предосторожности рассмотрение, и какое рассмотрение в том последует, Госпитальной Конторе дать наставление.

Афанасий Шафонский».

XXIX

В тот же день, в сумерки, на двор госпиталя выехала карета, и появился из нее сам Риндер.

Шафонский встретил неожиданного гостя и внутренно обрадовался его появлению.

«Пускай сам посмотрит!— подумал он.— Дело очевидно, доказательство налицо».

Риндер поднялся по лестнице, обошел почти весь госпиталь, осмотрел вновь заболевших, и мрачное, озлобленное лицо его прояснилось. Но выражение гнева сменилось выражением глубочайшего презрения. Он стал расспрашивать Шафонского о смертных случаях, о характере болезни и все улыбался. Его улыбка говорила красноречиво: «Ах ты дрянь этакая, выскочка!..»

Сначала Шафонский убедительно и с жаром объяснял и доказывал господину штадт-физикусу, что нет никакого сомнения в существовании страшной болезни в стенах госпиталя, но затем, после целого ряда колкостей и насмешек со стороны своего врага, он не выдержал и стал говорить резко.

— Который же у вас, мой любезный сотоварищ,— сказал Риндер,— почитается самым чумным... первосортным? Покажите мне его.

— Да любой. Их теперь пять человек.

И Шафонский провел Риндера в одну палату.

— Ну, вот вам и первый — Медведев. Вчера заболел. Вот вам старик.

Риндер осмотрел старика презрительно и стал доказывать Шафонскому, что это совсем иная болезнь и последствие дурного поведения.

— Да ведь ему семьдесят лет!— воскликнул Шафонский,— да, наконец, я его знал три года, а вы его в первый раз видите...

— На нем, господин сотоварищ,— язвительно выговорил Риндер,— даже самых простых признаков этой болезни, вами накликиваемой на нас, грешных, нету.

— Чего вам угодно? Пятен? Извольте... пожалуйте... Вы уж его видели... Пожалуйте...— уже громко, резко, вне себя говорил Шафонский.

И он повел Риндера в другую горницу. На постели лежал человек средних лет, в забытьи.

— Иван! поднимись... сядь!— сказал Шафонский.— Аврамов! — продолжал он,— слышишь что? Сядь!

Но, нагнувшись ближе, доктор увидал, что больной в полном забытьи.

— Вот-с!— воскликнул Шафонский,— час тому назад еще он был в памяти, а теперь, видите?!

И доктор позвал двух солдат, велел повернуть больного, поднять белье на спине и указал немцу довольно большие темно-багровые пятна.

— Хорошо-с этот? Тоже, по-вашему, та болезнь?

Риндер поглядел внимательно, потом еще презрительнее сжал свои тонкие губы и вымолвил, посмеиваясь:

— Это очень страшная болезнь... Действительно очень редкая. Она называется по-вашему, по-русски, пролежни.

Шафонский оторопел, развел руками и даже слегка рот разинул.

— Ну, это, позвольте вам заметить,— выговорил он после минуты молчания,— уж просто наглость!

Риндер вспыхнул. Губы его, сжатые, раздвинулись и задрожали.

— Да-с!— вне себя кричал уже Шафонский на весь госпиталь.— Это наглость, за которую нашего брата, доктора, когда он так ошибается или так соврет, гонят в шею!

И Шафонский, не помня себя, поднял руку, как будто хотел на деле показать Риндеру, что в данном случае следует сделать.

— Пролежни! Когда человек заболел третьего дня... Пролежни! Когда человек заболел третьего дня... Пролежали в три дня!

— Да ведь это вы говорите, что три дня!..— закричал тоже и Риндер.

— Да-с, я говорю. Я еще никогда не лгал так, как лгут немецкие доктора.

— Говорить, что это чума — есть преступная ложь!..— все более озлобляясь, крикнул Риндер.

— Да-с, да-с! чума, чума и чума! Вот эта самая!— указал Шафонский дрожащей рукой на больного.

— Ну, так тогда какая-нибудь особенная, другая,— зеленея от злости, произнес Риндер,— другая, ваша российская или Введенская... Не моровая язва, а Шафонская язва.

— Нет-с, простая, настоящая, турецкая! А есть еще другая чума, еще хуже этой,и процветающая в России — это вы!

— Я? — окрысился Риндер.

— Да-с! Вы! Немцы!

И Шафонский, махнув рукой, пошел вон из палаты, не дожидаясь того, чтобы врач-начальник собрался уезжать. Но через несколько минут, в другой комнате, Шафонский опомнился, вернулся назад, нагнал уже спускавшегося по лестнице Риндера и крикнул:

— Я требую медицинский совет!.. Я требую, чтобы завтра же было здесь совещание медиков, каких вам угодно. И поглядим, посмеют ли они назвать эту болезнь пролежнями или иным прозвищем.

— Завтра же будет совет, — отозвался Риндер. — И я сам желаю, чтобы господа медики московские на консилиуме определили: может ли доктор, принявший пролежни за чуму, быть директором такого важного госпиталя.

Но Шафонский, не слушая угрозы, пущенной ему вслед, уже уходил к себе во флигель.

Риндер вне себя сел в свою карету и долго повторял дорогой:

— Warte, mein lieber [1], я тебя с твоей чумой вместе на дно морское спущу... Ты у меня, как возмутитель общественного спокойствия, уедешь куда-нибудь в Оренбург, а то и подальше!..

На другой день действительно собрался докторский совет в госпитале, в числе восьми человек. В этот совет вошли выбранные Риндером медики: один русский, один поляк и шесть немцев.

«Славно подобрал!» — подумал Шафонский.

Но, видно, наличные больные говорили сами за себя. Консилиум докторов постановил и написал следующее:

«Мнение докторское о появившейся в Московском госпитале опасной болезни.

Общим собранием находящихся в Москве господ докторов, из представленного описания от доктора Шафонского болезни с припадками, которая болезнь оказалась в госпитале, что на Введенских горах, от которой болезни померло человек тринадцать, утверждено: что оная болезнь должна почитаться за моровую язву. Вследствие чего, для предосторожности должно предприять всякие меры и предосторожности: 1) Должно пресечь сообщение города с госпиталью. 2) В оном госпитале оного госпиталя доктор должен всякое старание

---

[1] Подожди, мой милый (*нем.*).

употреблять, чтобы оную болезнь там пресечь; а каким образом должно ему, доктору, там поступать в рассуждении лечения, от нас наставление дано, тако ж по его ежедневным рапортам в Контору и впредь сообщаемы будут наставления. 3) По оного доктора Шафонского требованиям делать всякое исполнение и удовольствие. 22 декабря 1770 года».

Подписались доктора: Эрасмус, Шкиадан, Кульман, Мертенс, Фон-Аш, Вениаминов, Зибелин и Ягелский.

Когда доктора разъехались, Шафонский прочитал несколько раз эту бумагу и чуть не подпрыгнул от радости, несмотря на свою всегдашнюю серьезность.

Он точно будто обрадовался тому обстоятельству, что в его госпитале была действительно по заявлению консилиума, никакая иная болезнь, как сама страшная гостья — чума.

XXX

Ивашка, ворочаясь из церкви, где пропал его мешок, не горевал о нем, а, напротив, радостно рассуждал сам с собой насчет своей удачи. Он был в восторге, что попал в услужение к такой красавице барыне. Часто случалось ему, еще почти мальчуганом, думать целые вечера, иногда целые ночи напролет о какой-нибудь деревенской молодице, глянувшей на него лишний раз. Одним словом, Ивашка был мягкосерд и влюбчив донельзя, но с тех пор, что он помнил себя, он ни разу не встречал — ни у себя в деревне или в околодке, ни в городе с тех пор, что приехал,— таких красавиц, как эта барыня. Ни разу ни одна из них не околдовала его так, как она.

Ивашка был такой чудной малый, что согласился бы на то, чего иной парень его деревни сразу бы и не понял. Он согласился бы с удовольствием служить без жалованья у красавицы барыни, нежели за большое жалованье у какого-нибудь купца. Но радость Ивашки продолжалась недолго. Когда он вошел в дом Барабина, барыня встретила его на крыльце, спросила — нашел ли он свой мешок, а затем прибавила:

— Ведь ты голоден? так ступай в людскую... Тебя накормят, а потом приходи, когда вернется домой мой хозяин.

Ивашка отправился в людскую и с особенным усердием занялся похлебкой и кашей, которую поставила

ему на стол добролицая, пожилая и по виду очень глупая кухарка дома — Пелагеюшка.

Кухарка тоже расспросила Ивашку, кто он и откуда, и закончила вопрос словами:

— Барыня Павла Мироновна из церкви-то привела? Она всегда у нас такая жалостливая к вашему брату... блаженному...

Ивашка обиделся.

— Нешто я блаженный? чего ты это!..

— Так кто же ты? нищий, что ли? побирушка?..

— Нету... просто так, стало быть, человек без места...

— Та-а-а-к...— протянула Пелагеюшка,— человек без места... чудно...

Ивашке давно уже хотелось расспросить кухарку о том, кто барыня — замужняя ли, вдова ли, но почему-то ему было стыдно и как-то страшно начать этот разговор. Он боялся, что глупая Пелагеюшка смекнет, догадается о том, что копошилось у него на сердце относительно этой красавицы барыни.

Но Пелагеюшка не заставила себя просить и сама, подойдя к столу и опершись руками на кочергу, стала перед Ивашкой и начала сама ему все выкладывать, что знала.

Ивашка скоро узнал, что хозяйка — дочь богатеющего купца Артамонова, замужем за его бывшим приказчиком и управителем, купцом Барабиным, что барынька горькую чашу пьет от своего хозяина.

— Тяжелый,— говорила Пелагеюшка,— ах, тяжелый... беда... к нему вблизь, паренек, лазать не след... бывает это, найдет на него, как огонь какой горит он. Мы все от него, что ни попадись, ножик ли, топор ли убираем скорей, а то попадется ему на глаза, схватит, да, того и гляди, кого и уложит... Позапрошлую осень он этакого, как ты, паренька, которого барыня тоже привела сюда якобы блаженного, чуть не убил... Померещилось ему что-то, ухватил он его за кафтанишку, встряхнул, да и бултых в колодец...

— Что ты! — невольно вымолвил Ивашка,— да за что же?

— За что! говорю тебе — сам он не знал за что: так, горяч...

— Ну, и что же? утонул тот?..

— Нет, как можно... Кабы утонул, то колодец испортил бы, а мы его по сю пору пьем. Крикнули народу, веревку бросили, вытащили его. Уже как вытащили,

родимый, что смеху было... Как его только на ноги поставили, он как шарахнет на улицу, уходить значит... больно напужался...

Беседа Пелагеюшки с Ивашкой была прервана приходом женщины Настасьи, которая позвала парня наверх, к барыне.

Ивашка в легком смущении пошел в верхние горницы и в первой же большой столовой нашел красавицу барыню на стуле у окна.

Она сидела задумчиво, такая же строгая лицом, и, когда Ивашка вошел, не двинулась, бровью не повела, а только, подняв на него свои удивительные глаза, стала пристально, не сморгнув, смотреть на Ивашку и будто мерять его с головы до пяток. Наконец она заговорила ровно, спокойно и как-то особенно... Каждое отдельное слово произносила она тихо, но ясно, отчетливо.

Ивашка невольно подумал про себя:

«Как хорошо говорит... будто поет...»

Павла расспросила Ивашку снова о его делах, житье-бытье в Москве.

— Ну, а теперь,— кончила она,— что же ты будешь делать?

— Возьмите меня к себе, хоть в дворники, что ли...— вымолвил Ивашка.

— Нет, этого нельзя,— тихо выговорила Павла.

В ее голосе, как всегда, слышалось, что когда она скажет — нет, то уж это дело решенное и нечего просить.

— Придет сейчас мой хозяин, ты его проси взять тебя на фабрику. Будешь служить хорошо — попадешь в приказчики, разживешься...

Павла начала было расспрашивать парня о Воробушкиных, о его молочной сестре, о которых он упомянул, но вдруг, глянув пристальнее в окно, в которое она не переставала во время беседы с Ивашкой постоянно заглядывать, она быстро встала и вымолвила неспокойным голосом:

— Ступай, ступай... уходи... выйди в сенцы... Хозяин мой идет, просись у него... уходи скорее.

Ивашка, под впечатлением ее тревожного голоса, выскочил в сенцы, как если бы спасался от преследования. Он почему-то струхнул и со страхом ожидал появления этого хозяина.

Через несколько минут в воротах показалась красивая фигура высокого, стройного человека, в новой под-

девке, меховой шапке и в накинутом на плечах полушубке на богатом меху.

Барабин медленно, не спеша, поднялся по лестнице в сени. Еще издали завидя фигуру стоявшего парня, он тем не менее поднимался опустя глаза и, только приблизившись к Ивашке, поднял на него черные как уголь, продолговатые, беспокойные глаза.

Ивашка еще более смутился от этого страшного, недоброго взгляда.

«Вот у кого, должно быть, глаз-то скверный, не чета моему!» — подумал про себя невольно парень.

Барабин стал перед Ивашкой почти вплотную и, будучи выше его ростом, глянул на него сверху вниз и вымолвил угрюмо:

— Ну...

Это слово как будто говорило о том, что Барабин уж знает заранее, о чем будет парень просить.

У Ивашки от смущения язык как-то зря заболтался во рту, и он выговорил несколько слов, которые не вязались между собой. Но Барабин понял.

— Откуда свалился?— выговорил он.— Жена привела?

Ивашка отвечал, что Павла Мироновна нашла его в церкви и сжалилась над ним.

— Милостыню просил?— пробурчал угрюмо Барабин.

— Я-то? нет, зачем... я так, зашел помолиться.

— Как же она узнала, что ты голоден? на лбу у тебя, что ли, написано?.. Ты, что ли, заговорил, просить стал?.. или она сама?..

Ивашка сообразил, что ему приходилось рассказать, как, стоя близ царских дверей, он ахнул на всю церковь, пораженный красотой Павлы Мироновны. Ивашка понял, что рассказывать этого невозможно, не след и даже опасно — попадешь, пожалуй, в колодец,— надо было лгать, а Ивашка этого совершенно не умел.

И он снова начал лепетать что-то, совершенно не только непонятное Барабину, но даже ему самому.

Барабин раза два или три пытливо и подозрительно глянул на него своими беспокойными глазами и затем, не сказав ни слова, пошел в горницу.

Ивашка остался в сенях.

Через несколько минут вышла та же Настасья и велела ему снова идти в людскую, покуда хозяин не позовет.

Усевшись в углу людской, Ивашка на этот раз не стал

болтать с хлопотавшей об обеде Пелагеюшкой, а обдумывал одно странное приключение.

С той минуты, что он увидел Барабина, ему показалось, что он когда-то видал его.

«Стало быть, в Москве повстречался как-нибудь!» — подумал сначала Ивашка.

Но затем, вспоминая, где он мог видеть Барабина, он вдруг был поражен открытием. Лицо Барабина оказалось ему совершенно знакомым, но совершенно по другим причинам.

Около их деревни, в богатой вотчине какого-то столичного боярина, была богатая церковь, вся покрытая живописью сверху донизу. Ивашка, будучи очень богомолен, не пропускал ни одной службы, подтягивал дьячкам на клиросе и кончил тем, что стал прислуживать в алтаре за кого-либо из отсутствующих дьячков.

После всякой обедни он долго оставался в церкви, прибирал все, а затем аккуратно каждый раз предавался своей страсти разглядывать живопись по стенам. Как любил Ивашка песни, любил слушать их, любил сам петь их, точно так же любил он малевание и живописание. Даже сам, случалось, мазал углем по заборам разные фигуры. Случалось ему за это занятие попадать и под палку.

В числе прочей живописи в храме была одна, изображавшая Страшный суд. На одной стороне восседал Господь Вседержитель, окруженный ангелами, а внизу рядами стояли праведники в белых одеждах; на другой стороне, на огненном кресле восседал сатана, с красными глазами, с рогами и с длинным хвостом. Перед ним была наворочена целая куча разных грешников, в разных положениях. Иные торчали совсем вверх ногами.

Ивашка так часто заглядывался на алую свирепую рожу сатаны, что он даже раза два приснился ему во сне. За последнее время он перестал подходить к этой живописи, но лицо врага рода человеческого осталось живо в его памяти. И вдруг, здесь в Москве, совершенно неожиданно, в доме удивительной красавицы барыни, которая обласкала его и околдовала, повстречал он человека, московского купца, у которого лицо было совершенно подобное лицу того сатаны. Ивашка был так поражен своим открытием, что, сидя в углу людской, закрыл лицо руками и ахнул на всю горницу.

Даже Пелагеюшка обернулась и позвала его. Но парень не слыхал, так смутили собственные его мечта-

ния. Первая мысль Ивашки была, конечно, бежать скорее из этого дома, где живет красавица, колдующая своими очами, и хозяин, схожий лицом с самим сатаной. Если бы Барабин в эту минуту не прислал за парнем в людскую, то, быть может, Ивашка и ушел бы потихоньку из этого дома.

Барабин вышел к парню в сени и, сложив руки на груди, проговорил угрюмо:

— Ну, завтра пойдешь со мной на Суконный двор. Нам народ нужен. А будешь дело свое делать рачительно, стараться, усердствовать, то будешь приказчиком... Только уговор вперед — коли будешь баловаться, то спуску не дам. Да ты думаешь — рассчитаю, что ли? Зачем? Это повадка глупая... я гонять не люблю, а возьму да шкуру спущу... Не поладится дело — вторую спущу, а там и третью... будешь приказчиком или сдадут в больницу.

XXXI

На другой день утром Барабин отправился, по обыкновению, на Суконный двор и взял нового наемника с собой.

Недалеко от Москвы-реки, близ Каменного моста, тянулось большое здание с бесчисленным количеством пристроек и флигелей. Внутри был огромный двор. Несмотря на зимнее время, на нем как бы не было ни единой снежинки. Весь он выглядел изжелта-черным от грязи, сора и всякого мусора. Весь двор почти сплошь был завален кучами тюков, рогож и заставлен дровами. В иных местах снега не было совершенно и ноги вязли в каком-то странном соре. Среди самого двора было место, покрытое льдом, как бы замерзший пруд, но это была огромная лужа, настолько глубокая, что за два года перед тем, летом, двое пьяных суконщиков утонули в ней, и обоих засосала тина.

Покатые крыши надворных строений, спускавшиеся ко двору, были покрыты высокими сугробами, белыми как снег, так как рука все грязнящего рабочего не могла достать туда. Благодаря этим сахарным глыбам, двор, который они окружали, казался еще грязнее, еще ужаснее.

Барабин быстрой походкой вошел в главные ворота, повернул на лестницу и пошел длинным коридором,

поворачивая то вправо, то влево. Ивашка едва поспевал за ним.

Наконец, в одной более чистой горнице Барабин сбросил с себя полушубок, и к ним явился старичок, сгорбленный, с большим красным носом, и маленькими глазенками. Это был главный приказчик Суконного двора — Кузьмич.

— Ну, Кузьмич,— вымолвил Барабин своим угрюмым голосом.

— Ничего-с, Тит Ильич, все слава Богу на этот раз... только драка была. Затесался сюда разбойник этот... Я чай, знаете... шляется по Москве... прозвище у него дурацкое — Марья Харчевна.

— Ну?..

— Ну-с, драку завели, одного он убил... Гришку.

— А еще? ничего?

— Все слава Богу... ничего-с.

— Ну, вот тебе, Кузьмич, нового парня. Коли будет старателен — в приказчики его произведем.

— А! нового, это хорошо, Тит Ильич, а то Алешка-то помер.

— Как помер?— воскликнул Барабин.

— Да-с. Часа тому с три. Извольте сами посмотреть.

— Чего мне смотреть... не прикидывается же... Помер, стало быть, помер... Вели стащить.

Барабин двинулся вдоль мастерских. Кузьмич и Ивашка последовали за ним. Пройдя одну длинную горницу, уставленную станками, они вышли в темную комнату, вроде сеней, и когда Барабин, шедший впереди, отворил дверь, то сильное зловонье охватило всех.

В сенях было темно, и только немного свету падало в растворенную дверь. В углу, на подостланных досках, лежало что-то прикрытое полушубком; с досок торчала вперед худая, костлявая нога.

— Это что?— воскликнул Барабин.

— Да эта самая старуха... позабыл я вам доложить... притащилась сюда к Алешке, погостила у него, потом опять ушла... а там опять наведалась да вдруг и померла.

— Чего же ты не уберешь?

— Да раза три наказывал парням стащить, да что с ними поделаешь? подлый народ... никому неохота с старой вожжаться. Своих прибирают, а на эту охотников не найдешь... Извольте уж сами приказать.

— Ну, ладно, пусть. Сейчас тащи отсюда. Вот этот тебе подсобит.

Барабин прошел дальше. Кузьмич кликнул проходившего мимо парня и, при помощи Ивашки, все трое стащили старуху с досок и потащили во двор.

Ивашка, таща мертвую старуху за одно плечо, уже забыл думать о сильном зловонии, которое окружало труп. Он был поражен тем, что эта старуха была точь-в-точь та самая, а пожалуй, она сама, которую он подсадил к себе в сани под Москвой и довез до Николы Ковыльского. И платье, казалось, то же, и платок, повязанный на лохматой голове.

Старуху стащили во двор за дрова, положили на мусор и прикрыли рогожкой. Полушубок Кузьмич приказал отнести к себе.

— Пригодится кому-нибудь,— сказал он.

Ивашка отошел от трупа, почесывая затылок.

«Удивительно...—думал он,— неужто это та самая старуха!.. Она, кажись, так и сказывала про какого-то Алешку, сына!.. И этот сказывает — Алешка у нее сын, да еще помер вчерась... удивительно...»

На Суконном дворе Ивашка стал жить ни хорошо, ни дурно.

Барабин, Кузьмич и все были им довольны, но сам Ивашка не был доволен ни своим положением, ни своим званием.

На фабрике было грязно, душно. Несколько сотен народу фабричного совсем не походили на крестьян его села. Ивашку, воспитанного в доме Воробушкиных на барскую ногу, отталкивала грубость фабричных и постоянное пьянство, драки, ссоры. Даже пища их была ему не по нутру.

Не прошло недели, как Барабин сделал его приказчиком. Ивашка быстро все усвоил, понял свою обязанность и исполнял ее добросовестно. Но в то же время он уже мечтал о том, как бы переменить место.

Единственно, что удерживало его на Суконном дворе, была возможность всякий день отправляться с докладом к Барабину и видать, хоть одним глазком, вскользь, красавицу барыню, которая так околдовала его в церкви. Часто случалось, что Ивашка уходил, не видавши Павлы Мироновны, и вечером, засыпая, утешался надеждой, что завтра непременно увидит ее.

Но главное, что смущало Ивашку и казалось ему удивительным и страшным,— это его скверный глаз на людей.

Как на прежних местах, так и теперь на Суконном

дворе, Ивашка видел вкруг себя все заболевающих и умирающих.

Однажды, встретив на улице подьячего Мартыныча в добром здоровье, он даже удивился. Он был убежден, что подьячий давно на том свете. На расспросы Мартыныча, почему он ушел, и на приглашение снова поступить к себе Ивашка снова отказался. На этот раз он привел в пример и в подтверждение своих опасений именно то обстоятельство, что на Суконном дворе точно так же продолжает он сглаживать людей.

— Так и мрут,— прибавил он,— всякий Божий день кто ни на есть заболеет. Дня два проваляется и помрет. Одно мне остается — либо топиться, либо в Киев идти... в пещерники, грех свой замаливать.

Честный и добрый малый Ивашка давно уже объяснил Барабину и Кузьмичу, что его следует отпустить, что он — причина заболевания и смерти фабричных. Но Барабин и Кузьмич только вдоволь, до слез, нахохотались над парнем.

— Ладно, смертоносный,— шутил Барабин,— живи небось да делай свое дело.

Ивашка особенно не настаивал, так как, лишившись места на фабрике, он лишился бы возможности видать Павлу Мироновну.

Однажды, дня через три после его объяснения с Мартынычем, за ним прибежала женщина из дома Барабина и потребовала его к барыне.

— Хозяин наш из Москвы отлучился,— сказала она,— а то нешто при нем посмела бы она тебя звать.

Провожая Ивашку до дому, женщина сказала несколько слов, которые как ножом ударили Ивашку.

— А что, паренек, ведь приглянулся ты нашей хозяюшке... ей-Богу. Всякий день спрашивает о тебе — что, как, да хорошо ли живется, да не ругает ли тебя хозяин. Вот и ноне, только тот со двора — за тобой послала.

Ивашка, конечно, не смел и мечтать о том, чтобы такая важная барыня-красавица могла думать о нем, простом мужике. Он, конечно, не поверил болтовне бабы, но слова ее все-таки глубоко запали ему в душу.

Когда он вошел в дом Барабина, то чувствовал особенное смущение и с каким-то странным страхом ожидал свидания с глазу на глаз с барыней, о которой мечтал нескончаемо и день, и ночь.

Через несколько минут другая женщина позвала Ивашку из кухни наверх.

Павла сидела на том же самом стуле у окна, на котором видел ее Ивашка в первый день. И снова, так же как и в первый раз, Ивашку пронизали насквозь ее чудные, удивительные глаза. Он поклонился в пояс и стал, невольно отведя глаза в сторону и не имея сил глядеть ей в лицо.

— Ну, что? как тебе живется, хорошо ли?

— Ничего-с.

— Доволен?

— Доволен-с, ничего-с.

— Хозяин тобой доволен. Говорит, что если Кузьмич захворает, то тебя на его место поставит. Хозяин сказывает, что ты очень понятлив, трезвый, да потом, говорит,— совсем на мужика не похож. Рад бы ты на место Кузьмича попасть?

Ивашка не знал, что ответить.

— Что же молчишь?

— Возьмите меня к себе в дом,— выговорил Ивашка.

— Куда?

— К себе... в услужение... здесь, стало быть, в дом...— Ивашка едва-едва шевелил губами, будто сознавался в чем-то ужасном.

Не просьба его, а причина тайная этой просьбы смущала его. Лицо его, и шепот, и вся поза так ясно говорили о том, что он силился скрыть, что всякая женщина почуяла бы, почему смущается и шепчет парень.

Павла пристально вгляделась в лицо Ивашки и вдруг произнесла тихо:

— Поверни глаза... Посмотри на меня.

Ивашка через силу исполнил приказание, но только на мгновение пересилил себя и снова опустил взгляд.

Наступило молчание. Павла в этих глазах поняла все и вдруг, среди тишины горницы, Ивашка расслышал ее тихий, сдержанный вздох.

— Ах, глупый ты, глупый,— выговорила она тихо, будто самой себе.— Не знаешь ты своего хозяина... померещится ему что-нибудь, и он убьет зря. Ты вот что, Иван, выброси всякий вздор из головы... думай о деле. Вишь ведь какой? Мужик из деревни, а что на уме...

Наступило снова молчание.

Ивашка продолжал стоять, опустив голову и опустив глаза в землю.

— Обещаешься ты мне обо мне не думать? Я ведь

замужняя, да тебе и не пара. Совсем глупо выходит... Мне бы хотелось видать тебя, знать, что ты поделываешь, а если ты этак... Этакое глупое на уме будешь иметь, мне тебя нельзя к себе и звать. Выходит нехорошо... Знала бы я это, и сегодня не позвала бы.

Ивашка ничего не отвечал и стоял как истукан.

— Ну, что у вас делается? Правда ли, что все хворают люди?

— Точно так. Просил уж я хозяина меня отпустить — смеется...

— Да как же не смеяться? Нешто может человек сглаживать народ насмерть? Ведь вот жил у нас целый день, а спасибо, никого не сглазил, никто у нас не захворал и не помер.

— Это точно... вот я оттого и просился опять к вам.

— Не лги... совсем не оттого. Ты просишься затем, чтобы поближе ко мне быть. Ведь так? Погляди-ка на меня!

Но Ивашка на этот раз не поднял опущенных глаз и только слегка вспыхнул.

— Глупый ты!.. Возьми я тебя сюда... ну, а если заприметит хозяин мой да узнает то, что я узнала? что тогда будет с тобой? Задаром пропадешь.

— Хозяина я не боюсь...— прошептал Ивашка чуть слышно.

— Что, что?

— Хозяина, говорю, не боюсь. Хоть сто смертей пройду...

— Полно...— строго выговорила Павла другим голосом.— Не смей никогда и впредь таких речей со мной держать. Ты, глупый, не понимаешь, что мне, первостатейной, столичной купчихе, только обида, если простой парень, мужик, будет мне такие слова говорить.

И опять наступило молчание.

Ивашке хотелось уже, чтобы гордая красавица барыня отпустила его. Ему было и стыдно, и тяжело стоять перед ней, не смея поднять головы и взглянуть на нее.

— Скажи-ка лучше,— заговорила снова Павла,— как это народ все хворает? и почему? Ты думаешь, все одной хворостью?

— Точно так, все на один лад... Потрясет человека, погорит в огне, потеряет мысли, значит, лежит чурбаном или мечется, а там чернеть начнет... А там затихнет, будто заснул, а смотришь — тащи его на двор, хорони.

— Да разве вы во дворе хороните?

— Во дворе.

— Как же так?

— Не знаю, так указано.

— За батюшкой посылаете?

— Нет-с, не приказано. Приказано от хозяина: как помер — на дворе яму выкопать и хоронить. За дровами, значит, недалеча оттуда, где лужа такая большая.

— Отчего же так?— с изумлением выговорила Павла.

— А земля мягче, копать слободнее.

— Что? да я не про то. Отчего за батюшкой не посылают? Ведь это все грех. Знает ли отец про эти порядки? Когда был у вас Мирон Дмитрич?

— Давненько не был. На второй день, как я поступил,— они заезжали, да так, у ворот только постояли, о чем-то поговорили и уехали.

— А в самый двор не входил?

— Нет-с.

— Много ли у вас померло?

— Да кто их знает. Десятка два, а то и более, а то и полсотни.

— Что же Кузьмич говорит?

— Говорит — помирают.

— Ну да. Да отчего помирают?

— Да так, говорит, помирают. Известно, человек жив — а там помер. Я говорю — от моего глаза, а он говорит — ты дурак.

Павла невольно усмехнулась.

— Ну, ступай к себе. В другой раз, можно будет, пошлю за тобой. Только помни, Иван... мысли эти из головы выкинь, а то и грех, и обида. И посылать я за тобой не стану. Обещаешься?

— Обещаюсь...— пролепетал Ивашка и, по знаку красавицы, вышел из горницы.

Павла, по уходе молодого парня, красивого не столько лицом, сколько выражением этого лица с большими серыми, кроткими и ясными глазами, долго просидела неподвижно, склонив голову на руки и глубоко задумавшись.

Она сказала ему сейчас, что ей, первостатейной купчихе столичной, обида слушать такие речи от простого парня деревенского. А чем же был ее отец, когда пришел босоногий в Москву? Чем был ее муж, когда поступил к отцу в услужение на тот же Суконный двор? И Артамонов, и Барабин, и Ивашка все те же мужики.

Павла, через несколько минут глубокого раздумья, поймала себя самою на мысли — что если бы Ивашка поступил на фабрику несколько лет тому назад, то выслужился бы, вероятно, точно так же, как и Барабин. Точно так же видался бы с ней, и, быть может, кончилось бы все тем, что молодой парень точно так же полюбился бы ей и сделался бы ее мужем.

И вдруг Павла бессознательно поставила рядом в своем воображении Барабина и Ивашку. Страстного, крутого, тяжелого, черного как смоль Барабина и ласкового, с светлым лицом и с светлыми глазами Ивашку. Она примеривала одного к другому и кончила тем, что тяжело и глубоко вздохнула. Ей показалось, что она была бы вполне счастлива, совсем другая женщина, если бы судьбе захотелось распорядиться несколько иначе и вместо приказчика Барабина послать ей, несколько лет ранее,— приказчика Ивашку.

«Если такие мысли,— подумала она,— будут мне в голову лезть, так лучше за этим парнем более не посылать. Это все с тоски... с одиночества... Пойти-ка лучше прогуляться к батюшке да шепнуть Мите словечко о Суконном дворе».

XXXII

Через несколько минут Павла, надев богатую шубу, завязавшись пунцовым платком, направилась по улице к дому своего отца.

Не сразу отперли ворота и уняли собак. Дом Артамонова, первого богача, в этом отношении походил на острог, в который пробраться было довольно мудрено.

Павла нашла отца на его обыкновенном месте под образами, в покойном кресле, обитом какой-то бурой толстой кожей. По спинке, на ручках и ножках и вдоль сиденья были утыканы сотни маленьких гвоздиков, которые блистали узорами со всех сторон.

Седой как лунь Артамонов, с длинной седой бородой и длинными по плечам седыми и густыми локонами, был удивительно похож лицом на образа угодников в том же киоте, под которым он сидел. Перед ним на скамеечке сидел мальчуган, любимец Митя, и внимательно слушал что-то, что рассказывал ему отец, держа книгу на коленях.

И старик, и мальчуган равно рады были всегда

появлению Павлы. Митя бросился к сестре на шею, а старик протянул обе руки, взял дочь за голову, притянул к себе и поцеловал несколько раз в щеки и лоб.

— Ну что, твой как поживает? — выговорил Артамонов. Это был всегдашний вопрос. «Твой» — был не муж, а ребенок. Про зятя Артамонов никогда не спрашивал. Когда же случалось говорить о зяте, Артамонов называл его по имени и отчеству — Тит Ильич.

Павла, приходя к отцу, большей частью молча сидела около него около часу и возвращалась домой. Говорить им было не о чем, нового и интересного не могло быть ничего.

О делах своих Артамонов не любил говорить, да с дочерью, т. е. с женщиной, считал подобного рода разговор неуместным.

О своих семейных делах Павла никогда не говорила. Она сама выдала себя замуж и если была несчастлива, то считала унизительным печалиться и жаловаться.

Каждый раз после молчаливого свидания старик снова брал дочь за голову, снова целовал ее так же, и только глубокий вздох, провожавший ее домой, ясно говорил о том, как тяжело старику положение его дочери. Часто после ухода Павлы старик бросал Четью-Минею или иную священную книгу и долго сидел, опустив свою снежно-белую голову на грудь. И часто умному старику приходило на ум рассуждение, становился перед ним вопрос — зачем было богатеть, зачем было наживать целые кучи золота? Чтобы иметь много детей, всех почти потерять и иметь теперь двух сыновей болванов, «миндалей», и единственную дочь, несчастную в браке. И что же оставалось? Один мальчуган Митя.

И старик мысленно каждый раз привязывался еще более к этому мальчугану, хватался за него как за соломинку. В его будущем искал он спасенья своего душевного одиночества, в нем одном надеялся наконец увидеть смысл всего своего существования.

За последнее время все больше и чаще читал Артамонов Книгу Иова. Как удивились бы москвичи, узнав, что гордый на вид, грубый и суровый старик смирялся духом в тиши своей горницы и готов был отдать все свои кучи золота, свою спесь, свое презрение к московским сановникам, свое знание людей и дел, — все отдать, даже своих двух «миндалей», лишь бы отдали ему счастье

Павлы и пообещали бы, что мальчуган Митя будет так умен, как обещает.

Часто приходило на ум старику то, что слышал он однажды от какого-то сенатора, что в заморских землях существует развод, что на Руси, например, у донских казаков, исстари водился обычай разводить мужа с женой, и оба делались свободны и могли вступать снова в брак.

И Артамонову не казалось это грехом. Он всячески обдумывал этот вопрос и поневоле видел разумность в этом обычае.

На этот раз Артамонову показалось, что дочь его особенно грустна. В действительности Павла была на вид несколько печальнее обыкновенного под влиянием тех мыслей, которые возникли в ней после ее беседы с влюбленным парнем.

Артамонов, видевший дочь насквозь, подумал, что Барабин, перед отъездом из Москвы, снова имел с женой крупную ссору. Подозрение Артамонова еще более усилилось, когда Павла, простившись, сказала с притворным равнодушием в голосе своему брату, чтобы он проводил ее домой.

«Что она ему скажет?— подумал старик.— О своих ссорах с мужем говорить мальчугану непристойно... и она этого не сделает. Стало быть, что-нибудь особенное... что и мальчугану сказать можно».

Между тем Павла говорила брату, когда они были на улице:

— Приходил бы ко мне чай пить, Митя! Ты у меня редко стал бывать. Кабы знал ты, как мне тошно и скучно, то чаще бы забегал. Знаешь ли ты, Митя, что мне иной раз все золотые иконы в образах кажут черными... зажжешь много свечей, зажжешь три лампады, а в горнице будто темнота... А на душе, Митя, так черно... как не дай Бог никому. Ну, да что об этом толковать. Я тебя недаром позвала.

Когда они были дома, в маленькой горнице Павлы, она передала Мите, вечному посреднику между ней и отцом, о том, что творилось в Суконном дворе.

— Ты, Митя, скажи батюшке, там что-то нехорошо. Ты пойми — там хворость завелась, народ мрет, а от начальства скрывают. Я слышала, что за священником не посылают, хоронят тихонько в дровах. Ведь за это все под суд пойдут, и батюшка под суд пойдет.

— Что ты, сестрица! Батюшка закупит. Кто же его

может судить? Даст сто рублей генерал-губернатору, вот тебе и суд.

— Это нельзя, Митя.

— Ну, тысячу рублей даст, ну, десять тысяч. Говорю тебе, закупит. Что ни случись — мы всех закупим. Мне сказывали надысь, что мы всю Москву купить можем.

— Ты ступай, Митя, скажи батюшке про это. Ну, пускай ничего ему не будет, в ответ не попадет. Да ведь это грех, Митя! Православный народ как собак хоронят. Скажешь ему?

— Ладно, скажу. А что Тит не скажет?

— Стало быть, не хочет, скрывает или боится. Уж ты, Митя, скажи непременно.

Обещав непременно переговорить с отцом, которого Митя один во всей Москве не боялся и даже удивлялся, что другие боятся, мальчуган помолчал несколько времени и потом заискивающим голосом спросил у сестры:

— Павлинька, милая! что я у тебя все собираюсь спросить...

— Так спроси! — усмехнулась Павла.

— Ты надо мной смеяться не будешь?

— Вот вздор выдумал. Когда я над тобой смеюсь? И потом, ты не Силантий и не Пимен, глупого ничего не выдумаешь. Когда что и спросишь — все выйдет ладно. Ну, говори, что тебе?

— А вот что, сестрица... Уж не знаю, как тебе и сказать...

— Да говори просто.

— Просто?.. Есть такие, сестрица, дела, что просто сказать нельзя. Вот видишь ли... есть на свете, ну, хоть в Москве, да и везде есть, стало быть... монахи. Ну, есть офицеры, ну, есть опять мужики, есть купцы, ну, вот мы купцы...

— Ну да, что же далее?

— Ну теперь мы купцы, а есть тоже дворяне...— Митя запнулся.

— Ну, ну, что же?

— Вот видишь ли... мы купцы...

Павла засмеялась.

— Ну, так и будешь повторять — мы купцы.

Митя слегка зарумянился и выговорил вдруг залпом:

— Может купец быть дворянином?

Павла не сразу ответила.

— Право, не знаю... может, да только не совсем.

— Да отчего не совсем? а ты подумай.

— Да, право, Митя, не знаю.

— А чай, бывали примеры?

— Ты лучше у батюшки спроси. Да зачем тебе?

— Зачем? Видишь — большая, у самой сынишка, а не понимаешь. Батюшка-то купец, и я, стало быть, купец. Ну, вот батюшка-то со всем своим золотом и серебром остается купец, а я не хочу. Вот тебе и весь сказ.

— Я что-то не понимаю, Митя!

— Так ты, сестрица, в своем одиночестве рассудка лишилась. Чего же тут не понимать? Я купеческий сын, а хочу быть дворянином.

— Вот как! скажи на милость.

— Да и сказал!— резко выговорил Митя.

И в голосе его услыхала Павла голос отца своего.

— И буду, сестрица, вот что скажу. Вот не пройдет еще десяти лет, будет мне за двадцать, и буду я дворянин. Мундир надену, парик надену, шпагу прицеплю, в гвардию поступлю!..

— Что ты! голубчик...— воскликнула Павла.— Да нешто батюшка это позволит срамиться?.. он скажет, ты всех нас осрамил...

— Не скажет, сестрица! Я всякий день батюшку к этому приспосабливаю.

— Что, что?

— Всякий день приспосабливаю батюшку. Маленечко удочку закидываю, и он клюет! Скоро сам начнет говорить: «чтобы тебе, Митя, дворянином быть».

И Митя так искусно передразнил отца, что Павла, несмотря на свое грустное настроение, начала хохотать.

Умный мальчуган, видя, что развеселил сестру, стал нарочно представлять своего отца, которого обожал. Митя начал ходить, как Артамонов, медленно произносил слова, представлял, как он выговаривает Барабину за беспорядки на Суконном дворе. Затем вдруг Митя стал представлять самого Барабина.

Но тут Павла перестала смеяться, и Митя, к своему удивлению, вдруг увлеченный своей игрой, взглянув на лицо сестры, увидел его все в слезах.

— Что ты, сестрица, родимая!..— бросился он к ней на шею.

Но Павла плакала и не могла выговорить ни слова.

— Что ты! обиделась? Я не знал... Я не хотел... Я думал, ты его совсем, совсем не любишь, а ты любишь? За что же ты его любишь? Он злодей...

— Ах, полно! полно!

И Павла невольно протянула руку и зажала рот своему брату.

Митя схватил ее за руку и продолжал с жаром:

— Да, злой!.. Я убил бы его!.. ты никогда не говоришь со мной о нем и с батюшкой не говоришь. Но мы часто беседуем и батюшка говорит, и я говорю — убить его... сослать его в Сибирь... Изводит он тебя, и доживете вы до беды... до греха... Вырасту я, сестрица, я говорю тебе — избавлю я тебя от него...

Но Павла так отчаянно вскрикнула при этих словах и при виде неребячески оживленного лица маленького брата, что Митя отошел к окну, припал горячим лбом к стеклу и замолчал.

В комнате наступило гробовое молчание, а страшные слова и страстный голос этого чудного отрока все еще, казалось, звучали в ушах испуганной и пораженной женщины.

XXXIII

В сумерки Митя, уже спокойный, но несколько задумчивый, вернулся домой и прошел прямо к старику отцу. Однако мальчуган отложил говорить с отцом о делах до утра. На следующий день он без всяких предисловий, прямо объяснил отцу, что на Суконном дворе творится что-то дурное, что мрет народ и что всех зарывают зря, как собак.

— Тебе кто сказал?— строго выговорил Артамонов. Митя удивился голосу отца. Редко, быть может, раз в год, обращался к нему старик с таким строгим голосом. Но Митя не привык пугаться гнева отца относительно его. Ему даже это нравилось, как нечто очень редкое, любопытное.

— Кто мне сказал?— отвечал Митя.— Ну либо догадывайся, либо так и останешься, не узнавши.

— Ну, не балуй... говори... был ты на Суконном дворе?

— Вишь, какой прыткий! начнешь расспрашивать, так обходами дойдешь. Я не скажу, так намеками, да другими сторонами узнаешь, в чем дело. Коли не сказал, от кого слышал, так не скажу и другое что...

— Не балуй, Митрий!— еще строже выговорил Артамонов.— Отвечай мне правду... дело это важное. Только одно мне отвечай... больше спрашивать не стану. Отвечай одно, что спрошу!

— Одно? ну, так и быть, одно отвечу... спрашивай!

— Был ты на Суконном дворе?

— Выходит, тятя, обходом берешь.

— Каким обходом? — Уже нетерпеливо заговорил старик.

— А таким — скажу, не был на Суконном дворе — ты скажешь: ну, значит, Павла сказала. Только мне и можно было побывать, что на Суконном да у Павлы. Стало быть, Павла сказала.

— Ну, что же она говорит про это? — как-то странно спросил старик.

— Что это — грех. Да говорит, что ты под суд попадешь.

— Я-то!.. под суд!.. Я! — громко и презрительно расхохотался Артамонов. — Мирон под судом будет! — мерно и резко протянул старик. — Любопытно было бы со стороны поглядеть. Я их всех, расшитых позументами легавых псов, за один мешок денег куплю.

И, помолчав немного, Артамонов прибавил:

— Опять, что грех — то грех... но не это мне... Хотелось мне знать — кто Павле рассказал это?

— Да ты не веришь, что́ ли, тятя? так заезжай сам да опроси. Нынче Барабина нет, тебе все повинятся сразу.

— Повинятся? мне? Ах ты! Видно, тоже миндаль... в своих братцев...

Митя так часто слыхал это слово — миндаль, произносимое презрительно отцом про его братьев, что слово это, которым отец называл его раза два в год, в минуты вспышки или спора, всегда страшно оскорбляло мальчугана.

— Я не миндаль, тятя... в миндали не гожусь... что же тут глупого, что сказывают. Съезди на Суконный двор да опроси, все и узнаешь...

— Да, глупая ты голова... узнавать-то мне нечего. Кто же приказывает хоронить их, подлецов, на дворе? Нешто ты?

— Нет, не я.

— А кто же? Сидорова коза? От кого все приказы идут? Как ты полагаешь, я, сидя здесь, ничего не знаю? Вчерась еще был от меня приказ энтому, ну, Барабину, что если окажется у меня какое на дворе фабрики сомнение или зайдет ненароком какой волк в мундире, подьячий какой, то чтобы хоть его живого зарывали в лужу и чтобы все было шито-накрыто. Понял теперь?

— Понял. Странно...— приговорил Митя.

— Ну что? Не миндаль?

— Да, виноват, тятя, миндаль,— проговорил Митя.

Артамонов протянул руку к голове мальчугана, опустившего глаза, и, заметив, что голос мальчика дрожал при последних словах, старик побоялся, что чересчур обидел своего любимца, и стал гладить его по голове.

Но в эту минуту мальчуган поднял свои красивые глаза на старика отца и выговорил тем же, слегка дрожащим голосом:

— Бога ты, стало быть, не боишься...

Артамонов слегка раскрыл рот, и рука его, гладившая мальчугана по голове, слегка дрогнула.

— Да, Бога-то... Вон...— Мальчик нервно ткнул пальцем в угол на киот и прибавил грозно: — Под ним сидишь целый день, а что он видит? Какие твои дела видит? Православные христиане мрут, такие же люди, как и мы, а ты, вишь, важный купец, приказываешь их, как собак, в землю зарывать...

Старик вдруг, глубоко потрясенный, схватил мальчугана за голову, потянул себе, но не поцеловал, а только поглядел в его строгое детское лицо и горящие глаза.

— Ну, Митя...— едва слышно выговорил Артамонов и смолк.

Прошла секунда молчания.

— Ну, Митя...— повторил он еще тише и, выпустив голову мальчугана из рук, он оперся на свое кресло, быстро поднялся и проговорил другим голосом:

— Поедем, вместе поедем...

Через час к крыльцу дома подали богатые сани с тысячными лошадьми.

Артамонов молча, сумрачно сел в сани и посадил около себя своего любимца. В ту минуту, когда они выезжали за ворота, навстречу им попались оба сына — Силантий и Пимен, шедшие пешком с фабрики.

Старший Силантий хотел что-то доложить отцу, но Артамонов отмахнулся от них молча рукой и проехал мимо.

Через несколько минут сани Артамонова остановились у главных ворот Суконного двора. И старик, и мальчик вышли.

Появление их на фабрике произвело всеобщий переполох. Артамонов часто подъезжал к воротам, но почти никогда не входил вовнутрь фабрики.

Старик велел позвать к себе Кузьмича, и, когда тот явился, сильно перепуганный, Артамонов расспросил его подробно обо всем, что творится на дворе, как будто он ничего не знал. Потом, на правдивое и откровенное изложение дела, строго-настрого приказал — не сметь хоронить умирающих без исповеди и причастия.

— Моли Бога,— прибавил Артамонов Кузьмичу,— что ты у меня здесь не главный, что главным Тит, а то бы я тебя тут самого живого зарыл. А от меня Титу Ильичу будет само по себе!..

Митя стоял за отцом, не вмешиваясь, конечно, ни во что, но когда Артамонов обернулся к мальчугану, чтобы сказать ему что-то, то увидел,что Митя внимательно, зорко смотрит куда-то вдаль, как бы через весь двор, и видимо старается разглядеть что-то.

— Митрий! ты что?— окликнул его старик.

— Я? Да вон — чудно что-то, гляди...

И Митя показал отцу пальцем в противоположную сторону двора. Все глаза устремились по направлению пальца мальчугана.

В конце двора, около белой, как снег, стены виднелась фигурка человека, водившего рукой по стене. Издали было совершенно непонятно, что он делает. Казалось, что это безумный, который прыгает и лезет на стену.

— Хворый, что ли?— выговорил вдруг Артамонов Кузьмичу.

— Не могу знать,— перепугался Кузьмич,— бывает с ними, что на стены лезут.

— Пойдем-ка!

И Артамонов быстрыми шагами, сопутствуемый целой толпой, пошел через двор. Когда они приблизились к белой, свежевымазанной стене, то испуг всех прошел. Можно было уже распознать ясно какую-то фигуру, которая водила по белой стене углем и что-то старательно, тщательно разрисовывала.

Приблизившись за несколько шагов, Артамонов остановился, и все, как по знаку колдуна, стало недвижимо за ним. Человек, занимавшийся рисованием углем по стене, был так занят своим делом, что не видал и не слыхал, что за ним стоит человек тридцать народу.

Человек этот был Ивашка.

На стене, чуть не в сажень величиной, была нарисована фигура женщины, и рассерженному старику Арта-

монову показалось, что в фигуре, намазанной углем на стене, есть даже какое-то сходство с кем-то.

Дойдя один осторожно до Ивашки, Артамонов взял его за плечо. Ивашка обмер и выпустил большой уголь из руки.

Артамонов крикнул всех к себе. Узнав, кто этот парень и что он изрядно исполняет свое дело, что он поставлен Барабиным и считается его любимцем, Артамонов смягчился и не сделал с Ивашкой того, что хотел.

— Ну, если так,— выговорил старик,— то Бог с ним. Кузьмич! Давай розог! Спасибо скажи,— обернулся старик к Ивашке,— а то бы ты у меня за это далеко улетел.

И живописца Ивашку через несколько минут довольно изрядно высекли у стенки, перед самым профилем Павлы Мироновны, который он силился нарисовать на стене.

XXXIV

В следующее воскресенье, в ясное, морозное утро, на Введенских горах, у главных ворот госпиталя, стояли вновь поставленные часовые, и постоянно толпился народ.

На всех лицах было написано недоумение. Всякий, являвшийся в госпиталь с своим делом, узнавал, что его туда не пустят. И часовые, и сторожа повторяли одно:

— Не приказано пущать.

Тем, кто особенно настаивал на допущении, объявляли, что пусть, в самую госпиталь можно, но с условием, чтобы человек шесть недель высидел прежде на дворе. И обратно, если кто пожелает выйти из госпиталя, то опять сиди шесть недель на морозе.

Слушавшие это принимали, конечно, за шутку, зато объявлявшие это сторожа вовсе не шутили. Приказа этого, собственно, не было, но они слышали нечто к этому подходящее и поняли на свой лад.

Доктор Шафонский, добившись наконец карантинного оцепления зачумленного госпиталя, сам подавал пример, что было ему отчасти нетрудно по его образу жизни, и сидел безвыездно у себя.

Быстро обошел слух Москву, что госпиталь на Введенских горах оцеплен по случаю объявившейся там моровой язвы. Не нашлось ни единого человека по всей столице, который поверил бы этому. Говорили, что Ша-

фонский спятил, ума лишился или что он выдумал у себя чуму на смех Риндеру, чтобы его только обозлить. Удивлялись многие, что генерал-губернатор позволил доктору чудачествовать и народ пугать. Говорили, что Риндер хочет подать в Петербург донос на сумасшедшего доктора Шафонского, именно доказывая, как вредно в подобных случаях действовать на воображении простолюдина и пугать вымышленными болезнями.

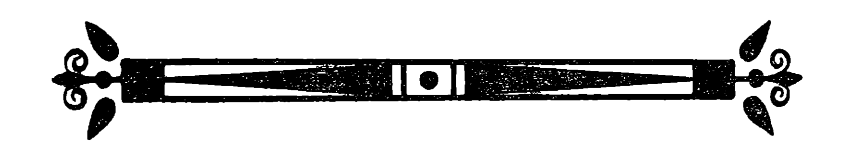
Но этот народ, за которого так боялись, что он испугается, крестится только тогда, когда гром уже грянет! Во всех кабаках, лавочках, перекрестках, везде, где собирались кучки православных москвичей, везде главные шутки и прибаутки сыпались на Введенский госпиталь и на проявившуюся там чуму.

Только серьезные люди из общества говорили друг другу при встрече:

— Слышали, батюшка?.. На Введенских-то горах... А?.. Что Шафонский-то у себя завел?

— Да-да! Если это не баловство его одно... то того... Ловко!.. Просто — мое почтенье!..

И эти серьезные люди тоже почему-то начинали весело смеяться.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

У Троицы, в Зубове, в глубине большого двора, поросшего травкой, стоял небольшой двухэтажный дом, когда-то выкрашенный розовой краской, но от времени имевший теперь какой-то особенно неказистый рыжий цвет. Штукатурка везде обвалилась, во многих окошках рамы были выбиты и заделаны маленькими кусочками стекол, кое-где даже толстой синей бумагой.

На самом подъезде, по бокам ступеней, лежали два глиняные большие льва. Но у одного из них не было хвоста и лапы, у другого не хватало даже целой головы. На воротах, выходивших на улицу, были тоже два льва, державшие большой щит с гербом. Но весь герб покосился на сторону и вместо короны, когда-то украшавшей щит, торчало только железо и гвозди, на которых прежде держалась глиняная корона.

Внутри дом соответствовал наружному виду. Комнат было много, но везде было пыльно, серо, грязно. Богатые когда-то стулья, кресла и диваны были поломаны. Обивка, когда-то штофная, атласная и бархатная, стала походить на грязно-сизую ветошь. Все, что было золотом, смешалось с пылью и имело тоже неприятно рыжий цвет.

Холопов в доме было немного, человек с десяток, и все они были одеты в давно изношенные, истрепанные ливреи, неопределенных цветов, с сальными лохмами позументов, где уже нельзя было отличить,— что было серебром, а что золотом. Все эти холопы были и с виду угрюмы, будто жизнь их шла не красна пирогами, а

впроголодь. Все они, будто на смех, как на подбор, были больше длинные, худые, будто вся дворня отощала от скудного стола. Был только один лакей, по имени Федька Деянов, вечно веселый и довольный, но известный чуть не всей Москве за свою замечательную глупость. Федька был донельзя старателен и услужлив, но всегда делал все невпопад и шиворот-навыворот.

В доме было постоянно тихо и мрачно. Все — и люди, и предметы, и даже, казалось, стены глядели тоскливо, и вместе с тем во всем была какая-то смешная и жалкая важность.

Этому впечатлению немало помогал сам боярин — Григорий Матвеевич Воротынский, известный в Москве под именем «дюжинного» бригадира.

Именно это обстоятельство, что он был «дюжинный» бригадир, погубило его самого и всю его жизнь.

Когда императрица Екатерина Алексеевна вступила на престол, то началось производство в следующие чины многих военных вместе с отставкой, чтобы избавиться от большого количества воинов, неспособных не только на войну, но даже неспособных носить настоящую шпагу и заведших себе поддельные картонные или деревянные шпаги только для виду.

Премьер-майор Воротынский был нисколько не хуже многих сотен питерских офицеров и Бог весть почему попал в число той дюжины премьер-майоров, которых произвели всех в бригадиры с отставкой. И вдруг он стал «дюжинный» бригадир, как нечаянно прозвала их всех столица, в отличие от бригадиров, оставленных государыней на службе. И самое слово «дюжинный», увековеченное в русском языке, явилось, быть может, в первый раз от производства этой дюжины премьер-майоров.

Первое время Воротынский, гордый, надменный, честолюбивый, не мог прийти в себя от позора, но делать было нечего.

Получив это ненавистное отныне звание бригадира, он сделал то, что мог сделать и делал всякий недовольный правительством и новым монархом. Не будучи никогда приверженцем Петра III, он вдруг стал восторженно оплакивать покойного императора и воспевать его доблести. Затем переехал тотчас в Москву, куда непременно отправлялся всякий недовольный, всякий петербургский «фрондёр».

Все эти добровольные изгнанники группировались вокруг графа Петра Иваныча Панина, жившего в

Москве в опале. Будучи крайне честолюбивым и всегда мечтавши прежде о блестящей карьере, Григорий Матвеевич видел теперь себя окончательно как бы вычеркнутым из числа живых людей. Он мечтал всю жизнь, при помощи службы, испросить себе со временем у правительства титул княжеский, давно утерянный его родом. Так говорил он всем, но в действительности его род имел мало общего с древним родом князей Воротынских и с остатками городка Воротынца, существующими около Калуги.

Если нельзя было Воротынскому выдвинуть себя своим служебным положением из толпы, то ему оставалось лишь одно средство — выдвинуть себя как-нибудь при помощи состояния, денег и обстановки.

Средства его были очень порядочные, при этом один только сын, еще тогда юноша. И Воротынский, явившись в Москву, сразу почти преобразил половину своего наличного состояния в свою личную обстановку.

Он выстроил себе этот самый дом в Зубове, наполнил его самой роскошной мебелью и бронзой, выписанной из-за границы. Огромные конюшни наполнились великолепными лошадьми, флигеля переполнились дворовыми людьми.

Не было сколько-нибудь порядочного портного, повара, кондитера, музыканта, парикмахера у кого-либо из знакомых, которого бы бригадир Воротынский немедленно не купил бы себе, за какую бы то ни было цену.

Через несколько месяцев после того, что бригадир поселился в Москве, он уже был другом графа Панина, другом и хлебосолом всей Москвы.

Москвичи, глядя на обстановку Воротынского, поневоле думали, что у него громадное состояние. И здесь «дюжинный» бригадир кое-как потопил в хлебосольстве свое неизгладимое горе. Если он не был бригадиром на службе, то был, во всяком случае, вельможа по обстановке и связям. И здесь, конечно, корчил он горячего приверженца Петра III, пострадавшего за свою преданность ему по вступлению на престол императрицы Екатерины.

Воротынский объяснял, и все ему верили, что он, в день переворота 28 июня, был один из самых деятельных защитников покойного императора. Все это был, конечно, вздор, и многие знали, что премьер-майор стал «дюжинным» бригадиром за неспособность к военной службе.

Долго поддерживать обстановку, которую себе устроил Воротынский, было ему, конечно, невозможно. И вот постепенно, почти незаметно для самого бригадира, дом его и снаружи и внутри порыжел, выцвел, получил какой-то хилый и печальный вид.

Первое время у него бывали частые пиры и балы, где плясала, ела и пила, как говорится, вся Москва. Теперь же бригадир продолжал всех звать к себе, но никто не ездил, зная, что за бригадиром водится эта странность — звать на пир, когда нечем кормить, звать на бал, когда нет музыкантов и не будет танцев. Посторонний человек, приезжий, принял бы бригадира за глупого хвастуна или сумасшедшего. Но москвичи, привыкающие ко всему очень быстро, привыкли и к этой странности,— к тому, что вельможа, переживший свое величие и проживший свое состояние, продолжает наивно не верить в действительность.

И в этом доме, где все изменилось, пришло в упадок, расклеилось, разлезлось, валилось, был только один человек бодрый, моложавый, красивый, несмотря на пятьдесят лет, донельзя важный и строгий на вид, как если бы он был именитый сановник. Это был — сам хозяин. Казалось, что Воротынский не заметил той перемены, которая совершалась кругом него. Он был так же молод, подчас весел и остроумен и так же важен, как и в первые дни своего появления в Москве.

Но еще одна особенность и в домашней жизни бригадира клала особый отпечаток на его дом. Бригадир был большой поклонник прекрасного пола. Любимицы его менялись, но прижитые дети непременно оставались в доме. Матери пропадали неизвестно где. Некоторые попадались на улицах Москвы, иногда проживали в кабаке «Разгуляе», а дети их воспитывались в доме бригадира на барскую ногу. Таким образом, весь верхний этаж был прозван шутниками-знакомыми — «бригадирским сиротским отделением».

Сыном законным, единственным наследником, юношей очень красивым, умным, даже блестящим, бригадир в первые годы своего пребывания в Москве был очень занят. Он интересовался его жизнью в Петербурге, его только что начатой службой и надеялся, что его Матвей не только дослужится быстро до важного звания, но, пожалуй, даже будет «в случае» при дворе. Но скоро оказалось, что бригадир ошибся.

Матвей был добрый, веселый малый, большой лен-

тяй, кутила и большой озорник. Становилось очевидным, что из Матвея окончательно никогда ничего не выйдет. Бригадир махнул рукой, стал еще более тратить зря свое состояние, и как-то незаметно, понемногу, появилось у него много детей, которых он всех очень любил и отечески нежно опекал. Как будто, не имея никакого другого занятия и никакого интереса в жизни, он нашел занятие в воспитании этих разнолицых и разнохарактерных младенцев.

Теперь в верхнем этаже дома было более дюжины человек жильцов, мал мала меньше. Сначала это обстоятельство служило поводом для многих шуток знакомых.

Настоящий законный наследник, зная обстановку своего отца, конечно, не ехал в Москву, а только вымогал, сколько мог, денег на прожиток в Петербурге и на возможность продолжать служить в гвардии. Но, однако, ему помогал не столько отец, сколько иные источники — разные богатые барыни и карты.

За последнее время жизнь бригадира несколько изменилась. Сам ли он стал несколько старше, постояннее характером или мягкосердечнее или по каким иным причинам, но он в первый раз в жизни серьезно привязался к последней им купленной дворовой женщине.

За год перед тем его постоянный ходатай по всевозможным делам, Алтынов, продал ему женщину очень красивую и умную, еще молодую, по имени Аксинья.

Первое время по приезде в Москву, когда Воробушкины тоже жили еще на широкую ногу, Авдотья Ивановна владела парой дворовых, состоящей из сорокалетнего лакея Василья Андреева и его жены Аксиньи. Когда Авдотья Ивановна расстроила свои дела и ей пришлось понемножку распродавать все движимое и недвижимое, а равно и живое имущество, она продала Василья Андреева и его жену, но в разные руки.

Дворовый Василий отличался всегда кротким нравом, добродушием, мягкостью и был самый усердный и деятельный слуга. До двадцати пяти лет служил он своему первому барину. Но когда тот умер, Василий, вместе с остальными крепостными, достался какому-то петербургскому гусару, который никогда не наведывался в свое имение и все распродал в разные руки. Вотчина, к которой Василий был приписан, в течение трех лет прошла пять рук поочередно, и дворовый Василий, способный на все,— и буфетчик, и повар, и даже

отчасти и портной,— служил верой и правдой разным господам, к которым попадал во владение. Привыкши служить своему покойному первому барину, мягкому и ласковому, Василью Андрееву сначала было очень мудрено угодить на разные нравы разных господ. Но при его добродушии и мягкости дело кое-как сходило с рук, и всякий по очереди был им очень доволен. Наконец он попал во владение господ Воробушкиных и с ними попал в Москву. Здесь, тридцати шести лет от роду, встретил он красивую девушку-мещанку, в которую влюбился сразу и в первый раз от роду. Несмотря на свои годы, любовь его носила на себе отпечаток юношеской и пылкой страсти.

Красивая девушка, которая была чуть не вполовину моложе его, точно так же настолько полюбила этого дворового и крепостного, что против воли матери и отца решилась для него из вольной мещанки сделаться крепостной холопкой.

Счастливая чета зажила душа в душу. Василий Андреев сделался даже еще мягче нравом, еще честнее, еще усерднее. Услужить такой барыне, как Авдотья Ивановна, было не только мудрено, но даже невозможно. Зато добрый Капитон Иваныч смягчал участь дворового и участь молодой женщины, которая родилась не в крепости и не в неволе.

Но прошло три года, и судьба обоих, по-прежнему страстно любящих друг друга супругов окончательно стала ужасна, когда Авдотья Ивановна, в один прекрасный день, продала Аксинью в одни руки,— Алтынову, а мужа ее в другие,— дворянину Раевскому.

С этой минуты никто из знававших давно Андреева его не узнавал. Из доброго, честного и веселого человека Василий стал почти зверь. Он изменился лицом, поседел, постарел. По временам он как будто забывался, взгляд его был — человека, не вполне обладающего разумом. Андреев не мог примириться с мыслью, что молодая жена его, любящая его, находится, против воли его и ее собственной, в положении наложницы старого бригадира.

Крепостной дворовый обращался за советом ко многим подьячим, ходатаям и законникам. Все одинаково объясняли ему, что продажа, совершенная барыней Воробушкиной, запрещается законом, что ему стоит только подать просьбу, и господина Воротынского заставят продать его жену господину Раевскому. Но для этого

дела нужны были деньги, нужно было хлопотать, быть может, даже ехать в Петербург.

И вот теперь целью всех помыслов, целью всего существования Андреева сделалось только одно — достать денег каким бы то ни было образом. И он был на все готов для этого. В иные минуты ему казалось, что он даже готов стать убийцей, только бы снова соединиться со своей женой.

Красавица Аксинья, с своей стороны, первое время своего пребывания в доме бригадира не владела собой от отчаяния и злобы. Она любила своего мужа с тою же пылкостью, что и в первые дни после свадьбы. Положение ее было тягостное и, кроме того, очень мудреное. Она была в доме, где, помимо двух отставных наложниц, была целая куча разношерстных детей, родных между собою наполовину, т. е. по отцу.

Муж и жена видались изредка, тайком. Аксинья отправлялась на эти свидания под угрозой попасть прямо в острог или быть сосланной на поселение. Так пообещал ей бригадир, с первых же дней после официальной, узаконенной на бумаге, разлуки супругов.

Василий Андреев предлагал жене бежать куда бы то ни было — в Польшу, на Волгу, в Запорожье, хоть в ту же Сибирь. Но умная, предприимчивая, рассудительная Аксинья отказалась наотрез и обещала мужу в два года устроить их судьбу так, чтобы сделаться вольными.

План ее был не хитер, но верен. Она решилась прикинуться, привязать к себе бригадира, добыть от него порядочную сумму денег и передать мужу, чтобы тот мог выкупиться на волю. Будучи вольным, Василий Андреев должен был ехать в Петербург, подавать просьбу и хлопотать. И, в случае удачи, в чем не было сомнения, Аксинья, как законная жена вольного человека, становилась сама вольная, и на это не требовалось даже согласия Воротынского.

II

В воскресенье, по сильному морозу, во двор бригадира Воротынского влетели легкие санки, и военный, с грубоватым красным лицом, вошел в прихожую.

Это был Алтынов.

— Что, его высокородие дома ведь? — спросил он сидевших вечно угрюмых людей.

— Дома-с! — отвечал один из них.

— У обедни небось не был?

— Какая нам обедня...— пробурчал старший из людей.— Мы, я чай, забыли давно, какой рукой лоб крестить.

Алтынов поднялся наверх. Бригадир, бывший в своем кабинете, увидя, что кто-то въехал на двор, немедленно перешел в гостиную и сел на свое обычное место.

В углу гостиной, под портретом императора Петра III и близ окна стояло большое кресло с тусклыми, когда-то золотыми ручками и ножками и обитое очень потертым и полинялым бархатом. Кресло это стояло не на полу, а на маленьком возвышении. К нему вела ступень, на четверь аршина выше остального пола. Всей Москве был известен давно этот самодельный трон. Немало подшучивали москвичи за глаза над этой затеей петербургского «дюжинного» бригадира, но затем и к этому привыкли. Воротынский же был верен себе десять лет и теперь, при расстроенных делах, сидел на своем полинялом и ветхом троне так же гордо и важно, как и в те времена, когда вся Москва была на его пирах и балах. Каждый раз, что появлялся гость в его доме, десять лет кряду неизменно, бригадир выходил из внутренних покоев, садился на свой трон и полувеличаво, полуласково принимал гостя. Так сделал он и теперь.

— А!.. Прохор Егорыч... Как живешь? Пожалуй...— встретил он Алтынова.

— Все ли благополучно-с? — отозвался тот, кланяясь.— Вашу милость с праздником поздравить...

— С каким праздником?

— Воскресенье сегодня...

— Э! Ну, так что же из того? Какое же нам с тобой дело до того, что воскресенье?

— Да так-с, проведать приехал... Праздник, день, свободный от всяких делов...

— Ну, так бы и сказал, что день свободный. Садись. Ну, что нового? Под суд еще не угодил? Счастлив, брат, ты...

Алтынов вежливо рассмеялся.

— Что же, правду говорю... Счастлив... Другой бы давно в рудниках был...

— Как здоровье Аксиньи Николаевны? — переменил разговор Алтынов.

— Ничего, что ей... А ты брось подходец-то... На

черта ли тебе ее здоровье... Не финти, сказывай прямо, зачем приехал.

Алтынов собрался что-то опять, по-видимому, сочинить, Воротынский догадался и не дал ему выговорить слово.

— Перестань, говорю... Что я, разве тебя не знаю? Сказывай прямо, какое дело? Денег я, кажись, тебе не должен. Ведь в расчете?

— Так точно-с.

— Ну, так, стало быть, продаешь кого?

Алтынов усмехнулся.

— Угадал?

— Да я, ваше высокородие, уж имел честь вам единожды докладывать об некоей красавице, почти, можно сказать, дворянского происхождения.

— Да, да... Помню... Ну, что же?

— Да вот-с, не угодно ли будет повидать и сказать — за вами ли останется. Охотников много-с.

— Не ври.

— Не вру-с.

— Ну, привези, посмотрим...

— Мудрено, Григорий Матвеич, не из таких...

— Вот как!

— Да-с. Я вам доложу — если купите — держите на цепи, покуда не обойдется...

— Вон как! — воскликнул Воротынский,— да это даже любопытно... Так как же? К тебе приехать?

— Да уж извольте ко мне побеспокоиться.

— Ладно. А у тебя она на привязи сидит?

— Да пожалуй, что и на привязи,— рассмеялся Алтынов.

— Не кусается?

— Да пожалуй, и кусается...— весело смеялся Алтынов.

— Прелюбопытно!.. Завтра приеду.

Алтынов, просидев немного у бригадира, раскланялся, вышел и съехал со двора.

Едва только прапорщик карабинерного полка исчез из гостиной, в противоположную дверь вошла красивая, черноволосая женщина, маленького роста, богато одетая, и ласково поздоровалась с Воротынским. Это и была Аксинья.

— Энтот людоед у вас сидел? — звучным голосом проговорила она, усмехаясь.

— А не любишь ты его?

— Видеть не могу. А должна бы любить его пуще всех... Кабы не он — никогда бы мне не бывать у вас. И во сне бы не видать своего счастья...

— Ну, полно, полно,— нежно и самодовольно отозвался бригадир.

Видно было, что он любил слышать из уст любимицы эти уверения в любви.

— Что же, я правду говорю,— веселей выговорила Аксинья.— Если бы Алтынов меня не купил и вам бы не продал — по сю пору жить бы за холопом и крепостным. Была бы поломойкой...

— Ну, а что твой благоверный... Все еще скучает по тебе?..

— Кто его знает! Мне что за дело... Сказывала мне, однако, прошлое воскресенье лавочница Сергеевна, что будто бы жениться собирается...

— Нельзя!.. Не смеет!.. Под суд пойдет! Ты все-таки его законная жена.

— А что же? пойдет под суд — тем лучше. В Сибирь уйдет!! Отлично! — весело, но как-то неестественно смеясь, выговорила женщина.

— Вишь, какая ты жестокосердная.

Аксинья ничего не ответила, но отвернулась лицом к окну, и наступило минутное молчание.

— И как это ты, молоденькая, хорошенькая,— заговорил вдруг бригадир задумчиво,— да еще вдобавок вольная мещанка, и пошла вдруг за крепостного холопа! Любила, стало быть...

Вопрос этот бригадир делал Аксинье, быть может, уж в тысячный раз, и всякий раз она давала все тот же неизменный ответ:

— Глупа была... молода... Да что об этом толковать... И охота вам поминать... Иной раз забудешь, что холопка, кажется, что чуть не барыней стала. А вы тут начнете о муже вспоминать...

И Аксинья начала ласкаться и шутить, ребячески шалить с повеселевшим бригадиром.

— Ах, забыла совсем,— выговорила она вдруг,— мне ведь не время балагурствовать-то. Надо сейчас бежать к той купчихе, что обещалась мне душегрейку-то атласную добыть подешевле... Позвольте вы мне ныне сбегать к ней?

— Конечно. Только зачем же сбегать? Вели заложить берлинку, да и поезжай.

— Ах, нет, золотой мой, знаете, ведь не люблю

я смерть этого... Нет, уж позвольте мне попросту, пешком. Ей-Богу, мне так веселей. А то сидишь в карете дура дурой. Нет уж, пожалуйста, позвольте просто...

— Как знаешь...— слегка недовольным голосом выговорил Воротынский.

Но Аксинья начала снова ласкаться, и Воротынский через несколько минут снова весело стал болтать с своей любимицей.

Час спустя из ворот дома вышла пешком красивая женщина и быстрыми шагами почти побежала по направлению Лефортова.

Там, недалеко от Разгуляя, в маленьком домике жил тот человек, которого приходилось ей всякий день по десяти раз обзывать различными грубыми именами и в то же время любить, почти обожать до безумия. Там жил ее муж, о котором она не имела возможности говорить иначе, как с насмешкой. Теперь она уже две недели не видала своего дорогого Васю, потому что бригадир был не в духе и не отпускал ее из дому. Молодая женщина мечтала и день и ночь о том, когда выберется хоть на минуту повидать своего мужа.

Между тем Воротынский все сидел у того же окна и раздумывал. Он был глубоко убежден, что его милая Акся, как звал он ее, действительно искренно привязана к нему. Но все-таки ему, умному и отчасти дальновидному человеку, казалось по временам, что есть что-то странное, не вполне понятное ему и неестественное в этой женщине. Изредка смутно представлялось ему, что она притворяется, но это сомнение являлось на мгновение. Все данные были против этого. Во всяком случае, бригадир никогда бы не поверил, что эта женщина, молодая, на вид не очень умная, способна так хитро притворяться.

Теперь он точно так же раздумывал — соглашаться ли ему или нет на постоянные просьбы Аксиньи. Она настоятельно упрашивала золотого и милого Григорья Матвеича доказать ей свою привязанность и любовь и подарить ей только так... для виду... только для того, чтобы положить к себе в шкатулку и не тратить... триста рублей!!

— Да на что тебе? — постоянно спрашивал бригадир.

— Да так, голубчик,— постоянно отвечала Аксинья.— Ну, так, ради баловства... Чтобы вот положить

хоть под подушку да сказать, что, мол, есть куча денег! А тратить куда мне? У меня всего довольно от ваших щедрот.

И бригадир обещал, но почему-то невольно все откладывал эту минуту. Отчасти и потому, что такой наличной суммы у него почти не бывало.

За последнее время просьбы о трехстах рублях становились все чаще, и бригадир начал еще более смущаться.

Воротынский, сидя теперь у окошка, именно думал о том, что надо же побаловать ее, дать на несколько дней эти деньги. Взор его, устремленный на двор и на ворота, праздно, лениво бродил с ворот на флигеля и с флигелей на мостовую и улицу. Вдруг в эти ворота влетела бойко серая тройка ямщицких лошадей, подкатила к подъезду, и какой-то военный, весь закиданный снегом и укутанный, очевидно, приезжий с дальней дороги, вошел на крыльцо.

«Кто бы это такой был? — подумал бригадир.— Кому ко мне быть с дороги?.. Совсем непонятно...»

И бригадир стал прислушиваться к голосам, доносившимся из низу. Довольно большой шум, говор нескольких человек зараз окончательно смутили его. Казалось, что люди внизу будто обрадовались. Через несколько минут до Воротынского долетели слова, сказанные очень громко и весело:

— Не надо!.. Не бегай!.. Зачем упреждать. Хочу врасплох взять!..

Бригадир как ужаленный поднялся с кресла, вытянулся и слегка изменился в лице. Однако он не двинулся с своего места и пристально, пытливо стал глядеть в дверь. В ту минуту, когда в дверях показался высокий, стройный офицер, бригадир не сел, а почти упал снова в свое кресло.

— Простите, батюшка, что я не упредил... Ничего не писал... вдруг нагрянул...— вымолвил красивый молодой человек, быстро приближаясь с намерением расцеловаться.

Бригадир почти онемел от изумления и не мог ничего выговорить. Он десять лет не видал этого сына и, во всяком случае, не желал увидеть его так вдруг у себя в доме. Не дав себя поцеловать, он протянул руку, как бы отстраняясь от привидения. Молодой человек поймал и поцеловал эту руку и, не смущаясь, снова весело заговорил:

— Пришлось вдруг собраться... Сам не ожидал... Такие обстоятельства!..

Молодому человеку пришлось говорить все, что шло ему на ум, потому что отец молчал и только пристально глядел на него.

— Ну, что же!..— выговорил наконец, как бы через силу, бригадир.— Родной сын!.. Что ж, не гнать же?.. Только так, врасплох. И не соображусь!.. Ведь не в отставке? Назад поедешь? Ненадолго?..— как-то странно выговорил он, будто утешал себя надеждою на скорую новую разлуку.

— Нет, назад не могу...— беспечно и весело произнес офицер.

— Как не можешь?..— ахнул Воротынский.

— Приказано из Питера выехать и не сметь больше въезжать в столицу.

— Это что?! — загремел голос бригадира на весь дом.

— Да такие обстоятельства, батюшка... После объяснюсь, теперь позвольте с дороги... чего-нибудь поесть... Голоден.

— Под судом, что ли?..— беспокойно выговорил бригадир.

— Нет-с... зачем под судом!..— расхохотался офицер.— Так, нашалил! Ну, рассердились, выслали. До Новгорода два ефрейтора провожали... Да вы не извольте беспокоиться, я себе выхлопочу прощение. А покудова позвольте у вас, в Москве...

— Покудова? Да ведь эти «покудовы» разные бывают... Ну, после. Ступай, обменись... Приходи. Покудова?! А?!

Когда офицер вышел раздеться и умыться с дороги, бригадир недвижно остался в своем кресле и выговорил сам себе:

— Тьфу, какая глупость!.. Да и ты, дурак, забыл, что двадцатипятилетний сын есть на свете! Как же теперь Акся?.. И опять тоже... на верх он зайдет... Да что же? Наплевать мне на всех!.. Да он знает!.. Чай, писали ему!.. Тьфу, какая глупость!.. Тьфу!..— злобно плевался бригадир.

И, встав со своего кресла уж не важно, а быстро и нетерпеливо, он скорой походкой ушел в кабинет и позвал к себе лакея Федьку.

— Придет домой Аксинья Николаевна — скажи, чтобы прямо сюда шла. Да стереги ее за воротами. Про-

воронишь — убью!.. А энтому скажи, ну, барину молодому, что я почивать лег... Так всегда... до сумерек, мол, почивают... Понял?

— Понял-с...

— Ну, пошел.

И когда Федька вышел, бригадир снова шибко зашагал из угла в угол, потом через несколько минут остановился среди горницы и снова выговорил отчаянно:

— Тьфу же, какая глупость!..

III

Аксинья между тем сидела у мужа. Она, как и всегда, не могла досыта налюбоваться на своего Васю, наговориться с ним.

Свидания мужа с женой, обожавших друг друга, были редки. Бригадир был ревнив и неохотно отпускал одну из дома свою любимицу. Если бы Воротынский узнал о сношениях любимицы с мужем, то, вероятно, жестоко отомстил бы обоим. Он мог бы не только продать ее в чужие руки, но даже просто сослать на поселение, и весь хитрый план женщины был бы уничтожен.

Каждый раз, что Аксинья отправлялась на свидание к мужу, она выходила из домика обратно, убедившись, что на улице нет близко никого. Василий Андреев никогда не провожал жену. В доме Раевского было немного людей, да и те не знали Аксинью в лицо, а некоторые не знали даже, что Андреев женат.

На этот раз Аксинья пришла к мужу, как всегда счастливая тем, что повидается с мужем. Но, увидя своего дорогого Васю, она стала грустна.

Она заметила, что за последнее время, за две недели, что она не видала мужа, он еще более переменился, еще более постарел. Глаза его как-то ввалились и выглядывали так страшно, так злобно, что прежде она бы никогда не поверила возможности такого взгляда.

Она стала ласкать и уговаривать мужа, утешать тем, что срок освобождения близок.

— Вчера я опять говорила ему про деньги,— не нынче завтра он мне их даст.

Василий Андреев угрюмо махнул рукой.

— Давно слышу!.. скоро буду думать, что ты не его, дьявола, надуваешь, а меня морочишь!.. И зачем меня морочишь? — злобно, горько и в то же время насмешли-

во выговорил Андреев,— я ведь вам мешать не могу. Он бригадир, вельможа, а я холоп... Хамово отродье — как сказывают они... господа.

— Бога побойся... Что ты говоришь!..— кротко выговорила Аксинья и грустно покачала головой, даже слезы показались у нее на глазах.

Василий Андреев тотчас бросился к жене, стал целовать ее руки и просить прощения.

— Сидишь тут один, все думаешь о тебе, чего не приходит в голову... Ум за разум заходит!.. Все говорят, что я даже сильно постарел... Прости, родимая моя.

— Ну, да не долго, не долго...— заговорила Аксинья,— через неделю мы с тобой улетим в Питер хлопотать, просьбу подавать. Я с него триста рублей вытяну, а на все это дело более не нужно. Согласен ли будет барин твой на вольную за сто рублей?

— Согласен. За ним дела не будет. Он хороший, добрый. Он, может, и ста рублей не возьмет, может, всего каких-нибудь двадцать пять, только для виду, чтобы бумагу написать, что я откупился.

— Давай Господи... Ты подумай, Вася,— через неделю выедем, а через месяца два, может быть, и все дело закончится...

— Да, сказывают здешние подьячие, что хлопотать нечего... Что как только будет вольная, то я могу стребовать тебя от бригадира... По закону...

— Нету, нету... Не верь им, кровопийцам... Выйдет еще беда какая... Нет, как деньги будут, так сейчас в Питер, да там и останемся жить.

— Жить? Нет, извини...— вдруг странным голосом выговорил Андреев и быстро встал с своего места.

— Что ты! — изумилась Аксинья.

— Нет, назад поедем. Как будем вольными, сейчас назад поедем, сюда. Так я этого дела не оставлю! — вдруг захохотал Андреев таким ужасным хохотом, что женщина невольно вздрогнула.

— Что с тобой?.. Какое дело?.. Чего не оставишь так?..

Андреев прошелся раза два по комнате в сильном волнении, потом вдруг остановился перед женой, злобно глянул на нее и выговорил:

— Так ты полагаешь, что я так оставлю... что какой ни на есть старый хрыч возьмет у меня жену, будет с ней жить, а потом я освобожу ее да буду на него глядеть...

Буду знать, что он здравствует!.. Нет, голубушка, прости... Этакие дела так не кончаются...

— Чего же ты хочешь?!

— Чего я хочу?..— тихо вымолвил Андреев и стал как-то озираться в горнице.— Чего я хочу? — еще тише произнес он и нагнулся к жене...— Умертвить его!

— Бог с тобой, Вася! что ты!.. Что ты!..— замахала руками Аксинья и закрыла ими лицо.

Трепет пробежал по ней и от слов, и от лица мужа. Он крепко схватил ее руки, отнял от лица, глянул в него и как бы в исступлении прошипел над ней:

— Жалко... Стало быть, морочишь!.. А?.. Жалко!.. Так я и его, и тебя вместе...

Аксинья заплакала.

— Ах, Вася! И впрямь, у тебя ум за разум заходит...

— А не жалко, так ты сама мне поможешь... А не пойдешь на это дело, так нам вместе не жить... Да ты не думай, что я теперь только так обозлился да вдруг надумал такое... Нет, я уж давно это порешил. Без этого нам не жить, не сходиться... Первым делом — справить мою вольную, вторым делом — тебя избавить, а третье дело, самое мое сердечное,— будет моя расправа с твоим бригадиром. И только тогда и буду счастлив, тогда только и буду тебя любить по-старому.

Аксинья понурилась, опустила голову и молчала.

Андреев прошел несколько раз по горнице, остановился снова над женой и выговорил:

— Ну, говори... Что же молчишь-то? Говори... а то я невесть что подумаю... За кого оробела? За него, стало быть...

— Ах, Вася, Вася... А если раскроется? Узнают? Что тогда с нами будет?.. На волю, да и опять в неволю, да еще какую... В кандалы!.. В Сибирь!.. В каторгу!..

— Нет, голубушка, я хоть и ошалел от горя, но все еще в своем разуме. Не буду я таков олух, чтобы свой хвост ущемить. Какой же мне прок, коли я ухожу его, да сам за него себя и тебя в каторгу упеку... Нет, недаром я здесь дни и ночи коротаю, ворочаясь с боку на бок, да думаю. Я так задумал это дело, что никто, кроме тебя, не будет знать.

И Андреев передал жене подробно, как он убьет старого бригадира. Он рассказал все до мельчайших подробностей. Казалось, он предвидел тысячу случайностей, которые могли помешать ему или открыть следы преступления.

Женщина в ужасе слушала мужа и только тайно надеялась, утешала себя, что не допустит его до преступления.

На этот раз Аксинья грустно простилась с мужем и быстро побежала домой, так как времени прошло много и бригадир мог хватиться об ней.

Когда она приближалась к воротам дома, то Федька Деянов, стоявший на карауле, остановил ее и сказал, что Григорий Матвеич просит ее пройти прямо к нему в кабинет. Деянов особенно глупо ухмылялся. Аксинья тотчас заметила и поняла, что в доме случилось что-то особенное. Она испугалась не на шутку.

— Что случилось?.. Бога ради...— воскликнула она.

У нее явилась мысль, что старик вдруг, внезапно захворал, может, умирает и она не получит обещанных денег, останется крепостная, перейдет по наследству в другие руки и навеки будет разлучена с мужем.

— Ничего-с... Не извольте беспокоиться... Аксинья Миколаевна, ничего-с...— заговорил лакей,— самая смешная приключенья... А что собственно — сказать барин не приказал... Сейчас сами узнаете... Да не извольте тревожиться... Говорю, смеху подобное...

Аксинья несколько успокоилась, но быстро вошла в дом и направилась прямо к барину.

Воротынский, когда Аксинья появилась на пороге его горницы, тотчас заметил, что она сильно взволнована.

— Сказал тебе энтот чучело, что случилось? — сердито проговорил он.

— Нет. Что такое?

— Так не знаешь?

— Ничего не знаю. Не томите, Бога ради...

— Чего же ты испугалась? Чего ты дрожишь?

— Да боюсь... Чую, что недоброе свалилось на голову...

— Сын приехал...— выговорил вдруг Воротынский гневно, будто Аксинья была виновата в этом.

— Сын?! Что такое? Не пойму я вас... Чей сын?

— Чей? Мой. Единственный!.. Законный мой сын... Не из тех, что на верху бегают, а настоящий...— озлобленно выговорил бригадир.

— Как! Тот, что в Петербурге был?! Здесь!.. Приехал?!

Говоря это, Аксинья обмерла, зашаталась и готова была упасть. Почти никогда Воротынский не говорил

с ней и не упоминал об этом сыне. Аксинья знала о его существовании в Петербурге больше от людей, чем от самого барина. Она знала, что бригадир сына не любит, забыл о нем, и сама никогда не думала об этом незнакомом молодом барине. Никогда не приходила ей мысль, как и самому Воротынскому, что он может вдруг нагрянуть. И теперь Аксинье сразу, как молния, пришла мысль, что неожиданный приезд молодого Воротынского может все изменить, что она не получит денег.

Женщина нетвердыми шагами подошла к креслу, села и выговорила дрожащим голосом:

— Что же вы делать хотите? Заживете с ним, а всех из дома вон... И меня тоже... Что же, отлично!.. За всю мою любовь так и след.

Воротынский, не зная, какое чувство заставляет эту женщину дрожать и едва держаться на ногах, приписал все ее глубокой, искренней привязанности к себе. Он даже рад был одну минуту этому нежданному приезду сына, благодаря которому Аксинья так высказалась.

«И впрямь она меня до страсти любит»,— подумал он, и быстро приблизился он к женщине, взял ее за голову и нежно поцеловал несколько раз.

— Нету, голубушка, если желаешь, то я сию же минуту его выгоню из дому... Никого мне не надо, кроме тебя...

— Это так сказывается, это вы так думаете,— заговорила тревожно Аксинья.— Теперь так сказываете, а поживет он день, два, неделю — и все порешит на свой лад... Меня оболжет... В душу к вам влезет... Ведь родной сын... а я чужая! Хоть и не видались давно, а все же родной...

— Ну, хочешь, сейчас выгоню...— решительным голосом проговорил Воротынский,— сейчас пошлю холопа сказать, чтобы садился в санки и выезжал со двора?.. Желаешь?..

Аксинья собиралась уже сказать: да, но, как всегда, за всю свою жизнь, она не любила действовать наугад и даже боялась быстрых решений какого бы то ни было дела, она подумала несколько минут и выговорила:

— Нет, обождите... но обещайтесь мне, побожитесь, что если я попрошу вас об этом через три дня, то вы тотчас исполните мою просьбу...

— Вот тебе Христос Бог,— проговорил Воротынский и перекрестился,— как только придешь ты и скажешь —

гоните, мол, вон, в ту же минуту он вылетит у меня за ворота.

Аксинья ушла к себе в горницу и задумалась. Приезжий молодой барин, во всяком случае, интересовал ее в высшей степени. Каков он? Умен ли, добр ли и как он отнесется к ней? Но главное — помешает ли его приезд получению денег, этих заповедных денег, от которых зависит счастье всей ее жизни. И вдруг Аксинье пришла другая мысль:

«А что, если молодой барин захочет прежде всего меня выжить из дому?.. Что, если я попрошу у него эти деньги за то, чтобы самой уйти на веки вечные отсюда... Что, если он мне их тотчас даст, чтобы сбыть с рук?»

— Увидим... увидим...— тревожно, лихорадочно проговорила она. И она тотчас вернулась в парадные комнаты, чтобы скорее повстречать приезжего и увидеть, узнать, что это за человек.

Когда она проходила мимо растворенных дверей столовой, то услыхала громкий и насмешливый голос бригадира, который спрашивал у Федьки:

— Сам был?

— Сам-с ходил.

— Сам видел?

— Точно так-с.

— Спит, что называется, мертвецким сном?

— Точно так-с. И даже не на кровати, а так, значит, на диване. Должно быть, как сидели, так и заснули, в дороге умаялись, должно быть...

— Умаялись...— захохотал гневно Воротынский на всю большую столовую.— Десять лет родного отца не видал, прискакал зря, неведомо зачем и прямо спать... Молодец... Вот она, любовь-то нынешняя сыновей к родителям... Пошел вон, дурак... Чего уши развесил! С тобой, что ли, я говорю...

Аксинья прослушала все и легкими шагами, быстро пробежала к себе в горницу. Ей хотелось, не видавши бригадира, обдумать все, так внезапно случившееся.

Между тем молодой офицер действительно спал мертвецким сном на диване в горнице, ему отведенной. Не отдыхав ни часу в долгой, почти двухнедельной дороге по морозу и вьюге, Матвей Воротынский задремал, где присел, и вскоре повалился на диван и захрапел богатырски.

Садясь на этот диван перед тем, чтобы умыться, он

предвидел, что заснет, вместо того чтобы идти тотчас к отцу.

«Ну, и не важность! — добродушно решил он.— Отосплюсь — все виднее будет... как нам с ним быть!» — И молодой малый вспомнил невольно о том, как сейчас поцеловал в первый раз в жизни мужскую руку... грубую, шершавую, волосатую...

«Чудно!..— думал он, уже подремывая и засыпая совсем.— Отец родной, родитель... А как выходит глупо. Будто в комедии лицедействуем... Чужой как есть! А куда еще свежий... Знать, мятой обмывается... «Дюжинный» бригадир!.. А дом-то... Смрад! И на троне каком-то... Будто царь... Горох или царь Дадон...»

И шутливые мысли перешли в крепкий сон.

IV

Капитон Иваныч несказанно грустил о своей племяннице, лишился сна, не ел и не пил и собирался снова слечь в постель.

На третий день по исчезновении Ули из его домика на Ленивке Капитону Иванычу стало так скучно, что он мыкался по всем горницам, не находя себе места. Ему казалось, что в домике как-то вдруг потемнело, точно будто солнце перестало светить. С исчезновением ясного личика Ули все в домике будто померкло.

На третий день Капитон Иваныч снова надел свою амуницию, т. е. новый сюртук, шпагу, новые сапоги. Затем взял топор и, ни слова не говоря супруге, сломал комод и достал свою новую шляпу.

Капитон Иваныч решился на отчаянный шаг, а именно: не ограничиваясь совещаниями с разными подьячими в канцелярии генерал-губернатора, идти к нему самому и броситься ему в ноги.

Когда Авдотья Ивановна увидала супруга снова в полной форме, в новом парике и чисто выбритым, она снова слегка смутилась, а когда Капитон Иваныч объявил ей, что идет просить лично фельдмаршала и жаловаться на нее, Авдотья Ивановна, в первый раз в жизни, уступила мужу. Она предложила ему обождать, обещала снова накопить двадцать рублей, истраченных уже ею из полученной от Алтынова суммы и, дополнив ее, снова купить Улю. Но Капитон Иваныч махнул рукой и вышел из дома.

Отчаянная решимость, которая была во всей фигуре

Воробушкина, сделала то, что его в тот же день, тотчас по появлении в доме генерал-губернатора, допустили в приемную залу.

На счастье Капитона Иваныча, народу в приемной было очень мало, а Салтыков на этот раз оказался как-то понятливее обыкновенного.

Капитон Иваныч, смущаясь и робея, объяснил подробно фельдмаршалу свое дело.

Салтыков понял из его слов, что продана, как крепостная, девушка дворянского происхождения. Капитон Иваныч отчаянно и умышленно умолчал о том, что могло бы изменить все дело.

«Была не была»,— думал он про себя.

Вдобавок, на счастье Капитона Иваныча, Салтыков вспомнил имя и фамилию Алтынова и, грозно подняв брови, выкрикнул на Воробушкина:

— Алтынов! отлично... добираюсь... Понял? давно добираюсь...

Салтыков обернулся к адъютанту и прибавил:

— Достань.

Адъютант вежливо сзади слазил в карман кафтана фельдмаршала, достал оттуда табакерку и подал начальнику.

— Выучись!..— еще грознее выговорил фельдмаршал.— Говорю, так нельзя... Тычешь там пальцами...

И, обернувшись к Воробушкину, фельдмаршал прибавил:

— Осторожно, вежливо надо... Лазает с руками, будто медведь за медом в улей...

Понюхав табаку, фельдмаршал произнес глубокомысленно:

— В улей... А та Уля... Уля ведь, говоришь?

— Точно так.

— Уля, да... Те, те, те. Алтынов, так... Добираюсь, добиррраюсь...— вскрикнул снова фельдмаршал, подняв кверху сжатые пальцы с щепоткой табаку.

Это слово так громко огласило мраморную залу, так прогремело по всем карнизам, что двое гайдуков из передней выскочили в залу, не понимая хорошенько, что случилось.

— Ты кто? — продолжал фельдмаршал к Воробушкину.

— Отставной морского корабельного флота лейтенант Воробушкин.

Лицо Салтыкова вдруг почему-то просияло.

— Молодца! — проговорил он.— Под моей командой на суше бывал?

— Никак нет-с, не удостоился этой чести, хотя многократно просился, чтобы...

— Просился?

— Точно так.

— Стало быть, плохо просился...

Фельдмаршал махнул головой адъютанту и прибавил:

— Достань.

Адъютант еще тише и почтительнее полез в задний карман фельдмаршала и шарил.

Фельдмаршал молча стоял, как начеку и будто прислушивался, как операция будет произведена — вежливо или невежливо.

Адъютант достал носовой платок и подал фельдмаршалу с почтительным поклоном.

— Ну! Вот! Отлично.

Фельдмаршал утер нос, обсыпанный табаком, передал и табакерку, и платок снова на руки адъютанту и прибавил, как команду:

— Клади.

И платок вместе с табакеркой снова исчезли в фалдах расшитого золотом и покрытого сплошь звездами и орденами мундира.

И герой, впавший в детство, тихо и осторожно двинулся по паркету к выходной двери, напутствуемый двумя адъютантами.

Через минуту его подсадили в карету, и фельдмаршал отправился делать визиты.

Капитон Иваныч почти бегом вернулся домой и, ворвавшись в квартиру супруги, закричал на весь квартал:

— В Сибирь тебя упрячу!.. сам фельдмаршал сейчас сказал — в Сибирь ее, треклятую бабу, чтобы не смела дворян продавать... Гроб тебе сколочу!.. три гроба сколочу!..— вне себя кричал Воробушкин.— Три гроба... Три дна сделаю и три крышки наколочу сверху!.. костылями заколочу... колодезь целый выкопаю... на двадцать сажен под землей зарою!! Тьфу!..— прибавил он, не находя больше слов.

И Капитон Иваныч чуть не вприпрыжку, забыв снять свой новый мундир и новые сапоги, опять ушел из дому.

Авдотья Ивановна в ту же минуту непритворно, напротив, очень ощутительно захворала.

Через час у нее уже сидела Климовна, и после нескольких минут совещаний вдова расстриги полетела в Лефортово на квартиру Алтынова требовать Улю назад за те же деньги.

В воротах дома Алтынова Климовна налетела и чуть с ног не сбила того же Капитона Иваныча.

Он был совершенно другой, смущенный, растерянный и, идя через двор, что-то бормотал сам себе.

Он узнал от Алтынова, что Уля пропала без вести.

Климовна взяла вбок, чтобы не быть примеченной своим врагом, но Капитону Иванычу было не до того. Если бы Климовна его толкнула, то он все-таки не заметил бы ее.

Вдова расстриги нашла хозяина дома сильно не в духе.

— Двадцать лет дела веду,— сказал он гневно,— а этакой глупости со мной не бывало.

Оказалось, что Алтынов был действительно убежден в том, что девушка, отправившись с котом, просто сбежала.

— Сам я, дубина из дубин, послал ее,— кричал Алтынов.

— Где же она может быть?

— Черт ее знает! — сердился Алтынов.— Может быть, за сто верст от Москвы... Может быть, в Яузе утопилась... Думал я, что, может быть, она у этого чучелы опять застряла, у вашего Воробейкина, а он сейчас тут был. Пугал, что Салтыкову жаловаться ходил...

— Скажите на милость...— разводила руками Климовна,— этакая тихоня... думала ли я? Ведь воды не замутит, а теперь из-за нее неприятности...

— Ну, Климовна, тут словами не поможешь. А коли ты меня надоумила эту стрекозу покупать и деньги тратить, так ты теперь хочешь — не хочешь, а мне ее разыщи.

— Как же? Прохор Егорыч, помилосердуйте!

— Ну, не болтай. Ступай, и чтобы через три дня эта Ульяна была найдена, а не найдешь ты ее,— я тебя со всеми твоими калмыками и татарами под суд упеку... к ним же, в Калмыкию, спроважу...

Алтынов прогнал Климовну от себя и велел позвать всех своих помощников-денщиков. Нашлось в доме только три человека — и в том числе громадный Трифон и не менее громадный каторжник, по прозвищу Марья Харчевна.

— Ну, что? — выговорил Алтынов, оглядывая всех трех.

— Нашел-с,— вымолвил Трифон, широко разевая свой огромный рот с толстыми губами.

— Где нашел?

— У генеральши. Все во дворе сказывают, генеральша у себя оставила.

— У себя? Да как она смела!

— Не могу знать.

— Да я, дурак, не тебя спрашиваю. Еще бы тебе знать! Верно ли это?

— Сейчас издохнуть — верно. Все люди сказывают. Генеральша горницу ей отвела особую и при коте поставила, чтобы, значит, в гайдуках при нем состоять.

Алтынов махнул рукой, и все трое денщиков вышли вон. Он не двинулся с места и задумался.

— Ладно... отлично...— пробурчал он,— торги устрою и переторжку, кто больше даст.

Приказав заложить санки, Алтынов собрался ехать к бригадиру Воротынскому.

Но в ту минуту, когда он появился на крыльце, к воротам подъехали щегольские сани с парой рысаков, и тоненький голосок пожилой женщины говорил лакею, стоявшему на запятках, разузнать, этот ли дом господина Алтынова.

Алтынов тотчас же бросился к саням и сразу узнал Анну Захаровну Лебяжьеву.

Искусный аферист тотчас догадался, в чем дело.

Анна Захаровна, не выходя из саней, заявила, что генеральша Ромоданова прислала ее заявить господину Алтынову о своем желании купить девушку Ульяну.

— С отменным удовольствием... доложите генеральше. Очень рад. Где же этой красавице и быть, как не в таком знаменитом доме, как генеральский.

— Так я передам. Только позвольте узнать, сколько вы пожелаете за нее и когда бумагу писать?

— Бумагу написать — пустое дело, и я все это возьму на себя, доставлю ее превосходительству, и генеральша только распишется. А что касается до цены... ну, конечно, сами понимаете — за такую удивительную красавицу, как Ульяна Борисовна, почти, можно сказать, дворянского происхождения девицу, иначе нельзя взять. Надо взять...

Алтынов запнулся. Хотел сказать — пятьсот рублей,

но кто-то будто шепнул ему на ухо — почему же не семьсот? Алтынов решился выговорить — семьсот рублей, но как-то, совсем независимо от самого себя, выпалил:

— Тысячу рублей.

Анна Захаровна, несмотря на мороз, разинула рот. Кучер обернулся на Алтынова, а лакей, стоявший у саней, ахнул будто от боли, Алтынов был изумлен не менее их самих и поспешил прибавить:

— Да цена что! пустое... сойдемся. Генеральша меня, бедного человека, не обидит.

— Да как же, господин Алтынов? Что же я передам генеральше? ведь я этого сказать не посмею! — совершенно откровенно созналась Лебяжьева.

— Ну, скажите — семьсот.

— Как же, сударь мой, семьсот? На Пречистенке знаете дом купца Силкина? Целый, батинька мой, дом в три яруса, с тремя лабазами, за пятьсот рублей продается.

— Да что же мне до них?

— До кого-с?

— Да до лабазов-то ваших.

— То есть как? — не поняла Лебяжьева.

Но Алтынов, вдруг окрысившись почему-то, не счел даже нужным объяснить.

— Так извольте передать генеральше — желает купить, так пусть семьсот рублей присылает. Бумажку мы напишем в пять минут, а дорого ей кажется — присылала бы мне сейчас же мою крепостную, потому что чужих людей в бегах укрывать у себя законом воспрещено.

И Алтынов так гневно повел бровями, что Анна Захаровна предпочла, ничего не отвечая, скорее ехать домой, а вернувшись, не сразу решилась она передать барыне требования Алтынова. Она сделала от себя целое предисловие. Марья Абрамовна рассердилась не на шутку.

— Что же он, за дуру, что ли, меня считает, чтобы я за простую девку этакий капитал отдала.

С этой минуты начались переговоры между палатами Ромодановой и маленьким домиком в Лефортове.

Причудница старая барыня, привыкшая к немедленному исполнению всех своих прихотей, не могла спокойно почивать, покуда последняя прихоть не будет исполнена. Она посылала к упрямому аферисту лакея за

лакеем, надбавляя цену, и уже дошла до трехсот рублей.

Внучек тоже помогал и науськивал бабушку, расписывал, как новая девушка удивительно нежно и ласково ходит за Васильем Васильичем.

Но хитрый Алтынов, давно догадавшийся, с кем имеет дело, стоял на своем и последнему посланному сказал, чтобы немедленно прислали его крепостную девку или деньги.

Получив последний ответ, Марья Абрамовна позвала Ивана Дмитриева, как самого умного и дерзкого, и отправила его к Алтынову с угрозой.

— Скажи этому неучу, чтобы брал четыреста рублей. Вот мое последнее слово. А если не захочет, то скажи ему, что я завтра же поеду жаловаться на него фельдмаршалу, чтобы он, мошенник, не смел покупать в крепость таких девушек, которые почти дворянского происхождения. Это мне, превосходительной, к лицу, а к его рылу — не идет. Так и скажи!

Когда Иван Дмитриев оделся и собрался в домик Алтынова, где уже перебывали чуть не все лакеи, его поймал на дороге Абрам.

— Иван, голубчик, сколько бабушка велела дать?

— Совсем ошалела ваша бабушка... четыреста дает.

— Ну, голубчик, если заартачится, упрется,— давай ему, дьяволу, пятьсот. Потихоньку я своими добавлю.

— Полно вам, как не стыдно... хорошо старой дурить, а вы-то что?

И Иван Дмитриев объяснил баричу, что все это дело надо повести совсем иначе.

— Не продаст он, так оставим на время у себя, а когда нужда вам в ней пройдет, и отправим опять к нему. Зачем тут деньги тратить зря?

Грубый и дерзкий Дмитриев так исполнил поручение барыни, что едва не подрался с карабинерным прапорщиком из солдат. Он обозвал Алтынова «жидовским корешком» и чуть не вылетел из домика кубарем. А последствием этих переговоров было то, что на другой день, поутру, один из чиновников канцелярии губернатора докладывал Салтыкову о крайне важном деле — об укрывательстве генеральшей Ромодановой беглой холопки офицера Алтынова.

Прохор Егорыч успел побывать в канцелярии и раздать разным подьячим до ста рублей. Алтынов играл как в азартную игру. Он знал, с кем имел дело, и не боялся

истратить хотя триста рублей, будучи уверен, что он получит с генеральши и все семьсот.

Салтыков, которому правитель канцелярии раз десять сразу объяснил, в чем дело, вдруг повел глазами строго и как-то испуганно.

— Стыдно укрывать... Стыдно... генеральше в своем дому холопку прятать!.. совсем стыдно!..

Когда же чиновник предложил генерал-губернатору резолюцию подписать — через полицию вытребовать девку от генеральши, то фельдмаршал не решился огорчать свою хорошую знакомую.

— Врешь, братец... глупой бумаги не подпишу... А чтобы ты этакого мне не предлагал... В другой раз я прикажу, чтобы тебя, по личному моему распоряжению, продержали три дня в холодной... на хлебе и воде...

Салтыков, любивший, несмотря на старость, много выезжать и всякий день объезжавший своих знакомых, тотчас выехал в гости к Ромодановой.

При появлении на дворе больших палат его блестящей кареты с громадным цугом лошадей, как и всегда, сделалась легкая сумятица. Десятки людей встретили фельдмаршала на крыльце и на лестнице, а сама барыня встретила и повела под руки от самой лестницы и до парадной гостиной.

Два адъютанта точно так же следовали вплотную за фридриховским победителем и стали за его креслом. Не дожидаясь объяснения причины, приведшей старика к ней в гости, Марья Абрамовна обратилась к фельдмаршалу с просьбой о покупке девушки у мошенника Алтынова.

Фельдмаршал, ехавший убеждать барыню не укрывать у себя чужого холопа, что совершенно противно российским законам, вдруг добродушно выговорил:

— Да оставьте, матушка, ее у себя... Плевать вам на Алтынова...

Ромоданова поблагодарила и прибавила:

— А денежки двести рублей, что я ему, дураку, обещала, я на построение храма какого-нибудь пожертвую.

— Вот, вот... Так. Отлично... на построение...

В это время один из адъютантов что-то шепнул на ухо фельдмаршалу. Дело было в том, что адъютант по своей обязанности предупреждал фельдмаршала всякий раз, что он нечаянно садился на свою табакерку.

— Подними...— выговорил Салтыков.

Оба адъютанта слегка приподняли фельдмаршала в кресле, и один из них осторожно и почтительно высвободил из-под него ту фалду, в которой лежала табакерка.

— Можно видеть?..— вдруг выговорил Салтыков с ребячески-ясным и светлым лицом.— Можно видеть?.. Поглядеть?..

— Что собственно-с? — вежливо спросила Ромоданова.

— А самую эту... девушку эту... можно видеть? Любопытно!..

Анна Захаровна, почтительно стоявшая в дверях, бросилась, не ожидая приказа барыни, и через несколько минут Уля, смущенная, пунцовая, опустив глаза в землю, предстала перед фельдмаршалом и гостями.

— Вот-с! — отрекомендовала Ромоданова.— Удивительная девица, а уж Вася мой не нарадуется на нее.

— Вася... А... внучек?.. Отлично!

— Никак нет-с, ваше сиятельство: Вася — кот мой.

— А, да... кот... отлично...

И Салтыков, переведя глаза на смущенно стоявшую перед ним девушку, выговорил ласково:

— Подними глазки.

Уля через силу подняла свои ясные, красивые глаза на старика и вспыхнула еще более. И сразу все лица стали ласковы и веселы, все улыбались, глядя на девушку. Даже Анна Захаровна у дверей улыбалась, а у двух адъютантов, стоявших за фельдмаршалом, даже глаза заблестели особенно.

Наступившее молчание было прервано громким словом фельдмаршала:

— Любопытно!..

И, смерив с головы до пят оробевшую девушку, фельдмаршал вдруг прибавил, не поворачивая головы:

— Достань!..

Два адъютанта бросились к фалдам, висевшим за креслом, и сразу достали и табакерку, и платок.

Уля была отпущена и едва только успела войти в свою горницу, как за ней вслед влетел веселый и радостный Абрам.

Всем в доме стало известно сразу, что генерал-губернатор дозволил барыне оставить девушку у себя и не платить ничего неучу Алтынову.

Уля была совершенно счастлива. Все в доме стали обходиться с ней еще ласковее. По целым дням она сидела около кота, самого спокойного животного в мире, спавшего на кресле своем от зари до зари.

Главная обязанность Ули состояла в том, чтобы наблюдать за сливками, которые приносились Василью Васильевичу. Кот был так набалован, что если ему случалось хоть раз покушать немножко скиснувшихся сливок, то он тотчас хворал.

Единственно, что смущало девушку в ее новом положении в богатых палатах после маленького домишки на Ленивке, были ее отношения с молодым барином.

Абрам находил возможность бывать в ее горнице раза по три на день и умел столько болтать всякой всячины, что Уля была уже совершенно влюблена в него. Она даже сама себе удивлялась, как до сих пор могла устоять против всех ласк, подарков и всякого рода обещаний, на которые был и тороват, и искусен Абрам.

Так прошла неделя.

Наконец, однажды в сумерки, появилась в доме Ромодановой Климовна, которую все в доме знали и которую за последнее время не приказано было пускать. На этот раз вдова расстриги попа заявила, что ей до зарезу нужно видеть девушку Улю, по крайне важному делу.

Проведенная в горницу, занимаемую Улей, она, оставшись с девушкой наедине, объяснила ей, что Капитон Иваныч находится при смерти и что хорошо было бы ей тотчас в сумерки побывать у своего старика дяди.

Уля ахнула и залилась слезами. Тотчас возник в ней упрек, что она забыла про своего дорогого Капитона Иваныча и, будучи рядом, ни разу не выпросилась дойти до него повидаться.

Она вскочила и стала одеваться.

— Нет, нет...— встрепенулась Климовна.— Теперь нельзя. Авдотья Ивановна вас не допустит. Я уж верно говорю... Я от себя, от Капитона Иваныча пришла, а Авдотья Ивановна не допустит, так погрозилась... А в сумерки идите... ее из дома уведу, вы и повидаетесь с ним.

Климовна ушла, а Уля, вся в слезах, нетерпеливо стала поджидать сумерек.

Когда стемнело на дворе, она, не предупреждая никого в доме, боясь, что барыня из каприза ее не пустит, накинула на себя салоп и платок и незаметно в полутьме вышла со двора.

Повернув на Знаменку, девушка быстро стала спускаться к берегу Неглинной, думая о том, как через несколько минут увидит своего дорогого Капитона Иваныча.

«Авось, Бог милостив, не при смерти... поправится... и как это все на свете бывает! Мне хорошо живется теперь, а Капитон Иваныч вдруг помрет! Зачем это все так на свете?..»

На самом углу улицы, сквозь хлопья валившего снега, Уля увидела маленькие санки и в них красивую высокую лошадь. Кроме мужика, сидевшего на козлах, на тротуаре стояло еще двое. И вдруг Уле стало страшно, и она, сама не зная почему, невольно остановилась. Предчувствие чего-то сказалось в ней, и она готова была уже повернуть и бежать домой.

Оба стоявших, закиданных снегом человека двинулись разом к ней.

Уля, уже не думая ни о чем, под влиянием внезапного, необъяснимого перепуга, бросилась бежать. Но не прошло несколько секунд, как четыре сильные руки схватили ее, закутали голову какой-то огромной тряпкой, подняли и потащили.

Еще через несколько секунд Уля, почти без памяти от перепуга, поняла, однако, что она сидит в санях, что ее держат две сильные мужицкие лапы, а сани летят стрелой, высоко подпрыгивая на ухабах.

V

В маленьком домике на Ленивке ссоры супругов и крики прекратились. Соседи, привыкшие к постоянной войне у Воробушкиных, удивлялись и не знали, что и подумать. Некоторые самые любопытные мещанки иногда даже останавливались у ворот, прислушивались и спрашивали прислугу. Чаще всего обращались с вопросами к Маланье:

— Что это у вас, голубка, больно уж смирно? Не хворает ли кто? Или на мир дело пошло?

— Какое на мир!..— отвечала Маланья.— Барин барыню судит...

— Судит?

— Да. Кажинный день с утра в новый кафтан да в новые сапоги влезает и по разным приказам ходит.

Грозится, что не ныне завтра барыню засудит и что ее на площади кнутом через палача наказывать будут...

— Вота! Небось все хвастает,— не верили соседки.

Маланья в ответ почесывала за ухом, принимала жалостливый вид, и заметно было, что она тоже не верит... Где же Капитону Иванычу с его добротой да такую ехидную барыню под суд отдать, думалось и Маланье. Скорей она его засудит и кнутом накажет, коли не через палача, так собственными руками.

Действительно, Капитон Иваныч хотя по-прежнему, но с другой целью с утра уходил из дома. Ворочаясь, он не шел браниться к жене, а уходил прямо в свою горницу. Он продолжал хлопотать об участи Ули.

Обещания Салтыкова оказались, разумеется, вздором. Разные подьячие обещали для Капитона Иваныча весь мир перевернуть, но только просили денег, которых у Воробушкина не было.

Капитон Иваныч был убежден, что Уля у Алтынова и что тот скрывает ее, может быть, держит где-нибудь на чердаке, морит голодом. Несколько раз был он у Алтынова, прося, из милости, повидаться с племянницей.

Но Алтынов злобно клялся и божился, что проклятой девчонки у него нету, что она убежала и что он ее через полицию ищет и добудет.

Алтынов говорил правду и действительно принимал меры, чтобы снова вернуть Улю к себе и заставить генеральшу насильственно уплатить себе, по крайней мере, рублей пятьсот. Он был убежден, что своенравная и богатая барыня не постоит за лишние рубли, когда дело идет о ее прихоти. Алтынов считал случай с Улей особенно выгодным, которым надо непременно воспользоваться. Воробушкину он не сказал, где находится Уля, опасаясь того, чтобы Капитон Иваныч не отправился знакомиться с генеральшей и не помешал бы как-нибудь всему делу.

Убедившись совершенно, что Ули нет у Алтынова, Капитон Иваныч загрустил еще более.

«Коли убежала она,— думал он,— то, наверное, утопилась... Наверное, сердешная, на том свете теперь...»

Однажды наконец он узнал о судьбе Ули и утешился. Разозлив чем-то свою супругу донельзя, он услыхал от нее, что она знает, где Уля, и на смех не скажет ему.

— Подлинно знаю где,— сказала Авдотья Ивановна,— недалече от нас... Мог бы вот ее сейчас повидать,

да не скажу... В ножки поклонись, хоть на четверинках ползай вокруг меня целые сутки, и то не скажу...

Вскоре после этого судьба сжалилась над Капитоном Иванычем.

Однажды утром прибежала к его жене вдова расстриги. В ужасе и в слезах рассказала она происшествие, случившееся у нее, и умоляла Капитона Иваныча помочь горю.

Двое из ее инородцев подрались между собою поутру из-за куска говядины. Вся дикая компания разделилась на две части, и началось в доме Климовны настоящее побоище. Результатом, конечно, было именно то, что бывает в сражениях,— около половины бойцов были поранены, а один киргизенок был без памяти, истекая кровью.

— В одну минуту перегрызлись, как псы какие...— плакалась Климовна.— Я было сунулась с железным прутом, да куда тебе... Чуть было меня самою в клочья не изорвали. Пуще всех досталось моему Пеньтюху, знаете, киргизенок... что недавно купила. А он ведь самый дорогой и уж, почитай, запродан за пятьдесят рублев. Бога ради, Капитон Иваныч, помогите... Вы все такое умеете.

Воробушкин отказался наотрез, но Климовна шепнула ему, когда они остались одни:

— Я вам услужу, я вам открою, где Ульяна Борисовна пребывает.

— Не врешь? — встрепенулся Капитон Иваныч.

— Хоть сейчас провалиться на месте... Будь я не Климовна, коли не знаю, где она. Ныне можете и повидать, только мне Пеньтюха излечите.

Этого было достаточно. Через несколько минут Капитон Иваныч был уж на квартире Климовны и, как настоящий доктор, осматривал раненых.

Некоторые из них, в особенности каракалпачонок и двое киргизят, были еще так озлоблены, что при появлении Капитона Иваныча окрысились на него. Они были заперты по разным горницам, потому что, если бы их спустить вместе, они снова, по выражению Климовны, «перегрызлись бы».

В спальне Климовны лежал на полу, на матрасе, киргизенок Пеньтюх, плавая в крови.

Капитон Иваныч тотчас потребовал себе тряпья, всякого рода снадобьев: французской водки и уксуса, и даже послал горничную и Климовну лазить по всем чердакам и набрать себе фунт паутины.

— Да где же, голубчик, такую кучу набрать? — плакалась Климовна.— Я за это всегда крепко взыскивала, у меня нет паутины. Теперь буду знать, что она надобится. Собирать буду и продавать.

— Где хочешь, а найди...— командовал Капитон Иваныч,— достань паутины у соседей.

Климовна вместе с своей кухаркой пошла по соседям, Христом-Богом прося паутинки. В одном доме ее приняли за пьяную, а в другом прогнали, сочтя за воровку. В одном только убогом домишке бесприходного попа Авдея, где не было на семью куска хлеба, нашлось много паутины. Так или иначе, но часа через два киргизенок уж пришел в себя, глядел и говорил. Капитон Иваныч, остановив кровь у него, обратился к другим, менее опасным раненым.

— Давай других перештопаю заодно,— объявил он весело.

Наконец, кончив всю операцию, Воробушкин вымыл руки, сам умылся и обратился, даже почти ласково, к своему давнишнему врагу, Климовне:

— Ну, говори теперь, распопадья, где Уля?

— У генеральши Ромодановой.

— Врешь ты!..— подпрыгнул Капитон Иваныч.— Какими судьбами! Это рядом, около нас?..

— Так точно-с, рядом.

— Да как же она туда попала?

Климовна, знавшая наизусть всю историю переговоров карабинерного прапорщика и боярыни, рассказала подробно все ей известное. Капитон Иваныч, вернувшись домой, тотчас переоделся и отправился к именитой генеральше. Он собирался заявить ей, что Уля была незаконно продана за сто рублей и что она может просто оставить ее у себя за ту же цену, если девушка ей нравится.

В доме Ромодановой Воробушкину сказали, что барыни нет дома, допустить же его в дом для свидания с Улей без дозволения никто не решался. Воробушкин вернулся домой и на другой день снова отправился, но снова получил тот же ответ: барыни не было дома. Еще два раза был Воробушкин и получал все тот же ответ.

— Что же это? Допустить, что ли, не хотят? — спросил он.— Я ведь не пройдоха какой. Я морского корабельного флота лейтенант.

Между тем, покуда Воробушкин всякий день одевался в новый мундир и аккуратно путешествовал в дом

генеральши, Климовна отблагодарила своего дарового доктора на свой лад. Она в то же время, по поручению Алтынова, схлопотала, чтобы Уля как-нибудь вышла со двора.

В то утро, когда Воробушкин нашел генеральшу дома и был допущен к ней, Ули уже не было. Накануне она, не спросясь никого, вышла, и с тех пор о ней не было ни слуху ни духу.

Воробушкин узнал это от самой барыни. Сидя перед ней и услыхав это известие, Капитон Иваныч помертвел.

— Ведь это он ее выкрал у вас! — воскликнул Воробушкин.

— Как можно?.. Нет,— говорила Марья Абрамовна.— Видели все, как сама вышла. Она охотно к нему не пошла бы, а значит, просто случилось что... Убили, может. Вы сами знаете, как у нас на улицах балуют. Тут на Неглинной под мостом, говорят, разбойники с дубьем и ножами сидят всегда.

Но Капитон Иваныч стоял на своем, что Улю выкрал Алтынов. Расспрашивая барскую барыню Анну Захаровну, он узнал вдруг нечаянно, что, за час перед исчезновением Ули, втерлась к ним в дом какая-то женщина, по имени Климовна. Все стало ясно Воробушкину сразу.

Он вскочил с места и почти закричал:

— Жив не буду, коли не разыщу!..

— Пожалуйста, голубчик...— всплакнулась Марья Абрамовна,— мне она ужасно нравится. Даже, доложу вам, Вася мой по ней скучает... Я бы за нее четырех сотен не пожалела... Хочу жаловаться фельдмаршалу... Он мне сам разрешил у себя ее оставить.

Капитон Иваныч выпросил у генеральши лошадку и поехал тотчас к Климовне, чтобы застать вдову расстриги врасплох. Но распопадья была слишком ловкая и пронырливая баба, чтобы не вывернуться из беды.

Климовна прежде всего изумилась, что Капитон Иваныч здрав и невредим.

— Действительно была я у Ульяны Борисовны,— объяснила она.— Мне сказали, что вы при смерти, я и побежала к ней объявить ей об этом... Хотела вам услужить. Она, должно быть, вышла из дому, а уж куда девалась... не знаю я. Вы-то здоровы, вот слава Богу! слава Богу!

Воробушкин окончательно сбился с панталыку и не

знал, что и подумать. Не говоря ни слова Климовне, он сел в санки генеральши и поскакал к Алтынову.

Прапорщик не сказался дома. Воробушкина встретил громадный детина, с отвратительной рожей, и объявил, что такой девицы у них в доме нет.

— Да врете вы все, разбойники!— вскричал Воробушкин.— Я весь дом перешарю... враки это...

— Ну, шарить, барин, тебе будет не с руки!— заметила одна женщина.— Начни-ка шарить... тебя Марья Харчевна и уложит кулаком замертво, а то и совсем пришибет...

— Какая Марья Харчевна?

— А я...— выговорил дерзко детина.— На то я и здесь, чтобы вашего брата проходимца, по указу Прохора Егорыча, учить. Станешь ты в отсутствие хозяина шарить — я тебя в тот час и успокою.

— Как ты смеешь, грубиян, так со мной говорить,— взбесился Воробушкин.— Я корабельного флота офицер, а твой барин проходимец, а ты сам каторжник.

— Ой, барин корабельный, остерегись!— выговорил Марья Харчевна злобно и исподлобья глянул на Воробушкина.

— Чего остерегаться, грубиян!

— Да хоть бы меня! Ни за что пропадешь! Не впервой! Я отца родного зарезал!

— И гуляешь! Да еще в услуженье... Вместо острога — в дворниках!— сердито рассмеялся Капитон Иваныч.

— А вот ты бы попробовал меня запереть в острог-то!— презрительно усмехнулся и каторжник.— Да что с тобой разговаривать, время терять. Ну, уходи, будет лясы точить! Пошел!

И Марья Харчевна сделал такое движение, что Воробушкин предпочел тотчас прекратить беседу и убираться подобру-поздорову домой.

VI

Барабин отлучился из Москвы на три дня, и Артамонов с Митей, наведавшись на Суконный двор, разбранил приказчиков и высек Ивашку — в его отсутствие.

Ивашка знал, что Барабина нет в Москве. Будучи наказан не очень больно, но глубоко обиженный и оскорбленный позорищем, устроенным у самой той стены, где

он старался намалевать углем Павлу Мироновну, он тотчас после наказания побежал к ней.

Павла, узнав о случившемся, невольно улыбнулась.

— Да зачем же ты стену-то пачкал?

— Да что же ей сделается! Важность какая!.. Вымыть можно. За что же тут сечь-то?..

И Ивашка объяснил Павле, что он больше служить на Суконном дворе не желает, а пойдет себе искать другое место.

Павла, улыбаясь, стала уговаривать парня, но он стоял на своем и объявил, что ни за что ноги его на Суконном дворе не будет и что если барыня не позволит ему остаться ночевать у себя в доме, то он пойдет искать себе ночлега.

Павла подумала и согласилась:

— Ладно, оставайся.

Ивашка пошел в людскую и там рассказал свое приключение. Пелагеюшка и другие люди никак не могли понять — чего раскуражился молодец.

Во-первых, они не понимали, «с каких безумных глаз» он пачкал стену углем. Потом, оправдав вполне распоряжение Мирона Митрича о розгах, они не могли понять, отчего парень обиделся.

— Ведь другой бы тебя задрал тут на месте!— решила Пелагеюшка.— Да и Мирон Митрич, видно, в добром стихе был, а вдругорядь и он бы тебя из собственных ручек ухлопал...

Когда Ивашка поужинал и Пелагеюшка прибрала все в людской, то снова подошла к нему и спросила глубокомысленно:

— Скажи ты мне, голубчик, что я у тебя спрошу...

— Чего?

— Да зачем, стало быть, ты стену пачкал?

Ивашка сумрачно только отмахнулся от нее рукой. Отвечать было мудрено. Он и сам не знал, зачем он иногда, раза два в неделю, берет уголь в руки и пачкает полы, стены, заборы.

Часто случалось ему у себя в деревне заглядеться на какое-нибудь «хорошее местечко», как он называл, где речка течет, лесок над оврагом стоит, коровушки гуляют по травке; или заглядеться на молодуху, которая сидит на завалинке и раздумывает. И тогда у Ивашки вдруг являлось непреодолимое желание взять уголь и начать малевать разные каракули, которые долженствовали изображать и этот лесок, и этот овражек, и эту молодуху.

Случалось, что ничего нельзя было разобрать, и кто-нибудь, заставший Ивашку за этим занятием, спрашивал у него:

— Эй, парень, ты что это? Аль пьян? Что ты такое выводишь?

— Пишу,— отвечал Ивашка самодовольно.

И глаза его блестели, рот раскрывался, он высоко поднимал руку с углем, водил по своему маранью или махал по воздуху и говорил нараспев, будто сказку рассказывал:

— Вот гляди, лес, дубравушка... Грибков тут много, брусники!.. Тихо, так хорошо!.. Тут тебя и солнышко не достанет!.. Тут тьма-тьмущая букашек, козявок, лягух!.. Всякое дыхание да хвалит Господа!.. Пташка летает да поет!.. Ажно сказывает что по-своему, говорит по-своему с другой пташкой. Говорит — полетим за облака, а человеку нельзя!.. Человек по земле ходи!..

И много, без конца просилось в эти минуты в голову Ивашки, просилось на язык, и всякий глядел на него, вылупя глаза, потом качал головой, отходил, соболезнуя:

— Пьян — не пьян, мазурик — не мазурик, блаженный — не блаженный, а так, стало быть, порченый!

В этот вечер Ивашка, не имея возможности забыть приключение, угрюмо забился в угол людской. Все спали, кто-то из людей богатырски храпел у печки, а Ивашка сидел на лавке, прислонясь к углу, и во все глаза, не сморгнув, глядел в тьму горницы.

Случалось с ним не раз, что его наказывали на деревне, розги были ему не диковина, но ни разу, никогда за всю жизнь, он не был так оскорблен наказанием, как теперь.

И в чем была тут вина его?

Покончив все дела свои на Суконном дворе, он ушел в самый отдаленный край двора, унес с собой уголек и выбрал самое чистое место на белой стене. И с замиранием сердца, с удивительной дрожью во всем теле, почти задыхаясь, с пунцовыми от волнения и наслаждения щеками начал выводить на этой стене фигуру женщины. И вдруг ему показалось, что фигура — живая Павла Мироновна, которая смотрит на него со стены, но смотрит не так, как настоящая, живая, а смотрит любовно, ласково, смотрит очами, которые что-то обещают. И на него вдруг напал тот стих, когда он готов был запеть любимую песню или вдруг начать усердно Богу молиться. Что-то копошилось у него на сердце, весь мир Божий

просветлел кругом, все люди стали будто добрые, всякого хотелось бы обнять, расцеловать в обе щеки.

— И ты добрый человек! — говорил кто-то будто шепотом, — и все люди — добрые люди, и Господь-батюшка на небеси милосерд! И все слава Богу...

И тут, вдруг, чья-то рука хватает его, валит на землю, а народ кругом галдит и хохочет!.. Его разложили, порют, смеются. А она, намалеванная, будто живая, смотрит на позорище со стены.

И что же мудреного, что, после наказания, Ивашка опрометью бросился бежать с проклятого двора. И та злоба, которая сказалась в нем в первую минуту, до сих пор не могла остынуть. Долго просидел он так в углу людской, не смыкая глаз; наконец усталость взяла свое, он протянулся на лавке, закинул голову и крепко заснул.

Наутро он ждал, что приедет Барабин и разочтет его, но оказалось, что хозяина ждали только через сутки или двое.

За этот целый день Ивашка только мельком видел Павлу Мироновну у окна.

В сумерки он вышел за ворота, сел на лавочку и, все еще под впечатлением вчерашней обиды, начал уныло мурлыкать песню за песней.

Улица была пустынна; понемногу стемнело совершенно, но ночь была ясная, тихая и теплая. Ивашка, незаметно для себя самого, стал петь все громче и, наконец, затянул во все горло свою любимую, унылую, самодельную песню о том, как мудрено парню Антону жить на белом свете. Люди прозвали Антона порченым, а он не порченый, он хороший парень, добрый, сами люди ехидны и злыдни.

Ивашка прислонился к калитке, закинул голову и, глядя в ясное небо, выводил свою песню так жалостливо и так звонко, что забыл — и где он, и что делает, и что кругом...

И вдруг чья-то рука опустилась ему на плечо. Он пришел в себя, даже вздрогнул и ахнул. Перед ним стояла в меховой куцавейке сама Павла Мироновна. Он почувствовал, что это она, потому что разглядеть лица ее в темноте ночи было невозможно.

— Это ты? — странным голосом проговорила Павла. — Откуда ты знаешь? кто тебя выучил песням? Пойди сюда... Иди за мной!.. Иди наверх, ко мне...

И она двинулась по лестнице в горницу. Ивашка, смущенный, последовал за ней. Его смутило не то, что

барыня зовет его к себе, а ее голос, ее лицо. Она будто перепугалась чего-то.

«Неужто,— думалось Ивашке,— с ней то же приключилось, что с одной молодицей было раз на деревне». Однажды спел он ей две песни, сидя у речки, тоже в сумерки, в жаркое лето. И после его двух песен молодица вдруг обхватила его обеими руками, расцеловала всего и убежала. А затем, шесть месяцев, все заглядывалась на него, покуда отец с матерью не выдали ее насильно замуж в соседнее село. Иващка, конечно, понял тогда весь смысл этого приключения, и теперь, идя за Павлой Мироновной, он опустил голову, сердце его замирало и он думал:

«Неужто и с ней то же?.. Неужто от песни моей?.. Неужто она ласковее теперь глянет на меня?»

— Ах, Господи, страсти какие!— прибавил он чуть не вслух.

Они вступили в темную горницу. Павла взяла его за руку, повела за собой и проговорила тихо, странно, будто даже ласково:

— Смотри не оступись. Ты не знаешь, упадешь... Услышат...

Приведя Ивашку в дальнюю угловую горницу, Павла зажгла свечку и затворила дверь на задвижку.

Когда она обернулась и подошла к Ивашке, он невольно ахнул внутренно.

Лицо красавицы барыни было в тысячу раз краше, глаза в тысячу раз светлее, чуднее; будто не один огонь, а сотни огней горели в этих глазах. Ивашка почти впился глазами в красивое лицо ее. Она не смутилась от его взгляда, села на кресло, показала ему около себя другое место и выговорила:

— Садись. Тихонько только говори, чтобы никто не услыхал, узнают люди, что ты у меня здесь, могут сказать хозяину, и тогда беда будет... Избави Боже!.. Садись. Скажи мне, какая это песня? Про Антона? Откуда ты ее выучил? Такая хорошая... За сердце хватает. И как это ты не сказал, что поешь?

И Павла закидала Ивашку вопросами. Все, что спрашивала она, было очень просто, но голос ее, лицо ее были особенные. Они смущали Ивашку.

В тот вечер он просидел около часу у Павлы Мироновны. Узнав, что он умеет тоже рассказывать сказки и знает их кучу, Павла отпустила его, прибавив уже более спокойным голосом:

— Ну, уходи тихонько, чтобы не приметили. А завтра ввечеру уйди будто со двора, чтобы все так думали, а сам обойди по другой лестнице, где мы прошли, и приходи сюда. До ночи продержу я тебя здесь, и расскажешь ты мне все свои сказки! Хочешь?

Ивашка только вспыхнул, только глаза его блеснули сильнее.

— Ну, ступай, только тихонько...

И в этот вечер Ивашка, опять так же сидя в углу темной людской, снова глядел не сморгнув в тьму горницы. Но то чувство, которое переполнило теперь его душу, было не то, что вчера. Если бы была не ночь, если бы нашлась белая стена, если бы попался в руку уголек, то Ивашка опять принялся бы малевать, и опять ее же, с ее огненными глазами.

— Да,— прошептал Ивашка.— Околдовала! Совсем пропадать мне...

А Павла в это время сидела у себя в горнице, и песнь Ивашки, подслушанная ею, будто снова повторялась где-то там, на глубине души ее, и тайно, таинственно говорила ей что-то. Эта песнь будто говорила ей не про Антона, а совершенно иное. Она сказывала про красавицу молодую женщину, у которой лихой муж, злой, беспокойный, будто чужой человек, и с которым нет счастья и не будет никогда! А есть около нее другой парень — добролицый, сероглазый, и в глазах его есть что-то близкое и родное ее душе. В лихом муже нет ни капли этого любого, а в парне этом все любо, все будто за сердце хватает...

Среди ночи раздался вдруг в детской пронзительный плач ребенка и Павла встрепенулась, как бы пришла в себя и двинулась в комнату своего сына.

— Да... да... Уйти от этих мыслей грешных!— с горечью воскликнула она. После всякой ссоры с мужем, равно после всякого случая, который смущал ее сердечный покой, она проводила целые дни в детской, играя с своим полуторагодовалым мальчуганом. Когда же она успокаивалась нравственно или когда муж ее был ласковее, менее ревновал ее, она, с своей стороны, меньше занималась ребенком.

Две мамки, приставленные к ребенку, давно заметили, что барыня как загрустит, так сейчас безвыходно сидит у них в детской. Павла сама смутно сознавала, что если бы она была вполне счастлива, то, может быть, относилась бы к ребенку несколько хладнокровнее. Сле-

пой, бессознательной любви, чисто материнской, у нее к малютке не было.

После вечера и беседы с Ивашкой и после плохой, бессонной ночи Павла рано утром была снова в детской и вплоть до обеда не спускала ребенка с рук.

Одна из мамок, самая умная, Сидоровна, невольно подумала про себя: «Должно быть, ночь-то прогоревала, вот и пришла!» Но почему барыня могла ночь прогоревать, Сидоровна на этот раз не понимала, так как главной и всегдашней причины горя, т. е. хозяина, не было теперь дома.

После обеда Павла обошла весь дом, будто бы ради хозяйственного присмотра. Она сама себя уверила, что нужно пройти везде, поглядеть, все ли в порядке. Но, в сущности, в ней было смутное, тайное желание заглянуть в людскую, повидать добролицего Ивашку, что накануне вечером так смутил ее.

С странным чувством вошла она в людскую. Ивашка сидел на лавке и строгал какой-то колышек. Он встал при ее приближении и поклонился. Павла быстро, но пытливо глянула на него каким-то странным взглядом. Она будто рассматривала его, будто сравнивала со вчерашним Ивашкой, но тотчас же отвернулась и прошла мимо, не сказав ему ни слова.

«Вздор какой померещился мне вчера»,— думала Павла, ворочаясь к себе в горницу.

И при этом она тяжело вздохнула. Ей будто жаль стало чего-то, будто она что-то потеряла, будто обманули ее...

Однако вечером, увидя Ивашку на дворе, глядящего к ней в окно, она поманила его в дом. Ивашка сказал тотчас Пелагеюшке, что уходит со двора, и, вы́йдя за ворота, опрометью, но осторожно, не стуча, взбежал по лестнице. На этот раз он был смущен донельзя. Павла, точно так же, как накануне, провела его в свою угловую горницу и усадила.

— Ну, рассказывай мне сказку,— шепотом вымолвила она, улыбаясь.

— Какую?

— Да получше.

— Какую прикажете?..

— Сам лучше знаешь, я не знаю.

Ивашка уселся на ножной скамеечке, близ лежанки. Павла села невдалеке на своем кресле, близ стола, где горела свеча, оперлась на руку и снова пытливо, внима-

тельно, будто соображая что-то, стала глядеть на сероглазого малого.

«Все пустое, привередничанье одно!» — думала она, будто отвечая себе самой на какой-то неотступный вопрос, смущавший ее.

Ивашка, сидевший на низкой скамеечке, чуть не на полу, опустил голову и уткнулся лицом в руки. Он всегда делал так, прежде чем начать рассказывать. Обыкновенно он всякому объяснял это по-своему:

— Вспомнить надо! Сразу-то не упомнишь, что сказывать...

Но, в сущности, Ивашка, говоря это, обманывал и себя и других. Парню надо было забыть, где он, что он, кто он. Закрыв лицо руками, он уносился мыслями в иной мир, чуждый окружающему, и в эти минуты перед его закрытыми глазами восставали те серебряные, золотые и яхонтовые царства, где живут и действуют разные витязи, Жар-Птицы, Царевны-Красоты, Кони-Шестикрылаты, Иванушки-Дурачки и иные молодцы-удальцы. И когда через несколько мгновений раздавался его тихий, мерный голос и звучали первые слова сказки, то голос этот был уже иной, не парня Ивашки, а какого-то другого человека. Если бы Ивашка рассказывал о Жар-Птице или об Алмазной Царевне своим голосом, то никогда бы никто не поверил всему тому, что он сказывает, и все повествуемое им обозвал бы народ враньем, да и слушать не стал.

Но тому голосу, который начинал звучать вдруг в горнице, в избе, особенно зимой под завыванье вьюги, невольно верил всякий. Тут не было парня-болтуна, тут был особый, удивительный человек, вещатель, сказывающий про удивительные и чудные дела, сказывающий тихо, медленно, нараспев, и зачастую в речи этой, что бурчит и поет, словно ручей, слышались, чуялись и радость, и горе, и восторг, и слезы!..

Начинал сказку парень, закрыв лицо руками, а затем руки сами собой упадали, будто в бессилии или как ненужные, вся жизнь сосредотачивалась в лице, в голосе. Затем долго говорил он глухо, не поднимая глаз от пола. И понемногу, тогда лишь, когда Иванушка-Дурачок или Бова-Королевич начинали действовать, Ивашка постепенно выпрямлялся, опущенная голова поднималась, даже закидывалась назад, и он смотрел уже во все глаза, но не на тех, кто его слушал, а мимо их, будто туда, где видит он все то, про что вещает.

И тогда слушатели начинали внимать Ивашке, затаив дыхание и веря глубоко в истину того, что он рассказывает. Да и как было не верить? Только взглянуть в лицо парня, приглядеться к его глазам, и поневоле поверишь; прислушаться к его голосу, и почуешь, что он правду сказывает.

На этот раз, когда Ивашка сел, опустил голову и закрыл лицо, наступило мертвое молчание в небольшой горнице Павлы, где тускло горела на столе свеча.

Не поняв, зачем парень сидит, опустив голову и закрыв лицо, Павла так же, как многие, спросила:

— Что же ты? Рассказывай...

Но Ивашка молчал, он не слыхал вопроса. Через несколько секунд Павла снова повторила его, он снова не слыхал, и она догадалась, что он собирался с мыслями.

Прошло несколько минут, и Павла, среди затишья и сумрака горницы, задумалась и невольно забыла об Ивашке. Но вдруг она встрепенулась. Прозвучали первые слова какой-то другой речи. Это не парень-суконщик заговорил.

Когда же через несколько минут Ивашка поднял голову и взглянул мимо Павлы куда-то в темный угол, то лицо красавицы оживилось и будто молния пробежала по нем, мелькнула и вспыхнула зарницей в глазах ее. И она пристально впилась огневыми глазами в его, уже не добродушное, а восторженное и загадочное лицо.

С этого мгновенья Павла с каким-то сладким замиранием сердца прислушивалась к этому голосу, вглядывалась в это вдохновленное лицо. И женщина, земная доля которой была так тяжела и горька, тотчас же могучим взлетом умчалась помыслами за Ивашкой в то далекое царство, не наше государство, за тридевять земель, за моря-окияны, где живется люду гораздо легче, где все счастливы, где нет холода и голода, где нет горя, где во всем удача, где глупый и слабый не обижен, где по одному его слову являются к нему на помощь всемогущие чародеи-заступники. Беда ли какая приключится с добрым молодцем или найдет на него просто стих покуражиться и свистнет он громким посвистом или кликнет звонким голосом:

«— Повернись-обернись, стань передо мной, как лист перед травой!»

И летят на зов и Ковер-Самолет, и Конь-Шестикрылат, и сама Жар-Птица... и дают ему все!.. Все, чего нет в нашем государстве!..

Прошло много времени. Свеча нагорала все более, едва освещая горницу. Надо было давно взять щипцы и снять нагар, но ведь Павла за тридевять земель от этой свечки и этой горницы.

Ивашка среди тишины в доме и на улице мерно, однозвучно, страстным полушепотом рассказывал свою сказку, рассказывал, будто пел, а Павла недвижно сидела, опершись на стол локтем, застыла всем существом, замерла всем сердцем...

Наконец вдруг точно будто что-то оборвалось, или упало, или рассыпалось в прах! Случилось что-то особенное. Павла вздрогнула, двинулась... Ничего не случилось! Это Ивашка кончил и смолк.

Очарованье исчезло, и снова парень и красавица барыня упали из Золотого Царства на землю, очутились в горнице, где нагорела и коптила свеча. Ивашка сидел недвижно, молчал, по-прежнему глядел задумчивыми глазами на пустую стену. Будто он еще видел там многое и многое, что стушевывалось и исчезало понемногу, уходя во тьму ночи.

Павла глядела ему в лицо и, вдруг, в свой черед, тихо закрыла лицо руками, и наступило гробовое молчание.

Ивашка первый пришел в себя, поглядел на красавицу барыню и наконец выговорил:

— Ну что же, полюбилась вам сказка?

Голос его был уж другой, и в словах уже не звучало того, что было за несколько мгновений назад. Это был опять деревенский парень, с Суконного двора.

Но Павла вдруг порывисто отняла руки от лица, подняла голову; глаза ее были влажны и губы сжаты, будто стиснуты в судороге. Ничего не было общего между сказкой и ее жизнью на свете, а между тем еще тяжелей, еще безотраднее и мучительнее показалась ей ее судьба.

Ивашка поднялся с своей скамеечки, и это движение будто испугало Павлу. Она откачнулась на спинку кресла и выговорила боязливо:

— Уходи!.. Уходи!— И, одумавшись, она прибавила:— Спасибо... Завтра... Уйди!..

Ивашка ничего не понял, слегка обиделся, но подумал:

«Видно, так нужно!.. Может быть, она хозяина ждет».

Он двинулся тихо к двери, но, отворяя ее, невольно обернулся.

Павла следила за ним глазами. Ее огневой взор, словно как луч света, пронизывал полусумрак горницы. Она кивнула ему головой, как-то невесело улыбнулась, будто через силу, и проговорила неестественным голосом, будто насильно, будто обманывая и себя, и его:

— Спасибо. Хорошая сказка!.. Ну, ступай, спать пора...

И все это вышло как-то чудно, даже Ивашка понял, что тут дело нечисто! Какой теперь сон!..

И парень, еще более взволнованный, смущенный, чем накануне, вернулся в тот же угол людской. А Павла тотчас пробежала в комнату ребенка и хотела было взять его на руки из люльки, будто хватаясь за него, как хватается утопающий за соломинку. Она уже протянула руки к люльке, и вдруг словно что-то остановило ее, не дозволяя трогать младенца.

Женщина порывисто повернулась и снова быстрыми шагами пошла к себе, села к окну и прислонилась лицом к холодному стеклу.

Много ли прошло времени, она не помнила, но вдруг на дворе раздались шаги, позвякивали бубенчики. Павла схватила себя за голову и выговорила:

— Ах, Господи...

Казалось, теперь только наступила для нее действительность.

Вернулся муж! И никогда, ни разу не случалось ей встречать мужа так, как теперь. Если бы была не ночь, то она бросилась бы по другой лестнице вон из дому и убежала к отцу или в церковь, чтобы отсрочить свое свидание с мужем хоть на один час, хоть на несколько минут. Как дорого дала бы она, чтобы не видать теперь Барабина и пожить до утра с теми мыслями, с тем сладким чувством, которые навеяли на нее и сказки, и голос, и лицо чудного, порченого парня.

VII

Барабин, как всегда после разлуки, хотя краткой, несколько раз принимался целовать жену и расспрашивал, как она провела время, не скучала ли. Жизнь Павлы при нем и в его отсутствие была так однообразна, что вопрос этот был совершенно излишний. Барабину подали поужинать. Павла села около мужа, прислуживала ему.

В первые минуты Барабин весело болтал и рассказывал про смешной случай, бывший с ним около Коломны. Но вдруг он пристально глянул в лицо жены, замолчал и, прервав свой рассказ на половине, опустил глаза в тарелку и замолчал как убитый. Слишком хорошо знал он жену, чтобы не подметить в чертах лица ее остатка того, что пережила она несколько минут назад. Барабин был поражен. Прежде, когда казалось ему иногда что-либо странным в доме, в поведении жены, ее лице, то он, в сущности, чувствовал, что кажущееся только сомнительно. Теперь подозрение было действительно, основательно. Просидев несколько минут не спуская глаз с тарелки, он мысленно уговаривал, утешал себя:

«Пустое... вздор... опять лукавый смущает...»

Через несколько секунд он снова поднял глаза, снова взглянул на Павлу, и что-то дрогнуло в нем. Павла сидела, устремив глаза в темный угол столовой. Она не только задумалась глубоко, но как будто застыла от той мысли, что была в голове ее и просвечивалась в отуманенном взоре. Она не только забыла мужа тотчас по возвращении, но, казалось, забыла весь мир Божий. Вся она была одна мысль.

«Какая? что?» — дрожью возник вопрос в Барабине.

— Павла!..— выговорил он.

Женщина вздрогнула всем телом, опомнилась, взглянула на него и вспыхнула. Все лицо ее покрылось ярким румянцем не столько от смущения и стыда, сколько от боязни.

Муж глядел на нее, но ничего не спрашивал. Лицо его спрашивало, и Павла сама невольно ответила:

— Нездоровится как-то...

Но не только Барабин, но сама она слышала, что в ее словах *ясно* звучит ложь, к которой она не привыкла.

— Застудилась...— выговорил Барабин.

И в голосе его послышался тот звук, который предшествовал всегда вспышке. Павла молчала.

— Не выходила бы за меня замуж, то не застужалась бы эдак...— дико усмехнулся вдруг Барабин.

Павла знала, что гроза надвигается, что будет сейчас одна из семейных бурь. Но теперь она чувствовала в себе силу для отпора. В первый раз в жизни, и почему? Потому ли, что она была виновата?

Вот об этом-то она и задумалась. Мысль эта поразила ее. Каким образом прежде, будучи совершенно не повинна ни в чем, она выдерживала эти угрозы и бури

молчаливо, покорно, а теперь она всем существом смело готовилась встретить эту бурю именно потому, что чувствовала себя виноватой.

Бог-знает, что произошло бы, если бы не появилась вдруг в комнате горничная доложить, что пришел с докладом Кузьмич.

Барабин, не доужинав, велел собирать со стола и вышел в прихожую. От Кузьмича узнал он о важном событии на фабрике, заключавшемся в том, что в отсутствие Барабина приезжал сам Мирон Митрич, распушил всех за то, что хоронят народ на дворе без священника, а затем приказал высечь нового приказчика Ивана.

Барабин, озлобленный на жену, излил злобу на тестя.

— Кто ж приказывает хоронить так? Он же, старый... недоумок.

Но через несколько секунд Барабин забыл о тесте, потому что Кузьмич сообщил ему другое известие, по-видимому, пустое, но сразу поразившее Барабина.

Кузьмич объяснил, что Ивашка после наказания немедленно скрылся с Суконного двора самовольно и что он считал его пропавшим без вести.

— И вот только сейчас, туточки узнал,— прибавил Кузьмич,— что он у вас в дому укрылся.

У Барабина на сердце закопошилось что-то и росло с каждой секундой. Он сам говорил, что в эти минуты будто сатана влезет в душу и начнет на грех толкать, чтобы в Сибирь угнать. И теперь это чувство вдруг заклокотало в нем, но он едва слышно произнес:

— Ивашка здесь, говоришь...

— Здеся, Тит Ильич, третьи сутки...

— Теперь где?..— еще тише спросил Барабин.

— Да здесь, в людской.

Барабин опустил голову и молчал как убитый. И только Кузьмич заметил, что он как будто тяжелей дышит.

— Иди за мной...— глухо выговорил Барабин и пошел в столовую.

Павла, сидевшая у того же стола и слышавшая весь разговор мужа с Кузьмичом в прихожей, отвернулась от вошедшего мужа и отвела глаза.

Барабин исподлобья, вскользь, глянул в лицо ее и понял, что она все слышала. Действительно, лицо Павлы изменилось за несколько секунд. Трудно было уловить, что присходило в чертах лица ее, но что-то

неуловимое пробегало по нем, как пробегает чья-либо тень по земле.

Барабин сел и приказал тихо женщине, уносившей последнюю посуду, позвать Ивашку. И в горнице наступило гробовое молчание, покуда за дверями порога не раздались едва слышные, нерешительные шаги.

— Войди...— громче выговорил Барабин, не двигаясь с своего стула.

Ивашка показался на пороге. Зорко, пытливо глянул на него Барабин, уперся глазами в добродушное, прямое лицо парня и, невольно удивившись, едва слышно вздохнул.

Лицо Ивашки было так спокойно, взгляд серых глаз так честно прям, так прост, что, очевидно, он не знал за собой никакой вины. Барабин, за секунду окончательно решившийся на грубый, прямой допрос двух виновных при постороннем лице, при простом приказчике с фабрики, смутился и в нерешительности молчал.

— Как смел ты самовольно уйти со двора?— выговорил он. А между тем на душе его будто звучал совсем другой вопрос: «Весело ль тебе было с чужой женой?»

Ивашка просто, отчасти наивно, объяснил всю обиду от Мирона Митрича и желание больше не служить на Суконном дворе.

— Стало быть, желаешь чтобы тебя рассчитали и отпустили?

— Точно так-с.

Барабин вдруг захохотал так, что Павла, Ивашка и даже Кузьмич слегка вздрогнули.

— Хорошо... завтра поутру я тебя рассчитаю на дворе. Припаси попа, Кузьмич. Малый чахлый, не силен, может от моего расчета тут же и подохнуть. Слышишь?..

— Слушаюсь,— выговорил тихо Кузьмич.

Ивашка слегка побледнел. Павла, силившаяся вполне овладеть собой, все-таки едва заметно шелохнулась на своем стуле, и зоркий глаз Барабина, конечно, заметил это.

— Да...— как-то странно, злобно и в то же время будто задумчиво выговорил Барабин, глядя в пол и будто говоря себе самому.— Да... я тебя рассчитаю. Завтра... в эту пору, коли не будешь на погосте, так почитай — еле жив...

— За что же?— вымолвил Ивашка.

И голос его задрожал, но не от испуга. Ничто так страшно не действовало на парня, как несправедливость,

не только к нему самому, но даже и относительно других. Тот же огонь, который вспыхивал в душе Барабина от ревности, вспыхивал и в Ивашке, когда поражала его какая-либо явная несправедливость.

Барабин не отвечал и молча глядел в лицо парня. И несмотря на смущение, Ивашка снова увидел вдруг перед собой того намалеванного сатану, на которого был Барабин так похож. Ивашка оробел. Он глубоко поверил в эту минуту, что это если не сатана, то и не человек такой же простой, как он сам или Кузьмич.

Барабин встал, прошел в нескольких шагах мимо Ивашки, кликнул горничную и велел позвать кучера и дворника. И покуда женщина ходила за ними, снова наступило мертвое молчание в горнице.

Когда мужики появились, Барабин тихо приказал взять парня, связать и запереть в чулане, где обыкновенно сажали пред наказаньем сильно провинившихся на Суконном дворе, дабы они не могли бежать. Барабин запирал их у себя на дворе и ключ брал к себе.

Ивашка, мысленно надеявшийся на возможность побега тотчас, хотя бы через ворота или через забор, понял вдруг безнадежность своего положения.

— За что же!.. что я сделал, говорю я вам... что я сделал!..— воскликнул Ивашка, затрепетав всем телом и невольно оттолкнув от себя дворника, который взял его за плечо.

— Веди!..— крикнул Барабин.

Но в ту же минуту произошло в горнице то, чего никогда не бывало в ней.

Парень Ивашка, чудной малый, ни на что не годный, порченый, то марающий по заборам углем, то поющий самодельные песни, то рассказывающий длинные, чудные сказки, то зевающий по целым часам на облака, на звезды, вдруг преобразился. Куда девалось доброе лицо, куда девались чуть не глупые, серые глаза. Бледный как смерть, дрожащий, задыхающийся, парень заговорил вдруг каким-то другим, будто чужим голосом. Слова его рвались на части, некоторых нельзя было разобрать. Но если Барабин не понял половину слов, то понял сразу, с кем имеет дело.

«Если такого резать, то надо дорезать, а то сам зарежет!..» — подумал бы всякий прозорливец.

Но вместе с тем подозрения Барабина еще более усилились. Парень, дурашный на вид, способный так

преобразиться, был действительно еще подозрительнее для ревнивого мужа.

— Бери!.. веди!..— крикнул Барабин и встал с своего места.

— Не тронь!.. убью!— крикнул другой голос в горнице, и никто не поверил, что это кричит парень Ивашка.

И в одну секунду малый, как кошка, бросился в противоположный угол, схватил стоявшую у притолоки кочергу и взмахнул ею так, что она просвистала по воздуху, как кнутовище.

— Всех... всех... не подходи!..— кричал какой-то дикий, рассвирепевший зверь.

И все, даже Барабин, слегка попятились.

— Господа, Бога ради...— с судорогой в горле хрипел Ивашка.— Не губите... душу... Всех убью!..

Но, видно, бешенство, овладевшее парнем, сообщилось невидимо, как молния, и самому Барабину. Он стрелой бросился на Ивашку. Остальные последовали его примеру. Сделалась свалка. Дворник упал с рассеченной головой, но кочерга была уже в руках Кузьмича, а Барабин всей тяжестью грохнулся на пол и душил Ивашку в своих сильных руках.

Парня скрутили в одну минуту и потащили вон. В горнице остался Барабин, очутившийся на стуле у окна, а в другом темном углу сидела Павла, закрыв лицо руками.

— Уйди! Уйди!..— сдавленным голосом прохрипел Барабин, увидя жену.

Она встала и двинулась к дверям без оглядки.

— Убью когда-нибудь!..— послал он ей вдогонку страстным шепотом.

Павла быстро обернулась и вдруг сделала несколько шагов назад к мужу. Как-то странно размахнула она перед ним руками и вымолвила с отчаянием:

— Так убивай!.. По крайности конец будет!..

Барабин вскочил с места, и было мгновение, что он мог, казалось, броситься на жену так же, как сейчас бросился, сломал, скрутил Ивашку. Но вдруг он остановился, как-то дрогнул и выбежал вон из горницы.

Миновав несколько горниц, Барабин отыскал свою шапку и полушубок. Ему казалось, что он задыхается в доме, ему хотелось на воздух. И через несколько минут он был уже на дворе и быстрыми шагами шел, почти бежал, по пустынной улице, сам не зная куда.

Он понял, что в его отношениях с женой наступил

поворот. Было уже в ней что-то иное, и Барабин, смелый от природы, не боявшийся никого и ничего, никогда не робевший, испугался теперь той перемены, что нашел в жене. У него закружилась голова и замирало сердце. Ему казалось, что он стоит на страшно высокой колокольне, которая качается под его ногами.

Единственно, чего боялся Барабин, как выражался он: «пуще ада кромешного и геенны огненной» — было потерять любовь жены. Он смутно всегда боялся этого и невольно всегда ожидал. Его собственный разум говорил ему, что, при такой жизни, это придет неизбежно.

И Барабин учащал шаги и наконец почти бежал по пустынным улицам.

Павла видела, как выбежал муж из дому. Она была в своей горнице и в таком настроении, что тоже способна была убежать к отцу.

Она чувствовала в себе ту решимость на все, которую прежде только смутно угадывала в себе. Покуда муж говорил с Ивашкой, когда она услыхала, что он намерен на другой день истязать несчастного парня, ни в чем не повинного, только вследствие своей ревности, Павла мысленно решила, что постарается помешать этому, насколько может. Будет просить отца или братишку заступиться. Но когда сделалась свалка с рассвирепевшим от отчаяния малым, Павла ушла в темный угол, закрыла себе лицо руками и решилась, поклялась перед самой собой, что она не допустит истязать несчастного. Она решила твердо, к чему бы то ни повело, в ту же ночь собственноручно освободить Ивашку из заключения. Она ждала только, чтобы муж вернулся и заснул, чтобы на заре идти во двор и отворить чулан.

Прошел час, другой, третий. Павла ждала, но муж не ворочался. Павла вдруг поднялась со своего места, сделала несколько шагов к двери и остановилась. Только один вопрос смущал ее. Тайно или явно освободить Ивашку, тайно ли пробраться через двор и сломать замок или не таясь от людей сделать это.

— Нет, лучше потихоньку... верней...— выговорила она вслух твердо и с оттенком злобы в голосе.

И через несколько минут, накинув на голову платок и захватив по дороге из прихожей ножницы, она выбежала на темный двор, пробежала легкими шагами к тому месту, где стояли сложенные дрова и где всегда валялся

топор. В темноте ощупала она руками несколько полен, и наконец топорище попало ей под руку.

В одну минуту была она на противоположном конце двора, около сарая, нашла небольшую дверь и позвала парня. Ответа не было.

— Ивашка!..— громче, отчаянно позвала Павла, уже оробев от мысли, что он заперт не тут, что его уже увели.

— Кто?.. Чего?..— отозвался голос Ивашки.

Павла судорожно стиснула в руках топор и начала работу. Непривычной рукой вертела она топором, но с каждой секундой отчаяние ее прибавлялось, и наконец явились умение и сила.

Дверь скоро затрещала, пробой отлетел. Павла вошла в темный сарай, ощупала Ивашку в темноте и взялась за ножницы. Но ножницы для нее были не топор. В одну минуту все веревки и кушак, которым был скручен малый, были изрезаны на кусочки.

— Голубушка, барыня, спасибо вам... но что вам-то будет!..— вымолвил Ивашка.

И если бы было не темно, то Павла увидела бы в глазах его слезы.

— Беги... уходи скорей... и не попадайся ему на глаза... убьет он тебя...

Ивашка схватил ее руки и стал целовать. Он что-то хотел вымолвить, но голос не повиновался ему.

— Беги... беги...

И Павла, чтобы не задерживать парня, сама бросилась назад домой.

Ивашка выскочил и пустился опрометью в дальний конец двора, где был забор пониже. Ловко, как деревенский парень, перемахнул он через него и скоро был уж на улице, далеко от дома Барабина. На перекрестке он остановился, оглянулся. Красноватый свет виднелся в окне горницы Павлы и как-то тоскливо мерцал среди белой, морозной ночи.

— Голубушка... золотая...— проговорил Ивашка вслух, и слезы покатились по его щекам.— Что с тобой-то будет!.. Что с тобой-то сделают!.. Стою ли я того!.. Ах, зверь-человек, сатана... и убить его... сто грехов отпустится!..

Ивашка завидел вдалеке какую-то быстро шагавшую фигуру и, боясь быть увиденным, пустился бежать со всех ног.

VIII

В первых числах февраля, на дворе дома Ромодановой стояла большая карета, но без лошадей; в нее укладывали вещи. Вместе с тем на другом дворе стояло несколько подвод, нагруженных доверху всякими пожитками. Молодого барина Абрама Петровича собирали хотя не в далекое, но важное путешествие.

Он окончательно поступал в послушники и ехал в Донской монастырь. Марья Абрамовна сама должна была отвезти внука в монастырь и сдать с рук на руки настоятелю, архимандриту Антонию.

Вместе с Абрамом должны были волей-неволей поступить в монастырь — дядька Дмитриев, еще двое людей и каракалпачанин, которого ради этого случая окрестили в православную веру. Вместе с ним отправлялся уж по доброй воле и был очень доволен своей судьбой отец Серапион.

Марья Абрамовна, давно откладывавшая сбыт внука в послушники, решилась вдруг, и, как говорили в доме, решилась со зла. История с мужицкой дворянкой, Улей, расстроила барыню совсем. Чуть не в первый раз в жизни ее прихоть, ее затея не удалась. Простой карабинерный прапорщик переупрямил боярыню. На ее стороне были и знатность, и деньги, и связи, и сам фельдмаршал, а на стороне Алтынова были упрямство, ловкость и, главным образом, законное право.

Алтынов выкрал Улю при помощи своего Трифона и своего каторжника Марьи Харчевны. Встретил он ее на этот раз уж не по-прежнему, а с угрозой, запер в горнице и начал торг.

Барыня-прихотчица заупрямилась, тем более что фельдмаршал сам посоветовал ей не платить денег. А Алтынов тоже заупрямился. Он сгоряча раздал в канцелярии генерал-губернатора до ста рублей, те самые деньги, которые заплатил за Улю, а между тем барыня не хотела дать той суммы, которую он упрямо хотел взять.

Наконец появился у него на квартире чиновник из канцелярии Салтыкова и словесно передал приказ — немедленно, беспрекословно и даром отослать девицу Ульяну к генеральше. На это Алтынов, конечно, заявил, что не посмел бы ослушаться генерал-губернатора, но что это стало невозможным, так как его крепостная уже продана бригадиру Воротынскому.

Чиновник отправился к Салтыкову с ответом, а Алтынов поскакал к Воротынскому, умоляя скорее составить бумагу задним числом и взять к себе девушку, хотя бы даром. Воротынский, несмотря на свое смущение, все по поводу того же неожиданного приезда сына, все-таки согласился.

Алтынов немедленно привез к нему на дом того же Мартыныча, только что оправившегося от какой-то чудной болезни, которая всего его изломала. Уля осталась в доме Алтынова, но на бумаге, хотя еще не подписанной ловким Алтыновым, почти принадлежала Воротынскому.

Марья Абрамовна, узнав через того же чиновника генерал-губернатора, что девушка уже не принадлежит прапорщику Алтынову, а бригадиру, пришла в сильное озлобление. Она давно терпеть не могла старого «петуха», как звала она бригадира.

Еще в те времена, когда Воротынский жил роскошно и принимал всю Москву, Марья Абрамовна не бывала у него никогда, всегда ругала его за глаза, а иногда позволяла себе резкие выходки с ним и в глаза. И теперь посылать покупать Улю к этому человеку было для нее окончательно невозможно.

Марья Абрамовна была так расстроена, что надо было непременно придумать, чем заняться, и забыть про Улю. Единственное дело, которое могло быть на очереди, было, конечно, поступление Абрама в монастырь. И сборы начались.

Абрам относился к этому довольно равнодушно. Его даже отчасти забавляла новизна. В это же время Иван Дмитриев утешал барича:

— Авось старая скоро подохнет... Ведь послушник не монах. Помрет бабушка — мы сейчас ряску-то и в трубу. Да потом еще другое средствие есть, надумал. Коли будет вам в монастыре невтерпеж скучно, сейчас мы и избавимся от монастырской жизни...

— Как?.. Каким образом?— спрашивал Абрам.

— Ну, уж это не ваше дело, а говорю вам верно. Такое я надумал средствие, что сам преосвященный вас ослобонит из монастыря.

Но, в чем было дело, Иван Дмитриев ухмылялся и сказать не хотел.

Абрам относился к своему поступлению в послушники тем более равнодушно, что ему было не до того. Он день и ночь горевал, сколько мог, и скучал. Он был поло-

жительно в первый раз в жизни более или менее искренно влюблен в эту девушку, которая действительно, как клад, не давалась ему в руки. Судьба-затейница будто смеялась над Абрамом. В ту минуту, когда он считал Улю окончательно потерянной, когда она исчезла в Москве, судьба вдруг привела ее в дом его же бабушки. Не находя ее нигде, ни в церквах, ни на улицах, Абрам вдруг нечаянно нашел ее в горнице своего же дома. Но после нескольких тайных свиданий, каких еще не бывало в жизни Абрама, так как ни одна девушка до сих пор не нравилась ему до такой степени, как Уля, вдруг все прекратилось. За день до того, когда Абрам думал, что окончательно приблизился к давно желанной цели, та же судьба вдруг опять насмеялась над ним. Уля исчезла снова. По собственной ли воле или нет — Абрам не знал.

В первый день молодой барич почти не ел ничего, потом целую ночь не спал, занятый мыслью — куда девалась Уля. Появившийся вдруг в доме новый знакомый и в то же время ходатай по делу барыни, Воробушкин, стал первым другом Абрама.

Капитон Иваныч, найдя такое сочувствие к делу, столь близкому для него, такое участие к себе и его дорогой Уле, сразу полюбил молодого человека. Наивный Капитон Иваныч был слишком далек от мысли предполагать что-либо дурное. Ему казалось так естественно, так просто, что всякий, видевший Улю хоть раз, полюбил ее от души и, конечно, по-братски. Когда ходатайства, поездки Воробушкина к Алтынову не привели ни к чему, когда поездки Ромодановой к Салтыкову, просьбы ее, посылка чиновника от генерал-губернатора, посылка людей с деньгами тоже ни к чему не привели, то Абрам заскучал, и если Воробушкин был в отчаянии, то Абрам тоже не менее Капитона Иваныча думал и горевал по Уле.

В это время и начались сборы. Накануне того дня, когда назначен был отъезд в Донской монастырь, Абрам уж несколько излечился от своей страсти, меньше думал об Уле и больше стал думать о своей собственной судьбе.

Посидев у бабушки в кабинете, выслушав несколько речей о прелестях монастырской жизни, о том, как приятно и хорошо спасти свою душу и как весело стоять за всенощными, за вечернями, за утренями и за обеднями от зари до зари, Абрам невольно, глядя на веселую бабушку, думал: «Эк, как расписывает... Что бы ей самой попробовать...»

И вдруг, ради потехи, внучек выговорил вслух:

— Бабушка, и впрямь ведь хорошее монастырское житье. Я только теперь уразумел... Ведь просто — чудо!..

— Конечно, голубчик, я же тебе зла не пожелаю.

— Что бы, бабушка, вам тоже в монастырь поступить...

Марья Абрамовна оторопела и так изумилась этому вопросу, что рот разинула. Но Абрам, видно, начинал приучаться лгать и притворяться. Лицо его было так добродушно-серьезно, что бабушка не могла никак предположить, что он сказал это в насмешку.

— Где же мне... Я стара уж...— со вздохом сказала она. Затем она тотчас же простилась с внуком, говоря, чтобы он был готов на другое утро к отъезду.

Абрам ушел было к себе, собрался было лечь спать, но, посидев немного и передумав о новой готовящейся жизни, пошел к своему советчику и любимцу во флигель.

Иван Дмитриев не спал. У него сидел отец Серапион, на столе стояло три штофа водки, из которых один был уж опорожнен.

— Что вы это?!— изумился Абрам, знавший, что Иван Дмитриев вина в рот не берет.

— Ничего...— отвечал дядька.— Присядьте-ка...— И он как-то весело и странно подмигнул Абраму.

И затем он налил новый стакан монаху.

— Я ведь вина не люблю... В рот не беру...— заговорил отец Серапион, но по голосу и глазам видно было, что он уже сильно подгулял.

— Ах, барин...— воскликнул вдруг Иван Дмитриев,— мне вам два словечка надо сказать... Подьте-ка сюда...

И дядька отвел Абрама к окошку и шепнул на ухо:

— Накачиваю святого отца... Вы не мешайте... Надо его до чертей напоить...

— Зачем?..— шепнул Абрам.

— Стало быть, так нужно... Вы не мешайте, а помогайте, там видно будет...

Через полчаса отец Серапион, которому дядька все подливал вина, был мертвецки пьян и свалился под стол.

— Ну вот, мне больше ничего не надо. Извольте видеть?.. Хорош пес валяется?.. Ах ты псина, псина...— заговорил Иван Дмитриев, качая головой и глядя на пол, где протянулся монах.— А еще в монашеской рясе... Духовное лицо... Надо было мне знать, Абрам Петрович,

пьет ли эта животина или не пьет. Давно я смекал, что он пьяница, что они с Анной Захаровной по вечерам наливаются вином, ну, теперь знаю... Своими глазами видел... А это нам на руку... Ведь мы с ним будем жить в монастыре. Вы зачем пришли-то?

Абрам объяснил, что его берет смущение насчет монастыря.

— Покуда далеко было — ничего, а теперь как пришлось ехать — страшно, Иван...

Дядька стал успокаивать своего питомца и снова весело повторил все то же:

— Все это в наших руках, говорю я вам... захочу я — не будете вы в монастыре...

— Да как же?.. Скажи мне, так я буду спокоен.

— Ну, ладно. Все дело в двух словах. Только раскиньте мыслями да поймите, что я скажу.

— Ну, слушаю.

— Весь фортель, Абрам Петрович, простой. Отдают вас теперь в Донской. Будет коли нам скучно, мы сейчас там напакостим... Какую-нибудь смуту учиним, какое позорище устроим, и сейчас придет приказ: нас оттуда вон...

— Ну, что же?..

— Ну, и пошлют нас в другой монастырь. Мы там еще пуще напакостим... Нас в третий, а мы еще хуже... Нас в четвертый, а там мы и совсем все вверх дном обратим...

И Иван Дмитриев начал хохотать. Глаза его блестели, как будто он ясно видел перед собой все те штуки, которые они будут делать по разным монастырям.

Абрам невольно тоже начал смеяться.

— Поняли вы теперь?.. Как пространствуем мы с вами через монастырей пять, шесть, ну, хоть через десять, нас тотчас же преосвященный и прикажет выгнать и не принимать ни в какой монастырь. Поняли? дело не мудреное...

— А бабушка что же?..

— Бабушка?.. Она, как узнает, будет ахать, да охать, да журить, постращает, что не оставит вам ничего, а завещание все-таки не сделает... Да и сделает, так беды нет... Окромя вас, у нее нет наследников...

— А в монастыри отдаст...

— Пустое, не отдаст... Да говорю я вам, успеет, может, за это время и подохнуть... Однако надо мне

эту животину отсюда стащить...— прибавил Иван Дмитриев.

И, простившись с Абрамом, который пошел к себе несколько веселей и бодрее, дворовый взял за плечи тяжелого монаха, перетащил в другой угол, подложил подушку под его голову и затем, потушив свечу, лег тоже спать.

IX

На другой день утром, в доме Ромодановой была уже настоящая сумятица. Марья Абрамовна собиралась в монастырь с внучком. Около двух часов возились люди около кареты, хотя хлопотать было не из чего, так как все пожитки, весь скарб, предназначавшийся для молодого барина, отправлен был чуть свет на подводах.

С утра многие из людей, в особенности женская половина, собирались было проводить молодого барина как притворным, так и искренним вытьем. Старухи собрались было на совет между собой и решили, ради старинного обычая, ради приличия, окружить карету барчонка, отправлявшегося в монастырь, и заголосить благим матом на весь квартал. Молодые, то есть сенные и горничные девушки, не совещаясь между собой, тоже собирались всплакнуть, но совершенно искренно, горько всплакнуть. Почти все они по очереди перебывали любимицами молодого барчонка. Или Марья Абрамовна, предчувствуя это, догадалась, или кто из усердия довел до ее сведения, но еще с вечера барыня отдала строгий приказ через Анну Захаровну, что, если кто-либо завоет или заголосит при отъезде ее со двора, того тут же накажут розгами.

— Чтоб все у меня были веселые-развеселые. Радоваться все должны, что молодой барин на богоугодную жизнь собирается!— объясняла Марья Абрамовна своей наперснице.

Однако, когда подали карету к подъезду, на лицах всей дворни, всех приживалок, мужчин и женщин, даже карлицы Троньки, даже на черном лице Арапки было странное выражение. Все были угрюмы, сумрачны, потому что всем равно было жаль молодого барина. И в то же время все ухмылялись, улыбались в присутствии барыни.

Когда Марья Абрамовна и Абрам сели в карету,

в прихожей, и на подъезде, и на дворе было гробовое молчание. Не похож был этот выезд барыни на другие ее выезды. Этот выезд смахивал будто на похороны. И барыня, и юноша почувствовали это. Абраму, выглянувшему в окно кареты на столпившуюся дворню, при виде десяти молодых красивых личик своих очередных любимиц, стало грустно, и слезы навернулись на глаза. В эту минуту юноша стал первый раз страшиться не в меру за свое будущее, которое устраивала затейница бабушка.

Марья Абрамовна, при виде всех лиц, неподдельно печальных, но молчавших по ее приказанию, при виде лица внучка с влажными глазами и бледного как смерть, тоже смутилась, но на свой лад. Ей стало не жалко внучка, ей стало как-то стыдно за себя, совестно, как будто ее поймали сто глаз в глупом и смешном положении. Ромоданова поняла смутно всю несообразность и бессмыслие своей затеи.

Дверцы кареты захлопнулись. Иван Дмитриев, не спеша, угрюмо, полулениво-полуважно, полез на запятки, где стоял уже гайдук, всегда сопровождавший барыню.

В эту минуту Анна Захаровна, считавшая необходимым сказать последнее слово в таком торжественном случае, выговорила громко:

— Благослови вас Бог, мой голубчик, на богоспасаемое житье. Молитесь за нас, грешных.

— Молчи ты, старая собака!— раздался с запяток громовой голос Дмитриева.— Видишь ведь, все молчат как пришибленные. Ты одна лаешься. Хочешь сама, старая, в монастырь? Нет! Так слушай, что я скажу. Послушник не монах. Бог милостив, все вы тут скоро передохнете, а мы сюда с барином вернемся.

Марья Абрамовна сносила терпеливо дерзости Дмитриева, молчаливо, как наказание Божье. К этому привыкли все, привыкла и она. Но на этот раз, в такую торжественную минуту, дерзость Дмитриева, его злобный голос, какая-то сила, будто пророческая в его словах, поразили всех присутствующих. Марья Абрамовна изменилась в лице, высунулась в окошко, обернулась к запяткам и выговорила грозно:

— Слезай долой! Оставайся здесь. Быть тебе не в монастыре с барчонком, а в Сибири. Конец моему долготерпенью пришел. Слезай!

— Бабушка! Родимая! Золотая!— взмолился Абрам в карете.— Я без него пропаду. Помилосердуйте.

Иван Дмитриев не шевельнулся с запяток и проговорил вполголоса, как бы уступая барыне:

— Испугался я вашей Сибири. Где Сибирь-то? При господах Сибирь-то. А где нет господ да крепостей, там жить не страшно.— И Дмитриев крикнул повелительно чрез карету кучеру Акиму: — Чего распустился! Капуста! Чего ждешь? Пошел!

Марья Абрамовна давно откачнулась в глубь кареты, сильно рассерженная; Абрам сидел около нее встревоженный, ожидая, что будет.

Аким раза два обернулся на всех, глянул искоса в карету, но раздался снова повелительный голос Дмитриева: «пошел!», и карета двинулась.

«Надо, надо от него избавиться!— думала про себя барыня, когда закачался кузов кареты на высоких рессорах.— Пускай живет с Абрамом в монастыре, а в дом — ни ногой».

— Казнила бы я его на площади!— заговорила Анна Захаровна, провожая глазами отъезжавшую карету.— Плетьми через палача наказала бы!— сердито заговорила она ко всем окружающим ее.— Одна наша сердобольная Марья Абрамовна этакого каторжного в своем доме терпит. Язык бы ему отрезать и уши. А то бы и колесовать.

— Оно так и будет, Анна Захаровна!— вмешалась одна из приживалок, занятие которой при барыне состояло в том, чтоб раскладывать пасьянсы или гадать на картах, на кофе, на угольях.— Я вам сказываю. Верно сказываю. Сколько раз ни просил он меня раскладывать и на гуще, и на картах — все ему злодею одно выходит: смертоносная судьба. Как ни выкинешь — все ему девятка жлудевая в головах стоит. Помрет он не своей смертью. Верно вам сказываю. Альбо чрез палача, альбо прирежет кто средь дороги, альбо сам затянется на бечевке.

Приживалка-гадальщица часто гадывала всем в доме. Случайно она отгадывала и предсказывала, так что все в доме верили в ее гаданье. Анна Захаровна отмахнулась рукой, ее движение говорило: «Желала бы я, чтоб ты правду сказала, да не будет на это милости Божьей».

— Верно, матушка, Анна Захаровна. Вспомните, кто Савельичу за недельку сказал, что он помрет,— ведь я же сказала.

Между тем столпившаяся куча дворовых расходилась с подъезда. Печальные проводы молодого барина

как-то отразились на всех. Всякий пошел в свой угол, в свою каморку. От приживалки до последней девчонки, все расходились угрюмые, все раздумывали о своих малых делах, о своей серенькой судьбе.

X

Когда на подъезде осталась одна Анна Захаровна и еще две-три приживалки, в воротах появился пешком и скоро приблизился к подъезду новый частый посетитель дома Ромодановой Капитон Иваныч Воробушкин. За эти несколько дней все в доме равно полюбили доброго, любопытно рассказывающего всякую штуку соседа-дворянина.

— Ах, Капитон Иваныч!— воскликнула барская барыня.— Милости просим, добро пожаловать. Барыни-то нету. Я чай, встретили карету-то.— И Лебяжьева объяснила Капитону Иванычу, что совершилось за несколько минут пред его приходом.

— Что ж,— сказал Воробушкин,— доброе дело. Только надо бы было такое дело по своей охоте делать, а не силком, а силком только один грех будет. А барич ваш в монахи, вы меня извините, совсем не годится. А когда вернется генеральша? Я к ней со своим делом.

— В сумерки обернет,— отозвалась Лебяжьева.— А вы, верно, насчет Ули?

— Да-с, кто об чем, а я об моей сердечной сокрушаюсь.

— Ну, как-с? Что она? Не заморил ее этот кабардинец? Ведь он, кажись, из кабардинского полка?

— Уж именно кабардинец,— грустно усмехнулся Воробушкин.— Полк это-с — карабинерный, да сам-то он действительно кабардинец. Продал он мою бедную Улю из ехидства одного, из упрямства, по своей сатанинской строптивости. Продал Воротынскому, и всего за сто рублей, а с генеральши пятисот не брал.

— Что вы, Капитон Иваныч, верно ли это?

— Верно вам сказываю.

— За сто рублей, говорите?

— Да, за сто, потерял чистые деньги из одного упрямства, из ехидства. А вы знаете ли, сударыня, зачем он ее бригадиру, старому греховоднику, продал? Ключницей состоять, или управительницей, или нянькой?

Всем ведомо, зачем старый греховодник скупает пригожих девушек.

— Знаю, знаю. Сказать стыдно,— выговорила Лебяжьева.— Ах, Господи! Какое дело-то.

— А уж мне-то, мне-то...— Капитон Иваныч махнул рукой, голос его задрожал, и слезы выступили в его добрых серых глазах.

— Как же тут быть,— заговорила Лебяжьева.— Ведь генеральше нельзя в разговоры входить с Воротынским-то барином; она ведь, знаете, имени его в спокойствии слышать не может.

— Знаю. Знаю-с. Скажу вам напрямки, вы меня не выдадите. Одно осталось: выкрасть Улю от бригадира и бежать. Хоть вместе бежать. Не потерплю я, чтобы моя племянница — как там хотите, а все-таки ведь племянница — сделалась полюбовницей этого старого греховодника.

— Что вы, Капитон Иваныч! Как можно, вы эдак себя под суд подведете. Да и как выкрасть, легко сказать. Девица ведь не полушка, ее за щеку не положишь.

— Все это я, Анна Захаровна, придумал. И не ныне завтра, а все обделаю, только бы мне Марье Абрамовне поведать и вымолить у нее самую малость денег. Хоть тридцать рублей, а будет ее милость — все пятьдесят. Ей же потом Уля достанется для Васьки,— что, бишь, хотел сказать,— для Василья Васильевича. Хотите, я вам все подробно расскажу, только уж позвольте войти, а то морозно стоять-то.

— И конечно, отец мой!— встрепенулась Анна Захаровна,— а я забыла, что на морозе голошея стою. Больно любопытством вы меня пробрали. Пожалуйте!

И через несколько минут Капитон Иваныч в горнице барской барыни, сидя за самоваром, передал Лебяжьевой свой план, как выкрасть Улю из дому бригадира и спасти от зазорного насильственного положения наложницы старого срамника.

Успех всего дела зависел от пятидесяти рублей, которые Воробушкин хотел вымолить у богатой барыни.

Анна Захаровна обещала ему свою помощь и обнадежила увереньями, что барыня непременно деньги эти даст тотчас же. Когда Воробушкин, напившись чаю, собрался домой, обещая быть снова вечером у генеральши, в комнату барской барыни вошел домашний доктор, учитель Кейнман. Немец покосился на Воробушкина и,

остановясь среди горницы, стал молча дожидаться, чтобы гость ушел.

У Кейнмана была странная особенность в характере: он неприязненно относился ко всем.

Прямое и честное лицо Капитона Иваныча было ненавистно доктору — наперснику богатой барыни. С тех пор, что Воробушкин появился в доме Ромодановой и сблизился с барской барыней, Кейнман косо, исподлобья следил за бедним дворянином, будто опасался его присутствия.

Воробушкин, как всегда, вежливо и любезно, как со всеми знакомыми, поклонился. Капитон Иваныч не замечал неприязненного взгляда Кейнмана. При виде его теперь Воробушкин, несмотря на свои заботы, вспомнил о той новости, которую слышал поутру и которая немало удивила его. Ему захотелось теперь узнать от доктора, что он слышал. Правда то или выдумка.

— Не знаете ли вы, государь мой,— вежливо спросил Капитон Иваныч,— о том, что случилось в военном гошпитале?

— Что случилось?— несколько презрительно отозвался доктор.— Ничего там не случилось. Дурак там случился. Нахал там случился! Свинья там случилась!

— Как, тоись? извините, не пойму я.

— Говорю, свинья там случилась — доктор Шафонский.

— Директор. Лично имею честь знать. Прекраснейший человек,— протяжно выговорил Капитон Иваныч, будто не слыхал всей брани немца.

Кейнман рассмеялся презрительно.

— Но правда ли, что приказано отворить опять гошпиталь? Сказывали, что будто хворость, которая там проявилась, вовсе, выходит, не опасная и, так сказать, не чумная, не моровая.

— Высечь бы розгами вашего Шафонского за эту его моровую и отставить бы от службы да сослать в Пелым за народное смущенье. Этакие поступки законы всероссийские запрещают.

И Кейнман важно поднял палец в потолок, как если бы законы всероссийские висели тут, в горнице Анны Захаровны.

— Так, стало, все пустое?— спросил Капитон Иваныч, невольно глянув на белый окрашенный потолок и переводя глаза на белобрысую фигуру доктора.

Кейнман не счел нужным отвечать и отошел к окну.

Воробушкин простился с Лебяжьевой, поглядел в спину доктора и вышел из горницы, бормоча себе под нос добродушно:

— Не любят они российских докторов. Хлеб, видно, отбивают у них, а куда отбить! Скорее вы, немецкие знахари, наших рады поедом съесть. Съедите, и лучше не будете, и умнее не станете. Вот точно во сне фараоновом, семь, что ли, тощих коров пожрали, кажись, чуть не двенадцать тучных, а сами тучнее не стали.

И Капитон Иваныч тихо и тоскливо побрел к себе домой.

За последнее время он немного постарел, перестал гулять по Москве и наведываться к разным своим знакомым, прекратил и свои любимые повествованья о молодости, Швеции, кораблях и мореплаваниях. И день, и ночь он думал о своей Уле.

Видя сильную перемену в муже и в то же время вечно грустное отношение ко всему, Авдотья Ивановна тоже начинала раскаиваться в продаже девушки. Вдобавок Воробушкина была больна, лежала в постели, а ухаживать за ней, как, бывало, это делала добрая и ласковая Уля, было некому.

Между тем прошло более месяца с тех пор, что Уля была в домике Алтынова и безвыходно сидела в его мезонине, запертая на ключ. Горничная Алтынова приносила ей ежедневно пищу, обращалась с ней ласково, но на ее различные расспросы никогда не отвечала ничего. Барин строго-настрого приказал ей не доставлять Уле никаких сведений о чем бы то ни было. Уля даже не знала, наведывался ли кто-нибудь на квартиру. Ей было особенно горько, что все как будто забыли об ней.

Первое время ей было особенно грустно. Положение крепостной какого-то плута прапорщика, торговца живым товаром, казалось ей еще тяжелей. А между тем она теперь как бы более дорожила собой и своей жизнью. Она теперь не принадлежала только себе одной. Был на свете другой человек, которому она отдала свое сердце, свои помыслы, свои мечты, считала себя его собственностью и была счастлива этим. Абрам сумел уверить ее в своей искренней любви; девушка поверила и душевно давно вполне отдалась ему.

Немало тяготила ее мысль, что этот человек, клявшийся ей в страстной любви и имеющий большие средства, не предпринимает ничего для ее освобождения.

Первое время Уля сидела по целым дням у окна,

уткнувшись лицом в руки. Затем привычка работать сказалась в ней с страшной тоской. Уже это не было отчаяние за свою судьбу, уж не было горе, а была простая скука от праздности. В тот день, когда горничная принесла ей, с разрешения Алтынова, целый ворох полотна, ниток и иголок, Уля была почти счастлива и с лихорадочным усердием принялась за работу.

Только однажды она услыхала сильный шум в доме и среди других голосов сразу узнала дорогой голос Капитона Иваныча. Вскоре все стихло, и горничная на все расспросы не объяснила ей ничего. Но этого было ей довольно, и луч надежды блеснул.

Алтынов за все это время был у ней в мезонине только раза два.

В первый раз приходил он узнать, есть ли какое еще состояние у Капитона Иваныча и не может ли он наследовать что-либо, если вдруг жена его умрет. Уля объяснила ему, что из имущества действительно что-то еще остается. Зачем это нужно было Алтынову, она, конечно, не поняла. Прапорщик же надеялся, что если сильно хворавшая в это время Авдотья Ивановна умрет, то продать Улю Воробушкину можно будет за безумную цену, променяв на целое имение.

В другой раз Алтынов вошел наверх объяснить девушке, что она продана и по закону принадлежит уже не ему, а бригадиру Воротынскому. Алтынов объяснил при этом, что, по разным причинам, а в особенности вследствие приезда к бригадиру его сына, Воротынский покуда не может взять ее к себе, и она поживет еще у него.

После этого Улей овладело отчаяние. Она отлично знала, что переход ее в руки старого бригадира ставит ее еще в худшее положение, из которого один исход — бежать из Москвы. После долгих размышлений и днем, и ночью Уля твердо решила это сделать, как только очутится на свободе.

XI

Спустя месяц после приезда молодого Воротынского к отцу в доме бригадира была заметная перемена. Сам дом смотрел также серо и пыльно, но менее мрачно. Присутствие Матвея придало, казалось, и дому, и людям несколько более живой вид.

В первые дни бригадир только и думал, что об изгнании родного сына из дома. Он только ждал просьбы Аксиньи. Но любимица не просила об этом; напротив, понемножку, осторожно, стала хвалить молодого барина, находить в нем ежедневно новые качества и вообще стала относиться к молодому Воротынскому вполне милостиво. Вскоре и сам бригадир вошел с сыном в хорошие и даже дружелюбные сношения. Так и должно было случиться.

Молодой Воротынский был известен в Петербурге как самый добрый малый, какой только может уродиться. Вся масса его знакомых в столице любила его. Матвей был постоянно так искренно, ровно и заразительно весел, что невозможно было отнестись к нему неприязненно.

Шалун и кутила, беспечный и смелый, Матвей позволял себе много; но все его шутки, шалости и дерзости как-то всегда сходили ему с рук, прощались и забывались. Он был в Петербурге одним из самых известных шалунов гвардии и лез очертя голову на всякую затею и на всякую опасность.

Он был одним из членов того кружка молодых офицеров, который существовал как бы преемственно, по преданию. Тот кружок смелых, умных, веселых и богатых красавцев гвардейцев когда-то собирался у своих коноводов — братьев Орловых. Все эти прежние шалуны, сделавшиеся как бы невзначай вдруг политическими деятелями, теперь были уже давно сановниками, начиная от Григорья Орлова, ставшего графом Орловым и первым вельможей в государстве, и кончая Ласунским, Пассеком, Бибиковым, которые были теперь правителями целых наместничеств. Все эти вертопрахи царствования императрицы Елизаветы были теперь важные вельможи. Но дух кружка не умер и преемственно продолжал существовать в Петербурге.

Некоторые офицеры ограничивались маленькими шутками, пьянствовали и дрались по трактирам, как когда-то Орловы и Шванвич. Другие шли далее, воображали себя призванными тоже к политической деятельности и к переворотам. Появлялись юные мечтатели, составлявшие глупые заговоры в пользу принца Иоанна Антоновича или в пользу дерзкой авантюристки, принцессы Владимирской. И все они один за другим попадали и в ссылку, и в Сибирь, и на плаху.

Матвей Воротынский был слишком пустой малый

и слишком любил праздную и веселую жизнь гвардейца, чтобы променять ее на Камчатку или Березов. Но если он не занимался «государскими интересами» и не попадался ни в одном дерзком злоумышлении против государыни, то позволял себе постоянно самые смелые выходки, которые часто делали много шуму в столице. Вся беда состояла в том, что Матвей Воротынский принадлежал к особой породе гвардейской молодежи. У этой молодежи был на глазах свой герой, которому она старалась подражать, и у всех была одна цель, к которой они стремились... Всех смущал граф Григорий Григорьевич Орлов.

Молодежь гвардейская слушала рассказы о недавних шалостях Орлова, обо всем, что он проделывал тому назад только десять лет, и невольно в душе каждого юноши, дворянина-офицера, слагался идеал быть таким же лихим молодцом, отличить себя в столице такими же буйными выходками, прославить себя такими же победами над разными красавицами столичными и добиться того, чтобы при дворе тоже заговорили про них.

Но каждый из юношей-гвардейцев не знал или, лучше сказать, не хотел знать, что у Григорья Орлова было что-нибудь и помимо дерзости. Был ум, удаль, готовность сложить свою голову в опасном деле и был, наконец, случай, стечение особенных обстоятельств. А это последнее — главное... Таким образом, гвардеец Воротынский был сколок с модного типа, копия, и даже очень удачная, с известного всем оригинала.

Воротынский, красивый собой, веселый, остроумный, проводил время в трактирах и гостях, знал весь Петербург вельможный и придворный и, кроме того, был усердный дамский поклонник и обожатель, счастливый победитель женских сердец.

Уродись он раньше, существуй десять лет назад, в то время, когда умерла императрица Елизавета Петровна и вступил новый император, то и случилось бы с ним, может быть, нечто особенное... Будь другое стечение обстоятельств, то, может быть, Матвей Воротынский был бы теперь точно так же князь или граф Воротынский, точно так же генерал-адъютант, точно так же сановник и богач.

Разница между Воротынским и Орловым была, между прочим, и в том, что Орлов бросал горстями золото, полученное от отца, и швырял этими червонцами с серьезной политической целью. Воротынский же не имел

состояния, и деньги, которые он тратил, доставались с трудом и не совсем чистым путем. Кое-что давали карты, азартные игры в трактирах, обман глупеньких сынков, проживавшихся в столице, и затем много помогали еще подачки от разных дам, далеко не красивых, далеко не молодых.

Но Матвей не был в этом особенно виновен. Так жили и другие товарищи. Этот образ жизни даже не скрывался. Был же в Петербурге важный сановник, с громким русским именем, очень богатый и до страсти боявшийся жены своей, который, отдавая ей поневоле большие суммы и зная, что они переходят в карман ее любимца офицерика, тотчас спешил залучить юношу и поскорее обыграть его, отыграть свои собственные деньги для того, чтобы истратить их на свою любовницу.

В эту зиму Матвей Воротынский захотел, вероятно, особенно отличиться, мечтал, что о нем заговорит весь Петербург, что дойдет слух о нем до самой императрицы и что, наконец, она пожелает лично взглянуть на него.

«Григорья Орлова за пояс заткну!..» — мечтал молодой Воротынский.

Он хорошо знал наизусть, какая была когда-то у Орлова история с любимицей Шувалова — Апраксиной, много смутившая весь Петербург десять лет назад. И вот теперь Воротынский умышленно устроил такую же точь-в-точь историю с одной столичной красавицей, которая была в то же время любимицей важного сановника. Но не всяк — Григорий Орлов!..

Поднялся крик, достигли слухи до государыни, оскорбился сановник, как когда-то оскорбился Шувалов, и через несколько дней Воротынского двое егерей вывезли по Новгородской дороге. Он был послан на житье в Москву с запрещением въезда в Петербург.

Другой, быть может, упал бы духом, стал бы отчаиваться, но Матвей был слишком беспечен, слишком молод и, по приезде в Москву, весело поздоровался с отцом, которого не видал с юношества.

Он не возмутился тем, что нашел на верхнем этаже «сиротское отделение» бригадира, не возмутился и не испугался присутствию в доме всемогущей любимицы отца — Аксиньи. Он взглянул добродушно и весело на все, что оскорбило бы другого сына.

И все точно так же отнеслось и к нему. Не только отец глядел на него вскоре другими глазами, не только понравился он Аксинье, но даже люди повеселели, глядя

на молодого барина. Даже, казалось, полинялые, пыльные стены дома стали смотреть менее печально и тоже угрюмо улыбнулись.

В первые дни несколько раз бригадир отнесся к сыну грубо, колко, резко, несколько раз поймал Матвей на себе косой, подозрительный, даже злобный взгляд наложницы отца. Но на все это у Матвея был один ответ — веселая улыбка, при которой блестели, как жемчуг, два ряда удивительных зубов и горели веселые, красивые глаза.

Это было в первое время, но теперь положение Матвея в доме отца окончательно изменилось. Ему будто бы мало, что к нему отнеслись дружелюбно и ласково. Без всякого труда, даже без умысла, как бы невольно, незаметно для самого себя и для других он стал близким советником отца и другом Аксиньи.

Действительно, Матвей влезал в душу каждого совершенно неумышленно, само собой. И если от этого одному бывала большая польза, а другому большой вред, то и в этом молодой малый был не виновен. Он всегда все-таки действовал очертя голову, не размышляя, не ухитря́ясь...

Аксинья очень быстро и искренно полюбила молодого барина, даже созналась ему, что когда он приехал, то она чуть не уговорила бригадира прогнать его немедленно. Молодая женщина, конечно, не дошла до того, чтобы тотчас сказать Матвею о своем тайном умысле, о своей страстной любви к мужу и своей ненависти к бригадиру.

Но Матвей понимал или чувствовал, что есть нечто загадочное в отношениях наложницы и отца. Он слишком хорошо знал сам женское сердце, чтобы поневоле не изучить его.

Однажды он понял по намеку намерение Аксиньи освободиться от бригадира и поймал ее на слове.

Как-то вечером он, по обыкновению, очень поздно, до ночи остался в комнате Аксиньи и, расспрашивая ее в сотый раз о ее судьбе, догадался, что она обожает мужа, с которым ее разлучили незаконной продажей.

— Чего же ты не уйдешь от батюшки, коли тебе жизнь в тягость?..— сказал он.— Ушла бы к мужу да вместе с ним и бежала бы куда... Хоть в Соловки... Свет не клином сошелся! Нешто розыскного приказа боишься?..

Аксинья зорко присмотрелась к выражению лица молодого барина и, почувствовав, что он говорит искренно, заговорила тоже прямо. И понемногу, неза-

метно для себя, она проговорилась окончательно. Она рассказала ему всю свою затею о деньгах, которые давно вымаливает у бригадира.

Матвей задумался на минуту и вдруг выговорил:

— Ладно, я тебе в этом помогу... Я тебе достану денег! Не от батюшки, так другие, а будут у тебя деньги.

— Что вы!..— воскликнула Аксинья.

И в порыве благодарности она чуть не бросилась на шею к молодому офицеру.

— Только не даром!..— выговорил вдруг Матвей.— Ты мне тоже услужи.

— Все, что прикажете... Хоть в Киев пешком пойду...

— Спасибо, что мне в том проку... А ты пойди пешком или лучше поезжай и пролезь ты в дом княгини Колховской. Назовись как хочешь, а влезь в душу княжны, бывай у ней почаще и всякий раз пой ей про меня всякие были и небылицы. Что же, мудрено, что ли?..— прибавил Матвей, увидя задумчивое лицо Аксиньи.

— Мудрено, Матвей Григорьич, разумеется, мудрено. Кто же меня туда пустит? Всем известно — кто я, какая и чем состою в доме вашего батюшки. Нешто княгиня позволит мне бывать у княжны... Она на первый же раз велит меня выгнать...

— Да, это верно...

— Но я вам инако помогу...— заговорила, подумав, Аксинья.— Приищу я кого-нибудь, кто за меня все это справит.

— Дуру какую-нибудь?

— Зачем дуру... Поумнее меня найду да и попригожее... Я мужичка...

— Кого же ты найдешь?

— А вот кого. Вы послушайте.

И Аксинья передала Матвею все, что знала о новых происках и затеях Алтынова, о продаже Ули бригадиру.

Аксинья все знала об ожидаемом появлении Ули в доме.

Сам же бригадир Воротынский сообщил любимице все в подробностях и, прося ее не бояться соперницы, уверял ее, что его чувство к ней настолько глубоко, что никакая девушка не в состоянии заместить ее в его сердце.

Аксинья, конечно, с трудом сдержала свою радость при этом известии. Она встрепенулась от неожиданного счастия и стала мечтать тотчас о том, что, быть может,

красавица полудворянка вытеснит ее из дома бригадира и из его сердца.

«Лишь бы только с деньгами уйти!» — подумала она.

Матвей, выслушав теперь все о новой личности, которая должна была явиться в доме, решил повести дело на свой лад. Он решил немедленно влюбить в себя эту красивую полудворянку и сделать своей поверенной в том, что он затевал относительно богатой и знатной княжны Колховской.

А это нехитрое дело было якорем спасения для молодого офицера.

Едва только между Воротынскими, отцом и сыном, возникли добрые отношения, искренние и приятельские, как если бы они были одних лет, бригадир стал заботиться усердно о том, чтобы пристроить Матвея.

Между офицером елизаветинского времени и офицером екатерининского была все-таки большая разница, и Матвей казался Воротынскому замечательно блестящим молодым человеком. Матвей знал несколько слов немецких и голландских, мог кое-что мараковать по-французски, знал кое-что, понаслышке, из разных, для бригадира мудреных, наук, умел сочинять стихи, куплеты, хотя и очень плохие.

В Петербурге все это было не диво и не особенно ценилось. В Москве, напротив, в обществе ценилось высоко.

Бригадир сообразил, что Матвея следует женить и, конечно, на богатой приданнице. Найти такую в Москве было не мудрено, но Воротынский желал для сына особенную богачку. Самая богатая невеста в Москве была княжна Колховская.

Сначала Матвей испугался мысли о женитьбе. Он объяснил отцу, что в Питере один его приятель называет жену — подвязанной рукой. Бригадир даже не понял.

— Изволите видеть, батюшка... Он сказывает в шутку, что законная супруга у нашего брата, гвардейского офицера, то же, что подвязанная рука. Совсем не знаешь, куда с ней деваться, и всему она помехой!.. Выходишь человек подшибленный.

Но затем понемногу Матвей, под влиянием убеждений Воротынского, согласился познакомиться с богатой невестой.

Княгиня Колховская, женщина лет пятидесяти, но моложавая на вид, уроженка Москвы, никогда из нее не выезжавшая, была действительно так богата, что сама не

знала наизусть всех своих имений и вотчин. Еще за год перед тем рассказывали в шутку, что какой-то подьячий взял с княгини сто рублей за то, чтобы открыть ей вотчину, ей принадлежащую, о которой она не имела понятия.

Княгиня, прожив с болезненным, хворым мужем всего пять лет, уже давно была вдова. У нее было двое детей.

Дочь Анюта, лет двадцати, слабая, худая, бледная девушка, очень некрасивая, но тихая и замечательно кроткая нравом.

Анюта была если не редкое явление, то все-таки не заурядное по своему воспитанию. Княгиня, сама себя образовавшая, сама прочитавшая все те книги, которые можно было найти в Москве на двух языках — французском и немецком — не считая, конечно, русских книг, почти сама воспитала свою дочь на диво всей Москве. Анюта знала даже немножко по-гречески и по-латыни. Но науки не очень давались ей. Анюта сходила с ума на романах и стихах.

Общество, собиравшееся у княгини, было, разумеется, подходящее ко вкусам ее и образованию.

Первая приятельница княгини была известная Александра Федотовна Ржевская, рожденная Каменская, которая умерла за два года перед тем.

Умершая всего тридцати лет от роду, женщина эта действительно была замечательная для своего времени и образованна не менее какого-нибудь профессора. Она сочиняла очень недурные стихи, которых осталось от нее много, занималась живописью. На стенах дома княгини Колховской были две картины, писанные Ржевской. Кроме того, она занималась музыкой и пристрастила к ней Колховскую. Княгиня сорока лет стала учиться играть на арфе. Успехов, конечно, больших не сделала, но зато стала учить и подраставшую Анну, которая играла теперь недурно.

Под влиянием Ржевской не только княгиня Колховская занималась сочинительством, но даже муж, сам Ржевский, сочинял стихи, басни, загадки, оды и даже написал целую трагедию «Смердий». Представление трагедии, писавшейся несколько лет, в сотрудничестве с женой, странно совпало вместе с ее кончиной.

В этом кружке музыкально-литературном, где главные роли принадлежали Ржевской и самой хозяйке дома, Колховской, бывали запросто тогдашние блестящие представители московского общества, чуждавшиеся вы-

жившего из ума Салтыкова и таких сановников и сановниц, которые, как Ромоданова или Воротынский, продолжали жить хотя и богато, но на прежний мещанский лад, т. е. ели, пили и спали вволю, по-барски.

У княгини Колховской гостей, вместе с пирожными и вареньями, угощали одами, баснями, элегиями, а у таких боярынь, как Ромоданова, угощали только сплетнями и пересудами.

Кроме Ржевской, в этом кружке было еще много дам-поэтесс, известных всей Москве и почти забытых впоследствии, в том числе Храповицкая, знавшая несколько языков; Хераскова, прозванная «российскою де ла Сюз»; Вельяшева-Волынцева, переводчица с французского языка поэм и романов и поэмы «Тысяча и один час» и большого сочинения «Бранденбургская история». Затем Зубова — рожденная Римская-Корсакова, особенная мастерица писать куплеты. Затем Княжнина, дочь знаменитого Сумарокова.

Все эти дамы-поэтессы сочиняли без устали, собирались у княгини, советовались, читали друг другу свои произведения, рассуждали, спорили, и на устах их звучали постоянно имена тех людей, которые для них были учителями и примерами в трудах, а теперь стали бессмертными: Лафонтен, Буало, Вольтер, Дидерот...

Кроме дам-поэтесс, в том же обществе появлялись и второстепенные российские писатели, из которых самый интересный был Федор Эмин. История его жизни была полна стольких бурь и превращений, что не для одной Москвы была диковиной.

Явившись когда-то в Польшу, неведомо откуда и, вероятно, из Армении, Эмин попал к иезуитам и сделался ревностным католиком. Затем, позднее, отправился путешествовать в Турцию и там, прельстившись Востоком и всеми его обычаями, пашами и гаремами, сам принял магометанство и сделался янычаром. Он вскоре сделался бы и пашой, но почему-то должен был бежать из Турции и бежал прямо в Лондон. Здесь втерся он в дом русского посланника и, после католичества и магометанства, в третий раз переменил веру и сделался православным.

Православная вера оказалась самая ласковая, выгодная и благодарная. Она привела Эмина из Лондона в Россию, и в начале царствования императрицы Екатерины Эмин стал чиновный барин, стихотворец, сочинитель и был ласково, любезно принят в знаменитом

кружке дам-поэтесс, заседавших у княгини Колховской. А в кружок этот, именуемый шутниками в Москве «бабий синедрион», было попасть нелегко.

В том же обществе поэтесс бывал, временно находясь в Москве, поэт Рубан, сочинитель знаменитого четверостишия на открытие памятника Петру Великому:

...Нерукотворная здесь Росская гора,
Вняв гласу Божию из уст Екатерины,
Пришла во град Петров чрез Невские пучины
И пала под стопы Великого Петра!

Вместе с ним бывал у княгини актер Волков. Принять в число гостей фигляра, скомороха, человека простого происхождения могла только такая женщина, как княгиня Колховская, только такой кружок лиц, как «бабий синедрион».

Про Волкова говорили, что он временно сослан в Москву на жительство за одно четверостишие.

Самый почетный член кружка был бригадир Мамонов, писавший под именем «дворянина философа». Он был автор сочинения «Поэма Люлови» и, кроме того, написал в стихах «Правила офицера» и «Генерал в поле». Но самое известное его сочинение, приводившее в восторг «бабий синедрион», был перевод «Овидиевых превращений» и поэмы «Любовь Психеи и Купидона».

Кроме них, были одно время приняты в обществе три брата Карины. Все трое поэты. Старший из них был автор знаменитой комедии, которую читала вся Москва в рукописи нарасхват, но которая никогда не была издана и никогда не поставлена на сцену. Он умер года за полтора перед тем, и теперь грамотная Москва продолжала зачитываться этой комедией, называвшейся: «Россиянин, возвратившийся из Франции».

Наконец, княгиня, принимавшая у себя простого актера, принимала по утрам за чаем, почти тайным образом, чтобы не чересчур смущать москвичей, простого протоколиста из сената, Никиту Иванова.

Протоколист был нечто вроде такого же подьячего, как и Мартыныч, маленький, сутуловатый, плюгавый на вид, немножечко даже подпивавший. Но обстоятельства, открывшие ему дом важной княгини, были особенные. Протоколист Иванов сочинял «Российскую гисторию от Рюрика до Екатерины». Теперь он кончал ее, и княгиня обещала ему свое покровительство и деньги, чтобы издать сочинение.

В этот дом, богатый, роскошный, с умной, всеми уважаемой хозяйкой-княгиней, с замечательно воспитанной девушкой-княжной, где было главное пребывание «бабьего синедриона», было, точно в насмешку, послано судьбой одно существо, казавшееся в этом доме и в этом кружке пятном или живой, ходячей эпиграммой. Это был сын княгини, двадцатидвухлетний князь Захар.

Это был страшно толстый, оплывший жиром, пузатый молодец, с отвисшими жирными розовыми щеками и подбородком, но довольно правильными чертами лица. Князь Захар был от рождения полный идиот.

Княгиня, разумеется, обожала это несчастное существо, обиженное Богом, и считала, что ребенок этот послан ей судьбой в испытание. Она ухаживала за Захаром, и так как за него нельзя было отвечать ни минуты, то нежная мать не отпускала его от себя ни на шаг.

Захар вечно, всегда, от зари до зари находился в гостиной, если мать принимала гостей; у нее в кабинете, если она читала или работала, и, наконец, вместе с ней в карете, если княгиня отправлялась кататься или в гости. Не более трех-четырех раз в месяц решалась княгиня поручить неразумное существо кому-либо из близких, или дочери, или своей покойной приятельнице Ржевской.

Когда синедрион дам-поэтесс восседал в гостиной, то Захар был тут же. Сидел он всегда молча, на большом кресле, так как простой стул не выдержал бы тяжести его тела.

По временам, около получаса в день, у Захара являлось маленькое соображение, большею частью когда он ел и пил. Часто случалось, что какое-нибудь блюдо, показавшееся ему невкусным, заставляло его вдруг морщиться и тотчас же пищать или горько плакать. Вообще жизнь выражалась на лице его двояко: или простой младенческой улыбкой, или слезами.

Единственно, к чему Захар привык, как привыкают ученые собачонки или обезьяны, было вставать с кресла и здороваться с гостями матери. Когда гости съезжались или уезжали, глаза Захара и все лицо немного оживлялись. Он на минуту становился как бы разумным существом. При этом Захар не двигался с своего места, а только привставал.

Все знакомые, и мужчины, и женщины равно, здороваясь или прощаясь с княгиней или княжной, никогда

не забывали Захара, чтобы не опечалить матери. И пожилые дамы, и сановники, и молодежь подходили по очереди к идиоту. Одни трепали его по плечу, другие чмокались с ним в обе щеки. Иногда при этом говорилось ему что-нибудь полуласково, полупокровительственно, говорилось тем голосом, каким, ради шутки, часто говорят с годовым младенцем или домашним животным. Делается это, разумеется, для себя и для других, а не для того, к кому обращена речь. Захар автоматически привставал с своего кресла, каким-то, будто заученным, вечно одинаковым образом подавал руку или целовался, причем ребячески неразумно улыбался. Некоторые из знакомых умели, однако, иногда разбудить этот грустный нравственный сон.

В этом бедном существе подчас оказывалась душа. Захар обожал солнце и любил зимой близ окошка греться на солнышке и любил подолгу, до полного ослепления, глядеть прямо в яркое солнце и странно улыбаться ему. Но всего страннее и непонятнее было то, что вся природа идиота будто пробуждалась, вдруг встрепенувшись, когда на его глазах кого-либо — человека, собаку ли, лошадь ли — кто-нибудь бил. Захар взмахивал вдруг руками, начинал издавать какие-то непонятные, отчаянно пискливые звуки и часто принимался плакать и, наконец, рыдать.

В доме княгини был у него только один друг, которого он обожал более матери и сестры,— большой черный кудрявый водолаз. Захар и водолаз не расставались ни на минуту и нежно обожали друг друга. Часто по целым часам друзья сидели вместе, обнявшись, на полу. Захар страстно любил это положение. Однако княгиня, нежно обращаясь с сыном, за это строго преследовала его. Ее материнскому сердцу было больно видеть сына на полу в таком положении, которое окончательно уподобляло его животному. Она объясняла ему, что люди должны всегда сидеть на мебели, что только собаки и кошки валяются по полу. Захар, казалось, понял это вполне, но не мог побороть в себе странное влечение быть на одном уровне с водолазом. Зато летом вволю валялся он по траве.

Захар не был немой, но знал и говорил не более сотни слов, самых обыкновенных, необходимых в течение дня. Сестра и мать делили между собой заботы о нем. Но главная обязанность княжны заключалась в том, чтобы заставлять ходить гулять брата. Зимой она водила его

взад и вперед по большой зале, иногда более часа, летом — по лесу, по саду. Прогулки эти, конечно, совершались молча. Только когда неповоротливый и тяжелый Захар спотыкался или плаксивым выражением лица объяснял, что ему надоело ходить, то сестра упрекала его за лень, уговаривала погулять еще немного или вразумительно убеждала выше поднимать ноги, чтобы не падать.

Главною обязанностью княгини был надзор за ним ночью. Он до сих пор спал в одной комнате с матерью, в огромной кровати, устроенной, однако, как люлька, со стенками, обитыми кругом мягкою материей на вате, и с дверками, запиравшимися на крючки и задвижки.

Вечером, укладывая сына спать, или поутру, когда он вставал гораздо позже всех в доме, княгиня заставляла идиота становиться на колена под иконами, креститься, класть поклоны, а сама вслух за него повторяла молитву от его лица, заканчивая словами:

— Помилуй, Боже, меня, боярина и князя Захара.

Княгиня как-то раз, давно, сказала сыну, чтобы он про себя повторял за ней слова молитвы. Захар, конечно, этого делать не мог, но княгиня наивно уверяла себя в том, что он это делает.

Тучному идиоту бывало, конечно, скучно и даже мудрено стоять на коленях и класть поклоны. И часто, раза три в неделю, он принимался плакать, обиженно махал руками на киот, отворачивался, просился скорее жестами в столовую, где ожидал его завтрак. Но в этом княгиня не слушалась сына и упорно, угрюмо старалась всегда побороть в нем его лень молиться Богу.

Ко всему этому присоединилась еще наивная уверенность матери, что когда сын подрастет, то голова его просветлеет и он станет как и все другие.

XIII

На эту именно семью пал выбор бригадира Воротынского, когда он стал мечтать о женитьбе сына.

Да и многие отцы семейств в Москве, у которых были сыновья, мечтали женить их на страшно богатой княжне, в той надежде, что мать прежде дочери должна умереть, брата можно сдать во вновь учреждаемые человеколюбивые дома, и невестка сделается единственной полной обладательницей всего большого состояния.

Однако жениться на княжне Анюточке было очень

мудрено. Во-первых, мать постоянно говорила, что во всей Москве нет для нее ни одного подходящего жениха, что надо поискать где-нибудь в других местах.

— Все безграмотные неучи, которые и имени-то своего подписать не умеют,— говорила она.— В них дворянского только один кафтан да парик, кружева да галуны.

Во-вторых, сама княжна замуж не собиралась и особенно равнодушно относилась ко всем молодым дворянам Москвы, которых видала на вечерах и обедах. Она говорила шутя, что вышла бы только замуж за самого первого стихотворца.

За последнее время, однако, княгиня стала чаще подумывать о неизлечимости сына и о необходимости выдать замуж дочь и иметь внука, мальчугана — наследника всего состояния.

Вскоре после своего приезда Матвей Воротынский, сблизившись с отцом, подружившись окончательно с Аксиньей, согласился на убеждения обоих. Он отправился знакомиться со всей Москвой только для вида, а главным образом для того, чтобы иметь возможность познакомиться с княгиней Колховской.

Матвей очень быстро и искусно подделался под лад дома княгини. Он приходил в восторг от всех сотней тетрадей всяких стихов «бабьего синедриона», выписал из Петербурга у друзей тоже целую тетрадку стихов, ходивших там в рукописи, и постепенно выдавал их княжне за свои собственные. И два раза он попался жестоко, но вывернулся. Однажды он наивно выдал за свое сочинение хорошо известное княжне, но не напечатанное стихотворение князя Козловского.

Стихами Матвей старался понравиться молодой девушке, но на княгиню более всего действовало другое. Матвей тотчас догадался что. Он сделался самым близким другом Захара. Он даже стал самым опасным соперником водолаза, и пес ненавидел молодого офицера от всего сердца.

И странное дело! Захар, относившийся ко всем равнодушно, по-видимому, даже не менее равнодушно к матери и сестре, быстро привязался к молодому, веселому офицеру, который играл с ним и возился по целым часам. Когда молодой Воротынский приезжал, входил в гостиную, Захар начинал улыбаться, вставал с своего кресла и, несмотря на свою природную органическую

лень, делал несколько шагов к офицеру и лез сам целоваться.

Таким образом, затея Воротынских, отца и сына, должна была удаться как нельзя лучше. Они начинали уж поговаривать о сватовстве. Княгиня и княжна тоже между собой поговаривали о Матвее. Но княжна все-таки относилась к Матвею, несмотря на его ухаживанье, как-то странно равнодушно. Будто и в ее крови была маленькая доля того, что сделало брата полным идиотом.

Княгиня, однако, долго была в нерешимости относительно оценки молодого Воротынского. Она пожимала плечами, разводила руками и говорила:

— Что же?.. Ничего... Человек, кажется, добрый, хороший... Все-таки не такой медведь и шалопай, как здешние московские.

Так прошло более месяца. Но вдруг, однажды, в доме Колховских Матвея приняли странно сухо, а когда он стал шутить по-старому с Захаром, княгиня вдруг увела сына, несмотря на его плаксивое сопротивление.

Поневоле Матвей сообразил, что есть что-то новое, неожиданное в отношениях к нему матери и дочери.

Через несколько дней оказалось по справкам, что какой-то приятель княгини написал ей из Петербурга, что молодой Матвей Воротынский был в столице первый и самый отчаянный вертопрах и озорник. При этом приятель княгини рассказал ей столько историй и анекдотов про Воротынского, что княгиня чуть было сгоряча не отказала ему прямо от дому.

Бригадир смутился и стал упрекать сына за последствия глупой жизни петербургских гвардейцев. Но молодой малый, приунывший в первую минуту, скоро снова успокоился и полушутя, полусерьезно поклялся отцу, что будут у него в кармане и княгиня, и княжна.

— Не впервой, батюшка... Сколько раз приходилось злейшего врага на свой салтык погнуть и приятелем сделать...

Матвей стал мысленно искать человека, преимущественно женщину, себе в помощь.

Сам бригадир придавал большое значение и ожидал неотразимого влияния на княжну, если бы можно было найти тайную помощницу и действовать непосредственно на молодую девушку.

В это же время Алтынов со злости и из упрямства продал Улю бригадиру и Уля была почти насильно привезена им в дом нового владельца.

Оставленная в доме бригадира, она дико и пугливо озиралась на всех и на все, как заяц озирается, окруженный гончими.

Единственная ее мысль была — искать спасения из своего положения и бежать.

К первым ласковым словам бригадира, обращенным к ней, Уля отнеслась с явным отчаянным отвращением. Быть может, никогда еще бригадир не видал в глазах женских того, что увидел в красивых глазах Ули. Чувство омерзения пересилило в ней даже чувство страха.

К первым ласковым словам Аксиньи девушка отнеслась подозрительно, и только беспечный, веселый, добродушный Матвей не внушил ей ни боязни, ни отвращения.

Ей было, во всяком случае, лучше, чем у Алтынова, потому уже, что ей было позволено ходить по всему дому. На улицу, однако, ее не пускали, так как Алтынов объяснил Воротынскому, что девушка уже раз сбежала от него и, конечно, при первом случае сбежит и от бригадира.

Через несколько дней после приезда Ули Аксинья сама сумела расположить Улю в свою пользу. Аксинья избрала самый верный путь к сердцу доброй, понравившейся ей девушки. Она стала с ней вполне откровенна, объяснила ей свое положение, рассказала искренно то, чего не говорила никому, т. е. о своем обожании мужа, о своих планах и мечтах.

Прошло еще несколько дней, и Аксинья с Улей были уже искренние друзья, и Уля поклялась всячески содействовать ее соединению с мужем.

Бригадир, которого сын упросил сделать из Ули помощницу относительно княжны Анюты, обращался с девушкой осторожно и ни разу не испугал ее какой-нибудь неуместной лаской.

Было решено между отцом и сыном отпустить девушку ходить по оброку, по билету, с условием, однако, чтобы она сумела наняться в дом княгини горничной при княжне. Затея эта не удалась. Уля не была нанята княжной. Но вдруг в доме княгини, неизвестно по какой причине, снова совершился поворот в пользу Матвея. Некоторые знакомые уверяли, будто княгиня уступила немым, но красноречивым просьбам идиота, который загрустил и не мог обойтись без своего друга офицера.

Матвей, появляясь снова часто в доме княгини, уже сам умышленно начал рассказывать ей о своих петер-

бургских озорничествах и сумел представить все в таком виде, забавном, смешном и невинном, что даже умная княгиня поддалась обману.

В то же время Григорий Матвеич объяснился однажды с девушкой глаз на глаз, и после этого Уля, бледная, взволнованная, прибежала к Аксинье в горницу. Она бросилась пред ней на колена и умоляла ее как ни на есть спасти от того позора, который ее ожидает.

Молодая женщина и девушка вместе поплакали, обнявшись. Положение их было слишком одинаково, страдания те же, мечты те же.

Как Аксинья обожала и мечтала все о своем муже, так точно Уля не переставала думать об Абраме и стремилась всей душой снова увидеться с ним и безбоязненно, безвозвратно отдаться ему.

Кроме побега, нельзя было придумать ничего. Уля решилась исчезнуть из дома бригадира. Аксинья взяла на себя понемногу утешить Григорья Матвеича, упросить оставить девушку в покое и даже, быть может, отпустить на волю.

Через день бригадир с утра отпустил из дому счастливую Аксинью, которой, таким образом, внезапно представился случай повидаться с мужем, а сам, в сумерки, отправился в горницу, где жила Уля.

Через несколько минут люди видели, как вновь купленная девушка отчаянно, с криком оттолкнула от себя бригадира, бросилась вон из своей горницы и, пробежав по всем комнатам и по двору, исчезла в воротах.

Все это так поразило полуленивых, полусонных, полуотощавших холопов бригадира, что никто не двинулся; все остались разиня рот; никто не остановил беглянку. Когда все всполошились, поняли, в чем дело, и бросились за девушкой, было уже поздно.

Уля, очутившись на улице, остановилась.

Куда ей было бежать? к кому? где найти убежище от холода? Идти было положительно не к кому, кроме генеральши Ромодановой. Но там, в случае несогласия Воротынского продать ее барыне, ее снова взяли бы и насильно отвели бы к нему. А во второй раз уж не удалось бы бежать.

К любившему ее более всех Воробушкину идти было, конечно, невозможно. К Алтынову и подавно.

На счастье Ули, день был теплый, чуть не весенний.

Снег таял по всем улицам. Лучи солнца тепло и ярко блестели в желтом хрустящем снегу и ручейках. Воробьи и голуби весело ворковали и чирикали по крышам, с которых капала мутная вода. Народу на улицах было более обыкновенного.

Уля пробыла часа три на улице. Зашла на минуту обогреться в какую-то лавку, к какой-то ворчливой старухе. Но вскоре прогнанная, так как пора была запирать лавку, она снова очутилась на пустой улице уже среди тьмы ночи.

И вдруг девушкой овладело страшное отчаяние. Зная, что она не решится войти в дом своего главного и злейшего врага, Авдотьи Ивановны, она все-таки направилась к домику на Ленивке. Быть может, Капитон Иваныч ненароком будет ворочаться домой, она повидается с ним, и он укроет ее где-нибудь.

Увидя издали домик Воробушкиных, Уля простояла несколько минут, глядя на знакомые окна, тускло освещенные. И вдруг, под влиянием какого-то непонятного чувства отчаяния, воскликнула громко:

— Да что тут!.. Ничего не остается... Топиться... Больше ничего...

И она чуть не бегом, среди полной темноты, побежала к знакомому ей мосту, где Неглинная соединялась с Москвой-рекой и где было бесчисленное количество прорубей и плотов для прачек и для водовозов.

Уля, задохнувшись, скрестив руки на груди, бежала к этим прорубям, спотыкаясь и скользя. В ней сказывалось только одно чувство боязни, именно боязни, что она не решится в последнюю минуту покончить с собой; она надеялась только с разбегу броситься в один из этих темных кружков, откуда днем черпают воду.

Уля закрыла глаза, приближаясь к прорубям, говорила вслух:

— Бог милостив... Как-нибудь сама собой упаду... Провалюсь под лед...

Однако через каждые несколько мгновений, когда ноги ее скользили, она невольно открывала глаза. Уже приближаясь к прорубям, она снова глянула и вдруг остановилась сразу как истукан.

Перед ней, среди пустой реки, покрытой льдом, среди полумрака и безлюдья, в нескольких шагах от огромной проруби, обрисовалось что-то непонятное... Она увидела темную фигуру на коленях, с поникнутой головой, со скрещенными руками, на которых лежала длинная боро-

да. Одежда этой фигуры была не простая, а такая, какие пишутся на иконах.

Уля замерла и вскрикнула. Для нее это было видение, которое стало между ней и ее смертью. Большая прорубь зияла там, дальше, за поникнутой головой этого видения.

— Господи!..— невольно вскрикнула девушка и начала креститься, дрожа всем телом.

Восклицание это будто оживило, воплотило видение. Фигура шевельнулась; голова, с большой седой бородой, повернулась к Уле. И чрез мгновенье, поднявшись на ноги, священник в рясе сделал несколько медленных шагов к девушке.

Он молча остановился перед ней, будто в изумлении, что встретил здесь живое существо, среди ночи, на пустынной реке.

— Что тебе?..— проговорил он едва слышно, старческим голосом.— Кто ты?.. Зачем пришла?.. Ступай с Богом!..

— Батюшка!..— вскричала Уля вне себя, бросилась перед неизвестным ей священником на колена, схватила его за рясу, повисла на ней. Она пугливо прижалась к нему лицом, зарыдала и наконец через силу выговорила: — Я топиться хотела... Некуда деваться... Топиться надо.

Старик нагнулся над ней, взял ее за плечи и выговорил голосом, в котором, казалось, перемешались все человеческие чувства вместе:

— Топиться?! Да ведь и я...

Голос его оборвался, замер... но чрез мгновенье он прибавил хрипливо:

— И я тоже... Я Богу молился...— говорил он, глотая слезы.— Богу молился... Я тоже... С голоду!.. Нет, пойдем... пойдем... подальше от искусителя... Нас Господь свел друг дружку спасти от греха... победить дьявола и его ухищрения. Велик и благостен Господь!.. Детище мое, пойдем... пойдем ко мне... У меня в дому деток много... жена старая, и все без хлеба... третий день без хлеба... Пойдем!

И старик потащил Улю за собой с такою силой, как если бы она порывалась от него. Но девушка шла послушно и тихо плакала...

XIV

И эту ночь Уля провела под кровлей нищего священника без прихода. Домик, приютивший ее, был гнилой, полуразвалившийся, со щелями, заткнутыми соломой.

В нем нашла Уля старую, больную женщину, едва двигавшуюся по двум маленьким горницам с покосившимися полами, и шесть человек ребят, из которых старшему было не более тринадцати лет.

Отец Авдей, священник без прихода, был, как говорилось, «найман», или крестцовый поп.

Москва, да и вся Россия была полна старых священников, которые, не имея приходов, не имели никаких средств к жизни. В Москве их было особенно много. Все они жили чем Бог послал,— и Бог весть почему,— в полном презрении и духовенства, и горожан, и народа. Все они, неизвестно с каких пор, по чьему почину, собирались ежедневно с утра за Москвой-рекой у Крестца и, несмотря на мороз, иногда до ночи терпеливо стояли и толклись кучками в ожидании работы... всенощной, молебна, панихиды... Прежде, у того же Крестца, продавались готовые срубы для изб, которые покупались, свозились и ставились по разным улицам Москвы. Тут же сходились вольные и крепостные холопы, ищущие места. Тут же бывали ямщики, которые рядились возить по разным трактам,— на Калугу, Тулу, Рязань и другие ближайшие города. Но понемногу толпа голодных и нищих священников вытеснила других ищущих хлеба, и Крестец стал исключительно их местом найма.

Странный, страшный вид имел Крестец около полудня. Еще более страшный в сумерки. Толпа, угрюмая, бородатая, в ветхих рясах, чуть не в рубищах, в высоких диких шапках, с громадными наушниками, висящими до плеч, молча толклась и двигалась здесь, озираясь на все прилегающие улицы и переулки. И едва появлялся только какой-нибудь барский холоп или какой ни на есть наемщик, голодная стая несчастных людей, у которых в убогих домишках чуть не мерли с голоду десятки младенцев, просящих хлеба, кидалась на вновь прибывшего и чуть не рвала на части. Счастливец, избранный холопом зря, первый подвернувшийся, или первый подбежавший, или пообещавший уделить частицу уговорной платы, шел на требу за две-три гривны. Осталь-

ные молча отходили и снова начинали высматривать и ждать удачи.

Конечно, бывало, что в один день все священники разбирались. Время постов и в особенности великого поста было время главных заработков. За это время можно было набрать грошей, чтобы прокормить себя и семью целый год.

И вот здесь, у Крестца, где давно сходились целые толпы несчастных, народился теперь злой дух «полутурка», равный для них самому сатане,— новый преосвященный московский, Амвросий.

Он безжалостно преследовал попов крестцовых, или найманов. Раза два в месяц по его приказу разгоняли их будочники алебардами и палками. Но они снова на другой день, сначала украдкой, а потом и явно, собирались к Крестцу. Голод снова пригонял их. Только здесь можно было каждый день надеяться достать семье кусок насущного хлеба.

В числе найманов были, конечно, воры и негодяи, но были и другие, которые, придя в чей-нибудь дом служить всенощную, так служили ее подчас, что нечто будто невидимое хватало за сердце всех верующих.

В словах молитв, ими произносимых, подчас звучало столько горя, отчаяния, столько невольного, тайного ропота на Бога, которого они призывали, что в богослужение проникал вдруг какой-то особый, таинственный и великий смысл.

Отец Авдей был из таковых... Однажды великим постом, когда он служил в домовой церкви одного старого сенатора, он так проговорил молитву: Господи, Владыко живота моего... что и сенатор, и все предстоящие вдруг будто встрепенулись... Все в церкви одинаково, вместе поняли нечто... И тотчас же все одинаково усерднее начали молиться...

Этот старик священник, конечно, тотчас же полюбил Улю, быть может, потому, что судьба странно свела их в самые ужасные минуты их жизни. И то, что оба, и шестидесятилетний старик, и двадцатилетняя девушка, пережили в ту ночь, сблизило их, как если б они были знакомы несколько лет. Отец Авдей привел девушку в свой убогий домик и объяснил хворой жене и детям, что когда он шел чрез Москву-реку с Крестца, то чуть было не упал в прорубь, а она спасла его. Дети поверили. Только старуха поглядела в лицо священника, вздохнула и отвернулась.

Священник мог предложить Уле только кров, так как хлеба действительно не было ни крохи. Лица детей, истощенные, зеленоватые, худые, их унылый взгляд и лихорадочный блеск в глазах доказывали ясно, каково было их житье.

Наутро, сладко проспав на полу одной из двух маленьких горенок, Уля встала бодрая, почти веселая. В первый раз после бесчисленных дней и ночей, проведенных в беспрестанной тревоге и боязни за свою жизнь и за свою честь, она увидела себя среди людей добрых, но угнетенных нищетой. Уля почти не верила, что накануне хотела покончить с собой. В ней теперь родилась надежда на лучшую судьбу. В нескольких словах она рассказала отцу Авдею все свои мыканья, все свое горе и узнала, что священник с старухой женой живет чем Бог послал, имеет на руках шесть сирот-внучат, оставшихся после умершего сына.

Уле было невыразимо жаль всю эту семью, изнуренную страшной нищетой. Ее собственное горе показалось ей ничтожно, сравнительно с тем, что нашла она в этом убогом домике и что угадывало ее сердце, читая в глазах полухворых, бледных детей. Один из них, самый хорошенький, почему-то напомнил Уле ее Абрама и чуть не довел ее до слез. Он всячески ласкался ко вновь прибывшей гостье, картавил, ластился, обнимал и целовал ее и все просил убедительным голосом дать ему кусочек хлеба, хоть самый маленький.

Переговорив со священником и его женой, Уля убедилась, что работу найти можно. Она сразу разочла и сообразила, что могла бы зарабатывать достаточно, чтобы прокормить всю семью наймана от Крестца.

Отец Авдей подумал и объяснил ей, что его едва двигающаяся жена и он в рясе ничего не могут заработать.

— Жена едва жива,— сказал он,— мне мой сан духовный не дает хлебушка заработать. Пошел бы в водовозы, что ли,— расстригут и сошлют в Белоозер. Тогда мои сироты и совсем пропадут. Да этого я еще не боюсь, а боюсь я пред лицом Господа Бога осквернить мой сан иерейский. А тебе, золотая моя, мало ли где какую работу достать можно. Я же тебе ее и найду.

В тот же день вечером Уля была счастлива и довольна, как еще в жизни своей не бывало никогда, разве только в тот день, когда встретила внезапно Абрама и первый раз замерла в его объятьях. В этот день, прора-

ботав несколько часов иголкой у соседней купчихи и удивив ее своим искусством шить, она принесла в убогий домик большой каравай хлеба, крынку молока и несколько грошей. Слезы радости стояли у нее в глазах и мешали ей смотреть и видеть то счастие и тот восторг, в который пришли маленькие обитатели домика. Даже старая попадья приободрилась, а отец Авдей целовал и благословлял ее без конца. С этого дня в домике отца Авдея будто появился добрый гений и ангел-утешитель.

XV

Так прошло около двух недель.

Уля зарабатывала шитьем всякий день все более. Старики и дети обожали ее, повеселели, начинали играть и возиться.

Уля выходила только раз утром на работу, возвращалась поздно вечером.

Она часто и много мечтала повидаться с Капитоном Иванычем и даже с Абрамом, но боялась двинуться далее маленького переулка, где приютил ее несчастный старик и где зависела от нее жизнь нескольких несчастных существ.

Наконец однажды Уля решилась просить старика священника дойти к Капитону Иванычу, открыть ему свое убежище и позвать к себе. Отец Авдей тотчас же отправился по ее указанию в домик на Ленивке. Уля ждала с нетерпением его возвращения, но старик принес грустное известие, что в доме живет, хворает одна Авдотья Ивановна, а самого Воробушкина давно уже нет, что он не живет более с женой и где находится,— неизвестно.

Уля грустно и покорно решила оставаться в домике священника.

«Видно, судьба моя такова. Видно, Господь послал меня сюда в утешенье бедных сирот».

Но девушка ошиблась. Чрез три дня, выйдя на работу немного позже обыкновенного, она почти в воротах встретила Климовну. Хитрая и пронырливая вдова расстриги, оказавшаяся соседкой отца Авдея, уже дня с два как пронюхала, что у старого наймана появилась какая-то красавица, мастерица шить. Климовна, конечно, не подумала, что это та самая, хорошо ей знакомая Уля, которую разыскивают по всей Москве бригадир

и Алтынов. Климовна, постоянно без устали хлопотавшая по разным своим зазорным делам, просто хотела поглядеть, что за девица у отца Авдея и нельзя ли ей в этом случае поживиться. И два дня кряду Климовна почти сторожила девушку, чтобы познакомиться. При виде Ули Климовна ахнула и попятилась, но тотчас же оправилась, закидала Улю вопросами и тотчас же сообразила, что есть нажива, и нажива хорошая.

Она стала звать девушку к себе в гости, по соседству через два дома, обещая ей ни слова не говорить никому, уверяя ее, что она даже в ссоре с Алтыновым.

Уля, которая после всего своего мытарства стала осторожнее и, конечно, менее доверчивой, не согласилась и не пошла к приятельнице своего злейшего, главного врага.

Отделавшись от Климовны, девушка вернулась домой и рассказала о своей встрече священнику. Он вздохнул и тотчас же решил, что девушке у них оставаться нельзя, что Климовна, вероятно, уже побежала к Алтынову, а к вечеру нагрянет уже и полиция.

Он тотчас убедил Улю уходить и, провожая за ворота свою «кормилицу и поилицу», как называл он ее, невольно прослезился. Уля обещала, пристроившись где-нибудь, не забывать сирот и продолжать работать на них.

Уля обманула священника, сказав, что пойдет в дом, где она может быть в совершенной безопасности и где ее не выдадут никому.

Куда идти? Куда деваться, она снова не знала, как в ту ночь, когда выбежала из дому бригадира.

Уля вышла из ворот домика, где была счастлива несколько дней, перекрестилась и пошла куда глаза глядят, и невольно, почти бессознательно, она пошла в ту часть города, где была тоже счастлива несколько дней.

В нескольких шагах от дому боярыни Ромодановой, в ту минуту, когда Уля с замиранием сердца смотрела чрез высокую ограду, окружавшую двор, на одно угловое окошко, где еще так недавно она сидела с Абрамом, ее окликнул знакомый голос. Ей навстречу, в санках на красивой лошади, ехал Иван Дмитриев.

— А?! красавица, где пропадаешь?

Дмитриев остановил лошадь, выскочил из саней, полуласково, полунасмешливо, с грубыми шутками и прибаутками, расспросил девушку обо всем и узнал подробно все ее приключения со дня исчезновения.

— Хошь видеть барина, Абрама Петровича?

Уля вспыхнула и потупилась.

— Желаешь к нам на житье? Мы тебя самому фельдмаршалу Салтыкову не выдадим. Да в наших местах и в год целый никто не разыщет тебя. Пропадешь как иголка. А житье будет масленица.

Уля не отвечала почти, не сознавала, на что решалась, на что согласилась, но чрез несколько минут она уже сидела в санках около Дмитриева.

Они мчались по улицам вон из Москвы. Вылетели на заставу в поле, и наконец Иван Дмитриев показал ей кнутом на блиставшие вдали, на ясном небе, несколько золоченых куполов Донского монастыря.

XVI

Внучек самой богатой боярыни во всей Москве, поступивший в послушники, к удивлению всего Донского монастыря, жил, конечно, не как простой монах, а имел свою собственную келью, т. е. собственный отдельный домик, выстроенный нарочно для него среди монастырской ограды. Название кельи, конечно, не соответствовало дому, в котором было несколько горниц, и спальня, и гостиная, и столовая, и комнаты в мезонине, где жили приставленные к нему дядька Дмитриев и монах Серапион.

Настоятель монастыря, архимандрит Антоний, один из самых умных монахов Москвы, очень образованный и начитанный, милостиво принял Абрама и с первых же свиданий объяснил юноше, что он, конечно, не будет требовать с него того же, что требуется с простого монаха.

Он долго разъяснял Абраму монастырские правила, обычаи и условия монастырской жизни. Из этих бесед Абрам вынес то убеждение, что в монастыре, среди высокой ограды, как бы имевшей цель отделить внутренний двор монастырский от остального мира, существовали те же обычаи, та же суета, что и в миру.

Антоний объяснил юноше, что у него есть монах-кучер, монах-дворник и водовоз, монах-учитель и бывший профессор элоквенции и монах-князь, такой, который, если бы хотел остаться в миру, был бы теперь фельдмаршалом.

Оказалось, что мир, заключенный в каменных стенах

монастырской ограды, был тот же мир людской в маленьком виде. И тут было неравенство, и тут подчинение начальству; а через несколько дней Абрам увидал, что тут была та же злоба людская, те же ссоры, те же дрязги, те же сплетни и подчас даже то̀, чего он не видал в доме бабушки, т. е. драки и пьянство. Юноша, приглядываясь к окружающему его люду, косился, покачивал головой, а Дмитриев смеялся и поговаривал нараспев:

— Эй да монахи!.. Эй да усердники Божии... А ведь превеселое здесь душеспасение...

Наконец Дмитриев шутя стал печаловаться.

— Помните, Абрам Петрович, сказывал я вам про мой фортель... Сказывал, что коли надоест вам быть в монастыре, то мы такое колено выкинем, что нас из монастыря выгонят. Ну, нет, родимый. Дело-то оказывается мудренее. В этом житии надо здоровенное колено отмочить, чтобы вон выгнали. Надо обокрасть самого архимандрита или перерезать кого... только этим отличишь себя так, чтобы погнали...

И Дмитриев с первых же дней начал вести самую дикую и безобразную жизнь в том смысле, что, имея все деньги Абрама на руках, он распоряжался ими как хотел и с первых же дней стал тратить на разные свои прихоти. Он аккуратно с утра до вечера потешался тем, что спаивал всех монахов, попадавшихся под руку. Он сидел у окошечка своей горницы и зазывал к себе то отца Евдокима, то отца Смарагда, то отца Никола и разных других отцов.

— Эй, отче!..— кликал он.— Вина хочешь?.. иди, что ли...— И вино лилось в келье от зари до зари.

Сначала Абрама забавляло его новое житье и даже его новое платье. Он шутя подбирал руками свою длиннополую рясу и делал па менуэта, который умел отлично танцевать.

— Точно барышня какая в юбке...— шутил он.

Антоний позволил с первого же дня молодому баричу не ходить на все службы, а только усердствовать по мере сил. И Абрам ходил только к обедне, да и то запаздывал. По вечерам часто приглашал его к себе настоятель, у которого бывали, почти каждый день, гости из Москвы. Послушник, богатый барин, был, конечно, не последняя спица на этих вечерах.

Антоний был человек очень хитрый, ловкий, а по характеру, привычкам и вкусам совершенно человек не подходящий к монастырской жизни.

Антоний, младший сын многочисленной, бедной дворянской семьи, литвин происхождением, Бог весть как попал в православные монахи. Его дед был католик, его отец — униат, потом православный из личных выгод. Отец его, умный, начитанный человек, чрезвычайно образованный по своему времени, готовил сына на духовное, но иное и чуждое России, поприще. Он хотел, чтобы юноша вернулся в веру предков и поступил за границей в иезуитский орден.

Неожиданная смерть его оставила юношу на полпути в нерешимости, что делать, что предпринять и куда деваться. По совету родственников он поступил в православные монахи, будучи по воспитанию совершенно приготовлен поступить в общество Иисуса. Судьба постепенно привела его к занятию места архимандрита одного из первых московских монастырей. И Антоний, двойник преосвященного Амвросия, был, может быть, именно вследствие этой причины его злейшим врагом.

Оба они были одинаково образованны, одинаково честолюбивы, одинаково лукавы и тонкие политики в обыденной жизни. Вдобавок, перед назначением Амвросия московским преосвященным Антоний метил на то же место. Теперь Антонию оставалась лишь одна надежда — пережить шестидесятисемилетнего старика и быть его преемником.

Он всячески ухаживал за преосвященным, помогал ему более других во всех работах, постоянно видался с ним. Уже второй год он работал с Амвросием за переводом псалтыря с еврейского языка, который знал, родившись среди жидовского края. Труд Амвросия, за который он мог ожидать себе большой награды от покровительствовавшей всем образованным людям императрицы, во многом зависел от Антония. Быть может, без архимандрита Донского Амвросий не решился бы взять на себя этот труд.

Антоний работал, но втайне его заедала злоба, что труд, над которым он проводит ночные часы, он почти тайком передаст Амвросию, а тот получит за него царскую награду. И, несмотря на осторожность Антония, всем было известно и самому Амвросию, что Антоний его злейший враг и завистник.

Все барыни московские, искренние обожательницы Амвросия, ненавидели Антония и поносили его всячески, обвиняли чуть не в грабеже. Наоборот, все почитательницы и обожательницы Антония иначе не называли

преосвященного, как туркой, людоедом, и рассказывали, даже писали на всю Россию, что Амвросий часто ездит в вновь учрежденный воспитательный дом не потому, чтобы он был почетным опекуном, а потому, что в этом учреждении у него есть несколько помещенных там его собственных детей. И клевета эта, при помощи болтовни праздных барынь, распространилась далеко, прошла даже в народ, и когда московская чернь встречала карету преосвященного в окрестностях воспитательного дома, то многие добродушные москвичи охали, качали головами или посылали ругательства вдогонку архиерейской карете.

Антоний давно, с самого приезда в Москву и поступления настоятелем Донского монастыря, знакомился и сближался осторожно, с выбором. Он выбирал себе полезных знакомых. Все его друзья были люди состоятельные, богатые, знатные.

Таким образом, молодой Ромоданов попал именно в тот монастырь, где его положение и состояние могли быть наиболее взяты в расчет.

С первых же дней и архимандрит — еще человек лет пятидесяти — и юноша барич поняли друг друга. Абрам понял, что ему житье в Донском монастыре не мудреное, что он может позволять себе все, что ему вздумается, быть может, даже больше, чем в доме родной бабушки. Антоний задался мыслью привязать к себе молодого богача, который мог с каждым днем сделаться полным хозяином огромного состояния. Тридцать или пятьдесят тысяч могли вдруг сделаться, со смертью бабушки, для Абрама пустою суммой, а для монастыря и Антония это было бы ступенью к той карьере, о которой он мечтал. Точно так же понял все, но относился прямее, грубее к делу умный Иван Дмитриев.

— Взыскал нас Господь Бог за наше сиротство...— говорил он ежедневно баричу.— Глядите, как мы здесь славно заживем... Деньги-то ваши у меня, потому знает старая привередница, ваша бабушка, что я ни алтына не украду, да и вы, наконец, мне препоручены. Ну, и глядите, что я с вашими деньгами здесь проделаю... Смотрите, не пройдет месяца, и я буду настоятелем монастырским, а Антоний у меня будет на побегушках... Что захотим, то и сделаем. Захотим колокольню крестом в землю врыть, а сенями и крылечком кверху поставить, ну, и сделаем...

Абрам смеялся, но не верил. И однажды Иван

Дмитриев, особенно веселый, шутя предложил Абраму доказать, что архимандрит у него в кармане.

— Что хочу, то и сделаю...— сказал он.— Хотите, он завтра после вечерни ко мне в горницу в гости придет?..

— Полно, Иван...— отозвался барич,— уж ты хвастать стал... Ты прежде эдак не привирал...

Дмитриев обиделся не на шутку, встал и объяснил Абраму, что коли завтра после вечерни не будет у него в мезонине чай пить сам настоятель, то провалиться ему сквозь землю.

К изумлению и Абрама, и отца Серапиона, и всего монастыря, Антоний, объяснив многим монахам, какой прекрасной души человек дядька молодого послушника, пошел доказать ему свою любовь и уважение тем, что принял от него угощение в его собственной лакейской горнице. И когда настоятель ушел, Дмитриев подставил палец под нос своего питомца и вымолвил, смеясь:

— Ну, что, взяли!.. Будете теперь говорить, что я хвастун?..

Но на просьбы Абрама объяснить колдовство дядька наотрез отказался и обещал объяснить все позже.

А дело было простое. Он накануне предложил сам отцу архимандриту небольшую сумму денег взаймы с отдачей на том свете угольками.

XVII

Несмотря на такого рода жизнь, Абрам, привыкший к обстановке дома бабушки и тем удовольствиям, которые были немыслимы в монастырской ограде, начал страшно скучать. Он сидел по целым дням у окна своей кельи и глядел на монастырскую стену, на соборные главы, на могилы и кресты, полузаваленные снегом, торчавшие вкруг паперти, и часто кончал тем, что закрывал лицо руками и плакал с тоски.

Дмитриев выпросил позволение настоятеля завести санки и лошадь, чтобы иногда молодой барин мог кататься, но и прогулки эти не могли развеселить избалованного барича. Дмитриев начал помышлять о том единственном средстве, которое могло сделать Абрама довольным своею жизнью. Средство это было, конечно, опасное. За то, что придумал Дмитриев, даже задолжавший ему архимандрит мог его прогнать из монастыря. Но Дмитриев именно этого и не мог бояться, так как, въехав в ворота монастыря, он шепнул молодому баричу:

— Бог милостив, не кручиньтесь,— может, нас отсюда через месяц и выгонят...

Дмитриев нанял маленький домик невдалеке от монастыря, и на вопрос Абрама о цели этого найма только рассмеялся и многозначительно подмигнул.

— Только вина больше выходить будет...— сказал он.— Надо будет нашего Серапионку накачивать до чертиков, чтобы молчал.

Впрочем, Дмитриев и без того ежедневно спаивал отца Серапиона, и крепкий грузин начинал уже заметно хворать за последнее время. Он даже спьяна отморозил себе обе ноги и лежал в постели.

Дмитриев ездил всякий день в Москву, будто для доклада барыне о житье-бытье внучка в монастыре, но, в сущности, совершенно с другим намерением.

И вот однажды, в одну из своих поездок в Москву, он вдруг встретил Улю и нашел более того, что мечтал найти. На счастье его, бедная девушка была без пристанища, была беглая холопка, которой надо было поневоле скрываться от полиции и поисков.

Дмитриев доставил Улю в домик, им нанятый, велел запираться, никуда не уходить и никого не впускать до тех пор, покуда не явится Абрам Петрович и не объяснит ей, как надобно себя вести и что предпринять.

В тот же день вечером Абрам и Уля встретились и провели вечер в маленьком домике. Уля снова не помнила себя от счастья, Абрам стал снова сразу прежним, веселым баричем.

Но избалованному юноше было мало того, чтобы девушка жила около монастырской ограды. Он придумал средство явно поместить Улю у себя, в келье. Его предложение так поразило Улю, что она долго не соглашалась, говоря, что предпочтет лучше уйти и снова скитаться по Москве.

Предложение Абрама состояло в том, чтобы Улю одеть в такую же рясу, как он, в его собственную и поместить ее в его келье в качестве юноши, племянника Ивана Дмитриева.

В первую минуту девушке показалось это настолько ужасным, позорным и даже греховным, что она отказалась наотрез, но через три дня она уступила ласкам и увещаниям любимого человека. И сразу жизнь в келье молодого послушника изменилась.

В домике, невдалеке от дома самого архимандрита, явился молодой красивый послушник, тихий, скромный,

боязливый, избегавший не только говорить, но даже и попадаться навстречу всем монахам монастыря.

Иван Дмитриев объяснил всем, что его племянник, Борька, по собственной охоте пошел в послушники потому, что еще с младенчества только и думал, что о Господе Боге и о молитве.

— Всегда такой был...— объяснял Иван Дмитриев про своего племянника.— Всегда от людей бегал да опустя глаза ходил. Уж коли ему, Борису, да не быть архимандритом да не угодить Господу, так кому же после этого...

XVIII

Освобожденный Павлой, Ивашка прежде всего постарался уйти как можно дальше из Замоскворечья и вообще из той части города, где он мог встретить Барабина, Кузьмича или кого-либо из знакомых суконщиков.

Среди ночи найти пристанище было, конечно, мудрено. Кроме кабаков, все было заперто, а идти ночевать среди пьяных Ивашка был не в состоянии. У него было всегда такое отвращение к кабакам и пьяным, что теперь он предпочел пробыть ночь на морозе.

Пройдя Каменный мост и повернув вдоль берега, мимо кремлевских ворот, он поравнялся с полуразвалившейся башней, из которой торчали довольно крупные ветви дерев, теперь оголенных, а летом покрывающихся густою зеленью. Ивашка и прежде часто проходил мимо этой башни. Он знал, что она едва держится на своем основании, грозя каждую минуту рухнуть и передавить прохожих. Тем не менее в ней часто играли ребятишки и часто забирались на отдых нищие.

Ивашке пришла мысль до утра пробыть в ней. Он чувствовал, что не может идти далеко и, во всяком случае, не может скитаться всю ночь.

Редко случалось ему приходить в такое бешенство, как в эту ночь. А эти припадки вспыльчивости, гнева, подъема духа и силы телесной всегда сказывались у него болезненным состоянием и слабостью всего тела.

Кроме этой минуты бешенства, борьбы с Барабиным и его людьми, было еще нечто другое, взволновавшее его до глубины души. Освобождение его красавицей барыней повлияло на него, быть может, еще более, нежели случай в их доме. Он понял, что для нее это был подвиг,

за который она должна будет отвечать, даже пострадать. Бог весть что сделает или что, быть может, сделал уже с ней Барабин, не найдя его в сарае.

Ивашка вошел в темную, сырую башню — нечто вроде грязного и холодного подвала, наполовину занесенного снегом, а наполовину засоренного от обсыпавшихся стен и камней. Только в одном углу какой-то запасливый, вероятно частый, посетитель наклал и оттоптал немного соломы. Ивашка обрадовался этой соломе больше, чем самому покойному тюфяку. Он опустился на нее в изнеможении, съежившись от холода и устали. Он был счастлив, что избавился от истязания, ожидавшего его наутро, и счастлив, что обязан этим дорогой ему Павле Мироновне.

Через несколько секунд Ивашка, глубоко вздохнув, заснул мертвым сном.

Среди ночи и среди глубокого сна ему показалось, что вдруг стало как-то особенно хорошо. Он видел во сне, что его кто-то поливал теплой водой. Затем все спуталось, но чувство наслаждения осталось. Когда наутро, при слабо мерцавшем свете, скользившем в этот подвал через полуразрушенную круглую дверь, он открыл глаза, то увидел на себе тулуп, а около себя какого-то незнакомого человека, спавшего крепким сном.

«Вот что пригрезилось-то мне! Тулупом покрыл меня. Что за диво! Пришел человек в тулупе, а тулуп другой с собой принес, меня укрыл... Чудно!»

И Ивашка, позевывая, не знал, что делать,— будить ли ему незнакомца и поблагодарить или уйти.

— Нет, уж лучше разбужу, спасибо скажу. Коли он мне тулуп дал, то, может быть, и научит доброму,— рассудил Ивашка и начал толкать и будить своего соседа.

Сосед, человек лет пятидесяти, не сразу пришел в себя и не скоро отзевался. Долго потягивался он, охал и Господа Бога призывал.

— Спасибо тебе. Вѐдь ты тулупом-то прикрыл? — начал Ивашка.

— Я прикрыл. Куда же мне его было девать? — отвечал незнакомец.— Нельзя же на себя два навертеть, а другого человека на холоду в одном кафтанишке оставить.

И оба ночные пришельца быстро познакомились.

Новый знакомый Ивашки оказался солдат в отставке.

Житье его в Москве было почти такое же, как и

Ивашкино. Потеряв должность, где прожил 17 лет спокойно, он теперь мыкался с места на место, нигде не уживаясь и даже отчасти по той же причине, что и Ивашка. Савелий Бяков ненавидел и любил все то же и так же, как и Ивашка.

Он с восторгом вспоминал свою военную жизнь, свои походы под командою фельдмаршала Салтыкова. Но если сам фельдмаршал пришел в состояние новорожденного младенца, то Бяков, гораздо его моложе, хорошо помнил, ясно видел перед собой все то, что забыл уже Салтыков.

Ивашка узнал, что Бяков был страстным охотником до храмов Божиих, до литургии, до всего касавшегося богослужения. За последние 17 лет он был при церкви на Варварке, где исправлял должность звонаря и откуда, по разным проискам и по злобе матушки-попадьи, прогнали его теперь и взяли другого. Бяков был глубоко обижен и, рассказывая Ивашке в подробностях, как его прогнала матушка, приходил в страшное негодование.

— Сказывает, видишь,— восклицал он среди полутьмы развалины,— что я стар, что у меня того трезвона быть не может, что у молодого парня! Нешто это возможное дело! Я семнадцать лет обучался трезвонить и перезванивать. Я иной раз к достойной так выводил, паренек, что прохожие по улице останавливались да похваливали. Ей-Богу! А этот пес и простого благовеста смыслить не может. Сначала раскачает, ударит звонко, через меру ударит, другой раз чуточку зацепит, а третий раз так вместе с языком башкой об колокол и свистнется. А то его самого подвернет язык, да и бросит. Звонить, братец, дело мудреное; вот то же, что петь.

И Бяков, начав рассказывать Ивашке подробно все хитрости звона, благовеста и трезвона, вдруг пришел в такое оживление, что, вскочив среди полумрака, стал махать руками и дрыгать ногами, изображая наглядно, как надо передергивать и переводить. Если бы в эту минуту кто-либо увидел Бякова, то, конечно, принял бы его за умалишенного.

Познакомившись и даже подружившись с солдатом, Ивашка обещался ему непременно наведаться к нему в кабак «Разгуляй» при первой возможности и там спросить о нем, чтобы снова повидаться и побеседовать.

— Ты, паренек, прямо самого Князева спроси, кабатчика. Он меня хорошо знает. Спроси, где, мол, здесь солдат Бяков. А то спроси просто — где, мол, мне найти

дядю Савелья. Я человек всем знаемый. Очень даже известный. Меня не мудрено найти... Да гляди... Вот я каков человек!

И Бяков, распахнув свой полушубок, показал Ивашке два креста и медаль на груди.

Новые знакомые наконец расстались.

Ивашка, надумавшись идти снова к своему старому барину Мартынычу, бодро направился в его квартал. Бяков дал ему на время полушубок, объяснив прямо, что он краденый. Благодаря этому Ивашка спасся, однако, быть может, от горячки, так как утро было особенно морозно.

Квартира подьячего Мартыныча оказалась пустой. Калитка была заколочена, и Ивашка в недоумении, печально остановился. Увидавшая его из соседнего домика женщина крикнула ему, что все семейство давно переехало, а куда — неизвестно.

Так как Ивашке некуда было деваться помимо Мартыныча, то он решился отправиться и разузнать, где может быть подьячий. Ему пришло на ум идти на Введенские горы в госпиталь и узнать о местопребывании подьячего от ласкового доктора, к которому когда-то Мартыныч его посылал. Через час ходьбы Ивашка входил уже в главные ворота госпиталя.

Но прежде, чем его впустить в самый госпиталь, двое солдат, которых называли «надзирателями», подробно расспросили его: кто он, откуда и зачем? Ивашка удивился.

— Это, паренек, теперь новое заведение — допрос чинить. А приди ты недельку тому назад, то тебя бы и вовсе не пустили. У нас был карантей, болел народ и помирал, и никого мы не впущали и не выпущали.

Узнав, что главного доктора в госпитале нет, что он отправился по делам в город, Ивашка остался его дожидаться. Через тех же надзирателей узнал он, что обожаемый ими барин, т. е. главный доктор госпиталя, Афанасий Иваныч, того и гляди, будет от них взят и назначат другого. Солдаты объяснили, что уж очень злобствуют на него многие, пообещали прогнать его со службы за то, что он хворость, проявившуюся у них в госпитале, обозвал чумой, народ напугал, а все вышли пустяки одни — гниючка.

— Прошибся наш Афанасий Иваныч, есть грех. Да что же?— рассказывали надзиратели.— И дохтур может в разных хворостях сбиться. Ведь если бы одна какая

хворость на свете была, ну, и знали бы ее. А ведь хворостей страсть сколько. Вот у нас в госпитале насмотришься. Тысячу хворостей на свете, и того больше. У кого палец болит, у кого голова, кого мороз пробирает, кого ломает, кого треплет. Есть такие, что лежат бревном и двинуть рукой не могут, а есть такие, что прыгают да скачут. Как же тут разобраться? Вестимо, ошибешься.

Через несколько времени главный доктор вернулся, и хотя ему доложили о поджидавшем его парне, но он угрюмо мотнул головой и прошел к себе в кабинет.

XIX

Положение доктора Шафонского было отчаянное. Он вызвал когда-то на борьбу весь синклит докторов-немцев, и теперь оказывались последствия неравной борьбы.

Хотя ему дозволили устроить карантин вокруг госпиталя, но когда возникшая в больнице болезнь, благодаря его неутомимому усердию и заботам, вскоре постепенно начала ослабевать и наконец совсем прекратилась, то весь сонм медиков-немцев завопил на всю Москву и всю Россию о непозволительном, даже противозаконном поступке русского доктора, объявившего полтора месяца тому назад, что у него в больницу занесена «моровая язва».

— Если бы была чума,— рассуждали немцы-медики,— то она бы не прошла так быстро. Все бы перемерли, все больные в госпитале, и сам доктор Шафонский отправился бы в числе прочих на тот свет. Какая же это чума, когда доктор, не отходивший, как известно, от сотни очередных больных, остался жив и невредим и даже не прихворнул.

— Сам знал, что не чуму лечит! А то небось не стал бы ухаживать, а удрал. Знал, что безопасен. Злоухищрение-то какое! Коварство какое!— вопили немцы-коллеги.

И теперь, когда болезнь в госпитале прекратилась, когда Шафонского заставили снять карантин прежде, чем он считал безопасным, он продолжал и словесно, и письменно, официально и частным образом отбиваться и отгрызаться от стаи нападавших на него со всех сторон коллег и сановников.

Доносы уже давно путешествовали на него. У Салты-

кова их было пять и в том числе многоречивое обвинение, составленное штадт-физикусом Риндером. Тот же усердный штадт-физикус, пещась о благополучии престола и отечества, отправил огромный и подробный донос в Петербург к генерал-прокурору, князю Вяземскому, для передачи самой императрице.

И русский доктор видел себя, за честное исполнение долга, оклеветанным, гонимым и на днях ожидал позорной отставки. Крикливая стая докторов, врагов его, действовала с такою уверенностью, с такою горячностью, почти с увлечением, что сам Шафонский начинал тайно, мысленно колебаться. Он уже спрашивал себя по нескольку раз в день, в минуты размышлений и даже ночью, иногда проснувшись от заботы.

— Неужели я ошибся! Неужели то была не чума!

И Шафонский, не боявшийся ухаживать за больными, убежденный, что они чумные, боялся теперь, как ребенок, позора и срама на всю Москву и на весь медицинский мир.

Салтыков потребовал наконец от доктора военного госпиталя письменное объяснение, почти оправдание. И Шафонский должен был разбивать по пунктам все обвинения, взводимые на него г. штадт-физикусом.

Теперь был февраль, а ему приходилось вспоминать мелкие подробности приезда Риндера в госпиталь в декабре и второй его осмотр с обер-полицеймейстером Бахметевым. В этот второй приезд Риндер, не найдя опасных чумных в госпитале, так как болезнь поддалась усилиям, объявил, что если нет таковых, то, стало быть, и не было прежде.

И Шафонский, оправдываясь перед фельдмаршалом, писал, между прочим:

«Что же им, господином Риндером, в мнении вашему сиятельству точно изъяснено, что-де по многим опытам известно, что в здешнем климате сама собою моровая язва родиться не может, и чтобы-де оная откуда была нанесена, то я и сам в том согласен; но что же он объявляет, что-де никаких из заразительных мест у оных надзирателей не было ни людей, ни вещей, то почему он в том уверяет, я не знаю: ибо ему сего узнать еще никак не можно было. А я, с моей стороны, смею донести, что как иные надзиратели с их женами живут на Введенских горах, в открытом поле, и как им выход и к ним разным людям вход всегда был свободен, то может статься, что до них что-нибудь заразительное и дошло, как то я ныне,

по некоторым исследованиям, действительно узнал. Притом же ныне я дошел, что один надзиратель, Медведев, из тех же двух покоев, в ноябре же месяце, будучи в торговой бане, поднял несколько медных денег, после чего скоро у него жена и двое детей, в короткое время, померли, и он сам с опасными знаками был болен, а ныне выздоравливает; и может статься, что и впредь, когда с оставшимися выздоравливающими надзирателями безопасное будет сообщение, еще и точнее причина заразы найдется.

Что ж господин Риндер из малого числа умерших, в рассуждении целой госпитали, жителей заключает оную болезнь неопасною, то я бы и сам на сие был согласен, ежели бы сие, показанное им умерших число, померло из разных госпитали покоев. Но как в двух покоях, где сначала болезнь началась, только жили 27 человек, с которых в короткое время 15 померло, а двое от той же болезни выздоровело, то и заключить должно об опасности болезни не по числу всех людей в госпитале, но по числу только в тех двух покоях живущих.

Что же господин Риндер, больного Аврамова черные два пятна в лядвеях, в рублевик величины, приписует одним пролежням, то как пролежни от долговременного лежанья происходят, а Аврамов только и всего трое суток был болен, и умер, то его знаки никак за пролежни почесть не можно; кроме же его, еще и другие больные имели такие же знаки вовсе не в таких местах, где бы пролежни могли быть, и так же скоро умирали. Хотя по мнению господина штадт-физика, правда, что некоторые признаки бывают во французской болезни, но оные обыкновенно приключаются без горячки, и без приключения других припадков не смертельные, да и те же больные, у коих были сии признаки, не таких лет, в которых бы они могли впасть в такую болезнь. Что те покои, где зачалась болезнь, как господин Риндер упоминает, были тесны, и в них нечистый воздух: то посему означенной заразы нечистому воздуху приписать не можно, понеже как те, так и прочие в других покоях надзиратели и прежде в тех же и столько же числом жили, и у них никакой прилипчивой не было болезни.

И хотя он, господин доктор Риндер, вашему сиятельству представлял, что-де он, свидетельствуя ныне в Введенских горах госпитале, никакой опасности не находит, то он, господин Риндер, для того свидетельства

при господине обер-полицеймейстере Бахметеве, приезжал в госпиталь уже в такое время, в которое с опасными знаками, по причине умертвия, очень мало было больных, а кои и были, то такие, у которых знаки почти залечены были: следовательно, не видя прямой болезни в ее самой жестокости и следствии, он и свидетельством верным в том удостоверить не может».

Но объяснения Шафонского не удовлетворили никого. Риндер, разумеется, стоял на своем и, будучи приятелем всей Москвы, прославил и моровую язву с Введенских гор, и лечение ее, и карантин одним лишь скоморошеством доктора Шафонского, которое без наказания оставлять не должно, так как смущать и пугать народ есть «сугубое преступление всероссийских государственных законов и великий ущерб интересу престола и монарха».

А Риндер, как все русские немцы, нежно любил точнейшее исполнение всероссийских государственных законов — другими... Сам же поступал он с ними, конечно, как европеец, без церемонии.

И вот теперь, когда карантин с госпиталя был уже снят и все надзиратели и солдаты здоровы, Шафонский был более озабочен, чем когда-либо.

Вернувшись, он долго просидел в кабинете и только вечером допустил к себе Ивашку и тотчас узнал его. Ивашка спросил о том, где живет Мартыныч, и рассказал, зачем ему подьячий нужен.

— Чего же тебе Мартыныча разыскивать,— сказал Шафонский задумчиво,— оставайся у нас. Поступай прислуживать в больницу. Дело свое делай, никто тебя не обидит. А бояться теперь у нас нечего. Слава Богу, перестали люди умирать. А то были всякий день мертвые.

— Да! это уж такое заведение в Москве!— вымолвил Ивашка.

— Как такое заведение?— невольно и полугрустно улыбнулся Шафонский.

— Да так-с, заведение, говорю, тут на Москве. Все народ мрет. Вот у нас на деревне, раз, два в зиму кто помрет, а тут мрут каждодневно...

— Да ведь у вас на деревне, голубчик, сто душ, а то и пятьдесят, а в Москве, поди, тысяч пятьдесят. Да и те также часто уж мрут.

— Да всякий-то день,— выговорил Ивашка.— Вот

у нас было, что ни день, то двое, трое захворали, да к ночи и померли.

— Что ты болтаешь!— выговорил Шафонский.— Где ты это видел?

— Как где видел! Помилуйте. А на Суконном дворе, у Каменного моста, купца Докучаева прозывается или Артамонова...

— Ну, так что же?

— Как что? Народ, говорю, мрет. Этак у нас на деревне никогда не помирали. Поутру захворали двое, трое, а к вечеру все покойники, да этак-то всякий день. А потому...

— Что-о-о!— протянул Шафонский каким-то особенным голосом, и все лицо его будто передернуло.

Он как бы окаменел, вдруг схватил Ивашку за обе руки, встряхнул его в порыве какого-то непонятного для Ивашки чувства и выговорил почти боязливым голосом:

— Ты врешь?.. Ты болтаешь?.. Ты правду говоришь?.. Говори скорее...

— Сущая все правда! Я не виноват-с!— струхнул Ивашка,— мрет народ всякий день. Утром захворал — вечером помер... Я тут ни при чем; прежде думалось, что это мой глаз такой... Но сказывают все...

Но Шафонский перебил парня и закидал его так быстро кучей вопросов, что Ивашка не знал, что отвечать. Убедившись по голосу добродушного и на вид разумного парня, что он не лжет, что на Суконном дворе действительно происходит что-то странное, во всяком случае, никогда не бывалое, Шафонский увел Ивашку к себе в кабинет и, продержав часа два, расспросил его подробно обо всем, что тот знал.

Все рассказал парень, все, что видел и слышал на Суконном дворе, и даже принимался несколько раз рассказывать подробно и о Павле Мироновне, и о своем малевании по стене, и о многом другом. Но Шафонский в эти минуты нетерпеливо перебивал малого, отчаянно махал на него руками и почти кричал:

— Не то!.. Не то... Какая Мироновна! Говори дело! Не то я спрашиваю.

Наконец, разузнав все, Шафонский отпустил Ивашку от себя и, хотя было поздно, велел снова заложить себе санки, чтобы, несмотря на дальнее расстояние, тотчас ехать на Суконный двор. С замиранием сердца подъезжал он к огромному зданию. От этой суконной, грязной фабрики зависело его личное спасение, его

средства к жизни, его имя доктора, наконец, просто — его честное имя.

Шафонский не был очень богомолен, но, подъезжая к главным воротам Суконного двора, тихонько, под шубой, перекрестился три раза. Что-то такое будто грызло его, будто впилось в самое сердце. А оно должно было непременно пощадить его, отпустить, если он найдет на этом дворе все, что слышал от Ивашки. Но вдруг Шафонский вскрикнул. Двор был заперт. В первую минуту он пришел в такое отчаяние, как если бы запертый двор долженствовал остаться запертым на веки вечные. Войти во двор было, конечно, возможно, но не иначе, как вызвав главного приказчика и объявив свое имя и звание. А этого именно Шафонскому и не хотелось. Он знал норов Москвы и обычаи сограждан. Он знал, что, нагрянув среди ночи и заставив себе отпереть ворота, он всех перепугает и ничего не узнает. Повернув домой, через час он был снова у себя в кабинете и, среди ночи, поздно, лег отдохнуть, но пролежал до утра, не смыкая глаз. Все мысли его, вся душа были там, на Суконном дворе!

XX

Наутро, рано, совсем не спавши ночь, Шафонский снова выехал из дому, но поехал к одному из своих приятелей, тоже медику, иностранного происхождения. Доктор Самойлович был не русский, а поляк или чех, во всяком случае, не немец и поэтому не соединял в себе ни недостатков немецких докторов, ни полного невежества русских докторов.

Самойлович был тоже человек образованный, путешествовавший, переводивший с иностранных языков медицинские сочинения и писавший сам по-немецки и по-латыни. Он один из немногих, будучи проездом в Москве, полюбопытствовал побывать в госпитале и повидать больных Шафонского. Он вполне согласился с главным доктором, что болезнь, им открытая,— чума. Он еще недавно был в армии и близко видел чуму и даже сам был легко болен.

И Самойлович был единственный человек по всей Москве, который был, по опыту, согласен вполне с мнением Шафонского. Насчет нового открытого казуса на Суконном дворе Самойлович оказался ловчее и предус-

мотрительнее Шафонского. Он тотчас посоветовал новому приятелю не являться официально на Суконный двор, ибо это значило ничего не узнать! Все скроют, все переврут, все кончики спрячут! И он посоветовал Шафонскому переодеться и, под видом какого-нибудь простого мещанина или подьячего, побывать на фабрике.

Мысль эта как нельзя более понравилась Шафонскому. Переодевшись тотчас же у Самойловича в простое платье, Шафонский пешком отправился на Суконный двор.

Заплатив тайком Кузьмичу рубль ассигнаций и под предлогом, что разыскивает беглого холопа, Шафонский обошел весь Суконный двор, расспросил обо всем, перевидав почти всех, и больных, и здоровых, и умерших за ночь — он узнал все!

Через час прохожие видели, как из главных ворот двора выбежал какой-то человек в длиннополом кафтане и, как мальчуган-озорник, побежал по улице.

— Ишь, козлом прыгает,— рассуждал какой-то старик.— Чего обрадовался?

А доктор Шафонский обрадовался и прыгал козлом от очень странной вещи, которая, кроме него, никого не могла обрадовать. Он пришел в восторг, в райское состояние оттого, что на Суконном дворе оказалась — она сама, настоящая, жесточайшая турецкая чума.

Разница между болезнью, которую он лечил у себя в госпитале, и этой — на Суконном дворе была лишь та, что если у него было лишь очень опасное чумное поветрие, уносившее третьего человека, то на Суконном дворе была характерная моровая язва, уносившая всякую жертву без исключения. Найдя мертвых и умирающих, Шафонский нашел даже и таких, которым мог предсказать, что они свалятся к вечеру и умрут наутро.

На другой день доктор Шафонский, в мундире, парике и при шпаге, был в числе других лиц, чиновников и сановников в приемной фельдмаршала Салтыкова. Лицо доктора было странно! Он будто приехал на именины или сам был именинник. Многие, знавшие положение судимого доктора, ожидающего всякий день, что он будет с позором прогнан из госпиталя и из службы, с изумлением глядели на веселые черты его радостного лица.

— Уж не помер ли Риндер?— догадался один из присутствующих, знавший хорошо взаимные отношения немецких и русских докторов в Москве.

Действительно, только смерть Риндера, первого его врага и в то же время штадт-физикуса, могла бы точно так же подействовать на Шафонского.

Наконец фельдмаршал снова, как всегда, почти всякий день вышел или, вернее, выполз, таща ноги по паркету, и за ним вплотную вышли его два адъютанта. Шафонский пропустил вперед двух, трех сановников, затем бодро и бойко подошел к младенцу фельдмаршалу и заявил, что считает долгом доложить о деле, не касающемся прямо до него, но слишком важном, чтобы умолчать о нем.

— На суконной фабрике, близ Каменного моста, свирепствует жестокая чума! — вот в чем заключался доклад пространный, вразумительный для старческого соображения генерал-губернатора.

На этот раз Салтыков приподнял брови как-то особенно, и лицо его стало мрачно, глазки запрыгали. Фельдмаршал обиделся.

Многие, окружавшие Салтыкова и Шафонского, закачали головами. Поведение доктора выходило из пределов возможного. Он, Шафонский, — медик, зря напугавший всю Москву тому назад полтора месяца, теперь снова лез к фельдмаршалу с своей затеей! Кто-то в задних рядах довольно громко и нетерпеливо сказал соседу:

— Так запереть! Чего же его пущают гулять? Запереть!

Шафонский обернулся на этот голос и выговорил гордо, но спокойно:

— Не меня надо запереть. Ее, голубушку, чуму, немедленно запереть следует карантином. И заставить молчать всех простодушных людей и всех бессовестных людей, которые хотят погубить весь город из своего глупого упрямства и невежества.

Между тем Салтыков, удивительно понятливый на этот раз, все уже понял и рассудил.

— Ну, батенька, — выговорил он, грозно меряя Шафонского с головы до ног. — Поезжайте домой! Сюда не сметь ни ногой! Не сметь! Носа не сметь казать! Придет от меня к вам ордер! Вы забыли. Я фельдмаршал!.. Главный начальник! Никому не позволю...

Но от гнева Салтыкову не хватило духа договорить. Он задохнулся, закашлялся и замахал рукой. Передохнув, он выговорил кратко:

— Пошел вон!

Шафонский, пунцовый от волнения, желая что-то сказать, приблизился на шаг к фельдмаршалу, но один из адъютантов счел уже долгом спасать развалину начальника от безумного.

Сразу, как по данному сигналу, гул и говор пошли по зале. Можно было только разобрать ясно три слова:

— Взять!.. Запереть!.. Прогнать!..

Шафонский обернулся и понял, в чем дело, понял, что все окружающие искренно и чистосердечно принимают его за сумасшедшего. Он вздохнул, едва заметно махнул рукой и, низко поклонясь начальнику, быстрыми шагами вышел вон.

Через полчаса вся Москва уже знала через разъехавшихся сановников и генералов, что доктор с Введенских гор окончательно сошел с ума, что к вечеру будет ордер фельдмаршала взять его и судить.

Шафонский вернулся домой, но, несмотря на скандал у фельдмаршала, был бодр и весел. Он, очевидно, верил в науку и опыт больше, чем господам сановникам первопрестольной. Он без страху ожидал вечером и наутро тот ордер, которым пригрозился генерал-губернатор, и знал, что этот ордер только упрочит его положение со временем и осрамит начальство.

Однако вечером, на другой день утром и даже вечером последующего дня ордера никакого не было, и Шафонский тщетно дожидался его.

Через неделю, измученный любопытством и ожиданием и не смея ослушаться приказа начальства, т. е. не смея выехать из дома, он послал человека за Самойловичем. Через несколько часов Шафонский узнал от него, что, неизвестно по чьему совету и настоянию, московский доктор Ягельский назначен освидетельствовать Суконный двор и сделать доклад фельдмаршалу.

Действительно, доктор Ягельский был отправлен на Суконный двор и подал в медицинскую контору донесение, что Суконный двор найден им не в благополучии. Доклад его был составлен, конечно, так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты.

Затем дело о Суконном дворе как-то затихло и будто провалилось в ту бездонную пропасть, которая именуется на Руси «красным сукном». Все, что проваливается под землю, может еще иногда снова явиться на свет Божий, но то, что проваливается или кладется на Руси

«под красное сукно», слишком боится света Божьего, чтобы снова появиться на нем.

О Суконном дворе, поездке и ревизии доктора Ягельского поговорили два дня и перестали, но ордер, долженствовавший стереть с лица земли умалишенного доктора Шафонского, все-таки не появлялся.

Наконец, спустя три дня, Шафонский, все-таки сидевший безвыездно у себя на Введенских горах, вдруг получил официальную бумагу из медицинской конторы, приглашавшую его явиться одиннадцатого марта на Суконный двор, в десять часов утра, чтобы участвовать, в числе прочих докторов, в освидетельствовании фабрики и фабричных.

Шафонский, прочтя эту бумагу, выронил ее на пол и опустился на близстоявшее кресло. Он закрыл лицо руками и долго просидел неподвижно... Он был оправдан!!

Наконец он будто очнулся и вымолвил громко:

— Да! Я прав! Я чист! Слава Богу!.. Но в Москве не слава Богу!.. Теперь надо опять воевать! Да не с пришельцами и проходимцами штадт-физикусами, а с ней самой!.. Да! Теперь с тобой надо бороться!— воскликнул Шафонский вдруг, подымаясь на кресле с гордой отвагой.

И глаза его загорелись. Он будто вдруг увидел пред собой знакомого врага. Увидел среди кучи рассеянных по столам и по полу книг и лекарств ту немую и страшную гостью-странницу, с которой уже боролся недавно, и победил, и прогнал!.. Но теперь она опять пришла, опять наступает! И еще страшнее, еще беспощаднее! Будто посмелела, будто сил набралась. Будто во всеоружии темных неведомых сил! Будто на последний, но верный победный бой!

— Потягаемся!— восторженно воскликнул умный и честный гражданин екатерининского века.— Потягаемся! За тебя все и всё!.. За тебя норовы и обычаи! За тебя начальство! За тебя невежество и робость людская! За тебя и сам фельдмаршал, и вельможи-правители, и глупый народ. За тебя и его грязь, и его кабаки, и его вера слепая и дикая не в науку, а в судьбу... Да, все за тебя! Добрый уголок на земле ты себе выбрала теперь и пришла. Мы народ хлебосольный, гостеприимный, простодушный. Даже и чуму примем в распростертые объятия!..

Шафонский был прав.

Даже и чуме в Россию — скатертью дорога! Милости просим! Пожалуй, не обидь! Ведь на все воля Божья! Ведь от своей судьбы не уйдешь! Ведь чему быть — тому не миновать!..

XXI

Доктор Ягельский, делавший, по приказанию начальства, осмотр Суконного двора, доставил в полицейскую канцелярию Бахметьева казенные сведения или те данные, которые заблагорассудили Барабин и Кузьмич ему доставить, т. е. рассказать и показать.

По приказанию Артамонова на Суконном дворе показали только двести тринадцать человек, умерших за все время от гниючки, в том числе тринадцать человек детей. По приказанию Риндера, не заглядывавшего на Суконный двор, но которому показалась эта цифра слишком велика, число было уменьшено в рапорте на сто тринадцать. Господину штадт-физикусу, конечно, очень хотелось, чтобы дело далее не пошло, но это оказалось невозможным.

С тех пор, что в военном госпитале появилась страшная болезнь, были уже в Москве хотя и очень немногие, но вполне верившие Шафонскому, а не Риндеру, и интересовавшиеся событием.

В числе лиц, которых наиболее занимал вопрос о новой болезни, был сенатор Еропкин. Чума в Москве показалась ему настолько любопытным и важным вопросом, что он решился, выдержав небольшой карантин, побывать на Введенских горах и лично видеть больных. Затем он взял несколько книг у Шафонского, прочел их и был окончательно обращен в веру Шафонского. Не будучи медиком, он ясно увидел, что эта болезнь настоящая чума и что на Суконном дворе в то самое время, когда на Введенских горах снимается карантин по приказанию начальства, уже процветает та же самая болезнь.

Еропкин занялся снова чумой. Он повидался с доктором Ягельским, переговорил с Риндером.

— Куда лезет не в свое дело! — гневно говорил про него Риндер.

Но делать было нечего; пришлось собирать медицинский совет свидетельствовать Суконный двор.

В назначенный день Шафонский явился в числе прочих докторов на осмотр. Болезнь за несколько дней приняла еще большие размеры. Доктор Ягельский делал

ревизию девятого марта, доктора собрались одиннадцатого утром, а в промежуток двух суток успело уже умереть десять человек.

После осмотра доктора отправились в медицинскую контору и там открыли заседание. Доктор Риндер, опять-таки лично не побывавший на Суконном дворе, красноречиво доказывал, что это очень прилипчивая гниючая болезнь, но, конечно, не моровая язва. Шафонский же снова доказывал горячо, что болезнь есть самый настоящий вид моровой язвы. Было решено составить такой доклад, который бы мог согласовать все мнения. Совет докторов сделал следующее осторожное заявление, под заглавием:

«Заключение московских докторов о появившейся на Суконном дворе опасной болезни.

Мы, нижеподписавшиеся, рассуждая поданный от доктора Ягельского в московскую полицеймейстерскую канцелярию рапорт и предложенный определенными для свидетельства в том рапорте объявленной болезни докторами осмотр, заключили: что сия болезнь есть гниючая, прилипчивая и заразительная и, по некоторым знакам и обстоятельствам, очень близко подходит к язве. Того ради должно употребить всякие предосторожности, а именно:

1. Вывесть как живущих там, так и принадлежащих к оной фабрике больных и здоровых за город, а двор оный запереть, не выбирая из оного ничего, и, раскрывши окны, оставить.

2. Отделить больных от здоровых и иметь надлежащее смотрение.

3. Исследовать, не заразились ли где вне оной фабрики, кои имели с ними сообщение, и ежели такие где сыщутся, то выслать их также за город.

4. Умирающих сею болезнию погребать за городом, на удобном месте, и вырывать могилы гораздо глубокие, а тела с их платьем закапывать.

Подписали доктора: Шкиадан, Эрасмус, Шафонский, Мертенс, Вениаминов, Зибелин и Ягельский».

Риндер, конечно, не подписался, а отправился тотчас словесно доложить все и объяснить Салтыкову. Он уверил фельдмаршала, что гниючка, от которой умирали на Суконном дворе, конечно, немножко похожа на простую язву, а не моровую, но что, как только все фабричные будут распущены, а Суконный двор заперт, то все прекратится.

Фельдмаршал, начинавший смущаться, совершенно успокоился.

— Вы говорите, простая язва, простая?— спросил он, поднимая брови на сидевшего перед ним Риндера.

— Точно так-с.

— А другая есть какая? Настоящая?

— Точно так-с. Другая есть настоящая. Моровая язва.

— Понял. Простая чума и настоящая чума.

— Даже и не чума-с,— возразил Риндер,— а простая язва, гниючка.

— А какая разница?— спросил Салтыков.

— Разница...— колебался Риндер,— как вам доложить... От простой язвы болеют и умирают, только не все, а от моровой язвы умирают все. Но вы не извольте тревожиться, даже от настоящей моровой язвы только простой народ мрет. А к примеру, дворяне и люди благовоспитанные не болеют и не умирают.

— А-а!— протянул Салтыков, видимо удовлетворенный,— это хорошо.

И, подумав немного, покосившись как-то на шляпу Риндера, которую тот держал в руках, Салтыков прибавил глубокомысленно:

— Это даже очень хорошо!..

Наступило молчание. Фельдмаршал, очевидно, размышлял. После размышления, в продолжение, по крайней мере, двух минут, фельдмаршал поднял глаза на Риндера и будто удивился, что видит его перед собой.

— Что?— выговорил он вдруг, как если бы случилось что-нибудь особенное.— Что вы говорите? О чем вы? Что вам?

— Насчет гниючки на Суконном дворе,— предупредительно и изгибаясь на своем кресле вымолвил Риндер.

— Да... Гниючка?.. Чума?.. Дворяне не болеют, не мрут! Очень хорошо. И даже очень хорошо... Так что я, фельдмаршал Салтыков, я не могу... ни-ни?!

— Помилуйте, ваше сиятельство!— даже рассмеялся Риндер, как если бы Салтыков заподозрил его в возможности сделать какое-нибудь невежество в его доме.

— Это очень хорошо!

И, повторив раз двадцать эти слова на все лады и громко, и как бы про себя, Салтыков отпустил от себя Риндера, обещав ордер о распущении фабричных и закрытии Суконного двора.

Покуда Риндер был у фельдмаршала, Шафонский

вместе с Самойловичем отправились к единственному из сановников, почти к единственному из всего начальства московского, который интересовался вопросом.

Шафонский с досадой и негодованием рассказал сенатору об осмотре двора, о совещании докторов и подличанье большинства пред господином штадт-физикусом.

— Что же вы порешили?

— Порешили мы большинством голосов три несообразные вещи. Первая, что болезнь не чума, а некоторое подобие ее. Во-вторых, порешили вывести всех фабричных из города, а в-третьих, разыскивать по городу, нет ли где больных, и тоже выводить за город.

— Ну что же, хорошее дело. Что же тут дурного? — заметил Еропкин.

— Да ведь наше решение, ваше превосходительство, дойдет, конечно, до сведения фабричных, и когда мы соберемся полицейскою мерою выводить их со двора, запирать двор, а их вести за город, то мы и половины не соберем. Они уже теперь разбегаются.

Самойлович подтвердил то же самое, что суконщики, не желая вовсе отправиться на жительство куда-то, за несколько верст от города, уже стали тайком покидать Суконный двор.

— Да, это нехорошо. Что же тут делать?

Шафонский стал убедительно просить сенатора вмешаться в дело, отправиться к Салтыкову и убедить его потребовать от докторов положительного названия болезни, а затем поспешить выводом фабричных за город.

Еропкин согласился, но затем, посоветовавшись с домашними, вернулся к докторам и объявил, что не поедет.

— Мои говорят, что нечего мешаться не в свое дело, как бы из Питера нахлобучки не получить. Меня ведь в Петрограде не жалуют. Выдумали, что я с Паниным да с Бибиковым в дружбе состою. Выдумали даже, что я с бригадиром «дюжинным» обнявшись сижу, от зари до зари, а я этого старого вертопраха к себе на порог не пускаю. А как я еще тут сунусь о чуме шуметь — сейчас и скажут — масон, да из сената-то и турнут. Нет уже, голубчики, вы лучше ступайте к царевичу Грузинскому. Он — обер-комендант, это его дело. А то — к Бахметьеву. Это прямое полицеймейстерское занятие. А мое дело в сенате присутствовать.

Оба доктора вышли от осторожного сенатора и разъехались в разные стороны.

Шафонский отправился к Грузинскому. Доктора не

сразу допустили к обер-коменданту, а когда он вошел, то застал у царевича Грузинского черномазого монаха. Кавказский монах, отец Серапион, часто бывал у царевича, исключительно ради того, чтобы поговорить с ним на родном языке и выпить бутылку родного привозного вина.

Шафонский застал и отца Серапиона, и обер-коменданта сладко-веселенькими, улыбающимися на всякое слово. Перед ними была уже одна пустая бутылка и другая, выпитая наполовину.

— Что скажете, помутитель общественного спокоя, буян?— ухмыляясь, спросил Грузинский.

Шафонский стал объяснять свое дело.

— Не хотите ли стаканчик моего божественного пития?— прервал его Грузинский.

Доктор отказался и начал горячее требовать от обер-коменданта принять меры против нелепого решения докторского совета.

Грузинский вздохнул и вымолвил сожалительно, глядя на доктора:

— Ах, батюшка! Молоды вы — не молоды, человек ученый, доктор, а такие, извините, глупства затеваете. Статочное ли дело, если б всякий чиновник начал бы рассуждать и всякий человек за ним, даже простой народ тоже бы стал рассуждать? Были бы Содом и Гоморра, во всем царстве настоящее вавилонское столпотворение. Вы будете рассуждать, и я тоже своими мыслями пораскину, да вот хоть бы тоже и отец Серапион выдумает что-нибудь...

— Да уж, конечно,— пьяно проговорил монах,— и я тоже выдумаю...

— Молчи, монашка, не рассуждай!— крикнул вдруг Грузинский и топнул ногой.

Серапион потупился, как красная девица.

— Ну, вот я и сказываю... Вина не хотите ли? Нет? Ну, не надо. Вот я и сказываю... Что, бишь, я сказываю?..

— Так вы не изволите принять никаких мер?— прервал Шафонский полупьяную речь обер-коменданта.

— Оставьте меня, голубчик, в покое. Прикажут что — исполним по-военному. Прикажут суконщиков тащить за город — потащим. Прикажут ловить — переловим. Прикажут повесить — перевешаем. Прикажут вас в холодную — тоже с нашим удовольствием. Что прикажут, то и сделаем!

И обер-комендант, ударяя в такт своим словам пустым стаканом по столу, при последнем слове так стукнул, что стакан разлетелся вдребезги на монаха.

Отец Серапион даже вздрогнул и, обтерев одну руку о свою длинную, немного замасленную рясу, выговорил сладко и ласково:

— Порезать могли.

— Молчи, монашка! Пошел, тащи третью...

Серапион весело и быстро, но уж не на твердых ногах, пошел за вином.

Шафонский встал.

— Куда же вы, голубчик? Аль испужались, что я вас в холодную собираюсь? Не пужайтесь, не прикажут — не трону. А прикажут, то не только вас, а в усердии еще кого-нибудь захвачу по дороге.

Шафонский, сдерживая гнев, простился с Грузинским, сел в сани, велел было кучеру ехать на Пречистенку, к полицеймейстеру Бахметьеву, но с полдороги повернул в другую сторону и снова отправился к Еропкину.

«Тот еще меньше сделает,— подумал доктор,— уж лучше сенатора уломать. Он разумный человек, честный, усердный, и коли примется за дело, то что-нибудь да будет».

И Шафонский, снова явившись в доме Еропкина, в продолжение часа горячо уговаривал его домашних и его самого не оставлять пагубного дела без внимания. Он убедил наконец сенатора поехать к фельдмаршалу и уговорить его, по крайней мере, на то, чтобы он потребовал от докторов обстоятельного разъяснения болезни.

— Поймите, ваше превосходительство,— говорил он,— ведь толковали мы на нашем совете докторском, что болезнь есть настоящая моровая язва, а в бумаге прописали, что она есть подобие язвы. Ведь этим мы услуживаем господину Риндеру и, стало быть, обманываем власти и государыню.

Еропкин наконец решился и обещал на другое же утро отправиться к фельдмаршалу. Вечером и за ночь Еропкин, продумав о чуме, освоился с мыслью действовать. Поутру, проснувшись, он почувствовал себя гораздо бодрее, веселее и, умываясь, решил даже, что он, в качестве сенатора, обязан помочь делу важному и опасному, что его долг — дряхлого правителя научить уму-разуму.

XXII

Подъезжая уже к подъезду фельдмаршала, Еропкин, добродушно ухмыляясь, вымолвил себе под нос:

— Надо пугнуть старого, что и сам помереть может. Лучше дело будет.

Долго в это утро Еропкин провозился с фельдмаршалом. На беду его, Салтыков оказался на этот раз совершенно непонятливым. Когда же старик понял наполовину, в чем дело, то вымолвил убедительно:

— Как же, как же... Гниючка, простая язва...

— То-то не простая, граф, а настоящая турецкая моровая язва. Коли пойдет морить, то все мы перемрем от нее: и вы, и я, и весь город.

— Нет. Совсем нет,— отрезал Салтыков, поднимая брови.— Дворяне не мрут...

— Все мрут!— уж горячо отозвался Еропкин.

— Нет, дворяне не мрут,— как затверженную фразу повторял Салтыков.— Риндер говорит: «Простой народ мрет, а дворянин не мрет».

— И все он врет!— горячо выговорил Еропкин и испортил все дело своим словом.

Салтыков был поражен созвучием двух слов и забыл о деле.

— Народ мрет! Все врет!..— проговорил он, улыбаясь.— Ишь, как отлично!.. И даже очень хорошо...

«Экая чучела!— подумал про себя Еропкин.— Старость-то что делает! Ну, как это поверить, что ты победы великие одерживал, Фридриха бил на всех германских полях?! А тут пальцами вертишь в воздухе да забавляешься тем, что «мрет» похоже на «врет».

Еропкин закачал головой и, как бывало с ним часто в его рассеянности, прибавил вслух:

— Удивительное это дело!

— Да,— отозвался Салтыков,— и впрямь удивительное!

Еропкин пришел в себя и смутился, не сказал ли он вслух что-нибудь лишнее.

Однако сенатор добился все-таки от фельдмаршала, чтобы тот потребовал у докторов назвать прямо, какая болезнь найдена ими на Суконном дворе. Еропкин посоветовал спросить у медицинской конторы, каким образом будет она лечить болезнь, когда она сама не знает, какая болезнь и как ее назвать.

Через несколько дней Салтыков получил следующий рапорт докторов:

«Решительное докторов мнение о моровой язве.

Сего 1771 года, марта 26-го дня, государственной медицинской коллегии в конторе Медицинский совет, получа словесное повеление от Его Сиятельства господина генерал-фельдмаршала графа Петра Семеныча Салтыкова, назвать точным именем оказавшуюся на большом Суконном дворе болезнь, положил: что оный, в данных сего марта 11-го и 23-го чисел мнениях, ничего к прекращению оной не опустил, кроме общенародного имени; а как ныне оное от совета точно требуется, то инако оной не называет, как моровою язвою.

Подписали доктора: Эрасмус, Фон-Аш, Мертенс, Шафонский, Вениаминов, Ягельский и Зибелин».

Фельдмаршал, получив бумагу и прочитав ее, почему-то был вдруг поражен так, как если бы в первый раз узнал о том происшествии, которое уже отчасти начинало волновать весь город. Он тотчас разослал верховых к Еропкину, Грузинскому, Бахметьеву, Шафонскому, Риндеру и даже к преосвященному Амвросию.

— Ты сам, Фединька, слетай к владыке,— сказал он любимцу адъютанту.— Скажи: «Беда!»

Через два часа все съехались у фельдмаршала.

— Моровая язва!..— встречал фельдмаршал всякого, выпуча глаза и высоко подняв мохнатые брови.— Слышали? Моровая язва?!

И фельдмаршал вглядывался в лицо каждого, как будто искал на нем себе утешения, будто надеялся, что слышавший начнет ему доказывать, что это известие ложное, и станет его успокаивать.

Но из всех, слышавших слова фельдмаршала, один Риндер как-то съежился, сделал жалостливую гримасу, и лицо его говорило: «Если вашему сиятельству непременно угодно так прозвать болезнь,— так пускай! Наше дело подчиняться и ежиться».

Съехавшиеся к фельдмаршалу решили единогласно, во-первых, самую важную меру: дать знать немедленно о появлении моровой язвы в Петербург. Затем было решено немедленно запереть Суконный двор и вывести фабричных за город.

— Выведи!..— грозно произнес Салтыков Бахметьеву.

— Слушаю-с!

— А ты смотри, царевич, чтобы назад не приходили! — обратился фельдмаршал к Грузинскому.

— Слушаю-с!

— А вы, преосвященный владыка, прикажите, чтобы беспременно во храмах Богу молились... Все Бог...

Амвросий вежливо отвечал что-то фельдмаршалу, не вполне внятное.

— А вам в сенате, — обратился Салтыков к Еропкину, — тоже бы надо...

— Что прикажете? — отозвался Еропкин.

— Да как же, тоже бы надо... Ведь моровая, ведь язва... Надо беспременно...

— Да что прикажете, граф?

— А все! Действуйте!.. Важнейшее событие, всем надо действовать...

— Да мы можем только в сенате обсудить, какие в этом случае...

— Ну, да, да... Обсудить... Обсудить!.. Ведь моровая. Да, ты, доктор, — вдруг вспомнил Салтыков, обращаясь к Риндеру, — ты, голубчик, сказывал — дворянин не мрет. А вот сенатор заладил, что мрет...

— На все воля Божья, — снова съежился Риндер.

— Как воля Божья?! — вдруг заорал из всех стариковских сил Салтыков. — Как воля Божья?! А!!

— Воля Божья..., — прошептал Риндер, оробев.

— Стало быть, и дворянин мрет! — воскликнул Салтыков, как может воскликнуть утопающий, увидя, что последняя соломинка, за которую он держался, рвется теперь у него в руке. Риндер совсем как бы свернулся в какой-то подобострастный клубочек и молчал, низко опустив повинную голову.

— Вот и поздравляю! — протянул Салтыков и развел руками. — Вот и поздравляю!.. — снова проговорил он, обращаясь к Амвросию.

И фельдмаршал, совсем потерявшись, простоял несколько секунд, растопыря руки, потом пробормотал что-то такое себе под нос, но очень грустным голосом и опять смолк.

Гости стали прощаться. Салтыков как бы бессознательно перецеловался со всеми, поцеловал даже Шафонского и только после троекратного поцелуя сообразил, что делает унизительную для себя вещь, и, как-то печально махнув рукой, выговорил:

— Ну, все равно... Не пристанет...

Когда гости уехали и фельдмаршал остался глаз на глаз с своим любимцем адъютантом, то вдруг выговорил:

— Фединька, что ж тут делать?

— Чего изволите?

— Спрашиваю я, голубчик: что ж тут делать, коли и дворянин-то мрет?

— Ничего-с. Я полагаю, это все пустобрешество. Ведь дохтуры говорят... А их учат врать нарочито.

— Как учат?'

— Так-с. Мне тетенька это намедни пояснила. Дохтуров всех обучают полосканья мешать, мертвых резать и врать. Коли какой не смышлен и не обучится здорово врать, ему и лечить не позволяют.

— Это враки, Фединька. А ты вот скажи, что мне с чумой-то делать?

— Прикажите Бахметьеву ее словить да в острог...

— Что? Что-о? Хворость словить, якобы буяну бабу...

— Я, Петр Семеныч, простите, больше поверю тетеньке, чем проходимцу дохтуру... А тетенька сказывает: чума по Москве ходит... вот как есть барыня.

— Что-о?

— Тетенька сама ее видела,— воодушевился Фединька.— Салоп у нее атласный желтый... Шапка вроде поповой — с наушниками... Один глаз с морготой. И прихрамывает на левую ногу.

— Это кто же, тоись, прихрамывает?.. Твоя тетенька?..— не понял Салтыков.

— Нет-с. Чума, чума! Тетенька сказывает...

— Твоя тетенька — дурафья! Вот что!..— рассердился вдруг фельдмаршал.— Вот кабы тебя обучили смолоду читать и писать грамоту российскую, ты не болтал бы пустяковины.

Адъютант жалостливо замялся, слегка смущаясь.

Успокоившись, Салтыков выговорил ласковее:

— Фединька? А Фединька?

— Чего изволите?

— Если дворянин тоже мрет... Мы с тобой уедем ко мне в Марфино... Туда не придет небось! А?..

И Салтыков, хитро подмигнув адъютанту, закусил губу беззубой десной.

XXIII

У Барабина в доме стало тише, чем когда-либо; можно было подумать, что муж и жена, примирясь, живут душа в душу.

Когда Барабин, вернувшись домой, узнал, что жена освободила запертого Ивашку, он был так поражен этим поступком, что с тех пор ходил как потерянный. Он не знал, что думать, и терялся в догадках. Разум не дозволял ему подозревать жену, и, в сущности, он не верил, чтобы могло быть что-нибудь между женой и деревенским парнем, бежавшим с фабрики. Но он понял только, что прежняя жизнь истомила Павлу, что она была несчастлива и воспользовалась теперь первым предлогом показать свою волю. Это именно и испугало Барабина. Он считал срамным и позорным проявление личной воли жены в доме, в семейных отношениях, даже в хозяйстве.

— Баба — рожай и молчи! — говаривал он всегда, еще до женитьбы.

Теперь Барабину стыдно было даже людей, знавших о том, что он запер провинившегося парня, а хозяйка освободила его. Барабин уходил с утра из дому, будто по делам, но окончательно бросил заниматься Суконным двором и почти не заглядывал в него. Изредка, зайдя, он рассеянно выслушивал доклад Кузьмича, равнодушно узнавал, что народ все продолжает заболевать и умирать, и, пробыв с полчаса, уходил и скитался по Москве.

Более всего сидел он у своего старинного приятеля, купца Караваева. Человек этот был не под пару даже Барабину. Он был просто изверг и имел уж на душе два крупных преступления. Его советы другу сводились к одному.

— Убить того парня или убить жену и жениться на другой. Народ баит — грех. Мало что болтают...

— Убить, — восклицал Барабин, — не мудреное дело. Да что толку? Ведь я люблю ее и мне без нее жить нельзя.

И Караваев принимался доказывать другу, что он срамится, что он не может любить жены, способной на такие поступки.

Павла, с своей стороны, была тоже в возбужденном состоянии духа. Она видела, что новые отношения с мужем близятся к пагубной развязке, и она просто начинала бояться его. Иногда из боязни она даже раскаивалась в своем поступке.

«Что за важность,— думала она по временам,— если бы он наказал парня, ей совершенно чуждого».

Если и было в ней в продолжение двух-трех дней какое-то странное чувство к этому добролицему парню, то оно давно исчезло после случая ночью в их доме. Павла, в сущности, сознавалась перед собой, что на этот раз она кругом виновата, что не следовало ей пускать к себе Ивашку, слушать его песни и сказки. А затем, во всяком случае, следовало повиниться во всем и выпросить прощение, умолить мужа выпустить парня, а не делать этого самой.

Через несколько дней после той дикой, невероятной ночи Павла отправилась к отцу и на этот раз не выдержала, подробно передала все случившееся у них в доме.

Только один Митя, еще прежде отца узнавший все, оказался за нее и находил поступок ее совершенно законным и добрым.

Отец же осудил дочь, нашел ее вполне виноватой перед мужем.

— Я с тобой, дочка,— сказал Артамонов,— никогда не беседовал о твоем житье-бытье, потому что ты сама молчала. Мне твоя семья будто в наказание Божеское послана. Одна дочь, единственная, да и та с хозяином горе мыкает. Сам я виноват во всем, каюсь, да поздно. Не надо было мне тебя за него отдавать. Знал я всегда, что Титка человек дельный, смышленый, но дурашный, самодур. Да и ты виновата теперь против него, чего было скрытничать? Хотелось тебе сказки слушать, спросилась бы у мужа да и пускала бы этого дурака к себе днем. А нешто можно ночью к себе водить? Всякий, окромя Тита, невесть что подумает. А я бы, застань у моей жены ночью этакого лясника, сказочника? Как перед Богом, тут бы его и пошабашил. Так бы его всего, вместе со всеми сказками, в мякину и угладил бы.

И после минутного размышления Артамонов спросил:

— Зачем ты не спросилась?

— Он бы не дозволил, родитель. Тоже бы приревновал.

— К проходимцу, что ты!

— Да ведь он, родитель, ко всем ревнует, ему все равно, что за человек. Месяца три назад запретил мне в наш приход ходить, заставил в другой церкви бывать. К нашему священнику стал ревновать.

— К отцу Семиону?!— изумился Артамонов.— Да

ведь он, пожалуй, мне ровесник Да и духовное лицо... Иерей?!

— Да-с! — невольно улыбнулась Павла. — Все-таки приревновал.

— Тьфу, прости Господи... — плюнул Артамонов. — Уж именно, бес какой-то в нем сидит.

Помолчав, снова Артамонов вымолвил:

— Ну, что же? Мне вас, что ли, мирить теперь?

— Нет, зачем! — быстро отозвалась Павла и как-то странно тряхнула головой, точно упрямый ребенок.

— Так что же тут делать?

— Пускай так остается! — глухо выговорила Павла. — Что же, эдак не хуже. Лучше в молчанку играть и, почитай, не видаться по целым дням, чем все разговаривать об одном и том же. Лучше молчанка, чем ревность да ревность, да всякие выдумки, да всякие укоры, да обиды.

И в словах Павлы было столько горечи, столько накипевшей злобы, что Артамонов пристально поглядел в лицо дочери и озабоченно задумался.

Он будто теперь только понял, что дело зашло далеко. Сначала он отнесся было легко к ссоре мужа с женой, считая все пустой размолвкой на несколько дней. Теперь же, по голосу и лицу дочери, он узнал, почуял, что в ее отношениях сердечных к мужу произошел чуть не полный переворот.

— Что же ты будешь делать? — выговорил старик беспокойно.

— Что? Не знаю. Что я могу сделать?..

Артамонов и его дочь были так похожи друг на друга, что между ними не могло быть ничего скрытого или недосказанного. Они видели друг друга насквозь, угадывали малейшее движение души. Поэтому всегда бывало мудрено отцу с дочерью говорить о чем-либо не вполне искренно.

Теперь старик тотчас понял, что дочь скрывает от него свои мысли и намерения.

— Зачем скрытничаешь, дочка? Я тебя не звал на допрос или на суд. Сама пришла, сама начала беседу. А теперь отлыниваешь.

Павла вместо ответа опустила голову на руки.

— Говоришь, мириться не хочешь; прощения просить не хочешь, так его, что ли, заставить прощения просить? Ведь это будет уж негоже, ведь он тебе муж. Это будет срамное дело, и мне мудрено его на это на-

травливать: поди, мол, прощения у жены проси. Он меня на смех подымет.

— Ничего я не хочу! — выговорила Павла. — Пускай так будет, хоть до скончания веку. А будет невтерпеж...

Павла запнулась.

— Ну, что же? Топиться, скажешь. Пустое, дочка. Утопиться невзначай — нет дела проще, а топиться нарочито? Ай как мудрено!.. Я, Павлинька, топился раз в Яузе...

Голос старика настолько изменился при этих словах, что Павла невольно подняла голову и взглянула в лицо отца.

— Да, дочка, топился. Это было давно, вас никого на свете не было. Я про это не любил сказывать, и даже родительница твоя покойная никогда этого не знала. Теперь вот к слову пришлось... Вот пришлось тебя остерегать... Ну, и сказал.

— От матушки?! — с изумлением выговорила Павла. — С горя?

— Тьфу... Что ты! Христос с тобой... — встрепенулся старик. — Что ты сказала!

И старик, подняв руку, чуть не перекрестил дочь.

— Нешто можно такое брехать. Мы разве с покойницей так жили, как вы с Титкой? Нет, дочка, я топился еще до женитьбы и из глупости людской. Нажил я кое-какие деньжонки, еще когда был приказчиком у тестя, да отдал их на два месяца другу-приятелю на дело торговое. А друг-приятель-то и был таков, удрал куда-то за Астрахань. А я — сгоряча-то и топиться! Ну, а плавал-то хорошо смолоду. Вот тут и пошла канитель. Я говорю себе — топись, Мирошка! А другой будто-с во мне кричит: врешь, страшно. Нырну я в воду и сижу там на дне, авось, думаю, задохнусь. А как духу-то не хватит — и вынырну. Подожду, мол, капельку, отдохну и опять нырну. И эдак-то я час с целый бултыхался в воде. Народ сошелся смотреть, весь берег уставили, похваливают: затейник какой выискался, турмана изображает в воде. И ни у кого нет в мыслях, что я такое делаю...

— Ну, и что же? — вымолвила Павла, с любопытством слушая отца.

— Что?.. Покуражился, а там вышел на берег, оделся, да и пошел домой. Дома и спрашивает меня старичок один, которому я сказался наперед: «Ну, что, говорит, топился?» — «Топился», — говорю. «Что же, не утоп?» — «Мудрено, — говорю. — В другой раз попро-

бую».— «Ну, нет, брат, в другой раз не попробуешь. Это дело один раз делается, а не два».— И Артамонов рассмеялся.— Вот так-то и ты, Павлинька, пробовать, может быть, и будешь, только ничего из того не выйдет. Ты ведь плаваешь?

— Плаваю.

— Ну, и нельзя. Кабы ты не плавала да угодила бы с Каменного моста посередь реки, то другое дело, тут и пошла бы топором ко дну. А коли плавать умеешь, никак невозможно.

И старик начал снова смеяться, добродушно глядя на дочь.

— Вишь, до каких пустяков доболтались, вместо того чтобы толково рассудить. Ну, что же скажешь? Ты что будешь делать?

— Коли эдак пойдет, батюшка, то я к вам приду...— нерешительно вымолвила Павла.

— Побеседовать?

— Нет, уж совсем позвольте.

— Не моги...— строго выговорил Артамонов.— Я беглую женку, вдовую от живого мужа, держать в доме не стану. Нет, ты меня не срами. Утопишься — сраму нет, горе одно, а сбежишь со двора — один сором. Нет, дочка, ты эти мысли брось. У меня в доме не притон какой для беглых.

Павла подняла голову и, широко раскрыв свои огневые глаза, смотрела в лицо отца с ужасом и трепетом. Она тайно только и надеялась на то, что сейчас сказала отцу. За последние дни она даже мечтала о том, как уйдет из дома мужа, пожертвует даже ребенком, если муж не даст его взять с собой. Павла мечтала, как она снова заживет у отца на прежний девичий лад, с братом Митей. А тут вдруг по одному слову отца все рухнуло.

— Пустое все. Перестань кручиниться и разные глупства выдумывать. Ступай-ка домой и проси прощения у Титки. Не лежит к нему сердце, ну, притворись; что же делать. Да я сам за ним пошлю завтра.

И Павла, простившись с отцом, грустная пошла домой.

На другой день Артамонов действительно вызвал к себе зятя. Долго говорил с ним старик, тоже покривил душой, ласково принял Барабина, которого, в сущности, не любил и вполне обвинял в горемычном житье дочери. Умный старик сумел, однако, вполне уговорить Бараби-

на, объяснил ему его глупое поведение, его глупую, ни на чем не основанную ревность.

Барабин, с своей стороны, говорил о жене и своем сердце, над которым потерял всякую власть, с таким юношеским жаром, о своей любви к жене с таким чувством, что старик был даже тронут. И в первый раз со дня свадьбы дочери он заговорил с Барабиным искренно, сердечно, в первый раз назвал его зятюшкой.

— Вот что,— решил старик,— дай, попробуем, я впутаюсь в ваши дела. Как вы повздорите, так ко мне, я судить буду. Может быть, лучше пойдет.

— Во мне бес сидит, Мирон Дмитрич, ничего тут не поделаете. И сам я знаю, что безумствую.

— Ну, вот я твоего беса и буду из тебя изгонять, коли не молитвами, так ругней. И палкой бы стал выгонять его из тебя, так ты же не дашься!— усмехнулся старик.

— Эх, родимый!— вдруг выговорил горько Барабин,— кабы знал я, что этого беса палкой выгонишь, то дался бы я на каждодневное истязание. Кабы знал я, что Павла николи мне не изменяла, всегда верной женой была и будет да всегда любила и любит, так я бы себя за это не только что под кнут, а не распятие отдал.

Барабин проговорил это с таким отчаянием, такое глубокое горе звучало в его словах, в его голосе, что Артамонов невольно задумался.

— Вот и правда сказывается — человек сам себе враг и на всякие-то разные лады. Уж подлинно бес в тебе застрял. В церковь, что ли, тебе чаще ходить, Богу молиться. Хоть я не охотник до поповщины, а тут бы хоть на духу почаще бывать, что ли? Ничего другого не придумаешь. Ну, а на этот раз уж ты для меня услужи. Придет Павла к тебе за прощением, помирись и забудь все.

— Зачем!— воскликнул Барабин под влиянием нового чувства.— Я сам сейчас побегу к ней, хоть в ножки поклонюсь, сам прощения просить буду. Что любит она сказки — эк преступление какое... Да я завтра дюжину сказочников по Москве соберу и всех сгоню во двор, заставлю петь, плясать и всякие скоморошества вывертывать. И впрямь, ведь ей тоска одной день-деньской сидеть. Я, дурень, выдумал, что ей, окромя моей глупой рожи, ничего не надо. А она молода, ей хочется тоже и посмеяться. Я, дурень, всему причиной!..

И Барабин снова заступался с тою же горячностью за свою жену, как несколько минут назад говорил против

нее. Он быстро вышел из дома тестя и почти побежал к дому.

Артамонов махнул рукой, вздохнул и пробурчал:

— Мотыга, не человек. Мотается во все стороны. То люблю, то убью. Семь пятниц на одной неделе и ни одной среды, вот что это. Да, мудрено с таким тебе, Павлинька. Ты вся в меня, тебе надо жить вот как, начистоту; знать, что завтра будет, знать вперед все мысли, каждое слово своего сожителя. А с этим вертись во все стороны: куда ветер подул — туда и он, вот что петух жестяной на башне. Да, мудреное дело; чем это кончится, и сказать нельзя.

Барабин между тем побежал к себе домой, бросился в горницу жены и, растворив дверь настежь, шагнул к ней с таким видом, что поневоле произошло роковое недоразумение, которое врезалось болью в сердце Барабина.

Он наступил к жене молча, задыхаясь от избытка чувства, хотел страстно обнять ее, броситься перед ней на колена и умолять о прощении. Павла, ничего не знавшая, увидя мужа, появившегося вихрем у нее в горнице, с поднятыми руками, дико вскрикнула. Она отскочила от него в ужасе, судорожно перекрестившись, схватила себя за голову и бросилась под образа.

— Помогите! — невольно вскрикнула она, ожидая своей последней минуты.

Барабин остановился как истукан и почти задохнулся. Он бросился к жене, поднял ее с пола, усадил на кресло и стал страстно, как сумасшедший, целовать ее руки и платье.

Но Павла осталась на этот раз холодна как лед. Ее испуг прошел и сменился каким-то другим чувством. Если это не было полное, ясное, невольное отвращение к этому человеку, то, во всяком случае, чувство близкое к тому.

XXIV

На Суконном дворе был переполох, работы остановились, главный управитель, Барабин, почти не являлся, неизвестно почему. Двое Артамоновых — Пимен и Силантий, приходили аккуратно, как всегда, но в качестве простых приказчиков, не вмешивались ни во что. Про владельца фабрики, грозу рабочих, Мирона Митрича,

говорили потихоньку, что и за него принялось начальство и как бы он не угодил в Сибирь.

Сначала, когда явился на Суконном дворе доктор Ягельский и осматривал и здоровых, и больных, и умерших, фабричные посмеивались и подшучивали. Самим суконщикам казалось дело самым простым.

— Хворают и умирают люди, экая диковина! Всегда так было. Прежде умирали реже и на разные лады, а теперь чаще все на один лад, вот и вся разница.

Когда Ягельский явился на ревизию фабрики, то не только Кузьмич и Барабин были убеждены, что начальство в лице медицинской конторы хочет сорвать взятку, но даже Артамонов был в этом уверен и передал Барабину сто рублей заткнуть глотку доктору. К удивлению Барабина, ревизор от денег отказался и даже объяснил ему, что на фабрике очень неблагополучно и как бы им всем не досталось от начальства.

Вскоре после этого, когда состоялся на Суконном дворе съезд главных докторов и подробный осмотр как двора, так и суконщиков, рабочие перестали шутить и смеяться; пошли толки, смятение и общий перепуг.

Кто говорил, что всех распустят по городу, кто уверял, что всех выведут за Москву и пустят на все четыре стороны; кто объяснял, что Суконный двор уничтожится, владелец и управитель пойдут в Сибирь, а суконщиков всех разошлют в разные места на поселение.

— Да за что же?— вопрошали некоторые.

— Как за что!— отвечали самые умные,— нешто можно эдак!— народ мрет, а работа все идет.

Те же самые, которые за неделю назад находили, что умирающие на Суконном дворе всякий день — дело самое обыкновенное, теперь и думали, и громко говорили, что дело это самое необыкновенное и даже беззаконное.

— Вот Титу-то нашему ноздри вырвут да клейма в лоб поставят, и поделом. Нешто это дело возможное.

Наконец появился слух, который подтвердил сам Барабин, явившись на фабрику, что всех рабочих, отделив больных от здоровых, выведут с фабрики. Больных — в Угрешский монастырь, верст за сорок от Москвы, а здоровых запрут до осени на двух фабриках купцов Ситникова и Балашова, в Мещанской и на Таганке.

Заявление Барабина было принято со вниманием. На

Суконном дворе считалось тысяча семьсот семьдесят человек рабочих. В тот же вечер, когда заперли двор, не оказалось трехсот человек.

— Кузьки-то нету?— говорили двое суконщиков в одном углу.

— Эй, ребята, а где Семен с Иваном?— толковали в другом углу.

— А где Макар?

— А где Дудочка?

— Братцы, и Глазок пропал.

— Эй, ребята,— говорилось в другом здании,— что народу-то не хватает. Ведь, должно, разбежались.

— И то, разбежались. А что, братцы, и нам бы, право...

— То-то и нам. Ей-Богу! Чего сидишь, досидишься до беды.

— А вот что, ребята, давай завтра, как встанем, со двора-то дралу, ей-Богу!

— Микита, а Микита, у твоей кумы-то дом большой?— спрашивали одного.

— Большущий, братцы, что твой Головинский дворец. Две горницы, страсть какие... В одной трем курицам тесно, а в другой ни встать, ни сесть,— шутил Микита.— Да вы про что это? К ней, что ли? Так мы у ней на дворе жить можем; теперь теплынь скоро будет, вишь, снег тает.

И все, расспрашивавшие о Макарах и Иванах, на другой день, как только отперли главные ворота, сами, незаметно для Кузьмича, исчезли с Суконного двора. К вечеру на фабрике была тишина и недоумение самых недогадливых — не убежавших.

Когда на третий день начальство собралось наконец явиться на Суконный двор и заперли главные ворота, то, отделив совершенно здоровых от больных и от видимо хворавших, на Суконном дворе насчитали из тысячи семисот семидесяти человек менее семисот. Более тысячи разбежались.

— Да где же они? Ты чего глядел? Под суд хочешь? В Сибирь прогуляться желаешь?— кричало начальство и на Кузьмича, и даже на самого Барабина.

Барабин, бывший за все это время особенно злобен, вследствие домашних бурь, отвечал дерзко, что суконщики не крепостные, что и крепостной люд разбегается от господ, а фабричный народ — люди вольница!

— Вы чего же собор-то собирали,— злобно отвечал

Барабин,— коли порешили народ забрать да запереть, так делали бы дело скорей или молчали. Пустили в народ всякие слухи, а сами не ехали. Так вот они вас и будут сидеть дожидаться!

К вечеру того же дня Суконный двор для всех соседей изображал нечто особенно мрачное, даже страшное на вид. Ворота были наглухо заперты и заколочены досками, но окна все растворены настежь, несмотря еще на холод. А внутри большого двора не было ни души людской, и только завывала голосисто и дико одна оставленная на цепи собака. Кузьмич забыл о ней, суконщикам было не до нее, а начальство насчет бедного пса никакого точного ордера не имело.

Соседи охали и ахали от пронзительного, ужасного воя среди двора, продолжавшегося трое суток. Но войти во двор, пустой и безлюдный, где было похоронено среди дров столько покойников, конечно, никто не решился. В околотке шла уже молва, что все без покаяния и без честного погребения умершие и зарытые среди мусора фабрики ходят по ночам. И только через четыре дня вой прекратился — бедный пес околел с голоду.

XXV

Спустя неделю в доме Артамонова было тоже неспокойно. Ворота были растворены, старик выезжал из дому по два и по три раза, был угрюм и озабочен.

У старика в первый раз в жизни вдруг началась путаница и в торговых делах, и в семейных.

Старший сын, Силантий, тихий, кроткий, очень глупый, уже два дня хворал и лежал в своей комнате.

— Чего валяется? — раза два спросил старик у второго сына.— Поди скажи, чтобы шел ко мне сейчас. Нечего нежиться, а то палкой подыму.

Силантий, по приказу отца, встал. Придя к отцу, он едва держался на ногах, бледный, с сверкающими глазами, и тут же у отца, не устояв, он сел на пол в изнеможении. Артамонов знал, что сын капли вина в рот не берет и, конечно, не пьян. Второй сын Пимен увел брата опять, и Артамонов, зная, что сын продолжает валяться, уже не спрашивал о нем.

Наконец, после закрытия фабрики и приостановленья работ, однажды, около полудня, к старику пришла

Павла, бледная, дрожащая, и не только лицо, даже голос ее изменился.

— Что ты?— встретил ее Артамонов.

— Он меня ударил...— отозвалась Павла странным, шипящим шепотом.

Артамонов поглядел на дочь, закусил губу, отвел глаза в сторону и молчал несколько мгновений.

— За что? — выговорил он наконец.

— Я хотела ночевать у сынишки... в горнице.

— А нешто он хворает? — встрепенулся Артамонов, любивший внучка.

Павла молчала.

— Чего же молчишь? Хворает, что ли, мальчуган?

— Нет, слава Богу...

— Так чего же ты?..— начал было старик и, изумленно поглядев в лицо дочери, встретил ее глаза, полные гнева и злобы.

— Я не хотела с ним... Я хотела уйти спать с сыном!..— глухо произнесла Павла.

Они поняли друг друга. Артамонов опустил голову, и наступило долгое молчание. Но вдруг старик испугался мысли, которая пришла ему в голову, что дочь попрежнему попросит позволения остаться у него в доме, не возвращаться к себе. И старик выговорил быстро:

— Дойди ты к энтому миндалю, Силантию, погляди, что он там валяется. Коли хвор, так шел бы в баню, а коли балуется, так я и впрямь его палкой подыму. Поди-ка, погляди.

Павла, знавшая хорошо своего отца, все-таки не поняла ничего. Ее собственное горе было так велико, ее положение было так затруднительно, что она не знала, что будет делать. Она убежала из дому, где остался ребенок в полной власти Барабина, и хотела теперь упросить отца не только оставить ее у себя, но вытребовать малютку. А тут отец, будто ничего не поняв, посылает наведаться к больному сыну.

Павла простояла несколько мгновений в нерешительности и хотела уже заговорить, но Артамонов резко, почти грубо, как никогда не относился к дочери, проговорил:

— Чего стоишь? Гово́рю, иди к брату.

Павла, изумленно поглядев в лицо отца, тихо вышла от него.

Едва она скрылась за дверью, Артамонов встал, вышел в другую дверь, докликался людей и велел по-

слать к себе скорей младшего сына Митю. Мальчик тотчас явился и быстро, озабоченно подошел к отцу.

— Митрий,— выговорил старик строго,— слушай в оба. Сестра тут. Там, дома, с энтим повздорила. Коли будет говорить с тобой, проситься ночевать, так смотри, до меня этого дела не доводи. Я ей у меня в дому укрываться не дозволю. У тебя своя горница есть, ну, в ней и распоряжайся; делайте как знаете, а до меня не доводи. Понял, что ли?

Но на этот раз мальчуган не понял отца.

— Зачем ей проситься ночевать? Для брата, что ли, Силантия? Так мы там с Пименом возимся.

— А ты не рассуждай, глупый. Будет сестра проситься остаться, ну и оставь у себя в горнице, да чтобы я этого не знал, а ей про то не сказывай. А прибежит Барабин, чтобы все сказывали ему про Павлу — не знаем, мол, не видали. Теперь понял?

— Понял...— выговорил Митя.— А коли пристанет, будет буянить, можно его, тятя, палкой?

— Это ты, что ли, палкой-то собираешься? Так он тебя пополам перешибет.

— Я мал, не могу, а есть у меня на дворе трое парней, с Суконного, попросились ночевать. Я их спустить могу на чудодея. Можно, что ли?

— Нет, обожди, Митрий. Отдуть его всегда можно, прежде дело надо разобрать. Теперь надо только его с рук сбыть да Павлу уберечь от него. Ну, а что энтот миндаль?

— Потерялся в мыслях, болтает, ничего не поймешь.

— Во как? Что же это у него?

— А кто его знает? Я, тятя, что думаю... Только вот ты обругаешь, а то бы сказал.

— Ну, говори.

— Говори... А ругаться будешь?

— Ну, обругаю, эка важность!

— Да не важность, а зачем зря ругаться. А вот я скажу, а ты зря не ругайся.

— Тьфу ты... Полно торговаться,— нетерпеливо выговорил Артамонов.— Ты тоже, Митрий, много воли забрал. Говори, в чем дело, что ты выдумал?

— А вот что,— рассердился Митя,— Силантий, должно, хворает на такой же лад, как и все на дворе хворали, а там, сказывают, была чума. Понял ты?

— Эх, дура, право дура,— рассердился Артамонов.— Вот кабы ты поменьше с своими братьями сидел, то не

спятил бы, право. Чума! Передрал бы я всех и докторов, и начальство, да и хворых-то вместе с ними отбарабанил бы. Все бы у меня выздоровели.

Артамонов нетерпеливо встал с своего кресла, зашагал по комнате и задумался.

Митя стоял около большого кресла отца, спинка которого была выше его головы. Он оперся на ручку кресла и молчал, видимо, глубоко задумавшись о чем-то, что тревожило его. Артамонов, шагая взад и вперед по горнице, снова заговорил, браня московское начальство, медицинскую контору, Барабина, Кузьмича и всех суконщиков.

— Да, ты толкуй,— вдруг выговорил Митя, не поднимая глаз на отца.— Все вы вот так.

— Как! — закричал на всю горницу старик, наступая на сына. И смешно было видеть со стороны, как рослый, громадный, сильный старик с криком наступал на маленького, худого мальчугана и как мальчуган этот, подняв голову, чуть не закинув ее назад, встретил холодно и спокойно, недетским взглядом сердитый взгляд отца.

— Как! — повторил Митя тихо и мерно, будто не обращая внимания на волнение и гнев отца.— Зачал народ болеть о Рождество, переболело, перемерло народу на фабрике — не перечтешь. О ком ни спросишь старого Кузьмича, сказывает — нету, помер. И Алешка помер, и Демьян помер, и двое братьев Гавриловых, и Никанор, и Сидорка безухий, что в чехарду приходили играть... все померли!..

— Ты чего же это языком чешешь? — вдруг проговорил Артамонов.— Сказку, что ли, мне рассказываешь?

— Сказка... Хорошо, кабы сказка, а то, тятя, быль. Ну, вот три месяца народ мер, дошло дело до начальства, разогнали по городу народ. Что ни дом в Москве — суконщик, на десяток один хворый, а хворость-то от одного к другому пристает. Что же из этого должно теперь быть? — поднял Митя глаза на отца.

— А коли все это враки? — прогремел голос Артамонова, так что люди в сенях услыхали его.

— А коли все не враки...— едва слышно, покойно проговорил Митя.

— Я тебя...— начал Артамонов, подступая еще на шаг и подымая руку на сына.

Митя на этот раз удивленно взглянул в лицо отца.

— Что ты, тятя! Ведь вот, стало быть, я правду

сказываю, коли ты так осерчал. Стало, ты сам понимаешь? Вот теперь у нас трое с Суконного двора. Один из них жалится, поди, к вечеру захворает. Силантий, поди, чрез день, два... Чего смотришь? Известно, через день, два помрет. А они у нас в дому, а хворость страсть от одного к другому лезет. Ну, что же из того будет? Ты вот старый человек, а я махонький. Я вот так скажу: вся Москва перемрет... И будет это... из-за нашего двора Суконного!..

Митя замолчал. Артамонов прошел два раза по горнице, вдруг остановился, махнул рукой и выговорил:

— Уходи ты. Ну тебя совсем.

Митя пошел к дверям.

— Постой, Митрий,— остановил старик,— я тебе вот что скажу. От своей судьбы не уйдешь. Коли все, что ты сказываешь,— правда и быть беде великой по всей Москве, то быть тогда тебе в дому моем набольшим. Сам тебе скажу тогда, что у тебя больше разума, чем у меня, стало быть, ты и начальствуй во всех делах. А коли ничего не будет да все ты врал, так же врал, как и подлецы дохтуры завсегда врут, ну, Митрий, тогда смотри! Будет у меня в доме три миндаля и всех трех гнать учну, и третьего миндаленка пуще всех.

Артамонов говорил полушутя, полусерьезно, но Митя не шутливым, а немного грустным голосом отвечал, тряхнув головой:

— Нету, тятя, уж трех-то миндалей никак в дому не будет. Из трех один не выживет, а я, как ты сказываешь, буду поставлен набольшим. Потому что все, про что я тебе сказывал,— все то будет. Вот помяни мое слово!

— Кто тебе это сказал? — снова нетерпеливо крикнул Артамонов.

— Моя башка, тятя, сказала. Ей только я и верю.

— А моей не веришь?

— Твоей...— как бы колеблясь, проговорил мальчуган.

— Ну да, моей...— снова гневно кричал старик.

И Митя махнул рукой, как бы говоря: «Опять сердишься!» И, не отвечая, он вышел вон.

Артамонов остановился среди горницы, передумывая и как бы взвешивая значение всего, что говорил сейчас здесь четырнадцатилетний мальчуган. Старик, вспоминая слова любимого сына, невольно раза два улыбнулся самодовольно. Он видел, что этот сынишка с каждым днем становится разумней; не только умнее, дально-

виднее, толковее его самого. И Артамонов смутно готов был желать, чтобы слова сынишки оправдались, хотя бы ради того только, чтобы поклониться ему потом и всех заставить поклониться.

«Вот, мол, гляди, один на всю Москву все предвидел! Вот голова-то. Кланяйтесь, люди! Что из этакого мальчугана будет?»

XXVI

Спустя два дня в сумерки, когда Артамонов сидел у себя в горнице, вдруг громко хлопнула дверь и вошел Митя с изменившимся лицом.

— Тятя, тятя! — закричал он, задыхаясь.

Артамонов, взглянув на сынишку, слегка оробел, но через мгновение, прежде чем сын заговорил, старик уж был спокоен и устыдился своей робости, которой никогда не знавал в жизни. Он сердито спросил сына:

— Что там? чего прибежал?

— Тятя, солдат верховой от генерал-губернатора во дворе.

— Зачем? — проговорил Артамонов, и брови его как-то вздрогнули и стали сдвигаться на широком и высоком лбу, образуя две большие, глубокие морщины.

Уж давно, много лет, эти две морщины на лбу старика действовали на сотни людей Суконного двора пуще, чем самые сильные удары и раскаты грома и молнии.

— Зачем? — выговорил еле слышно старик.

Митя повел плечами, как бы не решаясь сказать то, что было у него на языке.

— За мной? — проговорил старик.

Митя сделал то же движение.

— Сказал ли он, что за мной приехал?

— Сказал,— проговорил тихо Митя.

Наступило гробовое молчание. Старик опустил голову. Большая седая борода уперлась в грудь и оттопырилась концом вперед.

Митя пытливо и испуганно глядел на старика отца. Он не столько испугался приезда верхового солдата от фельдмаршала, сколько испугался теперь лица своего отца. Мальчуган надеялся, что отец примет известие иначе. Он бежал сюда и робел от того, как примет отец известие. Но через несколько мгновений голова Артамо-

нова начала подниматься, он что-то обдумывал. Брови раздвинулись, две черты на лбу сгладились, он взглянул на мальчугана, увидел на лице его страшный испуг, и лицо старика вдруг прояснилось. А затем, через мгновение, громкий, но слегка поддельный, неискренний смех раздался в горнице.

— Что же, Дмитрий, в Сибирь, что ли, нас сошлют? И я-то тоже... Эх, стар я становлюсь! Пуганая ворона куста боится, а я ведь не ворона, да и не народился еще тот человек, который бы меня напугал. Вишь, страсть какая. За мной?..— рассуждал старик, как бы сам с собой.— Зачем им меня? Допрос чинить о том, что люди мерли? Что ж? Я их камешком, что ли, зашибал, как воробьев? А коли и впрямь чума? Что же, я ее выдумал али словил на границе да в Суконный двор пустил, якобы волка в овчарню? На, мол, бегай!.. Кусай!..

— Так что же, сойдешь, что ли, тятя, скажешь ему? — спросил мальчик.

— Что я ему скажу? Нечего мне ему говорить. А он-то что говорит?

— Говорит, за тобой прислан, чтобы быть тебе тотчас у фельдмаршала.

— Ну, и скажи, приеду.

Мальчик вышел, но через несколько минут явился снова и сказал, что солдат дожидается, чтобы проводить отца до фельдмаршала.

Артамонов в первый раз изменился в лице, быстро вышел из горницы, сошел вниз по лестнице и, увидя верхового солдата, выговорил гневно:

— За мной приехал?

— За вами. Приказано вас сейчас доставить.

— В кармане, что ли? Али в сумке? Пошел и доложи, что сейчас буду за тобой.

— Да мне приказано...

— Ну! — Старик так крикнул на всю улицу, чуть не на весь квартал, что солдат хлестнул по лошади и выехал со двора.

Артамонов молча вернулся к себе в горницу и, покуда закладывали лошадей, озабоченно начал шагать из угла в угол. Но вдруг он остановился среди большой залы и крикнул будто самому Салтыкову:

— Нет, врешь, закуплю, разорюсь, по миру пойду... Был босоногий и опять буду босоног, сидел без хлеба и опять посижу... Врешь, на то вы и на свете, чтобы мы вас покупали. Митрий! — крикнул старик на весь дом.

Мальчуган был уж за отцом в дверях и держал новый длинный, синий сюртук и новый картуз.

— Брось!..— крикнул старик.— Я не в гости, не к обедне. В старом к нему поеду. Да и этот нов...

И старик, будто стыдясь и злясь на себя за то, что чувствует смутно робость, дрожащими руками расстегнул свой большой сюртук и, судорожно дернув, оторвал одну пуговицу. Пуговица, как бы потешаясь над ним, запрыгала по гладкому полу, будто живая. Старик сбросил сюртук на пол и крикнул:

— Старый давай! самый старый! С кучера Филатки принеси мне сюртук!

Но в эту минуту мальчуган взял старика за руку и произнес:

— Полно, тятя, полно, нешто ты в чем виноват? Ты слушай! Титка Барабин, поганый, за то, что Павла у нас, сбегал, донес Салтыкову, что хоронили на дворе по твоему приказу.

— Кто сказал? — выговорил Артамонов тише, глядя в лицо сынишки.

— Я говорю, тятя.

— Что ж ты — гадалка, что ли?

— Ты слушай, тятя. Ступай прямо в канцелярию да на бумаге донеси, что Титка хоронил без твоего ведома умерших, как собак, да поставь заднее число. Понял ты? Да вот на, бери с собой, надевай кафтан-то.

И Митя из всех сил поднял длинный кафтан на воздух, чтобы отец мог его надеть.

— Не хочу в новом...— заартачился старик, как ребенок.

— Полно возиться, словно махонький,— укоризненно вымолвил Митя.— Время теряешь. Дело не в новом, а в нем деньги. Уж я достал из сундука и положил для канцелярии. Чего смотришь? Говорят тебе, поезжай и бумагу задним числом подавай. Тут в кармане тысяча рублев положена. Ну, надевай скорей, да с Богом!

Старик оделся, молча расцеловался с сынишкой, сел в санки, и в ту минуту, когда кучер уж трогал лошадей, Артамонов задержал его и выговорил, глядя на сынишку, который провожал его на крыльцо:

— Ну, Митрий, коли я тебя когда опять миндалем обзову, так ты, голубчик, прямо — хлысть меня в рожу!

— Ну, ну, ступай уж... С Богом! — махнул рукой Митя.

XXVII

Вскоре Артамонов был уже в канцелярии генерал-губернатора, где ему случалось бывать раза два в год. Он был знаком лично со всеми чиновниками и даже в хороших отношениях с самыми влиятельными.

Не иметь приятелей между начальством для торгового человека всегда считалось на Руси не только глупостью, но большой дерзостью и никогда даром с рук не сходило.

Во времена правления Салтыкова чиновники, его окружавшие, и большие, и маленькие, были сами большие и маленькие генерал-губернаторы.

Поэтому Артамонов, как и многие ему подобные, был лично знаком с этим народом, изредка видался, а в Рождество и Светлое Воскресение звал их к себе в гости, угощал. Выпив романеи или донского, они выходили в кабинет — с хозяином пошептаться глаз на глаз. После этого краткого свидания хозяин выходил не очень весел, но как-то спокойнее и бодрее на вид, а чиновник гораздо любезнее и веселее.

Когда Артамонов вошел теперь в приемную, то нашел в ней до пятнадцати разных просителей, и молодых, и старых; между ними были и барыни, и простые бабы. Почти все лавки и стулья были заняты. Какая-то старушка, особенно ласково и жалостливо обращавшаяся ко всем, как бы думая, что только горе и несчастье может привести всякого в эту комнату, слезливо рассказывала всякому уже в десятый раз про свое горе и всякого расспрашивала о его деле. Увидя вновь вошедшего высокого, важного на вид купца, старушка и про него подумала:

«Вишь, сердешный. Тоже приволокли. Зачем? Голубчик ты мой!»

И она подвинулась, потеснилась, чтобы дать место Артамонову.

Старик сурово оглядел приемную, сел около старухи, положил картуз на колена, и улыбка полудосады, полупрезрения мелькнула у него на лице.

«Толкись тут, поджидай, покуда пустят, кланяйся на старости лет!» — как бы говорил он сам себе.

— Что, родимый, волокита и тебе, что ль, какая? Я чай, засудили? — обратилась к нему старуха.— Вот и у меня так-то был малый смирный, и вдруг это близ его украли... Вот меня и таскают теперь по чужому греху.

Но Артамонов даже не поглядел на старуху и внимательно смотрел в растворенную дверь следующей комнаты, где шла веселая болтовня и сновали разные фигуры.

— Веселый народ,— сказал кто-то из просителей.

— Чего им, псам, тосковать! — вдруг, как гром, упали в эту комнату слова Артамонова.

Просители перетрухнули не на живот, а на смерть. Старуху так и откинуло от Артамонова. Один из пожилых просителей, какой-то капитан в засаленном мундире, как-то задохнулся от этих слов старика, огляделся кругом и со страху подтянул свои ноги и спрятал их под лавку.

В ту же минуту вышел чиновник, старик с большими очками на носу, оглядел приемную и, увидя фигуру Артамонова, растопырил руки и пошел к нему навстречу, скосив голову набок.

— Мирон Дмитрич! Помилуйте! Что же вы это? Пожалуйте, пожалуйте!.. Как не стыдно-с!

— Ничего, посидим,— угрюмо отозвался Артамонов, вставая.

— Что вы, помилуйте! Пожалуйте, пожалуйте!

Чиновник увел Артамонова к себе, проведя через три комнаты, наполненные писцами, усадил, предложил понюхать табаку и на отказ старика прибавил:

— Виноват, забыл, вы этим не занимаетесь. А забыл, собственно, из-за долгой разлуки. Зачем пожаловали?

Артамонов объяснил, что вызван фельдмаршалом, вероятно, вследствие происшествия на Суконном дворе. Чиновник закачал головой:

— Знаем-с... Знаем-с... Пренеприятное происшествие, очень неприятное. Надо подумать, как тут извернуться.

— Да некогда думать-то. Уж вы сейчас подумайте да скажите; мне надо наверх идти, на допрос.

— Уж, право, не знаю, Мирон Дмитрич, что ж тут сделаешь? Кабы знать, зачем его сиятельство требует, а то неизвестно. Подставить всякую штучку всегда можно, да надо знать, в чем тут дело. Он, может быть, вас вытребовал на пожертвование какой-нибудь суммы в пользу сирот, а вы сумлеваетесь насчет хворости на дворе у вас.

Артамонов объяснил чиновнику то, что говорил ему Митя о доносе насчет зарывавшихся на дворе умерших от чумы.

— Посиди маленечко, сейчас узнаю,— мигнул ему чиновник.

И, сбегав быстро, почти слетав в другую горницу, он вернулся назад и выговорил шепотом, садясь уже около старика:

— Верно-с. Маленький доносик был, но, полагать надо, не от Барабина, от другого кого, да это все равно. Мы бумажку напишем, вы подпишетесь, и я на себя возьму. Скажу, подана была четвертого дня, да я виноват, позабыл.

Чиновник стал писать быстро, скрипя пером по шероховатой бумаге, а Артамонов думал о своем сынишке:

«Митрий-то, Митрий мой! Ему бы самому в генерал-губернаторы... Как мыслями-то раскидывает мальчуган!»

Через несколько минут бумага была готова. Артамонов поставил под ней три креста, затем слазил в боковой карман, достал оттуда пачку сереньких бумажек, перевязанных тесемочкой, и, положив их около чернильницы, выговорил только:

— А вот-с, позабыл совсем. Должок!

— Не извольте беспокоиться,— смущаясь, якобы красная девушка, выговорил чиновник.

И затем, будто боясь какого-нибудь неожиданного и неприятного возражения со стороны Артамонова, он прибавил:

— Так вот-с, все прекрасно-с. Теперь можете объясняться с ним-то. Прикажете, я вас проведу по нашей лестнице прямо в приемную?

Но Артамонов отказался, вышел снова из канцелярии и отправился на главный подъезд.

В приемной фельдмаршала, вследствие неурочного часа, не было никого. Молоденький адъютант доложил о нем, и старика позвали в кабинет начальника края.

В кабинете, обитом желтой штофной материей, в больших креслах сидел фельдмаршал, а около него, на диване,— архимандрит Антоний. Артамонов остановился на пороге и поклонился.

— Что тебе? — выговорил Салтыков, поднимая брови.— Кто таков? зачем?

— Изволили присылать за мной верхового.

— Я присылал?

— Точно так-с.

— Может быть. А как звать?

— Артамонов Мирон.

— А-а-а! — протянул громко и гневно фельдмаршал.— Артамонов! убийца... Душегуб... Разбойник. Сам Соловей-Разбойник. Я тебя в каторгу!

Артамонов молчал. На лице его не было испуга, заметно было только нетерпение.

— Вот они что делают,— обратился Салтыков к Антонию.— Люди мрут, а они их зарывают в дровах, без исповеди и причастия...

— Я тут ни при чем, ваше сиятельство. Позвольте обстоятельно доложить все дело!

— Докладывай!

Артамонов рассказал в коротких словах, что на дворе действительно похоронили человек пять-шесть умерших в беспамятстве, но что это было сделано без его ведома и что виновные в этом были им строго наказаны. Обстоятельное же об этом донесение было подано в канцелярию, на имя фельдмаршала.

— Не так, не так! Не то совсем выходит...— замахал Салтыков.

Артамонов сослался на одного из главных чиновников канцелярии, прося вызвать его и узнать все дело.

— Хорошо, вызовем. Growing Фединька, позови-ка Ивана Егорыча. Скажи, вот эту бороду судить шел бы.

Адъютант быстро вышел, а Салтыков, заметя движение Артамонова выйти, вскрикнул:

— Стой, стой! Тут стой, борода, а то убежишь еще, в Москве нескоро найдешь. Нет, стой!

Артамонов почему-то переменился в лице и глухо вымолвил:

— Мне бегать не рука. Убегу — за мной тут останутся девять домов, фабрика да полтора миллиона рублев.

Салтыков широко раскрыл глаза.

— Девять домов? — проговорил он.

— Точно так-с.

— Фабрика?

— Точно так-с.

— Еще сколько рублев?

— Да миллион четыреста тысяч наберется.

— Тьфу ты, страсть! — проговорил Салтыков.

Архимандрит даже как-то задвигался на диване из стороны в сторону, а затем ласково взглянул на плотного, громадного старика, гордо и сурово глядевшего с порога горницы.

— Что ж ты на больших дорогах грабил, что ли? — засмеялся Салтыков.

— Зачем грабить? это не наше дело. Нас грабят...— мерно проговорил старик.

Архимандрит опять заездил на диване, хотя уже по другой причине, а Салтыков снова слегка разинул рот.

— Кто вас грабит? Полиции донеси!.. Бахметьеву донеси! У меня не сметь грабить! Кто тебя грабил?

— Всякие такие люди...— выговорил Артамонов таким голосом, как если бы хотел сказать: «Что, мол, об этом толковать; дело давнишнее и дело известное: перемены ему не быть».

Чиновник, за которым послали, явился тотчас вслед за адъютантом. Он был тоже хороший и давнишний знакомец Артамонова, но, войдя, не только не поклонился, но даже не взглянул на купца.

— Ну, вот,— выговорил Салтыков, показывая на чиновника,— вот он тебя сейчас, борода, рассудит. Он у меня мастер. Ну, рассуди, Иван Егорыч, что с ним делать? В Сибирь, говорю, надо... А то четвертовать его, разбойника...

Чиновник в коротких словах изложил дело Артамонова, и так изложил, что и сам Мирон заслушался. Выходило все необыкновенно и удивительно. Все выходило хорошо, умно, даже как-то приятно и вкусно. В конце концов, выходило даже по делу Артамонова, что во всем виноват сам фельдмаршал, а Артамонов, как известный гражданин замечательного ума и сердца, был так благосклонен, что никакой претензии на Салтыкова не предъявлял. При этом дело было, конечно, доложено шиворот-навыворот, и, под влиянием красноречия своего «мастера Ивана Егорыча», Салтыков вдруг раскаялся:

— Прости, голубчик, вот оно что... Прости!.. Много делов у меня, запутаешься. Ступай домой, не поминай лихом. Один Бог без греха. Только, помнится, Иван Егорыч, ты намедни совсем не так докладывал...

Артамонов вышел, медленно и тихо прошел несколько горниц, презрительно усмехаясь. В прихожей его нагнал «мастер Иван Егорыч» и стал было говорить о маленьком упущеньице в деле.

— Мы постараемся с нашим удовольствием, для вас всегда готовы все сделать. Но, знаете ли, надо бы выставить кого-нибудь свидетелем. Закон строг, сами изволите знать. Мы тоже люди ответственные. Тоже люди, Мирон Дмитрич. И у нас женушка и детушки и тоже

хлебца просят. Прогонят со службы, по миру ступай, а женушка и детушки за тобой...

Артамонов знал, в чем дело, и только не перебивал «мастера Ивана Егорыча», чтобы дать ему договорить свое. Когда же тот запнулся, как бы в ожидании, Артамонов отстегнул две пуговицы своего сюртука, вынул пакетец, достал оттуда пачку, тоже перевязанную ниткой, и, взяв ее за один кончик, подал «мастеру».

— Пожалуйте-с, всегда готовы, за этим не постоим,— проговорил он гордо.— Чего другого, а деньги у нас есть.

XXVIII

Дом бригадира Воротынского был снова, как до приезда Матвея, тих и скучен. Бригадир был не только не в духе, но даже угрюм и грозен. Все боялись подступиться к нему. Молодой офицер старался уезжать из дому с утра и поменьше видаться с отцом, который придирался ко всякому слову, бранился и выходил из себя за всякий пустяк. Люди стали менее ленивы, быстрее исполняли приказания барина, усерднее служили.

Даже Аксинья с трудом сдерживала порывы гнева бригадира, из которого в обыкновенное время делала, что хотела.

Перемена эта произошла вследствие побега Ули. В первый раз от роду с бригадиром случилось нечто подобное, и он не мог простить себе, что допустил подобного рода смешное и глупое приключение. Он боялся, что вся Москва заговорит об этом.

Тотчас после исчезновения девушки из дому он разослал лакеев по всей Москве искать беглянку. Кроме того, он немедленно послал за Алтыновым и приказал ему, чтобы он разыскал Улю, грозя в противном случае не только стребовать с него полученные за нее деньги, но даже подать на него донос и отдать под суд за все его темные дела. Одним словом, «дюжинный» бригадир-волокита расходился не на шутку.

Алтынов прежде всего бросился в дом Воробушкиных. Капитона Иваныча по-прежнему дома не было. Маланья объяснила, что барин изредка, разика два в неделю, только заглядывает домой и опять уходит неизвестно куда.

— Все ищут Ульяну Борисовну, сокрушаются по ней! — объяснила Маланья.

— Ты что это жмешься? — выговорил Алтынов, заметив невольно, что Маланья, бледная, слегка похудевшая лицом, стояла как-то скорчившись и тяжело переводила дыхание.

— Нездоровится, все ломает. Перевалка ходит, вишь, по городу, вот и меня захватила.

— Ну, а барыня знает ли что об Ульяне?

— Где ей знать, Прохор Егорыч. Она у нас все хворала, потом справилась, была совсем здоровая, а денька четыре тому опять свалилась и лежит. Почитай, ничего не видит, болтает такое языком, что и не разберешь. Беда! А тут еще содом: напустили этих чертей. Драки, брань день-деньской, благо барина нету, а барыня хворая. Пьянствуют, дерутся. О-ох, Господи!..

И Маланья на вопрос Алтынова объяснила, что барыня, будучи здорова, прослышала, что много народу суконщиков ищет квартир по городу, напустила к себе целую дюжину постоем, по рублю с человека.

— А сама-то захворала, а они-то разбойники пьянствуют да дерутся. Мне и без них неможется, а один меня учорась побил. Не понаведается Капитон Иваныч, они весь дом разнесут, разбойники.

И действительно, Алтынов услыхал в кухне громкие крики и хохот пьяных голосов.

Алтынов поехал тотчас к Климовне, чтобы заставить ее тоже искать Улю. Климовны тоже не оказалось дома, а на дворе ее, в сарае, было опять-таки несколько человек фабричных.

«Ишь, раз попадья тоже напустила к себе квартирантов,— подумал Алтынов,— должно, выгодно. Дай-ка и я поразыщу себе дюжинки две, у меня места много. Двадцать четыре рубля и зашибу».

И, приказав девушке прислать к себе Климовну тотчас, как она вернется домой, Алтынов отправился к Ромодановой. Подъехать к самому крыльцу во двор прапорщик карабинерного полка, конечно, не решился. Он вышел из санок, прошел в один из флигелей и расспросил первого попавшегося дворового о том, нет ли у них в доме беглянки.

Лакей, получив три гривны на чай, развязал язык, рассказал всякую всячину барину про все, что делалось в доме: Анна Захаровна собирается замуж за какого-то офицера, приехавшего из Туречины; Марья Абрамовна

укладывается ехать в Петербург, Абрам Петрович уж давно в Донском монастыре вместе с отцом Серапионом и с Иваном Дмитриевым. Лакей передал даже, что Тронька. обозлившись на арапку, чуть было не откусила ей нос, а барыня страсть горюет: не с кем выезжать — кучер Аким помер поутру: в два дня сдернуло мужика.

— Марья Абрамовна про это дело,— сказал дворовый,— хочет самому фельдмаршалу доложить. У Акима племянник был на Суконном дворе. Как распустили их, он к Акиму в горницу и напросился, потому что хворал, а через два дня и помер. А за ним и наш Аким убрался на тот свет, Марья Абрамовна сказывает, что надо этому делу запрет положить.

Вернувшись домой, Алтынов на время позабыл о своих поисках и тотчас приказал всем своим денщикам-каторжникам разыскивать по городу суконщиков и предлагать внаймы большой сарай, стоявший во дворе. Оказалось, что в этом деле стоило только клич кликнуть. Наутро у Алтынова набралось с полсотни квартирантов, предложивших хотя бы два рубля с человека, только чтобы рук не вязали, давали бы зашибать в соседнем кабаке.

На другой же день Алтынов снова принялся разыскивать девушку. Он знал Воротынского давно, никогда не видал его таким гневным и боялся действительно его угроз.

«Черт его побери совсем,— думал он,— мало ли что он за мной знает. Подаст жалобу фельдмаршалу, так и впрямь улетишь куда Макар телят не гонял. Старый хрыч! Надо девчонку разыскать...»

Прогоняв трое суток положительно по всей Москве всех своих денщиков, которые всегда умели и могли все мышиные норки обшарить, Алтынов узнал наконец, что дворовый боярыни Ромодановой, Иван Дмитриев, живущий в монастыре вместе с молодым барчком, за несколько времени перед тем привез туда в санках какую-то девушку, красивую, видную из себя, но затем девушка эта пропала.

— Все видели,— добавил разыскивавший денщик,— как она приехала и назад не съезжала, а куда девалась, никому не ведомо, так и сказывают: словно сквозь землю провалилась.

Алтынов сразу понял все, понял даже то, чего прежде не понимал. Прежде он не понимал вполне причуды генеральши Марьи Абрамовны купить девушку во что

бы то ни стало. Теперь он понял, что внучек, вероятно, науськивал бабушку. И теперь он был уверен, что Уля у барчонка и, вероятно, укрыта им где-нибудь около Донского.

— Через два дня будет моя! — весело хлопнул в ладоши Алтынов.— Весь Донской окружу моими молодцами, и, как выйдет на улицу, накроем и опять к бригадиру. Во второй раз не убежит.

И Алтынов тотчас отправился в Донской. Расспросив монаха, не доезжая с полверсты до монастыря, он узнал, что у Абрама Петровича, помимо богатой кельи, внутри монастырской ограды есть еще домик вне ограды, близ главных ворот.

— Туда к нему и гости из Москвы приезжают,— сказал монах.— Богатый барин! Неведомо как ему Господь на душу положил в наше состояние приходить.

Но Алтынов уже не слушал, погнал далее и через несколько минут был уже у крыльца небольшого домика, вновь исправленного и окрашенного. В окошко домика выглянула знакомая ему фигура Дмитриева, с которым в последний раз они так шибко поругались и чуть не подрались.

«Нечего мне хвостом вилять! — подумал Алтынов, выходя из саней. — Я вас скручу. Нешто можно держать девушку около монастыря. А еще послушник монастырский!»

И Алтынов глубоко убежден был, что одним словом так перепугает насмерть и Дмитриева, и его барчонка, что ему тотчас выдадут Улю головой.

Дмитриев вышел навстречу и зорко, злобно приглядселся к нему.

— Зачем пожаловали? — грубо выговорил он.

— За делом! — тоже грубо отозвался Алтынов. — В монастырях девчонок держать нельзя: либо сию минуту подавай мне ее, либо я прямо к архимандриту пройду. Понял?

Иван Дмитриев переменился в лице, но не от испуга, а от злости.

«Пройдоха...— подумал он.— Никто и ухом не ведет. Поблизости никто не чует. А этот, вишь, из Москвы все пронюхал».

И Иван Дмитриев тотчас переменил голос, стал любезен, ласков, будто перепугался. Он попросил Алтынова войти в домик, а сам вызвался сбегать в монастырь, доложить обо всем барчонку.

— Исполним все, что Прохор Егорыч прикажет.

— То-то, голубчик,— рассмеялся Алтынов,— со мной не шути!

— Зачем шутить? Вы нас пожалейте, такую кашу заварите, что и не расхлебаем.

Сбегав к Абраму, Дмитриев пробыл у него около получаса, потом вышел из монастырской ограды другой калиткой, сбегал в ближайшую деревушку в полуверсте от монастыря. Запыхавшись, вернулся он снова в монастырь и, пробежав двор, остановился на минуту под колокольней отдышаться и обтереть потное лицо. Затем степенным шагом пошел он к домику, где дожидался Алтынов.

— Будет все по вашему желанию! — объяснил он прапорщику.— Только, простите, теперь никак нельзя, соблаговолите уж до ночи обождать. Вам все равно, а теперь никак нельзя. Такая каша заварится, что не дай Бог. А лошадку с кучером отошлите стать в поле. Архимандрит не велит ночью гостей принимать.

Алтынов подумал и согласился на все.

Через несколько часов, уже поздно вечером, когда стемнело совершенно на дворе и когда монастырские ворота были заперты, человек шесть мужиков среди темноты появились в домике. С ними вместе были и отец Серапион и Иван Дмитриев.

Через несколько минут в домике раздались крики, сделалась свалка. Монах, сидевший на очереди сторожем у монастырских врат, вздрогнул и прислушался. Но крики смолкли, все снова стихло. Монах, перекрестившись и уверившись, что все ему пригрезилось, задремал снова.

А в маленьком домике происходило ужаснейшее истязание. Карабинерный прапорщик с головой, обмотанной всякими тряпками, которые не только не давали ему кричать, но даже едва позволяли дышать, лежал на полу, а несколько мужиков секли его.

Спустя около часу два человека вынесли Алтынова на руках, пронесли с полверсты в поле, где ждал кучер, и положили его в санки. Сопровождавший их Иван Дмитриев крикнул кучеру:

— Ну, братец, не заморозь барина, вишь, как накатился! Четыре штофа на него одного вышло. Доставь в целости на дом, а проспится, скажи ему, что чем богаты, тем и рады. Чтобы приезжал в другой раз, будет угощение еще лучше, ничего не пожалеем. Ну, пошел!

Кучер, несколько удивленный, что барин Прохор Егорыч вдруг нализался до такой степени, тронул лошадь и повез своего барина в Москву. Часто оглядывался он: авось барин проспится, сядет. Но Алтынов лежал в санях без движения так, как его положили. Он был в беспамятстве...

XXIX

Однажды рано утром к подъезду дома Еропкина подъехали сани, из которых вышел доктор Шафонский и приказал о себе доложить.

— Их превосходительство дрова пилят. Обождите! — объяснил лакей.

— Чего? — удивился Шафонский.

— Дрова пилят. Уж за вторым поленом! Скоро кончат.

— Что ты, голубчик? Да нешто Петр Дмитриевич... Зачем это?.. Так, для удовольствия?..

— Они завсегда всякое утро полена два, а то и три на кружочки такие махонькие напиливают! — ухмылялся лакей.

— Куда ж эти кружочки им нужны?

— Никуда-с. Мы их выбрасываем, а то для подтопки идут с лучиной.

— Так зачем же он?..— начал было доктор, но, найдя неудобным расспрашивать лакея, смолк и отошел.

— Скоро кончат,— уверял лакей.

Шафонский сел в углу и стал дожидаться.

Доктор был озабочен и едва уселся в кресло, как глубоко задумался.

Он оказался пророком. Он и мальчуган Митя Артамонов одни провидели и предсказали то, что теперь в Москве начиналось.

Повсеместная, повальная, моровая язва!

И теперь Шафонский уже не радовался чуме. Он был оправдан в глазах всего медицинского персонала, начальства и общества. Риндер куда-то уже исчез, будто провалился сквозь землю.

Самые отчаянные его сторонники, смеявшиеся над «шафонской» или «введенской чумой», как они называли болезнь, и теперь продолжали смеяться. Они уверяли, что Риндер поехал в Петербург жаловаться на доктора-выскочку. Другие говорили, что штадт-физикус поехал в отпуск.

— Нашел время! — бурчали многие.

Так или иначе, но главного запевалы кружка немецких докторов не было в Москве: он стерся с лица земли.

Шафонский ежедневно рыскал, хлопотал, будил полусонное от праздности начальство и увещевал... Суконщики уже разбежались по Москве, и с Суконного двора забрали и свели на две другие фабрики менее семисот человек из тысячи семисот семидесяти бывших налицо до ревизии медиков.

Шафонский предсказал заразу всего города. И теперь его предсказание сбывалось. Не нашлось бы в Москве улицы, где не было бы в двух-трех домах суконщиков-квартирантов. Затем во всякой улице Москвы нашлось бы два-три дома, в которых новые квартиранты сначала появились здоровые, вскоре стали хворые, а потом покойники.

Картина, которая представлялась Шафонскому в будущем и даже в ближайшем будущем, была так ужасна и страшна, что он сам прерывал часто свое раздумье восклицанием:

— Бог милостив! Наука сильна! Но не надо спать.

То же воскликнул он и теперь, дожидаясь Еропкина.

— Да, не спать! Действовать! И дрова не пилить! — досадливо прибавил он, придя в себя и заметя, что уже полчаса дожидается хозяина.

Наконец сенатор вышел, бодрый, с румяным лицом, в теплом бархатном шлафроке.

— Простите, голубчик. Никто не сказал, а то бы я бросил свое баловство! — заговорил он ласково, встречая доктора.— Я, ради здоровья, упражняюсь, дрова пилю всякое утро. Вычитал в одной немецкой книжке. Попробовал — диво! Вон и стал дрова пилить по утрам. Как после этого, государь мой, вкусно все что ни положишь в рот! Что прикажете?

Шафонский объяснился.

— А вы все с чумой! — воскликнул сенатор.

— Не я все с ней, ваше превосходительство, а она все с нами!

— Знаю, знаю... Слышал. В городе уж двое поколело, не из суконщиков. Верно, с пьянства...

— Не двое, Петр Дмитриевич. Я уж знаю с дюжину. Сам съездил, осматривал и хоронить велел за городом, а не в приходах.

— Ну-с? — выговорил Еропкин вопросительно.

— Да это мне надо сказать: ну-с! А вам на это отвечать. Вы — власть имеющий. Вы правители... А мое дело заявить, предостеречь.

— Что ж я-то тут? Опять вы меня впутать хотите, Афанасий Иванович.

— Помилосердуйте!.. Кто же?.. Вам надо сказать графу Петру Семеновичу...

— А много толку вышло, что я тогда ездил к графу...

— Был толк. Был. И теперь все-таки опять поезжайте! Я с вами поеду. Нельзя так оставлять.

— Да я-то тут... Что же? Поезжайте вы! Вы — доктор. А я — сенатор. Мое место — сенат. Что ж лезть-то не в свое дело!

— Дело совести, ваше превосходительство. Дело долга гражданского и долга христианского!

— Мало ли, государь мой, в чем состоит долг. Хоть бы вот мой, сенаторский. Да ведь один в поле не воин. В своем поле! добавлю я сию мудрую пословицу российскую. А уж в чужом-то поле и вовсе будешь пятое колесо!

— Нет! Нет! ваше превосходительство! — горячо выговорил Шафонский.— У нас никогда честный гражданин пятым колесом не будет ни в каком деле. Куда бы он, по долгу своей совести, ни вмешался, везде очутится как раз самонужнейшим четвертым колесом. А потому — что все-то на Руси катит испокон веку на трех колесах!

— Красно вы изъясняетесь, голубчик! — качнул головой Еропкин.— Только, доложу вам прямо, останемтесь мы в стороне. Наша изба с краю. Я порядки московские лучше вас знаю. Пойдем мы приставать к графу, он осерчает по своей старости на нас не в меру, назовет масонами, обжалует кому следует, и турнут нас обоих вон из Москвы, яко смутителей общественного покоя.

Шафонский стал горячо доказывать сенатору, что Салтыков слишком дряхл, почти безумен и что, в виду грозящей страшной беды, он может погубить весь край.

— Хуже будет, как до Питера хватит она! — сказал он.

— Кто?

— Да чума же, чума! Фу, Господи!

— Да как же?

— Как? — почти закричал Шафонский.— Да в карете, верхом, пешком... на все лады. Босоногая, в одних портках добежит туда. И в самый дворец влезет.

Еропкин не понял.

— Да ведь суконщики есть тверитяне, есть новгородцы. Ведь все теперь соберутся уходить по домам и дворам. Здоровые-то загуляют здесь. А именно хворые-то и пойдут до дома, к себе, в свою родимую сторонку! Нужны карантины везде! А здесь нужны больницы.

Еропкин молчал и наконец вымолвил нерешительно:

— Верю... верю... Все так... но...

— Что же-с? Спасибо, что ли, вам, сенаторам, скажет царица, что вы, в кои-то веки раз, проморгали великое бедствие.

— На то есть начальник края. Фельдмаршал...

— На что он?! Он на мирное время был нужен. Гостей кормить и поить да песочком везде посыпать... А теперь действовать надо!..

И Шафонский наконец добился, чего требовал. Сенатор оделся, и оба отправились к фельдмаршалу с докладом.

XXX

Салтыков, против своего обыкновения, тотчас же принял и сенатора, и доктора. Узнав причину посещения, он воскликнул вне себя:

— И вы тоже?! ведь беда...

— Воистину беда, ваше сиятельство,— сказал Еропкин,— и надо бы немедленно... не теряя времени...

— Уезжать! Уезжать! — воскликнул Салтыков.— И я то же говорю! И я говорю...

Еропкин и Шафонский оба равно вытаращили глаза на старика.

— Фединька! — отчаянно взвизгнул Салтыков.

— Что прикажете!! — отозвался сзади молоденький адъютант.

— Видишь. Вот видишь! Вот и они говорят. Надо уезжать! Ведь дворяне-то, знаете ли, тоже мрут! — обратился фельдмаршал к Шафонскому.— Уж мрут!

— Уж мрут! — озлобленно и дерзко вымолвил Шафонский, меряя старика с высоты своего и роста, и нравственного величия.— Нет еще... Но не извольте беспокоиться. И это скоро последует!!

— Ну вот! Скоро последует...— жалобным голосом повторил Салтыков адъютанту, как-то приседая.— Скоро и дворяне... А холопы уж мрут! Чума ведь, голуб-

чик!! — И, обернув ладони вверх, старик протянул обе руки к адъютанту, как бы подавая ему эту чуму.

— Надо немедленно, ваше сиятельство, распорядиться, чтобы...— заговорил было Еропкин, но Салтыков перебил его.

— Беги, Фединька, скажи Фомичу: распорядиться! Беги, ты, разбойник. Ты во всем виноват!

И фельдмаршал уже слезливо обратился к Еропкину:

— Он во всем виноват! Я вчера еще сказывал. Распорядись! Поедем скорее! В Марфино! А он, молокосос: «Не извольте беспокоиться!» Вели, говорю, собираться, укладывать... А он мне: «Помилуйте!..» Вот и помиловал!..

— Так вы, ваше сиятельство, изволите уехать из Москвы в вотчину? — сухо вымолвил Шафонский, а взгляд его больших глаз горел странным светом.

— Сейчас, голубчик, сейчас! Вещи после доставят. Да там у меня, в Марфине, все есть. Полная чаша! Слава Богу. А чего и нету... так обойтись. Что же делать... Обойдусь...

— А в городе, в столице, кто же править будет? Кто руководить и начальствовать будет...

— А я же! Я...

— Из Марфина?

— Из Марфина, голубчик. Тут недалече. А что самонужнейшее, спешное... Вот Петр Дмитрич. Он может распорядиться! Ведь вы, отец мой, не уедете?

— Нет-с! Помилуйте! — усмехнулся Еропкин.— Я даже отчасти осмелюсь посоветовать и вашему сиятельству...

— Ну вот! Ну вот! Зачем вам уезжать! Не надо уезжать. Вы вот и распорядитесь. Я на вас полагаюсь. Ордером даже вас попрошу. Сейчас у меня напишут... Фединька! — кликнул Салтыков и пошел к дверям.

Еропкин хотел что-то возразить, но Шафонский схватил сенатора за руку и шепнул:

— Бога ради, Петр Дмитрич, не отказывайтесь... Довольно и словесного заявления. И вы будете правы.

— Фединька! Фединька! — визгливо звал фельдмаршал, высовываясь в двери залы.

Вероятно, там оказались новые посетители, потому что фельдмаршал вдруг отчаянно замахал рукой в залу и залепетал:

— Не время! Простите! Недосуг! Вы тоже об ней?

О чуме? Нет! Ну все равно! Не время. А вот, дошлите ко мне Фединьку.

И старик, захлопнув дверь, вернулся к двум шептавшимся. Шафонский горячо уговаривал Еропкина. Сенатор стоял понурясь, в нерешимости.

Когда Салтыков ворочался к обоим, Еропкин вдруг как-то встрепенулся от последнего слова доктора и громко выговорил ему:

— Боюсь?! Что вы, помилуйте! Я еще никогда труса не праздновал. Я не графиня Марфа Семеновна...

— Какая графиня Марфа? — спросил Салтыков, не знавший, конечно, прозвища, данного ему москвичами.

— А есть такая, ваше сиятельство! — так презрительно выговорил Шафонский, что даже сенатор качнул головой, как бы говоря: «Однако не очень! Все-таки начальник края».

— Не слыхал. Ну, да Бог с ней. Не до нее! — пробурчал Салтыков.— А что же она?.. Случилось что с ней?.. Померла?..

— Она уезжает из Москвы! — шутил злобно доктор.

— Тоже уезжает! Вот видите!.. Совсем небось...

— Совсем! Больше не вернется. Если б даже и захотела... За это я отвечаю! — обернулся Шафонский к сенатору.— Я знаю мудрое сердце великой монархини нашей и знаю часто вперед, чего от нее ждать!

Салтыков поднял голову на доктора, поднял брови, и как будто что-то новое, неожиданное мелькнуло в голове его. Еще мгновение, и старческий мозг сообразил бы все, понял бы и намек, и угрозу, и опасность... Но в кабинет ворвался его Фединька.

— Петр Семеныч! В канцелярии два писца...— завопил адъютант и вдруг обернулся к Шафонскому.— Вы вот, доктор, поглядите... Уж и впрямь, не чума ли?

В одно мгновение в кабинете не осталось никого, Салтыков почти убежал в свою спальню и, расспрашивая своего Фединьку, начал одеваться в дорогу. Еропкин поехал в сенат заявить об отъезде начальника и сделать совещание. Шафонский быстро пошел в канцелярию и нашел за одним столом двух писцов... Один был бледен и жаловался на колику, просился домой. Другой был мертвецки пьян и едва вертел языком.

— Ты с ним живешь? — спросил доктор первого.

— С ним-с.

— Вместе ходите в должность?

— Вместе-с!

— И сегодня вместе завернули по дороге... То-то...

— Эдакий народец! — воскликнул «мастер» Иван Егорыч, все понявший.— А ведь как нас напугали! Хороши, голубчики. Пошли вон!..

А через три часа из Серпуховской заставы выезжала синяя, позолоченная карета фельдмаршала-графа и генерал-губернатора.

— Ну, вот и выехали! Фединька! Достань, голубчик! — ласково сказал Салтыков.— В правом! В правом...

И адъютант полез рукой за табакеркой под дряхлого старика, героя, опоздавшего умереть вовремя.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Наступило первое мая. Ранняя весна уже давно унесла снег, и весенняя Москва, уже не укрытая глыбами снегов, предстала в своей обыкновенной весенней одежде, вся из конца в конец черно-зеленая. Где не было пустырей, огородов, садов с зеленью, там были неизменно грязь, лужи, топи и трясины.

Апрель месяц в первопрестольной — время разлития рек: Москвы, Яузы и Неглинной — всегда проходил особенно тихо и мирно. Всякий сидел дома. Куда же сунуться, когда в нескольких шагах расстояния от дома можно утонуть? Даже такие барыни порхуньи и летуньи, как Марья Абрамовна Ромоданова, и те сидели дома.

Выедешь в тяжелом, четырехместном, на высоких рессорах экипаже, берлине или колымаге и, несмотря на тройной цуг лошадей, застрянешь где-нибудь на углу двух улиц, в трясине. Господ из экипажа гайдук или двое на спине вынесут на островок, затем соберут народ и кое-как через три-четыре часа вытянут колымагу, а путешественники, перепачкавшись, в грязных чулках и башмаках, вернутся домой. Даже самый записной пьяница сидел иногда трезвый, так как до иного кабака дойти — надобно три раза вплавь переправляться.

И вот весна московская, вследствие необходимости путешествовать по морю яко посуху, всегда была временем самым мирным и кротким.

На этот раз, однако, не было той же заповедной тишины. Весь апрель, несмотря на распутицу, прошел не совсем спокойно.

С тех пор, как доктор Ягельский был командирован на Суконный двор разузнать, какая завелась там хворость, и с тех пор, как собрался совет докторов, не сразу решившийся вымолвить слово чума, прошло полтора месяца.

Когда суконщики разбежались по Москве, и появились во всех улицах в качестве квартирантов, и разнесли с собою молву о чуме и ее самое на себе и в себе, в виде тряпья и в виде разных мелких хворостей, многие говорили о чуме. До безумия всякий испугался сразу и струхнул, но через несколько дней уже успокоился. Первый громовой удар заставил перекреститься, но удар стих, и нельзя же все стоять и все креститься.

И вот в ту минуту, когда многие начинали снова почти с недоверием относиться ко второй чуме на фабрике, как когда-то отнеслись к первой на Введенских горах, раздался другой оглушительный громовой удар, от которого, казалось, сотряслась вся Москва.

Фельдмаршал генерал-губернатор испугался и убежал!

Это известие облетело в один день всю первопрестольную, все боярские палаты, все домишки, все избушки. И как будто чума зависела от него, как будто она боялась присутствия Салтыкова,— москвичи перетрухнули не на живот, а на смерть. Если бы сказали, что все московские доктора и аптекари до единого убежали из города, то, конечно, никто бы не испугался, но бегство начальника всего края громовым ударом подействовало на жителей. Салтыков, которого простолюдин видал только изредка, в глубине большой кареты, блестящего в золоте и серебре, был, конечно, не тот Салтыков, не та развалина, которая даже сама не могла достать из кармана своей табакерки. Несколько дней прошло в смятении. В Голичном ряду, на Варварке, в Кремле, на Разгуляе, у Сретенских ворот, у Сухаревой башни собирались кучки, толпился народ, опрашивая всякого барина, толкуя о чудном известии, задавая вопросы друг другу.

— Кто же теперь начальством будет? Кто же теперь генерал-губернатором будет?

Какой-то остряк в Голичном ряду пустил в ход самую верную новость:

— Генерал-губернатора больше в Москве не будет, а будет теперь на впредбудущее время завсегда генерал-губернаторша.

— Баба! Во как ловко! Кто же она такая?

— А сама, стало быть, чума...

И многие головы поверили, многие языки разнесли по переулкам, что въехала в карете в Серпуховскую заставу сама чума и, расположившись в доме Салтыкова, будет теперь управлять Москвой.

Вскоре пошли уже слухи и толки о том, в чем она, матушка-чума, ходит. Кто говорил, в сарафане и кичке на манер ярославских, а кто заверял:

— Как есть, родименькой, голая, ничего, тоись, на ней нету. Как мать родила.

В эти дни, когда обер-комендант Грузинский, полицеймейстер Бахметьев, преосвященный Амвросий не знали, к кому обратиться, у кого спросить совета, или разрешения, или приказания, сенаторы обращались за всем этим к своему товарищу, Петру Дмитричу Еропкину. Почему? Никто порядочно этого не знал, а менее всех сам Еропкин.

Когда-то в тот день, что графиня Марфа Семеновна вместе с своим Фединькой удрала из Москвы, Еропкин отправился в сенат и увещевал товарищей решить: что делать, что предпринять.

И вот среди поднявшейся сумятицы в домах и на улицах каждый говорил по всякому поводу:

— Надо Петру Дмитричу сказать! Надо у Петра Дмитрича спросить! Что скажет Петр Дмитрич!

Петр Дмитрич каждому отвечал:

— Да что же вы ко мне-то? Что вы у меня спрашиваете? Я-то тут что ж? Действуйте по своей обязанности, что вам долг повелевает.

Но, однако, перед тем, договорившись до подробностей с Шафонским, Петр Дмитрич невольно, незаметно для себя самого давал совет, давал приказ, распоряжался, и все исполнялось по его указанию. И только вечером, когда переставал народ осаждать его дом и кабинет, умный, прямодушный и скромный гражданин говорил своему новому приятелю, Афанасию Шафонскому, тихо и боязливо:

— Ну, голубчик, на вашей душе грех будет. Не ноне завтра придет мне из Питера такая нахлобучка, что в лепешку обратит. Все беды на меня свалят, скажут — я все напутал и чуму развел.

И вот однажды прискакал из Петербурга курьер, привез бумаги, указ сенату и всякого рода повеления и ордера. Одна из этих бумаг пришла по назначению к генерал-поручику и сенатору Еропкину. Петр Дмит-

рич прочел ее, едва устоял на ногах от волнения и заплакал.

Государыня всея России, монархиня, благодарила его за своевременное принятие мер, за честное исполнение долга гражданина и сенатора и утверждала его главным начальником Москвы, на место бежавшего начальника.

И Еропкин, самый скромный и тихий из всех московских сенаторов, «домосед и бирюк», как звали его многие барыни, стал вдруг сразу в одно утро начальником всего и всех.

И пора было. Когда Еропкин заменил убежавшего генерал-губернатора и боялся распоряжаться, новая, самодельная и самовластная генерал-губернаторша уже распоряжалась давно. Босая ли, голая или в сарафане с кичкой ходила по Москве, еще было не решено в народе, но в том, что она уже ходила, и ходила по всем улицам, не было сомнения.

Через несколько дней после назначения Еропкина у него уже была вновь составившаяся временная канцелярия из людей мало похожих на «мастера Ивана Егорыча» и других подьячих Салтыкова. Многие дворяне, умные, дельные, сидевшие по своим домам и не числившиеся на службе, поступали по собственной охоте в состав комиссии и канцелярии. В первые же дни явились к Еропкину: Кречетников, Ладыженский, Саблуков, Мамонов, граф Брюс, Загряжский, Волоцко́й, князь Макулов, Сабакин, Лерхе и многие другие. В числе прочих явились проситься на временную службу молодой офицер, петербургский франт Матвей Воротынский, и морского корабельного флота лейтенант в отставке, Воробушкин. За ними появились сотни канцеляристов, писцов и протоколистов, находившихся тоже не у дел и не на службе, иные без гроша денег, другие совсем без хлеба. И все эти охотники, эта новая маленькая армия, собравшаяся по собственной воле воевать со вновь прибывшей в Москву матушкой генерал-губернаторшей, почему-то не походила совершенно на тех людей, что сидьмя сидели по десяти и двадцати лет по разным канцеляриям и отделениям города Москвы. Весь этот народ был бодрый, веселый, деятельный. Народ ласковый и честный. Просто срамной народ, совсем на начальство не похожий.

Москва разделилась на четырнадцать частей, и в каждой части был свой комиссар, избранный не за чин,

не за звание, не за деньги, а выбранный из почетных людей. Скороспелый начальник края, Еропкин, сам выдумал и этот срам завел.

На многих улицах, во многих боярских палатах охали и ахали, руками разводили, судили, рядили, ругались и в азарт приходили.

— Подумайте только, матушка,— говорил один дворянин одной генеральше,— я не комиссар, бригадир Григорий Матвеич Воротынский не комиссар, а кто же? Всякая сволочь у нас в квартале, моряк какой-то Синицын или Воробейкин. Видал я его и допрежде, в конурке, на Ленивке живет. Теперь во всей нашей части комиссар и первый человек, и кланяйся ему. Вчера казачка дослал своего к нему в домишко разузнать, как его, бестию, зовут по имени и отчеству. Случись беда какая, соврешь, назовешь не так — съест, проходимец. Ну и узнал: зовут — Капитон Иваныч.

Вместе с разделением Москвы на участки было объявлено несколько строжайших указов. О всяком заболевшем в доме домохозяин обязан был тотчас давать знать в съезжий дом. Смотритель съезжего дома тотчас давал знать комиссару, и комиссар немедленно заявлял о том Еропкину, а начальник тотчас посылал в дом доктора. Больной, если он имел признаки заразы, отправлялся тотчас в Николо-Угрешский монастырь, а комнату его окуривали. Здоровые запирались в отдельную часть дома, и к этому дому приставлялся караул. В то же время, где захворавший вдруг умирал, дом считался зараженным, и точно так же к нему приставлялся часовой.

Но за полтора месяца времени таких извещений в полицию о заболевшем или об умершем было только два.

Так как вслед за фельдмаршалом многие дворяне последовали его примеру и выехали из Москвы с пожитками и людьми, то вокруг города были назначены караульные, рогатки и карантины.

Но на заставы к южным городам, как: Тула, Калуга, Рязань — обращалось мало внимания, на другие заставы, по дорогам, ведущим на север: в Тверь, Ярославль, Новгород и Петербург, было обращено, по приказанию свыше, наибольшее внимание. Если можно было без помехи проехать от Москвы до Харькова и до Астрахани, то невозможно было не только проехать, но и пробраться пешком во всем крае между Клином и Вышним Волоч-

ком. И матушка-чума не стала спорить, не пошла в Клин, в Тверь и в Новгород на Петербург; ей и без него было раздолье, можно было нагуляться вдоволь по всем другим городам российским. Но она и в эти города заглянула только мимоходом. Слишком много дела и забот было ей в одной Москве первопрестольной. Уж больно ее ласково приняли. всяк-то к себе в дом на все лады зазывал. Уж такие добродеи эти москвичи!

За весь апрель месяц матушка чума, однако, все еще скромничала, совестилась; шатаясь по Москве, она заходила больше в дырявые хижины да лачужки, а если заглядывала в богатые дома дворянские и купеческие, то водилась покуда не с господами, а только с их холопами.

Но был человек в Москве, который знал, что подойдет лето, жара, овощи, ягоды и квас вволю, и новая гостья перестанет скромничать, начнет шататься по городу еще более и начнет заглядывать во все дома, и к богатым, и к бедным, и к серому люду, и к боярам.

И этот человек, приятель начальника края, первый открывший и назвавший чуму — чумой, не дремал, действовал. Но в то же время он видел уже ясно на деле, что если за него наука, а равно и новый начальник края, Еропкин, с помощниками, то против него все остальные и все остальное — и народ, и обычаи, и лето, и три великие коня российские: «*авось*», «*небось*» и «*бог милостив*», на которых уже тысячу лет катит во всю ивановскую в тележке об трех колесах матушка Русь православная!..

II

Бригадир Воротынский после неожиданного побега Ули безумствовал целую неделю, потом еще неделю гневался и выходил из себя, а затем, наконец, понемногу и поневоле успокоился. Делать было нечего, и приходилось мириться с досадным и глупым происшествием.

Аксинья, полюбившая Улю во время ее краткого пребывания в доме, старалась всячески после ее побега успокоить Григория Матвеича и убедить, бросив все поиски, оставить девушку в покое.

— Насильно мил не будешь,— полушутя, полусерьезно повторяла Аксинья.— Что ж, я-то вам надоела, что ли? Ведь это даже и обидно, что вы скучаете по девушке, которую порядком и не видели.

— Да, я знаю,— досадливо отвечал бригадир,— ты радехонька, тебе это на руку, ревнуешь сдуру.

— А что же, если и ревную? Вестимо, оно обидно. Небось я бы убежала, так вы бы этак не печалились.

Бригадир беспокойно поглядел в лицо женщины.

— Ты бы убежала... Ну, нет, я бы тебя на дне морском нашел и убил бы собственными руками. Вот этим ружьем французским, что на стене висит. Да ты и не убежишь.

— Да коли будете так скучать по Ульяне, то я на смех уйду,— шутила Аксинья.

Разговоры об Уле повторялись очень часто. Даже с сыном заговаривал бригадир об убежавшей девушке, но Матвей всегда прекращал эти беседы словами:

— А черт с ней совсем! Вот любопытная беседа, пора об ней и думать забыть.

За все это время молодой Воротынский снова бывал постоянно в доме Колховских, проводил у них целые дни, обедал и ужинал, и так как у него не было там сверстника или товарища, за исключением идиота, то в городе уже давно решили, что молодой сын «дюжинного» бригадира — принятый, но еще не объявленный жених княжны.

Между тем положение молодого Воротынского в доме Колховских сильно изменилось. Он менее ухаживал и любезничал с княжной, менее возился с идиотом, не писал стихов, не пел романсов и был в доме как свой человек.

В то же время он начал много ездить по всей Москве и по-прежнему, как бывало в Петербурге, ухаживал направо и налево, заводил интриги со всякой мало-мальски приглянувшейся ему фигуркой. При этом Матвей тратил не только очень много денег, но просто сорил червонцами.

Бригадир почти никуда не выезжал и за последнее время мало принимал гостей, в особенности после побега Ули он боялся, что всякий приезжий, зная эту историю, заговорит с ним, поставит его в глупое положение. Но наконец и до бригадира дошли слухи, очень странные, о сыне, тратящем большие деньги. Он сам видел, как Матвей покупал пропасть лошадей и как бригадирские конюшни, давно пустые, снова наполнялись великолепными рысаками всех мастей.

Наконец однажды Григорий Матвеич позвал сына к себе утром, сел на свой трон и постарался принять самый строгий и внушительный вид.

Матвей был позван двумя лакеями, которым бригадир приказал сказать:

— Очень-де нужно по важному делу переговорить.

Матвей явился, как всегда, беспечный, добрый, смеющийся.

— Что прикажете, батюшка? — вымолвил он, весело улыбаясь и разглядывая забавно-важную физиономию отца.

— Присядь и слушай. Дело важное.

— Небось об Уле,— усмехнулся Матвей.

— Полно, садись,— сердито проговорил бригадир.

Матвей уселся и подумал:

«Кой черт?»

— Ты мне сын или нет? — важно спросил бригадир, стараясь быть как можно величественнее.

— Сказывают — сын, а доподлинно не знаю. Вам лучше известно,— с легкой усмешкой отвечал Матвей.

— Не ломайся, а то выгоню! — стукнул палкой по полу Григорий Матвеич и рассердился совершенно искренно.— Ты мне родной сын, следовательно, должен отвечать прямо, открыто на все мои вопросы. Говори, откуда ты деньги достаешь?

Матвей пристально вгляделся в лицо отца, усмехнулся, хотел что-то ответить и замялся.

— Не лги, отвечай правду. Занимаешь? В долг берешь?

Матвей весело расхохотался.

— Чему заливаешься?

— Ах, батюшка! Да нечто можно этакое спрашивать? В долг берешь! Да какой же дурень мне даст?

— Ты, может быть, полагаешь, что я за тебя порукой буду? Что я заплачу? Так я, знай это...

Матвей еще веселей рассмеялся.

— Батюшка, всем известно, что у вас было большое достояние, а теперь его и в помине нет.

— Это вранье, мне лучше знать, что у меня есть. Не твое это дело отцовы деньги считать; заслужишь — твои будут, не заслужишь, все пойдет на сторону.

— А вы не гневайтесь, батюшка. Только я вам верно докладываю, что никакой шальной взаймы мне не даст, зная, что у меня нет ничего, кроме шпаги да кафтана, а у вас если и есть, то, стало быть, ваши собственные.

— Откуда же у тебя деньги?

— Мало ли откуда,— повел плечом Матвей,— достаю.

— Вестимо, не воруешь, а достаешь, да откуда? Ведь деньги-то большие, я вижу.

— Да, деньги, пожалуй, что и большие,— небрежно проговорил Матвей, как бы прихвастнув.

— Откуда они?

— Не все ли равно, батюшка, откуда? Лишь бы не ворованные были.

— В карты играешь? Выигрываешь? Честно ли? Или связался с какими картежниками? Ныне это не редкость.

— Какие тут картежники у вас в Москве! Самый записной, коли проиграет в вечер сто рублей, так в ту же ночь удавится. Тут не Петербург. Пробовал я здесь играть, за трое суток шестьдесят рублей выиграл. Нет, не далеко бы я уехал, кабы картами жил.

— Откуда же у тебя деньги? — нетерпеливо крикнул бригадир.

— Зачем вам это нужно, батюшка?

— Затем, чтобы быть спокойным, что не ныне завтра тебя не захватят и не засадят в острог. Срамиться не хочу, понял ты?

— Ну и будьте спокойны, никакого срама не будет.

— Ну, Матвей, слушай. Либо сейчас говори, откуда деньги, либо выходи вон из моего дома.

— Эх, родитель, грешно это вам. Двадцать лет не виделись, зажили было хорошо, а тут из-за пустяковины вздорите. Ведь, говорю, не ворованные, и не картежные, и не фальшивые. Настоящие российские червонцы. Так чего же вам? Прикажите, я и вам ссужу сколько угодно.

Бригадир встрепенулся, вытянулся в струнку и уже стал важен истинно и неподдельно.

— Нет, Матвей Григорич, простите, отцы на сыновний счет не живут. Это, может быть, у вас в Петербурге так водится. У меня, спасибо, еще свои есть. Проживу.

— Вы не обижайтесь, батюшка...

— А тем паче, когда денежки-то эти неведомо откуда и какие. Может быть, такие паскудные, что и сказать нельзя.

— Кабы я знал, что вы не будете, как все московские вельможи, болтать, так я, пожалуй...

— Как ты смеешь со мной так разговаривать! — вскрикнул бригадир.

— Побожитесь, что не разболтаете, я вам сейчас поведаю, откуда у меня деньги.

— Божиться я не стану, что мне твоя божба! А даю тебе мое воротынское слово, которое держал и держу так, как и тебе желаю вперед.

— Ну, ладно. Деньги мои от княгини.

— Какой?

— Какой! Колховской.

Бригадир вытаращил глаза на сына, разинул рот, и несколько секунд длилось молчание.

— Взаймы берешь?

Матвей повел плечом и усмехнулся.

— Отвечай!

— Я в десять лет не отдам того, что в один день трачу теперь,— вымолвил Матвей.

— Так это по-питерскому. Еще не женился, а уж на счет будущей жены живешь.

— Я и не собираюсь на ней жениться, то есть на дочери.

— На матери, что ли, собираешься? — усмехнулся бригадир.

— Зачем? Я еще не спятил. В сыновья ей гожусь, а не в мужья.

— Какие же это деньги?

Матвей грубо и резко в нескольких словах объяснился.

Бригадир переменился в лице, смолк и опустил голову.

— Вот оно...— проговорил он тихо.— Вот оно!.. Двадцать лет вдали жил, почитай, чужой, а имя-то мое носит!.. Ну, Матвей Григорич, нет, стало быть, в тебе ничего воротынского, нет ничего и простого дворянского, хуже ты моего Федьки-холопа. И тот на такую мерзость не пойдет. Кабы мог я тебя лишить моего честного имени, имени Воротынского, то лишил бы. Пакостничай под какой другой фамилией. Ты, братец, подлец!

— Один Бог без греха, батюшка, а у всякого человека свой есть. У иного старого хуже грех на душе. Иной старый молодится на старости лет, потешные приключения наживает, так что город смешит и притчей во языцех становится.

— Это в мой огород,— выговорил вне себя Воротынский,— так поди, спроси у всех в Москве, что я за человек, и скажут тебе: «И он, мол, не без греха, но дворянин и никакой гадости за свою жизнь не сделал. В наемниках не бывал, сам нанимал». Спроси тоже и про себя, хорош ли, мол, я; увидишь, что скажут. А теперь

собирай все свои пожитки дареные, коней даровых, и чтобы твоего духу не пахло у меня в доме. Лучше опять без сына останусь, чем этакого мерзавца сыном величать.

Матвей изменился в лице, хотел что-то заговорить, но бригадир грозно поднялся на своем троне и крикнул:

— Вон пошел! Когда остепенишься, разумеешь, что подлец стал, раскаешься, придешь ко мне — приму, обниму. А покуда ты подлец, ноги твоей чтобы не было у меня. Убирайся!

Матвей встал, озлобленный, вышел и, придя в свою горницу, сел и задумался на том самом диване, где когда-то богатырски заснул вскоре после приезда.

В первый раз в жизни первый человек назвал подлостью и гадостью то, что Матвей делал уже лет пятнадцать. Доброму, беспечному малому, однако, не хотелось слыть подлецом. Он убеждал себя, что отец дурит на старости лет, завирается, а между тем смутно чувствовал, что отец прав. Кончилось тем, что Матвей встал и гневно проговорил вслух, как бы обращаясь к отцу, и в голосе его слышалось неподдельное чувство:

— Зачем же ты бросил меня одного в Питере? Зачем сам примером мне не служил своей жизнью и теперь не служишь? Зачем достояние дедово и бабкино спустил все на дурацкие затеи и тоже на разные поганые прихоти? А теперь что тут в доме, наверху? Бригадирское сиротское отделение! Кто тут в доме хозяйничает? Крепостная девка! Не тебе бы говорить, дюжинный бригадир. Есть родители почтенные, которые могут учить уму-разуму и чести дворянской своих сынов, да не ты, старый вертопрах.

Матвей, озлобленный, позвал Федьку, который проходил мимо его горницы, и велел ему укладывать вещи. Федька, глупо ухмыляясь, не понимая смысла того, что делает, начал усердно убирать в сундуки все попадавшееся ему под руки.

Матвей, ходивший по горнице, вдруг остановился, как-то ахнул и выговорил вслух:

— Постой же, родимый, вот так придумал угощение! Будешь ты у праздника...

Матвей быстро вышел из своей комнаты, поднялся наверх, тихонько и осторожно прошел в ту половину дома, где была отдельная горница Аксиньи, и вошел в нее. Аксиньи не было.

«Должно быть, дома нет, — подумал он, — а то всегда тут сидит».

Он повернулся и хотел выходить, но в конце коридора показалась фигура Аксиньи в куцавейке и платке.

Когда она приблизилась к Матвею, он невольно отступил на шаг и ахнул. На Аксинье лица не было.

Она прошла мимо него, опустилась на стул, схватилась руками за голову и начала как-то странно покачиваться из стороны в сторону.

— Что ты? — подступил к ней Матвей,— что с тобой? Хвораешь, что ли? Очумела, что ли? Ныне, сказывают, чума по всем улицам ходит.

— Да, ходит,— выговорила Аксинья,— ходит, ходит... Кабы она и меня взяла.

— Да скажи, в чем дело?

Не скоро добился Матвей толку от взволнованной женщины. Наконец она рассказала, что муж ее опасно болен, может, не выживет, а она принуждена сидеть здесь, у бригадира, и не имеет возможности ухаживать за любимым мужем.

— И все это от каких-нибудь дрянных рублев зависит! — воскликнула вдруг Аксинья.— Будь я богата, сейчас бы счастлива была!

— Ну, вот за этим-то я и пришел. Тебе сколько денег нужно, чтобы все свое дело справить? Ну, вольную и всякое такое! И отсюда уйти... Сколько надо?

Аксинья махнула рукой.

— Да полно махать, дело сказывай скорей. Придет сюда твой бригадир, ты же в дурах останешься. Он меня гонит вон, и я сейчас уезжаю. Говори скорей, сколько тебе денег надо?

Аксинья подняла голову, искаженное лицо ее странно оживилось.

— Барин, не шутите так! Такими шутками убить можно...

— Ах, Создатель мой! — нетерпеливо воскликнул Матвей.— Скажешь ты или нет,— сколько тебе надо?

Матвей достал из кафтана большой бумажник, развернул его и вынул несколько ассигнаций.

— Двести, что ли? триста? четыреста?

— Триста,— выговорила Аксинья как-то бессознательно.

Матвей отделил несколько бумажек, сунул их в руки женщины, захлопнул бумажник, положил в карман и выговорил весело:

— Ну, вот! Когда убежишь?

Аксинья, казалось, потеряла всякую способность

размышления. Она сидела на стуле, держа деньги в руках, не шевелилась и не спускала глаз с молодого человека.

Матвей махнул рукой и вышел вон из горницы.

Тут только Аксинья пришла в себя. Она стремительно вскочила с места, прижала деньги к лицу и опять замерла.

— Что ж это? Неужто правда? — тихо проговорила она.— Деньги! Деньги! Триста! То, что нужно... Могу бежать отсюда сейчас. Бежать! Господи! да неужто это правда?

В эту минуту раздались шаги в конце коридора. Аксинья окончательно пришла в себя. Она боялась, что бригадир сейчас выйдет к ней, прочтет по ее глазам, что у нее есть деньги, отнимет их, и тогда все пропало навсегда.

Аксинья бросилась к двери и заперла ее на задвижку. Действительно, к дверям подошел Григорий Матвеич, попробовал отворить двери, потом позвал любимицу и, не получая ответа, проговорил:

— Чудно, заперто, а ее нету!

Он стал кликать людей, но никто не явился. Все были внизу и беседовали, пораженные известием, что старый барин гонит вон из дому молодого.

Бригадир снова прошел весь коридор и скрылся во внутренних комнатах.

Аксинья отворила свою дверь, стрелой пролетела по всему коридору, по лестнице, по швейцарской, мимо изумленных людей, точь-в-точь так же, как недавно Уля, и через минуту скрылась за воротами.

Матвей видел из окна, как Аксинья пробежала по двору, и рассмеялся.

«Ну, теперь ищи ее...» — подумал он.

Бригадир точно так же из своего окна видел Аксинью, пробежавшую через двор, и встрепенулся, будто предчувствие сказало ему, что случилось что-то особенное.

Через два часа Матвей, не прощаясь с отцом, выехал со двора, а на нескольких телегах вывезли его имущество в соседний герберг или гостиницу.

Бригадир, видевший отъезд сына в окно, тихо проговорил три раза:

— Подлец сын! Подлец! Подлец!..

III

Когда бригадир сделал допрос сыну о происхождении больших денег, которые офицер тратил, то было уже в Москве человек с десять дальновидных людей, которые знали давно положение молодого петербургского офицера в доме Колховских.

Большинство в обществе не очень удивилось приключению, и, во всяком случае, негодующих нашлось очень мало. Подобного рода историй на Москве было так много, что к ним давно привыкли. Дня три кое-кто поахал, некоторые разводили руками, пожимали плечами, усмехались, но через несколько дней привыкли и перестали интересоваться.

Дело было простое, заурядное.

Месяц назад Матвей, снова принятый в дом княгини после недолгой размолвки, снова начал ухаживать за княжной и, ближе узнав ее, увидел, что надеяться разбудить это странное существо почти невозможно. Очевидно, что она недаром была родной сестрой полного идиота.

Княжна Анюта особенно равнодушно относилась ко всему, что было не романсами и не стихами. Только поэзия, романы и музыка имели на нее некоторое влияние. Арфу она любила, играла много и очень порядочно и часто, под влиянием своей музыки, приходила в особенное состояние, но какое-то болезненное, плаксивое.

В эти минуты она делалась Матвею особенно противна. Примирившись с семейством, Матвей снова стал другом князя Захара, любимцем княгини, а княжна продолжала относиться к нему любезно, но равнодушно, как-то сонно. Матвей мог надеяться, что мать просто выдаст княжну за него замуж, не спрося ее согласия, но вскоре ему самому не только не захотелось этого, но он находил в себе полное отвращение к этой «ученой обезьяне», как он стал называть ее.

Перестать бывать, раззнакомиться, не имея более никакой цели, упустить это громадное состояние, чтобы под носом кто-нибудь воспользовался им, Матвей тоже не мог. И самая простая мысль явилась ему в голову.

Княгине было лет пятьдесят, может быть, и более пятидесяти, но на вид она была еще женщина не старая, пригожая, а около своих детей казалась еще моложе. Они спали непробудным сном: сын физически и духовно, дочь физически. Мать была всегда бодра, весела,

разговорчива, умна. Матвей около недели размышлял, колебался и решил начать ухаживать за княгиней.

В первые же дни резкого поворота в поведении молодого офицера, при первых намеках на что-то новое, неожиданное, княгиня была несказанно изумлена, но в то же время неожиданно для Матвея и неожиданно даже для себя самой польщена и, наконец, взволнована и смущена донельзя.

Матвей был в этом деле ухаживанья искусный актер, но не расчетливый, не холодный, а актер, увлекающийся своей игрой до той степени и до той математической линии, где трудно разграничить ложь от истины, притворство от действительности. Матвей начал, конечно, притворством, игрой, но затем постепенно увлекся, убедил самого себя, что княгиня еще может легко нравиться, может еще быть любимой, и становился все искренней, убедительней и увлекательней.

Княгиня не могла не верить молодому человеку, и то, что в первые дни показалось ей бессмыслицей, позором, подлостью относительно своих детей, вдруг нашло у нее в глубине души полное оправдание.

Тайна заключалась в двух вещах. С одной стороны, Матвей принадлежал к той счастливой породе людей, которые легко, без всякого усилия, как-то сами собой нравятся всегда всем равно — и мужчинам, и женщинам. Княгиня давно уже любила этого доброго, веселого, хорошего человека. Он и дурное делал так, что хотелось его простить. С другой стороны, тайна переворота в душе княгини заключалась в том, что она еще многого не видала от жизни. Оглушенная, как от удара, открытием, что молодой, красивый офицер любит ее со всем юношеским жаром,— как поневоле думала и поверила она,— княгиня оглянулась назад на свое прошлое и увидела, что никогда еще не бывало с ней ничего подобного. Она еще не знавала, не испытывала никогда того, что ей посылала судьба уже в пожилые годы. И переворот совершился в ней круто, резко.

Отдавшись вдруг увлекающей ее силе нового, еще не изведанного чувства, она, конечно, лишилась разума; но зато, чувствуя себя виновной относительно детей и общества, она вдруг сильно изменилась относительно всего и всех окружающих. Она будто извинялась, просила прощения. Она стала еще более ухаживать за сыном-идиотом, еще более ласкала и баловала дочь. Прежняя гордость и надменность относительно лиц, ниже ее по-

ставленных, сменились смирением и лаской. Она начала раздавать большие суммы бедным и, наконец, стала все больше и чаще ездить по церквам и монастырям. Вскоре она стала совсем ханжой, и дом ее начал наполняться богомолками, странниками, блаженными и монашенками и всякого рода людом, которые прежде не смели переступить порога ее дома.

Одним словом, княгиня всячески перед Богом, перед обществом, перед своими холопами, перед собственною своей совестью старалась замолить свой грех.

Княгиня была счастлива, но грустно счастлива. «Бочка меду и ложка дегтю» — сказывались теперь в ее жизни. Думать о том, чтобы выйти замуж за Матвея, она не смела. Он убедительно, красноречиво уверил ее, что это дело невозможное, смешное, погибельное; что, в случае брака, его чувство не устоит и одного года. И княгиня перестала и мечтать об этом.

Первое время княгиня часто думала и говорила:

— Людей совестно... Провалилась бы сквозь землю... На старости лет с ума спятила. Не глядела бы глазами на свет Божий.

Матвей весело и беспечно смеялся над этим и грубо уверял:

— Ничего, пройдет, привыкнешь.

И он приводил десятки, если не сотни примеров из петербургского общества, называл по именам многих и многих известных петербургских боярынь, которых обстановка домашняя была такая же, если не хуже.

Но этот стыд и разлад с своей совестью не только не уменьшались, а увеличивались в княгине. Она мечтала уже о необходимости уехать из Москвы куда бы то ни было, подальше от прежнего круга знакомых.

— Если бы выдать замуж Анюточку, взяли бы мы Захара и уехали бы втроем куда-нибудь на край света,— говорила княгиня.

Матвей не противоречил. Он знал, что прежде чем найдется жених для Анюты, много воды утечет.

Однако нашелся строгий судья нового положения вещей в доме княгини.

«Бабий синедрион», то есть десяток дам-поэтесс, в числе которых было немало старых дев, смутился, перестал появляться с своими тетрадями и заседать в гостиной княгини.

Это обстоятельство больно укололо княгиню, тем более что дочь, ничего не подозревавшая, удивлялась,

добивалась разъяснения всего. Княгиня начинала бояться, что Анюта в один прекрасный день узнает правду.

— Какими тогда глазами буду я смотреть на нее! — с ужасом восклицала княгиня.

Распространявшаяся по городу опасная болезнь, от которой, по примеру начальника края, бежали дворянские семьи по деревням, дала повод и княгине начать сборы, чтобы ехать ранее обыкновенного в дальнюю вотчину.

Когда Матвей, изгнанный своим отцом, явился вечером к княгине и весело рассказал ей свое приключение, княгиня была огорчена этим известием, стала упрекать молодого человека за неуместную откровенность с отцом.

— И так мое житье срамное,— сказала она,— не смеешь никому в глаза поглядеть, а тут еще твой родитель начнет повсюду поносить и на смех меня поднимать.

— Кому рассказывать? Он никого не видит. Да нешто и без него не знают? Ведь этакое не укроешь. А наплевать нужно на это,— уверял Матвей.— Вы тут в Москве — чудной народ, всех опасаетесь во всем. Всякий должен жить, как ему вздумается, как ему кажется веселей. Вот у нас в Питере люди умнее, живут себе припеваючи, лишь бы деньги были. Нешто могут люди жить вот так же, как описывается житье преподобных отшельников и угодников, с медведями да со зверями. Это все хорошо прежде было. Вон какой-то пустынник с вороной жил. Она к нему летала, он ее кормил своим хлебом, а сам голодный сидел,— рассмеялся Матвей.— Какое нам до кого дело. Живем себе, как нравится. Под суд нас отдать не могут, ничего преступного тут нету. А кроме того, надо еще помнить, что проживем, и все помрем, и сгнием, и черви нас съедят; как бы мы ни прожили, по-монашески или в свое удовольствие, все один конец.

— А на том свете что же будет? Ничего разве? — грустно заметила княгиня.

— Да с того света приходит ли кто назад сказывать, какие там порядки?

— Полно уж,— укоризненно махнула рукой княгиня.

— Да, конечно! Да вот у вас тут, в доме, всякие сочинения читаются, а читали ли вы, что пишет один умнейший француз? Он даже с государыней приятель,

его в Питер поджидали, из Парижа хотел приехать. Говорят, умнейший человек во всем мире, пишет и прозу, и стихи, и комедии, и ученые сочинения. Десяти человекам не написать того, что он напишет в год. И вот что он говорит... Я не читал, а видел, многие читали. Их даже зовут по фамилии этого француза. Вольтижерами, что ли? Имени не помню...

Княгиня усмехнулась.

— Вольтижер — это паяц. Ты хочешь сказать — вольтерьянец. Писателя того зовут господином Вольтером...

— Ну да, вольтерьянцы. Дело не в имени. А ведь все говорят, что он умнейший человек. Чему он учит в своих сочинениях? Тому, что на том свете нет ничего, славны бубны за горами! Ни ада, ни рая нету. К Господу-то Богу самому он так относится, что поговори он этак не с Богом, а хоть с каким ни на есть начальником, так его бы сейчас в тюрьму посадили.

— Полно, полно, все это я лучше тебя знаю. Читала кое-что и Вольтера. Он умен, слова нет, язык у него вострый, да все это и прежде него говорилось и писалось, да все пустое. Все-таки судьба человека хорошего и человека дурного должна быть после смерти неодинакова.

— Ну, что же? ты боишься теперь в ад, что ли, попасть? — рассмеялся Матвей.

— Да мне и теперь подчас хуже, чем в аду кромешном. Стала я вчера Захара заставлять молиться, а самой стыдно на образа поглядеть. Так и жду, что какой из нарисованных угодников скажет мне: «Хороша ты, мол, сама-то, обернись, на себя погляди».

Матвей начал весело смеяться.

— Как? написанный-то угодник закачает головой да стыдить начнет? Вот финт-то был бы!

IV

Аксинья, выбежавшая из дома бригадира, почти не помня себя, неслась по улицам Москвы. Она спрятала дорогие деньги, неожиданно полученные от молодого барина, к себе за пазуху и все ощупывала их.

Ей все казалось, что это сон, что деньги вдруг исчезнут так же быстро, как быстро пришли. Если бы Аксинья потеряла эти деньги теперь, то, всего вероятнее, не стала

бы даже искать. Она бы подумала, что все ей привиделось, как во сне, и все кончилось грустным пробуждением.

Еще утром этого же дня она узнала тайком, через глупо ухмылявшегося Федьку Деянова, что приходил какой-то человек, не то мещанин, не то поп. Он велел тихонько передать ей, что известный ей человек господина Раевского очень хворает и желал бы с ней повидаться.

Аксинья поняла, что этот человек — расстриженный поп Никита, который бывал у ее мужа,— сердце замерло в ней.

Известие о неожиданной болезни мужа так перепугало ее, что она, не спрашиваясь, не говоря ни слова бригадиру, тотчас оделась и вышла из дома.

На квартире Раевского она не нашла никого. Барин ее мужа от страха чумы уехал из Москвы, как объявила оставшаяся женщина. А что касается Василья Андреева, то его, хворого, перевезли куда-то неподалеку, но куда именно — она не знала. Она посоветовала Аксинье подождать расстригу Никиту, который все знает; но Аксинья не могла дожидаться, выйдя без спроса из дома бригадира. Умолив женщину расспросить подробно расстригу Никиту о том, где ее муж, она обещалась непременно быть наутро снова.

С отчаянием на сердце вернулась она домой, не видавши мужа и зная только, что он болен. До утра не увидит она его, а затем, завтра, повидавшись на полчаса, снова должна будет ворочаться домой и не видать его, по крайней мере, неделю.

И в первый раз рассудительной Аксинье приходило на ум, не добившись денег, не устроив ничего, бежать из дома бригадира к больному мужу.

И смущенная, с заплаканными глазами, с тяжелым гнетом на сердце, вошла она в этот рыжеватый дом постылого, противного ей человека. И здесь, на пороге горницы, встретил ее веселый молодой барин и будто чудом сунул ей в руки те деньги, о которых так давно уже мечтала она. Не то милость Божья, чудо благости его к людям, не то дьявольское наваждение!

И вот она снова теперь бежит к мужу, но уже с деньгами.

Через час Аксинья была уже на той же квартире Раевского и узнала от женщины, что муж ее перевезен в кабак «Разгуляй».

— Что с ним? — воскликнула Аксинья.— Как хворает он?

— Да, хворь.

— Что ж это такое приключилось с ним?

— Да что же мудреного, ноне много народу хворает. Сказывают, так теперь следовает: хворать и помирать. Должно, конец свету.

Аксинья расспросила, как найти мужа, и побежала далее.

Кабак «Разгуляй» было найти не мудрено. Не было человека не только в этой части города, но и во всей Москве, который бы не знал этого кабака.

На перекрестке четырех улиц возвышался большой желтый дом, довольно грязный на вид. Внизу, в трех-четырех больших горницах помещался трактир знаменитый и кабак, а остальной дом был разгорожен на множество маленьких квартирок, горниц, отдававшихся внаймы, а в этих горницах отдавались даже углы.

И всякого рода народ,— сгон со всей Москвы,— жил в этом доме. Тут попадались и расстриги, и беглые острожники, и бежавшие из Сибири каторжники, и бесписьменные холопы без мест, и простые мошенники-грабители. Из этого же дома, известного под тем же названием «Разгуляя», вербовал Алтынов своих помощников для своих темных дел.

Едва только Аксинья приблизилась к этому дому и хотела было расспрашивать о своем муже, как ей попалась уже знакомая фигурка маленького, тщедушного расстриги, отца Никиты.

Распоп Никита лишился своего духовного сана вследствие такого пьянства, которое выходило из ряда вон. Ему случалось лежать мертвецки пьяным по нескольку дней. И судьба привела его тоже в «Разгуляй».

Никита тотчас провел женщину в маленькую каморку. Они прошли целый ряд душных и зловонных коридоров и горниц, где десятки, если не сотни, разнохарактерного народу жили вповалку.

Везде раздавались крикливые голоса бранившихся баб, визг ребятишек, и тут же попадались кошки, собаки, голуби, куры и даже попал под ноги Аксиньи маленький барашек. Вся эта домашняя птица и домашние звери принадлежали жильцам только наполовину, на несколько дней, иногда на несколько часов. Все это было ворованное по Москве. Все это уносилось к себе и продавалось на другой день. Одним словом, дом, характерно

именующийся «Разгуляй», был ужаснейший вертеп и притон всякого рода подонков Москвы.

Аксинья, отвыкшая в своей привольной жизни у бригадира от подобного рода обстановки, с ужасом думала о том, куда попал ее бедный, хворый Вася.

Наконец, после многих переходов, распоп Никита отворил одну дверку, и Аксинья вошла в маленькую душную каморку с перегородкой, за которой нашла своего мужа.

Василий Андреев, увидав жену, привстал, сел на кровати, протянул ей руки и хотел что-то сказать, но не мог и, тотчас ослабев, снова опустился на подушки.

— Что ты! Что с тобой, родимый? Что такое приключилось? — воскликнула Аксинья, обнимая и целуя мужа.

— Ах, рад я, рад повидать... Должно, помираю...

— Что ты! Бог с тобой!

— И останется он без отместки,— продолжал, как бы сам себе, Андреев.— Не боюсь помереть, боюсь, останется без отместки...

— Полно, полно! Я радость принесла. У меня деньги, триста рублей. Я останусь с тобой. Назад не пойду!

Василий Андреев широко раскрыл глаза и снова хотел привстать.

— Бог с тобой! Правда ли? — слабо проговорил он.

— Правда, правда. Вот они, хочешь — гляди, возьми спрячь. Вот они. Триста рублей.

В эту минуту Аксинья, занятая мужем, все-таки услыхала за перегородкой восклицание:

— Ох, Господи!

Она не обратила на это никакого внимания.

Восклицание это вырвалось у расстриги Никиты, который, оставшись за перегородкой, невольно услыхал слова Аксиньи. Триста рублей денег у женщины в руках так поразили расстригу, никогда не видавшего подобных денег и никогда не имевшего, конечно, в руках, что он не выдержал и невольно вскрикнул.

И тотчас зародилась мысль в голове его о легкости приобретения этих денег. В таком вертепе, как «Разгуляй», стоило только пойти к любому из жильцов и сообщить ему, что в одной из каморок есть молодая женщина с тремястами рублей за пазухой, около больного мужа. И конечно, через день деньги эти были бы во владении того, кто первый пожелал бы ими воспользоваться.

Расстрига взял себя за голову, как бы от испуга, и, бормоча что-то, пополз в коридор.

Между тем Аксинья и не подозревала о том, в какую опасность поставила и себя, и мужа, все свои надежды на волю и счастье. Она села около мужа, расспрашивая о его болезни.

Василий Андреев ничего не мог объяснить. Он чувствовал себя дурно уже пятый день.

— Должно, перевалка,— сказал он.— По Москве ходит!..

— Что ты! Бог с тобой! Типун тебе на язык! — с ужасом воскликнула Аксинья.— Знаешь ли ты, что за перевалка ходит по Москве? Помилуй Бог!

Аксинья, часто слыхавшая за последнее время от бригадира, что за болезнь возникла в столице, хорошо знала, как страшна эта болезнь.

— Слушай, Вася! Деньги у нас есть, хватит на все, не послать ли за каким знахарем? Пускай он тебя выходит, а там уж справимся; первое дело — здоровье.

Василий Андреев усмехнулся, махнул слабой рукой и вымолвил:

— И так отваляюсь; зачем тратиться по-пустому? А ты скажи лучше, откуда деньги? От старого пса?

Аксинья объяснила подробно неожиданный случай.

— Зачем тут знахарь,— отвечал, выслушав жену, Андреев,— я от радости одной поправлюсь. И не тому рад, что вольные будем; рад тому, что теперь мысли мои отпустят меня, вздохнуть дадут.

— Какие мысли?

— Каюсь, родимая, все мне мерещилось, что ты морочишь, что не уйдешь от старой собаки по доброй воле, что ты глаза отводишь. А вот теперь и правда: нашлись деньги, ты вот и здесь. Ты назад-то не пойдешь? — как-то робко прибавил больной.

Аксинья даже улыбнулась.

— Сейчас пойду, другую каморку разыщу, в другом доме, почище да побольше. А здесь вишь как гадко.

— Ничего и здесь, лишь бы не помереть.

— Нету, нету, как можно!.. Я сейчас пойду, все справлю. С деньгами все можно, а деньги есть, большие деньги...

Аксинья двинулась к двери, но больной вдруг сел на постели, протянул к ней руки и воскликнул:

— Стой! Обманешь... бросишь... уйдешь к нему, не пущу!

— Что ты, родимый?! Полно!

— Не пущу, морочишь! Дай хоть помереть около тебя, а там иди, полная воля...

И не скоро женщина успокоила больного. Он снова опустился на подушки и через минуту заговорил опять, но Аксинья не могла ничего понять. Муж говорил о большом ноже, о поваре, о бруске, о топоре. Аксинья поняла, что муж бредит. Но в бреду этом, в бессвязных словах был смысл: больной бредил о своем замысле, с которым давно сжился. Вместе с словом нож, которое он часто повторял, два раза назвал он бригадира.

Через несколько часов Аксинья отыскала маленькую квартирку. Василья Андреева, не приходившего в себя, перенесли в новое помещение. Аксинья тотчас послала Никиту найти знахаря, сама осталась около больного.

«Господи! — думала она, сидя поздно ночью у изголовья кровати все бредившего мужа.— Неужто же помирать ему, когда все сладилось, деньги есть, когда можно бежать из Москвы! И тут вдруг хворость! И какая еще?»

V

В доме Артамоновых была новая перемена. Не хватало одного члена семьи, самого безобидного из всех, робкого и глупого, который, помогая Барабину на Суконном дворе с утра до вечера, приходил лишь только ночевать. Умер старший сын Артамонова, Силантий, присутствие которого в доме было почти незаметно и которого старик не любил, призывал к себе только затем, чтобы разбранить или посмеяться. Теперь этот безобидный и безответный двадцативосьмилетний малый стал жертвой новой хворости, вскоре после распущения суконщиков. Только один Митя догадался тотчас, что хворость эта — все та же, что на Суконном дворе. И Митя напрасно увещевал отца позвать какого-нибудь доктора.

Когда брату Силантию стало хуже, Митя не отходил от него вместе с другим братом, Пименом, и ухаживал за больным. Когда Силантию стало совсем плохо, тот же Митя сам съездил, без спроса отца, за доктором, которого считали теперь самым искусным во всей Москве.

Съездить и привезти Шафонского к брату тайком от отца помогло Мите то обстоятельство, что Артамонова часто вызывали теперь к новому начальнику, Еропкину.

В этой новой канцелярии охотников-чиновников у Артамонова не было никого близких знакомых и друзей. В первый же раз попробовал он, захватив с собой две пачки ассигнаций, подарить их одному из комиссаров, состоявшему при Еропкине. Комиссар, увидя деньги у себя на столе, бросил их гордому богачу купцу в лицо.

— Простите старика...— выговорил Артамонов, бледнея.— Шестьдесят лет всех покупал.

От этого случая Артамонов проболел дня два и затем снова несколько раз был вызываем к Еропкину для разных объяснений.

Одной из таких поездок Митя и воспользовался, чтобы привезти доктора. Шафонский, повидавший Силантия, объявил, что у него та же моровая язва, что была на Суконном дворе, и что ему остается несколько дней жизни.

Выехав из дома купца, Шафонский донес о больном в съезжий дом.

Приехал тотчас же комиссар Замоскворецкой части с помощниками, и умирающего повезли в Николо-Угрешский монастырь, но привезли туда уже труп. К дому Артамонова был поставлен часовой, которому приказано было никого не впускать в дом, а главное, никого не выпускать.

Первые два дня часовой строго исполнял приказание. Старик Артамонов, арестованный с семьей в собственном доме, гневно потешался этим от зари до зари. Несмотря на смерть старшего сына, на заявление доктора, первого открывшего в Москве чуму, Артамонов не верил, чтобы в доме его была моровая язва. Обожая Митю, старик ни на минуту не побоялся, что Митя все время был при больном, и только сердился на мальчугана за то, что он, позвав доктора, «осрамил их и под караул поставил!». На третий или четвертый день после того, что увезли больного и приставили караул, все в доме свободно по-прежнему выходили из дома и принимали в дом всякого. Часовой сидел у ворот и подремывал. Через неделю он совсем исчез по собственной воле. Так бывало почти везде.

В доме Артамонова снова все пошло по-прежнему, так как вновь умерший был при жизни слишком незаметное в доме существо.

Но было в доме нечто другое, что озабочивало старика Артамонова гораздо более чумы. В горнице Мити все еще

жила давно бежавшая от мужа Павла. Вскоре и этот тяжелый вопрос разрешился сам собой.

Однажды Павла объяснила брату, что не хочет оставаться в доме против воли отца и пойдет домой.

Митя передал сестре, что отец все знает и сам же приказал ему тайно спрятать сестру у себя.

— Чудная ты, сестрица, будто махонькая. Нешто возможное дело, чтобы все в доме знали про тебя, а батюшка бы ничего не знал? Да и сам я нешто мог бы тебя спрятать, коли бы батюшка не позволил?

Павла вздохнула. Она догадывалась давно о том, что теперь узнала. Говоря о причине, которая побуждала ее вернуться к мужу, Павла лгала и брату, и себе самой. Ее тянуло домой другое.

Она, относившаяся более или менее равнодушно к своему ребенку, когда была около него, теперь только в первый раз при разлуке с ним почувствовала, что любит его гораздо более, нежели думала. Ей захотелось во что бы ни стало повидать сынишку, подержать его на руках, понянчиться с ним. Кроме того, она чувствовала, что ее положение укрытой в доме отца, будто беглой, было какое-то странное, оскорбительное для нее.

«Как ни тошно дома, а все лучше,— думалось ей,— там я хозяйка, а тут, как сказывает народ, вдова от живого мужа».

С каждым днем Павла мучилась все более и более. Ее пугала мысль, что Барабин ни разу не наведался в дом тестя. Наконец однажды Павла решилась и пошла к себе, готовая на все. Если бы ей сказали, что Барабин встретит ее с ножом в руке, то женщина все-таки пошла бы. Бог весть почему она чувствовала теперь менее отвращения к нему, менее боязни. Она считала себя более виноватой во всем и готова была не притворно, а совершенно искренно просить прощения у мужа.

Когда она вошла во двор своего дома, то хорошее чувство проникло в ее душу. Тут было все свое, близкое. Первая, увидевшая пропадавшую, Пелагеюшка, бросила кочергу и опрометью побежала к барыне и заголосила. В доме Барабиных все знали, что барыня находится у старого барина.

Первый вопрос Павлы был, конечно, о ребенке, Пелагеюшка отвечала несколько раз подряд:

— Слава Богу!

— Что Тит Ильич? — проговорила Павла.

— Скучал, матушка, скучает и таперича. Поди, сидит у окошечка.

Павла поднялась наверх по лестнице, ноги ее слегка дрожали. Предстоявшая встреча пугала ее.

«Что он скажет? Что сделает? А если выгонит на улицу! Если убьет!»

Но в ту минуту, когда Павла отворяла дверь в горницу, где когда-то была свалка и вязали Ивашку, твердая решимость на все сказалась в ней.

«Попрошу прощения, а там будь что будет...» — подумала она, почти прошептала сама себе.

Барабин между тем сидел неподвижно на стуле у окна, где обыкновенно любила сидеть она, ожидая его с фабрики к обеду.

Он оперся рукой на подоконник и опустил глаза в пол. Лицо его, слегка похудевшее, слегка бледное, ясно говорило о том, что пережил он за время отсутствия жены. Глубокая и тяжелая дума, очевидно нерадостная, овладела им вполне. Так случалось ему сидеть за последнее время по целым часам. Однажды просидел он так, не двигаясь, с обеда и до вечера.

Покуда Павла скрывалась у отца, дикие порывы гнева и злобы сменялись в этом человеке порывами ребяческого горя и ребяческих слез. За это время он часто собирался в дом тестя с ножом в руке, зарезать беглую жену и, быть может, покончить тут же и с собой, и точно так же часто собирался он идти за женой и на коленях вымаливать себе прощение и у тестя, и у жены. Он готов был в иные минуты унизиться всячески перед всяким, кто мог бы помочь возвратить жену.

Сам он не наведывался в дом тестя ни разу, но приятель его, Караваев, поселился рядом с домом Артамонова, подкупил суконщика, жившего в доме, и, зная все, что творилось у Артамонова, все передавал приятелю.

Барабин знал верно, что жена сидит в горнице маленького братишки и не показывается никуда, не только на улицу, но не выходит даже в другие горницы. Только одному не верил Барабин, что старик ничего не знает о присутствии дочери в доме. Он понял, что тесть притворяется, не оправдывая поступка дочери, и не хочет узаконить его своим согласием на укрывательство.

Уверенность Барабина в том, что жена никуда не показывается, сидит, как заключенная, успокаивала его, утешала. Дикой ревности не было причины проснуться

и бушевать в нем. И поэтому все чувства его слагались так, чтобы стремиться скорей к примирению, прощению. Не будь Павла заперта по собственной воле в четырех стенах, выходи она из дома, хотя бы только в церковь, ревность Барабина проснулась бы непременно во всей своей силе и, конечно, он попался бы жене где-нибудь на дороге с ножом в руке.

Дрожащей рукой отворила Павла дверь, через силу переступила порог горницы и остановилась. Вид мужа поразил ее. Прошло несколько мгновений. Видя, что муж не приходит в себя, что думы его из тех, которые могут продолжаться целые часы, Павла медленно, тихо, с трепетом во всем теле, приблизилась к нему и уже за шаг от него невольно опустилась на колени и схватила его за руку.

Барабин вскрикнул и затрясся всем телом. Никогда еще в жизни не бывало с ним ничего подобного тому, что случилось теперь.

Он схватил Павлу за обе руки, больно стиснул их в своих руках, потом порывисто обнял ее и проговорил едва слышно:

— Голубушка...— И вдруг, припав головой к жене на грудь, он страшно зарыдал.

Неожиданность случившегося, лицо Барабина, голос, наконец, эти страшные рыдания, которых Павла не только никогда не слыхала, но в возможность которых никогда бы не поверила,— все это вместе совершило в женщине мгновенный глубокий переворот. В один миг то чувство, которое она имела к этому человеку когда-то, года два-три назад, еще невестой, теперь сразу будто вернулось к ней.

Она обняла мужа и могла только повторить несколько раз:

— Прости... Прости меня, родимый...

И вечером этого дня муж и жена были так же счастливы, как в первые дни после свадьбы...

Павла даже передала подробно и искренно мужу все свои тайные помыслы за все последнее время.

Зашла речь и об давнишней истории с Ивашкой. Павла, смеясь, рассказывала мужу, как она водила к себе от тоски Ивашку, потихоньку от домашних, как он, сидя у лежанки, рассказывал ей какую-то дурацкую сказку и как ей, с тоски ли, по глупости ли, мерещилось Бог весть что. Так же подробно рассказывала она все, что чувствовала в ту ночь, когда освободила Ивашку.

И, рассказывая все это, Павла не смеялась, ей стыдно было теперь всего, что тогда мерещилось ей, а смеялся теперь Барабин и над ней, и над собой, и над Ивашкой.

В ту ночь Павла, передумав все случившееся за этот день, то счастье, тот мир душевный, который нашла она снова в себе и муже, она все-таки невольно смущалась, будто кто-то невидимо присутствующий шептал ей на ухо: «Надолго ли?..»

VI

Капитон Иваныч Воробушкин продолжал горевать о своей Уле, все его помыслы ежедневно сосредотачивались на судьбе племянницы.

Судьба злобно потешалась над стариком. Когда все было им прилажено, чтобы спасти Улю от бригадира, и Марья Абрамовна дала даже более денег, чем просил Воробушкин, все снова разладилось.

Капитон Иваныч узнал, что Уля бежала от бригадира, и новые поиски его были напрасны. Прошло недели две, и он не мог добиться — куда девалась девушка. Наконец та же Климовна сообщила ему известие, что виделась на улице с девушкой, что она жила, скрываясь у бесприходного попа Авдея, но теперь ее уже там не было.

Воробушкин немедленно отправился в дом отца Авдея и нашел там ту же нищету, что видела когда-то и Уля.

Отец Авдей, жена его и все внучки при имени Ули, произнесенном незнакомым человеком, бросились к нему и засыпали его расспросами об ее судьбе.

Капитон Иваныч был так тронут их любовью к девушке, что стал с тех пор изредка заглядывать к отцу Авдею и оставлять у него деньги на хлеб. Но что касается до сведений об Уле, то отец Авдей знал не более самого Воробушкина. Он мог сообщить только, что девушка ушла сама, потому что боялась, что Климовна выдаст ее Алтынову и бригадиру.

Идти за сведениями к Алтынову Капитон Иваныч не мог, не хотел, да это и не повело бы ни к чему. Разузнавая со стороны, он узнал только, что Алтынов болен, лежит в постели, что с ним приключилась беда. Один из его денщиков рассказал человеку, подосланному Воробушкиным, что Алтынов ездил в окрестности Москвы

и что по дороге оттуда на него напали грабители и избили его до полусмерти.

Воробушкина это известие очень обрадовало.

— Поделом вору и мука! — воскликнул он.— Мало ли зла эта собака наделала.

Известие это было так приятно Капитону Иванычу, что он даже полюбопытствовал узнать подробности. Он еще более обрадовался, когда узнал, что Алтынов был одно время при смерти, очень туго поправляется и так переменился лицом, так стал плох здоровьем, что его почти узнать нельзя.

— Ловко отгладили, должно быть! — радовался Воробушкин.

В это время подошла смута в городе, открылась зараза на Суконном дворе, который помещался наискось против домика Воробушкиных, только с другой стороны Москвы-реки, за Каменным мостом.

Воробушкин редко бывал дома, он ночевал у одного своего приятеля и только раза два в неделю заглядывал узнать, что творится в доме. Авдотья Ивановна стала ему окончательно ненавистна с тех пор, как продала Улю. Покуда девушка была в их доме, Воробушкину, несмотря на постоянные ссоры с женой, все-таки жилось кое-как. Теперь он мыкался по городу и сходил с ума об участи своей любимицы.

Однажды, наведавшись домой и узнав, что жена хворает, Капитон Иваныч ехидно сказал ей:

— Когда помрешь, пришли известить, хоронить приду и с радости пьян напьюсь.

После бегства Салтыкова и назначения Еропкина Капитон Иваныч, близко знакомый с двумя новыми помощниками нового начальника города, неожиданно был вдруг назначен комиссаром своей части.

Обедневший дворянин средней руки, получивший эту почетную должность, немало озлил москвичей. Назначение это было результатом той репутации, которую составил себе отставной моряк.

Капитона Иваныча самого так польстило это неожиданное назначение, которое сразу возвысило его в глазах всех его многочисленных знакомых, что он не помнил себя от радости. Простой, небогатый дворянин стал сразу в некотором смысле особой и влиятельным лицом.

И разумеется, Капитон Иваныч отнесся к своей новой должности самым добросовестным образом и был занят с утра до вечера. Он так усердно принялся испол-

нять все приказания Еропкина, что в одном доме его чуть не побили, а в другом грозились даже убить. Тем не менее, во всех домах его участка, где открывалась зараза, Капитон Иваныч продолжал пунктуально исполнять все, «вышним правительством повеленное», как выражался он.

Эти заботы по должности заставили Капитона Иваныча поселиться снова в своем маленьком домике, он не мог уже по-прежнему рыскать по Москве и ночевать где попало. Поселившись снова у себя, Воробушкин прежде всего разогнал всех постояльцев-суконщиков и уже в качестве комиссара приструнил и свою супругу. Авдотья Ивановна была тише воды ниже травы!

— Как только ты слово пикнешь,— заявил он ей,— так тотчас, по данной мне вышним правительством власти, я тебя в Николо-Угреши отправлю. Только стоит мне бумажку написать, что ты чумная, и так тебя сейчас по рукам и по ногам свяжут и повезут, куда я захочу. Захочу — в Николо-Угреши, а захочу, так и в Турцию отправлю.

Авдотья Ивановна смирилась если не перед мужем, не перед «Капитошкой», как она звала его всегда в минуты озлобления, то смирилась поневоле перед званием комиссара. Втайне, конечно, Авдотье Ивановне точно так же льстило это обстоятельство. Она объяснила Климовне, что хотя она и не в ладу живет с мужем, а все-таки тем не менее теперь она в некотором роде «комиссарша». При этом она важно объяснила Климовне, что если она захочет, то стоит только ей написать бумажку, и она Климовну может упрятать не только в Николо-Угреши, но и в Турцию.

— Вот только обида,— жаловалась Авдотья Ивановна,— жалованья комиссарам не полагается, уж очень это глупо выходит. Служба почетная,— потому, говорят, жалованья и не надо. А тут бы, по моему рассуждению, следовало бы тройной оклад положить, коли почетный человек, так больше и жалованья следует.

Между тем за то же время Авдотье Ивановне, уже два раза хворавшей, очень сильно снова недужилось.

Капитон Иваныч, вступив в должность, нашел, помимо хворой жены, еще другую больную, но более серьезно,— Маланью. Пригласив в дом освидетельствовать больную одного неизвестного молоденького доктора, Капитон Иваныч узнал от него, что Маланья больна точно так же, как, сказывают, болели на Суконном дворе.

— Должно быть, господин комиссар, она захворала у вас от суконщиков,— сообразил доктор,— вам бы ее надо тотчас отправить в карантин, в Николо-Угреши.

Капитон Иванович собрался тотчас исполнить этот совет, и даже по двум причинам. Во-первых, избавить дом от зараженной больной, а во-вторых, на деле показать Авдотье Ивановне, что с ней самой может произойти, если она будет супругу перечить.

Воробушкин собрался отправлять Маланью, но надо было нанять тележку, лошадь, человека; дня два-три прошло, заботы по должности отнимали время. И наконец однажды, вернувшись домой, он узнал, что Маланья лежит мертвая.

— Ах, поганая баба! Царство ей небесное...— воскликнул Воробушкин.— Какое колено отмочила! Не подождала... Что бы ей там умереть!

И Капитон Иваныч не знал, что делать. Он знал отлично, что, по распоряжению именно его «вышнего правительства», он должен сообщить о том, что женщина умерла зараженная, и просить приставить караул к дому своему или отправляться на другую квартиру — незараженную. И в первый раз покривил душой честный и добросовестный исполнитель всего, «вышним правительством повеленного». В качестве комиссара, Капитон Иваныч вызвал немедленно своего нового приятеля, священника отца Авдея, и отец Авдей, не справляясь ни о чем, за две гривны отпел Маланью и сам свез на погост.

«Сбыл с рук! — подумал Капитон Иваныч,— а то бы такая была канитель... Сам же комиссар, да сам же из заразительного дома».

Но, видно, судьба гнала бедного Капитона Иваныча.

В конце апреля, прокомиссарствовав менее месяца, Капитон Иваныч вдруг лишился своего почетного звания и стал опять простым отставным морского корабельного флота лейтенантом. И причиной этого общественного падения была та же супруга Авдотья Ивановна, которая, казалось, затем и послана была ему судьбой, чтобы всю его жизнь перековеркать. Однажды Авдотья Ивановна, после трехдневных рысканий по городу, неизвестно где и с какой целью, вдруг снова захворала. Капитон Иваныч не обратил на это ни малейшего внимания. Жена лежала уже неделю в постели, а Капитон Иваныч и не заглядывал к ней.

Однажды женщина, взятая на место Маланьи, явилась к Капитону Иванычу, когда он вернулся со службы,

и доложила ему, что барыня очень просит его пожаловать.

— Чего ей? — отозвался усталый Капитон Иваныч.

— Говорят — очень нужно. Сказывают — последнюю волю изъявить желает.

— Чего?! — удивился Воробушкин.

Женщина была умная, не чета Маланье, и объяснила все Капитону Иванычу очень толково.

— Барыня очень плохо себя чувствует и, в той надежде, что помрет, вам свою последнюю волю изъявить желает.

— Скажи ты ей: первое, что мне никакой ее воли не нужно, ни первой, ни последней; а второе, скажи, что я ее привередничанию не верю,— не такова она, чтобы помереть. Этакой радости мне в жисть не видать.

Женщина ушла, но появилась снова с той же просьбой от барыни.

— Тьфу ты, банный лист! — ругнулся Капитон Иваныч и пошел к жене.

Он не видал жены более недели и когда приблизился к кровати, на которой лежала жена, то невольно отступил на два шага.

Теперь, благодаря своей обязанности комиссара, Капитон Иваныч уже сталкивался несколько раз с больными, умершими от заразы. Он тотчас же увидел на своей жене все признаки чумы.

— Вот так колено! — выговорил Капитон Иваныч, выпучив глаза на жену.

— Помираю...— слабо отозвалась Авдотья Ивановна, лихорадочными глазами глядя на мужа.— Помираю...

— Да, это точно...— изумленно проговорил Капитон Иваныч.— Это точно... Помираешь и впрямь. А ведь я, по правде сказать, думал — ты балуешься. Вот так штука! — прибавил снова Капитон Иваныч и развел руками.

— Ты меня прости!..— заговорила Авдотья Ивановна,— коли в чем грешна была супротив тебя. Прости!..

— Да это что уж толковать,— рассудил Капитон Иваныч, продолжая стоять в приличном отдалении от постели.— Коли жива будешь, не прощу, все-таки под суд тебя упеку, а умрешь — что уж делать? Нечего делать, надо будет простить. Как же это тебя угораздило чуму захватить? Где ты болталась?

И вдруг Капитон Иваныч сообразил, что если его

жена умрет и будет известно в околотке — от какой болезни, то ему придется самому выдержать карантин и лишиться почетного места, которое он очень ценил.

«Помилуй Бог! — подумал он. —Вот одолжить-то! И при жизни-то поедом ела, да и помрет — подкузьмит окончательно».

— Авдотья Ивановна,— схитрил Воробушкин,— уж тебе все равно, коли помирать, а ты не сказывайся, что у тебя чума. Первое дело, тебя хоронить запретят, без погребения останешься, свезут тебя в госпиталь, и доктор на кусочки нарежет. Положим, тебе это будет не слышно: мертвой — что ни режут, ей все равно, а только все-таки, говорю, знать-то это тебе неприятно. Что за удовольствие, как ноги, руки отрежут да всю расковыряют! Я уж тебе это верно сказываю.

Авдотья Ивановна как-то глупо глядела на лицо мужа: не понимала она того, что он говорит, или не верила в опасность своего положения.

— Я не сказываюсь...

— То-то, не сказывайся никому.

— Только вот, родимый...— заговорила Авдотья Ивановна с умоляющим лицом.

И слово «родимый» в ее устах, обращенное к мужу, прозвучало как-то странно. Даже умирающей было как будто совестно своего малодушия.

— Сделай милость, пошли за Климовной, пущай придет... Одной лежать больно несподручно. Да мне надо с ней сосчитаться,— за ней ведь деньги есть... Помру — пусть тебе отдаст.

— Какие тут деньги? ну тебя! не до денег! А вот как бы не прослышали, что ты чумная, тогда беда будет. А Климовна разболтает беспременно. Нет, уж лучше лежи одна: помрешь — все равно; не помрешь, будет полегче, тогда за ней и пошлем.

Капитон Иваныч вышел от жены в раздумье.

«Ну, как меня из комиссаров турнут?.. Вот обида будет!» — думал он.

На другой день, вернувшись снова из должности, Капитон Иваныч увидел у себя в квартире вдову расстриги.

Климовна встретила Воробушкина на подъезде и жалостливым голосом объявила ему, что Авдотья Ивановна приказала долго жить.

Капитон Иваныч стал как истукан и вытаращил глаза.

— Хоть вы и неладно жили,— рассуждала Климовна,— а все-таки супруга. И потом, уж очень обидно, что не своей кончиной померла.

— Как не своей! — воскликнул Капитон Иваныч.— Удавилась?!

— Что вы! Господь с вами! Не своей кончиной, говорю,— от чумы. Теперь вам караул приставят, хоть вы и сами комиссар.

— Врешь, треклятая! — заорал Воробушкин.— Врешь и врешь! сама ты чума!

Воробушкин вошел в квартиру, хотел было пройти в горницу покойной жены, но остановился. Мысли его как-то путались. И вдовство неожиданное, и чума в доме, и боязнь потерять место комиссара, и надежда без супруги справить кое-как свои дела, найти и купить у Воротынского племянницу — все эти разнородные мысли, надежды и мечты наплывом ворвались в голову Капитона Иваныча и спутались вместе.

Однако на другой день новое положение разъяснилось само собой, и довольно печально.

Он действительно был вдруг и вдов, и лишен своего почетного звания, и отправлен в особый карантин для дворян, не желавших оставаться под караулом в зачумленном доме.

Капитон Иваныч был глубоко обижен и в то же время зол на покойницу жену.

— И при жизни мне все пакостила! — восклицал он в отчаянии.— И кончиной своей совсем напакостила. Ведь будто на смех умерла!..

VII

В доме Марьи Абрамовны Ромодановой многих лиц, давным-давно составлявших главное народонаселение дома, не было в наличности: внука Абрама с дядькой Дмитриевым и с отцом Серапионом, а кроме них, еще Кейнмана, Анны Захаровны, кучера Акима и арапки. Переворот полный в доме, и исчезновение этих лиц случилось быстро и совершенно неожиданно.

Когда Суконный двор был закрыт, то у всякого суконщика нашлась родня в Москве. Точно так же один из них поселился во флигеле дома Ромадановой, у дяди своего, кучера Акима. Будучи уже болен, он вскоре умер; за ним, разумеется, последовал зараженный дядя,

а за Акимом — часто посещавшая его, большая его приятельница, арапка.

Марья Абрамовна была, конечно, немало напугана; узнав, что в Москве чума, она не спала ночей. Единственно, что поразило ее гораздо более известия о чуме, было известие о том, что знакомого ей сенатора Еропкина сделали начальником, на место фельдмаршала. Марья Абрамовна давно знала Петра Дмитрича и ни капли не уважала, находя, что он зря попал в сенаторы.

— Нет в нем ничего ни сенаторского, ни генеральского. И на дворянина-то мало похож; нет никакой важности. Так, будто мещанинишка какой.

Еропкин редко бывал у генеральши, и Марья Абрамовна всегда относилась к нему с высоты своего величия. Часто, когда докладывали о нем, она приказывала принять его в гостиной и прибавляла:

— Обождет, не велика птица!

И вдруг теперь, неизвестно какими судьбами, эта невеликая птица стала начальником Москвы.

Марья Абрамовна помнила хорошо царствование Елизаветы Петровны и была, в силу предания в семействе, большой поклонницей покойной императрицы и врагом, по крайней мере на словах, нового правительства и немецкой принцессы, как называли в Москве фрондеры царствующую императрицу.

При некоторых мерах правительства фрондерство это в Москве усиливалось. Сигнал давался из дома графа Панина, повторялся в доме таких его подражателей, как Воротынский, и это отдавалось во многих домах, в том числе и в доме Ромодановой.

При назначении внезапном и непонятном всем известного, скромного человека, сенатора Еропкина, ропот елизаветинцев усилился донельзя. Граф Панин, как запевала, объявил, что конец света приходит, если подобные Еропкину люди будут назначаться «с бухты-барахты» на важные государственные должности. Панин уехал из Москвы тотчас, заявив, что всякий честный гражданин должен пойти в добровольное изгнание, бежать из столицы, где правителями назначается всякая мразь. Фрондер-запевала уехал в гости к Салтыкову в его подмосковное Марфино, и многие последовали его примеру.

Большинство, если не все, хотело придать своему отъезду вид протеста и недовольства новым начальни-

ком, которому они не желают повиноваться, но, в сущности, все они бежали из города из страха чумы.

Бегство дворян по деревням и вотчинам со всеми пожитками, с кучами дворовых было так велико и неудержимо, что все дороги и заставы московские были переполнены сотнями возов. Казалось, что вся Москва боярская выселяется. Еропкин тотчас же понял, что коль скоро суконщики заразили Москву, а Москва разъезжается во все стороны, то и чума вместе с ней расширит свой круг действия. Были немедленно устроены карантины вкруг города и окрестностей, чтобы хотя несколько сдержать распространение заразы. Разумеется, главное понимание было обращено на дорогу из Москвы в Петербург, и главные карантины, под наблюдением офицера графа Брюса, были по дороге на Вышний Волочок и Новгород.

Приказ Еропкина, которым он хотел остановить всеобщее бегство и спасти от заразы окрестности столицы, произвел такой ропот в москвичах высших слоев, что если бы господа дворяне умели бунтовать, то, конечно, на Москве настало бы смутное время.

Приказ Еропкина заключался в том, чтобы лица, какого бы то ни было звания и состояния, обращались к начальству за разрешением покинуть город и снабжались свидетельствами в том, что они не заражены. В нескольких участках были назначены доктора и повивальные бабки, которые обязывались свидетельствовать каждого, кто желал покинуть город, и затем выдавать пропускные билеты. Таким образом, мера эта падала главным образом на дворян. Простолюдин мог легко удрать из Москвы, пробраться пешком через заборы и канавы, чрез поля и леса и миновать все заставы и рогатки. Для дворянина, отправлявшегося в колымаге, с подводами, с целой свитой холопов, было, конечно, невозможно прокрасться из города незаметным образом.

После нескольких дней громкого ропота, гнева и пустых угроз господа дворяне должны были все-таки, повинуясь новому приказу нового начальника, идти на позорное для дворянина освидетельствование. Марья Абрамовна, собравшись даже уезжать из Москвы, отчасти из страха чумы, отчасти потому, что все именитые лица города делали это по примеру графа Панина, должна была точно так же выхлопотать себе свидетельство на проезд.

— Вот до чего дожили! — повторяла она, как и дру-

гие.— Прежде только рекрутов догола раздевали, а ныне все московское дворянство разденут.

Пригласить доктора или докторшу к себе на дом запрещалось строго; надо было, пройдя известные формальности, быть для свидетельствования на дому доктора. Марья Абрамовна погневалась целую неделю и, наконец, решилась, под страхом скандала, сделать то, что придумали и делали многие из ее знакомых...

В ее части города был назначен для освидетельствования отъезжающих доктор Маркграф с женою.

Однажды утром Марья Абрамовна объявила своей любимице, барской барыне, чтобы она отправлялась к докторше Маркграфше вместо нее, выдала бы себя за генеральшу Ромоданову и получила бы свидетельство на проезд.

Анна Захаровна была так смущена и поражена этим приказанием, что Марья Абрамовна даже изумилась, не понимая причины.

— Ты пойми, что тебе это за честь должно быть мою генеральскую персону на час времени изображать! — сказала Марья Абрамовна.

— Не сумею, родная моя! Ей-Богу, не сумею. Где же мне? — бормотала Лебяжьева.

— Чего не сумеешь? Пустое. Приезжай, скажи таково важно этому дохтуру: «Осмотри, мол, меня чрез женку свою, да живо, чтоб не зазябнуть».

— Догадаются, Марья Абрамовна. Увидят совсем не дворянское тело. Ей-Богу, родная, догадаются... Пошлите уж кого другого.

— Кого? Дура! Арапку чернорожую, что ли? Ты и годами подошла, и видом не совсем холопка. Ну, ну, собирайся!

— Ох, боюсь! ох, боюсь! — заплакала вдруг Анна Захаровна.

— Чего боишься-то, дура? — сердилась барыня на любимицу.— Ведь с тобой там ничего не сделают. Сделают только то, что мне в моем генеральском звании не приличествует: разденут тебя догола, всю оглядят и рассмотрят и, видя, что нет в тебе чумы, дадут отпускную.

— Так-то так,— плакала Анна Захаровна, утирая глаза сложенным в комочек платком.— А ну, как во мне чуму-то найдут! Умрешь со страху, да и вам сраму наделаешь.

— Не ври! Не ломайся! Вот тоже выдумала!..

Но барская барыня бросилась в ноги и умоляла

всячески генеральшу избавить ее от представительства. Марья Абрамовна была непреклонна, тем более что послать вместо себя было некого.

— Ты только будь поважнее. Обругай его! Помни, что ты изображаешь меня. Если ты ввалишься к докторше да будешь с ней тараторить, так она сейчас смекнет, что ты прикинулась. Будь поважней! Как в квартиру войдешь, так первым делом разругай их всех, а пуще всего Еропкина.

Анна Захаровна отбивалась на все лады, но наконец, делать было нечего, должна была повиноваться. Ей заложили самую лучшую карету генеральши, одели в бархатное платье Марьи Абрамовны, и с двумя гайдуками отправилась она в квартиру доктора Маркграфа.

На беду Анны Захаровны, госпожа Маркграфша была женщиной честной, добросовестно исполнявшей свое дело.

Через час приживалка была в горнице докторши и облегчалась от туалета и от всего, что навьючила на нее, маленькую и полную, высокая и худая Марья Абрамовна.

Маркграфша, никогда не видавшая в глаза Марью Абрамовну, а только слыхавшая о ней, была, конечно, введена в обман, тем более что Анна Захаровна, постоянно бывавшая при генеральше, усвоила себе много барского, и в этом отношении беды не было. Лебяжьева боялась совершенно иного — и недаром!!

После освидетельствования, продолжавшегося довольно долго, Маркграфша объявила «ее превосходительству», что не может дать свидетельства на выезд генеральши без того, чтобы она не показала мужу имеющуюся у нее болезнь на плече. Этого-то Анна Захаровна и опасалась. Маркграфша уверяла, что признаки чумной заразы так разнообразны, что она не может взять на себя решить вопрос, что за штука у генеральши.

Делать было нечего, Анне Захаровне приходилось выпить чашу до дна. Она согласилась на осмотр плеча самим доктором. Пунктуальный немец Маркграф дал свидетельство на свободный проезд генеральши из города, но в числе особых примет «ее превосходительства» Марьи Абрамовны Ромодановой прописал и то, что нашел на плече самозванки, т. е. карбункул.

И Анна Захаровна, не умевшая читать, ничего не подозревая, снова навьючила туалет генеральши и вернулась домой довольная, что получила свидетельство.

Уже год скрывала она от Ромодановой и от всех в доме свою болезнь и боялась, что доктор не даст ей пропускного билета.

Марья Абрамовна, получив и прочтя свидетельство, ахнула и чуть не упала в обморок. Во-первых, она ни за что не согласилась бы воспользоваться таким свидетельством и осрамиться перед чужими людьми, а во-вторых, ей приходилось гнать вон из дома свою любимицу.

— Что у тебя на правом плече? — вне себя воскликнула Марья Абрамовна.

Восклицание как громом поразило барскую барыню и сразу свалило ее с ног, в ноги генеральши.

— Простите, родная, я не виновата, само выросло.

— Что выросло?!

— Не знаю.

— А Кейнман знал? лечил?.. Знает он?..

— Знает. Лечил, резал, да ничего не полегчало!..— плакала Анна Захаровна.

— А? Так вы вот как! Меня надувать! А кабы ты, поганая, меня заразила! Кабы и у меня это выросло! А?! Об этом ты не подумала?!

И Марья Абрамовна, вне себя от страха и гнева, в тот же день выгнала вон любимицу, а за ней — и друга-доктора.

Барская барыня, уезжая с пожитками на квартиру, не забыла, однако, и свидетельства Маркграфши, которое ей бросила в лицо разгневанная барыня. Она взяла бумагу с собой, выменяла на другой же день на пропускной билет и выехала из зачумленной столицы под именем генеральши Ромодановой.

VIII

Покуда в Москве воевали доктора, смущалось начальство, разбегались по городу суконщики, разносили заразу и начинал волноваться народ, в стенах Донского монастыря жизнь шла обычным порядком, тоже с своими маленькими бурями и угрозами. До монастыря доходили слухи о страшной болезни, явившейся в городе, но монахи не боялись, уверенные, что к ним за монастырскую стену никакая чума не придет. Архимандрит обещался устроить строжайший карантин, никого не впускать в монастырь и никому не позволять отлучаться в Москву.

Менее всех думали о чуме два молодых послушника — Абрам и Борис. Они были так счастливы, что никакая чума не смутила бы их.

Монастырский послушник Борис появился в монастыре, еще когда все было покрыто снегами. Теперь давно уже наступили теплые майские дни; все зеленело как в монастырской ограде, так и кругом монастыря. Но Уля еще не могла прийти в себя, не могла опомниться, сознательно оглянуться и объяснить самой себе, как сделала она роковой шаг и каким образом совершился столь важный переворот в ее жизни.

Уля часто сидела у окна кельи, смотрела по целым часам во внутренний двор монастыря — пустынный, безлюдный и немой. Она вспоминала малейшие мелочи своего недавнего прошлого, свое мыканье у Алтынова, у Воротынского, свою встречу на проруби с бедным отцом Авдеем и, наконец, свою роковую встречу с Дмитриевым поздно вечером, на улице Москвы. И с той минуты, что она согласилась, не имея пристанища, сесть в санки Дмитриева и ехать с ним в Донской, сама не зная как, но зная только, что там найдет она Абрама,— с той минуты вся жизнь ее повернулась иначе. С этого дня потеряла она собственную волю и повиновалась беспрекословно Абраму, чего бы он ни потребовал.

Только раз, на второй или третий день после приезда, она провела одну бессонную ночь в маленьком домике за монастырскими воротами, тоже принадлежавшем баричу.

Она обдумывала всячески свою беседу с Абрамом накануне вечером, вспоминала каждое его слово. Она то решалась на все, то смущалась и хотела бежать из монастыря, снова мыкаться по Москве, но мысль, что она будет найдена, силой приведена к Воротынскому, останавливала ее. Под утро, поплакав немного, Уля взяла две бумажки, вырезала два билетика, затем достала щепку, обожгла кончик на свече и нацарапала, как умела, на одном билетике — «Боже оборони», а на другом — «Боже благослови» Положив оба билетика в углу образном, она спокойно заснула.

Проснувшись довольно поздно, она перекрестилась, прямо пошла к образам, смело протянула руку и взяла наугад один из билетиков, который торчал из-за старой пожелтелой иконы. Она сжала его в руке и не сразу решилась прочесть. Она боялась, и боялась именно того, что билетик прикажет ей обороняться и, следовательно,

бежать из Донского, примириться с положением наложницы Воротынского или снова идти к прорубям Москвы-реки.

Но Уля, держа билетик в судорожно сжатой руке, мысленно поклялась послушаться и исполнить волю Божию. Наконец она развернула билетик и прочла:

— «Боже благослови».

Все было сказано, все было кончено. Она отошла, села на лавку и стала ждать. Через час явился Абрам. Уля встретила его ясным, кротким взглядом и тихо объявила, что согласна на все — и на рясу послушника, и на житье в монастыре под страхом строгого наказания, и на все, что только ни пожелает Абрам.

И с той поры прошло около двух месяцев. Зимы давно не было, и вместе с растаявшими снегами будто растаяло горе Улино, исчезли все ее горькие помыслы, печали и невзгоды. Она обожала Абрама, исполняла, как закон, малейшие его прихоти и была готова, по первому его слову, идти за него хоть на смерть.

Несмотря на то что служка Борис постоянно искусно избегал встречаться и говорить с монахами монастыря, все-таки весь монастырь знал молодого служку. В четырех стенах монастырской ограды было мудрено не сходиться.

Однако архимандрит, тотчас же через две недели после поступления нового служки, потребовал его к себе.

Уля отправилась в горницу архимандрита ни жива ни мертва, и, конечно, с первых же слов, после двух-трех вопросов, хитрый Антоний понял, с кем имеет дело. Отпустив Бориса, он усмехнулся и сказал:

— Только веди себя смирно, подале от нашей братии держи себя, знай молодого барича да Дмитриева. Будешь жить тихо, я тебя не трону.

За исключением самого архимандрита, никто из монахов не подозревал, что молодой служка Борис — переодетая красивая девушка.

Однако через несколько дней Антоний потребовал к себе Дмитриева и объяснился с ним ласково и кротко. Но Дмитриев вернулся к баричу сумрачный.

— Что ему нужно было? — спросил Абрам.

— Что нужно! — угрюмо отвечал Дмитриев.— Бестия он, ехидный, раскусил дело-то.

— Что ты?! Про Улю спрашивал? Узнал?!

— Да вы не пужайтесь, не ноне узнал, а тогда, как к себе ее вызывал, давно.

— Что же ему нужно?

— Что! не мудреное дело догадаться!

— Что ж, гонит, что ли, вон?

— Небось, не погонит. Зачем гнать? Он только двадцать пять червонцев просит.

— Ну так и дай!

— Дай! Дал бы, кабы знал, что это последние. А как он начнет это за мной посылать каждую неделю да все деньги у нас оберет, так что и нам не на что жить будет, а потом, обобрав, и прогонит? Вы как об этом думаете? Этак уж пусть сейчас гонит, с деньгами.

— Так что же делать, Иван?

— Что делать? Вот я хочу надумать, что делать. Надо с ним документ какой написать. Пусть берет зараз хоть пятьдесят червонцев, да чтобы последние были, а то ведь этак кровь выпьет.

— Ну, так и скажи ему. Условьтесь — ты деньги отдай, а он пусть обещает нас не тревожить.

Иван Дмитриев рассердился не на шутку.

— Хорошо вам рассуждать, а как это сделать? А коли я полезу с условием, а он меня турнет, да прямо к преосвященному? Нет, надо нам прежде приготовиться на тот случай, если нас из монастыря всех погонят.

— Да ведь мы же так с тобой и собирались,— усмехнулся Абрам,— такие колена отмачивать, чтобы нас гнали из монастыря в монастырь. Чего же ты теперь испугался?

— Э-эх вы, барин! Не в том дело. Пускай гонят! Нешто я об этом тужу? А ведь погонят отсюда, дело-то огласится, узнают имя Борьки-то нашего, прослышит Воротынский, Ульяну-то к нему через полицию и вытребуют. Нет, уж вы меня оставьте, я ныне пораскину мыслями, что-нибудь надумаю.

Однако на следующее утро Дмитриев ничего не придумал и решил, что надо покуда на время откупиться, и он снес деньги Антонию. Дмитриев ошибся, но только отчасти.

Архимандрит не беспокоил счастливую чету более месяца и изредка, нечаянно встречая на монастырском дворе молодого служку Бориса, ласково, но хитро улыбался ему и кивал головой.

Наконец однажды в монастырь явилась карета Ромодановой. Марья Абрамовна приехала проведать внучка и проститься с ним, так как она решилась ехать в свою дальнюю вотчину.

Когда Марья Абрамовна вошла на крыльцо кельи внучка, служка Борис, полумертвый от страха, убежал в кладовую, и там Дмитриев запер его на ключ.

Посидев немного у внучка, Марья Абрамовна отправилась на чашку чаю к Антонию. Покуда генеральша кушала чай у настоятеля вместе с послушником-внучком, явился к Дмитриеву келейник, любимец и родственник Антония, с просьбой одолжить настоятелю сто червонцев. Иван Дмитриев привскочил на месте, потом опять плюхнулся на свое место и чуть было не упал с него на пол.

— Ах вы, кровопийцы! — заорал Иван Дмитриев вне себя таким голосом, что келейник вздрогнул и попятился.

Иван Дмитриев обозлился не в меру.

— Поди ты скажи своему архимандриту, что нет у нас про него ни гроша и впредь не будет. Так и скажи!

Келейник вернулся к настоятелю и тотчас, при гостях, шепнул ему что-то на ухо. Настоятель усмехнулся и, обращаясь к генеральше, вымолвил:

— Не нарадуется сердце мое, Марья Абрамовна, на моих двух послушников. Оба они тихи, скромные, богомольные, не знаешь, который скромней: Абрам ли ваш Петрович или Борис.

Абрам, подносивший чашку чаю к губам, чуть было не пролил ее на богатый персидский ковер настоятеля; кусок баранки, который он жевал, стал у него колом поперек горла. А настоятель улыбался, глядя на него так ласково и приветливо.

— Какой Борис? — вымолвила Марья Абрамовна.

— А нешто вы не знаете, ваше превосходительство, вот что живет у вашего внучка?

И настоятель подробнее все объяснил Марье Абрамовне, удивляясь, что она Бориса не знает.

— Откуда же ты такого достал? — спросила Ромоданова внучка.

Абрам постарался двинуть языком изо всех сил, хотел непременно проговорить что-нибудь, но ничего не вышло: язык его прилипал к гортани.

«Вот сейчас все вверх ногами и станет!» — думал он.

И он смутно слышал, как настоятель приказывал келейнику дойти к Ивану Дмитриеву и попросить его прислать или привести молодого Бориса.

—Позвольте, я добегу,— сумел наконец выговорить, поперхнувшись, Абрам.

— Сбегай, сбегай! — ласково, певуче, даже нежно проговорил настоятель.

Абрам, как коза, запрыгал по лестнице настоятеля, два раза чуть не упал и через несколько секунд вбежал, запыхавшись, в свою келью, где сидел Иван Дмитриев.

Дядька по лицу своего питомца увидел и понял, что у настоятеля что-нибудь да произошло и что происшедшее было, конечно, последствием его отказа.

— Бориса требует!.. Сейчас Бориса... Тьфу! Улю!.. Пойми ты,— сейчас требует... туда...— едва переводя дыхание, заговорил Абрам.

Иван Дмитриев никогда не переспрашивал и не любил тех, кто это делал, но на этот раз и он невольно выговорил:

— Что? Что?

— Улю требует! Как тут быть? Пропали!..

— Ну, молодец! — проговорил Иван Дмитриев.— Ей-Богу, молодец! Какова бестия! Что тут теперь делать?

И оба несколько минут простояли друг перед другом, молча и раздумывая.

— Ну, а если свести ее? если бабушка-то ваша в ряске-то ее не узнает?

— Что ты! Господь с тобой! — замахал руками Абрам.

— Да она ведь ее когда видела-то? Об Рождестве, а теперь май; да она же и похудела, голубушка. Надо думать, от монастырской жизни, от постов и молитвы. Ей-Богу, свести!..

Но вдруг Иван Дмитриев ударил себя по лбу и прокричал чуть не на весь монастырь:

— Ах я телятина, телятина! Ах я оловянная башка!

И, ни слова не говоря, он бросился в коридор, отворил дверь в кладовую, позвал Улю и объяснил обоим перепуганным молодым людям:

— Слушайте вы: идемте сейчас туда! Ты, Ульяна Борисовна, ответствуй Марье Абрамовне, что ни спросит, и старайся другим голосом говорить да глаз не поднимай. Тебя по глазам всякий, кто знает, за сто верст отличит. Коли не узнает она тебя, так говорить нечего, гриб съел наш архимандрит. А коли узнает она тебя, признает, что ты та самая Улюшка, что за Васькой ходила...

— Тогда что?! — воскликнул Абрам.

— Тогда наш Антошка, настоятель, три гриба съест.

— Это как?

— Да так. Знаете вы игру в носки, ну в дурачки, что ли?

— Полно баловаться, Иван!

— Идите, вот увидите все. Ну, Антошка, не тот, брат, ход! — нараспев говорил Дмитриев.— Не тот, родимый, ход! В дураках и останешься.

Через несколько минут все трое — веселый, с дерзким лицом, Дмитриев, румяная и смущенная Уля и полусмущенный, но верящий в каждое слово дядьки Абрам — предстали перед Марьей Абрамовной и архимандритом.

В первую минуту Ромоданова, конечно, не узнала Улю в ее новом наряде и монастырском колпаке. Но затем, после первого же ответа служки Бориса, Марье Абрамовне вспомнился чей-то знакомый голос; она пристальнее вгляделась в служку. Еще вопрос, еще ответ, хотя тихий, шепотом!.. И Марья Абрамовна вымолвила, несколько изумляясь:

— Подойди-ка сюда поближе!

Настоятель сидел торжествуя и злобно ухмылялся, косясь на Дмитриева. Дмитриев давно опустил глаза и старался изобразить на лице своем полное отчаяние и перепуг, но мысленно он повторял: «Не тот ход, Антошка!»

Иван Дмитриев оказался умнее и дальновиднее всех.

Марья Абрамовна взяла за руку Бориса, пристально глянула служке в лицо, разинула рот, выпустила руку и не сказала ни слова. Архимандрит ждал мгновенье за мгновеньем... Вдруг Марья Абрамовна попросила себе еще чашку чаю и этим как бы дозволяла Дмитриеву и Борису уйти.

Ромоданова узнала Улю, но что же было ей сказать? Скажи она одно слово, и что же будет? Абрама выгонят со срамом из монастыря, и он явится к ней в дом, к ней на руки.

Хитер был Антоний, а этого не понял, и прав был Дмитриев, говоря:

«Не тот ход, Антошка!»

Если бы настоятель прямо пожаловался генеральше или передал ей свои подозрения, то, конечно, Ромоданова не решилась бы лгать и как бы входить в заговор с внучком в таком срамном деле. Но ведь архимандрит только хотел показать ей служку Бориса, которого он

так превозносил,— ну вот Марья Абрамовна с Борисом и познакомилась, а после того и попросила себе чашку чаю.

Однако когда через несколько минут Марья Абрамовна собралась уезжать, то, вернувшись в келью внучка, она объяснила, многозначительно глядя в лицо Дмитриева:

— Смотри ты, чтобы все у вас было благополучно, чтобы не вышло глупости какой! Слышишь ты? На тебя я надеюсь, Иван.

— Будьте спокойны-с,— ухмылялся Дмитриев, глядя в лицо барыни,— все у нас будет тихо. Тихие мы люди, и я тихий человек, и Абрам Петрович тихий да скромный, а уж Борис-то наш куда тих! Совсем красная девица!

И при этом Дмитриев, прямо глядя в глаза барыни, расхохотался во всю мочь. И тут промолчала Ромоданова.

«Ведь ехать надо, от чумы бежать, что же будешь делать?» — думала она.

Когда Марья Абрамовна, холодно три раза расцеловавшись с внучком, выехала с монастырского двора, то Дмитриев почесал за ухом и выговорил:

— А ведь делу-то не конец: обозлился теперь небось наш-то не в меру. Червончиков десяточек пойду ему снесу, а то ведь он и дальше плутовать начнет. Этаким же манером нашего Бориса представит самому преосвященному. Да еще, пожалуй, такую штуку подведет, что мы не в другой монастырь пролетим, а под суд улетим.

Взяв деньги, Дмитриев отправился к настоятелю.

Абрам и Уля остались вдвоем в келье и принялись весело смеяться. Уля в себя не могла прийти от всего случившегося.

— Да как же она промолчала? Как же она не сказала? Ведь она узнала меня,— верно узнала. Кажется, век буду помнить, как она на меня поглядела да рот разинула. И как же она промолчала? — приставала Уля к Абраму.

Но Абрам только разводил руками.

— Это уж Иван пускай разъяснит, а я, признаться, ничего тут не понимаю.

IX

Княгиня Колховская тоже давно собиралась выехать из Москвы со всем семейством, всем домом, и все не могла собраться.

Сначала предполагалось, что Матвей, несмотря на все сплетни и пересуды в Москве, все-таки последует за семейством княгини в их вотчину. Княгиня боролась сама с собой и день, и ночь; ей совестно было везти за собой, вместе с дочерью и сыном-идиотом, молодого офицера, который уже давно перестал считаться женихом дочери, и почти всем было известно, какого рода роль играет молодой Воротынский. Разъехаться, оставить Матвея в Москве княгине было мудренее, чем шестнадцатилетней пылкой девушке-невесте расстаться с своим возлюбленным.

Княгиня, несмотря на свои годы, была увлечена юношески-страстно и безрассудно. Такая слепая, всепоглощающая привязанность только и может быть, что в шестнадцать и пятьдесят лет,— у того, кто начинает жить, и у того, кто кончает жизнь, не испытав в молодости бурь и гроз сердечных.

— Надо перебеситься в двадцать лет, или взбесишься в пятьдесят,— говаривал часто один из сочинителей кружка княгини, писавший под именем «дворянина-философа».

Часто, слушая рассказ княгини в минуты откровенности о ее безрадостной, скучной и будничной молодости, дворянин-философ качал головой, жалел свою приятельницу и говорил:

— Ведь ты, княгинюшка, не жила еще! С твоим умом, с твоим сердцем, с твоими талантами прожить этак жизнь, это значит зарыть свой талант в землю. Самого-то лучшего на свете, святого, единственно украшающего человеческую жизнь,— этого-то ты и не изведала. Как бы тебе, моя голубушка, на старости лет не взбеситься!

Княгиня часто смеялась над предсказаниями своего друга. Теперь вдруг шутки приятеля и его шутливые предсказания сбылись.

Вскоре после того, как бригадир прогнал сына из дома и Матвей нанял себе отдельный дом, княгиня, собиравшаяся уезжать, опять отложила отъезд.

Обстановка Матвея, на ее же деньги, внушала ей всякие опасения, и она имела повод ревновать его.

Матвею, конечно, не хотелось ехать в далекую вотчи-

ну княгини. Он был настоящий петербургский гвардеец, любивший городскую жизнь, никогда не пробовавший деревенской жизни. Рассказы о том, как летом ездят в лес господа и дворовые грибы собирать, рассказы о «страде», сенокосе, жатве и вообще все, что относилось до деревенской жизни, казалось Матвею диким и странным. Если бы он мог ехать с княгиней на одну неделю, то поехал бы с удовольствием, но отправляться на целое лето, хотя бы даже из зачумленного города, ему не только не нравилось, но пугало его. Что касается до чумы, о которой в городе говорили все, то Матвей только пожимал плечами, улыбался, выставляя свои жемчужные зубы, и приписывал все глупости Москве и москвичам, к которым привык еще в Питере относиться если не презрительно, то покровительственно.

Наконец отъезд княгини был уже назначен, и было решено, что Матвей приедет после к ней в гости.

Отъезд княгини — хотя и в дальний путь — обыкновенно происходил не так бурно, как у Ромодановой. Никогда не бывало беготни, суетни, споров и перебранки между прислугой. Про княгиню даже Матвей говорил, что она вообще живет не на московский, а на петербургский лад.

Однажды, в сумерки, княгиня сидела у себя, сводила кое-какие счеты перед отъездом и, переглядывая расходную книгу, в которую она аккуратно записывала все траты, она невольно сочла все те суммы, которые перешли за последнее время в руки Матвея. Цифра денег была так велика, что испугала княгиню.

Матвей взял и истратил в короткое время столько, сколько княгиня, живя широко, тратила на всю свою обстановку за целый год.

В уме пожилой женщины вдруг возник вопрос и шевельнулись сомнения, которые должны бы были возникнуть гораздо ранее. Она вдруг спросила себя: могло ли бы случиться то, что случилось, если бы она была женщина бедная или, по крайней мере, не очень богатая? Не играет ли какую роль эта страшная сумма в этой внезапной привязанности к ней, пятидесятилетней женщине, молодого, красивого гвардейца? И теперь вдруг кто-то будто сказал княгине на ухо роковые слова:

«Конечно! Без сомненья! Это ясно как день Божий!» — И княгиня оперлась локтями на свое маленькое бюро, положила на руки свою голову, где слегка

блестела седина, и из глаз ее, устремленных на исписанные страницы расходной книжки, закапали крупные слезы. Слезы горечи и стыда! Слезы виноватой!

Давно ли она была головой выше всех во всей Москве, а теперь она не смеет взглянуть прямо в глаза последней девчонки на побегушках в доме. И выйти из этого положения, порвать эти новые и дорогие, но вместе с тем тяжелые и позорные цепи она, конечно, не находит в себе силы. И чем дальше, тем менее оно будет возможно, будет бесполезно, ничего уже не спасет — разве одни лишние гроши.

В то же время, в гостиной нижнего этажа, окошки которой на сажень от земли выходили в сад, сидела с братом княжна Анюта.

Княжна рада была назначенному отъезду. За последнее время ей было как-то неловко в Москве. «Бабий синедрион» давно расстроился, и заседаний давно уже не было. Приятельниц у княжны одних лет было только две, но и те понемногу перестали у них бывать. Княжна и понимала, и не понимала ту перемену, что совершилась у них в доме. Во всяком случае, княжна радовалась, что через три дня они выедут из этого дома, где жизнь стала вдруг какая-то другая — трудная, запутанная.

«Авось горничные в деревне перестанут так нехорошо улыбаться, как начали вдруг улыбаться здесь»,— думала княжна.

Захар сидел у отворенного окна в большом кресле и, как всегда, в особенности летом, смотрел не спуская глаз на ярко сиявшее солнце. Прямые золотые лучи, падавшие с синего неба ему в лицо и в глаза, уже давно ослепили его.

Княжна, посидев сначала около брата в ожидании прихода матери, взяла наконец от скуки свою арфу, пристроилась недалеко от окна и начала играть. Благодаря растворенным окошкам, звуки арфы разносились далеко по улице. Когда княжна играла в летние месяцы в этой называемой в доме «летней» гостиной, то всегда на улице за забором сада останавливались и дивились прохожие. Музыка, и такая музыка, в Москве была, конечно, диковиной. Иногда случалось, что до полсотни народа толпилось за забором. Всем было известно, не только в околотке, но во всей Москве, что это играет мастерица княжна, и толпящаяся публика всегда вела себя скромно, не смея даже громко разговаривать.

На этот раз, когда княжна начала перебирать разные

любимые романсы и песни, несколько прохожих: две-три женщины, подьячий, разносчик, какой-то мастеровой, каждый по очереди останавливались за забором, прислушивались и вскоре отходили прочь.

Время было не то. Действительно, у всякого была теперь своя забота, маленький отголосок общей большой заботы всего города, заботы о матушке чуме, которая начинала шнырять по всем улицам.

В ту минуту, когда одна старуха и разносчик стояли за забором, прислушиваясь к музыке, и старуха объясняла полушепотом разносчику, «чьи это палаты и кто это так играет», молодой малый приближался к ним. Это был с виду мастеровой, но чисто одетый, в новеньком платье с иголочки, с русыми волосами, густо смазанными маслом, с веселым лицом, большими синевато-серыми, слегка задумчивыми глазами. Он шел вдоль того же забора, дошел до места, где начинали явственно слышаться звуки арфы, и вдруг замедлил шаг, потом снова пошел быстрее, почти побежал. Прибежав к тому месту, где всего гуще, всего звучнее дрожали в воздухе чудные певучие аккорды, молодой малый остановился как истукан. Он развел руками и поднял вверх изменившееся от волнения и изумления лицо, как бы стараясь увидать, с какого это облачка синего неба летят на землю эти чудесные звуки.

— Господи Иисусе! — прошептал он вдруг испуганным шепотом.— Да что же это такое?! Господи, помилуй!..

Малый этот был, конечно, Ивашка. И никому не понять никогда, что случилось в это мгновенье в душе деревенского парня, который чуть не с рожденья в глуши поселка певал самодельные песни.

Никогда ничего, кроме балалайки и гармоньи, не слыхал Ивашка, но часто сердце его будто говорило ему, будто чуяло, что на свете может быть что-нибудь и лучше... Ведь хорошо поет он, а хор певчих в соборе, что слышал он еще не так давно, во сто крат звончее и чуднее, больше за душу хватает всякого, чем его песнь.

«Стало быть,— думал Ивашка часто,— сотня балалаек будет не то, что одна».

И вот тут внезапно будто новый мир открылся душе его. Остановившись теперь у этого забора и размахнув вдруг руками, он таким голосом воскликнул: «Господи! Да что это такое?» — что старуха и разносчик тотчас пошли от него прочь.

— Подгулял! —решил разносчик.

— А то, може, и чумной! — решила старуха.

Ивашка остался один у забора, прикованный к месту. Какая-то чародейская сила захватила его. Эти поразившие его звуки будто лились на него, охватывали его всего. Ему казалось, что сердце дрожит в нем и трепещется, откликаясь на эти звуки.

Ивашка, конечно, не владея собой, а по воле этой чародейской силы, в одно мгновение взмахнул на забор. С забора увидел он сад, но окна дома были скрыты ветвями деревьев. Звуки лились оттуда... через густую листву. Кто? Что там?! Какое диво дивное там поет? Жар-птица, что ли, сама запела, да не в сказке, а наяву!!

Ивашка спрыгнул с забора, бросился к окнам, но они были выше его роста. Он уцепился руками за ближайшее, цепко поднялся и через мгновение был на подоконнике, а затем и в горнице.

Княжна, сидевшая спиной к окну и задумчиво проводившая руками по струнам арфы, не могла заметить неожиданного гостя.

Но князь Захар, не смотревший в эту минуту на солнце, увидел фигуру Ивашки, который, как кошка, мягко влез на окно и мягко опустил ноги на пол. Идиот стал смотреть через сестру на появившегося парня, и, вероятно, даже идиоту показалось дело необыкновенным. Он вдруг весело и глупо начал смеяться, сидя на своем мягком кресле.

Княжна пришла в себя, поглядела на брата. Захар, продолжая смеяться, показал пальцем в ее сторону и смотрел через нее. Княжна обернулась и, невольно вскрикнув, отскочила так быстро, что даже табурет, на котором она сидела, упал набок. Звуки прекратились, очарование исчезло, и потому очарованный тоже пришел в себя.

Ивашка снял шапку и дрожащим голосом проговорил:

— Простите, родимая, виноват!.. Простите, Бога ради!..

— Кто ты? Кто? — воскликнула княжна.

— Не знаю, как попал... Простите!..— лепетал Ивашка и невольно вдруг упал на колени.

Он теперь понял всю дерзость своего поступка, понял, что дело может кончиться плохо, и, пожалуй, он может очутиться в остроге, если вдруг его вором сочтут.

Добродушное лицо его, честный взгляд его серых

глаз, его робкий, слегка дрожащий голос, наконец, опрятная внешность — все сразу успокоило княжну. Она снова сделала несколько шагов к неожиданному гостю, стоявшему на коленях у окна, и выговорила:

— Как ты сюда попал? Зачем ты влез в окно? Что тебе нужно?

Ивашка, не поднимаясь с пола, заговорил отчаянно и, восторженно размахивая руками, рассказал, как умел, по-своему, что с ним случилось. Рассказал, как любит он песни и музыку и как никогда не смел и подумать, что есть на свете такая музыка.

Несмотря на все его горячее красноречие, лицо и голос его говорили еще больше. Княжна стояла над ним, слушала его, не проронив ни слова, пристально глядела в его добрые и восторженные в эту минуту глаза, и что-то такое неуловимое, диковинное, что было в эту минуту в парне, сообщилось вдруг и ей. И апатичная, вечно спокойная княжна, равнодушно выслушивавшая всякие сладкие речи всяких московских кавалеров, теперь была слегка взволнована, вечно бледные щеки ее слегка зарумянились, глаза засияли, и она улыбалась.

Случившееся было так неожиданно, так странно, так невероятно. Все это было так похоже на некоторые происшествия в прочитанных ею переводных романах, что она еще не вполне верила: сон или действительность все происходящее.

— Родимая, сядьте, поиграйте! Прикажите меня хоть высечь, хоть колесовать потом, а сыграйте! — заговорил Ивашка таким голосом, что княжна, охотно и быстро подняв табурет, села и заиграла снова.

Ивашка не двинулся, а остался полусидя на полу. Он оперся одной рукой в гладкий, чистый пол и, не шелохнувшись, не сморгнув, глядел на княжну и на арфу, на руки и струны... и унесся своими помыслами и своей восторженной душой далеко от княжны, унесся за этими улетающими звуками, даже дальше их...

Когда княжна кончила небольшой романс, который распевался в Москве на все лады, Ивашка глухо выговорил:

— Еще, еще, барышня! Не мучьте, родная! Еще...

Княжна, совершенно повинуясь этому голосу, сыграла снова тот же романс, и, когда она кончила, Ивашка, не поднимаясь с пола, глянул в лицо ее и вымолвил робко:

— Можно мне?

— Что? Сыграть? — удивилась княжна.

— Нет, спеть.

Но не успела княжна ответить, как Ивашка звонко, сильнее и звучней, чем, быть может, когда-либо в жизни, затянул тот же самый романс. Все те переливы, которые еще сейчас звучали на струнах, теперь были в его голосе.

Княжна разучивала этот романс на арфе около месяца, а этот парень, прыгнувший в окошко, затянул его, прослушавши только два раза! И как затянул! Какое чувство, какая сила могучая была в этих человеческих звуках!

Княжна, совершенно пораженная, отодвинула арфу, обернулась к этому диковинному посетителю, слушала и не верила своим ушам. Даже князь Захар сидел в своем кресле, разиня рот.

Княгиня, услыхавшая в доме громкий, мягкий голос, повторявший любимый романс ее дочери, тоже удивилась и пошла в гостиную узнать, кто поет там. В числе их знакомых такого певца никогда не бывало. И, войдя, княгиня так же, как и сын, остановилась на пороге, разиня рот. И никто не обратил на нее внимания.

Ивашка, полусидя на полу и глядя куда-то в потолок, страстно выводил голосом; княжна неподвижно сидела на табуретке, обернувшись к нему и наклонившись над ним; князь Захар также неподвижно сидел и глупо глядел на певца и на сестру.

И очарование царило в гостиной до тех пор, покуда Ивашка не кончил. Когда наступило молчание в гостиной, княгиня сделала несколько шагов вперед и вымолвила:

— Что это такое? Кто он?

На это отвечать было некому. Княжна не знала сама, а Ивашка если и знал свое имя, то, конечно, не знал, что он такое, и не знал, что заставило его перемахнуть через забор палат и влезть в княжескую гостиную. Если бы Ивашка только влез и прослушал музыку княжны, то, быть может, его проводили бы обратно довольно невежливо, но того, кто так спел и заставил самою княгиню простоять на пороге и прослушать песнь до конца, гнать в шею было уже невозможно.

Узнав, кто таков молодой парень и как попал в гостиную, княгиня рассмеялась и снова ушла к себе. А княжна, отпустив парня добежать по тому делу, по которому он был послан доктором Шафонским, приказала ему непременно вернуться вечером к ней.

—У нас ты и оставайся! — решила княжна.— Се-

годня же уходи с того места и поступай к нам. С нами поедешь и в деревню.

И все это говорила княжна с таким оживленным лицом, таким голосом, что многие из ее знакомых, хотя бы даже весь «бабий синедрион», немало подивились бы, глядя на нее.

X

Матвей Воротынский, живя в доме отца, во многом стеснялся во вкусах и привычках и теперь, поселившись один, вел прежнюю веселую жизнь. Один в большом доме, нанятом им на Остоженке, он снова начал ту же жизнь, что вел в Петербурге, с тою только разницей, что теперь у него были в руках большие средства. Княгиня ужаснулась, увидя ту сумму, которая перешла в руки молодого любимца; но сам Матвей не считал того, что тратил, и не знал, сколько сотен червонцев прошли через его карманы и рассыпались по Москве.

Главная затея и любимое занятие его состояло в том, чтобы покупать десятки лошадей. У московского дворянства в то время возникла новая страсть — выезжать рысаков. Несколько лет спустя явился мастер в этом деле, который увековечил бы свое имя наездничеством и своими конскими заводами, если бы не обессмертил себя иначе: победой при Чесме. Граф Алексей Орлов, поселясь в Москве, завел в больших размерах и с большим искусством то, что уже существовало в первопрестольной.

В Петербурге у Воротынского была страсть к лошадям, но затея была не по карману; теперь он проводил целое утро с конюхами и рысаками.

Его красивая и щеголеватая фигура, его великолепные пары, тройки и цуги всевозможных мастей стали скоро известны всей Москве.

Когда лошади надоедали ему, он целым поездо́м, с поварами и многочисленной накупленной дворней и с подводами пожитков отправлялся верст за сто и более от Москвы — на охоту. Рассылая по дорогам подставы из своих лошадей, Воротынский летал по окрестным столбовым трактам Москвы, делал иногда сто верст менее чем в четыре часа времени, причем иногда дороги усеивались падшими лошадьми.

Любимая охота его была на лисиц, волков и чаще

всего на медведей. Этого рода забава была не в характере молодого офицера, но это было в моде.

Охоты эти, на которые Воротынский отправлялся с искусными охотниками, производились при помощи холодного оружия, с ножами, кинжалами, рогатинами. Почти каждый раз случалось какое-нибудь несчастие. Медведей было много; случалось поднять двух-трех зараз, и кто-нибудь из смельчаков оставался на месте, изорванный в клочья. Однажды сам Матвей едва не был изуродован вылезшим и навалившимся на него медведем; в другой раз мальчуган-казачок был съеден волками почти на глазах Матвея.

Вместе с этим у Воротынского почти, можно сказать, во всех кварталах города были новые приятельницы-красавицы, которые по нем сходили с ума, для него же были простой забавой.

Одновременно с переселением из дома отца, Матвей, взяв еще у княгини очень крупную сумму денег, стал реже бывать у нее, меньше засиживался, когда являлся; и чем нежнее и внимательнее была к нему княгиня, тем сумрачнее и угрюмее становился молодой малый.

Связь эта начинала тяготить его, и он не находил в себе достаточно силы, чтобы притворяться. А между тем княгиня, женщина умная и развитая, не догадывалась о происшедшей перемене; ей в ум не приходило, чтобы все это могло так же быстро кончиться, как быстро началось.

Во всяком случае, Матвей начинал скучать все более и более и начинал мечтать именно о том, что было невозможно,— о возврате в Петербург. Иногда он готов был, вопреки изгнанию своему, хотя бы тайно съездить в дорогой для него город.

Когда началась чума, Матвей весело встретил беду, как бы встрепенулся.

— Хорошее дело! — восклицал он.— Как пойдет народ умирать со всех сторон, авось веселей станет в вашей Москве. А уж если чума вас не растревожит, так чего же после этого от вас ожидать?

Разумеется, чем легче давалось все Матвею, вследствие больших денег, которыми он распоряжался, тем скучнее становилось ему, и единственная новинка, которая могла его расшевелить, была чума и сумятица от нее во всех слоях населения.

Едва только был назначен Еропкин и составилась новая канцелярия, Воротынский, в числе прочих офице-

ров-гвардейцев, бывших в Москве, явился к Еропкину и зачислился тоже. Тотчас же был он сделан комиссаром на Остоженке с прилегающими к ней переулками. Молодой малый был очень доволен своим новым званием, снова повеселел, но вскоре же, через несколько дней, увидя на деле, в чем заключалась его должность, разочаровался и перестал являться с докладами к Еропкину.

В то время, когда тоска начала все более одолевать молодого офицера, когда он начинал мечтать о тайном путешествии в Петербург, хотя бы пришлось ему за это высидеть в крепости, случилось с ним странное, никогда не бывалое «происшествие». Так сам назвал он самый пустой случай.

Проезжая раз на тройке по одной из московских улиц, он увидел молодую, черноволосую женщину, слегка бледную, с крайне грустным лицом. Что-то особенное, странное, какая-то важность, если не величие, было во всей ее фигуре, в лице, даже в походке. Она напомнила ему великую государыню, когда та на больших выходах принимает сановников и чужеземных послов. Но ведь у той при этом блестящий наряд, бриллиантовая корона на голове и сияющая кругом, как радуга, обстановка; а здесь хоть и не бедное, но простое одеяние, и не дворец, а улица.

Женщина эта прошла мимо него, скрылась за углом, а молодой малый, уже знавший стольких женщин, продумал о незнакомке вплоть до дома. Вернувшись же домой в тот же вечер, он решил:

— Надо разыскать ее. Вот происшествие-то! Ни одной еще такой не встречал; даже в Питере не видывал этаких. Происшествие!

И действительно, чтобы женщина, хотя и очень красивая, могла до такой степени сразу занять молодого волокиту, было происшествием в его личной жизни.

Наутро Матвей поднял на ноги более десятка различных холопов с приказом разузнать, разыскать, кто такая черноокая красавица в окрестностях Ордынки и Таганки. Гайдуки и казачки должны были обыскать и, так сказать, расследовать все Замоскворечье.

Матвей был уверен, что через день или два он узнает, кто такая эта красавица, повидает ее, а еще через день, два — бросит затею. Но прошла неделя самых тщательных поисков, розысков и не привела ни к чему. Один из сыщиков праздного барина был даже в одном дворе побит, а другой посажен в будку за чрезмерное усердие,

а Матвей все не знал ничего и уже пугался мысли, что не разыщет красавицу, что она была приезжая в Москву! И ищи ее тогда хоть по всей России! И он чувствовал в себе способность от тоски поставить себе эту новую цель: болтаться по ближайшим городам первопрестольной и разыскивать красавицу, про которую он мог только сказать, что она черноволосая, черноокая, а поступью на царицу смахивает.

В конце недели, после безуспешных поисков, Матвей начал сам аккуратно, по нескольку часов в день, кружить по улицам Замоскворечья, вглядываясь во всех проходящих женщин, заглядывая во все окна, чуть не во все дворы. Скоро все Замоскворечье знало в лицо красивого офицера в блестящем мундире, косящего по улицам, и сам он многих знал в лицо. Но о красавице не было и помину. А с каждым днем праздный и прихотливый малый все более думал о незнакомке.

— В этой дурацкой Москве,— сердился он,— самое пустое дело не выгорит!

Если бы Матвей разыскал незнакомку через день или два, то, может быть, на этом бы все и прекратилось. Но невозможность найти ее довела дело до того, что он был положительно влюблен в эту женщину, которую видел только мельком.

В числе чернооких красавиц, известных за рекой, о которых докладывали барину его сыщики подробные сведения, они называли также красивую черноволосую барыню,— жену управителя замоскворецкого Суконного двора. Но Матвей не допускал мысли, чтобы его незнакомка, хотя и в простом платье, но с таким величественным видом, могла быть женой простого приказчика.

— У них, за Москвой-рекой, небось всякая кикимора за красавицу слывет! — сердился молодой человек.— Это, видишь, приказчичья жена. Дураки!

XI

А на деле Матвей ошибся: он разыскивал, сходя с ума, именно красавицу Павлу. Он не знал, что, кружа по Замоскворечью, он раз сто проехал мимо дома Барабина с запертыми воротами, с окнами, затворенными ставнями от жары. Еще менее мог он знать, что Павла, снова скучающая, снова печальная от вновь начавшихся

домашних бурь, видела его сквозь ставни раза два, три. И в четвертый раз она нарочно села у запертой ставни исключительно с тем, чтобы видеть красавца офицера, когда он снова проедет мимо.

Этот гвардеец в великолепном мундире, каких Павла не видела еще ни разу в Москве, занял ее. Ее забавляло видеть его! И та неведомая сила, которая прихотливо распоряжается человеческой судьбой, человеческой волей, действительно захотела, чтобы и Павла тоже и так же быстро занялась незнакомцем офицером, не подозревая, что он ее же две недели разыскивает по всей Москве.

И в этом случае был только один смысл: офицер-гвардеец и эта первостатейная красавица купчиха были парой. И он, и она одинаково останавливали на себе взгляд всякого прохожего, который невольно любовался красотой их.

Жизнь Павлы за последнее время становилась совершенно невыносимой. Ей было скучно, тесно, как в клетке, в доме мужа, и она начинала смутно, но страстно желать, чтобы случилось что-нибудь особенное.

В городе, как говорили, все более распространялась новая страшная хворость; уже многие прямо называли ее чумой, от нее умирали быстро и стар и мал. И Павла, не зная о чем мечтать, мечтала о том, что муж умрет от этой хворости, тем более что он ближе всех к ней, так как она началась на Суконном дворе. Иногда ей становилось совестно этой мысли, и она мечала о том, что сама вдруг умрет и освободится...

Часто возвращаясь мыслью к прошлому, вспоминая о глупом случае с суконщиком Ивашкой, она теперь снова находила, что молодой парень был вовсе не такая деревенщина, как потом уверял Барабин. Ей казалось, что она снова могла бы найти развлечение и удовольствие, встретившись с ним. И все мысли, все мечты Павлы от зари до зари сводились только к одному.

— Господи,— восклицала она,— хоть бы что-нибудь приключилось, хоть хорошее, хоть дурное,— все едино. Да, этак-то жить нельзя!

И вот, именно в это самое время безотрадной тоски и возни с придирчивым, беспокойным мужем, увидела она в первый раз этого красивого офицера и стала садиться за ставнями, чтобы увидеть его снова. Наконец однажды Павле захотелось неудержимо выйти на улицу приблизительно в то время, перед обедом, когда обыкновенно офицер этот проезжал по их улице, появляясь то

с одной, то с другой стороны. Павла давно догадалась или просто почувствовала, что незнакомец этот умышленно кружит по их кварталу, всегда проезжает шагом, всегда заглядывает в дома и окошки, как будто упорно высматривает что или разыскивает кого-то.

Часа за два до обеда, в жаркий июльский день, Павла вышла на улицу, направляясь к дому отца, но решила заранее, что даст крюк и прогуляется по соседним улицам хоть два или три часа.

Накинув летнюю куцавейку, Павла умышленно повязала голову пунцовой косынкой, от которой еще ярче, еще очаровательнее засияли глаза ее и отчетливо обрамилось в пунцовых складочках бледное, тонких очертаний, лицо.

Не прошло получаса, как Павла, завернув за угол среди совершенно пустынной улицы, саженях во ста от себя, увидела шагом подвигавшуюся тройку, запряженную в маленькую бричку. Пристяжные шли, извиваясь и опустив низко головы, позвякивали бубенчиками, а в легонькой бричке сидел незнакомец офицер, почти бросив вожжи, и, как всегда, внимательно вглядывался во все дома и окна.

Сердце замерло у Павлы, она вдруг остановилась как истукан, не зная что делать и уже собираясь повернуть снова в переулок и бежать. Офицер издали завидел женскую фигуру в ярко-пунцовой косынке и пристально впился в нее своими зоркими глазами. Но расстояние было слишком велико, чтобы он мог узнать ту, которую искал и, вдобавок, видел только один раз.

Но Павла сама выдала себя. Она не выдержала, быстро повернулась и бросилась почти бегом назад. Завернув за угол, она пробежала улицу и повернула опять в другой переулок, как бы спасаясь от погони.

Но погоня и была!

Матвей, каким-то особенным чутьем охотника, будто почуял, что эта фигура, бросившаяся бежать и скрывшаяся за углом, непременно та, которую он разыскивает. И с места пустил он свою тройку вскачь, круто повернул за угол, оглядываясь по сторонам, и с маху проскакал мимо другого переулка, где мелькнула снова голова в пунцовой косынке. Но, сразу круто осадив и повернув тройку, он через несколько секунд был уже около потерявшейся, смущенной и слегка дрожащей красавицы.

Матвей выскочил из брички, бросив вожжи, и подбе-

жал к ней. Он сразу узнал свою незнакомку и в порыве радости, схватив ее за руку, воскликнул:

— Сто лет ищу! Прячешься, бегаешь... От меня не уйдешь! После Москвы по всем городам стал бы искать!

И, говоря это, Матвей вглядывался в лицо молодой женщины, робея, что сейчас найдет в лице этом и в этой женщине что-нибудь, что скажет ему: «Не стоило, брат, тосковать и искать да из сил выбиваться».

Но ничего такого не нашел он. Напротив, молчаливая, смущенная, но все-таки гордая и в смущении — эта женщина в несколько мгновений еще более очаровала его.

«Пустите мои руки! Что вы!» — думала, но не могла произнести Павла, как бы чувствуя всю глупость этих слов в такую минуту.

Она узнала теперь вдруг, что этот незнакомец разыскивает именно ее. Стало быть, есть что-то мудреное, сверхъестественное во всем случившемся. Мысль эта так поразила суеверную женщину, что она стояла как истукан, не имея сил выговорить ни слова и не освобождая рук.

— Садись, я покатаю тебя. Побеседуем. Довезу до дома! — как бы сквозь какой-то туман слышала Павла.

И он повел ее, увлекая за руку, и она повиновалась, как ребенок, почти бессмысленно, но без робости.

Через несколько минут она сидела уже в красивой бричке, возле этого незнакомца, а лошади мчали их за заставу в поле. Быстро обогнали они несколько обозов, несколько дворянских экипажей, несколько телег, на которых было по два и по три гроба, но Павла ничего не замечала и не вполне сознавала всего происходящего.

Быть может, еще никогда за всю жизнь Матвей не был так счастлив, как в эти минуты, и, конечно, только потому, что поиски за незнакомой красавицей продолжались слишком долго и раздразнили его прихотливое сердце и праздный ум. Найди он ее ранее,— он был бы менее счастлив. Теперь он, как влюбленный юноша, не мог оторвать глаз от красавицы, которая сидела около него, как пойманная, с румяным от волненья лицом, смущенная, потерянная, робкая.

«Господи! Что же это такое! Что я делаю! Зачем я села!» — думала Павла, и вместе с тем сердце ее сладко замирало, все охваченное чудной, тревожной радостью, и милой и страшной для нее. Матвей влюбленными глазами оглядывал ее всю, казалось, хотел скорее разга-

дать ее, увидеть всю душу ее насквозь, чтобы знать, с кем он имеет дело,— с сильным или со слабым врагом. Он видел ее крайнее, почти детское смущение и страх незнакомого человека, который говорит с ней. И эта робость делала ее еще прелестнее и миловиднее. Однако сквозь эту робость, сквозь тревогу, которая сказывалась ясно во всех чертах лица ее, даже в беспокойных красивых руках, которые все двигались и будто не знали, что им делать и куда девать себя, даже в ее звучном голосе,— Матвей, как опытный знаток женского сердца, не обманулся ни минуты и тотчас провидел, почувствовал правду. Он тотчас понял, что нашел в этой женщине не легкомысленную и слабовольную красавицу, которая сдается первому смельчаку, взявшему ее врасплох.

«Да! У тебя свой нрав! Сама себе хозяйка! Не скоро над тобой хозяйничать начнешь!» — думал Матвей. И как истый охотник мысленно радуется «красному зверю», за которым надо будет немало похлопотать,— Матвей радовался предстоящей борьбе любовной и не сомневался ни минуты в том, что борьба эта все-таки будет неравная — для красавицы.

Но после нескольких слов, сказанных красавицей, Матвей еще яснее почуял, что в ней жива такая воля, которая теперь спряталась за женским смущеньем первого свиданья; но когда придет черед ее выглянуть на свет, воля эта проглянет ярко, сильно, явится во всеоружии и померяется со всякой волей. И Бог весть еще — чья возьмет!..

Павла говорила тихо, глядя вперед, на лошадей или ему на руки, в которых он держал вожжи, или косилась на золото его мундира. И только раза два-три блеснули прямо на него из-под нависшей на лбу пунцовой косынки два черные, быстрые, страстно горящие глаза. И этот «свой нрав» красавицы сквозил мгновеньями то в этом скользящем, но смелом взгляде, то в одном слове, сказанном тихо, тонкими красивыми губами, иногда умышленно небрежно, но с таким оттенком в голосе, что слово запало в душу Матвея и сулило ему мало доброго, т. е. не обещало победы над этой женщиной.

«Подразнить и бросить! Пропадет опять и спрячется дома! — боялся Матвей, но тотчас же решился на все.— Дом разнесу на кирпичики! Шалишь, голубушка. Я ведь не московский дворянчик. Такие, как я, цариц на престол сажали».

Матвей рассказал тотчас, как сходил с ума по ней,

разыскивал по всей Москве, рассылая своих людей. Он назвался и рассказал свою историю в Петербурге, за которую его выгнали на житье в Москву.

Павла слыхала, конечно, имя бригадира Воротынского, слыхала и про его нрав, его обстановку. Узнав, что она имеет дело с его сыном, Павла смутилась еще более, так как для Замоскворечья Воротынский не был «дюжинным» бригадиром, а важным сановником. Павла слыхала в детстве от своего отца об широком боярском житье Воротынского и не знала, что от этого боярства у бригадира оставался теперь только один трон... да «сиротское отделение» в верхнем этаже дома.

На вопрос, кто она такая, Павла сначала колебалась отвечать правду, но затем сообразила, что не нынче завтра дерзкий офицер добьется и сам узнает ее имя и звание.

— Скажешь, кто ты, или велишь самому разузнавать? — улыбался ей в лицо Матвей.

— Мужичка! — шепнула Павла гордо.

— Коли говоришь сама, стало — пустое.

— Родитель мужиком был. Ярославец! Бос в Москву пришел!

— А теперь бос?

— Теперь об нем на Москве слышно!..

— Кто такой?

— Артамонов.

— Мирона Артамонова? Ты! Дочь его?

— Да.

— Он страшнейший богач! Но ведь ты замужем. Кто ж твой-то муж?

— Мужик.

— Тоже мужик,— рассмеялся Матвей.

— Да. Тверитянин.

— А имя? Имя твое по муже?

— Барабина. Он приказчик на отцовском Суконном дворе.

— И ты его...

Матвей запнулся, потом, нагибаясь, заглянул ей в лицо и проговорил тихо и умышленно беспокойным голосом:

— Ты мужа любишь?

— По любви пошла...— странно выговорила Павла, не то грустно, не то злобно. И она во второй раз вскользь глянула в лицо офицера, и взгляд ее отвечал ему то, чего она не хотела сказать словами.

— Разлюбить жене мужа недолго! — вымолвил Матвей и ждал ответа в опровержение. Но Павла молчала и все сказала ему этим молчанием.

— Полюби меня! — шепнул Матвей ей на ухо, как если б они были не одни и не в поле.

— На горе! — отозвалась Павла еще тише.

— Зачем? На радость, на счастье!..

— У меня малютка сынишка. Он не дозволит. За него Господь вступится.

— Зачем же ты ко мне вышла? Зачем села со мной?! — воскликнул Матвей.— Думаешь ты, легко мне теперь будет?.. Лучше бы мне тебя не видать! Нет, ты должна теперь меня полюбить. И хочешь не хочешь, а полюбишь! Захочу — полюбишь!

— Колдовством? — усмехнулась Павла презрительно.— Приворотом возьмете?

— Нет, жалостью. Тебе меня жалко будет. Погляди на меня. Ведь ты добрая душа. Погляди! Скажи — полюбишь?

Но Павла молчала и не повернула к нему головы, а только вздохнула и понурилась.

И оба внезапно замолчали на несколько минут, почувствовав что-то общее обоим, будто поняв вдруг, что это свидание не может быть последним и не будет последним.

— Назад пора! — вымолвила наконец Павла.

— Когда же опять свидимся? — спросил он.

— Не знаю. Ей-Богу, не знаю. Как можно будет.

— Сейчас поверну назад, но поцелуй прежде!

— Нет! — выговорила Павла и при этом странно взглянула на молодого офицера.

И Матвей опять понял ее и, послушно повернув назад, пустил тройку вскачь.

Через полчаса Матвей довез Павлу до той же улицы, где посадил. Она быстро побежала до своего дома и, войдя к себе, села одетая на стул. Она чувствовала, что как будто теряет рассудок, ничего не может ни понять, ни вспомнить, ни сообразить, и что с ней случилось что-то невероятное. Не в том дело, что этот красивый незнакомый офицер прокатил ее на своей тройке, но в том, что он любит. Он ее уже две недели разыскивает, именно ее! Она же, не зная этого, все поджидала его у окна — поглядеть на него сквозь закрытые ставни.

И Павла чувствовала, что жизнь ее будто раскололась надвое. Там была прежняя старая жизнь, глупая, скуч-

ная, с мужем — приказчиком фабрики, с домашними бурями, которые теперь вдруг показались ей не столько грустными, сколько глупыми! А тут впереди настает другая жизнь — страшная, но чарующая...

Просидев несколько мгновений неподвижно, Павла быстро, порывисто поднялась с места, схватила себя за голову и воскликнула страстно, почти с отчаянием:

— Не надо думать, совсем не надо думать! С ума сойдешь... Ах, да пускай, хоть с ума сойти! Хоть помереть, да только не здесь, не в этом доме, не с мужем! А там, с ним, хоть бы на краю света! Что-то будет теперь? Да все! Пускай будет все, все!.. Через три смерти пройду — не оробею! — восторженно воскликнула она, как-то взмахнув руками.

XII

Василий Андреев был долго и опасно болен. Аксинья не отходила от постели больного мужа и нежно ухаживала за ним.

В первые же дни она достала и привела знахарку, потом фельдшера из больницы. Знахарка нашла, что у больного кровь «клубочком свернулась», и дала пить какой-то травы, от которой Василий Андреев начал нескончаемо бредить и лежал в забытьи и днем, и ночью. Фельдшер велел питье выкинуть и объяснил Аксинье, что ее муж болен той самой болезнью, которая ходит по всей Москве.

Аксинья не знала той опасности, которой подвергается, сидя от зари до зари в одной маленькой комнате с больным мужем. Но если бы и знала она, что ухаживает за чумным, то все-таки не покинула бы обожаемого мужа.

Иногда Андреев вскакивал с постели, бродил по комнате бессознательно, как безумный, и Аксинья не могла совладать с ним, тем более что он не узнавал ее. Раза два случилось даже, что на него находил припадок бессознательной злобы. Он поминал бригадира, звал жену по имени, не узнавая ее около себя, и грозился убить обоих.

Сначала бывал часто и помогал несколько Аксинье расстрига Никита. Но затем, однажды, оставшись на минуту с больным, покуда Аксинья вышла, после целой недели затворничества, подышать воздухом, расстрига, смененный ею, исчез и с тех пор более не являлся.

Наконец больному стало гораздо лучше; темно-багровые пятна, покрывавшие его тело, прошли; вернулось сознание при сильной слабости, и однажды утром Андреев узнал жену и протянул к ней руки. Он понял, что был опасно болен и что жена ухаживала неотлучно за ним.

Первая весть по выздоровлении была так хороша, что не могла не подействовать на больного лучше всякого лекарства. Аксинья снова напомнила мужу, что она бежала из дома бригадира, что у нее есть большие деньги, о которых так много мечтали они оба. И теперь дело оставалось только за окончательным выздоровлением. Андреев был настолько обрадован и счастлив, что начал поправляться очень быстро.

Василий Андреев часто спрашивал у жены, где деньги. Аксинья показывала на образ, висевший в углу. В первый же день она спрятала деньги за образ, боясь потерять их.

Когда Андреев, уже через три недели после начала болезни, почувствовал себя настолько бодрым, что мог подняться и пройти несколько раз по комнате, он весело сказал жене:

— А ну, покажи, чем мы откупимся на волю? Какие твои деньги,— не поддельные ли?

Аксинья подставила скамью в угол, полезла к образу, протянула руку, пошарила за образом и вдруг обернулась к мужу.

— Что за шутки шутишь ты! — вымолвила она,— даже в жар меня бросило!

Но, увидя изменившееся лицо Андреева, испуганное и слегка побледневшее, женщина поняла, что мужу не до шуток и что он уж понял то, что она боялась понять. Ни слова не говоря, Андреев встал, точно так же влез на скамью около жены и тоже стал шарить за большим образом. Но там не было ничего. Не говоря ни слова, он вернулся на свою кровать и тяжело опустился на подушки.

— Что ж это? — воскликнула Аксинья.

— Да, может, их там и не было! — глухо выговорил Андреев.

— Бога побойся, Вася! — отчаянно воскликнула Аксинья.— Что я, безумная, что ли? Их украли! Господи!

— Так кто же? Тут — сама ты говоришь — никого, кроме нас двух, за целые три недели не было. Покуда я лежал в бреду, был ли кто?

Аксинья стала припоминать, но в эту минуту смущения и ужаса она ничего не могла припомнить. Три недели просидела она у изголовья больного мужа, почти не отлучаясь, и за это время никого не бывало у них. Наконец она вспомнила, что на первой неделе болезни бывал Никита.

— Распоп Никита! — воскликнул Андреев.— Был ли он в горнице без тебя?

— Был раз! Был!

— Ну, он и есть! — воскликнул Василий Андреев.— Он первый вор всего «Разгуляя». Вот тебе наша и воля!

Аксинья опустилась на стул и зарыдала. Андреев, несмотря на слабость, стал одеваться.

— Куда ты? Нешто ты можешь идти? Да и зачем? куда?

— Нужно мне распопа,— глухо проговорил Андреев,— либо он отдаст мне деньги, либо я его на тот свет спроважу.

Он остановился среди горницы, помолчал и прибавил:

— Нет, так не годно, так ничего не будет. Ступай ты к нему, зови его ко мне! Скажи, что я при смерти, в постели; скажи: опять, мол, хуже; попроси прийти посидеть со мной. Придет сюда — уходи! Нечего тебе глядеть на то, что будет.

— Вася, что ты хочешь делать?!

— Что! Деньги взять назад или ж — в острог, в Сибирь из-за него, собаки!

— Господь с тобой!

— Чего? Ты за мной в Сибирь пойдешь?! Ну, вот и все, что мне надо.

— Ах, Вася, какой толк человека убить? Денег у него давно уж нет,— небось давно уж истратил. И тебе убийцей быть... Проклятым быть...

— Ладно, ступай, веди ко мне расстригу! — почти закричал Андреев.— Может, и удастся без греха. Скажи ему, что я его дошлю к одному купцу за деньгами. Польстится опять на воровство.

Аксинья вышла и вскоре в Разгуляе нашла расстри гу, угощавшего вином несколько человек.

Никита был тоже немного навеселе и, завидя женщину, сам пошел к ней навстречу. Аксинья, стараясь быть спокойной, передала расстриге, что муж, опасно больной, просит его зайти к нему по делу.

— Надо тебя дослать — деньги сто рублей получить с купца!

— Ладно, сегодня же ввечеру приду.

Между тем Андреев в отсутствие жены через силу вышел из горницы, обошел весь домик, встретил двух или трех жильцов и попросил у них топора — лучину нащепать. Топор нашелся; он взял его и, судорожно сжимая в руке, вернулся в свою горницу.

— Злая наша судьба! Мачеха судьба! Как в книжках пишут,— бормотал он слова, слышанные от одного из своих господ.

«Не все ж он истратил в две недели! Осталось хоть что-нибудь»,— думал он в ожидании жены.

Аксинья вернулась с ответом расстриги.

— Хорошее дело, что ввечеру,— отвечал Андреев, злобно усмехаясь,— ночью легче будет с ним расправиться.

И муж, и жена с нетерпением ждали вечера и прихода расстриги. Аксинья несколько раз начинала уговаривать мужа ничего не делать, обещала даже найти снова денег.

— Молодой барин мне еще даст,— говорила она,— знаю, что даст: у него денег куча, Бог весть откуда. Что ему двести или триста рублей!

Но Василий Андреев сидел неподвижно и только раз вымолвил грозно:

— Коли ты, дура, не умела беречь мою волю, наше счастье, дозволила себя обокрасть, так нехай я пропадаю, в Сибирь уйду, в каторгу. Убью его и сам же о себе донесу! И пеняй тогда на себя!

Аксинья, чувствовавшая себя виноватой кругом, невольно горько залилась слезами.

Ввечеру, когда раздался внизу голос полупьяного расстриги, Аксинья вдруг бросилась к мужу, обняла его и воскликнула:

— Вася, обожди хоть день! Дай мне только сбегать к Матвею Григорьичу! Может, он даст еще денег...

— Полно, таких дураков на свете нет. Ступай в другую горницу, сиди, покуда не позову, а расстригу посылай сюда! — глухо проговорил Андреев.

Аксинья, дрожа всем телом, вышла, встретила Никиту и через силу выговорила:

— Ступай туда!

Расстрига хотя и был пьян, но все-таки заметил волнение женщины. Действительно, зная об деньгах,

принесенных Аксиньей, он украл их, обшарив всю комнату, покуда Аксинья вышла на воздух, а Андреев лежал без памяти. Но Никита думал, что помимо его бывали у больного и другие и что подозрение могло пасть на десять разных человек. Он колебался одну минуту.

«Пойди докажи! Кто видел? Никто не видел»,— подумал он и вошел к Андрееву.

Андреев впустил расстригу в горницу, смерил его лихорадочными глазами, показал на лавку в углу, и расстрига, глупо ухмыляясь, сел и спросил пьяным голосом:

— Чего вам? Дело, что ль, какое?

Андреев достал из-за комода топор и, заслоня дверь от расстриги, сделал к нему несколько шагов, взмахнув топором над его головой. Расстрига вытаращил глаза.

— Ты украл деньги! Или отдай, или на две части перешибу! — проговорил Андреев таким голосом, что сразу хмель вылетел из головы Никиты. Сразу заорал он на весь дом, на всю улицу и упал на колени перед Андреевым.

— Сейчас говори, где деньги? Или конец...

В голосе Андреева было столько отчаянья, что расстрига тотчас поверил, что это была не пустая угроза и что топор, поднятый высоко в больных, но крепких руках Андреева, тотчас просвистит в воздухе и раскроит ему голову.

— У Бякова, у дяди Бякова! — завопил расстрига.— Помилосердуй, сейчас принесу... Помилосердуй, все, что есть, принесу.

Василий Андреев, у которого уже явился луч надежды на полученье части денег, слегка опустил топор и задумался.

— Как это сделать? — вслух выговорил он.— Надуешь... Хоть, все равно, я найду тебя на дне морском и убью. Да ты-то этому не веришь и надуешь. Посылай мою жену к нему, а сам оставайся здесь.

Никита двинулся, чтобы встать с пола, но Андреев снова взмахнул топором и крикнул:

— Только пальцем двинь — мертвый!

И расстрига остался на полу, трусливо прикрывая голову ладонями, как если бы они могли спасти его от удара.

— Аксинья! — позвал Андреев жену.— Ступай, разыщи вора. Растолкуй ты ей, где и как найти.

И расстрига, сидя на полу, косясь на огромный

топор, подробно пояснил Аксинье, где разыскать дядю Савелья, солдата Бякова, бывшего звонаря с Варварки.

— Скажи ты ему: иди, мол, сейчас к Никите и неси деньги, которые он дал спрятать,— все, мол, сколько есть, тащи.

Более часа времени просидел расстрига почти клубком на полу, а в углу горницы сидел Андреев, в двух шагах от него, с топором на голове.

Наконец раздались шаги, вошла Аксинья, а за ней Бяков. И, только войдя в горницу, дядя Савелий понял свой промах и что Никита не по доброй воле посылал за ним и за деньгами.

— Обида! — пробурчал он.

Увидя поднявшуюся со стула фигуру Андреева, дядя Савелий попятился и готов был бежать, но Андреев схватил его за кафтан, отшвырнул от двери и загородил дорогу.

— Чего ж пихаешься? — обиделся Бяков.— Ты видишь, каков я человек! — показал он на свои медали.

— Отдавай деньги мои!

— Все ему отдавай! — заговорил Никита.

— Вот они, нате. За делом воровал, кукушка ты этакая! Виданное ли дело, чтобы вор ворованное назад отдавал? Эх ты, щенок паршивый!

И Бяков полез под кафтан и под рубаху и, достав небольшой пакет, зашитый в полотно и надетый на шею вместе с образками, снял и передал Андрееву.

— Сколько тут? — выговорил Андреев с тайным страхом.— Я чай, и половины нет? Говори ты, распоп!

И Андреев невольно стиснул и поднял топор.

— Половина есть,— ей-Богу, есть!

— Берегися! — обратился Андреев к Бякову.— Нет ли на тебе еще? Убью ведь!

Но Бяков хладнокровно и рассудительно возразил:

— Дурень человек! Стоит с топором, по роже совсем злодей, а я тут стану таить. Дурака нашел! Кабы ты теперь, почтенный, без топора у меня их спрашивал, так я, точно, беспременно бы их утаил. А при этаком-то твоем виде, когда жисть вся моя на волоске состоит от твоего топора, стану я в прятки играть! Обыщи. Блох парочки две найдешь!

Андреев концом топора разрезал полотно, вытаскал оттуда деньги и, положив топор около себя, стал считать их. Действительно, было еще более полутораста рублей.

— Все ли тут? — глухо обернулся он к расстриге.—

увижу, что ты пьянствуешь да угощаешься, все равно убью, отдавай лучше все теперь.

Распоп взмолился на все лады, клялся и божился, что у него остались только две семитки на все и про все.

— Просил третьёвось у дяди Савелья еще дать из эфтих-то. Он не дал, старый черт, вот теперь все равно пропали! — наивно рассказывал Никита.

— Ну, вон! И не попадайтесь мне ни тот, ни другой, а то прямо по начальству. А начальство ничего не сделает, то и сам распоряжусь.

Никита бочком миновал Андреева и шаркнул в дверь, радуясь, что уцелел невредимым.

Вслед за ним Бяков важно, с достоинством двинулся к двери, но приостановился на пороге.

— Наше вам почтение! — выговорил он.— Если будет во мне какая нужда, то в Разгуляе справьтесь. Я человек известный, оченно даже известный. Спросите дядю Савелья, и всякий вам укажет. Мое почтение-с!

Андреев, несмотря на все происшествие, изумленно поглядел в лицо солдата. Он уходил теперь, как если бы наведался в гости к нему, важно, серьезно, даже как-то торжественно. Можно было подумать, что Бяков балуется и скоморошествует.

— Пошел, пошел! — махнул рукой Андреев.— Уходи! Какая мне до тебя нужда будет!

— Я так, собственно, говорю, к примеру, если вам...— начал было дядя Савелий, разводя руками, но Андреев снова поднял на него топор и крикнул:

— Пошел вон!

Оставшись вдвоем, муж и жена переглянулись. Аксинья со всех ног бросилась на шею к своему Васе и выговорила:

— Прости, я виновата во всем. Довольно ль тут?

— Довольно, и за то спасибо. Уж теперь не украдут! — весело вскрикнул Андреев, поднимаясь с места и высоко поднимая руку, в которой держал пачку денег.— Нет, теперь не украдут! Разве вместе с моей головой, вместе с душой из тела вырвут.

XIII

История с расстригой быстро огласилась между разнокалиберным народонаселением «Разгуляя». На несколько дней только и было толку и шуток, что над

Никитой, которому судьба послала такое счастье и который не сумел воспользоваться им.

— Слыханное ли дело,— повторяли на все лады молодцы «Разгуляя»,— чтоб украсть и вернуть уворованное?

Но вместе с этим огласилось и то обстоятельство, что дворовый Андреев живет на квартире с женой, беглой от своего барина, и в то же время владеет возвращенными деньгами. Тотчас нашлись охотники и донести на Аксинью, и добыть эти деньги, хотя бы и открытым грабежом. В «Разгуляе» были такие молодцы, которые уже по два почти раза бывали в остроге и бежали оттуда. Были и самые отчаянные клейменые каторжники, бежавшие из Сибири.

Не прошло двух дней, как самый дерзкий из всех, гроза «Разгуляя», каторжник, по прозвищу «Рубец», составил нехитрый план и назначил ночь, чтобы, при помощи двух приятелей, зарезать Андреева с женой и отнять деньги.

Прежде всего Рубец разузнал стороной, с кем он будет иметь дело. Разузнав все подробно, он пригласил к себе на помощь приятеля — Марью Харчевну. Этот, конечно, согласился, но, узнав, о ком идет дело, сообразил, что Аксинья — именно та женщина, которую за последнее время разыскивает по всей Москве его барин, Прохор Егорыч.

И Марья Харчевна донес обо всем барину и благодетелю.

Прапорщик карабинерного полка был уже далеко не тот веселый, грубый и самодовольный мошенник. Урок, полученный в Донском монастыре, от которого он был на краю гроба, сильно изменил его. Алтынов, привезенный тогда домой замертво, весь изувеченный, долго был при смерти и когда поднялся на ноги, то все-таки остался хворым человеком. Иван Дмитриев был не настолько глуп, чтобы поколотить Алтынова и нажить злейшего врага: он был убежден, что Алтынов положен в санки и отправлен домой если не мертвый, то, во всяком случае, не переживет истязания. И действительно, только железная природа карабинерного прапорщика могла вынести страшные побои и увечья.

Выздоровев, Алтынов занялся снова своими мелкими делами, но с меньшей смелостью, с меньшим рвением. Главною его заботой было, конечно, мщение молодому

Ромоданову и его дядьке. И мщение не один раз, а хоть до десяти...

Алтынов не мог ничего придумать лучшего для начала, как донести на укрывательство молодой девушки в мужском монастыре самому преосвященному. Алтынов знал, что за человек Антоний, и понимал отлично, что настоятель знает, кто таков молодой служка при Ромоданове. Но в тот день, когда Алтынов уже совершенно собрался донести преосвященному на настоятеля Донского монастыря и на молодого барича, на него свалилась другая забота.

Бригадир присылал за ним, приказав быть немедленно, как только поправится.

Алтынов нашел бригадира в самом жалком положении. Он уж не грозился, а умолял карабинерного прапорщика помочь ему разыскать пропавшую Аксинью. Бригадир не допускал мысли, что женщина ушла по доброй воле. Он был уверен, что враги его, и вероятнее всего его собственный сын, выкрали его любимицу и держат где-нибудь на чердаке или в погребе на привязи.

После первых безуспешных розысков Алтынов попробовал было рассказать бригадиру все, что он знал об Уле, и постараться доставить ее из монастыря для замены ею Аксиньи. Но бригадир и слышать не хотел.

— Что мне в ней? Черт с ней совсем! Будь она завтра не только монашкой, а хоть архимандритом,— какое мне дело? Там баловство, а тут — пойми ты — вся душа изболела. Ведь у меня только и было на свете, что Аксинья. Найди мне ее и проси чего хочешь.

И Алтынов снова ревностно принялся за поиски, но без всякого успеха. Он искал по разным окраинам Москвы, а женщина была за несколько домов от него. Аксинья именно была слишком близко, чтобы быть найденной. Никому из денщиков Прохора Егорыча и в ум не приходило искать в двух шагах от того места, где они совещались и откуда расходились на поиски в противоположные концы города. Вдобавок Аксинья сидела около больного мужа безвыходно, а расстрига Никита, бывавший часто в «Разгуляе» и слышавший, что разыскивают женщину, выкраденную у бригадира, никак не мог сообразить, что это Аксинья.

Но через два дня после истории с деньгами Алтынов уже знал все, и даже зло взяло его, что он так сглупил и в двух шагах от себя не почуял пропавшей женщины.

— А все этот старый черт напутал! Плох я стал! Не

тот у меня нюх! — воскликнул он.— Григорий Матвеич поет свое: выкрали да выкрали. Ну, вот мы краденую и искали, а выходит, она убежала — не хуже Ульяны.

Признав к себе через Марью Харчевну Рубца, а затем и самого расстригу, Алтынов расспросил обо всем подробно. Прежде он немедленно сам отправился бы на квартиру Василья Андреева, спокойно отвез бы его жену к бригадиру, и все дело кончилось бы в час времени! Но теперь карабинерный прапорщик был гораздо осторожнее. Истязанье в Донском сделало его почти трусом. Расстрига в таких ярких красках описал ему разбойника Андреева с топором в руке, что Алтынов побоялся.

«Пускай другой кто все это дело обделает,— подумал он,— а мне нечего лазить. Пользы никакой, а пожалуй, этот шальной убьет за жену. Я его помню малость».

И Алтынов тотчас отправил Марью Харчевну к старой приятельнице Климовне, с которой давно уже не имел никаких сношений. Он придумал сделать ее главным действующим лицом, так чтобы вся ненависть Андреева могла обратиться на нее одну.

Громадный каторжник тотчас отправился к Климовне, но вскоре вернулся назад с донесением, что домик заколочен наглухо досками, так как в нем все вымерло.

Действительно, все башкирчата, калмычата и киргизята, зараженные суконщиками, перемерли до единого в течение одного месяца. Что касается до хозяйки, то было совершенно неизвестно, где она. Бросив дом, Климовна исчезла. Соседки говорили, что она уехала вон из Москвы от страха чумы; другие же уверяли, что она попала к начальству в руки и ее увезли в карантин, где она и умерла. Домик новенький, с иголочки, был, во всяком случае, наглухо заколочен.

Тогда Алтынов призвал Никиту и научил его, как заработать рублей до ста, отправившись и все рассказав бригадиру.

Расстрига мигом полетел к барину — и денег заработать, и отомстить Андрееву.

Григорий Матвеич был так поражен и обрадован известием, что тотчас сам собрался ехать за Аксиньей; но, покуда закладывали лошадей, он расспросил расстригу подробно обо всем и изумился. По словам Никиты, дело выходило крайне странно. Расстрига был откровенен, рассказал даже о своей покраже.

— Откуда же у них деньги? — воскликнул бригадир.

И на это расстрига мог подробно и верно ответить. Он

слышал, как молодая женщина говорила, что получила деньги от молодого офицера. Григорий Матвеич, совершенно пораженный, не мог связать двух мыслей кряду. Сын дал деньги, она бежала по доброй воле к своему мужу и сидела над ним во время его болезни — все это был ряд каких-то чудес. Или расстрига лжет, сочиняет, или же все в голове бригадира должно стать вверх ногами.

Пораздумав немного, Григорий Матвеич решился не ехать в «Разгуляй», а обратиться лучше к начальству и подать просьбу о том, чтобы к нему привели через полицию беглую холопку.

«Волей или неволей, а будешь ты все-таки у меня! — решил он мысленно судьбу коварной любимицы.— А мужа твоего я теперь тоже куплю у Раевского и похерю совсем».

Между тем Василий Андреев, чувствуя себя лучше, собрался через несколько дней начать хлопоты о своей вольной. Раевского, которому он принадлежал, не было в Москве, но, заручившись еще прежним согласием барина на отпускную, Василий Андреев мог выхлопотать и справить все нужные документы. Андреев был весел, доволен, что давно желанный день наконец наступил. Деньги, от которых все зависело, он постоянно носил при себе.

Аксинья была, наоборот, печальна. Она ни слова не сказала мужу, но знала наверное, предупрежденная еще накануне, что бригадир снова ищет ее и почти знает, где она скрывается. Бежать с полубольным мужем из Москвы было невозможно. Она даже боялась сказать это мужу, чтобы не испугать его этим известием и не уложить снова в постель. Переменить квартиру было возможно, но она надеялась, что дня три или четыре пройдет, прежде чем нагрянет к ним в «Разгуляй» бригадир с своими холопами. Но женщина разочла неверно.

В ту минуту, когда Василий Андреев собирался выйти со двора, близ дома их уже было несколько будочников и полицейский унтер-офицер. Они расспрашивали жильцов «Разгуляя» и готовились накрыть беглую женку. Едва только Василий Андреев вышел из дому и повернул в ближайшую улицу, как полиция нагрянула в домик, где была Аксинья. И женщине, полумертвой от нечаянности, испуга и ужаса, скрутили руки назад и повели через всю Москву в дом бригадира.

Понемногу дорогой Аксинья пришла в себя, и только отчаянная злоба к ненавистному бригадиру душила ее.

Проходя сенями своей квартиры среди полицейских, она все-таки успела шепнуть одной знакомой женщине, чтобы та передала мужу ее намерение в тот же вечер, если возможно, снова бежать от бригадира.

Входя между будочниками на двор постылого ей дома, Аксинья чувствовала, что она почти не в состоянии притворяться. И умная, хитрая женщина сообразила, что лучше и удобнее всего разыграть роль глубоко оскорбленной и молчать на все расспросы Григория Матвеича.

Едва только бригадир, сидевший у окна, завидел свою любимицу, окруженную будочниками и со скрученными назад руками, как тотчас же соскочил с своего трона и почти побежал вниз.

Тут только наглядно доказал он своей дворне, как был привязан к этой женщине. Бригадир со слезами на глазах, дрожащими руками сам начал распутывать веревки на руках беглой холопки и затем тотчас увел ее наверх.

— Расскажи ты мне все,— слезливо молил он, когда они остались одни.— Я ничего не пойму! Тебя насильно выкрали из дому и заперли или ты по доброй воле ушла?

— Ничего я вам говорить не буду,— холодно отозвалась Аксинья,— сами вы знаете. Делайте со мной, что хотите, хоть плетьми наказывать велите. Слова не добьетесь! Довольно прежде было говорено.

— Что ты! Что ты! Бог с тобой! — воскликнул бригадир.— Говори, рассказывай! Я ничего в толк не возьму. Сказывали мне, что тебе денег дал мой поганый сын, что ты по доброй воле ушла, что ты своего холопа мужа любишь пуще всего на свете... Да мало ли что болтают! Говори ты! Сама все поясни.

— Нечего мне пояснять, все равно не поверите. Так что ж мне языком-то болтать.

Бригадир стал клясться и божиться, что вполне поверит всему.

— А коли верите,— вдруг решительно выговорила Аксинья,— так пустите меня сейчас справить одно дело. Я вернусь в сумерки.

Бригадир удивился и молчал.

— Вот видите! Стало быть, веры-то и нет! Боитесь, что уйду совсем. А коли не верите, так нечего мне вам и рассказывать.

Григорий Матвеич стал расспрашивать женщину,

зачем ей надо отлучиться. Аксинья уверяла, что только ради одного пустого дела и ради того, чтобы получить доказательство уверенности бригадира в ней. Бригадир подумал и отказал наотрез. Аксинья замолчала как убитая. Напрасно приставал он к ней целый час: ни слова не проронила женщина. Григорий Матвеич оставил ее одну в ее горнице и вышел.

«Посидит день — в себя придет, отходится!» — подумал он.

И Григорий Матвеич, спокойный, счастливый, пошел к себе.

Главное было сделано. Аксинья была снова в его доме, и он решил во всяком случае держать ее у себя, хоть бы насильно, хотя бы имел ее полное признание в том, что она ненавидит его и любит мужа.

В доме было теперь приказано всем людям стеречь приведенную беглянку, но бригадир все-таки боялся, что его ленивые и сонные холопы прозевают ее. Когда стало смеркаться, он снова отправился в тот конец дома, где была комната Аксиньи, и, не имея духа запереть ее на ключ в ее комнате, собственноручно запер все соседние двери в целой половине дома.

XIV

Между тем Аксинья, решившая бежать при первой возможности, все-таки более, чем когда-либо, беспокоилась о своем муже. Она знала его подозрительность, почти болезненную и слепую ревность. Она была уверена, что Андреев, вернувшись домой и узнавши, что жены нет, непременно заподозрит ее в том, что она добровольно ушла к бригадиру.

Это могло заставить Андреева начать так действовать, что все их обоюдные мечты о воле и счастье канут в воду. Он мог явиться в минуту злобы к самому бригадиру, пожалуй, даже с оружием.

Аксинья все прислушивалась к малейшему шуму, и ей казалось, что вот ее Вася пришел, с топором в руках,— может быть, и ударил кого-нибудь! И его схватили, связали и уже ведут в острог.

Сидя у отворенного окна своей комнаты, выходившей в сад, Аксинья передумывала все одно и то же, как бежать к мужу и немедленно быть с ним в этот же вечер. Она знала, что бригадир не настолько прост, чтобы не

отдать приказа всем людям сторожить ее. Несмотря на это, когда наступили сумерки, она попробовала свою дверь и увидела, что она не заперта; но остальные двери, к которым подходила она по очереди, оказались все запертыми. В ней сразу сказалась такая злоба на бригадира и такая решимость на все, каких прежде не бывало никогда.

Она вернулась в свою горницу, увидела растворенное окно сажени на три от земли, где росла густая акация, и тотчас же мысль о побеге в окно зародилась в ней так быстро, что, казалось, промелькнула в голове, и уже другая мысль взволновала ее.

— Что, если бригадир придет и догадается запереть окошко!

Но через секунду женщина успокоилась.

«Если придет и запрет окно,— подумала она,— то выбью стекла и все-таки уйду».

— Но как уйти? — начала она рассуждать.— Конечно, прыгать невозможно.

И тут время, проведенное около Разгуляя при больном муже, помогло ей. Однажды ночью она слышала за перегородкой рассказ какого-то нового жильца, как он бежал из острога. Аксинья, занятая тогда совершенно другими мыслями, так как мужу в эту ночь было особенно плохо, все-таки слушала поневоле и запомнила, как рассказчик подробно описывал свои поиски за веревкой или за какой ни на есть бечевкой и как он, не найдя ни того, ни другого, выдумал свою собственную бечевку. Он собрал все носильное платье, какое только было в его распоряжении, нарвал его на длинные тесьмы, скрутил и, сделав в одну ночь крепкую веревку, утром был уже на свободе.

С безумной радостью на сердце Аксинья бросилась к своему шкафу, где по-прежнему висели все ее платья. Труд ее оказался вдесятеро легче, чем она думала. Она быстро начала срывать все оборки, какие находила,— и полотняные, и шелковые, и в час времени у нее была уже готова веревка настолько длинная, что ее можно было скрутить снова вдвое.

На дворе было уже совершенно темно; дожидаться было нечего, так как бригадир, конечно, должен был явиться к ней каждую минуту.

Аксинья привязала один конец самодельной веревки к ручке большого дивана, стоявшего около окна, перебросила веревку за окошко и влезла на подоконник.

«А если силы не хватит? Если упаду?!» — мелькнуло в ее голове.

Она перекрестилась три раза и прибавила:

— Коли такая дура, что упадешь,— тем хуже. Коли нет силы, так пущай будет сила!

И эти слова: «пущай будет сила» — она вымолвила почти вслух, как-то грозно, будто приказывая себе самой. И недаром: сила эта вдруг сказалась в ее руках.

Никогда в жизни не спускавшись на веревке и никогда не бывавши в таком положении, женщина тихо, осторожно и ловко спустилась до самых кустов и чувствовала в себе даже способность еще два раза повторить то же самое. В одну минуту пробежала она небольшой сад бригадира, так же ловко перелезла через забор, но на заборе она невольно остановилась, села и погрозилась своим небольшим кулаком на освещенные окна бригадирского дома.

— Что, старый дурень, много взял? — весело смеясь, проговорила она.— Теперь уж ты меня не накроешь.

Через час Аксинья осторожно подходила к той же квартире, откуда была уведена; но здесь случилось то, о чем она не думала. Василья Андреева не было. Он вернулся после ее ухода и — по словам старухи хозяйки — «по земле катался от горя», а там убежал и с тех пор не появлялся.

Аксинья в ужасе и отчаянии села на бревно, попавшееся ей среди двора. Оставаться в этой квартире было невозможно даже на ночь: бригадир мог тотчас же снова появиться здесь. Упросив хозяйку передать мужу, чтобы он всякий день в полдень поджидал ее около Красных ворот, Аксинья — снова спокойная — быстро побежала туда, где надеялась найти не только кров, но даже и защиту против бригадира,— к его родному сыну, Матвею Григорьевичу.

Молодой Воротынский поселился в отдельном доме уже после побега Аксиньи из дома бригадира; но Аксинья слышала от кого-то об его богатом, широком житье-бытье и надеялась легко найти его палаты. И женщина не ошиблась.

Едва только приблизилась она к тому кварталу, где жил «молодой генерал» — как прозвали его в околотке,— как всякий лавочник и дворник могли указать ей палаты Матвея Григорьича. Все они знали его вследствие его постоянных разъездов на бесчисленных великолепных конях. Через несколько минут Аксинья

была уже у больших ворот дома, который нанимал Матвей.

Мало был похож этот дом на рыжеватый дом бригадира. Огромные палаты в три этажа были все освещены и, в свою очередь, освещали светом, выливавшимся из окон, большой двор, где сновали, несмотря на позднее время, десятки дворовых конюхов, дворников и лакеев. Казалось, что большой дом был переполнен господами. Трудно было предположить, чтоб все три освещенные этажа занимал один молодой офицер.

Несмотря на смущение и тревожное состояние духа, Аксинья невольно приостановилась среди двора и залюбовалась домом.

— Вот как живет! Женился, что ли, на богатой? Должно быть. Уж не женат ли на княжне Колховской, о которой мы так часто беседовали? Да, конечно, женат! Откуда ж бы у него этаким деньгам быть?! Пустит ли он теперь меня к себе, позволит ли остаться? — смутилась вдруг Аксинья.

Однако она вошла в подъезд и, тотчас же окруженная со всех сторон по крайней мере двумя десятками разных казаков, гайдуков и официантов в ливреях, смутилась еще более. У нее едва хватило духа произнести имя барина Матвея Григорьича.

— Зачем тебе? — спросил самый рослый и видный из себя лакей.

— Нужно по делу.

— Нужно! Мало ли вас этаких зря наведывается! Обо всякой докладывать — набегаешься и в шею получишь! Пошла вон! Лезет среди ночи!

Если бы на месте этой женщины была теперь Уля, робкая и бедная разумом и волей, то, конечно, холопы Воротынского прогнали бы ее тотчас же. Но Аксинья была не из таких. Смущение ее, ввиду угрожающей ночи на улице, сразу прошло; она выросла чуть не на несколько вершков среди толпы обступивших ее холопов и смело окинула их красивыми глазами.

— Пошли вы тотчас же докладывать, а не то я сама в горницу войду. Вот ужо будет вам от Матвея Григорьевича, как скажу, что вы меня гнать хотели!

И разумеется, окруживший ее народ на то и был холопом, чтобы исполнять приказания всякого, кто громче крикнет. Тотчас три человека отправились наверх; остальные с любопытством оглядывали эту женщину, довольно просто одетую и теперь спокойно, задумчи-

во ожидающую, скрестив руки на груди, что ответит молодой барин. Она не назвалась из боязни, но не догадалась, что это было к лучшему и что именно это обстоятельство заставит Матвея ее принять.

Когда молодому офицеру доложили, что незнакомая молодая и красивая женщина, не назвавшая своего имени, желает его видеть, Матвей почти вскочил с кресла. Все его московские «приятельницы», как называли их в его доме, были известны людям в лицо. Незнакомая холопам красивая женщина, являющаяся около полуночи, поневоле заставила Матвея встрепенуться.

«Неужели она!» — подумал он и в сильном волнении тотчас же сам пошел в нижний этаж на подъезд.

Та, которую Матвей назвал: «она»,— была, конечно, Павла, с которой накануне виделся он снова на мгновение и тем же образом, хотя на этот раз она не согласилась ехать кататься, а, только перекинувшись с ним несколькими словами среди улицы, вернулась домой.

Увидя Аксинью, Матвей был несколько неприятно удивлен, но, однако, со свойственной ему добротой махнул рукой и рассмеялся весело.

— Ну, не та, да Бог с тобой! Иди! Что тебе от меня нужно?

— Вам одному позвольте сказать; при них не могу,— отозвалась Аксинья.

— Ну, иди, иди! Вижу — не весела! Знать, деньги мои не впрок.

И Матвей взял за руку и повел свою недавнюю советницу, с которой он в доме отца болтал по целым вечерам и обходился по-братски. Из всех ему знакомых красивых женщин Аксинья была одна, с которой отношения его были простые, дружеские. И вследствие именно этого скучающему молодому малому Аксинья теперь была гораздо более нужна и ее посещение приятно.

Матвей приказал подать тотчас ужинать для гостьи и провел ее к себе в кабинет.

По дороге, проходя большую залу с двумя рядами мраморных колонн, Аксинья невольно ахнула.

— Что, нравится горница? — усмехнулся Матвей.

— Матвей Григорьич,— спохватилась вдруг Аксинья,— а не рассердятся они, что вы меня к себе ведете?

— Кто — они?

— А супруга ваша?

Матвей вытаращил глаза на женщину.

— Чего? Что ты болтаешь?

— Я сказываю: не рассердится супруга ваша, что вы меня к себе ведете?

Но громкий, раскатистый хохот раздался среди большой залы, и эхо трелью пронеслось по сводам, так что оглушило женщину.

— Какой черт тебе сморозил, что я женат? — выговорил Матвей.

— Так не женаты? А княжна Колховская? Я думала, глядя на ваше житье...

— Ну, нет, голубушка,— еще не уродилась та княжна, на которой я женюсь.

— Как же это вы так разжились? — ахала Аксинья, оглядывая великолепную гостиную, в которую они вступили.

— Грабежом занимаюсь, голубушка. Во какие сундуки денег привожу к себе! — хохотал Матвей.

Приведя Аксинью в свой кабинет, весь переполненный всякого рода добром и преимущественно оружием всевозможных видов, Матвей снова хохотал до упаду, вследствие того, что случилось с Аксиньей. Едва только женщина переступила порог кабинета, как закричала и бросилась назад. В двух углах горницы вдруг увидела она двух страшных медведей, которые, стоя на задних лапах, передние протянули вперед. Не скоро хохотавший офицер успокоил женщину, убедив ее, что у этих медведей только шкура осталась.

— Да пойми ты, глупая,— сеном, трухой набиты. Гляди, стоят — не шевелятся. Что ты — махонькая, что ли, дура!

Аксинья вошла снова в кабинет, снова оглядела медведей, неподвижно стоявших в углах, понемногу успокоилась и начала тоже смеяться. Матвей усадил своего недавнего друга и ласково стал расспрашивать о ее делах. Аксинья рассказала все бывшее с нею в коротких словах.

— Я к вам, Матвей Григорьич,— кончила она.— Кроме вас, никто меня выручить не может. Вы можете прямо объявить батюшке, что держите меня у себя вместе с мужем, и он не посмеет у вас меня оттягать. Скажите — не дам, да и все тут.

Матвей рассмеялся.

— Молодец, Аксинья, ей-Богу! То есть такой молодец, каких мало! Вот уж третий день думаю, чем бы мне моего родителя за его последнюю каверзу против меня

разозлить, и ничего не придумал. А ты вот тут, как по колдовству какому. Молодец, ей-Богу! Дай я тебя расцелую!

И, расцеловав вдруг красивую женщину в обе щеки, Матвей пригляделся к ней и выговорил:

— А вот что я тебе скажу. Мне сейчас только на ум пришло...

— Что?! — испугалась Аксинья, ожидая отказа в своей просьбе.

— Да вот что: ведь ты тоже красавица. Ведь и я бы не прочь...

Аксинья взглянула в лицо молодого человека и будто увидела что-то особенное в глазах его, потому что вдруг вспыхнула и отвернулась.

— Ну, ладно, ладно! Сейчас тебе дадут поужинать. Чай, голодна после воздушных лазаний в окошки. Оставайся у меня. Завтра разыщем твоего благоверного супруга, а затем пошлем сказать господину бригадиру, что вы оба здравствуете у меня на дому. Коли, мол, желает, пусть приходит поглядеть, а получить — ни того, ни другого не получит.— И Матвей весело хлопнул в ладоши.— Вот разозлю тятеньку! Заболеет у меня со злости. И какой же ты молодец! Давай я тебя за это еще раз расцелую!

Матвей приказал приготовить женщине одну из лучших горниц во втором этаже и, когда она поужинала, кликнул несколько человек людей, велел всем взять по свече и целой процессией отвел Аксинью в ее горницу, не переставая хохотать. Провожая ее по коридору, он врал всякий вздор и называл Аксинью «маменькой», так что даже холопы, фыркая, едва удерживались от смеха.

XV

Между тем Воротынский был, насколько мог, влюблен в замоскворецкую красавицу купчиху. Впрочем, в Матвее всегда бывало не сердечное, не глубокое и искреннее чувство, а напускное, хотя вполне поглощающее его занятие. И на этот раз забота эта была сильнее, чем когда-либо. Сам он, конечно, был уверен, что именно так и выражается чувство. Он был занят от зари до зари мыслью, как снова увидаться с Павлой и как скорее покорить себе оказавшуюся в ней непреклонную волю.

У молодого офицера была особенная, как думал он,

своя собственная наука ухаживанья. Особый случай, пустой, но о котором Матвей любил вспоминать и рассказывать, навел его на мысль, как действовать для несомненной победы над женщиной.

Лет двадцати от роду, он однажды случайно увидел, как паук в большой паутине, сплетенной в чаще леса, ловил мух.

В пустой и праздной жизни молодого офицера только такие случайности и могли его учить и воспитывать. Молодой человек с наслаждением просидел около паука несколько часов, философствуя на свой лад и обдумывая мельчайшие подробности в действиях паука. Он заметил, что в первые минуты попавшаяся муха напрягала все силы, чтобы вырваться из клейких ниточек и волокна, и в эти первые же минуты паук действовал с особенной осторожностью, не набегал близко к своей жертве, а издали закидывал на нее новую паутинку. Каждый раз, как только муха сильно трепетала в паутине, паук выжидал, и лишь в те мгновения, когда утомленная жертва, потеряв силы, успокаивалась, он с быстротой молнии налетал на нее, несколько раз опутывал несколькими нитями и быстро прикреплял их в разных местах. Наконец наступала минута, когда жертва могла только содрогаться, уже не вполне владея своими членами. И тогда паук спокойно начинал хозяйничать над ней и уже правильно и медленно работал, покрывая путами жертву со всех сторон.

Отсюда молодой доморощенный философ-волокита извлек свою собственную науку. Первое время знакомства со всякой женщиной, которая нравилась ему, Матвей действовал круто и быстро, но в те минуты, когда жертва его порывалась, под влиянием боязни или недоверия к нему или, наконец, долга и совести, Матвей, как паук, выжидал. Он успокаивал, клялся и уверял в своем бескорыстии и наконец, возбудив снова полное к себе доверие, быстро и искусно нападал снова и опутывал жертву окончательно.

Точно так же теперь действовал он и с Павлой. После первой встречи, внезапной и странной,— и затем катанья за городом Павла снова через несколько дней решилась выйти на одну из ближайших улиц, чтобы встретиться с ним. На тот раз она боязливо вглядывалась в него, не согласилась сесть в экипаж, чтобы прокатиться, и, сказав несколько робких слов, поспешила домой.

Матвей увидел, что женщина между первым и вторым свиданием, очевидно, боролась сама с собой, быть может, не спала ночей, находится в возбужденном состоянии, но, очевидно, поборола в себе зачаток чувства и пришла показать это, почти похвастать своей победой над собой.

Отчасти это было справедливо. Павла в этот раз пришла повидаться и проститься. Она действительно боролась с собой и вышла победительницей. И вот тут-то, в каких-нибудь полчаса, среди глухого переулка, близ какого-то пустыря, к плетню которого он привязал своих лошадей, Матвей быстро сумел вполне успокоить Павлу. Он объяснил ей, что вовсе не влюблен в нее, что он жених, что она только напоминает ему будто его покойную сестру (которой у него никогда и не было) и что ему хотелось бы только видаться с ней изредка, чтобы побеседовать по-приятельски.

Павле не хотелось верить этому, и она, в сущности, не верила, но, однако же, успокоилась. И после этой второй встречи она обещала быть через три дня у обедни в церкви Прасковии Пятницы, где всегда собиралось огромное множество народа и где поэтому легче можно было остаться незамеченными.

Матвей нетерпеливо ждал назначенного воскресенья, чтобы быть у обедни, и заранее решил, что если найдет Павлу снова спокойною, то возобновит и усилит свое нападение.

Однако за обедней он простоял часа три, приехав к часам и выйдя почти последний из церкви, но Павлы не было. Капризного малого это просто рассердило.

— Так я сам к тебе явлюсь! — решил он, выходя из церкви.

Теперь он знал, конечно, улицу и дом Павлы, знал даже, в какие часы не бывает дома самого Барабина.

В тот вечер, когда Аксинья пришла к нему в дом, Матвей обдумывал подробно всевозможные ухищрения. Он знал, что имеет дело с женщиной своевольной, страстной и решительной. Наутро он должен был, под пустым предлогом, отправиться в дом Барабиных. Этот решительный и дерзкий шаг он мог сделать, однако, очень просто и безнаказанно, под покровительством нового закона. Так как он был причислен к канцелярии нового генерал-губернатора, то он мог явиться во всякий дом Москвы под предлогом подозрения, что в нем есть скрываемый больной и что он зачумлен.

Наутро, когда Аксинья проснулась и сидела у окна, оглядывая огромный двор дивных палат молодого барина, она увидала, что подают верховую лошадь и, через несколько мгновений, красивый офицер скакал со двора в сопровождении верхового гайдука. От дома Матвея Замоскворечье было близехонько. Переехав чрез Каменный мост, он в несколько минут уже был у ворот дома Барабина.

Передав лошадь гайдуку, он вошел во двор, и, встреченный Пелагеюшкой, которая почему-то всегда первая выбегала из кухни навстречу всякому гостю, Матвей спросил: дома ли хозяин, Тит Ильич?

— Нетути,— отвечала перепуганная Пелагеюшка.

Вельможа в таком золотом кафтане, да такой красивый, да верхом, да еще с страшнющим гайдуком, у них на дворе — для Пелагеюшки было явным доказательством, что дело — дрянь, не к добру. Пелагеюшка даже согласилась бы мысленно, что сама чума в этаком виде может нагрянуть.

Мало ли что на свете бывает! Бает вот народ, что бывают «чудеса в решете», и Пелагеюшка, готовя кушанья, днем храбро бралась за решето свое, а в сумерки всегда осторожно. Она была уверена, что именно в этаких-то решетах чудеса и бывают, стало быть, и сам сатана-искуситель может под вечер сесть в ее решето.

Не расслышав того, что пролепетала кухарка, Матвей снова спросил, дома ли Барабин. Пелагеюшка, не отвечая, махнула хвостом и пустилась от него бежать в верхний этаж. Офицер храбро последовал за ней и вошел в прихожую через дверь, оставленную настежь перепуганной кухаркой.

И в той самой горнице, где когда-то вязали и крутили Ивашку и где впоследствии было странное примирение мужа с женой, теперь внезапно встретились дерзкий волокита офицер и смущенная, перепуганная насмерть хозяйка. Павла стояла как истукан, среди горницы, опустив руки и слегка побледнев. Ей казалось, что вот сейчас рухнет весь дом и раздавит ее под собой.

«Ему шутки, потеха, а мне смерть! — вертелось в ее голове.— И он даже не знает этого».

Покуда Павла стояла, обомлев от испуга, ожидая, что каждую секунду вырастет, пожалуй даже из-под пола, ревнивый и шальной муж, Матвей приказал перепуганной Пелагеюшке выйти вон, запер за ней дверь и, быстро приблизившись к Павле, обнял ее и выговорил, целуя в лицо:

— Вот и пришел, как обещал.

Павла почти потеряла сознание, слабо отстранилась от него и опустилась на ближайшее кресло.

— Вы не знаете...— шепотом, слабо и путаясь заговорила она.— Он убьет! Какие шутки! Всех погубите... Я виновата во всем. Уходите скорее! Вы не знаете, каков он! Сейчас придет! Что будет! Смерть!.. Зарежет!..

Павла так потерялась, что совершенно не знала, что делать: гнать ли его, уйти ли самой, даже убежать из собственного дома или созвать людей и при них просить его уехать, чтобы иметь свидетелей в случае обвинения.

Матвей быстро объяснил ей, что он, в качестве чиновника Еропкина и почти комиссара, имеет право войти во всякий дом; что для Барабина, если он тотчас вернется, он найдет объяснение совершенно законное.

— Успокойся, не махонький я; очертя голову никогда ничего не делал. Коли всякий день буду ездить, так все-таки твой Тит Ильич обязан будет меня принимать.

Но Павла, постепенно успокоившись, вдруг преобразилась,— стала той решительной и гордой женщиной, которая была дочерью Мирона Артамонова. Она вдруг поднялась с места, словно выросла на целую голову, и вымолвила хотя тихо, но строго и странно сверкая глазами:

— Уходите сейчас же! Этакое только безумный сделает. Не то я об вас думала! Я виновата кругом — слова нет,— но этакого я от вас не ждала. Уходите, или я сама из дома уйду! За мужем пошлю!

— Уйду, уйду, сию же минуту, только с одним уговором. Будь завтра за вечерней у Пятницы. Если не будешь, так прямо из церкви опять сюда приеду. В сумерки муж будет дома — и хуже выйдет.

Глаза Павлы снова сверкнули; она не выговорила ни слова; она сама не знала в эту минуту, способна ли она будет не пойти на свидание. Но Матвею и не нужен был ответ.

— Вот тебе божуся Господом Богом! — перекрестился он на образа.— Накажи меня Матерь Божья, если я не приеду сюда прямо из церкви, коли ты туда не будешь! Прощай. В твоей воле! Придешь к Прасковии — только побеседуем по-приятельски, не придешь — буду в пять часов здесь.

Матвей снова хотел обнять ее, но Павла отшатнулась, протянула руки и, казалось, готова была вскрикнуть.

Она боялась его поцелуев, которые убивали в ней всякую волю. Лицо ее пылало, и на глазах показались слезы, которые так редко бывали у нее. Но это были слезы отчаяния, полной смуты на сердце и чувства, что она затерялась, запуталась, не знает, что делать. За эти немногие минуты она несколько раз то ненавидела этого человека, то обожала; то готова была гнать его вон из дома позорно и грубо, позвав на помощь людей, то готова была бросить этот дом с ребенком и бежать за ним хоть на край света. В то мгновение, когда, быстро повернувшись, Матвей был уже за порогом дверей, Павла едва сдержала себя, чтобы не кинуться за ним и не отдаться на одно мгновение в его объятия.

Когда Матвей вышел, сел верхом и молодцевато помчался по пустынной улице, в сопровождении гайдука, Павла зашаталась и едва удержалась за раму полуотворенного окна.

— Что же будет? Что же делать? Ведь надо же... Надо что-нибудь! Так же нельзя... Бежать — так скорее бежать или...

Но другое, что просилось на язык, т. е. решимость на разлуку с этим человеком, решимость более никогда не видаться с ним, снова войти душой в ту же старую, однообразную колею жизни и зажить снова тем же прежним пошлым и скучным существованием, было так невозможно, немыслимо, что Павла и выговорить не могла.

— Сын-малютка,— прошептала она уже вслух,— вот что! А не будь его, сейчас же на все бы пошла!..

Матвей прискакал домой веселый и довольный и в этот вечер мало думал о Павле. Он болтал с Аксиньей о ее муже, которого она целый день тщетно разыскивала по всей Москве.

А Павла весь день и затем всю ночь была в тáком состоянии, что должна была сказаться вернувшемуся мужу совершенно больной. Но Барабин слишком любил жену и слишком ревновал, чтобы поддаться обману. Во-первых, он знал от людей, что приезжал какой-то генерал, верхом, в золотом кафтане, но молодой, красивый. Генерал этот виделся с женой по делу очень недолго, но уехал веселый, а жена часа два не двигалась из этой комнаты, где застал он ее. И затем она внезапно оказалась или только прикинулась больной. Все подробно узнал Барабин от людей, но ни слова не сказал об этом жене, ожидая ее объяснения. А Павла была так

смущена, что даже не сообразила схитрить, что-либо рассказать мужу про посещение чиновника Еропкина. И ее молчание обвинило ее. Павла всю ночь пробыла в горнице ребенка, то уверяя, что она сама больна, то уверяя, что боится, думая, что ребенок болен. Барабин тоже всю ночь не смыкал глаз, и часто приходили ему в голову слова его приятеля Караваева:

«Шалит жена — так убей! Тут греха нету! Убей, да и женись на другой. Только, вестимо, концы схорони».

И в эту ночь Барабин — быть может, в первый раз со времени своей женитьбы — находил в себе смутную решимость на преступление.

XVI

Между тем Павла, просидев до рассвета в горнице ребенка, поутру, когда Барабин уже поднялся и завтракал в столовой, прилегла на минуту, забылась, но поднялась еще более взволнованная.

Барабин, как всегда, но заметно угрюмый, вышел из дому. Павла осталась одна с той же мыслью, которая волновала ее всю ночь напролет: идти ли к вечерне к Прасковии Пятнице или нет? Она готова была идти из одной боязни, что Матвей сдержит свое слово, и, не найдя ее там, снова будет у нее в доме.

Несколько часов просидела она с своей неотвязной мыслью, когда вдруг была как бы разбужена и испугана необычным появлением Барабина. Муж всегда возвращался в сумерки, и Павла в первую минуту обрадовалась, воображая, что, замечтавшись, она пропустила время, что вечерни давно отошли, а в то же время Матвей не появлялся в доме.

Не входя к жене, Барабин прошел в свою комнату и через несколько минут снова вышел на улицу. Оказалось, что он только наведался за чем-то домой. Павла почувствовала, что это недаром. Не таков человек был Барабин, чтобы забыть что-нибудь дома или среди дня завернуть домой по пустякам.

Павла, окончательно придя в себя, узнала, что время вечерни и что надо тотчас же решиться или идти в церковь на страшное свидание, или же ожидать Матвея к себе — на другое, еще более пагубное, свидание, так как муж, очевидно, настороже и подозревает ее.

— Что ж делать? Что делать? — повторяла она

вслух, без конца мыкаясь по комнатам и хватая себя руками за горячую голову.

Она уже было совсем собралась выходить, оделась, но вдруг сбросила с себя платок на пол и села почти у дверей из прихожей в столовую.

— Не пойду! — решительно выговорила она.— Если пойду, то я кругом виновата, бегаю из дома к полюбовнику. Если же он силком приедет сюда, войдет в дом, то чем же я виновата? Да и в чем вся моя вина? В том, что я раз покаталась с ним. Всякий день на всех улицах молодые господа и купцы катают красавиц. В этом нет ничего худого! Это еще менее дурно, чем звать к себе ночью сказочника, как я тогда Ивашку позвала. Стало быть, я не виновата ни в чем. Если он сюда нагрянет, так пусть с мужем сам и ведается.

И Павла осталась, погруженная в свои смутные мысли.

Долго ли просидела она, Павла не помнила; но вдруг раздался на дворе и долетел до нее в растворенное окно знакомый голос, от которого не раз замирало и билось порывистое ее сердце. И этот голос потряс теперь все ее существо. Веселый и дерзкий Матвей спрашивал кого-то: дома ли хозяин? — и на отрицательный ответ — он спросил хозяйку и быстро стал подниматься по лестнице.

Павла хотела встать, убежать в другие дальние комнаты, но, будто оглушенная громом, сидела на том же стуле у самых дверей. И в этих дверях появилась дорогая и страшная для нее фигура молодого офицера в том же блестящем мундире. Он что-то заговорил, улыбаясь, но она ничего не могла понять. Он приблизился к ней, опустился на колени около ее стула, обнял ее и целовал ее без конца, все смеясь, будто посмеиваясь над ней.

В нем было для нее что-то сильное, неотразимое и ужасное, что-то сатанинское. Так всегда сатану воображала себе Павла. Казалось, что этот человек убил бы другого, не переставая так страшно улыбаться.

— Уйдите! Уйдите! Побойтесь Бога!..— повторяла Павла полусознательно.— Что будет! Вы меня загубите!

Но он на все эти просьбы только улыбался и ласково упрашивал быть у него, приехать к нему в гости в сумерки. Он подробно научал женщину, как отпроситься к отцу, выйти за угол того переулка, где они встретились в последний раз, и там он будет ждать ее с своими ло-

шадьми, свезет к себе и опять доставит назад. Но Павла почти не слушала его, качала отчаянно головой и повторяла:

— Вот сейчас придет! Он знает! Сейчас придет!

И вдруг, будто вызванный женой, Барабин оказался на дворе. Громко раздался его голос у ворот, там же, где несколько минут назад услыхала Павла голос Матвея. Барабин спрашивал у конюха, державшего лошадей, о том, кто его барин и зачем приехал.

Павла как ужаленная вскочила с места и бросилась бежать в свою комнату. Матвей пошел навстречу хозяину дома, встретился с ним на лестнице и, так же беспечно улыбаясь и оскаливая свои жемчужные зубы, стал расспрашивать, в качестве чиновника нового начальника города, о том, нет ли в доме Барабина зачумленных. Матвей в первый раз в жизни видел Барабина и невольно мысленно согласился, что он красавец собой. Но более всего удивил Матвея снежно-белый цвет лица этого человека. Видя его в первый раз, Матвей не мог знать, что Барабин просто страшно бледен от волнения и того рокового удара, который только что получил в самое сердце.

Несколько минут назад он стоял в двух шагах от той двери, где Матвей обнимал его жену. Барабин был дома, когда приехал офицер. Он будто чуял, что в этот день будет что-нибудь особенное, и, вернувшись домой, спрятался на чердак; а когда офицер прошел в дом, он тихонько спустился в комнаты и, притаив дыхание, стоял все время в прихожей у полуотворенной двери. Он и видел, и слышал все...

Сто раз хотел он броситься, схватить нож и умертвить обоих! Но его останавливало только одно. Павла беспомощно, как полупомешанная, упрашивала все время офицера не губить ее, оставить ее и уйти. Барабин смутно отгадывал, что жена еще невиновна, еще борется с собой и что, быть может, она и не способна стать виноватой, а просто беспомощна пред дерзким волокитой, от которого не умеет отделаться. Барабин не выдержал до конца, возвратился на двор и стал громко расспрашивать конюха и затем снова пошел по лестнице, уже громкими шагами, чтобы прекратить ту ужасную сцену, которая казалась ему по временам только адским сновидением.

Когда Барабин встретился с Матвеем на лестнице, то был бледен как смерть. К его горькому чувству оскорбленного мужа, к его отчаянию прибавилось еще другое

тяжелое чувство. Он вдруг понял, что он, московский купец из мужиков и приказчиков, способен легко изломать, изорвать на части какого-нибудь парня-суконщика и не способен броситься зверем на петербургского гвардейца в расшитом золотом мундире. Слишком часто прежде приходилось Барабину на улицах, в толпе, в кремлевских соборах, на гуляньях ломать шапку перед такими господами в мундирах и орденах. И трудно было ему теперь сразу почувствовать себя равным этим людям и броситься на одного из них, чтобы истерзать в куски. У Барабина только хватило духу смерить с головы до пят важного офицера. А затем у него хватило духу сказать, едва выговаривая слова:

— Хворых у меня нет в доме. А коли заведется какая другая чума, то я с ней справлюсь по-своему, по-мужицкому — либо ножом, либо дубьем!..

Матвей только веселее улыбнулся, затем сел на лошадь и шагом поехал по улице, оглядываясь назад,— но не на бледную фигуру хозяина купца, который стоял в воротах с сверкающими глазами и с судорожно стиснутыми кулаками, а на окна верхнего этажа, где он мог увидеть миловидную и красивую фигуру жены этого мужика-приказчика.

Когда офицер пропал за углом, Барабин будто проснулся, задрожал всеми членами и бросился в дом. Теперь он забыл о том, что считал жену невинной — напротив, он считал ее вполне виноватой. Пробежав несколько горниц как сумасшедший и не найдя Павлы, Барабин бросился в детскую.

Павла, взволнованная и печальная, стояла среди горницы с ребенком на руках. Одна мамка перестилала люльку младенца, другая сидела у окна с чулком в руках и что-то такое бормотала.

Барабин ворвался вихрем — и в одно мгновение, прежде чем кто-либо успел опомниться, случилось несчастье, преступление, которого никто не ожидал и менее всех сам Барабин.

Ворвавшись в горницу, он хотел что-то сказать, спросить жену, но судорога душила, стягивала ему горло. Он бросился на Павлу, схватил ее за ворот платья, рванул за него, оборвал, схватил опять и потряс ее изо всей силы. Был ли чересчур силен толчок или Павла, испуганная и обомлевшая от страха, слабо держала ребенка в руках,— но малютка тут же выскользнул у нее из рук и упал головой на пол.

Барабин все-таки схватил жену обеими руками за изорванное платье и хотел тащить в другие комнаты на допрос и расправу туда, где у него найдется нож или топор. Обе мамки бросились к малютке, подняли его и заслонили. Барабин невольно глянул в лицо ребенка и выпустил жену из рук. Ребенок был багровый, и судорога сводила его маленькое личико.

— Убил! Убил! — вскрикнула Павла, отнимая малютку у мамок.

Забыв все происшедшее, забыв даже о присутствии мужа в комнате, и Павла, и обе мамки, положив ребенка на постель, хлопотали и голосили.

Малютка судорожно задвигал руками и ногами, потом желтоватая пена показалась изо рта. Через несколько минут наступила смерть.

Когда Павла, онемелая от ужаса, убедилась, что ребенок холодеет, умирает, наконец кончился, она вскочила и хотела в свою очередь броситься на убийцу отца. Но его уже не было в комнате. Барабин, постоявши несколько секунд как истукан невдалеке от постели, где умирал ребенок, схватил себя вдруг за голову и выбежал вон. Через минуту он без шапки был уже на улице.

В доме началась сумятица, все сновали по дому, хлопали дверями, голосили и причитали. Через несколько времени дошла весть и до соседей, что Барабин сделался убийцей собственного малютки, и чужой народ лез в дом порасспросить, и поохать, и поглазеть на маленького мертвеца.

Павла, не выговорив еще ни слова и, по-видимому, совершенно спокойная, почти бессознательно начала распоряжаться всем необходимым: послала за священником, приготовляла стол, доставала из комода новое, ненадеванное белье и, наконец, подробно заказывала позванному гробовщику все, что было нужно. Она же послала сказать в дом отца о том, что малютка внучек внезапно скончался.

Все люди, в особенности мамки, глядя на барыню, разводили руками, ахали и шепотом корили ее за бессердечие. Если бы в доме умер какой-нибудь суконщик, пущенный на время постояльцем, то Павла была бы, вероятно, с виду так же спокойна и так же распоряжалась бы об его похоронах.

Что случилось с ней, с женщиной, с матерью,— Павла понимала менее всякого. Она была совершенно спокойна; она чувствовала как будто какое-то пробужде-

ние от ужасного сна, длившегося чересчур долго и истомившего ее. Чувство, что все кончилось, что всему конец, что теперь должно наступить что-либо совершенно другое, которое не может быть хуже, не может быть ужаснее кончившегося и завершившегося,— привело ее в это странное ледяное состояние.

Однако, по временам, после этого ледяного и тяжелого спокойствия наступали минуты какой-то полной путаницы в мыслях. Павле вдруг казалось, что она действительно спала и проснулась, что она бредит спросонья и что-то такое дикое, ужасное, невероятное, виденное во сне, принимает еще за действительность. И она шла в горницу ребенка, почти уверенная, что там все обстоит благополучно, что ребенок играет на руках какой-нибудь мамки, а что муж только отлучился со двора; что ворот платья и рукава в клочьях, которое она не переменила, пришли в этот вид совершенно случайно, но никак не от рук мужа. И, убедившись вновь с болью на сердце, что она не спит, не сошла с ума, а что все правда,— что ребенка уже готовят класть на стол, уже положили в гроб, а в сенях блестит на солнце маленькая серебряная гробовая крышка,— Павла, пошатываясь, садилась на первый попавшийся стул, проводила руками по лицу и, вздохнув, снова поднималась и твердой походкой продолжала ходить по дому и приказывать.

«Что это будет? — спрашивал в ней кто-то.— Конец! Другое теперь должно быть,— отвечала она как помешанная вслух.— Что другое? Конечно, не такое, каково было прошлое».

И только к вечеру, среди первой панихиды, болезненное, полубезумное состояние матери разрешилось рыданиями.

Барабин не появлялся ни вечером, ни на другой день. Старик Артамонов, явившись с сыном в дом дочери, где уже давно не бывал, онемел от негодования, узнав всю правду, и тотчас принялся за поиски зятя, обещая к утру разыскать его.

— Да и без него похороним,— вмешался священник,— что же его ждать-то?

— Да нешто для похорон, для чествования искать его я пойду? Я его разыщу, чтобы в острог сдать, на цепь...

Павла услышала слова отца и обернулась к нему с изменившимся лицом. Этого ей и на ум не приходило. Считая своего мужа преступным и перед ней самой,

и перед ребенком, она все-таки не подумала, что он может оказаться преступным и перед начальством.

Увидя вопросительное выражение лица своей дочери, Артамонов приблизился к ней и спросил твердо, почти гневно:

— Что? Или свидетельствовать не станешь? Так после этого ты ко мне на порог не ходи! Коли ты не пойдешь в свидетельницы вместе с мамками, так, стало быть, ты вместе с ним в убийстве согласилась! Я сейчас же поеду по начальству,— к самому Еропкину, к преосвященному поеду! Не буду я Мирон Артамонов, если у меня через неделю не будет он в кандалах, а ты — свободна.

Уходя от дочери и прощаясь, Артамонов ласково сказал Павле, положив руки на ее опущенную голову:

— Полно, дочка, не кручинься! Ты еще молода: выдам я тебя замуж за хорошего, доброго человека. Приживете вы мне еще целую дюжину внучат, а это все позабудется!

Павла отчаянно зарыдала при этих словах отца, но что-то такое смутное говорило ей будто на глубине души, что отец прав, что все это забудется, что еще много у нее впереди не только лучшего, доброго, но вполне светлого и радостного, не имеющего ничего общего с ее прошлым.

Еще через день,— который прошел в разных обрядах над маленьким мертвецом,— Павла проводила наконец малютку на кладбище и вернулась к отцу в дом уже не так дико и странно спокойная, какова была она в первый день несчастия. Теперь сердце ее было уже доступно для всяких человеческих и материнских чувств. Так, в церкви и затем на кладбище, ее материнское сердце было не раз уязвлено вопросами посторонних:

— Не чумной ли?

И это слово, уязвлявшее ее, провожало ее повсюду от дома до церкви и от церкви до кладбища. Павла грустно, но твердо сто раз отвечала всякому:

— Нет, не чумной! Отец убил!

XVII

Матвей Воротынский и не подозревал, конечно, что был косвенно виновником события в доме Барабиных. На другой день он снова, сначала в церкви и затем в переулке, напрасно прождал Павлу, отправился в дом и,

узнав о похоронах ребенка, был приятно удивлен. Он вспомнил, что Павла сама вскользь намекала ему, что если бы не малютка, то она бы решилась бежать от ненавистного мужа.

— Вот умница малютка! Как кстати помер! — весело говорил Матвей.

Матвей и не воображал, что тут было преступление. Когда он был в доме Барабиных, то люди не посмели сказать ему правды, объясняя смерть малютки обыкновенным образом. Они боялись признаться важному генералу, как бы чуя, что это будет прямой донос на хозяина. Но через день Матвей совершенно случайно узнал правду, и причина этому была Аксинья.

Молодая женщина была у него в доме не скрытно; все знали, что она беглая крепостная, любимица его отца. Через три дня после появления Аксиньи в его доме уже началась та «камедь», как выражался Матвей, которой ему и хотелось.

Бригадир узнал, что Аксинья в доме сына, и тотчас с угрозами стал требовать ее возвращения. Матвей отвечал посланному, что не отдаст, так как она ему самому уже давно очень полюбилась. С этого же дня начались постоянные сношения между двумя домами, между отцом и сыном. Первые два дня бригадир грозил сыну всем московским начальством, грозил жалобами в сенат и в Петербург, самой императрице — грозился на все лады! Но Матвей отвечал смехом на все и забавлялся гневом отца.

— Скажи родителю,— смеялся Матвей, приказывая одному из посланных,— что я на Аксинье жениться собираюсь, так она мне приглянулась.

Матвей шутил, а «дюжинный» бригадир верил всему совершенно искренно, верил, что его любимица стала любимицей сына. И через несколько дней Матвей узнал, что отец обил все пороги всего московского начальства, поднял на ноги Еропкина и даже самого Амвросия.

Действительно, бригадир жаловался всем и серьезно собирался жаловаться «матери отечества», т. е. императрице. Старый волокита потерял голову. Теперь только увидел он сам, насколько глубоко привязан к этой женщине. Отсутствие взаимного чувства в Аксинье не приводило его в отчаяние.

— Пускай хоть силком, да живет у меня! — рассуждал он.

Еропкину бригадир жаловался на своевольное укры-

вательство крепостной и беглой девки родным сыном и требовал, чтобы ему привели ее через полицию. Еропкин обещал, но, занятый более серьезными делами, конечно, забывал об этом каждый раз. К тому же сенатору, презиравшему московский дворянский круг и его — как выражался умный Петр Дмитрич — каракалпацкие и самоедские обычаи, не хотелось вступаться в срамное дело, где родной сын отбивает любовницу у отца, а тот, в свою очередь, требует к себе силком чужую жену.

Когда Еропкин не был начальником края, то постоянно доходившие до него слухи о разных безобразиях московского общества заставляли его часто покачивать головой и говорить:

— Срамота, срамота! Совсем каракалпаки! Конечно, слаб человек, но все ж таки всему мера есть. А у наших московских дворян ни в чем меры нет. Того и гляди, услышишь, что дедушка на родной внучке женился, а бабушка за правнучка вышла, а поросеночек яичко снес!

Теперь, сделавшись начальником Москвы, Еропкину приходилось, среди забот о моровой язве, постоянно вступаться в дела совершенно частные, так как было в обычае во всяком деле, вполне семейного характера, отправляться жаловаться к генерал-губернатору и вообще по начальству.

Видя нежелание помочь в Еропкине, «дюжинный» бригадир стал уговаривать и упрашивать преосвященного вступиться в дело. Он уверял Амвросия, что это дело незаконное и с гражданской стороны, и с духовной. Церковь и духовенство не должны были, по его словам, оставлять таких дел без наказания.

— Поймите, ваше преосвященство,— отчаянно и горячо доказывал бригадир,— грех какой великий! Ведь она, почитай, женой моей была, а ведь он мой родной сын! Вступитесь, ваше преосвященство, не оставьте молений оскорбленного старика отца!

И Амвросий тоже обещался Воротынскому сделать что можно, т. е. попробовать увещаниями заставить молодого офицера возвратить беглую женку.

И вот, однажды, на третий день после преступления, в котором он был виновен, Матвей вдруг был вызван к преосвященному. Он догадался тотчас, что это по поводу Аксиньи.

Действительно, Амвросий вызвал молодого офицера по поводу истории, которую уже рассказывали теперь

все дворяне, еще не успевшие бежать из Москвы от чумы. Давно привыкла Москва ко всякого рода срамным историям, но вновь появившийся в стенах ее молодой питерский гвардеец все-таки удивлял всех, заткнув за пояс ее доморощенных молодцов.

Ожидая своей очереди быть принятым преосвященным в его кабинете, Матвей сидел в приемной с несколькими лицами и в том числе с необыкновенно благообразным и красивым стариком, который ему крайне понравился. Вдобавок Матвей был поражен тем, что в чертах лица красивого старика он нашел знакомые ему и даже теперь отчасти дорогие черты лица его замоскворецкой красавицы. Он подсел к старику, познакомился с ним и, со свойственной ему ловкостью и умением, начал любезничать с ним. Но старик был очень озабочен, угрюм и, почти не глядя на него, только отвечал кратко на его вопросы. Он объяснил молодому человеку, что явился к Амвросию просить о разводе дочери. И Матвей тут в первый раз узнал от самого старика Артамонова, что муж его красавицы убил, хотя и нечаянно, собственного сына.

Матвей тотчас быстро оставил своего собеседника, почти отскочил от него. Он сразу догадался, что ввиду затеваемого им относительно Павлы, конечно, не следует быть лично знакомым с стариком отцом.

— Мало ли что может еще случиться! — тотчас сообразил Матвей.— Коли он меня в лицо будет знать — дело дрянь! Экая глупость, зачем я к нему лез! Спасибо, кажется, ни разу не поглядел на меня, благо огорчен.

Матвей тотчас удалился и сел спиной к старику. Но Артамонову было не до него; он действительно ни разу не поглядел в лицо молодого гвардейца. Он был озабочен тем, согласится ли Амвросий тотчас нарушить брак его дочери с извергом, которого он напрасно разыскивал по Москве, чтобы посадить в острог.

— Беда,— думал он, даже бурчал вслух,— беда, и купить нельзя: будь другой преосвященный, заплатил бы хоть сто тысяч, чтоб освободить Павлиньку да опять замуж выдать. А этого не купишь. Скажет: обратися, мол, в Синод.

И старик, сумрачный, ждал очереди.

Матвей Воротынский, как петербургский гвардеец и дворянин, был принят Амвросием прежде старика купца, хотя тот и явился ранее молодого человека.

Амвросий строго стал увещевать Матвея тотчас

возвратить отцу его беглую крепостную. Матвей объяснил преосвященному все дело, объяснил, что Аксинья ненавидит его отца, что она незаконно продана в разные руки от мужа, мечтает только о том, чтобы соединиться с любимым мужем и избавиться от насильственного положения наложницы, и что, наконец, муж ее должен откупиться вскоре на волю.

— Ведь это греховное дело! — говорил Матвей.

На это преосвященный, к удивлению молодого человека, отвечал только одно:

— Все это до меня не касается, все это дело гражданское. А я от вас желаю, молодой человек, только того, чтобы вы, вернувшись домой, немедленно отпустили батюшке-родителю беглую и крепостную его девку.

«Вот тебе и раз,— подумал про себя Матвей.— Вот тебе и архиерейская справедливость!» — думал он, уже ворочаясь домой.

Дома он нашел Аксинью сияющею от радости: она нашла своего Васю, успокоила его и привела в дом Матвея. Но молодой человек должен был одним словом уничтожить радость их обоих, передав приказ Амвросия. Они решили, уже втроем, обождать несколько дней, поглядеть,— что будет.

На другой день на дворе палат молодого гвардейца показалась карета цугом, из которой вышел архимандрит Донского монастыря. Матвей понял сразу, в чем дело. Действительно, архимандрит приехал спросить от имени преосвященного, исполнена ли известная им обоим просьба, и если не исполнена, то его преосвященство намеревался завтра же келейным образом обсудить это дело и принять некоторые меры против господина офицера.

«Ах, черти этакие!» — подумал про себя Матвей и, отпустив Антония с уверением, что все будет исполнено в тот же день, отправился в горницу, где поселил двух супругов.

— Что же делать, голубчики,— объяснил он.— Не могу же я из-за вас пострадать. Видели — присылал архимандрита. Из-за такого пакостного дела в Синод жаловаться на меня хочет. Нечего делать — не отвертишься. Ступай уж к нему!

Василий Андреев, после упорного молчания, кончил тем, что сам посоветовал жене идти к Воротынскому.

— Ступай. Но небось не надолго. Не пройдет меся-

ца — я тебя выкраду, а этих обоих старичков угощу посвоему.

— Каких обоих? — изумилась Аксинья.

— И твоего бригадира, да и архиерея в придачу.

В тот же вечер Аксинья сама вернулась снова в дом своего ненавистного бригадира, а Василий Андреев поехал в Серпухов разыскивать своего барина, чтобы откупиться на волю, а затем распорядиться и с женой; и с своими врагами.

XVIII

Житье-бытье двух монастырских послушников, Абрама и самозванца Бориса, шло по-прежнему, но менее мирно и любовно. После посещения Марьи Абрамовны Уля была менее счастлива. Абрам, казалось, менее любил ее, начал снова скучать и снова мечтал только об одном — как бы скорее выбраться из монастыря. Когда в Донском появилась Уля, то капризный и избалованный барич на время утешился: у него явилась забава, игрушка, и он примирился со скукой монастырской жизни. Но теперь, когда забава эта стала менее занимательна, игрушка начинала наскучать, он снова по целым дням мыкался по монастырю, по кельям разных монахов или сидел и совещался с дядькой, как избавиться от монашества. Менее всего проводил он время с Улей. Хотя он и уверял и ее, и себя, что по-прежнему любит ее, но, в сущности, его прежнего чувства к девушке не было и следа.

Уля наивно не понимала этого; она не могла допустить мысли, чтобы Абрам мог не только так быстро, но вообще когда-либо перемениться к ней. Она была уверена, что они связаны навеки самым несокрушимым чувством. Если бы кто стал ее уверять в противном, то она почла бы это клеветой на своего дорогого Абрама Петровича. Унылый и скучный вид Абрама она объяснила тоской монастырской жизни и была убеждена, что если когда-либо они выберутся из Донского, то тотчас отправятся в церковь венчаться. Никогда не говорила Уля об этом с Абрамом, а между тем была глубоко в этом убеждена.

Абрам, постоянно совещаясь с дядькой, умолял его придумать средство освободиться. Дядька Дмитриев уговаривал только барича потерпеть немного.

— На Москве и по всей России чума, мрут люди.

И господа не меньше холопов. Авось и вашу бабушку подцепит чума, тогда мы и освободимся.

Но подобного рода утешения мало действовали на Абрама.

— Ведь ты обещал прежде,— приставал Абрам к дядьке, как малый ребенок.— Ты всячески обещал, что таких дел наделаем, что нас непременно выгонят, а вот и не сдержал слова: сидим да киснем. На словах ты был прыток...

— А что же делать? — отвечал дядька.— Нешто я виноват, что святые отцы сами срамники? Нешто мог я думать, чтобы настоятель монастыря, узнав про нашего служку Бориса, кто он таков есть, оставит нас в монастырской ограде? Моя немалая надежда была на нашего Борьку,— шутил Иван Дмитриев,— а что ж вышло? Архимандрит знает, что Борька — Ульяна Борисовна, и молчит. Какое ж нам теперь колено выкинуть, чтобы нас отсюда погнали? Только одно и остается: за обедней петухом пропеть: ку-ку-ри-ку или самого архимандрита ночью обокрасть.

— Ты все шутишь,— плакался Абрам,— мне просто хоть помирай. Если этак еще немножко прожить в монастыре, так я в татарскую веру перейду со злости.

— Муллы нет! А то бы и я с вами перешел... Выписать разве?

— Ты все только бы балагурить!

— Потерпите немножко. Поглядите, чума все переделает, верно вам сказываю,— утешал дядька барчонка.— Быть не может, чтобы все по-прежнему пошло. Либо вашу бабушку в вотчине чума скрючит на тот свет, либо в дороге угодит она под какой мост али в овраг. Не может того быть, чтобы эта смута на Руси прошла, да нам от нее никакой выгоды не произошло.

Дмитриев надеялся на чуму недаром: лето было уже на половине, наступал июль, месяц жары, и в Москве умирал народ все более и более. А из нее чума расходилась по окрестным деревням и селам и по ближайшим маленьким городам. Многие дворяне, бежавшие из Москвы, умирали у себя в усадьбе. Наконец однажды в Донском монастыре, утром, сделалось вдруг волнение среди его обитателей. Монахи всполошились все от известия, что у них в Донском учреждается карантин и что они должны принимать из столицы наполовину зачумленных людей или только находящихся в подозрении.

Долго отстаивал архимандрит свой монастырь от начальства, но наконец должен был уступить. И действительно, в Донской начали отправлять всех сомнительных людей, у которых в доме были умершие родственники.

После первого страха, который быстро рассеялся, в монастыре началось, конечно, житье более веселое. Каждый день приезжали или просто приходили пешком партии всякого рода людей — и дворян, и купцов, и простых мещан,— и все они распределялись по разным кельям. Некоторые из них были совершенно здоровые; их отправляли в монастырь только потому, что в их доме оказались больные или умершие — иногда даже не от чумы. Но были, конечно, и случаи заболеваний и смерти.

В келье молодого барина Ромоданова, которая была самая большая, пришлось помещать тоже «сумнительных», как называли их. Таким образом стали появляться в домике Абрама разнородные постояльцы, иногда очень любопытные и веселые. Во всяком случае, жизнь в монастыре началась совершенно иная: было больше народу, больше шума, больше суеты и менее служб церковных, меньше молитв.

Партии «сумнительных» пригонялись обыкновенно около полудня, и почти каждый раз наличное население монастыря выходило за ворота встречать вновь прибывших. Вместе с другими выходил и архимандрит, и тут же, приняв гостей, распределял их по разным кельям и домикам. Абрам, Дмитриев и Уля, отчасти от праздности, отчасти из любопытства, тоже выходили навстречу новым гостям. Абрам брал к себе постояльцев по собственному выбору, с позволения архимандрита; разумеется, он брал более приличный народ — преимущественно дворян.

И вот однажды, несмотря на дождливую погоду, Абрам вместе с Улей вышли за монастырские ворота поглядеть, кого пошлет судьба на нынешний день к ним в карантин. Иван Дмитриев на этот раз отказался идти: ему уже надоело это зрелище.

Партия вновь прибывших подъехала на трех подводах к монастырским воротам с конвоем солдат. Архимандрит, по обыкновению, вышел тоже встретить вновь прибывших. Абрам рассеянно оглядывал разные лица вылезавших из телег. Уля стояла около него. Но вдруг оба они встрепенулись.

— Господи Иисусе Христе! — воскликнул около них

хорошо знакомый им голос.— Улюшка, ты ли это? Что такое? Господи помилуй!

Восклицание это вырвалось у привезенного, в числе прочих, в карантин Капитона Иваныча Воробушкина. Он видел свою племянницу и, несмотря на ее одежду монастырского служки, тотчас узнал ее, Абрам смутился и вспыхнул; но Уля, нисколько не оробев, не потерявшись, бросилась на шею к своему дорогому Капитону Иванычу и начала целовать его.

— Господи! думала ли я увидеть вас! Думала — никогда не свидимся, а вот Господь привел!

— Да что такое? Отчего ты в этом одеянии? Что это значит? в толк не возьму! — изумлялся и растопыривал руками Капитон Иваныч.

— А это так нужно. Вы только молчите. Пойдемте к нам — я все вам поясню,— говорила Уля совершенно просто и весело и нисколько не смущаясь.

Все трое уже двинулись было к келье Абрама, когда вдруг приблизился к ним сам архимандрит. Он познакомился с Воробушкиным, когда тот комиссаром был, и теперь подошел поздороваться с ним.

— И вы к нам, господин Воробушкин? Знать, вы больше не комиссар? — любезно сказал он, подходя.

Воробушкин объяснил постигшее его горе.

— И при жизни супружницы моей,— сказал он,— мало мне было от нее радости, да и померла будто на смех.

Уля, при известии о смерти Авдотьи Ивановны, невольно ахнула.

— Как? Померла? Когда? Отчего? — воскликнула она, забывая, что сама выдает себя этими вопросами.

— Да померла от чумы, а меня вот сюда отправили,— выговорил Капитон Иваныч и тотчас, обратившись к архимандриту, прибавил просто и любезно: — А вот позвольте вам рекомендовать мою племянницу. Впрочем — что ж я?! — ведь она у вас: вы, стало быть, должны знать ее. Только, признаюсь, удивительно мне очень, что вы...

— Что вы изволите говорить? — сурово и делая вид, что ничего не понимает, сказал Антоний.

Капитон Иваныч объяснился.

— Вы изволите ошибаться, это наш монастырский служка, Борис, живущий вот у Абрама Петровича.

— Борис? Какой Борис? Отец ее, мой брат, Борисом звался,— изумляясь, выговорил Воробушкин.

И наступило вдруг самое странное молчание; все четверо были смущены и не знали, как выбраться из беды.

— Если же вы точно признали в этом служке свою племянницу,— выговорил вдруг строго архимандрит,— то это дело так оставаться не может. Стало быть, я был введен в обман и должен тотчас же донести об этом его преосвященству. Это есть поругание нашей обители и монастырского устава и даже грех пред Господом.

И архимандрит, не дожидаясь ответа или объяснения, отвернулся и отошел от Воробушкина.

— Что вы наделали! Голубчик! Капитон Иваныч! — взмолилась Уля.— Ведь теперь беда будет!

Но Капитон Иваныч окончательно потерялся, ничего не мог сообразить и снова обратился к племяннице с вопросом:

— Да что же все это значит? Я в толк не возьму! Стало, он не знает. Тебя Борисом зовет.

— Да я так сама сказалась. Не могла же я, голубчик мой, служкой одетая, Ульяной сказываться.

— Да зачем? Зачем ты сюда-то попала? Что тебе тут делать у Абрама Петровича?

Уля, вместо всякого ответа, повела, почти потащила своего Капитона Иваныча в келью. Абрам побежал к дядьке, и оба тотчас умышленно скрылись из дома, предоставляя Воробушкину узнать все от самой Ули.

— Эка важность! — сказал Дмитриев отчасти смущенному питомцу.— Ну, узнает все и съест. И дядя-то он ей приходится по тому же обряду самодельного венчания. А вот подумайте лучше. Сбираться надо. Антошка нас авось ныне же и турнет отсюда вон.

Между тем Уля подробно рассказывала Воробушкину, как попала в монастырь и согласилась, из любви к Абраму, на перемену и одежды женской, и имени, и на положение наложницы.

Последнее не сразу понял Воробушкин.

— Ты его любовница! — воскликнул наконец Капитон Иваныч.

— Да ведь я же вам и поясняю это! — просто, с светлой улыбкой на губах отозвалась Уля.

Воробушкин окаменел не от подтверждения известия, а от непонятного ему спокойствия Ули и ясности в ее глазах и в ее голосе.

Уля заговорила опять, рассказывая свое житье в мо-

настыре, и страстно, восторженно описывала Воробушкину, как она любит Абрама.

— Я думала прежде, что я на горе иду, на муку, и вышло, что я не знаю, как и Бога благодарить за свое счастье. Этакого счастья я и ожидать не могла...

Но вдруг Капитон Иваныч, слушавший любимицу, горько залился слезами. Уля, перепуганная, бросилась к нему на шею и начала целовать его.

— Что вы! Что вы! Капитон Иваныч! Родимый! Дорогой! Да об чем же вы? Об покойнице своей, что ли, вспомнили?

— Ах, Улюшка! Да ты что же это? Вчера родилася, что ли? Думалось ли мне до этакого дожить!.. А я-то выбивался из сил, чтобы тебя от бригадира Воротынского спасти... Во что попала-то!.. Ведь теперь никогда тебе уж замуж ни за кого не выйти...

— Вестимо, ни за кого, кроме его, и не пойду! — воскликнула Уля с укоризной, что Воробушкин мог ее заподозрить в противном.— Буду его ждать!

— Как ждать? Чего?..

И Уля объяснила Капитону Иванычу, что как только старуха Ромоданова умрет, так она станет женой Абрама, и он, поступив в гвардию, поедет с ней в Петербург.

— Да ведь это песенка всех этаких поганцев совратителей! Все это враки ихние! — возопил отчаянно Воробушкин.— А ты, овечка моя простодушная, и поверила! Ах, да как это я не углядел!.. Все я виноват, старый, слепой пес!..

И Капитон Иваныч снова принялся плакать.

— Как? Вы не верите! Вы думаете, Абрам Петрович может так обманывать?

И Уля стала доказывать Воробушкину горячо и увлекательно, что стыдно ему заподозривать Ромоданова, что это кровная обида и ей самой. Что она этого и не ждала от доброго и всегда справедливого Капитона Иваныча.

Напрасно Воробушкин убеждал племянницу, что не верит ничему и готов голову отдать «на отруб», что она обманута и барчонком, и его дядькой.

Уля наконец тоже заплакала, глубоко обиженная за себя и Абрама.

— Ну, ладно. Пускай я вру. Пускай будет покуда повашему. Но скажи мне, как пошла ты на такой грех и срам? — вдруг переменил разговор Воробушкин.

Уля широко раскрыла глаза и перестала плакать.

— Какой же тут грех или срам? Сраму нет, потому

что мы об этом никому не сказываем; а кто сам узнает — молчит. А грех-то какой же? Разве мы убили кого, ограбили?...

— Грех перед Господом! Без венчания разве можно жить супружескою жизнью? За это Господь наказывает и на том, и на этом свете...

— Что вы, Капитон Иваныч! Христос с вами! какое вы загородили! Вот уж я от вас не ждала-то!..— изумленно и даже наивно-насмешливо вымолвила Уля.

И она стала глядеть на Воробушкина, как глядит взрослый на шалость или нелепую болтовню дорогого ребенка.

— Да тебя они совсем, стало быть, совратили. И разум-то твой совращен с пути истинного! — закричал Воробушкин.— Брак — таинство! Венчание Бог повелел и церковь, и отцы святые установили. А мало ли что мерзостные люди выдумывают и как грешат! Ну, на них проклятие Божеское посылается. Знавала ли ты хоть единую девицу богобоязненную, чистую и непорочную, которая бы жила с кем без бракосочетания?

— А моя матушка? Мой родитель — ваш братец! — едва выговорила Уля от удивления, в которое ее приводили слова Воробушкина.

Воробушкин поперхнулся, закашлялся и, замолчав, встал с места и начал искать что-то по горнице.

— Это совсем было, Улюшка, другое дело. Это не пример тебе! — храбрее выговорил Капитон Иваныч через минуту.

— Ах, полноте!.. Кто же пример, если не отец с матерью! — воскликнула Уля.— Как не совестно вам, право!.. Вот давно-то не видались! Что вы стали говорить! Прежде бы не сказали, что мой родитель и матушка были люди не... Ну, да что с вами вместе грешить! — махнула Уля рукой.

— Да, Улюшка, давненько мы не видались! — подхватил с укоризной Воробушкин.— Много воды утекло. И прежде ты так не разговаривала. И меня слушалась, верила всему, что я скажу. А теперь вот я в... Да, я у тебя... в дураки попал! — выговорил Воробушкин, поперхнувшись, и снова заплакал.

Уля бросилась к своему дорогому Капитону Иванычу, прося прощения, но прибавляя:

— Вот увидите, как все обойдется славно! Вот увидите!

В тот же вечер Воробушкин объяснился с Абрамом и — совершенно успокоенный им — повеселел.

Добрый Капитон Иваныч, конечно, более беспокоился о будущей судьбе племянницы, нежели о грехе пред Богом.

— Бог-то простит! — сказал он Абраму.— Это уж дело известное! А вот люди-человеки не простят никогда никого.

Барич, разумеется заранее наученный дядькой, как себя вести и что говорить, объявил Воробушкину, что он только и мечтает о том, чтобы выйти из монастыря, поступить в военную службу и жениться на Уле.

На другой же день Капитон Иваныч, ни слова не говоря никому, отправился к Антонию и объяснил ему все подробно, не зная, что ничего нового не сказал настоятелю и что тот давно уже знал все и молчал.

Но теперь, ввиду заявления Воробушкина, архимандриту было уж невозможно оставлять в монастыре барчонка с его обстановкой. Выгнать из монастыря одну Улю было всего проще; но это было невыгодно для архимандрита. При изгнании всех и самого Ромоданова его богато выстроенная келья оставалась имуществом монастыря. Вследствие этих соображений в тот же день Абраму было приказано покинуть монастырь со всеми своими людьми и отправляться куда угодно.

— Ну, вот и турнули! — весело говорил Дмитриев.— Заживем весело на Москве. А бабушка-то когда еще вернется из вотчины? Может, к зиме.

На первое время Абрам со всеми своими,— кроме отца Серапиона, который давно пропадал без вести,— переселился за монастырскую ограду в маленький домик, тоже принадлежащий ему.

Все были веселы и довольны, кроме Капитона Иваныча, которому положение его племянницы и обещания Абрама начали вдруг казаться сомнительными. Это случилось оттого, что дядька, очевидно имевший над Абрамом большое влияние, на все расспросы Воробушкина отвечал как-то неохотно или загадочно.

После совещания, как попасть в Москву, было решено, по совету Ивана Дмитриева, нанять лошадей и, сделав верст пятьдесят крюку, въехать в Москву через Крестовскую заставу. С этой стороны впускали легче, чем в другие заставы, считая местность на север от Москвы менее зараженною.

XIX

Хотя Марья Абрамовна давно уже выехала из Москвы, но этого нельзя было подумать, поглядев на ее дом. На дворе и за воротами и днем, и вечером было много народу, постоянно раздавались песни, пляски, говор и смех. Вечером почти все окна, за исключением второго этажа, где были парадные комнаты, бывали ярко освещены.

Марья Абрамовна, уезжая, чтобы скорее и легче добраться до вотчины, взяла с собою только трех человек и выехала без всякого обоза. Все, что было приживалок и нахлебников, все это, праздное от зари до зари, осталось в Москве. И, несмотря на зловещее время, несмотря на то, что в самом доме, с легкой руки кучера Акима и арапки, умирал уже восьмой человек все одной и той же болезнью, население больших палат было весело; никто не хотел и верить, что в доме была тоже чума. Всякий день разные приживалки, наболтавшись по смущенной Москве досыта,— благо барыни нет дома,— возвращаясь, передавали кучу страшных рассказов. А между тем у них же под боком, на дворе, в самом большом флигеле, постоянно водились больные и постоянно увозили мертвых. А остальных в карантин не брали, предполагая, вероятно, что в важном доме генеральши Ромодановой какая же может быть чума?

И только одна из приживалок во всем доме, гадальщица, раз заикнулась, что у них в доме тоже неладно,— пожалуй, тоже хворость вроде чумной. И сотни голосов поднялись против этого заявления, разругали ее и подняли на смех. Впрочем, так было почти по всей Москве; всякий толковал о чуме у соседа, но заболевших и умиравших у себя, умышленно, а иногда и наивно, ни за что не хотел считать чумными. Этому способствовало, конечно, то обстоятельство, что строгие меры нового начальства были очень неудобны. Заявлять или болтать о чумном у себя в доме — значило попасть в страшный карантин. Или, если дом большой, поставят часовых к дому и не будут никуда выпускать; и погулять-то нельзя тогда. Или же возьмут всех, выведут за город в какой-нибудь монастырь, а дом заколотят и оставят на произвол судьбы.

Отсутствие Ромодановой повело и к тому, что десятки праздных лакеев и разных дворовых начали пьянствовать. На дворе и за воротами дома генеральши часто

случались теперь драки, а иногда и кулачные побоища, шли стенка на стенку.

Но эта неурядица в доме вдруг прекратилась.

Однажды в сумерки въехал на двор тарантас с тройкой, и все население выбежало встретить, радуясь, и искренно, и притворно, приезду молодого барина.

Абрам, сначала несколько смущаясь и робея, зажил в родном доме, в котором давно уже не был. Он чувствовал, что совершенно незаконным образом поселился тут и что бабушка, узнав со временем об его изгнании из Донского и найдя его внезапно дома, может поступить с ним очень круто. Просто может, вернувшись, выгнать от себя или сдать в какой-нибудь дальний монастырь за тридевять земель от Москвы.

Уля и Капитон Иваныч остались, конечно, с молодым барином и поместились в доме, в отдельных горницах. И молодая девушка, и Воробушкин были тоже не очень веселы, хотя по разным причинам. Капитон Иваныч продолжал смущаться, думая о новом положении своей племянницы и о том, как взглянет на это дело генеральша. Уля хотя и верила вполне Абраму, но боялась тоже Марьи Абрамовны. Барыня, схитрившая в монастыре, промолчавшая и не пожелавшая ее признать в монастырском платье, поступит, конечно, совершенно иначе, увидя ее в собственном доме. Кроме того, Уля боялась быть в Москве поблизости бригадира Воротынского, которому, в сущности, все еще по закону принадлежала.

Один Иван Дмитриев был в духе, весел и сразу как-то незаметно для самого себя и для других забрал в руки всех и все. Не прошло и трех дней с их приезда, а все уже в доме приняло другой вид, и все по всякому делу обращались к Дмитриеву, как если бы он был настоящий барин.

Все четверо вновь прибывшие часто, однако, совещались вместе о том, что делать, как быть ввиду дальней грозы, которая могла вдруг приблизиться. Что делать, если до Марьи Абрамовны, через десятки ее приживалок и прихлебателей, дойдет слух о поступке внучка? И конечно, ничего из этих совещаний не вышло. Иван Дмитриев все только повторял:

— Обождем, что Бог даст! Что чума даст!

Кроме этого, Абрам часто жаловался дядьке, что старый лейтенант надоел ему с вопросами об его любви к Уле и о том, как взглянет Марья Абрамовна на его свадьбу. Капитон Иваныч и не подозревал, что внучек,

быть может, этого желает еще менее, нежели могла бы пожелать бабушка. С другой стороны, Капитон Иваныч часто совещался с Абрамом насчет того, как распутать ее положение относительно бригадира, и так надоедал ему с этим, что с первых же дней дело это уладилось. Иван Дмитриев, тотчас по приезде, отобрал у дворецкого весь оброк, который был им получен за последнее время, убедив его, что, за отсутствием барыни, деньги должны быть у молодого барина. Из этих денег Дмитриев тотчас же выдал Капитону Иванычу более ста рублей на немедленный выкуп Ули у бригадира.

Прошло две недели с приезда Абрама в дом, и ему стало еще хуже, чем в монастыре. И он сам, и все в доме чувствовали, что положение его мудреное, что не нынче завтра явится посланный от барыни, и все перевернется вверх дном. Барчонка снова отправят в монастырь, а дворянина Воробушкина с племянницей турнут вон из дома.

Однако вскоре все в доме действительно перевернулось вверх дном, но совершенно иначе, нежели думали и ожидали его обитатели.

Капитон Иваныч первые дни после приезда опасался много выходить, чтобы не встретить кого-нибудь из канцелярии Еропкина.

Лейтенант и уволенный комиссар был, в сущности, теперь запретный плод. Лишенный места по смерти жены, он был сдан в Донской монастырь выдержать карантин, а теперь очутился в Москве совершенно самовольно и противозаконно. Таких были тысячи в городе, но они не были лично известны канцелярии и самому Еропкину. Воробушкин боялся, что его могут не только снова отправить в Донской, но даже и судить за ослушание «вышнего» начальства. И как ни укрывался в городе беглец, но, однако, в хлопотах о деле своей племянницы и выкупе ее от бригадира Воробушкин два раза попался на глаза двум чиновникам канцелярии Еропкина. Оба равно, видя Капитона Иваныча на свободе, отнеслись к его поступку крайне хладнокровно.

— Не болен человек, так чего ж сидеть в Донском? — было их мнение.— Да и все это пустое! Докторские выдумки. Нешто человек человека заражает? Чума заражает человека...

Наконец, однажды утром, Воробушкин, отправившись снова по делу своей племянницы повидать подьячего в обыкновенном месте их пребывания, т. е. у Ивер-

ских ворот, налетел прямо на генерала, который ехал верхом. Не успел он порядком разглядеть всадника, как тот уже узнал его и назвал по имени. Это оказался сам начальник Москвы, Петр Дмитриевич Еропкин.

Разговорившись с Воробушкиным, Еропкин вспомнил, что бывший комиссар, один из самых усердных, был лишен своего места вследствие заразы в его доме. Расспросив подробно Капитона Иваныча обо всем, о смерти нелюбимой жены и о бегстве из Донского монастыря, Еропкин рассмеялся.

— И при жизни злилась, и померла назло! — повторил он, смеясь, слова Воробушкина.— Да ты чумной или нет?

— Помилуйте, какая во мне чума? Дай Бог всякому такую!

— Здоров, стало быть, совсем?

— Здоровехонек, ваше превосходительство, здоровее, чем когда-либо. Да я, собственно, к моей больной супруге вблиз и не лазил. За две сажени к постели не подходил.

Еропкин снова весело рассмеялся и прибавил:

— А коли здоров, так поступай опять на службу. Комиссаром сделать не могу, места заняты, а поступай так, чиновником на поручения. А вот на днях мы Москву разделим еще на двадцать восемь частей, тогда опять в комиссары попадешь. Хорошие, усердные люди нам нужнёхоньки!

Капитон Иваныч, со слезами на глазах, стал благодарить генерала. Воробушкин был тем более счастлив, что в качестве чиновника при начальнике города он мог легче устроить дело своей племянницы. Прежде он боялся, что, несмотря на деньги, которые хотел предложить бригадиру чистоганом, бригадир мог и не согласиться на продажу своей крепостной. Теперь же Капитон Иваныч надеялся пугнуть бригадира своим званием или Еропкиным.

Через два дня Капитон Иваныч состоял уже при канцелярии; на небольшие деньги, заимообразно взятые у того же Ивана Дмитриева, сшил себе новый морской мундир и стал совсем молодцом.

Дела было при Еропкине немало, и Капитон Иваныч, уходя поутру из дома Ромодановых, появлялся назад со службы только в сумерки. Но однажды, через несколько дней после поступления, Воробушкин появился на дворе и в доме Ромодановой около полудня. При этом он не

шел, а бежал что было духу и, пробежав дом, точно так же бегом поднялся по большой парадной лестнице. Найдя Абрама и Дмитриева в одной из гостиных, Капитон Иваныч замахал руками и, не имея сил выговорить что-либо, выпил залпом стакан воды, оказавшийся на столе. Наконец, едва переводя дыхание, проговорил:

— Бабушка! Бабушка!.. Померла...

Абрам при этом известии даже не вскрикнул, а мгновенно вскочил и сильно побледнел. Иван Дмитриев бросился на Воробушкина и, в порыве самых различных чувств, его охвативших, начал душить Капитона Иваныча в объятиях.

— Померла!.. Померла!.. Померла! — повторял Капитон Иваныч на разные лады и на разные голоса.

И не скоро мог он объяснить все дело, а дело было очень просто.

В канцелярию Еропкина было дано знать из уездного городка, Подольска,— всего в тридцати пяти верстах от Москвы,— что там умерла проезжая барыня, на постоялом дворе, с признаками чумной заразы, и заколочена немедленно в гроб. Но начальство ожидает приказаний из Москвы, так как при ней был найден сундучок с большой суммой денег, около десяти тысяч, да кроме того, покойница — женщина не простая, а генеральша Ромоданова.

Бумага эта уже пролежала в канцелярии несколько дней, когда попала на глаза какому-то чиновнику, сообщившему ее Воробушкину, часто поминавшему имя Ромодановой.

Известие о смерти Марьи Абрамовны имело, конечно, такое потрясающее действие на весь дом, что он, казалось, мог рухнуть и развалиться на части. Началась полная сумятица; все бегали по дому; даже Абрам, забыв всякое приличие, бегал с этажа в этаж и объявлял всем встречным о смерти бабушки. Иван Дмитриев почти потерял рассудок от радости и счастия; но если все бегали, сновали и прыгали, то Иван Дмитриев ходил по дому еще медленнее обыкновенного, молчал и разводил руками.

— Не знаю, с какого конца начать радоваться! — объяснял он.

Однако, через день после этого известия, тот же Иван Дмитриев нашел конец этот и сразу распорядился по всем вопросам, требующим немедленного разрешения. Капитон Иваныч, как человек дельный, верный, да

к тому же и чиновник, был послан тотчас в Подольск — по совету Ивана Дмитриева и с дозволения Еропкина — похоронить генеральшу, умершую с признаками чумы, в самом городке, а не перевозить в Москву, деньги получить в полиции и привезти внучку. Абрам собирался было отправиться сам похоронить бабушку, но, узнав, что его могут потом отправить в какой-нибудь карантин, с удовольствием остался.

— Да и чего вам там делать? — решил Иван Дмитриев.— Померла, ну, и похоронит Капитон Иваныч. Чего нам с ней вожжаться! Вы думайте теперь о другом,— что вам делать.

Что делать в случае смерти бабушки — было так давно обсужено, решено между Абрамом и дядькой, что теперь требовались только два дня, чтобы давно тайно желанное и взлелеянное привести в исполнение.

XX

Когда Капитон Иваныч, съездивший в Подольск, предал земле казенный, в полиции заказанный и дегтем обмазанный гроб, получил деньги и вернулся в Москву, то нашел уже Абрама в красивом мундире и состоящим точно так же при начальнике Москвы. Капитон Иваныч передал ему тотчас сундучок, но счастливцу молодому барину было не до денег.

Две вещи удивили, однако, Абрама и Дмитриева. Во-первых, незнакомый им обоим сундучок покойной бабушки, в котором было около десяти тысяч денег правильно сложенными бумажками, и некоторые пачки так плотно улежались, как будто их положили туда давным-давно.

Кроме того, Иван Дмитриев задавал вопрос Воробушкину:

— Куда ж девались люди, поехавшие с генеральшей?

Ответ был только один возможный. Узнав, что барыня на постоялом дворе заболела и померла чумой, они от страха разбежались.

— Ну, хоть бы один сюда прибежал,— возражал Абрам.— Неужто все разбежались по своим деревням? Хоть один бы прибежал сюда сказать, что бабушку чума подцепила

— Ну, да что ж тут толковать? — решил весело Дмитриев.— Померла! Похоронили! Ну, и Христос с ней! Царство небесное, коли ее туда пустят!

И в первые же дни по возвращении Воробушкина в доме молодого барина, наследника всего состояния, шло полное ликование. Все обитатели, узнав, что никого не прогонят, все останется и пойдет по-старому, благословляли судьбу. Старая барыня отправилась на тот свет, а судьба их зависела теперь от молодого барчонка, который всегда был ко всем добр и ласков. Стало, все слава Богу — лучше не надо!

Иван Дмитриев был бесконечно счастлив. Его давнишняя, заповедная, дорогая мечта наконец сбылась! Он получил отпускную, и, как вольный человек, на деньги, полученные от Абрама в подарок из того же, привезенного Воробушкиным сундучка, Иван Дмитриев немедленно записался в гильдию. Он сделался не лакей и холоп генеральши Ромодановой — Ванька, а второй гильдии купец Иван Дмитриев. Имея эту бумагу в кармане, Дмитриев, разумеется, остался в доме и продолжал быть и наперсником, и советником, и главным управляющим при молодом барине. В сущности, настоящий барин в доме был Дмитриев, и все делалось и исполнялось по мановению его руки. Капитон Иваныч был счастлив не менее других, так как справил бумагу, по которой Уля сделалась его собственной крепостной, а затем тотчас же дал своей племяннице отпускную, и в несколько дней Уля стала по документу вольной мещанкой города Москвы. Оставалась только одна мечта Воробушкина — свадьба богатого молодого барина. Оставалось устроить окончательно судьбу своей дорогой Ули — так, чтобы всякий мог позавидовать ей!

Но что касается до этого, то Абрам и Дмитриев всячески убеждали Капитона Иваныча отложить дело на время; покуда в Москве идет сумятица, дворяне разъехались, разбежались, и нельзя справить свадьбу, как подобает Ромоданову.

— А вот, когда поутихнет,— говорил Иван Дмитриев,— выгонят чуму из Москвы, тогда мы свадьбу и справим, и будет у нас пир горой.

Капитон Иваныч наивно и без труда согласился на это.

Всех счастливее был, конечно, Абрам. Он числился при канцелярии Еропкина, носил красивый унтер-офицерский мундир, но все, что было военных в Москве,

относилось к нему не только как к равному себе, но даже многие ухаживали за ним.

У Ромоданова было всегда слишком много червонцев в красивом шелковом кошельке, который связала ему Уля, чтобы можно было отнестись к нему как к нижнему чину.

На первых же порах Абрам познакомился и избрал себе в приятели одного из офицеров, состоявших при начальнике края. Этот офицер более всех полюбился Абраму сразу; и с первого же дня он бывал у своего сослуживца по канцелярии всякий день. Этот сослуживец был Матвей Воротынский.

Хотя Матвей был старше Абрама и притом петербургский офицер и петербургский франт, но почему-то между обоими нашлось сразу так много общего, что они подружились в один вечер и стали видаться постоянно.

В первые же дни известная робость и нерешительность юношеская, которая была у Абрама, сразу пропала. До сих пор Абрама поучал во всем Иван Дмитриев, хотя умный человек, но все-таки дворовый и лакей. Поучения и уроки Матвея были совершенно иного рода. Каждый вечер, как только Абрам ворочался домой от своего нового приятеля, он привозил новый запас сведений всякого рода и новый запас смелости и дерзости. Ему казалось, что он всякий день, под влиянием нового друга, растет, мужает, становится действительно мужчиной и молодцом, а не барчонком, недорослем.

Уроки Матвея вскоре сказались и в доме, в личных отношениях Абрама с домашними. Абрам несколько раз показал себя строгим барином, чего прежде никогда не бывало.

Наконец, однажды в сумерки, вернувшись от Матвея, Абрам, сильно пьяный, встретил Капитона Иваныча и почему-то обозвал его очень невежливо. Воробушкин не обиделся и, проводив молодого барина до его нового кабинета, где прежде всегда пребывала Марья Абрамовна, стал говорить с ним и усовещевать его, советовать не бывать у Воротынского. Абрам отвечал очень грубо и разругал старого моряка на чем свет стоит. Слово за слово, и молодой барин приказал Воробушкину немедленно выезжать из его дома вместе с своей племянницей. Пораженный, Капитон Иваныч побледнел и едва не упал на пол. До тех пор он все думал, что молодой барчук навеселе, хочет только над ним покуражиться.

— Что вы, побойтесь Бога! — воскликнул он.— Что вы! Не в своем виде! Не знаете, что говорите!

Абрам, бывший действительно сильно пьян и чувствовавший, что море ему по колено, пригрозил Капитону Иванычу, что выкинет его вон из окошка. Воробушкин уже давно,— быть может, лет двадцать,— не сердившийся и не выходивший из себя, вдруг вспылил настолько, что стал грозить пальцем прямо под носом молодого барина.

— Ах ты мальчишка, щенок! Солдатенок... смеешь меня... лейтенанта...— задыхаясь, проговорил Капитон Иваныч.— Меня — морского корабельного флота...

Но в ту же минуту Абрам ухватил старого лейтенанта за воротник нового, на его же деньги сшитого, мундира и потащил его к дверям. И тут без свидетелей вдруг случилась очень обыкновенная вещь. Молодой солдат-дворянин и старый моряк-дворянин просто-напросто подрались. Силы у юноши и старика оказались равными, и оба они, и их новые мундиры более или менее пострадали. Наконец Воробушкин ретировался пред неприятелем и выскочил от молодого барина, который его преследовал по нескольким комнатам и наконец ткнул еще раз вдогонку. Вернувшись к себе, Абрам, красный и злой, послал за дядькой, чтобы ему нажаловаться, а Воробушкин побежал к племяннице. Оскорбленный старик стал уговаривать ее немедленно, хотя бы на время, покинуть дом и отправиться вместе с ним на маленькую наемную квартиру.

Уля не сразу поняла, о чем гневно кричит ее Капитон Иваныч. Поняв, в чем дело, она вымолвила спокойно:

— Что вы, родимый,— нешто может Абрам Петрович этакое сказать! Вон из дому гнать! Вам послышалось, или он так посмеялся с вами.

— Гонит вон! Хотел меня в окно выбросить! Да что тут... Нешто не видишь? — потрясли мы друг дружку. И я его, и он меня. Смотри мундир. И его не лучше. Сейчас надо отсюда вон. Минуточки не останусь!

И Капитон Иваныч тотчас стал сбирать в узелок свое белье и кой-какие вещи.

Уля быстро вышла и отправилась на половину дома, где был Абрам. Войдя к нему, она увидела, что молодой малый «не в себе». Она кротко и тихо спросила Абрама, в чем дело и что случилось сейчас. Абрам, все еще озлобленный, отвечал резко:

— Ничего не случилось! Хочу я, чтобы вы оба,—

и ты, и твой названый дяденька,— убирались скорей вон из моего дома, потому что вы мне надоели оба, как горькая редька. Вот и все! Поняла? Ну, и убирайся немедля!

— Что вы говорите?! Ведь этак и шутить грех! — вымолвила Уля.

— Убирайся вон из моего дома! — громко крикнул Абрам, не глядя, однако, в лицо девушки.

— Я ничего не пойму! — воскликнула Уля.— Гневайтесь, да говорите толком. А вы Бог весть что болтаете...

В душе молодой малый сам изумлялся и стыдился того, что он делает и говорит. Он давно уже не был влюблен в Улю, как в первые дни жизни в Донском, но, конечно, был привязан к ней, привык, и она тоже была ему необходима, как дядька, как друг и близкое лицо.

«Надо пугнуть и старого, и ее. А то много воли забрали! — объяснял себе Абрам свое поведение под влиянием советов Матвея.— Прогоню, а там верну. И будут у меня тише воды».

— Ну, иди, собирайся! — прибавил он решительно.

Уля стояла перед ним как истукан и пристально, но уже не удивленно, а тревожно смотрела ему в лицо. Казалось, что она не узнает своего дорогого Абрама Петровича.

— Я не пойду! — тихо выговорила она наконец как бы себе самой.— Не пойду никуда! Я не могу без вас быть! Да это все пустое... Это вы разгневались на что-нибудь. Да так ради сердца и кричите, что в голову придет! — кротко заговорила она, снова нежно глядя на него.— Нешто можно меня гнать? Абрам Петрович, вы только подумайте, что вы такое сказали!

И в голосе Ули был только легкий упрек, как если бы Абрам просто обидел ее чем-нибудь.

«Как она смеет со мной так рассуждать! — вдруг пришло Абраму на ум.— Ведь я теперь не то, что был в монастыре. Я теперь без бабушки, сам себе хозяин!»

И, рассердясь вдруг еще более, Абрам крикнул грубо:

— Не смей со мной так разговаривать! Ступай вон, и чтобы через час тебя не было в моем доме! Ну, убирайся!

Уля была поражена как громом и совершенно не верила тому, что слышит.

— Стало быть, вы меня разлюбили? Не любите? Говорите!

— Вестимо, разлюбил! Что же ты одна, что ли, на свете? Так мне теперь, в самом деле, на тебе и жениться! — не столько злился, сколько блажил Абрам.

— Абрам Петрович! — страшно вскрикнула Уля, всплеснув руками и подвигаясь к нему.

Но Абрам отмахнулся от нее, почти оттолкнул от себя и быстро вышел из комнаты.

Уля, схватив себя за голову, простояла несколько минут одна среди горницы, потом двинулась и побежала опрометью к себе. И здесь, на руках Воробушкина, она в первую минуту почти вполне лишилась сознания. Затем, как бы не совсем придя в себя, она схватила Воробушкина за руку и потащила к дверям, повторяя почти безумным голосом:

— Поскорее! Пойдемте! Вон отсюда! Поскорее!

XXI

Иван Дмитриев и молодой Ромоданов зажили вдвоем и были самые счастливые люди во всей Москве. То, о чем часто говаривал и мечтал дядька, а Абрам считал почти невозможным, теперь сделалось действительностью.

Дмитриев за последние годы начинал побаиваться, что порхунья барыня, нисколько не старевшая лицом и становившаяся, по-видимому, все бодрее, пожалуй, переживет его самого. Абрам надеялся, конечно, пережить бабушку, но боялся, что она заставит его постричься в монахи.

И теперь вдруг самым неожиданным образом он жил независимо и богато в больших ромодановских палатах, был военным и состоял при канцелярии Еропкина.

Абрам разъезжал по городу и бывал на вечерах у тех немногих дворян, которые, не боясь чумы, остались в городе и жили по-прежнему. Но таких домов было, конечно, очень мало, да и оставшиеся всякий день собирались уезжать. С молодым человеком все обходились более чем любезно и ласково. Везде же, где была девица-невеста, его принимали с таким почетом, как если б он был сам начальник города — Еропкин.

Единственно, чего теперь недоставало Абраму, было звание офицера; но и это было ему обещано скоро. Вскоре образ жизни, привычки, характер, затеи Матвея Воротынского стали идеалом для молодого Ромоданова. Он стал во всем подражать своему новому другу. Точно

так же начал он возиться с лошадьми, вовсе не будучи охотником до рысаков и скакунов; затем, точно так же, как Матвей, стал сводить знакомства по разным окраинам города, уж не довольствуясь, как прежде, победами дома, над сенными и горничными девушками.

Однако иногда смущала счастье молодого Абрама мысль об Уле. Он все-таки хоть и недолго, а любил ее искренно. Ули недоставало ему. Если чувство его и прошло к ней, то привычка осталась, и он чувствовал себя как бы одиноким. Если бы не скучный Капитон Иваныч, то, конечно, он никогда бы не расстался с ней и она бы продолжала по-прежнему жить хозяйкой в большом доме. Житье это, конечно, не привело бы к тому, что Абрам когда-то в Донском вскользь обещал ей, т. е. к свадьбе, но все-таки Абрам по собственной воле не расстался бы с ней. И теперь иногда являлось у него даже желание отправиться мириться с Воробушкиным, чтобы снова увидеть Улю в стенах своего дома как друга, как приятельницу.

Но Иван Дмитриев красноречиво и упрямо каждый раз отговаривал своего питомца от необдуманного шага.

— Сбыли с рук,— говорил он,— и слава тебе, Господи. Я думал, гораздо мудренее будет, а вышло просто, и нечего вам мудрить, опять связывать себя по рукам и ногам.

— Мне ее жаль, Иван; ведь она не такова, как все прочие были. Я ее теперь совсем на другой лад стал любить,— будто вот друг сердечный, приятель, товарищ она мне!

— Ну, ладно, ладно! друг сердечный! Это все пустое, вздор! Нечего вам привередничать! Затянете себе такую петлю на шею, что и не снимете. Этот старый Капитошка и впрямь вообразил, что вам крепостная девка пара и может быть вашей супругой.

— Ведь она, Иван, не совсем крестьянского происхождения,— как бы защищался Абрам.

Но Иван Дмитриев вскоре прервал подобного рода беседы и даже слушать не хотел доводы, приводимые Абрамом. Дмитриев, конечно, действовал в этом случае с заднею мыслью. Он боялся влияния как Ули, так и Воробушкина на молодого барина; ему хотелось оставаться по-прежнему полным властелином над недалеким, слабовольным барином, который лет и в сорок мог быть по разуму барчонком и иметь нужду в дядьке.

Быстро обделав свои дела, т. е. справив все доку-

менты и став вольным купцом, Дмитриев достиг давнишней мечты, давнишней цели в жизни; но вместе с этим, в ту минуту, когда Дмитриев получил из палаты свои бумаги, у него явилась тотчас другая цель — нажива, большие деньги. Ему захотелось быть не простым купцом, а почетным, богатым. Таким купцом, которого и господа-дворяне, и чиновники принимают и сажают.

Перебрать много денег у Абрама было, конечно, нетрудно. Иван Дмитриев расчел, что в пять лет он может набрать очень крупную сумму совершенно незаметным для барина образом; а набрав ее, попросить себе еще столько же в подарок и пуститься в торговые обороты. Хитрый Иван Дмитриев шел далее. Он боялся, как бы молодой барин вдруг не выдумал жениться; чтобы вдруг не явилась в доме хозяйка, да, пожалуй, еще с крутым нравом,— такая, которая и вовсе выгонит его из дома. Чтобы предупредить это, нужно было выискать кого-нибудь, кто мог бы, влюбивши в себя молодого барина, иметь над ним большое влияние и в то же время зависеть от Дмитриева, быть с ним заодно. Для этого нужно было существо, конечно, совершенно противоположное добренькой Уле. И Иван Дмитриев тотчас же деятельно, упорно занялся отыскиванием по всей Москве такой красавицы, которая согласилась бы с ним вместе разделить душу молодого барина и его карман. Это было нетрудно для Дмитриева, так как влияние его над Абрамом и власть в доме были сильнее, чем когда-либо. Все, что было приживалок, нахлебников и дворовых, все слепо повиновалось Дмитриеву — больше, чем самому молодому барину; приказания дядьки исполнялись беспрекословно, и всякий ослушник изгонялся из дома немедленно.

Вскоре после ухода Ули Дмитриев приказал, чтобы ее никто не смел пускать на двор, если ей вздумается снова вернуться повидать Абрама. Это приказание исполнялось так строго, что Ивану Дмитриеву два раза докладывали даже о том, что видели девушку Ульяну на Знаменке и, боясь ее появления среди бела дня, заперли ворота и поставили несколько человек часовых.

Так прошло около месяца. Однажды в сумерки Абрам сидел один-одинехонек. Иван Дмитриев отлучился из дома. Он все чаще подолгу пропадал где-то и, ворочаясь, таинственно объяснял молодому барину, что для него хлопочет, но в чем дело — не говорил. На этот раз Абрам, как часто случалось, думал об Уле, о том, как

примириться с ней, увидеть ее снова в этих огромных горницах, пустых и унылых. Абраму казалось, что Уля сразу придаст совершенно другой вид всему дому; в нем будет веселее и не будет так жутко.

Мечты молодого малого были прерваны шумом на дворе. Чей-то экипаж въехал и остановился у подъезда; затем раздались голоса внизу, в большой швейцарской, и затем в доме началась беготня, суетня и увеличивалась все более каждое мгновение. Наконец шум, говор и движение дошли до размеров настоящей бури. Казалось, что ветер завывает, хлопая всеми окнами и дверями.

Абрам, недоумевая и с каким-то странным чувством на сердце, вышел в большую гостиную, прислушиваясь к голосам на большой парадной лестнице. Вдруг молодой малый побледнел, зашатался и, ухватившись руками за попавшуюся мебель, сел на нее, почти лишаясь чувств. Он услыхал на лестнице — ясно и отчетливо — голос своей покойной бабушки. Хоть и не очень был он прыток разумом, однако понял в одно мгновение, что это не привидение явилось в дом. Если бы пришла мертвая бабушка, то, конечно, все обитатели дома разбежались бы с криком и визгом во все стороны. Он понял, что случилось страшное, роковое недоразумение и что в доме явилась, к несчастию, живая бабушка, Марья Абрамовна, не с того света, а с этого, из путешествия, из вотчины.

Не имея сил встать, чтобы идти навстречу бабушке, Абрам сидел в темной гостиной, в большом кресле, и только крестился сотый раз, повторяя вполголоса:

— Господи, помилуй! Господи, сохрани!

Если бы он верил теперь, что явилось привидение, а не живая бабушка, то, вероятно, испугался бы менее.

Марья Абрамовна, вступив в большую залу, повернула в другую сторону, где были ее спальня и кабинет. Ее провожали толпой десятки дворовых, приживалок, оказавшиеся рассудительными и понявшие, что Марья Абрамовна явилась не с того света.

Марья Абрамовна, войдя в свой кабинет, нашла там лишь маленькие перемены, сделанные внучком. Спальня же, в которую Абрам почти боялся входить, оказалась в том виде, как была при ее отъезде.

— Ну, вот и слава Богу, приехала! — вымолвила Марья Абрамовна, садясь на свое любимое кресло.— Подайте Васю!

Кота, приехавшего, конечно, с ней, принесли и поло-

жили на его прежнее обычное место. Марья Абрамовна спросила себе чаю, ужинать, а затем приказала позвать Абрама.

— Ну, теперь давайте мне мою вольницу, ведите Абрашку! Я его рассужу по-своему! — объяснила Марья Абрамовна с сдержанным чувством гнева. — Я ему покажу, как из монастыря уходить против моей воли!

И сразу человек десять бросились по дому разыскивать молодого барина. Но Абрама нигде не было, и только через несколько минут приживалка-гадалка объяснила, что видела молодого барина, как он, должно быть, со страху, выбежал на улицу даже без шапки и пустился что есть духу бежать по Знаменке.

Когда об этом доложили барыне, она только усмехнулась.

— Ничего, пущай побегает. Не ночью, так к утру прибежит. Дело не спешное. Тащите тогда Ваньку Дмитриева! Я его покуда рассужу.

Но барыне доложили, что Дмитриева почти с обеда дома нет.

— Ладно, — со злобой проговорила Марья Абрамовна.

Через мгновение Ромоданова сообразила, однако, что Дмитриев, вернувшись, может убежать и что она просидит целый вечер в ожидании обоих виновных; а старухе не терпелось тотчас же доставить себе удовольствие начать допрос, рассудить и покарать виновных.

— Ну, слушайте ж вы, олухи! Блажь свою из головы-то выкиньте, а то ведь и плохо будет. Ступайте всякий на свое место и сидите смирно либо ложитесь спать! Вернется Дмитриев — чтобы никто не смел ему сказывать, что я здесь, приехала. Пускай сам на меня наскочит. А если кто предупредит, того — вот перед Богом — завтра же в солдаты или в Сибирь; а будь девка какая, то сошлю в дальнюю деревнишку, прямо на скотный двор.

И все, услышавшие приказание барыни, втайне с радостным чувством, готовы были беспрекословно, точно исполнить ее приказание. Все понимали, какое удивительное зрелище увидят, когда ненавидимый управитель неожиданно очутится глаз на глаз с воскресшей барыней.

XXII

Неожиданное появление Марьи Абрамовны в Москве, несмотря на чуму, от которой она бежала, было не случайно. Она, счастливо доехав до своей вотчины, спокойно жила верст за триста от Москвы и, конечно, не думала вернуться так скоро назад.

Привыкши порхать и летать по гостям и вообще по улицам столицы, Марья Абрамовна невообразимо скучала в деревне. Пробовала она было поездить по соседям; но соседи оказались вовсе не любопытны, небогатые, и ни один из них не понравился Марье Абрамовне.

«Сиволапые медведи или пьяницы! Не с кем слово сказать!» — думала она, сидя одна в своем господском доме.

И главная утеха барыни заключалась в том, чтобы ежедневно посылать в соседний уездный город расспрашивать, разузнавать: что делалось в Москве, кончилась ли чума? Наступило ли спокойствие в городе? Прогнали ли выскочку Еропкина или, может быть, давно под суд отдали, кнутом несколько раз высекли? И старуха жила изо дня в день, ожидая, что не нынче завтра дойдут до нее хорошие вести.

Но время шло, а хороших вестей не приходило. Раза три-четыре в неделю ездил посланец в уездный город, и каждый раз Марья Абрамовна с нетерпением ожидала его возвращения. И каждый раз посланный привозил все те же вести. Чума в Москве расходилась не на шутку! Народ все больше мрет. Слышно, генералы и князья, и те мрут уж! Сказывают даже, что чума самого Ивана Великого своротила набок. А начальство?! Еропкин?.. Все на месте.

Только однажды приказчик привез барыне добрую весть из города. Сказали ему, что главный начальник московский убежал из города от страха чумы и что царица его разжаловала в солдаты.

Марья Абрамовна крайне обрадовалась этому известию и на другой день отправила опять в город посланного расспросить о подробностях, как убежал Еропкин и как его разжаловали: высекли или нет или, может быть, в Сибирь сослали. И приказчик на этот раз разочаровал барыню. Оказалось, что до городка дошла новость о бегстве фельдмаршала Салтыкова, которое еще случилось при Ромодановой.

Марья Абрамовна стала наконец скучать до такой

степени, что не знала совершенно, куда деваться. Даже Вася ничего не мог сделать. Иногда она готова была, миновав Москву, сделать большой крюк на Ярославль и ехать прямо в Петербург, который она сильно недолюбливала, но который теперь мог ей хоть отчасти заменить первопрестольную.

Между тем из Москвы ежедневно, несмотря на карантины, заставы и рогатки, всякую ночь пробиралось и бежало пропасть народу. Почти всякий дворовый, привезенный из вотчины в Москву и брошенный теперь на произвол судьбы убежавшими господами, мечтал тоже о побеге. Всякий из этих дворовых, не будучи коренным москвичом, чувствуя себя все-таки чужим в городе и видя на улицах, от зари до зари, бесчисленное число покойников, целые обозы гробов, невольно начинал подумывать о родной стороне. Всякому из них хотелось побывать у себя. Боязнь смерти прежде всего заставляла думать о родне и родимой сторонушке.

— Уж коли пойдет чума по всей России, коли настало светопреставленье, наступил последний час, так уж лучше помирать у себя, а не на чужой стороне.

И по всем дорогам, расходившимся из Москвы, ежедневно разбегалось пропасть народу. По тверской дороге, в Крестовскую заставу мудрено еще было пробраться, но зато в Серпуховскую, Драгомиловскую, Калужскую пропускали довольно свободно, и за несколько гривен всякий холоп мог благополучно пробраться через двадцать застав и рогаток.

И вот, однажды, в вотчину Марьи Абрамовны появилось двое из ее лакеев московских. Они пришли в родное село рассказать про ужасы чумы, а главное, несли другую весть, которая была гораздо любопытнее и важнее для их родичей: весть о смерти их барыни и о том, что они принадлежат молодому барчонку, из которого вьет веревочки его дядька Дмитриев.

Но двое беглецов не успели поведать этой новости, как уж узнали сами другую, что барыня живет, слава Богу, в барском доме и очень скучает по Москве. И оба беглеца — вероятно, малые не промах — сговорились держать язык за зубами, чтобы не нажить беды и умолчать о том, что барыню сочли в столице покойницей и, стало быть, обманным образом похоронили кого-то в Подольске.

Однако барыня, со скуки знавшая всю подноготную, все, что происходило не только у нее в селе, но даже на

пятьдесят верст кругом, тотчас же узнала о появлении двух беглецов из ее дома. Она не рассердилась, а обрадовалась и велела тотчас же звать свежих вестников с свежими новостями. И так ласково приняла барыня двух московских холопов, что, вместо наказания за побег, дала каждому по полтине и заставила рассказывать все, что они знают.

Конечно, холопы не стали говорить Марье Абрамовне об ее смерти, а рассказали барыне о появлении в доме молодого барина, который уже ходит в мундире, а не в рясе, и о самоуправстве дядьки Дмитриева, который стал главным управляющим и творит всякие беззакония. Сам же он, когда барин надел мундир, получил отпускную и теперь вольный человек, московский купец.

Конечно, целый короб новостей такого рода заставил Марью Абрамовну забыть о чуме. Поутру узнала она о самоуправстве своего внучка, который, не побоясь ее, бросил монастырь и вступил на службу, и в тот же вечер выехала в Москву. Если бы знала Марья Абрамовна, что она считается в своем московском доме покойницей, то, быть может, это так сильно подействовало бы на нее, что она не сразу бы решилась ехать. Но, не подозревая ничего подобного, она рассудила, что внучек и дядька просто вздурились, самовольничают, думая, что чуме конца не будет, а бабушка Бог весть еще когда вернется в Москву.

Всю дорогу злилась Марья Абрамовна, а еще более злилась, когда подъезжала к Москве. И ее не хотели пропускать на заставах, и везде надо было заявлять свое генеральское звание, и везде раздавать кучу денег.

Наконец доехала она до Москвы, въехала на большой двор своих палат и явилась в доме. Первые увидевшие ее холопы действительно перепугались не на живот, а на смерть! Они еще только поутру служили по барыне панихиду. А барыня сама тут! Приехала, разговаривает, опрашивает! Ужинать потребовала!

Разумеется, в эту же первую минуту не нашлось ни одного смельчака, который бы решился прийти доложить Марье Абрамовне, что она — с позволения сказать — не живая, а покойница, что ее в городе Подольске в большущем гробе похоронил Воробушкин, как следует быть. А верные холопы справляют по ней на свои гроши панихиды и просвиры вынимают за упокой ее душеньки!

Часов в десять вечера на двор въехал в тележке довольный и веселый Дмитриев. Дело его шло на лад, и он с удовольствием подумывал о том, как сейчас рас-

скажет барину молодому всю свою затею. Он бодро выскочил из тележки, бросил вожжи,— какой-то мальчуган принял лошадь,— и Иван Дмитриев вошел в переднюю.

Несколько человек людей привстали по обыкновению при виде злого управляющего и молча поглядывали на него. Только один, по глупости, фыркнул и рассмеялся, предвкушая радость поглядеть на предстоящее свидание его с усопшей. Иван Дмитриев хотел его разругать, но ему было не до него: он быстро поднялся по лестнице и направился к молодому барину. Еще четыре или пять человек попались ему навстречу, но тотчас скользнули в сторону. Всякий, помня приказ барыни, боялся попасть в беду и кидался от Дмитриева, как если бы он сам был привидением.

Дмитриев, приписывая это страху, который он нагнал на всю дворню, спокойно пошел в комнату, освещенную, как всегда. Войдя в горницу, где всегда сидел Абрам, он не нашел его и пошел в противоположную сторону дома, где был кабинет Марьи Абрамовны и где редко сиживал Абрам.

Проходя снова по парадным гостиным, Иван Дмитриев видел, как в двери из коридора высовывались разные лохматые головы и, странно выглянув на него, тотчас исчезали снова.

— Ишь, не сидится на месте! Только бы сновать по дому и глазеть,— пробормотал Дмитриев.

И он шел прямо к кабинету покойной барыни. Внизу, под дверями, виднелся свет; в замочную скважину тоже проскользнула полоска света; в комнате было тихо.

«Вероятно, задремал там барин. Привык к горнице-то. А прежде побаивался!» — подумал Дмитриев.

И самодовольный, веселый от мысли, что сейчас расскажет кой-что диковинное молодому барину, Иван Дмитриев бойко растворил дверь и шагнул в комнату.

Перед ним у стола, при трех свечах под зеленым абажуром, сидела покойница Марья Абрамовна. Иван Дмитриев шарахнулся, задохнулся, вскрикнул и повалился на пол без чувств. Крик этот — отчаянный, дикий, пронзительный — пронесся по всему большому дому. Только от удара ножа в самое сердце можно так вскрикнуть. И все в доме узнали, кто и отчего так закричал. И все рады были, но, однако, и смущены, не зная, как все кончится и как барыня перейдет из числа мертвых в число живых.

Между тем Марья Абрамовна даже была польщена тем, что Дмитриев, который всю жизнь грубил ей и ставил ее ни во что, теперь от ее возвращения из вотчины так испугался, что упал без чувств на пол.

— Ну, ну, вставай, нечего валяться! — сердито проговорила Марья Абрамовна.

Но упавший не двигался ни единым членом. Барыня кликнула людей. Более десятка холопов, стоявших в ближайшей горнице, как бы на часах, тотчас же бросились к ней по первому зову. Дмитриева подняли, вынесли в другую горницу, а барыня приказала, как только он придет в себя, тотчас же привести его на расправу.

Дмитриев скоро пришел в себя, и первые признаки жизни выразились в нем оханьем и стоном. Затем он перекрестился несколько раз и испуганно огляделся вокруг себя. Увидя знакомые лица дворни, он вздохнул и еще несколько раз перекрестился.

— Господи, помилуй! — прошептал он наконец.— Что ж я — пьян, что ли? Приснилось мне, что ли? Братцы, голубчики! Ведь я ее видел! Сейчас видел! Барыню! — почти робко выговорил Дмитриев.

— Полно, чего ты! Чего орешь! Она тут!

— Кто? — снова завопил Дмитриев.

— Да она, барыня! Тише ты! Жива она! Приехала! Страсть зла! Беда теперь тебе! — тихонько говорили десятки голосов кругом ошалевшего Дмитриева.

Не сразу окончательно пришел Дмитриев в себя и не сразу вполне понял все. Поднявшись на ноги и уже собираясь идти на расправу к воскреснувшей из мертвых барыне, он снова остановился, и снова какая-то робость сказалась в нем.

— Что ж это? Ведь это разума лишиться можно? — прошептал он робко.— Что теперь будет? И как это все потрафилось!

Но вдруг Дмитриев повернулся и почти бегом бросился в швейцарскую. Люди бросились его ловить.

— Приказано не упускать. Барин уж удрал! Стой! Нельзя!

— Нет, не пойду, дайте вздохнуть. Не говорите, голубчики, что я в себя пришел! Дайте вздохнуть! Сейчас пойду! — молил Дмитриев.

Убедив людей, что он не убежит совсем, а только вздохнет, дядька вышел на улицу, стал глубоко вдыхать в себя воздух, как если б избавился от удушения.

Но недаром был он умнее всех в доме, всех хитрее

и коварнее. Не прошло получасу, как этот набалованный холоп, улыбаясь, твердым и бодрым шагом ворочался и повторял сквозь зубы:

— Ладно, Маша! Околевать не хочешь? Ладно! Теперь я тебя пугну. Теперь ты у меня шлепнешься, да авось, Бог даст, тут и поколеешь!

И Дмитриев быстро снова поднялся по лестнице, но, завидя несколько человек дворовых, снова сделал уже умышленно испуганную и смущенную рожу. Заметив, что дверь в горницу барыни растворена, он тотчас же бросился к ближайшему из людей, схватил его за кафтан и начал громко причитать:

— Боюсь я!.. Боюсь! Грех какой! Как это вы, люди Божьи, не боитесь этакого наваждения? Ведь это дьявольское наваждение,— прости, Господи! Пойдемте, покажите! глазам не верю! За батюшкой надо послать, святой водой дом окропить! — И, громко причитая, Иван Дмитриев потащил двух людей за собой к дверям кабинета. Он умышленно робко переступил порог горницы, где сидела в креслах гневная барыня, сопровождаемый уже кучей людей, не понимавших, что творит дядька. Дмитриев остановился на пороге, задрожал всем телом и завопил: — Матушка! Уйди, откуда пришла! Голубушка, не пужай нас, грешных человеков! Господь с тобой! Уходи, голубушка, в свой гроб! Батюшки! Голубчики! принесите образа, давайте ее крестить! Авось уйдет! Мертвые боятся силы Господней!!

Марья Абрамовна выпучила глаза на Дмитриева, и рот ее раскрылся от изумления.

— Что ты! Что ты! Чего балуешься! — шептали ближайшие к Дмитриеву холопы.

Но Дмитриев быстро снял у себя с шеи связку образков, взял их в руки и, робко подвигаясь на Марью Абрамовну, заговорил пискливым голосом:

— Уйди, матушка! Уходи на тот свет! Или мало по тебе мы панихид справляли? Плохо тебя отпевали? Так еще по твоей душеньке будем петь. Каждый день по четыре панихиды будем справлять. Голубчики,— обернулся Дмитриев к набиравшейся все более толпе людей,— говорил я: мало панихид,— вот она и начала ходить! Да пошлите же за батюшкой скорей! Надо же это наваждение крестной силой выгнать!

Марья Абрамовна начинала понимать и сидела уже бледная как снег.

— Да полно, полно! — вмешалась наконец самая

умная из приживалок, гадалка.— Ведь видишь — живая барыня, ведь это по ошибке все было. Другую какую похоронили.

И ловко Дмитриев ухватился за эти несколько слов. Искусно разыграв изумление, радость, он вдруг повалился в ноги барыни, объясняя ей, что ее считали давно покойницей, что Абрам Петрович сам засвидетельствует, что по ней ежедневно панихиды совершаются. И наконец Дмитриев добился того, чего желал.

Марья Абрамовна, в свою очередь, повисла боком на ручке кресла и тихо свалилась с него.

— Ишь ведь! — пробурчал Дмитриев.— Насилу-то поняла. Авось теперь поколеешь со страху!

И на этот раз с барыней, чтобы привести ее в чувство, провозились втрое дольше, чем с дядькой.

XXIII

Старик Артамонов объездил все московское начальство, начиная с преосвященного и Еропкина и кончая мелкими полицейскими чинами. Он продолжал хлопотать, чтобы найти и засадить в острог своего пропавшего зятя.

Артамонов был теперь уверен, что Барабина будут судить, сошлют за убийство ребенка в Сибирь, и тогда его дочь снова будет свободна и снова может выйти замуж. Все знакомые Артамонова были с ним согласны и советовали старику — в случае неудачи — ехать в Петербург и подать просьбу самой императрице. Все были того же мнения, что Барабин должен быть наказан кнутом и сослан в Сибирь.

Один только Митя не соглашался с отцом и находил, что хотя проклятый Титка — убийца, но что судить его нельзя.

— Виноват он, да не совсем, тятя! — объяснял Митя.

— Что ты порешь? Ошалел, что ли? — сердился отец.— Что это за новые такие виноватые, что виноваты, да не совсем?!

— Ведь он, тятя, не хотел убивать младенца, он только хотел Павлу прибить, а тут грех и вышел. Ведь уж ты знаешь — я его куда не жалую, а в этом деле все-таки скажу, он виноват, да не совсем. Коли будут его судить и коли сошлют в Сибирь, то это будет дело неправое.

— Ну, брат Дмитрий,— отозвался отец,— был ты умен, да перестал; знать, в тебе ум за разум зашел. Все до сих пор рассуждал толково, а теперь стал околесную нести. Коли ты этак себя не воздержишь, то не пройдет годика — совсем дурак будешь, такой же, как мои миндали... Тьфу! то бишь — мой миндаль. Все забываю, что один остался, да и тот плоховат.

Действительно, Артамонов постоянно забывал, что один из его сыновей уже умер, так мало внимания обращал он на него при жизни.

Второй сын его, Пимен, за несколько дней перед тем тоже заболел и лежал в той дальней горнице, где умер его старший брат. Болезнь второго сына оказалась такая же, от какой умер Силантий; но никому, кроме Мити, и на ум этого не приходило. Один Митя наконец решился сказать отцу, что брат Пимен болен нехорошо.

— Как это так, нехорошо? Известно, нехорошо,— сказал Артамонов,— потому всякая хворость нехороша. Какая же есть хорошая хворость?

— Нет, тятя, я не про то. А у Пимена то же и такое же все делается, что у покойного Силантия было.

— Чума скажешь небось!

— Да что ж,— скажу.

Артамонов сразу рассердился.

— Ну, и говори, а я слушать не стану или отвечу, что ты врешь! А если ты мне еще раз посмеешь этакую глупость сказать, то я тебе... Уж не знаю, что с тобой сделаю. Ишь, выдумали народ пугать! Не смей ты заикаться о чуме у меня в доме,— слышишь ты!

— Что ж, я буду молчать! Она сама скажется в доме!

Артамонов так страшно рассердился на это, что выгнал от себя любимца мальчугана и погрозился отправить его самого куда ни на есть из дома, если он посмеет поминать слово — чума. Митя ушел, совершенно не понимая, откуда гнев отца.

А гнев умного старика происходил от глубокого и искреннего убеждения, что болезни моровой язвы на свете не существует.

— Ее доктора выдумали. Есть болезнь перевалка-гниючка, которая теперь в Москве гуляет! — рассуждал Артамонов.— А так как начальство, полиция и доктора из сил выбиваются, пугают, стращают народ, вливают в людей всякие мерзкие снадобья, то, конечно, опаивают хворающих насмерть, и народ мрет больше от лечения, а не от болезни. А главным образом народ мрет со стра-

ху! Начнут где в доме толковать о чуме,— думал и говорил Артамонов,— толкуют, толкуют: чума да чума! Кто и заболел, ему, больному, опять повторяют: чума да чума! Он сейчас со страху — при смерти, а его заливать лекарствами! Он, известное дело, и помрет. Вот тебе и вся чума! А если в доме запретить самое слово это говорить, да в случае, если кто захворал, не давать ему ничего, кроме кваса да огурцов, так непременно выздоровеет. Если бы я теперь захворал,— объяснял Артамонов,— то сейчас бы за шапку и пошел бы гулять да смеяться и в тот же вечер был бы здоров. А если, захворавши чем ни на есть да лягу в постель, да позову какого ни на есть дохтура, да начнет он меня угощать своими бурдами,— известное дело, в одни сутки скрючит. Все глупость человеческая причиной всему злу.

И теперь, когда Пимен заболел, Артамонов сначала запретил ему ложиться, приказал сидеть и всякий день выходить из дома через силу. Когда же Пимен свалился окончательно и поневоле лежал на постели, отец зорко наблюдал за тем, чтобы тот не вздумал посылать за каким-либо знахарем или доктором. Он приставил к больному одного из приказчиков Суконного двора, жившего в доме, и велел ему строго следить за тем, чтобы Пимен не вздумал лечиться.

— А главное дело — не сметь при нем говорить про чуму! — приказывал Артамонов.— Коли кто скажет, сейчас мне донести. Выпорю я того и посажу в холодную.

Однако, когда Митя попросил у отца позволения не сидеть около больного брата, которого он не очень любил, Артамонов задумался и позволил.

— Пожалуй, празднуй труса, коли охота! Да ты и не сиделка! Кабы знал я, что на Москве настоящая чума турецкая да что Пимен тоже чумной, то нешто стал бы я его при себе держать!

Между тем Артамонов уже из упрямства обманывал и себя, и других. Проехав по Москве хоть один раз, мудрено было сказать, что все дело в страхе и запугивании народа докторами и начальством. Благодаря июльским жарам и духоте в городе, народ умирал страшно. Умирали сотни людей в день, так что на всякой улице было несколько больных, потом во всяком доме завелось по одному больному, и, наконец, теперь были уж выморочные дома, заколоченные досками. Попадались переулки, в которых было до десяти домов опустелых. Или

обитатели дома были уведены в карантин, или же просто, тайком от начальства, вымерли все.

Народ, конечно, начинал роптать и волноваться, говорить то же, что говорил Артамонов,— что главная вина в докторах, что они морят народ. Строгие меры Еропкина усиливались, приказы исполнялись круто, и почти все, что предпринимал умный начальник Москвы, по какой-то странной, собственно доморощенной, причине обращалось во вред, а не в пользу.

Приказ о том, чтобы объявлять о всяком заболевшем в доме, не исполнялся, потому что никому не хотелось бросить дом и отправляться в карантин. Больной, с своей стороны, чтобы не расстраивать дел семьи, старался пересилить в себе болезнь, скрывал ее от всех, часто от самой семьи, и через силу продолжал вести прежнюю жизнь, выходил со двора. И часто случалось, что иной умирал на улице, не имея сил добраться домой. Наоборот, быстро заболевший и умерший в доме, очевидно от чумы, и вовремя не объявленный по начальству, заставлял родственников лгать и уверять, что умерший уже давно, чуть не с год, хворал какой-нибудь самой обыкновенной болезнью.

Приказ о том, чтобы сжигать вещи после умершего, конечно, исполнялся еще менее.

— Нешто можно экую ахинею пороть,— говорил народ,— что, оставивши себе платочек или рубашку после покойника, с ней вместе захватишь себе и хворость.

Увещания духовенства в церквах, поучения священников после обедни вместо проповеди, как себя вести, что есть и пить, чего не есть и не пить и чем лечиться при первом появлении хворости,— все только заставляло всякого махнуть рукой и прибавить:

— Пустое! От своей судьбы не уйдешь! Да все это господа! Только зря народ пугают! Чем бы батюшке с амвона-то проповедствовать о Господе Боге, а он, вишь, по приказу преосвященного, знахарству обучает, пустяковину мелет. О припарках да о горчишниках болтает! Из-за аналоя-то!.. Кабы не храм Божий, плюнул бы. Грех только один!

И действительно, проповеди священников в церквах, замененные теперь поучениями о том, как бороться с чумой, производили на народ дикое впечатление. Если одни находили, что это грех болтать о чуме в храме Божием, то другие, в особенности старушки-богомолки,

внимательно прослушав поучение батюшки о хворости, иногда очень красноречивое, даже всплакнут; иная даже горько всплакнет, и мороз ее по коже проберет, а затем придет она домой и прихворнет. А другая после красноречивой проповеди на третий день и на том свете.

Конечно, более всего пугали народ бесконечные обозы гробов. Не проходило часу, чтобы на улице не проехала телега с двумя-тремя гробами зараз. Наконец, гробов недоставало,— возили в простых ящиках, а вскоре стали возить просто трупы по нескольку в телеге. И поневоле самые неверующие в болезнь, смеявшиеся, немного присмирели — как бы поверили и стали осторожней.

В числе этих наконец очутился и Артамонов. Отчасти Москва, ее ужасный внешний вид, отчасти умный мальчуган Митя наконец переупрямили старика Мирона Дмитрича.

Когда прошло около двух недель с начала болезни Пимена и ему стало вдруг гораздо хуже, как будто сразу не хватило сил,— Митя пришел к отцу и сурово, строго заговорил с ним о брате и о болезни. Старик отец оказался спокойнее и податливее.

— Да чего ты от меня хочешь, упрямец? — ласково сказал он.

— Чего я хочу? — угрюмо ответил Митя.— Пути! Больше ничего.

— Пути? Ах ты, молокосос! Вишь, что брякнул! Что ж я — беспутный, по-твоему?

— Вестимо беспутный! — злобно выговорил Митя.

Артамонов весело залился громким хохотом. Но Митя горячо стал доказывать отцу, что он вовсе не шутит и что он, старик и отец, действует хуже малого ребенка.

— Коли ты сам не веришь в хворость,— не верь; никто тебе не указ. Сиди вот да и не верь, покуда она к тебе не придет.

— Кто — она?! — вскрикнул Артамонов и перестал смеяться.

— Кто! Чума!

Артамонов слегка изменился в лице и плюнул.

— Тьфу! Типун тебе на язык! Накличешь еще... Тьфу!

— Нечего накликать,— она уж, голубушка, тут давно. Ты один этого в толк не берешь. Нешто брат Силантий помер не от чумы? Нешто Пимен теперь к завтрему не будет на столе от нее ж? Вот так-то все на Москве.

кого ни спросишь. По соседству, говорит, чума, а у него в доме хоть и мрет народ, да это, вишь, не от чумы. Просто удивительно! Я не думал допрежь сего, что столько на свете дураков! Теперь, только куда ни погляди, как есть везде все одни дураки.

— Ишь ведь как! — заговорил Артамонов,— все у него дураки!

— Да, как есть все,— ни одного умного не вижу. Вот хоть бы ты, тятя...

— И я дурак?

— Да там я не знаю. А ты делаешь то же, что другие. Лежит у нас чумной Пимен, а мы себе и в ус не дуем, покуда сами не захвораем и не помрем.

— Чего ж тебе от меня надо?

— Того надо, чтобы ты Пимена отправил в больницу, а то от него и мы все перемрем; а горницу эту запереть на ключ и не трогать, хоть до полугода. Хочешь ты это сделать? — строго спросил Митя у отца.— Коли этого не сделаешь, то я возьму Павлу, и мы уйдем из твоего дома.

— Скажи на милость! — рассердился Артамонов.

— Да вот и сказал: уйдем оба куда ни на есть. За что нам помирать из твоего упрямства!

И Митя добился своего. Отец согласился немедленно, не объявляя начальству, отправить на своей лошади сына Пимена в Симонов монастырь, ближайший от них.

Однако распоряжение Артамонова так подействовало на больного сына, что когда пришли его брать и уложили в телегу, то он ахнул и тотчас лишился сознания. И через несколько дней в доме Артамонова узнали, что второй сын умер, но неизвестно когда. Он не приходил в себя, когда его привезли в Симонов, и трудно было решить, гдѐ последовала смерть — дорогой или через несколько часов по привозе его в монастырь. Хотя сына отправили тайком рано утром до рассвета, однако все-таки это известие дошло до начальства, и тотчас же комиссар явился к Артамонову. Полиция, по его распоряжению, заперла и заколотила горницу с вещами умершего и объявила богачу купцу, чтобы он со всем своим семейством, с домочадцами и с людьми отправлялся в карантин. Но тысяча рублей, которую вынес Артамонов, спасла его с Митей и Павлой от ужасов «морового загона», как называли теперь карантин.

Артамоновы остались у себя дома, но обещали, под страхом строжайшего наказания, устроить свой собственный карантин, никого не впускать и не выпускать

на улицу. За последнее время это позволялось многим богатым людям. Таким образом, большие палаты с двором и садом обращались в особого рода тюрьму. Некоторые, из страха чумы, строго соблюдали свой карантин, ставили своего часового у калитки, которым жертвовали, и он один сносился с остальным миром, и все, что получалось в доме, омывалось в уксусе или окуривалось. Другие, обещав соблюдать строжайший карантин, исполняли его зря, продолжали надувать начальство и вели себя усердно к гибели.

Артамонов согласился с охотой устроить свой карантин, и ему было только обидно одно — невозможность продолжать свои поиски за убийцей зятем.

Митя, понимавший всю важность — запереться в большом доме, среди большого двора и сада от остальной Москвы, усердно занялся тем, чтобы действительно никто и ничто не проникали в дом.

Павла, жившая в доме отца со дня похорон своего ребенка, относилась ко всему одинаково равнодушно: ее ничто не занимало, ничто не пугало. Отец искал убийцу мужа, приходил говорить с ней о нем, но Павла печально качала головой и говорила:

— Бог с ним! Пускай Господь его рассудит. Правду сказывает Дмитрий: он виноват, да не совсем. Виноват тут другой человек: я виновата, я его в грех ввела, и от меня все это и приключилось.

Артамонов, не знавший, конечно, никакой вины за дочерью, был убежден, что женщина просто клевещет на себя с горя.

Когда заболел Пимен, Павла, верившая, что брат болен гниючкой, не боялась его, всякий день раза два навещала больного, утешала его, сидела около него. И только под конец, когда болезнь брата усилилась, то, по просьбам и увещаниям Мити, перестала бывать у больного.

— Ну, и помрешь, не все ли равно! — говорила Павла мальчугану.— Моя жизнь теперь никому не нужна и себе самой не нужна.

Но на этом Павла лгала и брату, и себе самой. Несмотря на свое горе, которое все-таки начинало ослабевать и проходить, она поневоле почти постоянно думала о Матвее. И часто, почти каждый вечер, сквозь горькое чувство потери малютки, являлось у нее на сердце нечто другое,— нечто вроде надежды, что, когда на Москве все успокоится, когда разыщут беглого мужа,

когда отец примется хлопотать, она сделается вдруг свободной. Тогда, может быть, этот полузнакомый, но дорогой ей человек сделается ей близким человеком по закону.

«Он дворянин!» Зато она богачка теперь, каких мало. Все состояние отца пойдет на нее и Митю.

Впечатление, произведенное на Павлу молодым Воротынским, было слишком сильно, чтобы пройти от горя. После несчастия, случившегося с ней, она все-таки постоянно видела перед собой или, лучше сказать, около себя, его фигуру; постоянно слышался ей его голос, чудились у самого уха слова, сказанные, когда они ехали в бричке. И каждый раз сердце ее замирало вновь! И в эти мгновения Павла забывала и мужа-убийцу, и малютку, и похороны его. Ей мерещилось светлое будущее...

Среди тишины в доме, наступившей после того, как их заставили устроить свой собственный карантин, Павла стала еще более думать и мечтать о Матвее. Прежде, до карантина, она знала, что может всегда, если только захочет, снестись с ним, увидеть его хоть на минуту, и эта мысль утешала ее, заставляла кое-как прожить день. Теперь же она знала наверное, что, благодаря наглухо запертым воротам и часовому у калитки, благодаря зоркому надзору за всеми порядками в доме ее братишкой, нет никакой возможности выйти на улицу и повидаться с кем-либо. И эта мысль была так тяжела, что понемногу Павла перестала думать о прошлом несчастии, а думала только о том, как обмануть братишку и домашних и побывать на Остоженке. Хоть поглядеть на окно того дома, где живет он!

Ее почти пугала мысль, что за это время разгара чумы и невозможности напомнить о себе Матвею он забудет ее или уедет снова в Петербург.

— Вот тогда-то,— горько шептала сама себе Павла,— тогда уж подлинно незачем мне жить. Уж если есть человек, для которого стоит в живых оставаться, так это он!

XXIV

Жизнь Матвея Воротынского между тем изменилась к худшему. Он снова скучал безмерно.

Павла была буквально заперта в доме своего отца, и он никаким образом не мог ее встретить, не мог за-

просто ворваться в дом Артамонова, как сделал это два раза в небольшом домике Барабина.

Матвей был готов на все без исключения, на всякую выдумку, хотя бы самую дерзкую, чтобы повидаться с Павлой. Он уж давно придумал способ видеться с ней и обдумал все, обдумал весь свой ловкий и хитрый план; но для этого нужны были тоже деньги. У него же теперь их совсем не было. Молодой малый был настолько беспечен, что, видя, как даровые деньги быстро уходят, ни разу не подумал о том, где достанет он их, когда они все выйдут.

Правда, стоило только снова начать чаще ездить к Колховским, и, благодаря его искусству, снова деньги будут; но Матвей был еще настолько прям душой, что не мог заставить себя ехать к княгине. Прежде, увлекая ее, он увлекался сам, играл наполовину и притворялся до известной степени; тогда он почти верил в то, что говорил ей, и почти был убежден, что действительно увлечен пожилой женщиной. Теперь же ему было трудно, даже невозможно, ехать к женщине, которая стала ему почти противна, и вдобавок ехать исключительно затем, чтобы выманить у нее денег.

Вообще в Матвее была такая путаница, такое смешение добра и зла, что сам он никогда не знал и не мог предвидеть, на что он способен. Иногда самые дурные его поступки проходили для него самого почти незаметными. В другой раз мало-мальски нехороший поступок тяготил его. За несколько времени перед тем он мог совершенно ограбить княгиню без всякого угрызения совести; теперь же ему тяжело было ехать к ней просить несколько десятков червонцев.

Он смущался теперь, предвидя конец своему широкому боярскому житью, и только как ребенок повторял себе:

— Какая обида! Что же теперь будешь делать?

Когда впервые сказался недостаток в деньгах, он сумел выпутаться. Он взял взаймы около тысячи рублей у своего нового приятеля, молодого Ромоданова. Теперь он снова надеялся на него же, но, долго прождав его к себе, отправил к нему посланного просить приехать по делу. Посланный попал как раз в тот вечер, когда в дом въезжала приехавшая Марья Абрамовна, а молодой унтер-офицер, перетрухнув, бегал без шапки по улицам.

Неудача посланного не огорчила, а даже рассмешила Матвея.

— Вот какие времена! — воскликнул он, весело смеясь. — Мертвые из гробов встают! То-то, я чаю, мой Абраша хвост поджал! Пожалуй, из мундира опять в рясу влетит!

Не зная, однако, что делать, Матвей уж начал продавать своих великолепных лошадей и серебро, которое накупил за последнее время. Но и то, и другое было крайне мудрено сбывать с рук, благодаря сумятице, царствовавшей в городе. До серебра ли было кому теперь, до коней ли великолепных, когда ныне — жив, а завтра — на столе! Даже хуже того. Народ справедливо говорил, что такие времена пришли: «Помрешь и на стол не попадешь!» Спасибо, коли и в гроб попадешь! А то просто стащут в телегу, свезут да и зароют, как собаку.

Из этого затруднительного положения Матвея вывела записка княгини, которая просила приехать проститься. Княгиня собиралась уезжать из Москвы чуть не месяц, но постоянно ее что-нибудь останавливало и задерживало.

Матвей уже очень давно не был у нее. Сначала, раз съездивши проститься, он полагал, что Колховские давно уехали; затем узнал случайно, что они все еще в Москве, но в это время он разыскивал по всему городу свою красавицу незнакомку. Найдя Павлу, он слишком был увлечен ею, чтобы думать о ком-нибудь другом. Наконец, именно с того дня, когда Матвей прокатил Павлу в своей тройке и приехал домой окончательно влюбленный в нее, пожилая княгиня стала ему особенно ненавистна и противна. И он уже умышленно не ехал к ней: он будто боялся, что ласка ее осквернит в нем то хорошее чувство на сердце, с которым носился он, преследуемый образом красивой Павлы.

Но теперь усилившийся недостаток в деньгах заставил Матвея, проколебавшись, однако, целый день, отправиться к Колховским. Подъезжая к дому княгини, Матвей невольно задавал себе вопросы:

«Как-то она примет меня? Как я отверчусь от нее? Как денег выманить?»

Он нашел княгиню печальной; она с укором прямо поглядела ему в лицо, вздохнула и отвернулась. Она как будто уже начинала понимать и ожидать того, что еще месяц назад считала невозможным. Она начинала догадываться, что была, так же, как и многие другие женщины, игрушкой на несколько дней в руках петербургского волокиты. Но те были молоды, а она, в ее годы?!

С первых же слов княгини Матвей догадался, что последует объяснение и окончательный разрыв. Этого-то ему и не хотелось. Ему все-таки хотелось приберечь княгиню, как мысленно говорил он, на черный день; а этот черный день был не за горами. Если возможно ему теперь добиться какого-либо толку в отношениях с Павлой, то оно возможно будет только при помощи денег княгини.

Княгиня стала упрекать молодого человека в его поведении. Оказалось, что она знает очень многое, почти все, что делается у него в доме. Она знала о пребывании у него Аксиньи, его препирательства из-за нее с родным отцом; но при этом поняла этот случай по-своему, объяснила его на свой лад и корила молодого человека в жестокосердии к родному и пожилому отцу, а равно и в безнравственности.

Матвей, не повинный ни капли на этот раз, стал смеяться добродушно, клясться, что его оболгали. И так как он был прав, то в голосе его было столько искренности, что княгиня поневоле должна была поверить и даже просить прощения, что оклеветала его. С этой минуты разговор повернулся как-то странно и неожиданно для самого Матвея. Он стал упрекать и обвинять княгиню в несправедливости, она начала оправдываться и говорить о своей любви к нему и своих муках,— и вдруг последовало неожиданное примирение, которое и было нужно.

Матвей утешал себя мыслью и оправдывал сам себя тем, что он делает это ради Павлы. Когда же молодой человек выходил из кабинета княгини, то уносил с собой снова очень крупную сумму, которой хватило бы на несколько семейств на целый год и про которую молодой малый думал с удовольствием:

«До осени хватит теперь!»

Матвей уже входил в швейцарскую, собираясь уезжать домой и обещаясь снова быть наутро, чтобы проводить княгиню до заставы, но вдруг он услыхал звуки арфы и вспомнил о существовании на свете княжны Анюты. Но вместе с арфой долетали до него звуки сильного и приятного мужского голоса, певшего какую-то знакомую песнь.

Матвей вдруг как-то встрепенулся и почувствовал что-то странное. Он действительно совершенно забыл за последнее время о существовании этой княжны. А теперь, при одном только подозрении, что около нее может

быть кто-нибудь с правами жениха, он почти испугался. Он снова быстро вернулся к княгине и попросил объяснения того, что слышал.

— Жених, что ли, завелся? — сказал он с беспокойством.

Княгиня рассмеялась и повела его в нижнюю гостиную, откуда раздавалась музыка.

— Пойдем, я тебе покажу, какой жених.

Они нашли княжну за арфой, а около нее Ивашку, который, прислушиваясь к музыке, старался выводить голосом ту же песнь, что наигрывала княжна. Музыка сразу прекратилась. Княжна немножко сердито и косо поглядела на Матвея. Ивашка, при виде блестящего мундира офицера, скромно отошел в сторону к окну. Скоро и легко мать и дочь объяснили Матвею, откуда взялся певец, но не скоро объяснили: зачем он остался в доме.

— Я понял, что он к вам в окошко влез,— дерзко и насмешливо сказал Матвей.— Я только не пойму, зачем вы его не выкинули обратно? Что он у вас при княжне? Что он — лакей, шут, конюх или учитель?

— Напротив того,— возразила княжна,— я его учу и грамоте, и малеванью. Как он рисует! Представить себе не можете. Хотите, я вам покажу? Иной дворянин так не сумеет!

И княжна встала, взяла из стола несколько больших листов бумаги, исчерченных карандашом.

— Вот вам первый, а вот — вчерашний! И это за несколько дней. Это вот будто малый ребенок рисовал, а это уж иному учителю не стыдно бы было. А хотите, прописи покажу, как он у меня писать стал?

Матвей не отвечал ничего и не глядел на рисунки, а пристально и внимательно разглядывал оживленное лицо княжны. Никогда еще он не видел ее такою. Она как-то ожила, будто помолодела, даже отчасти похорошела. Он перевел глаза на парня, стоявшего тихо и скромно у окошка, как если бы дело шло совсем не о нем, смерил его с головы до пят и ничего в нем не нашел особенного. В лице его он не прочел ни хитрости, ни дерзости, напротив того — одно добродушие задумчивых светлых глаз. И Матвей перевел глаза на княгиню и посмотрел многозначительно и как бы с укором.

Княгиня, встретив этот взгляд, невольно удивилась; она заметила, что молчание Матвея имеет какой-то

смысл, что он вопросительно смотрит на нее, что какая-то новая мысль, беспокоящая его, явилась у него теперь вдруг.

— Ну, что ж? Учите, пойте, благо весело! — небрежно выговорил Матвей, повернулся на каблуках и пошел вон из горницы, но перед тем взглянул на княгиню так, чтобы она поняла, что должна следовать за ним.

— Что вы делаете? Что вы, разум потеряли? — выговорил он строго, когда очутился с княгиней наедине в ее кабинете.— С ума ты, что ли, сошла, княгинюшка?

— Что ж? В чем дело? — изумилась и развела руками княгиня.

— Как что! Да ведь княжна втюрилась в простого парня!

— Что такое? Что это за слово? Вот что значит все с конюхами возиться!

Матвей нетерпеливо махнул рукой.

— С конюхами! Я мужчина, офицер, а у тебя дочь тоже с конюхом поет вместе. Ведь она влюблена в него...

— Господи, какой вздор! — воскликнула княгиня.— Ты с ума сходишь, должно быть!

— Нет, уж извините! В чем другом, а в этом деле я собаку съел, меня не проведешь. Мне довольно одним глазом на одну секунду видеть двух людей,— кто бы они ни были,— чтобы отгадать, есть ли что между ними. Я тебе верно говорю! Княжна, которая на нашего брата офицера ни на одного внимания никогда не обращала, теперь, Бог весть как, занялась всем сердцем этим глупым парнем, и потому собственно, как я думаю, что он поет хорошо. И действительно, поганец отлично поет, редко я такой голос слышал. Но только смотри,— распугни голубков поскорей, а то допоются до беды!

— Да не может этого быть! — тревожно проговорила княгиня.

— А я тебе говорю, что не только не может быть, а есть, теперь есть. Подумай только, что из этого выйти может! Что ж,— грех прикрывать да за мужика замуж выходить? Ну, да что тут болтать! Не веришь, так уверься сама. Погляди за ней, так сама и увидишь. А я уж верно сказываю. Ну, до свиданья! Завтра утром я заеду за новеньким.

Матвей поехал к себе и был долго угрюм и озабочен. В его характере была черта, ему самому непонятная и совершенно необъяснимая. Он, вечно и постоянно

ухаживавший за всякого рода женщинами всевозможных слоев общества, не мог никогда хладнокровно видеть другого человека в том же положении, в каком бывал постоянно сам. В нем как будто была какая-то глупая ревность ко всякому мужчине, влюбленному в кого бы то ни было.

На этот раз то, что он заподозрил в доме княгини, его озабочивало более, чем когда-либо, и даже взбесило.

«Ну, положим, этого парня дурацкого прогонят завтра,— думал он,— но ведь может явиться другой, не простой мужик, и княжна влюбится в него и замуж выйдет. Покуда я сижу у себя, она сто раз успеет полюбить кого-нибудь, и, когда я приеду невзначай, мне объявят жениха с невестой. А ведь я когда-то собирался на ней жениться и все эти червонцы колховские прибрать к рукам. И теперь бы это было возможно. И, женившись на ней, никто бы мне не запретил ту же жизнь вести».

Матвей вдруг вспомнил, что теперь прежнее намерение стало немыслимым.

— Да, по-ихнему — грех! — почти вслух бормотал Матвей.— А по-моему — пустое. Что за важность! В законах даже об этом ничего нет. В Питере подобное бывает.

Вернувшись домой, Матвей хотел было серьезно обсудить этот вопрос и решить неотложно, но самое странное приключение помешало ему. Матвей нашел у себя одного нового друга — офицера, который приехал купить лошадь. Матвей, получивший крупную сумму от княгини, уже не нуждался теперь в деньгах и поэтому на радостях подарил лошадь приятелю. Он велел тотчас заложить лошадь в тележку, посадить парня кучером и объявил приятелю, что дарит ему все: и коня, и тележку, и холопа.

Небогатый офицер был в восторге и, отблагодарив доброго Воротынского, уже вечером съехал со двора.

Через полчаса лошадь и тележка были снова на дворе Матвея, а офицер лежал в ней зарезанный. Парень-кучер, перепуганный насмерть, объяснил, что кто-то бросился на них в переулке и, убив барина, убежал.

— И грабить не стал! Токмо убил.

Матвея поразила эта случайность.

— Конь — мой, кучер — мой, съехали с моего двора... Уж не меня ли хотел злодей умертвить?!

И Матвей, несколько смущенный, продумал об этом целый вечер... но наутро забыл.

Между тем, когда Матвей уехал к себе, княгиня, встревоженная и озабоченная тем, что она внезапно узнала от молодого человека, задумчиво сидела у себя.

«Как это мне не пришло на ум? — думала она.— Анюта — чудная девица, у ней все на свой лад. Что с другой никогда не случится, с ней может случиться».

И княгиня вспомнила вдруг про одну пустую вещь, которая окончательно смутила ее. За последние дни она постоянно видела на столике, около постели своей дочери, переводной роман с французского, под заглавием: «Графиня Вальм». В этом романе герой, Эдуард, в которого влюблена молодая и богатая сирота-графиня, был сын простого фермера-поселянина. В конце романа графиня, после многих житейских бурь, выходила замуж за этого фермера, и король жаловал ему дворянское достоинство и звание при дворе.

— Зачем эта книга именно теперь постоянно у нее в руках! — совершенно встревоженная воскликнула княгиня. И вдруг сразу ей стало все ясно: подозрение Матвея, которому она не поверила в первую минуту, стало для нее теперь уже действительностью.— Господи! Что ж это я наделала! — воскликнула княгиня в ужасе, ходя по своей комнате.— Это мне наказание Господь послал за мой великий грех! — вдруг пришло ей на ум, и трепет пробежал по ней.

Она тотчас же тихо направилась в ту комнату, где за последние дни бывала княжна и с утра до вечера слушала сказки и песни Ивашки, и тревожно, боязливо подошла к полурастворенной двери и прислушалась. В горнице было тихо. Княгиня подумала, что дочь и ее любимец вышли в сад, но вдруг долетели до нее глубокий вздох и одно слово, одно имя, ласково и нежно произнесенное дочерью. Княжна тихо прошептала:

— Эдуард!

И для княгини сразу стало все ясно. Княгиня, не помня себя, приблизилась еще на шаг к двери, взглянула в горницу и, зашатавшись, едва не упала на пол. У нее хватило только силы, взявшись за голову, опуститься на ближайший стул.

Она увидела свою дочь на том же табурете около арфы, а Ивашку — на коленях у ног княжны. Анюта обвила обеими руками голову Ивашки и медленно целовала его в лицо.

Долго ли просидела княгиня на своем месте, она почти не помнила, но никто не прошел, никто не видал ее. Княгиня хотела тотчас же распорядиться, выгнать вон из до этого парня, но, одумавшись, решилась подождать следующего дня и посоветоваться с Матвеем, что делать и как поступить. Она не могла даже себе представить, что сделает и как примет это Анюта.

В эту ночь, лежа в постели, княгиня не спала, часто брала себя за голову и несколько раз повторяла:

— Не сошла ли я с ума?

Она с ужасом ощупывала себя и все надеялась, что она или видела сон, или помешалась на время. Но в то же время какой-то тайный голос нашептывал ей:

«Нет, всеэто правда, потому что это тебе в наказание послано за твой грех пред Богом и пред детьми!»

XXV

Барабин, внезапно и нечаянно сделавшись убийцей собственного ребенка, убежал и скитался по Москве почти без ристанища, ночуя часто на улице, чаще — в кустах, которые росли по всему валу, окружающему Москву. Несколько раз случилось ему ночевать вместе с бродягами и нищими в той полуразрушенной башне, где когда-то ночевал спасшийся от него Ивашка.

У Барабина, человека крутого, самовольного, злого на вид, было, в сущности, и более чем когда-либо сказалось теперь такое сердце, которого, конечно, не было у Матвея, а быть может, и у Павлы. Часто, ночью под открытым небом, где-нибудь на окраине Москвы, иногда где-нибудь на кладбище, между могильными крестами, Барабин сидел по целым часам, не двинувшись, положа голову на руки, и без конца думал и обдумывал свою горькую долю. Он не считал себя злым или дурным человеком, не считал себя особенно грешным, виноватым перед Богом, тем менее считал себя виноватым перед людьми. Он обожал жену свою, готов был всегда — и даже теперь — хоть умереть за нее, если бы только она была верна ему. А между тем куда привела его эта любовь! Он — обманутый муж, убийца, хотя и нечаянный, собственного ребенка и скитается теперь по Москве, опасаясь ежеминутно быть схваченным и запертым в острог. И в эти минуты он все-таки не знал, любит ли он жену или ненавидит.

Единственно, что чувствовал он, было чувство непоколебимой, бурной ненависти к этому молодому офицеру, который смутил его семейное счастье. И в Барабине каждый день все росла страшная, сожигавшая его жажда мести.

Проскитавшись около недели по самым глухим местам Москвы, он наткнулся случайно на одного из обитателей «Разгуляя» и узнал от него, что в огромном доме, где помещается кабак, всякий может за несколько грошей найти пристанище, готовый стол и кров. Барабин тотчас же поместился в одной из маленьких горниц большого дома и здесь тотчас же стал обдумывать, как отомстить незнакомому гвардейскому офицеру. Через несколько дней Барабин достал денег через одного из друзей, узнал наверное имя своего врага и где он живет и, решившись окончательно на обдуманное со всех сторон убийство, нанял себе другую комнату около больших палат Воротынского.

Часто по целым часам, в сумерки и вечером, Барабин с большим ножом за пазухой терпеливо стоял или бродил около ворот и двора красивых палат, где весело, беззаботно, не чуя, конечно, никакой беды, жил молодой гвардейский офицер. Несколько раз проезжал мимо него Матвей и в тележках, и в колымагах, цугом и верхом, но удобного случая подойти к нему на подачу руки, чтобы ударить в самое сердце, не представлялось. А зря «портить дело» неудачей Барабин не хотел.

Наконец однажды, в безлунную и темную ночь, когда он был снова настороже, со двора палат Воротынского выехала маленькая тележка, запряженная красивою лошадью, и около молодого парня-кучера сидел офицер в красивом мундире, каких было, конечно, мало в Москве. Благодаря темноте, тележка, выехав из ворот, шагом двинулась по выбоинам немощеной улицы.

Барабин встрепенулся, ожил и, задыхаясь от нетерпения и какого-то дико-восторженного чувства, догнал тележку. В одно мгновенье ока он сзади вскочил в нее, ухватил офицера за ворот и сильной рукой, три раза взмахнув ножом, три раза воткнул его по самую рукоять в горло и грудь офицера.

Кучер вскрикнул, погнал лошадь, а Барабин, весь обрызганный кровью, соскочил с тележки и бросился бежать.

— Убил ли?! Убил ли?! Не ожил бы! — бормотал он

как помешанный и бежал во весь дух, часто натыкаясь на прохожих и сбивая их с ног.

Тележка рысью вернулась во двор палат Воротынского. И известие, никому не понятное, подняло на ноги весь дом. Все выбежали, вынули окровавленного и уже мертвого офицера и внесли на руках в швейцарскую. Матвей, перепуганный, недоумевающий, тотчас спустился вниз. Никто не мог понять тайной причины случившегося несчастья; одно только было ясно, что убийца был не грабитель.

Барабин между тем, убежденный вполне, что убил хозяина палат, Матвея, несколько дней не показывался никуда из своей горницы в «Разгуляе». Он переменил свое окровавленное платье на другое, дешево купленное в доме по случаю, и рассылал своих разгуляевских приятелей разузнавать: ищут ли убийцу офицера с Остоженки и хорошо ли он зарезан. И Барабин узнал, что офицера действительно привезли на двор уже мертвого, с совершенно перерезанным горлом, а убийцу не разыскивают, потому что начальству не до того.

И Барабин чувствовал себя спокойнее — чувство мести было удовлетворено, не кипело в нем. Он знал, что между ним и женой нет теперь этого ненавистного человека. Он был почти счастлив от этой мысли. Однако убийца все-таки плохо спал ночи; раздраженному мозгу мерещился то маленький плачущий ребенок, который протягивал к нему руки, то красный офицер в золотом мундире и забрызганный кровью.

И после этих бессонных ночей Барабин скитался по Москве, встречая повсюду смерть, покойников, гробы за гробами.

Наконец однажды, усталый, измученный, он вернулся в свою горницу и почувствовал себя дурно. Наутро он уж едва двигался от страшного огня, который, казалось, горел во всем его существе и в особенности в голове.

Барабин не понимал, что с ним творится. Он видел, что это неожиданная болезнь, внезапная и сильная, но не мог отгадать причины ее. Погода была слишком жаркая, даже душная, чтобы можно было простудиться; лишнего он не только не съел, но даже за несколько последних дней питался одним черным хлебом и квасом. Наконец, вообще за всю свою жизнь он никогда ни разу не хворал и, как человек, не знавший хворостей, был перепуган теперь, чувствуя во всем теле что-то такое новое, ужас-

ное, независимое от его воли, чего никогда за всю жизнь не ощущал в нем.

«Что ж это за хворость такая? — думал он.— И с чего это она проявилась вдруг? Удивительно!»

А вопрос этот, который задавал себе Барабин, задавала себе всякий день вся Москва, и умная, и глупая, и богатая, и бедная. Всякий простолюдин видел вокруг себя, во всех домах и на улицах десятки и сотни больных и покойников, глядел на целые вереницы гробов, на целые кладбища, вновь заселяемые мертвыми жильцами, и все-таки когда черед приходил самому ложиться в постель, то всякий заболевший удивлялся и, конечно, не думал, что с постели через два-три дня придется ложиться в гроб. Чума царствовала, и всякий боялся ее и часто, поневоле, поминал ее, покуда не заболевал сам. Тогда он будто удивительным чудом забывал о чуме и спрашивал себя:

«Что это за хворость? Чудное дело! Знать, зазнобился или съел чего лишнего».

Дворянство действовало совершенно наоборот. Малейшее нездоровье в себе принимало за чуму и тотчас начинало лечиться.

Разумеется, такой человек, как Барабин, не мог долго оставаться в неведении и сомнении. Он тотчас же обратился с вопросом к знахарю, которого встретил, потому что тот жил в том же доме Разгуляя. Тот осмотрел, расспросил Барабина и покачал головой.

— Что ж? Чего головой трясешь? — через силу усмехнулся Барабин.

— Чего? Вестимо. Все гниючка у всех, проклятая.

— Чума? — воскликнул Барабин.

— Там зови как хочешь, дело не в этом.

— Да ты врешь! — закричал Барабин,— врешь, тебе я говорю! Не возьмет меня твоя чума. Пускай других дураков подбирает! Не на того напала! — кричал Барабин вне себя.

Мгновенный испуг, вызванный словами знахаря, сменился у него злобой. Вдруг явился у него новый враг, с которым даже ножом разделаться нельзя.

— Чего ты кричишь? Я, что ли, тебе ее навязал? — заговорил знахарь.— Вестимое дело, живешь ты тут в горнице, в коридоре, где, поди, уж дюжины две человек, коли не все тридцать, перемерли. В горнице твоей допрежь тебя целая семья жила и вся вымерла. Да и платье — вот это самое, что на тебе,— с покойного писа-

ря Ивана Карпыча. Ну, вот и рассуди сам. А мне что? — рассуждал знахарь лениво и усталым голосом.

Между тем Барабин, бледный, дрожащими руками проводил по лбу, по голове, которая горела как в огне.

«Неужто чума меня захватит и я умру! — думал он.— Да нет! Болесть-то где? Во мне, в теле! А кто же ему хозяин? Захочу, не помру... Хворать буду, а не помру! Моя воля...»

— Скажи ж мне,— выговорил он вслух,— платье, сказываешь ты, это самое, с чумного?

— При мне его раздевали, так как же не знать? Мы Карпыча, писаря-то, в гроб клали, а кто-то пожалел, что платье новенькое зря пропадет. А тут вошел ктой-то, кажись — расстрига, спрашивает: нет ли платья купить? Тут же мы и сторговались и денежки получили. Думали, он себе покупает. Ан вот, платье-то на тебе это самое... вот и пуговицу эту помню, мы на покойнике ее все застегнуть не могли, не сходилось. А на тебе, вишь, как сидит отлично, в самый раз!

— Так что ж, по-твоему, чума-то с кафтаном, что ли, ко мне от писаря перелезла? — злобно рассмеялся Барабин.

— Я, купец, человек темный, знаю только три, четыре припарочки сделать да десяточек микстурочек, а вот доктора, люди умные, ученые, сказывают, что самомалейшей тряпички довольно от чумного принять, чтоб захворать. Опять в храмах, сам знаешь, всякий день читают попы и увещевают с хворыми чумными не якшаться, пальцем не трогать, а пуще всего, Боже оборони, платье с них снимать да на себя надевать. Ну, прости, мне не время, у меня хворых страсть сколько. Хочешь, и тебе микстурку дам?

— Пошел ты к черту! — задумчиво выговорил Барабин и тихо направился в свою горницу.

«И здесь, в этом грязном чулане,— подумал он, оглядывая горницу,— вымерла, говорит, целая семья от чумы. Да если еще это платье уже в гробу лежало на чумном, то, пожалуй что, и впрямь чума во мне засела!»

И вдруг боязнь, самая ребяческая трусость с силой сказались в этом человеке. Ноги его подкосились; он сел на стул и застонал.

XXVI

Наутро Барабин едва двигался. За одну ночь он страшно исхудал и изменился лицом. За эту же ночь тело его покрылось темными, багровыми пятнами, и нестерпимую боль, как от раскаленного железа, чувствовал он от напухающего под мышкой громадного нарыва.

И тут только, в первый раз вспомнил Барабин Суконный двор и многих Алешек, и Павлушек, и Егорок, которые перемерли у него на глазах этою самою болезнью, которой тогда еще не дали имени. Сомнения не оставалось, и он был вполне и твердо убежден в том, что у него чума, и притом самая сильная. И человек этот вдруг спокойно, твердо придумал и решил тотчас исполнить истинно сатанинский план.

Медленно, едва двигаясь, вышел он из своей горницы и побрел вниз. Встретивши несколько человек жильцов «Разгуляя», он остановил их.

— Нет ли нового покойника в доме, чумного?

— Кто ж его знает, чумной или другая какая хворость. А что покойничек есть,— отозвался один,— вот сейчас потащут Макарку.

Барабин пошел по указанию и действительно в одной из горниц нашел на полу мертвого мещанина, около которого сидела какая-то женщина.

— Давно ли помер? — спросил ее Барабин.

— Вечерось. А пахнет, поди, будто четвертые сутки лежит. Вон она какая хворожба пошла теперь!

— Кто он тебе?

— Муж, родимец, муж! Теперь я без мужа; вдова, стало быть.

— Вымени мне его платье на мое,— вымолвил глухо Барабин.

Женщина не сразу поняла, и, когда Барабин истолковал ей свое желание, она немало удивилась, но согласилась, заметив, однако:

— Ваш-то кафтан куда новее. Право! А его дырявый.

— Ладно. Не твое это дело!

Женщина с трудом стащила кафтан, переваливая труп с боку на бок и заворачивая мертвые, падающие руки.

Барабин сбросил свой кафтан на пол и взял старый, дырявый сюртук мертвого, но тотчас едкий и отвратительный смрад от него на минуту заставил Барабина поколебаться.

— Пустое! — глухо, отчаянно выговорил Барабин.— Либо все живы будем, и мне ничего не приключится от него, либо всех кафтанишка этот переберет.

И через час, с трудом держась на ногах, Барабин стоял уже у калитки дома Артамоновых.

Страшно исхудалый, с болезненно-зеленоватым лицом, с сверкающими глазами, без шапки, с волосами, всклокоченными ветром, в изорванном грязном кафтане, он был похож на привидение и, во всяком случае, на безумного. Он силился войти, но караульный не пускал его, объясняя, что в дом Мирона Митрича не приказано начальством не впускать никого и не выпускать на улицу.

— Еще утром Митрий Мироныч строго-настрого наказывал никого не пущать. Хоть бы сам енерал какой приехал — и того гнать.

— Поди, вызови мне Митрия,— вымолвил Барабин.— Скажи, что по важнейшему делу пришел к нему знакомый человек. Чтоб шел сейчас сюда. Очень, мол, нужно.

Через несколько минут у калитки явился Митя, увидел Барабина и всплеснул даже руками. Мальчугану не верилось, что это его зять, настолько изменился Барабин за последнее время.

— Сходи к отцу,— глухо и медленно проговорил Барабин.— Скажи, пришел Тит вымолить себе прощенье за грехи, проститься с женой и с вами на веки вечные. Иду в Иерусалим, в монахи, замаливать грех свой. Скажи отцу, буду тут как пес у ворот валяться, покуда не пустит. Хоть с голоду околею, а не пойду ко святым местам без вашего прощения. Пойди, голубчик! Вишь, каков я, гляди! Я тебя прошу. Помилосердуй!

И Барабин, стоя перед калиткой, вдруг опустился на колени пред мальчуганом.

Митя зорко, исподлобья глядел на ненавистного ему человека и был сильно взволнован и смущен. Страшная перемена в этом человеке могла поневоле всякого заставить простить ему всякий грех. Но вдруг в голове Мити мелькнула мысль!

— Ты не хвор? — быстро выговорил мальчуган, почти впиваясь глазами в Барабина.

— Был хвор, да больше от муки душевной. Теперь перегорело все. И злоба на жену, и сердце мое на вас всех — все перегорело! Другой я стал! У всех прощенья прошу!

— Теперь не хвораешь?

— Слава Богу! Теперь одна у меня хворость — воспоминание о малютке, безвинно убитом. Поди к отцу, вымоли пустить меня на пару слов. Только повидать да проститься с вами. Сейчас и уйду.

Митя пошел в дом, и спустя минуту за ним вышел к калитке сам старик Артамонов. Он шел медленно, гордо, с насмешливой улыбкой на губах; он уже отдал приказание молодцам на дворе, чтобы были готовы схватить разбойника, которого он искал так долго. Артамонов хотел тотчас же взять Барабина и отправить в острог. Но когда старик отворил калитку и увидел на земле, на коленях, полусидящую фигуру Барабина, то и он, в свою очередь, оторопел, слегка ахнул и вымолвил:

— Господи, помилуй! Вон оно что, младенцев-то убивать! Вон что — когда сатана влезет в человека.

Барабин повалился ничком в ноги старику, обхватил его большущие смазные сапоги и положил на них свою лохматую голову.

— Прости меня, родимый! За прощением пришел. Ко святым местам иду! Отпусти ты мне, в чем согрешил перед тобой! Дай мне и у женушки прощение вымолить!

И гордый Артамонов смирился духом. И в нем дрогнуло сердце от голоса этого человека, валяющегося у него в ногах.

— Что ж, входи! Коли так сказываешь, так что уж тут! Все мы грешные! Что уж тут! Не нам судить, Господу судить! Входи! Коли уж у меня на тебя сердце прошло, так и Павла простит!

И Барабин, еле-еле двигаясь, слегка пошатываясь, с каким-то неуловимым выражением лица, пошел за стариком тестем и за мальчуганом в дом.

Калитка захлопнулась за ними, и в эту минуту злейшая чума вошла в дом Артамоновых. Мог ли умный Митя или старый и бывалый Артамонов подумать, что Барабин сделает то, что самому сатане только пришло бы на ум?

И вдруг в этом доме раздался страшный крик. Это была Павла, которая обезумела, увидя мужа, и с отчаянным криком бросилась от него. В эту минуту для нее, казалось, умер прежний Барабин, потому что человек, который стоял перед ней, был ей страшен и чужд. Она бы и не узнала его, если бы отец и брат не сказали ей, что это Барабин.

Но и ей в ноги повалился муж, и Павла зарыдала.

Мысли ее спутались. И жалость, и ужас смешались в ней вместе. И она очнулась будто только тогда, когда этот страшный человек, с зеленым лицом, с пламенными красными глазами, поднявшись с полу, бросился к ней, обнимал ее, целовал, молил о прощенье. И в это мгновение он, быть может, был искренен, забыл, что принес с собой смерть...

Но недаром Павла была женщина. Сквозь ужас, страх и отвращение к этому человеку она почувствовала сильный смрад от его платья. И сквозь слезы она сказала брату:

— Дай ему платье! Что это за платье на нем?

Барабин отказался, говоря, что, посидев с ними до вечера, уйдет от них прямо к заставе по пути на Киев.

Но чересчур много взял на себя смертельно больной. Теперь, когда он добился своего, был уж в доме тестя с своей болезнью и в этом кафтане, сейчас только снятом с чумного мертвеца, силы вдруг оставили его, и он, почти без сознания, свалился на пол около жены.

Артамонов покачал головой.

— Затаскался, обнищал, отощал! Из крепкого человека и молодца что сталось! Вот, Митрий, пример! Притчу на это сложить можно Вот оно что, младенца-то убить. Кровь-то неповинная вопиет к Господу на злодея! Ну, да Бог с ним! Сказано, простить, ну и прости ему, Господь, а мы не судья. Позови ты молодцов! Снесите его к Павле в горницу, очнется — накормить.

— Бог с тобой, батюшка! Что ты?! — в ужасе воскликнула Павла.

— Что же? Пожалей его... Гляди...

— Нет, нет, Господь с ним! — заговорила Павла.— Не могу я, родитель... Простить готова... Господь ему судья! Я уж говорила, что виновата больше его. Но теперь с ним одна быть не могу... Видеть мне его при вас — и то тяжело... даже боязно...

Позванные люди с трудом подняли Барабина без чувств и снесли в дальнюю комнату, около той, где жили старшие братья. Павла, почти задыхаясь, выбежала в сад и, быстро двигаясь по дорожке, бессознательно, как безумная шептала что-то, поминая мужа, поминая своего малютку, поминая Матвея...

В доме остались вдвоем Артамонов и Митя. Старик хотел уже идти к себе и двинулся медленной походкой, грустно опустив голову на грудь, когда мальчуган остановил отца.

— Тятя, слышь-ка, что мне на ум взбрело.

— Ну, чего еще?

— А коли Тит чумной!

— А! — быстро обернулся старик как ужаленный.

— Коли чумной Тит да нас теперь всех заразит?

— Тьфу! — яростно плюнул Артамонов.— Совсем дурак стал. И не миндаль, а хуже всякого миндаля!

— Как знаешь! — повел плечами Митя.

— Человека сразило! — живо и грозно заговорил Артамонов.— Суд Господень над этим человеком. Сатана в нем сидел, изломал его всего и вышел. И в Священном писании писано, как таковое с одержимыми людьми бывало. А этот с своей чумой носится. У него душа изболелась о своих грехах, из тела просится! У него теперь одни мысли о молитве, о прошении, покаянии да о Господе! А этот знай свое заладил... Тьфу! Сам ты чумной! У тебя чума язык чешет!

— А зеленый-то он... Да без памяти тут свалился... Тоже с молитвы да с покаяния?..

Но Артамонов не ответил и, махнув рукой, гневной походкой ушел в свою горницу.

Митя остался один среди пустой комнаты и долго стоял задумчиво, не двигаясь, и наконец прошептал:

— Да, если этакое подумать, то ум за разум зайдет! Он, может, и сам не знает, что чума в нем! Братьев держали подальше да спроваживали, а с этим обнимаемся да целуемся. А он будто мертвец своим видом. Подумать страшно, если Господь допустит, чтобы и тятя, и Павла, и я от злодея заразились! Помилуй Бог!

И Митя боязливо перекрестился.

XXVII

Матвей был снова беспечно весел и счастлив. Ему достаточно было иметь лишнюю горсть червонцев в руках, чтобы ясным оком глядеть на весь мир Божий.

Вдобавок у него было теперь три веселые заботы, три важных дела на руках, которые он вел с успехом. Главное дело было придумать способ видеться с Павлой, запертой в доме отца, и, так или иначе, проникнуть через карантин, устроенный Артамоновым. На счастье Матвея, после первых же его попыток оказалось, что это гораздо проще и легче, нежели он думал. И замысел его на днях должен был увенчаться полным успехом. Вто-

рое, сильно его занимавшее,— были княжна Колховская и Ивашка. Надо было, во что бы то ни стало, изгнать парня из дома Колховских. Почему Матвея озабочивало так сильно приключившееся с княжной, он сам не мог вполне отдать себе отчета. Иногда он уверял себя, что ему нет никакого дела до судьбы княжны,— влюбись она и выйди замуж за какого ни на есть московского дворянина или хоть за простого мужика. Но вместе с тем у Матвея смутно являлась мысль, что когда-нибудь, хоть через год или два, отстраняя теперь от княжны всякого рода женихов, он может сам жениться на ней, конечно, ради ее состояния. Княжна была ему теперь по-прежнему противна, но зато он был серьезно занят судьбой огромного состояния. Червонцы Колховских, которые он уже как-то привык тратить горстями, казалось, каждый день напоминали ему и говорили:

«Не упусти княжну Анюту!..»

Наконец, третье дело, о котором по доброте души хлопотал теперь Матвей, было — добыть снова, каким бы то ни было образом, Аксинью от своего отца.

Василий Андреев вернулся из своей поездки вольным человеком и с деньгами, так как его барин Раевский взял с него только для проформы всего пятьдесят рублей. Андреев по приезде в Москву поселился у Матвея, но тотчас же записался в мещане. Затем он нашел себе двух подьячих и начал хлопотать о том, чтобы по закону ему была возвращена, приведена хотя бы насильно, его законная и вольная теперь жена.

Сделавшись теперь смелее, Андреев начал хлопотать по начальству, обивать пороги всякого рода чиновников и подал даже просьбу самому Еропкину. Но всему московскому начальству было и без Андреева довольно дела. Чума сбила их всех с ног. Единственный путь, самый лучший и быстрый, который Матвей советовал Андрееву избрать,— было идти к тому же преосвященному. Когда-то Амвросий вмешался в дело об Аксинье, заставил Матвея возвратить ее бригадиру. Поэтому всего проще было теперь Андрееву отправиться к преосвященному, доказав ему свои права вольного человека на вольную жену, просить духовной помощи, просить подействовать на бригадира увещаниями.

Василий Андреев решился на это и стал всячески искать случая предстать пред преосвященным и изустно передать ему все дело.

Не скоро добился он этого случая. Наконец однажды,

узнав, что преосвященный приедет в известный час осматривать работы Благовещенского собора, Андреев с утра забрался туда. Когда преосвященный, обозрев все работы, вышел на паперть, чтобы садиться в экипаж, Андреев бросился ему в ноги и в кратких словах объяснил свою просьбу.

Преосвященный тотчас вспомнил, что приказал молодому Воротынскому возвратить беглую женщину отцу. Но затем он наотрез отказался вступаться в это дело.

— Может быть, по закону ты и прав. Ну, и хлопочи через гражданские власти! — рассеянно выговорил архиерей.

Андреев объяснил, что так как сам преосвященный своею духовною властью заставил Аксинью вернуться в дом бригадира, то теперь он мог бы более, чем кто-либо, помочь в этом деле.

— Мне, любезный, сан мой не позволяет вступаться в такие житейские дела. Да притом, сам посуди, не ехать же мне к господину бригадиру хлопотать о жене всякого мещанина. Обратись к властям гражданским. Если закон то позволяет, то тебе и вернут жену.

И Амвросий, не слушая того, что снова объяснял горячо Андреев, сел в свой экипаж и уехал.

Андреев остался один на паперти собора и дикими злобными глазами оглядывал пустую Кремлевскую площадь.

— Изверги! Злодеи! — шептал он.— Отнять ее ты у меня мог приказать. Архимандритов гонял по этакому срамному делу, против всякого закона шел! А теперь, вишь, тебе твой сан не позволяет. Недаром ты родом из турок. Эх, моя бы воля, что я с тобой поделал бы!..

И слезы вдруг выступили у него на глазах, слезы злобы и бешенства. Он судорожно стиснул кулак и погрозился через всю площадь на удалявшуюся карету преосвященного.

— Да, будь я острожник,— выговорил он снова злобным шепотом,— будь я загубленная душа, которой семь бед — один ответ, не минул бы ты моей руки... Не поглядел бы я, что на тебе клобук с крестом. Да и не тебя одного, многих бы я вельмож...

Андреев вернулся домой в отчаянье.

Матвей, после этой неудачи Андреева, стал собирать сведения о бригадире и об Аксинье и с трудом узнал наконец, что в доме отца установлен тоже строжайший карантин. Кроме того, бригадир, из боязни чрез соб-

ственных людей заразиться, разогнал всех своих холопов и остался только с двумя старыми служителями и с Федькой Деяновым. Аксинья была в его доме заперта кругом, и барин никого к ней не допускал, боясь нового побега.

Василий Андреев взялся сам за свое дело, решившись действовать прежним незаконным путем, более верным, т. е. обдумывал просто побег жены. Познакомившись с глупым Федькой, который у бригадира справлял должность караульного, Василий Андреев узнал, что жена его, всегда запертая, теперь хворает, но что барин скрывает это ото всех.

Известие это было верное.

В доме бригадира, как во многих домах Москвы, скрывали тщательно от полиции больных моровою язвой.

Аксинья, долго ухаживавшая за мужем, заразилась от него и спустя несколько времени заболела сама, перенеся болезнь в дом Воротынского.

Первые дни, когда она чувствовала себя дурно, бригадир просто не верил ей, предполагая, что женщина притворяется. Когда Аксинье стало хуже, бригадир послал за каким-то соседним доктором. Тот освидетельствовал больную и нашел ясные признаки чумы.

Бригадир чуть не лишился рассудка от перепуга. И в нем тотчас началась борьба между страхом чумы в доме и привязанностью к женщине. Он не знал, что делать. Отправить Аксинью в больницу и запереть наглухо всю половину дома, где она заболела, бригадир не хотел, потому что боялся, что она, выздоровев, конечно, не вернется к нему и он потеряет ее навсегда так же, как если бы она умерла. Поколебавшись немного, бригадир решился оставить больную в доме, скрыв, конечно, все от начальства и закупив доктора, чтобы он молчал о найденной им чумной.

Аксинью еще строже заперли кругом в целой половине дома. Как бригадир, так и люди равно боялись входить к ней, и больная лежала и день, и ночь однаодинешенька в своей комнате. Только глупый Федька, по строжайшему приказанию барина, должен был входить к ней, принося ей пищу и воду. Но Деянов боялся входить в горницу и, приотворяя дверь, ставил пищу на полу у порога, как бы собаке, и тотчас же, захлопнув дверь, бежал скорее прочь.

Деянов скоро стал замечать, что ни вода, ни пища не

тронуты больною и что он зря обменивает и то, и другое. Но, однако, он об этом умолчал, а сам бригадир не мог освидетельствовать ничего, так как боялся подойти даже за три комнаты от горницы больной. Всякий день он по нескольку раз спрашивал Деянова:

— Ну, что? Как она?

Федька, который на секунду просовывал нос в горницу, переменяя то тарелку с пирогом, то тарелку с хлебом, то кружку с водой, отвечал всякий раз добродушно:

— Ничего-с, слава Богу!

И действительно, обмен пищи происходил совершенно благополучно. Но в каком положении была больная, Федька не знал, да и не мог знать. Бригадир был почему-то уверен, что Аксинья хворает, но встает с постели, ходит по комнате, ест, что ей подают, и, быть может, скоро выздоровеет. Когда он приказывал Федьке спросить что-нибудь у любимицы, то Федька, боявшийся пробыть у растворенной двери более секунды, сам сочинял ответ Аксиньи и смело передавал барину. Однажды он даже решился соврать бригадиру, что, кажется, больной, слава Богу, гораздо лучше.

Между тем несчастная женщина в положении запертой собаки, без ухода, в беспамятстве, в бреду, помимо болезни, часто мучилась жаждой. В минуты сознания она через силу звала напрасно к себе на помощь... вставала через силу, шла к двери, толкалась в нее, задыхаясь в душной комнате. Однажды, отойдя от запертой двери, она не дошла до своей кровати, свалилась на пол и, до следующих минут сознания, в беспамятстве около суток пролежала на полу.

Прошло более недели. Федька продолжал аккуратно переменять нетронутую пищу, бригадир продолжал так же спрашивать каждый раз о здоровье больной, и Федька точно так же говорил:

— Слава Богу!

Василий Андреев наведывался всякий день, измученный тревогой о жене. И ему Федька врал, что в голову придет. Наконец, день за день, Федька, отворяя дверь, слышал уже невыносимый и все усиливавшийся зловонный запах, вырывавшийся в коридор. И у него уж не хватало духу отворять дверь горницы. И наконец полоумный холоп решил:

— Была не была, а больше не стану отворять.

И глупый Федька аккуратно носил пищу и ставил ее в коридоре только ради того, чтобы бригадир видел, как

он носит тарелки и меняет их. Чтобы скрыть игру, он сам съедал по дороге то, что носил.

Вскоре зловоние стало проходить уж в коридор и в соседние горницы и наконец достигло кабинета бригадира, который был далеко от горницы больной. Однажды утром бригадир, сидевший с книжкой в руках, вскочил и пошел опрашивать людей о причине. Старик лакей объяснил, что смрад этот идет уж давно из коридора и, вероятно, из комнаты больной. Бригадир решился отворить дверь в коридор, всегда запертую, которую отворял, проходя, лишь один Деянов. Когда дверь отворили, страшное зловоние заставило бригадира отскочить от коридора.

И он в ужасе тотчас понял все. Он не только понял, что запах этот идет от разложившегося уже трупа, но, вспомнив, как Федька еще на днях, еще вчера передавал ему будто бы слышанное от Аксиньи, бригадир понял, что больная, вероятно, давно умерла, и умерла самою ужасною смертью, брошенная на произвол судьбы.

И пожилой себялюбивый человек забыл о потере любимицы. Он думал только о заразе. Тотчас же послал он заявить полиции обо всем, а сам, бросив дом и не только людей, но и свое сиротское отделение наверху, перебрался немедленно в другой маленький домик по соседству.

Он взял с собой только дурака Деянова ради того, чтобы иметь его под глазами и не допустить до допроса полиции. Воротынскому, конечно, не желалось, чтобы начальство узнало, каким образом он чумную оставил умереть без всякого ухода.

Лишившись Аксиньи при таких страшных и безобразных обстоятельствах, думая теперь о том, что он в продолжение многих дней жил за несколько комнат от чумного мертвеца, Воротынский больше боялся теперь за себя, нежели жалел об умершей.

В тот день, когда бригадир бежал из своего дома, явилась полиция и, при помощи наемных людей, безобразный труп вытащили из дома, бросили в телегу и, накрыв рогожей, вывезли за город на новые чумные кладбища, за Камер-коллежским валом.

Василий Андреев, за последние дни наведывавшийся по два раза в дом бригадира и всегда подробно расспрашивавший Деянова о ходе болезни, явился и в этот день. При нем вытащили мертвеца. И он увидел страшный, полузнакомый облик женщины. Андреев, как стоял сре-

ди двора, тут же упал без чувств и пролежал как мертвый до тех пор, покуда двое полицейских не снесли его в съезжий дом для испытания: пьян ли человек или чумной.

Очнувшись на съезжем дворе, вспомнив все, убитый горем, Андреев едва мог двигаться и говорить и поневоле ввел в заблуждение начальство. Его приняли за чумного и отправили в Донской монастырь, где была уже временная больница.

И Андреев не противоречил, ему было одинаково все равно, куда бы его ни девали и что бы с ним ни сделали. Он был так убит, что даже не мог думать о мести. В голове его только смутно мелькала мысль, что если он останется жив, то когда-нибудь отомстит своим врагам.

Не зная, что у него уже была легкая чума, от которой он выздоровел, Андреев не знал, что жена заразилась от него и что он — прямой виновник ее смерти, и думал, что жена не была больна чумой, а была просто замучена бригадиром за двукратный побег. Он был почти уверен, что бригадир всячески пытал и истязал Аксинью и что она умерла от этих истязаний.

XXVIII

Матвей Воротынский, среди ужасов чумы и неурядицы в городе, потешался более чем когда-либо.

Он был снова несколько раз у княгини, продолжая расспрашивать об Ивашке и советовать просто выгнать его из дома.

Княгиня была грустна и задумчива, но не решалась объяснить ему причину... Наконец однажды, измучившись, она откровенно передала Матвею все то, что узнала, благодаря его подозрению, и то, что видела собственными глазами. Матвей не удивился, будто знал все давно. Только подробность об «Эдуарде» заставила его долго хохотать до слез, несмотря на упреки и досаду княгини.

— Ну что ж? Я же так и думал. Надо его вышвырнуть скорее вон! — сказал он, нахохотавшись вдоволь.

Но княгиня объяснила молодому человеку, что она, ни слова не говоря дочери о том, что знает все, сказала ей, что они уедут из Москвы, не взяв с собой Ивашку. При мысли о разлуке с своим певцом и учеником с княж-

ной, болезненной и слабосильной, тотчас же сделался припадок истерики и обморок.

— Что ж будет с ней,— говорила княгиня,— если его прогнать? Она помереть может или с ума сойти. У нас в семье это бывало.

Княгиня, не зная решительно, что сделать и как избавиться от Ивашки, не убив своей дочери, просила Матвея придумать средство.

И Матвей придумал и верное, и веселое средство...

В это самое время его люди, сносившиеся часто с домом бригадира, узнали вдруг и передали молодому барину, какое у его отца случилось происшествие: заболела чумой Аксинья и заперта в отдельном углу дома. Матвей узнал, что отец, ради страха заразы — тосковать тоскует по ней, а видеться боится.

Смешное положение отца между любовью к женщине и боязнью чумной больной рассмешило и много потешало Матвея.

И вдруг ему пришло на ум, что хорошее было бы дело, если бы Ивашка заболел чумой. Поневоле бы княжна от него отшатнулась. От этой мысли до придуманной Матвеем в шутку было недалеко. Ему пришло на ум сделать парня чумным.

Предупредив накануне о своем ухищрении княгиню, он явился к ней на другой же день, но будто бы в качестве чиновника Еропкина. Он приехал с четырьмя лакеями, искусно переодетыми, и важно, официально вошел в дом. Княгиня, наученная заранее, искусно разыграла перепуг. Матвей в присутствии княжны объявил, что является не в гости, а по поручению начальника города, вместе с доктором и чиновниками, освидетельствовать дом княгини, дабы узнать, нет ли в нем хворающих чумой и скрывающихся от больницы и карантина.

Княгиня отвечала, что очень будет рада, если господа чиновники найдут кого-либо из чумных в ее доме, так как ей самой и ее семье от этог только польза.

Матвей тотчас устроил нечто вроде заседания в небольшой горнице дома, а княгиня приказала всем многочисленным дворовым пройти через освидетельствование чиновников и доктора.

Население дома, конечно, перепугалось страшно. Всякий, чувствуя себя совершенно здоровым, все-таки боялся, что его объявят чумным и увезут из дома.

Княгиня с дочерью и сыном сидела, в ожидании конца ревизии, в нижней гостиной. Людей, вереницей

проходивших через горницу, где заседал Матвей, наскоро осматривал самодельный доктор; бойкий малый задавал иным такие вопросы, что барин его едва не катался от хохоту.

Иных он просто пропускал, громко заявляя:

— Ну, этот не чумной. У этого через неделю ноги вместе срастутся. У этого вот начинается водяная болезнь; через месяц в нем рыба заведется, караси да окуни в животе заплавают.

Таким образом, в час времени все жившие в доме княгини прошли через ревизию. Некоторые были, конечно, перепуганы насмерть найденными в них доктором болезнями. Только один дворовый был умышленно задержан, чтобы не подать подозрения княжне. Совершенно здоровый малый, форейтор, случайно, на его несчастье, прихрамывавший в этот день вследствие ушиба ноги, был заарестован Матвеем. В доме тотчас узнали, что один чумной уж оказался. Форейтор клялся и божился, что упал с лошади поутру и готов ручаться, что завтра же перестанет хромать, но его, разумеется, не послушали.

Пропустив еще человек с пять, доктор заарестовал другого молодца, по знаку Матвея. Его освидетельствовали тщательно и нашли в нем самые верные признаки чумы. Это был, конечно, Ивашка.

Вместо того чтоб взмолиться и клясться, что он здоров, Ивашка был так сам поражен этим открытием, что действительно в это мгновение сделался совершенно болен. Он вдруг страшно побледнел, руки и ноги у него тряслись, как в лихорадке, и он только спрашивал у ряженого доктора, что с ним будет. Матвей едва удерживался от хохота. Доктор серьезно объяснил Ивашке, что его тотчас же отправят в больницу и что он выздоровеет, если дня через три не будет на том свете.

Ивашка зарыдал при этом так отчаянно, что Матвею стало даже жаль его.

— Ну, слушай меня, парень. За то, что ты так хорошо поешь и что сумел услужить княгине и княжне, я тебя, так и быть, по собственной власти не отправлю в больницу чумную, а возьму к себе в дом.

Ивашка, боявшийся больницы так же, как и вся Москва, в восторге бросился в ноги к своему спасителю.

— Но только слушай меня: держать я тебя у себя в доме, как чумного, не могу, ты мне весь дом заразишь,

а через сутки я тебя тайком выпровожу из Москвы. Ступай хоть к себе на деревню.

Ивашка снова поблагодарил доброго барина.

Пропустив поскорей остававшихся дворовых через освидетельствование, Матвей отправился в гостиную и заявил княгине и княжне, что в доме их действительно оказалось двое чумных, из которых один хотя и довольно серьезно болен, но надо надеяться, что через две-три недели он поправится и его вернут назад. Боясь сразу объявить при княжне имя больного, Матвей обратился к ней с вопросом:

— Кто ж вам теперь сказки будет рассказывать да песни петь? Учить кого вам грамоте теперь?

Княжна подняла на него изумленные глаза и не догадывалась. Но вдруг, всплеснув руками, она вскочила с своего места, схватила Матвея за руки и вскрикнула:

— Мой Ивася!

И на утвердительный ответ Матвея с княжной тотчас же сделался припадок, и она с рыданиями упала на диван. Княгиня бросилась к дочери, уговаривая и утешая ее на все лады.

«Ничего, отойдется!» — подумал Матвей.

И, весело выйдя на подъезд, Матвей велел везти к себе в дом обоих чумных, а доктора и чиновников на время отпустил, покуда не спровадит Ивашку на деревню.

В доме молодого барина Ивашка немного очнулся, одумался и стал сомневаться в своей чуме.

«Каков я был, таков и есть,— думал он.— Где же во мне чума?!»

На счастье молодого парня, у него были теперь деньги, даренные княжной. Через день, благодаря этим деньгам, он угостил многих людей Матвея и передружился со всеми. Люди, слышавшие и знавшие всю комедию, устроенную барином, под пьяную руку передали Ивашке, что его объявили чумным умышленно, обманным образом, что и доктор — их брат лакей. За что, собственно, попал он в чумные, люди, конечно, не знали, но зато сам Ивашка догадался теперь, в чем провинился и как хитро был наказан. На следующее утро, на заре, Ивашки уже не было в доме Матвея. Парень бежал и скрылся в «Разгуляе» у Савелия Бякова.

Матвей, узнав о побеге чумного, в первую минуту рассердился не на шутку и приказал наказать людей, его стороживших. Но затем, послав дать знать княгине, что

чумной бежал, он узнал, что княгиня в то время, когда появился его посланный, уже съезжала со двора в вотчину, а что княжна как будто немножко хворает и все плачет.

— Ну, и хорошее дело! — махнул рукой Матвей.

Возня с Колховскими уже начинала ему надоедать, мешая исключительно заняться другим делом, более дорогим, более близким сердцу.

Он хлопотал о том, чтоб выжить семейство какого-то пономаря из маленького домика, прилегавшего к большому саду купца Артамонова. Он хотел сам нанять этот дом и из небольшого огорода сделать лазейку в сад Артамонова, где мог совершенно безопасно видаться с Павлой всякий день, хотя бы с утра до вечера.

Пономарь давно соглашался не только очистить домишко, но даже хоть продать его важному вельможе. Но жена его, баба молодец и не промах, сообразила, что если вельможе понадобился их дырявый и ветхий домишко, то, стало быть, тут дело не простое. И баба уговорила мужа заломить с барина за один наем на два месяца около двухсот рублей.

Сначала Матвей искренно подумал, что пономариха бешеная, но потом, повидавшись с ней и поговорив, он увидел, что женщина была только очень умная и хитрая баба. Два дня провозился Матвей с пономарем и пономарихой, но наконец за сто рублей нанял дом до зимы.

Двое дворовых людей тотчас преобразили очищенную избушку, проделали от себя в сад Артамонова маленькую лазейку и, чтоб скрыть свою работу, подружились с садовниками и начали их спаивать. Пьяные всякий день садовники были тотчас Артамоновым прогнаны, и Митя нанял других. И хоть умен и дальновиден мальчуган, а конечно, не мог отгадать, что двое нанятых им садовников были подосланные, самые доверенные люди офицера Воротынского.

Все это взяло много времени, но наконец сад богача купца, в котором часто прогуливалась Павла, запертая со всех сторон карантином, был теперь в полном распоряжении не Артамонова, а Воротынского.

Матвей мечтал уже о том, как, не довольствуясь свиданиями с Павлой в ее саду, он уговорит ее побывать у него в гостях в маленькой избушке, оставшейся ветхой, дырявой и порыжелой снаружи, но богато и красиво отделанной внутри. Сам Матвей, проезжая в избушку через переулок, чтобы не попасться на глаза кому-либо

в доме Артамоновых, каждый раз дивился той сказочной разнице, которая была между наружным видом покосившегося домика и его внутренним убранством.

«И ты, моя дорогая, ахнешь,— весело думал Матвей,— видя избушку на курьих ножках и найдя в ней чуть не дворец!»

XXIX

Барабин плохо расчел, сколько времени проживет, и ошибся, понадеявшись на свои силы. Положенный на кровать в дальней горнице, он только вечером пришел в себя. Не сразу понял он и вспомнил, что находится в доме тестя. Он чувствовал, что голова его тяжела, как свинцом налитая, и все тело горит в огне.

Он почувствовал ясно теперь, что скоро умрет от своей ужасной болезни. И его терзала только мысль, что адский замысел не доведен до конца.

Ему хотелось бы умереть в полной уверенности, что болезнь занесена им в дом и что жена непременно последует за ним.

Судьба Артамонова и мальчугана его не занимала: он относился теперь к обоим совершенно равнодушно. Его занимало только то существо, которое он и любил и ненавидел вместе.

С ней надо было примириться во что бы то ни стало, пробыть с ней вместе хоть сутки или двое в качестве прощенного мужа... А сил на все это в нем нет!! Смерть слишком уже близка.

И теперь, очнувшись вечером в темной горнице, куда его положили, Барабин больными, лихорадочными глазами смотрел в окно на летнее звездное небо и думал только об одном — как передать жене смерть, которую он чувствовал в себе.

Обмануть и разжалобить жену Барабин считал совершенно возможным и был уверен в успехе.

Дело было не в том. Он чувствовал, что ему остается прожить два дня, не более. Казалось, что только одна мысль о мщении еще привязывает его к жизни и оживляет. Никто на его месте не имел бы силы пройти пешком через весь город и целый час говорить, разыгрывая из себя кающегося грешника.

Однако, все лежа на кровати, Барабин снова приду-

мал, в каком-то полусознательном, лихорадочном состоянии, целый план и выговорил вслух:

— Да, надо себя поломать, надо идти.

И ему показалось, что он встает, выходит в столовую, говорит с Артамоновым, с Павлой, мирится с ней. Она зовет его в свою горницу, там он вымаливает у нее прощение и уже полон злорадства от мысли, что она не уйдет от чумной заразы. Но затем Барабин снова очнулся на той же кровати и понял, что у него начинается бред и что, при всем страшном, адском желании подняться и идти в горницу тестя, у него нет уже силы шевельнуть ни ногой, ни рукой.

Между тем в доме и Артамонов, и Павла были смущены. Пришедший к ним для примирения Барабин лежал несколько часов без всяких признаков жизни: изредка он бредил о чуме, о смерти, о мщении.

И наконец, старик Артамонов, подходивший, по совету сына, к двери горницы Барабина послушать, что делается в ней, вернулся и объявил Мите:

— Ну, Митя, и впрямь ты все умнеешь. Прав ты: сам сатана этот человек.

И Артамонов приказал запрягать тележку, чтобы отправить Барабина в больницу; но Митя остановил его.

— Теперь поздно, тятя, нельзя этого сделать.

— Как поздно? Что ночь-то? Эка важность!

— Нет, не ночь, тятя, а поздно. Вчерась еще можно было, а сегодня нельзя. На вот, прочти!

И Митя передал отцу «указ ее императорского величества» и оповещение из полиции, полученные за час перед тем. И старик Артамонов узнал из обеих бумаг, что из всякого дома, где появится чумной больной, немедленно всех обитателей без исключения выводить за город в карантин, а дом окуривать и заколачивать наглухо.

— Ну что ж, шутки ты шутишь! Нешто это двадцать раз не было оповещено? — воскликнул Артамонов.

— Было, тятя, да порядки другие пошли. Прежде на нашей улице то и дело народ мер, а никого еще из купцов не взяли в карантин — все откупились. А ныне уж три семьи вывели и три дома заколочены. Объяви о Барабине, и сейчас нас всех заберут в чумный карантин... Там и помрем...

— Что ж делать, Митрий? Каюсь, виноват я: пустил дьявола. Надо теперь от него избавиться. Уж придумай ты. Ты, вишь, умнее стал меня.

— Что ж мне придумывать? Пускай околевает у нас.

— А потом хоронить надо же. Нешто мертвеца спрячешь? А от мертвого еще пуще заберут всех...

— Нет, тятя, зачем хоронить? — не стоит он, пес, того. Другое есть средство. С кем другим я бы его не сделал, а с Титкой — все не грех.

— Что ж такое?

— А как помрет, так его ночью вытащить да и бросить среди улицы, саженей за сто от нас.

Старик изумленно поглядел в лицо сына и молчал.

— Да не дивись, тятя,— не я это выдумал. Сегодня мне сказывал из полиции солдат, что подходил к калитке, приносил вот эту бумагу.

— Что сказывал?

— Сказывал, что отбоя нету. Стали все на Москве скрывать хворых да выкидывать на улицу, чтобы не забирали в карантин.

— Ловко! — рассмеялся Артамонов.— Ей-Богу, ловко! Что ж, и нам так же?

— Вестимо,— невольно улыбнулся Митя.— Да это не беда: мудреное ли дело ночью тихонько вытащить да бросить где-нибудь подальше от дома? А вот что беда, тятя. Нам бы как не заболеть — мне ли, тебе ль, Павлиньке ль?

— Тьфу ты! Типун тебе! — вдруг рассердился Артамонов.— Что ты, на смех, что ли, болтаешь? Накликать что ль, хочешь, дурень этакий!

— Ну, да это впереди,— вздохнул Митя,— там что Бог даст,— видно будет. А вот теперь, как Титка поколеет, не ныне завтра, позволишь его выкинуть?

— Что ж, делать нечего, Господь простит. Ведь его подберут да увезут на кладбище? Не будет валяться собакам на съедение?

— Вестимо, поутру подберут и свезут в общую яму за Камер-коллежский вал.

— Ну, так что ж, делай!

— Да это еще не все, тятя.

— А что ж еще?

— А то, что Титка Барабин так же, как и ты, к примеру, всей Москве знаем. Одних суконщиков тысячи полторы на Москве есть, которые Титку так же, как отца родного, знают; а из них многие теперь по полиции в наемниках. А коли узнают, что мы его выкинули со двора, признают, что это Барабин да от нас выброшен на улицу,— что тогда будет?

— Ничего не будет, а заругаются за озорничество — сто рублев дадим.

— Сто рублев! Так ты дочитай бумагу.

— Какую?

— А вот, что в руках держишь.

— Чего мне читать?

— Да ты не спорь,— прежде прочти.

Артамонов, видя совершенно серьезное лицо сына, взял снова в руки напечатанный лист бумаги и стал его читать. Дойдя до конца, он ахнул и опустил руки на колени. В конце указа говорилось о том, что, ввиду повторяющихся случаев сокрытия зачумленных в домах и затем выбрасывания мертвых на улицы ночью тайком, чтобы избежать все того же карантина, полагается впредь виновных «в сем противном законам государским деянии — казнить смертию».

— Что ж это! На смех, что ли!! — глухо проговорил Артамонов.— Нам на смех, что ли, так все потрафилось, что и выкинуть теперь нельзя?

— Нет, тятя, не на смех. Мы эту бумагу сегодня получили, а Тит, поди, ее уже давно знал. Он знал, дьявол, что, пройдя через наши ворота, войдя в дом, он тут будет как за десятью замками. Он знал, что его и живого не выгонишь, и мертвого не выбросишь.

— Смертная! Казнить смертию!! — задумчиво повторял Артамонов.— Как же быть-то, Митрий?

— Как быть! — усмехнулся Митя.— И на это у меня финт есть. Уж выброшу я Титку, только помри он!

— А просто сейчас его выгнать, Митрий.

— Нельзя, тятя,— верно тебе говорю. Он у самой калитки на смех останется. А помрет он у наших ворот, сейчас же мы все в карантин угодим.

— Верно. Так что ж делать?

— А вот дай ему помереть. Говорю — у меня финт есть. Увидишь, что я сделаю.

И Митя, выйдя от отца, прислушался снова у дверей горницы, где лежал Барабин. Несмотря на запертую дверь, он услышал его тяжелое дыхание и стоны. Митя прошел к сестре.

Когда вошел брат, Павла сидела у себя глубоко задумавшись. Едва мальчуган заговорил, она страшно вздрогнула всем телом, как от удара.

— Ты знаешь ли, Павлинька, что Тит — чумной? Верно говорю. И зачем он к нам прилез — черт его знает. Только разве — что назло.

Павла глядела на брата рассеянно и почти не поняла ничего, думая о другом. Брат повторил то же. Она как бы очнулась и вымолвила:

— Только ты его ко мне, Митя, Бога ради, не допусти! Запри его, что ли. Не могу я его видеть. Страшнее он мне, кажется, самой силы нечистой.

— Чего его запирать! Еле жив. Ему уж не вставать. Поди, завтра кончится совсем.

— Как? Что ты?

— Верно. Чумный. Да из самых то есть настоящих. Братья померли... А нешто они такие были! И как это я маху дал, пустил его в дом. Просто бы меня за это плетью следовало. Выпросил бы себе прощенье у калитки, на дворе,— да и ступай с Богом. А теперь — помрет, с ним что возни примешь. Да еще, избави Бог, из нас кто захворает!

— Что ты! Бог с тобой! — воскликнула Павла и невольно перекрестилась.

Просидев с сестрой, Митя уже в сумерки вышел от Павлы и пошел наблюсти по хозяйству, на дворе и в саду.

Едва Митя вышел от Павлы, она встала и пересела к отворенному окну. Накануне в эту пору она слышала бубенчики тройки лошадей, которая проехала шагом мимо их дома. Она была убеждена, что это Матвей проехал. Звон этих бубенчиков был ей хорошо знаком; она запомнила сочетанье звуков, как песню, и могла отличить теперь тройку Матвея от десяти других. Накануне она не подошла к окну, потому что отец сидел у нее. Матвей, при виде ее у окна, мог что-нибудь сказать или сделать знак...

Теперь же Павла была уверена, что он снова в тот же час проедет мимо, и она решилась повидать его. Она перевесилась через окно, вдохнула в себя чистый летний воздух и задумалась... Занятая своими неотвязными мыслями о Матвее, Павла изредка глядела на обе стороны пустынной улицы. И вдруг она тихо ахнула и спряталась за косяк окна... В противоположном конце дома высунулся также в окно ее муж... Но как он был страшен на вид! Как ужасно было его лицо, обращенное в ее сторону. Он что-то бормотал ей... И голова его, повернутая к ней, как-то страшно тряслась на плечах.

— Митя говорил, что он очень плох! — вспомнила Павла.— Митя говорил, что он в постели. Завтра может

помереть... А он встал. Но ведь он увидит Матвея. Увидит! Он его узнает...

Едва только Павла успела подумать это, как вдали послышалось позвякиванье бубенчиков. И тройка движется все ближе и ближе... Павла замерла и зашептала вслух:

— Он поймет! Он все поймет! Он скажет отцу, что у нас уговор видаться так...

И Павла невольно быстро отошла от окна.

Тройка приблизилась совсем, поравнялась с домом, и в тот же миг вдруг в конце дома раздался пронзительный, дикий крик. Казалось, что это не человек закричал, а разъяренный, бешеный зверь заревел... Павла тотчас поняла: это ее муж... Но отчего? От злобы, от ревности?..

Матвей тоже увидел Барабина, но не вполне понял, что заставило его так закричать, и, невольно пустив лошадей рысью, быстро умчался.

Все слышали в доме этот дикий крик. Митя первый прибежал к дверям комнаты Барабина и окликнул его по имени несколько раз. Но ответа не было. Он прислушался к замочной скважине и услыхал сильный, неестественный храп.

Митя приотворил дверь и, глянув в горницу, увидел Барабина, распростертого на полу, у окна, очевидно без чувств. Если бы не храп и не высоко вздымающаяся, как от удушья, грудь,— можно бы было принять его за мертвого.

«Кто тебя разберет? — подумал Митя.— С чего заорал? Будто ножом его кто ударил!..»

А Барабин действительно получил страшный удар в самое сердце. За час перед тем он через силу дополз до окна — подышать воздухом — и увидел Павлу, тоже у окна... А затем, через несколько мгновений, он увидел на тройке того, кого считал давно на том свете, погибшим от его руки.

И тут только, уже умирающий, без сил, слабее малого ребенка, Барабин узнал, что враг его жив, невредим и даже видается с ней, с женой его! Павла даже поджидает его у окна. Он умирает, умрет наверное, скоро, на днях! А они будут жить, будут любить друг друга!..

И этого удара он не вынес; вскрикнув как безумный, он упал замертво у окна.

После этого ужасного крика Павла, не зная, что муж без чувств, но зная, что он может двигаться, если был у окна, тотчас же заперлась на задвижку. Она боялась,

что муж сейчас придет к ней. И целый вечер просидела она, запертая у себя в горнице, отказавшись даже от ужина. Ей казалось, что она постепенно теряет рассудок под влиянием самых разнородных чувств, тревоги, странной жалости к этому мужу, ужаса, раскаянья и, наконец, все растущей, поглощающей ее любви к этому полузнакомому красавцу гвардейцу.

Усталая от дум и душевной тревоги, Павла рано легла и крепко заснула. Но вдруг среди ночи ей послышался за ее дверью голос Барабина, который слабо, хрипливо, едва слышно звал ее... Она вздрогнула и прислушалась... Да, страшный муж был у ее дверей и что-то хрипел... Павла вскочила с постели и, задыхаясь от ужаса, даже не имея сил крикнуть, побежала к окну. Она готова была броситься в окно, если этот ужасный, страшный человек, тень прежнего мужа, появится в этой горнице.

Но дверь была заперта и не подавалась, несмотря на усилия ее отворить. Павла села на окно и собралась с силами, чтобы крикнуть, звать на помощь, если он начнет ломиться... Но слабые движения и чуть слышный шорох на полу, за дверью, прекратились, и — все стихло...

— Ушел! — вымолвила Павла и, невольно перекрестившись, все-таки боялась лечь в постель и осталась у окна.

«Надо сказать отцу — запереть его! — думала она.— Нельзя так... Говорил Митя: еле жив! А он ходит! Говорил: завтра умрет!.. Надо запереть!.. Господи! До чего я дошла! И что будет?! Что будет, если он... Да! Если он не умрет! Если он выздоровеет?! Что тогда?..»

Просидев более часу, Павла легла, но долго не могла сомкнуть глаз; только утром усталость взяла верх, и она крепко заснула.

Наутро Митя, спавший с отцом, ранее всех поднялся в доме. Первая его мысль была, конечно, о страшном больном, и он тотчас пошел узнать, что с ним. Пройдя через все комнаты в конец дома, Митя вдруг остановился как истукан пред дверью Барабина. Она была растворена, в его горнице никого не было. Митя бросился вниз, перебудил людей, стал расспрашивать, выбежал на двор, допросил караульного... Но никто не видал Барабина. Митя снова обежал весь дом, хотел уже разбудить отца, но вдруг, сообразив, бросился в коридор к комнате

сестры. Он был убежден, что Барабин пробрался туда, и ужас охватил мальчугана.

— Я виноват! Надо было запереть! Да ведь он лежал замертво! Ах, проклятый сатана! Застрелил бы я тебя своими руками! — воскликнул Митя.

Вдобавок Митя был убежден, что если ненавистный и ужасный больной пробрался тайком среди ночи к своей жене, то, наверно, вымолил себе прощенье и, наверно, пробыл с ней достаточно долго, чтобы передать ей свою страшную хворость.

Уже в конце коридора Митя и испугался, и обрадовался вместе. У дверей комнаты Павлы, на полу, как-то странно и безобразно скорчившись, сидел Барабин.

— Чего ты тут делаешь? Вставай! — крикнул Митя.— Не сидится у себя, так я тебя выгоню на улицу! — закричал мальчуган.— Не хочет Павла с тобой мириться! Ну и оставь ее! Вставай-ка да иди к себе!

Но Барабин сидел так же неподвижно, не шевелясь. Митя приблизился и, забыв о заразе, в порыве досады, с силой дернул Барабина за рукав кафтана.

— Вставай! Иди за мной!

Но в ту же минуту Митя невольно отступил. Барабин повалился на бок. Как-то грузно, как-то странно шлепнулось его тело, как-то странно стукнула голова его об доску пола. Глаза и рот были раскрыты, а выражение синеватого лица — безобразно и бессмысленно.

— Неужели!..— воскликнул Митя и не мог договорить.

Он бросился вниз, позвал двух людей, заставил поднять Барабина. Один из людей, бесстрашно нагнувшись к его синеватому лицу, прислушался и выговорил холодно:

— Кончился!

Действительно Барабин был мертв.

Когда первый страх прошел, Митя велел стащить мертвеца через двор в сарай и затем около часу провозился с ним вместе с двумя людьми. Около полудня Митя пришел довольный и веселый к отцу.

— Ну, что, тятя, знаешь?

— Знаю, Митрий. Павла все рассказала. Он к ней ночью ломился, да так и поколел. Она, бедная, ни жива ни мертва, всю ночь просидела,— кричала, говорит, да никто не слыхал. А что ты поделывал? Как с ним теперь быть?

— Орудовал, тятя, над ним. Хочешь пойти поглядеть?

— Чего я буду глядеть!

— А нужно, тятя,— право, любопытно. Пойдем-ка!

И Митя свел отца в сарай, куда положили мертвеца. Когда подняли с него рогожу, которой он был прикрыт, Артамонов изумленно поглядел на покойника и затем на сына.

Перед ним лежал мертвый, но не Барабин, а кто-то даже и не напоминавший прежнего здорового Барабина. Оказалось, что Митя, при помощи людей, коротко остриг лохматую голову мертвеца и сбрил бороду и усы. Барабина, которого знало все Замоскворечье и в особенности суконщики, теперь было совершенно невозможно узнать.

— Ну, Митрий, ей-Богу, молодец! Молодчина как есть.

— Нет, тятя, что греха таить,— ухмыльнулся Митя,— не я это выдумал.

— Как не ты?

— Слышал я про это. На Москве стали это делать. На нашей улице двух таких подняли, что и признать нельзя, кто таковые. Никогда таковых в улице не живало.

В ту же ночь двое людей осторожно несли мертвеца на рогоже за калитку дома Артамоновых. Митя шел впереди, приглядываясь, нет ли прохожих, но улица была совершенно пустынна. Отойдя довольно далеко от дома, они повернули за угол. Митя хотел отнести мертвеца как можно дальше от дома, но это не удалось ему. В конце переулка показалась тройка лошадей, ехавшая шагом к ним навстречу.

— Неча делать, бросай тут! — скомандовал Митя.

Люди тотчас же бросили мертвеца среди улицы и бегом пустились домой.

— Вот и отпели, и похоронили! — шутил Митя на бегу.— Небось не узнают: совсем молоденький стал!

Между тем тройка лошадей приблизилась к тому месту, где среди улицы был брошен покойник. Одна из пристяжных, при виде чего-то темного перед собой, захрапела и шарахнулась в сторону: ехавший подобрал вожжи и прикрикнул на лошадей.

Это был Матвей, среди ночи отправлявшийся домой из вновь нанятого им домика пономаря. Он весь вечер и часть ночи караулил Павлу из домика, надеясь, что она выйдет прогуляться в сад. При виде чего-то на дороге

Матвей взял в сторону и объехал человеческую фигуру, лежавшую среди улицы.

— Поди, тоже мертвец! — сказал он вслух.— А может быть, и пьян. А вернее, что пьян.

И Матвею ничто не подсказало, что этот мертвец — была жертва его причудливых затей. Чуме одной, без помощи Матвея и Павлы, никогда бы не совладать с железным Барабиным.

XXX

Как сообразил и надеялся Дмитриев, так и вышло.

Марья Абрамовна действительно серьезно заболела с перепуга и пролежала в кровати более недели.

Сначала она много плакала, глубоко убежденная, что этот ужасный случай принесет ей несчастье и что она непременно скоро умрет. Она с ужасом, с трепетом во всем теле, с замиранием сердца вспоминала невольно по сто раз на день, как по ней пели панихиды и совершались целые заупокойные обедни, покуда она спокойно сидела в вотчине. Иногда даже мысли ее путались; она никак не могла сообразить и представить себе — себя же, живой и в то же время поминаемой за упокой.

«Что же там-то,— думалось ей.— На том-то свете что ж думали?»

И хотя Марья Абрамовна не знала, про кого она, собственно, говорит и кто обязан был на том свете думать и рассуждать о таком казусе, но она чувствовала, что все-таки произошла невероятная путаница в обстоятельствах и сношениях того и этого света. Иногда она думала о том, в какое странное положение были поставлены ее родственники и ее покойный муж.

«Ведь это выходит... их, стало быть, надули,— думала она,— Господа Бога обманули, не только живых людей!»

Но все эти рассуждения, все эти мысли, в которых Марья Абрамовна путалась, лежа на постели, сводились к одной конечной мысли, к одному конечному убеждению, что она, благодаря этой случайности, непременно умрет скоро. Иногда она старалась припомнить, не было ли на ее памяти подобного примера и ошибки и как эта ошибка повлияла на судьбу этих людей; но таковых положительно не оказывалось. Марья Абрамовна не могла не только вспомнить кого-либо из знакомых, кото-

рый когда-либо попал в такое положение, но должна была сознаться, что за всю жизнь и не слыхала ничего о чем-либо подобном.

— И все это чума проклятая наделала и моя Анна поганая, которая околела в Подольске с моим свидетельством!

Приживальщица-гадалка, женщина хитрая и умная, сменившая теперь около постели больной барскую барыню, сумела, однако, вскоре рассеять мрачные мысли и всякие опасения Марьи Абрамовны. Хитрая баба дошла до того, что разыскала в Москве старика инвалида и какую-то мещанку и обоих привела к Марье Абрамовне. И барыня сразу выздоровела и повеселела.

Дряхлый старик солдат рассказал Марье Абрамовне, как был еще при великом государе Петре Алексеиче на войне, как его сочли убитым в Полтавском сражении и как на селе поминали целый год за упокой, покуда он лежал раненый в Малороссии.

— И верно тебе сказываю, матушка барыня,— закончил старик,— от эвтого только здоровьица Бог пошлет. Гляди, вот мне десятый десяток пошел, а я за иного молодца сослужу. Это поминание Господу Богу весточку подает. Господь-то знает, батюшка, что это враки, и говорит сам себе: «Врете, мол, вы, люди, человек этот, мол, жив, я знаю. Вы его к покойничкам сопричли, так нате ж вот вам,— продлю я его жисть еще на сто годов». Вот что, матушка барыня, это я тебе верно сказываю.

После солдата мещанка объяснила Марье Абрамовне, что с ней приключилось на тридцатом году от роду еще худшее приключение, какого и представить нельзя, о каком и в ученых книжках никогда писано не было. Ее сочли за мертвую, даже в гроб положили и в церковь вынесли и после отпевания стали уж было гроб заколачивать, а она — живая.

— Как живая?! — не поверила Марья Абрамовна.— Врешь ты все! непременно врешь! Подучила тебя вот моя гадалка...

— Не вру, матушка! Ей-Богу, живая лежу.

— Зачем же ты это дозволяла с собой делать?

— Не могла, матушка. Словно сонная одурь на меня какая нашла: и сплю, и не сплю. Все вижу, а двинуть ни рукой, ни ногой не могу.

— Пьяна, что ли, была?

— Голубушка барыня! Нешто это можно! Сама

посуди! Возьми ты пьяного, да уложи ты его в гроб, да начни отпевать,— живо у него, матушка, хмель-то выскочит из головы.

— Да, это точно,— должна была согласиться Марья Абрамовна.— Так почему ж так? Что за сон такой?

— Уж не знаю. Потом, как стали крышку-то накладывать, да примерять, да стукнули раз, я, матушка, и заори благим матом. Тут весь народ смутился и повалил из церкви, как бы от пожара. И я-то ору! И они-то все орут! И батюшка с перепугу кричит! Такое светопреставление было, что у нас в городе по сю пору его и стар, и мал помнят. Начальство в это дело вмешалось: говорили тогда, что и меня в Питер, в самый Сенат потребуют на рассмотрение. А потом стали сказывать, что и батюшку, и станового в Сибирь сошлют. А пожалуй, и мне тоже плетьми наказание будет за якобы мое баловничество.

Мещанка и солдат подействовали на Марью Абрамовну как два самых действительных и великолепных лекарства. Через два дня она была уже на ногах, обожала свою новую барскую барыню-гадалку, Анфису Егоровну, но зато вся ее боязнь, вся ее печаль и мрачные мысли перешли теперь в несказанную злобу на внучка и его дядьку.

Марья Абрамовна только и думала о том, как наказать построже виновников. Жаловаться в это время кому-либо из начальства было невозможно; всякому просителю — и важному, и бедному — отвечали одно:

— До вас ли теперь! Подите вы с вашими пустяками!

Кроме того, Марья Абрамовна понимала, что и внучек, и дядька не были виновны в том, что в Подольске умерла женщина, при которой был вид на имя генеральши Ромодановой. Им было дано знать об этом через то же начальство. Но в чем же они были виновны?

Марья Абрамовна и прежде часто подумывала о том, что ее внук, конечно, если переживет ее, то бросит монастырь. Единственное средство, которым она хотела еще удержать его и заставить исполнить свою волю, было лишить его наследства, передав все в те же монастыри. И теперь Марье Абрамовне хотелось мстить, а в то же время по совести не за что было. И донельзя обозленная старуха дня два всячески изыскивала какую бы то ни было причину.

Абрам был, как малолеток-недоросль, заперт в одной из горниц; ему посылалось три раза в день на тарелке по

стакану воды и по ломтю черного людского хлеба. А мундир его бабушка приказала, в тот же незапамятный вечер, при первом свидании, снять, и, как бы в посмешище над намерением внучка, она приказала одному из конюхов носить не снимая. И Абрам мог со слезами на глазах видеть, как по двору бегал в кухню и сараи, в его мундире и шляпе, форейтор Андрюшка.

Но покуда Марья Абрамовна обдумывала, как наказать строптивого внучка, у нее вдруг явилась возможность облегчить свою накипевшую злобу наказанием дядьки.

— Хоть покуда на этом душу отведу,— обрадовалась она.

Новая барская барыня, прежде боявшаяся вражды и мести Дмитриева, молчала об его главном «колене». Теперь же, сделавшись в доме такою же полновластной распорядительницей, какою была прежде Анна Захаровна, гадалка уж не боялась дядьки и передала барыне, что Дмитриев, исчезнувший перед тем за три дня и не появлявшийся более в доме, имеет на то полное право.

— Он и совсем уйти может, матушка барыня: ведь он вольный, ему дана отпускная.

С Марьей Абрамовной от этого неожиданного открытия чуть не сделался снова обморок.

— Да это незаконно! Ведь я-то живая, ведь я отпускную должна дать! Его вольная гроша не стоит! — воскликнула Марья Абрамовна.

— Матушка, не токмо она гроша не стоит, а я вам другое скажу. Вы этого Ваньку Митриева можете тотчас в острог посадить, под кнут подвести и в Сибирь!

И гадалка передала Марье Абрамовне, что отпускную Дмитриева подписывал даже не Абрам Петрович.

— Барину было как-то не время, все он собирался,— все перышко брал в руки да все хотел подписать, как ни на есть, должно быть, поузористее. А тут мундир надел, не до того было. А там расписался бы, да потянули его в какую-то палату свидетельствовать разное такое. А ему тоска! Он не пошел...

— Ну, ну! — нетерпеливо ждала конца барыня.

— Ну вот-с, Васька Дмитриев, видя, что сему царствию и конца не предвидится, взял, говорят, да и справил бумагу-то сам по себе. Один! Без Абрама Петровича свидетельства!..

— Да верно ли?! — воскликнула Марья Абрамовна.

— Верно, матушка, свидетели есть! Я уж спрашива-

ла. Есть у меня такой знакомый, Мартынычем звать. Законник первостатейный,— сейчас тебе какого ни на есть сенатора под суд подведет. Сядет писать — и самый, то есть, матушка, безвинный человек на второй страничке выходит у него — злодей и душегуб! Уж так пишет удивительно! Однажды он, матушка, сказывают, коня в грабеже обвинил, и тот под суд пошел.

— Достать мне его сейчас! Иди разыскивай! — решила барыня.

XXXI

На другой же день в доме Марьи Абрамовны был подьячий Мартыныч. Все тот же — маленький, сутуловатый и плюгавый на вид, но более веселый. Матушка чума, страшная и погибельная для всех, была не страшна одному Мартынычу и милостива к нему несказанно.

За последнее время пропасть народу обращалась к Мартынычу для составления завещаний. По выражению одного богача купца, надо было прежде всего думать о завещании.

— Прежде,— говорил он,— все под Богом ходили, а теперь же — прости, Господи, мое прегрешение — все мы вокруг Его, Батюшки, вертимся.

И Мартыныч, сочинявший по четыре, по пяти завещаний в день, едва успевал бегать из дома в дом, и свидетелей собирать, и узаконивать документы в палате. Зато он разжился заметно, и даже платье на нем было другое, и квартира была попросторнее. Чумы же сам Мартыныч не боялся, потому что, перетолковав со многими докторами, узнал, что он когда-то сам болел легкой чумой, а что она по два раза хотя и бывает у человека, но в редких случаях.

— Теперь тебе на чуму наплевать,— говорили ему доктора,— разве уж с мертвецом вместе в гроб залезешь да пролежишь с ним сутки. А так ходи себе и в ус не дуй!

Мартыныч взялся за дело Ромодановой с удовольствием, предпослав ей, однако, заявление, что, ввиду многих дел, времени у него мало и что он может заняться Дмитриевым, когда чума кончится. Марья Абрамовна об этом и слышать не хотела.

— Тотчас же его в острог сажай! — повторила она.

И, благодаря такому нетерпению богатой барыни, Мартыныч тотчас получил с нее сто рублей задатку.

Действительно, и не такой ловкий ходатай, как

Мартыныч, мог упрятать Ивана Дмитриева в острог. Заявление гадалки оказалось наполовину справедливым. Некоторые законные формальности были исполнены Дмитриевым,— конечно, неумышленно,— совершенно неправильно.

И Дмитриев однажды утром был взят полицейскими в своей квартире на Варварке, где он укрылся, надеясь на свою вольную. Поняв, в чем дело, Дмитриев не оробел, а только поклялся самому себе, что если он действительно пойдет под суд и будет сослан, то солоно придется не ему, а всем тем, кто его задумал погубить.

Дмитриев был тотчас посажен в острог в одной горнице с конокрадом и двумя убийцами. Новые сожители Дмитриева оказались, разумеется, такими же умными и дельными людьми, как и он сам. Беседы их — поучительные и любопытные — длились часто далеко за полночь, и часто Дмитриев в эти минуты раздумывал:

«Да, вон они что толкуют про начальство-то, да про господ, да про немцев, да про государя Петра Федоровича, да про наследника Павла Петровича! Вон оно что! Век живи, век учись!»

И вскоре из окон решетчатых с чугунными переплетами Иван Дмитриев смотрел на тюремный двор да и на весь мир Божий свысока своего величия. Дмитриев глубоко, искренно и в то же время злобно до мозга костей проникся верованием в те поучения, которые слышал от своих товарищей затворников.

Между тем, когда Дмитриев был уведен в острог, появился в доме и велел о себе доложить барыне старинный ее знакомый и даже, пожалуй, приятель, отставной морского корабельного флота лейтенант Воробушкин.

Марья Абрамовна с самого своего приезда избегала видеться с старыми знакомыми, немногими оставшимися в Москве,несмотря на чуму. Ромодановой было просто как-то совестно и неловко после того срама, который с ней случился. Всякий знакомый расспрашивал ее, как она числилась в мертвых и воскресла, и невольно начинал шутить и подшучивать по этому поводу на разные лады. Марье Абрамовне, у которой еще кошки скребли на сердце и которая еще не могла вполне оправиться от ужасного приключения, не нравились эти шутки. И, повидав двух-трех знакомых, она приказала отказывать всем.

Услыхав имя Воробушкина, Марья Абрамовна, знав-

шая, что он первый доставил в дом известие о ее смерти и он же ее хоронил в Подольске, хотела очень побеседовать с ним, но, однако, одумавшись, послала сказать гадалку, что извиняется и принять не может.

Гадалка вернулась, объясняя барыне, что господин Воробушкин убедительно просит допустить его, так как он хочет просить прощения в своей невольной вине и объясниться по весьма важному делу, касающемуся Абрама Петровича. Марья Абрамовна обрадовалась предлогу и допустила Воробушкина.

И Капитон Иванович, более чем когда-либо, понравился Марье Абрамовне. Он с таким искренним ужасом, с таким отчаянием в голосе говорил об ее ужасном приключении, так сочувствовал ей, так ужасался этому положению состоять такое долгое время ни в живых, ни в мертвых, что через полчаса Марья Абрамовна и Воробушкин были уже настоящие друзья.

Дело Воробушкина, о котором он затем заговорил, состояло в том, чтобы Марья Абрамовна решила судьбу его племянницы Ули. Воробушкин рассказал Ромодановой, что знал, между прочим, ее житье в Донском монастыре в одежде послушника монастырского и ее отношения к Абраму.

— Что ж тут делать? — возразила Марья Абрамовна, выслушав все.— Мало ли у него, озорника, этаких перебывало! Весь дом мой осрамил, поганый внучонок!

Капитон Иваныч стал доказывать барыне, что его племянница теперь вольная, а не крепостная, что с виду она будет получше и почище иной барышни княжеского или генеральского рода. Марья Абрамовна со всем этим соглашалась, но, однако, покачивала головой и говорила, что жениться внучку на Уле все-таки дело неподходящее, да к тому же она снова собирается отдать его в монастырь более дальний, на Валаам или Соловки, и притом на правах простого монаха, с содержанием от нее во сто рублей в год.

Капитон Иваныч имел настолько осторожности и хитрости, что не спорил, разговаривал с Ромодановой почтительно и любезно и только просил позволения быть у нее на следующий день.

Марья Абрамовна с радостью согласилась; ей было скучно донельзя сидеть одной дома.

— Приходите, голубчик, приходите, радехонька буду! Мы с вами вечерком в карты или бирюльки поиграем. А то есть у меня еще новая игра «трюлипан». Преумори-

тельная! Да что-то я не разберу ее. Ну, может, вы хитрее меня будете. Только, вот обида, надо втроем быть, а моя дурафья гадалка только умеет, что гадать, а ни в какие игры не играет.

Капитон Иваныч жутким, робким голосом, будто кидаясь в холодную воду, вымолвил, вглядываясь в лицо барыни:

— Если позволите, будет у нас для вашего тип...ти... ляпа, что ли... ну, для игры! Будет и третий игрок. Я приведу.

— Кто ж такой?

— Да она, матушка. Ведь вы когда-то говорили, что она вам полюбилась. Она же, моя Улюшка.

Марья Абрамовна на минуту задумалась, но потом решила:

— Ну, уж приводите, что тут делать! Девица в этом никогда не виновата; все это молокососы, озорники! Да я за все шашни проучу его! Будет он у меня отцом игуменом где-нибудь в монастыре на необитаемом острове! Так приводите, приводите Улюшку!

И Воробушкин, выйдя из дома генеральши, вернулся в свой маленький домик, где он жил вместе с Улей, более веселый и довольный, чем когда-либо. Он начинал надеяться, что из его новой дружбы к барыне что-нибудь да выгорит, что-нибудь да устроится потихоньку для его дорогой племянницы, которая теперь сидела в углу от зари до зари и плакала не переставая.

XXXII

Когда на другой день, в сумерки, Воробушкин с Улей явились к Марье Абрамовне в гости, то она приняла ласково и любезно не только Капитона Иваныча, но и робко вошедшую Улю. Девушка с замиранием сердца входила снова в этот дом, по приказу барыни, в первый раз после своего изгнания Абрамом. Странно и неожиданно перевернулось все. Уля была уверена, что появление Ромодановой, почти воскресенье из мертвых, было послано Абраму в наказание за жестокость и несправедливость его к ней.

Покуда Абрам жил один и веселился, Уля в своем изгнании, обиженная и оскорбленная, плакала с утра до вечера. Но когда она узнала, что появилась Ромоданова, что Абрам снова попал в положение загнанного внучка,

сидит даже взаперти, на хлебе и на воде, то Уля забыла об обиде, даже перестала горевать. Сердце ее будто почуяло, что Абрам в несчастье, преследуемый бабушкой, снова по-прежнему вернется к ней. Во всяком случае, она только и думала о том, как бы попасть в дом Ромодановой и облегчить чем-нибудь судьбу Абрама.

Хитрить Уля не умела, притворяться еще менее, и поэтому трудно ей было придумать средство, как появиться снова в доме. Когда Капитон Иваныч вернулся домой и объяснил, что он был у Ромодановой и что она их обоих зовет к себе как гостей, Уля оторопела, потом ахнула и перекрестилась три раза.

— Это Господь так устроил! — воскликнула она наконец. Однако девушка была уверена, что Марья Абрамовна примет ее очень дурно, начнет укорять в дурном поведении, и в особенности за ее греховную и противозаконную жизнь в монастыре; наконец, и за то, что ради нее Абрам был выгнан из Донского.

Но Марья Абрамовна давным-давно, казалось, забыла об этом случае. Подобная шалость Абрама была ей не в диковинку. Главная вина Абрама относительно Ромодановой заключалась в том, что он счел ее, свою родную бабушку, мертвой и что он решился служить по ней греховные панихиды. Эта главная вина отодвинула на дальний план все остальные.

Может быть, Марья Абрамовна и приняла бы Улю ухо и холодно, может быть, и распекла бы ее, но накануне вечером, после ухода Воробушкина, и затем ночью в уме Марьи Абрамовны созрел новый ехидный план относительно внучка. Она решила на особый лад отомстить Абраму. Сослать его снова в монастырь, хотя бы и дальний, не повело бы ни к чему; Абрам мог сделать снова какой-нибудь крупный скандал, и его бы опять прогнали. Постричь его совсем в монахи, против воли, бабушка побаивалась.

«Да и что толку? — думалось ей.— Ну, постригут! А он там чего накуролесит — его и расстригут опять. Да еще судить примутся, меня притянут. Узнается, что я его насильно упекла,— и мне беда пущая».

И Марья Абрамовна бросила совсем мечту об монашестве внучка. Теперь она решила разузнать хитрым образом, как смотрит Абрам на его брак с Улей, о котором говорил ей Воробушкин, и если Абраму очень этого не хочется, то непременно его на Уле и женить.

— Ты меня похоронил насильно, а я тебя женю

насильно! — сердито усмехалась бабушка.— Только я-то вот опять из мертвых в живые попала... А ты вот из женатых в холостые-то ухитрись-ка попасть. Вот так уж отплачу!...— утешалась старуха.

И вот, вследствие этих соображений, когда Уля, робкая и стыдливая, предстала перед Марьей Абрамовной, старуха милостиво приняла ее, обласкала и посадила около себя. Уля, ожидавшая совершенно иной, грозной встречи, была так поражена и тронута, что вдруг залилась слезами, бросилась перед старухой на колена и стала целовать ее руки.

Марья Абрамовна от этой нечаянности, в свою очередь, была тоже, сколько могла, тронута лаской. Давно уж никто не относился к ней так искренно, с таким сердечным увлечением не целовал ее. На бодрую, но пожилую женщину, одинокую, окруженную лишь приживалками, повеяло вдруг от девушки и ее ласки чем-то молодым, теплым, хорошим, сердечным...

Уля от барыни неумышленно перешла к коту, лежавшему около, на кресле. Она любила животных и, кроме того, вспомнила, как когда-то, благодаря этому Ваське, она попала от Алтынова в дом Ромодановой и в этом доме нежданно встретилась с тем человеком, которого любила давно. Не будь Васьки, она никогда бы близко не сошлась с ним. И не будучи любимой им, она, быть может, даже примирилась бы с своим положением у бригадира. Поэтому теперь, увидя кота, Уля и к нему отнеслась как к старому другу. Она стала ласкать его от всей души, искренно называя самыми нежными именами:

— Вася, голубчик! Найденыш мой!

И когда Уля ласкала Ваську, в голосе ее звучало тоже неподдельное, искреннее чувство. У Марьи Абрамовны от удовольствия чуть не навернулись слезы на глазах, и она вдруг подумала и выговорила вслух, тоже искренно:

— А ведь хорошая девушка. Ей-Богу, хорошая! Не стоит он тебя, баламут мой. Ну, вот что: ты Васю обласкала, так и я тебя обласкаю. Поди вон к тому столу,— видишь, вон, с золотой решеткой. Возьми в нем ключ да ступай повидайся с своим сердечным.

Уля от неожиданности пошатнулась и едва устояла на ногах. Видеться тотчас же с Абрамом, по приказанию Ромодановой,— этого никто никак не мог бы ожидать. Найдя ключ, Уля бегом бросилась через все горницы

и едва могла отпереть дверь комнаты, где был заперт Абрам,— до такой степени руки ее дрожали. Наконец дверь распахнулась, и она увидела перед собой стоящего среди горницы удивленного Абрама.

Абрам слышал, что кто-то не подошел, а подбежал к его двери. Увидя Улю, молодой малый вскрикнул, бросился к ней, обнял ее, и слезы полились по лицу его. Он увлек ее на диван, сел около нее и стал целовать так же, как когда-то в монастыре, более полугода назад.

— Уля! Уля! Как все вышло! Можно ли было думать, что она жива! А я тебя прогнал! Это меня Бог наказал!

— Вот и я то же думала! — выговорила наконец Уля.

И у обоих так много накопилось о чем сказать, о чем переговорить, что они прерывали друг друга, начинали одно, не окончив, бросали и говорили о другом. И наконец, Абрам вспомнил и спросил о том, что наиболее было удивительно:

— Как она позволила тебе прийти в дом, да еще ко мне послала? Ведь это чудеса!

— Именно чудеса, голубчик мой! И понять невозможно!.. Я уж боюсь, не к беде ли какой? не замышляет ли что?

— Да что ж ей замышлять?

— Да Бог ее знает! Меня обласкала, как родную. А я думала, что она меня, коли и на улице встретит, так разругает или велит схватить и судить.

— Что ж теперь будет? — воскликнул Абрам.— Что она хочет со мной делать? Если упрячет в какой дальний монастырь, то я, Уля, оттуда тотчас же уйду. С тобой вместе было мне в Донском невмоготу, а один я и месяца в монастыре не выживу; пусть уж лучше на цепи держит, а то непременно уйду. Я уж думал об этом. Я лучше просто в солдаты пойду, скажусь не помнящим родства. Пущай меня в острог засадят, как Дмитриева, а в монастыре жить не стану.

И Абрам долго плакался на все лады единственному человеку в мире, который действительно любил его.

Между тем Марья Абрамовна допыталась у Воробушкина: обещал ли Абрам Уле жениться на ней и как он на это смотрит, желает ли этого? Капитон Иваныч мог солгать, но не солгал, а правдиво, искренно передал Марье Абрамовне, что ее внучек, как и все молодые люди, хотя, может быть, и любил Улю несколько меся-

цев, но теперь давно разлюбил, даже выгнал ее недавно из дома. И конечно, теперь он ни за что не согласится на брак.

— Выгнал?! — привскочила на месте Марья Абрамовна. Это было для нее новостью. Гадалка, теперешняя барская барыня, передала ей историю ухода Воробушкина совершенно иначе. Она рассказала барыне, что Абрам Петрович подрался с Капитоном Иванычем и выгнал его одного, а Дмитриев прогнал и Улю, запретив пускать ее на двор.

— Верно ли вы знаете, Капитон Иваныч, что Абрам тогда пожелал разделаться с Улей? — допытывалась Ромоданова.

— Как же мне-то не знать! Спросите хоть ее самое.

И Воробушкин подробно рассказал все, как было. Больше ничего Марье Абрамовне было и не нужно: все шло как по маслу.

Уля между тем, вспомнив, что много прошло времени, боясь рассердить барыню, через силу простилась с Абрамом и вернулась к ней в кабинет. Глаза ее были заплаканы, лицо румяное и от слез, и от смущения. Марья Абрамовна пристально взглянула на нее и, верно от старости, верно позабыв свою молодость, поняла все наоборот. Старуха забыла, что от радости плачут иногда больше, чем от горя. Марья Абрамовна сообразила, что Уля, при свидании с внучком, была принята им так дурно, что вдоволь наплакалась от горя.

— Ну, Капитон Иваныч,— тотчас решила старуха,— вам и домой пора. Только уж вам одному: Ульяну вы оставьте, как бывало прежде, при мне. Не будь она вольная, я ее купила бы теперь, а коли нельзя купить, так, с вашего согласия, оставлю при себе. А насчет того, что вы мне изъясняли, я, конечно, подумаю: надо и свои, и чужие грехи перед Богом заглаживать.

И этого намека было достаточно Капитону Иванычу; он понял, что грех внучка постарается загладить бабушка.

Уля осталась при барыне, а Капитон Иваныч, как мальчуган, с радостным сердцем, вприпрыжку отправился домой. Даже о чуме позабыл он и, повстречав несколько гробов, найдя около какого-то забора мертвого, протянувшегося на дороге, Капитон Иваныч, сквозь мысли об Уле и ее судьбе, спрашивал себя:

— Чего это ночью хоронят?! И опять гроб! и вон еще! Удивительно!

И, уже придя домой и узнав, что хозяйка его квартиры, больная уже три дня, умерла за час до его прихода, Капитон Иваныч вспомнил:

— Ах, батюшки-светы, да ведь чума!

Но тотчас же Капитон Иваныч перепугался другой мысли. Чумная, умершая в доме, могла снова заставить его потерять место в канцелярии Еропкина, снова попасть в карантин... Капитон Иваныч опрометью бросился вон из квартиры к своему сослуживцу, жившему недалеко от него.

На другой же день Абрам был выпущен из горницы с дозволением жить как прежде и даже отлучаться со двора. Все в доме думали, что это было сделано вследствие настоятельной просьбы Ули, но, в сущности, у Марьи Абрамовны был свой план.

Абрам на свободе тотчас отправился к своему другу Матвею, пробыл у него довольно долго и вернулся домой как бы другим человеком. Выпущенный иззаперти, он не был так весел, как был весел и бодр теперь, после беседы со своим приятелем. И все последующие дни Абрам был менее ласков с Улей, изредка даже груб и резок, но зато все больше засиживался у Матвея. Однако он скрывал это в доме, и даже Уля не знала, где он пропадает.

Марья Абрамовна своими лукавыми глазами зорко следила за внучком, и каждый раз, что она замечала нежность и ласку Ули к Абраму и нетерпение, досаду внучка, она искренно радовалась. Ее план мщения удался как нельзя лучше...

XXXIII

Иван Дмитриев, сидя в остроге, конечно, думал только о том, как избавиться от наказания и даже отмстить барыне. Он отлично понимал, что его поступок далеко не преступление, что барыня сама это знает и только придралась к случаю, чтобы засадить его в острог. Его отпускная не была теперь годна, не будучи подписана самой Ромодановой, воскресшей из мертвых,— в этом не было никакого сомнения; но сделать из этого преступление можно было только умышленно.

Новые приятели Дмитриева, сидевшие вместе с ним, предлагали ему самые простые средства очутиться на свободе и снова быть вольным и купцом. Один из них предлагал все дело устроить даже в сравнительно малое

время и просил за это с Дмитриева пять тысяч, которые тот обязывался под клятвой уплатить только со временем, когда снова будет на свободе.

Средство это заключалось в том, чтобы бежать из острога, подговорить еще двух-трех приятелей, прежде бежавших и находящихся на свободе, и, пользуясь смутой в городе, зарезать Марью Абрамовну. Сделать это в ее доме было, конечно, невозможно. Острожник, бравшийся освободить из заключения и себя, и Дмитриева, предлагал ему взять только на себя: действовать через внучка и заставить Марью Абрамовну поехать куда-либо, не только в дальнюю вотчину, но хотя бы в окрестности Москвы. Сам он брался на дороге остановить ее с своими приятелями, перебить лошадей и убить ее. Он уверял Дмитриева, что легче и проще этого дела нет на свете.

— Ты будешь в стороне! — объяснял он Дмитриеву.

Но Иван Дмитриев понимал, что это простое дело для острожника было, в сущности, вовсе не так просто. Убийство такой видной особы, как генеральша Ромоданова, не могло пройти бесследно и никак не сошло бы с рук. Тот же острожник, взятый на месте преступления, мог бы назвать Дмитриева как соучастника, и тогда он навеки сделался бы острожником, а то и каторжником в Сибири.

Кроме того, рассказы тех же самых товарищей по заключению научили Дмитриева многому. Он узнал многие темные дела до тонкости. Между прочим, он узнал один случай, который много смешил его товарищей и отчасти его самого. Дело было в том, что один богатый московский купец ежегодно платил двум молодцам из «Разгуляя» по тысяче руб., в виде жалованья, и эта уплата продолжалась уже не менее шести лет.

Дело это называли острожники самым премудрым, какое только может выдумать человек. Купец этот нанял двух каторжников убить своего брата в пути из Нижнего в Москву — ради наследства. И всего-то нанял за триста рублей. Брат этот был убит, деньги триста рублей получены. Но затем ежегодно молодцы заставляли купца уплачивать себе по тысяче рублей только одной угрозой сознаться во всем начальству и пойти под кнут и в Сибирь, но вместе с собой для компании захватить и самого купца.

Быть может, если бы не этот рассказ, слышанный прежде и оставшийся у Дмитриева в памяти, то он согла-

сился бы на предлагаемый ему наем убийц, чтобы скорей избавиться от Ромодановой.

Но все-таки, сидя праздно в остроге, Дмитриев от зари до зари думал, как скорей быть на свободе. И понемногу у него созрел в голове целый план, по-видимому, очень мудреный, но, в сущности, самый простой.

Решившись привести в исполнение задуманное предприятие, Дмитриев прежде всего стал хлопотать, чтобы как-нибудь повидаться с молодым барчонком. При помощи небольших денег ему удалось дать знать Абраму, что ему крайне необходимо видеться с ним и что он может, пользуясь своим дворянским происхождением, приехать в острог и прямо вызвать к себе заключенного крепостного человека, якобы по важному делу или для допроса.

Абрам, боясь бабушки, сначала не соглашался на это. Ему было и страшно, и совестно отправляться в острог и видеться с человеком, отданным под суд по приказанию его же бабушки. Через несколько времени явился к Абраму новый посланный, который передал ему, что Дмитриеву нужно видеть молодого барина ради того, чтобы совершенно изменить судьбу как свою собственную, так и его, барчонка.

Это известие несколько поколебало Абрама, но он, быть может, все-таки не решился бы видеться с дядькой, если бы в тот же день бабушка, рассердившись на него за что-то, не выговорила вдруг:

— Ладно, голубчик, на днях я тебя устрою; отплачу тебе сторицей за все твои мерзости со мной! Через недельки две будешь ты у меня у праздника! дай только справиться,— не все у меня готово.

Марья Абрамовна разумела, конечно, насильственную женитьбу внучка на Уле, которую они мастерили вместе с Капитоном Иванычем, каждый по совершенно разным побудительным причинам.

Вместе с тем они оба все тщательно скрывали — она от внучка, а он от племянницы — тоже по совершенно разным причинам: бабушка — ради мщения, а Капитон Иваныч — ради сюрприза, который готовил своей дорогой Уле.

На этот раз при угрозе бабушки Абрам вообразил себе, что через недельки две он отправится в Соловецкий монастырь или куда-нибудь не краше этого места. Явившийся посланец от Дмитриева был кстати, и Абрам решился, ради спасения себя, повидаться с Дмитриевым.

Молодой малый, разумеется, легко добился возмож-

ности видеть заключенного, который хотя не был еще осужден, но, по обычаю, сидел вместе со всеми — и с давно осужденными убийцами, и с мелкими мошенниками, отсиживающими свой срок, и с совершенно невинными людьми, сидевшими по самоуправству своих господ.

Беседа между Абрамом и дядькой длилась добрых два часа, и Дмитриев научил молодого барина, как спасти себя от мщения бабушки и вместе с тем спасти его самого. Чтобы добиться согласия Абрама, Дмитриев прибегнул ко лжи и объявил, что верно знает со стороны все страшные ухищрения Ромодановой. Он передал барчонку: что барыня собирается, подкупив архимандрита, настоятеля одного монастыря в Туретчине, на высоких горах, которые всегда под облаками, отправить туда Абрама, постричь в монахи и даже надеть на него схиму. Тогда, разумеется, Абрама, как схимника, заставят в монастыре жить в темной пещере под землей и ложиться спать в гроб.

Абрам так привык верить своему дядьке, так привык слушаться его во всем, что вернулся домой совершенно шальной от страха и убежденный в том, что не пройдет и месяца, как он будет в Туретчине, в этом монастыре под облаками, и спать в гробу. Ввиду такой приятной будущности, которую так живописно и красноречиво представил ему дядька, Абрам тотчас же решился действовать и по его совету исполнить все, что тот придумал.

А дядька придумал, опять-таки, дело незамысловатое, от которого сам он пострадать не мог, а в случае успеха он бы воспользовался более других. Дмитриев передал Абраму, что у бабушки в спальне, в большой, громадных размеров, двухспальной кровати красного дерева есть потайной ящик, в котором она, будучи в Москве, всегда держит все свои наличные деньги. Дмитриев сочинил барчонку, что когда они считали бабушку покойницей, то он нашел этот ящик, видел в нем очень много денег, но ни слова не сказал Абраму, боясь, что молодой человек сразу растратит все. Дмитриев будто бы хотел, чтобы барин прежде женился, и тогда эти деньги пошли бы на его свадьбу. По уверению Дмитриева, и тогда там было около десяти тысяч. Теперь все дело заключалось в том, чтобы деньги украсть и, конечно, тотчас же бежать с ними.

Разумеется, Дмитриев был уверен, что если ящик и был пуст во время отсутствия Марьи Абрамовны, то

теперь, после ее появления из вотчины, наверное, снова полон деньгами.

Абрам, соглашаясь на это, заявил только наивно одно:

— Я воровать-то не умею! Не знаю, как это...

И при этом Абрам даже пожалел мысленно, что его не научили такому полезному занятию, которое теперь могло бы пригодиться.

— И воровать не умеете! — воскликнул Дмитриев.— Подумаешь — это наука какая! Сапоги, что ли, это сшить! Дело самое пустое! Бабушку спровадьте куда в гости, а сами идите, сломайте ящик да, повытащив все, со двора долой.

Но Абрам находил, что это все легко сказать, а сделать очень мудрено. Чем ломать ящик? Куда деньги положить? Как и куда бежать?! Все это были вопросы для него очень мудреные. И кончилось тем, что оба вместе решили поручить дело третьему лицу, которого научить, как это сделать. И выбор их пал, конечно, не на кого другого, как на Улю, которую можно все заставить сделать.

— Вот это отлично! — говорил Абрам, расставаясь с дядькой.— Она это отлично сделает, я ее научу. Ты-то, Иван, как убежишь? Нам-то легко будет, а тебе отсюда мудрено.

— Об этом не беспокойтесь. Вы только деньги добудьте да дайте мне знать, когда убежали и где укрываетесь: я к вам и явлюсь. У нас тут целый коридор под землей роется, хотим его до Киева вести! — шутил Дмитриев.

И в тот же вечер Абрам, тайком сидя в горнице Ули, передал ей все, что узнал, и все, что собирался заставить ее сделать.

XXXIV

Уля, от которой, к несчастью, Капитон Иваныч все скрывал, горько заплакала, узнав о той страшной судьбе, которая готовилась ее дорогому Абраму Петровичу. Ее тоже несказанно поразила картина турецкого монастыря в горах под облаками и спанье схимника в гробу вместо кровати. Когда Абрам предложил ей спасти его, украв деньги из потаенного ящика кровати бабушки, Уля даже обрадовалась, что есть средство спасения милого и что ей

поручается спасти его и бежать с ним, чтобы жить веки вечные вместе где-нибудь далеко от Москвы.

О преступлении она и не думала; для нее весь мир заключался в одном этом человеке. Уля способна была совершенно бессознательно сделать для Абрама все на свете без исключения. Прикажи он ей утопиться, так и то доставило бы ей наслаждение. Уле казалось, что она и родилась когда-то для него, чтобы встретить, и любить его, и чтобы затем умереть для него, для его счастья, если это будет почему-либо нужно. Теперь, при объяснении с Абрамом, Уля ахнула от радости и бросилась к нему на шею с поцелуями, как бы невольно благодаря за то, что он дает ей средство спасти себя, дает случай пожертвовать собой. И эта кража показалась бы ей ужасным делом, если б была не для милого; но кража для Абрама представлялась Уле такой простою вещью, что она только спросила:

— Когда идти красть? Сейчас?! Куда?

Абрам даже удивился. И в нем вдруг будто заговорила совесть. Он понял, что Уля даже будто не сознает вполне, что ее толкают на преступление.

— Ты не боишься? — вымолвил он.— А если узнают? Если тебя поймают? Увидят? Или как-нибудь после окажется, что именно ты обокрала бабушку? Ты не боишься?

— Чего ж?

— Если узнают, тебя тоже в острог посадят, как Ивана; но тебе еще хуже будет. Он ведь не вор. Вдобавок ты не дворянка: тебя плетьми могут наказать на площади, в Сибирь сослать!

Уля задумалась на секунду и опустила голову, но затем вдруг, вскинув свои светлые глаза на Абрама, выговорила:

— А вы?

— Что я?

— Если со мной все это будет,— вы за мной в Сибирь не поедете?

— Если ты скажешь, что я тебя всему научил,— усмехнулся Абрам,— то я поневоле с тобой поеду. Меня бабушка сошлет тоже по одной злобе.

— Так как же? — вдруг развела Уля руками.

Это обстоятельство показалось ей самым мудреным.

Украсть было нетрудно, но, в случае неуспеха, выдать Абрама, чтобы заставить его ехать с собой в Сибирь,— было очень мудрено. Не сказать ничего — она

будет в Сибири одна, а он останется, полюбит другую, женится... Сказать — значит сделать его несчастным на всю жизнь.

Уля глубоко задумалась и наконец горько заплакала.

— Деньги взять я сумею, когда хотите! — заговорила она.— А вот это очень мудрено!

Разумеется, Абрам тотчас объяснил Уле, что она должна все так сделать, а затем она с Дмитриевым должны укрыться, чтобы бабушка — покуда не умрет — не могла найти их.

Когда молодой малый вполне убедил Улю, что все должно удаться отлично, все было решено. Уля обещала в первый же раз, что барыня уедет надолго со двора, сломать ящик.

Однажды после обеда, в сумерки, Марья Абрамовна собралась ехать в гости, чтобы вернуться довольно поздно вечером. Уля, провожая барыню, даже радовалась при мысли, что наконец наступил давно желанный день.

Едва Марья Абрамовна съехала со двора, как Уля весело побежала в ее спальню, подняла матрас на постели и тотчас нашла потайной ящик. Крышка и замок оказались, однако, очень крепкими. Уля попробовала открыть крышку столовым ножом, далеко засунув его, повернула изо всех сил, но в ту же секунду ножик сломался, и один черенок остался у нее в руке. Сразу сообразив, что делать, Уля бросилась вниз, побежала на задний двор, где всегда рубили дрова, взяла топор и, спрятав его под кофту, побежала снова в спальню.

Она не обратила внимания на то, что люди видели, как два раза пробежала она и как второй раз несла что-то под кофточкой, тщательно спрятав. Сломать крышку топором оказалось одно мгновение. Дмитриев не солгал. Довольно большой ящик был полон пачками ассигнаций и несколькими мешочками червонцев. Собрать все это в узелок было для Ули делом тоже нескольких минут.

Связав все, Уля бодро и спокойно вышла из спальни барыни, но, наткнувшись в дверях на гадалку, быстро пробежала мимо. Гадалка поглядела ей вслед и покачала головой, не понимая, что все это значит. Мысль о краже, конечно, не могла ей прийти в голову.

Уля добежала до половины дома, где был Абрам. Он дремал на диване. Уля разбудила его.

— Абрам Петрович, вставайте поскорее! Вот все здесь!

— Что? — отозвался Абрам полусонный.

— Как что! Вот деньги. Она уехала, я взяла!

— Что? Как? Где??! — кричал Абрам, вскочив спросонья.

— Да вот же! Деньги! Из ящика! Как вы говорили. Вот они! Все здесь! Пойдемте теперь поскорее!

И Абрам, вдруг поняв, в чем дело, почти упал на тот диван, с которого вскочил. Теперь только как будто он ясно сообразил все значение того, на что решился по совету дядьки и на что толкнул Улю.

— Господи! Как же быть-то! — воскликнул он с ужасом.— Что же делать теперь?!

— Как что?! — изумилась Уля, чуть не выронив тяжелый узелок из рук.— Теперь надо бежать. Я пройду одна, подожду вас на улице, а потом вы идите.

— Хорошо, хорошо! — как-то странно проговорил Абрам, выпуча глаза на девушку и чувствуя какое-то странное замирание на сердце.

— Так я пойду.

— Да, иди! — тем же голосом проговорил Абрам.

— Я на углу буду ждать.

— Хорошо! — еще глуше выговорил Абрам.

Уля быстро вышла из его горницы, прошла через все парадные комнаты, спустилась по большой лестнице, вышла на двор и наконец на улицу. Человек двенадцать видели ее идущую с этим узлом; всякий невольно поглядел на узелок, но ничего не сказал, не найдя в этом ничего особенного. Стало быть, так нужно, что-нибудь несет по приказанию барыни.

Вскоре Уля была на углу улицы и пристально глядела, не спуская глаз, на ворота дома, откуда должен был показаться Абрам. Прошло несколько минут, но его не было. И здесь Уле вдруг пришло на ум,— она почти вскрикнула:

«А Капитон Иваныч?! Он как же? Он останется?! — И Уля была поражена тем, что эта мысль ранее не пришла ей на ум. Она так была озабочена спасением Абрама и бегством с ним, что снова,— как с ней и прежде бывало,— забыла о существовании своего дорогого человека.— Как же быть-то? — думала Уля, стоя среди улицы с узелком в руке. И слезы выступили у нее на глазах при мысли, что ей придется расстаться, быть может, надолго, быть может, на десять лет, быть может, до самой кончины Марьи Абрамовны с своим добрым названым дядей. Быть может, Марья Абрамовна переживет его. Тогда она более уже не увидит Капитона

Иваныча! Взять его с собой или выписать потом невозможно. Они все-таки воры. А Капитон Иваныч с ворами никакого дела не захочет иметь. Он даже разлюбит ее, проклянет даже».

— Господи! — вдруг воскликнула Уля.— Как же это все я раньше не подумала?!

Но в эту минуту она была поражена громкими криками. Она подняла глаза и увидала, что из ворот бегут к ней чуть не все дворовые и лакеи дома Ромодановой. В одну минуту Уля была окружена, узелок у нее кто-то вырвал из рук, а ее вели обратно в дом, оглушенную криками, потерявшуюся от нечаянности, изумления и от какого-то смутного чувства, которое говорило ей, что все пропало! Абрам будет теперь в Туретчине! Под облаками! Будет спать по ночам в гробу!

И в гуле крика и смеха, которые стоном стояли вокруг нее, среди дикого завыванья дворового люда до слуха Ули долетало слово, которое заставило ее вздрогнуть и как бы очнуться на секунду от ужасного сна. Она услыхала слово: Сибирь!

И тут только она вспомнила и сообразила, что если захочет, то Абрам будет не в монастыре, а будет с ней... Но где?.. На каторге!!

— Где ж лучше? Где ж лучше?! — воскликнула Уля вслух. Она схватила себя за голову, и все вокруг нее снова как-то запуталось, закружилось. Потом все окружавшее ее будто бросилось к ней и сильно ударило ее в голову, даже заставило пошатнуться и упасть.

Приведенная во двор дома, девушка лишилась сознания и упала без чувств на землю.

Двое людей подняли ее, снесли в горницу и заперли там в ожидании возвращения барыни. Гадалка пошла доложить молодому барину о невероятном приключении и рассказала, как она встретила Улю с узелком, как увидела всю кровать барыни взбитою, а ящик потайной — о котором, однако, знали все — разломан и топор на полу.

Абрам, сидевший на том же диване, почти в той же позе, вздрогнул, когда гадалка вошла к нему. Он испугался, думая, что это снова идет Уля, снова звать его бежать.

Гадалка, впопыхах, с ужасом передававшая все молодому барину, только дивилась несказанно, что барин глядит на нее во все глаза и не пугается, не ахает, не

кричит, а слушает, как если бы ему передавали самую обыкновенную вещь.

В ту же минуту до слуха Абрама долетел отчаянный голос Капитона Иваныча, который, вернувшись в дом и узнав о происшествии, кричал во все горло:

— Неправда! Не поверю! Она такого не сделает! Моя Уля? Неправда! Вы по злобе на нее валите! Вот приедет барыня!..

За Марьей Абрамовной послали тотчас верхового, и через час Ромоданова была уже в доме, сидела в прихожей на поданном ей стуле и, окруженная дворовыми, расспрашивала о всех подробностях. Дело было ясно и просто. Уля хотела обокрасть ее, и еще самым наглым образом.

Капитон Иваныч тоже явился, хотел горячо заговорить, защищая свою Улю, но Марья Абрамовна одним словом заставила замолчать старого лейтенанта.

— Молчи ты! И тебя я в острог посажу вместе с ней! Кого она на углу улицы поджидала! А? Скажи! Почему она не убежала тотчас? Почему она стояла на улице? Кого поджидала?!

— Кого? — в изумлении переспросил Воробушкин.

— Да тебя, старого мошенника! Не ломайся! дело все на ладони!

И Марья Абрамовна приказала тотчас же запереть Капитона Иваныча в отдельную горницу, а сама послала извещение в полицию.

И в тот же вечер Уля и Капитон Иваныч были уведены из дома Ромодановой и посажены в тот же острог, где сидел Дмитриев.

Дмитриев увидел вновь прибывших гостей в свое решетчатое окно, выходившее на главный двор, и ахнул. Он понял все! Только присутствие Воробушкина было ему непонятно.

— Капитошка-то как же угодил? Помогал, что ли?

Между тем Капитон Иваныч явился в острог совершенно спокойный. Дорогой он даже не расспрашивал Улю ни о чем, он только говорил ей все время:

— Не бойся, Улюшка, все пустое. Мы докажем, что это по злобе на тебя поклеп возвели. Этак всякого можно вором сделать и под кнут подвести! Завтра же до самого Петра Дмитриевича доведу это безбожное дело.

Обоих преступников посадили в одной каморке, почище других, и заперли.

Уля плакала и молчала. Сказать Капитону Иванычу,

что все правда, что она действительно украла и была поймана, было невозможно. Тогда надо будет, конечно, признаться ему и в том, кто научил ее. Тогда Абрам уж непременно вместо монастыря пойдет, вслед за ней, в Сибирь.

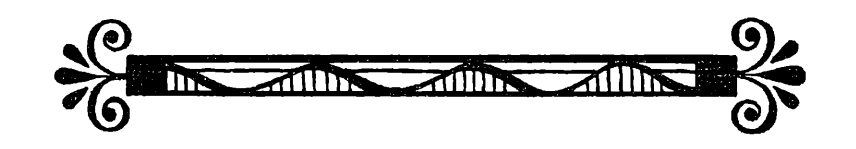
— А что же лучше-то? — шептала Уля.— Что же лучше-то?

И эта мысль уже целый день неотступно вертелась в голове смущенной девушки, почти потерявшей ясное сознание всего совершавшегося вокруг нее. Эта мысль будто острием вошла в ее голову и стала... будто крепко вцепилась, будто какими-то корнями приросла в голове, и держится, и не может двинуться никуда. Хочется Уле подумать о чем-нибудь другом, сказать что-нибудь другое,— она раскроет рот и будто поневоле молвит все то же самое, в сотый, в тысячный раз:

— А что же лучше?

Капитон Иваныч много раз заговаривал с племянницей, расспрашивал; но девушка молчала или отвечала задумчиво, грустно, будто с болью в сердце — все те же слова, тот же вопрос.

«Господь с ней! — подумал Капитон Иваныч.— Со страху будто разум потеряла. Вот до чего люди злые доведут!..»



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В первых числах августа вокруг «Разгуляя», у дверей знаменитого кабака и вдоль всего огромного дома пестрая тысячная толпа, рассвирепелая, озлобленная, бушевала и собиралась ни более, ни менее, как изорвать в куски случайно попавшего сюда доктора Шафонского.

Дело в «Разгуляе» случилось простое. Весь огромный дом, как когда-то Суконный двор, стал любимым местопребыванием чумы. Кучи мертвецов вывозились всякий день отсюда, но разный слоняющийся по Москве люд, праздные, брошенные холопы бежавших господ, беглые из карантинов, рабочие без заработков, сонм воров и мошенников — все это наполняло быстро освобождавшиеся квартирки и углы и, в свой черед, увозилось на чумной погост. Слух о рассаднике чумы дошел до Еропкина, и он тотчас приказал очистить весь «Разгуляй», вывезти всех жильцов в соседний карантин, больных развести по разным больницам, дом заколотить досками наглухо. Вместе с этим было приказано самый кабак закрыть или перевести в другое помещение, подальше от зараженного домины.

Первый, кто сунулся было исполнять приказание начальства,— распотешил разгуляевцев. Они даже не рассердились, а только посмеялись, какую начальство несообразицу выдумало.

— Нешто можно «Разгуляй» трогать? Без «Разгуляя» — Москва не устоит.

Однако начальство снова принялось за дело не шутя. Явилась полиция выгонять из дома жильцов и заколачи-

вать кабак. Завязалась драка, и на место происшествия завернул по пути проезжавший мимо из Лефортовской больницы главный доктор всей Москвы, если не главный сановник, то теперь главный заправила, Шафонский.

Толпа, сбиравшаяся со всего Лефортова на вопли и гам в «Разгуляе», вознегодовала, узнав, в чем дело. Когда же прошел слух, что на дворе командует главный начальник над всеми больницами и карантинами, то серые волны загудели:

«Главный дохтур! Главный моритель!»

И тотчас же дело приняло новый оборот. Шафонский, вскоре прижатый к забору толпой, объяснялся, почти оправдывался — во всех, и своих и чужих, мерах, принятых против чумы. Его не допрашивали, а обвиняли как бы пред расправой.

— Зачем бани заперли? Обмыться нельзя! Зачем крестные ходы не дозволяешь? — орали голоса.

— Это не я...

— Не ври, знахарево семя!

Передние, махая руками, цепляли его за рукава и фалды, и близко у самого лица уже появлялись и руки, и кулаки.

— Отдуть бы тебя здоровее! Тебя бы живого закопать — и чуме бы конец. Все вы морители.

— Давай его, ребята, полечим по-нашему! — крикнул кто-то.— Разгладим

Шафонский был давно бледен, сознавая опасность; теперь он понял, что роковая развязка близится...

Не только смелый и умный деятель, а сам генерал-губернатор, или преосвященный Амвросий, или целый полк солдат — ничего бы тут не сделали и не сломили бы серое надвигавшееся с остервенением на сердце полчище с лохматыми бородами, огромными кулачищами и диким ревом гнева и мести. Остановил все, рассеял грозу, усмирил полчище и спас Шафонского какой-то белобрысенький паренек, которого большинство никогда не видело и только человек с десяток знали по имени.

— Что за командир? Шаркни его! Чего лезет! — раздалось при появлении парня.

— Это Ивашка! Суконщик! Ивашка! Наш разгуляевский горласт! Запевала...

В самую решительную минуту Ивашка очутился около своего прежнего доброго барина, решительный, злобно-восторженный, с какой-то мощью в звучном голосе, с какой-то силой в каждом слове, которая сразу

подействовала на всех; он оттеснил самых бойких и дерзких, широко размахивая огромной лопатой.

— Каины! Ироды! Нешто вы не знаете, кто таков тут перед вами?

И Ивашка в пылкой речи рассказал, описал, объяснил, каков человек Шафонский.

— Золото! Благодетель! Милостивец, чуть не праведник!

Покуда Ивашка говорил, все его новые разгуляевские приятели пробрались чрез толпу к нему и к Шафонскому и, сами того не зная, образовали между ним и бешеной толпой живую изгородь, заградившую от Шафонского позор, мученья, а быть может, и смерть.

Когда Ивашка кончил, раздалось только несколько голосов, требовавших, чтоб «Разгуляя» не запирали и не выгоняли народ в карантин. Шафонский, конечно, согласился, и через две минуты доктор невредимо прошел чрез густую толпу полунехотя в свой экипаж, дожидавшийся на улице. Шафонский, еще взволнованный, бледный, но более грустный, нежели смущенный и испуганный, обнял Ивашку одной рукой и выговорил тихо:

— Ну, голубчик, поцелуемся! Я этого не забуду. Будет нужда, вспомни обо мне. И я для тебя все сделаю.

— За что? — изумленно и разинув рот отозвался Ивашка.

Шафонский уехал; толпа, гудя, расходилась. Ивашка, задумавшись, тоже побрел вдоль улицы и думал совершенно о другом. Ему нравилось, щекотало сердце все, что случилось за минуту назад. Если он вполне не понимал, за что благодарит его и целует Шафонский, и если свое заступничество считал самым простым делом, то, наоборот, роль, которую он разыграл сейчас, он смутно понял; она его самого удивила, он сам от себя такого не ожидал.

— Ведь это не то, что песню спеть, заливаясь соловьем. Благо Господь голос дал. Ведь это не то, что сказку сказать, каждый раз своего много прибавив, благо на выдумку хитер,— тут совсем другое дело было. Налезала тысяча рассвирепелого народу, и он этому всему народу окрик дал, будто воевода или барин важный.

И шел Ивашка теперь, потрясая головой, ухмыляясь, и шептал тихонько:

— Я — разумник? Или народ — дурак? — И хотелось Ивашке найти у себя на совести ответ: — Ты разумник,— но ответа такого не находилось.

А зато какое-то искреннее, глубоко правдивое чувство подсказывало ему:

— Нет! Народ совсем дурак!

И Ивашка вернулся домой, т. е. в «Разгуляй», несколько грустный.

Парень, долго помыкавшись по Москве, после своего побега от Матвея, кончил тем, чем кончали сотни и тысячи других, т. е. попал в вертеп «Разгуляй», но во всем вертепе, на несколько сотен жильцов, он один не сделался пьяницей или мошенником; напротив, Ивашка незаметно для себя и для других стал особой. Никто, конечно, не шел к нему за советом, никто не звал в помощники, собираясь на кражу и на грабеж, никто не давал ему припрятывать краденые вещи, но все любили его, все дарили, все угощали и иногда дрались из-за любимого певца и сказочника.

В душные, летние дни жильцы давно зачумленного «Разгуляя» поневоле высыпали на улицу из своих затхлых каморок, и целые кучки усаживались в сумерки, после заката солнца, на большом заднем дворе; тогда-то вот всегда разнокалиберное, наполовину каторжное общество посылало за Ивашкой, угощало его, заставляло спеть или сказку сказать. Хворые и полуживые, едва волоча ноги, тоже вылезали из темного коридора домины и волоклись сюда отвести душу, позабыть на минуточку свою хворость.

И раза два или три случалось, что пока в синей мгле летней ночи Ивашка восторженным голосом описывал ворам и каторжникам Царевну-Красоту или волшебный, что краше солнца на небе, хвост благодетельницы Жар-Птицы, где-нибудь, среди какой-нибудь кучки в полумгле, усиливались стоны хворых слушателей. Когда же сказка кончалась и пестрый разномастный люд собирался на боковую по своим углам, на дворе оставался, протянувшись на земле, какой-нибудь разгуляевец, едва дотащившийся до двора и умерший под звуки голоса сказочника. Его оттаскивали в сторону, к забору, а утром он исчезал, увозимый в телеге на погост.

Быть может, во всей Москве не было другого места, другого дома, где бы смотрели на чуму и на ежедневных мертвецов так просто, как в «Разгуляе». Часто к вечеру иной каторжник или благодушный мещанин зазывал встречных в кабак:

— Пойдем, братцы, выпьем, я угощаю! Хоть бочку поставлю. Полста рублей жертвую.

Собиралась кучка, пила вволю, напивалась, и полузнакомый угощатель объяснял причину своего кутежа и затраты последнего гроша тем, что ему уже нездоровится. Не нынче завтра помрешь. Все равно пропадут деньги.

Всякий день в «Разгуляе» слышались такие разговоры:

— Сделай милость, голубчик, в предбудущий четверток отслужи по мне панихидку, поминаючи. Вот тебе на то две гривны.

— А что, плох, что ль?

— Плох. До среды дотяну, а дале — ни!

II

В самый разгар чумы, в ужасные августовские дни, если были в Москве невероятно несчастные люди, оставшиеся одинокими после большой семьи и без страха ожидавшие смерти, даже желавшие ее, то в те же ужасные дни были на Москве беспредельно счастливые люди.

Благодаря чуме, в одном огромном доме в Замоскворечье было одно существо настолько счастливое, что едва справлялось с своим счастьем, с своим разумом. Это была, конечно, красавица Павла.

Молодая вдова после грубого деспота мужа, которого она ненавидела и презирала, как бы начала новую жизнь, освещенную новым счастьем.

Молодой, красивый гвардейский офицер, дворянин и щеголь, Воротынский казался каким-то действительно высшим существом около ужасного воспоминания, около ужасной фигуры приказчика Барабина.

Через два или три дня после того, что ловкий Митя выбросил в соседний переулок ненавистного всем чумного мертвеца, Павла, гуляя по большому саду отцовского дома, чувствовала себя настолько счастливой, радостной, освобожденной, что нарочно ушла подальше в самую глубь сада пробыть несколько часов наедине с своим громадным, опьяняющим ее счастьем. И тут, будто чудом, появился около нее Матвей. Через секунду она была в его объятиях, и не испугалась, не удивилась... Все это похоже было на сказку.

«Да ведь это сказка и есть,— смутно думалось Павле,— чудная сказка из тех, что рассказывал Ивашка».

И она чувствовала только, что какая-то чарующая

волна подхватывает ее и уносит далеко от всех ужасов, от всей скорби ее прошлых дней.

И в тот же день на одну секунду Павла была в домике, который нанял Матвей, чтобы видаться с ней.

Увидя полугнилой, покосившийся, дырявый домишко и найдя внутри великолепно отделанные две горницы в бархате и золоте, Павла была, конечно, не только взволнована, но и потрясена этой шуткой. Это уже было совсем так, как в одной сказке Ивашки. Иван-царевич находит в лесу избушку на курьих ножках, косую и полугнилую, входит в нее и находит в ней красавицу царевну и целый громадный, сияющий яхонтами и алмазами, дворец.

Матвей, конечно, знал, с кем имеет дело, знал, чем подействовать на такую женщину, как Павла. Действительно, желтый домишко пономаря, разлезшийся вкривь и вкось, имел самый отвратительный вид снаружи; внутри же две горницы, довольно просторные, были сплошь заняты и покрыты всякими чудесами, которых Павла, конечно, никогда нигде не видала. Чтобы видеть все это или устроить, надо было, конечно, видеть внутреннее устройство петергофского Монплезира или палаты крупных петербургских сановников. С этого дня Павла бывала в избушке всякий день под предлогом прогулок в большом саду.

Около двух недель в доме Артамоновых старик Мирон, его красавица дочь, хорошевшая снова не по дням, а по часам, и любимец сын, теперь единственный наследник всего огромного состояния, были так неизмеримо счастливы, веселы, довольны, что старику пришло однажды на ум, что этакая благодать не может долго продолжаться: уже больно хорошо, не случилось бы беды какой.

Мирон Дмитрич пересчитывал мысленно всякие беды, которые могли свалиться ему на голову, и против каждой беды он находил средство спасения, главным образом в своем состоянии. И ни разу не пришло на ум старику о той беде, которая ходила кругом его дома, косила людей по всей Москве и еще недавно наведывалась к нему в дом.

Однажды Артамонов увидел как-то в сумерки своего любимца мальчугана настолько угрюмым, что встрепенулся и спросил:

— Что ты, Митрий?

— Ничего,— мрачно отозвался мальчуган.

— Чего насупился?

— Так, ничего.

— А я уже было думал — моим мыслям час пришел.

Митя не понял. Старик объяснил мальчугану, что у него на душе творится никогда не бывалое, копошится что-то, будто сердце беду чует.

— Увидел вот я тебя чернее ночи и струхнул: думаю, моим черным мыслям час пришел.

— Да, беда идет! — воскликнул Митя.— Идет, тятя, беда, прямо на нас.

И Митя, подняв руки, протянул их пред собой, как будто из угла большой горницы выступала на него эта беда, в виде живого существа.

Старик давно, и в особенности за последнее время, привыкший слушать внимательно и слушаться покорно этого умницу сына, теперь при его словах немного оторопел.

— Какая же беда?

— Не скажу, покуда доподлинно сам не уверюсь. Может быть, это все так привиделось мне.

— Ах, нет,— выговорил, мотая головой, старик,— тебе зря ничего не привидится.

Однако Митя не согласился сказать отцу, в чем дело. А дело было в том, что Митя узнал все, что творилось в глубине их сада, в дрянной избушке, залитой внутри бархатом и золотом. Открытие это так страшно подействовало на мальчугана, что в первую минуту он бросился бежать в противуположный край сада, спасаясь как от привиденья.

— Павла! Павла! Павлинька! — отчаянно воскликнул он несколько раз; потом он лег, почти упал на траву и долго пролежал не двигаясь.

Когда он упал, то помнил, что солнце еще довольно высоко. Когда же он передумал тысячу вещей, придумал и решил, как взяться за это дело, как спасти сестру от соблазнителя, и поднялся с мокрой росистой травы, то было уже совершенно темно. Много часов пролежал мальчуган в страшной тревоге разума!

На другой день он окончательно убедился в том, что сестра бывает на свиданиях в этом домике, но, однако, при объяснении с отцом сказал, что о беде, ему известной, еще наверное ничего не знает.

Прошло три дня. Митя волновался и молчал. От зари до зари он придумывал, как взяться за дело, с чего начать, с кем говорить прежде — с отцом или барином, имя

которого он узнал. Вместе с этим Митя чувствовал себя слабым; головная боль, появившаяся еще в тот вечер, когда он забылся с своими тревожными мыслями на сырой траве, усиливалась с каждым днем.

«Как ты меня озадачила,— думал мальчуган про сестру,— даже голова трещит. Вот какие дела на свете-то бывают. Если бы про тебя такое сказал мне кто, я б ему язык вырвал, а ты это самое делаешь наяву, у отца под боком».

III

Открытие ли, сделанное Митей, и страшное разочарование в сестре, или этот вечер и несколько часов, проведенных на сырой траве, но в несколько дней Митя сильно изменился. Он был убежден, что его смутило и заставило захворать ужасное открытие.

На четвертый или пятый день утром Митя, пробредив целую ночь, открыл поутру глаза и увидел пред собой сидящего на его постели отца. Солнце уже было высоко, около полудня.

— Что ты, Митрий? Аль хворость? — беспокойно выговорил Артамонов, наклоняясь над проснувшимся сыном.

— А что? — слабо выговорил Митя, чувствуя страшную головную боль.

— Ты всю ночь проболтал всякую ахинею, якобы какая пьяная баба на посиделках. Слушал я, слушал, плюнул и слушать перестал. Тут у тебя и домики золотые были, и Павла на коне верхом с генералами, и про меня сказывал, что я попадья.— И старик начал смеяться.

Митя чрез силу улыбнулся.

— Хворь, что ли? — переспросил старик.

— Да, малость нездоровится. Да пустое, пройдет.

— То-то. А то малинки горячей выпей.

Чтобы не беспокоить отца, Митя через силу поднялся, оделся и сел к окну. До обеда просидел мальчуган, почти не двигаясь. Но он уже не думал о Павле.

Если были снова тревожные мысли в его голове, то совершенно иные: что-то новое просилось ему в голову; возникали новые мысли совершенно об ином, ужасном предположении. Митя боязливо отгонял эти мысли от себя, стараясь встряхнуться от них, выгнать их из голо-

вы; но эти мысли упорно боролись с ним, снова лезли, снова надвигались, снова завоевывали и голову его, и сердце.

Старик Артамонов, сидевший в той же горнице с книгой в руках, изредка взглядывал на сына и думал:

«Хворает малость. Надо будет ввечеру малины напиться».

Когда старик вышел на несколько минут из горницы, Митя закрыл побледневшее лицо руками и выговорил вслух:

— Господи, Царь небесный! неужто это дело возможное? Ведь мне пятнадцатый год! Нету, нету, пустое. Скажу сейчас тяте, какие дурацкие мысли лезут; обругает он меня,— авось выскочит вся пустяковина из головы. А то бы выпороть меня,— еще бы лучше, как рукой бы сняло.

В эту минуту мимо дома застучали колеса. Митя открыл глаза, глянул на улицу и увидел телегу, покрытую рогожей. Маленький мужичонка вел рыжую лошадку под уздцы, а из телеги торчали из-под рогожи голые ноги; около этих ног болталась мертвая голова с синеватым лицом. Митя ахнул и, несмотря на свою слабость, отскочил от окошка. Много, сотни раз, видел он на Москве эти тележки с мертвецами, в которых вывозили и хоронили без гробов, и ни разу не испугался, а теперь дрожь пробила его; он пересел на другое кресло дальше от окна и выговорил:

— Чего же это я? мало ли народу помирает. Даже сказывают — по три и по четыре сотни в день умирают, а тут только двое.

— Зачем же так класть! — выговорил он чрез секунду.— Зачем так класть? Тут висят ноги, а другого туда же лицом!

И в голове Мити стало как-то вдруг пусто, все будто застыло в нем, и на сердце все замерло, затихло, будто заснуло. Не было никаких мыслей, никаких желаний, ни боязни, ни горя, ни радостей, ничего. Все странно, пусто, будто дом, откуда сейчас выехала большая семья. Митя даже испугался этого затишья в себе самом. Но вдруг встал с своего места и даже усмехнулся. Он вспомнил, что ему тысячу раз говорили на Москве, что у заболевающих чумой всегда бывают, без исключения, припухлости и темные пятнышки на теле.

— Вот сейчас разденусь, огляжу себя самого и — шабаш привередничать! — улыбался Митя.

Он снял с себя сюртук, но вспомнил, что отец может войти во всякую минуту, поймать его и рассердиться. Надо будет обманом объяснять ему.

Митя довольно слабыми шагами вышел, прошел через две горницы и, уверенный, что отец не пойдет искать его, начал быстро раздеваться.

«Как это мне раньше на ум не пришло! — думал он.— Буду вот этак себя оглядывать, и покуда никакого пятнышка не увижу, и привередничать не стану. Может, просто застудился; ведь не все же чума». И мальчуган стал улыбаться и подсмеиваться над собой вслух:

— Сплоховал, брат Митрий, так же, как и другие, струхнул, а еще сам недавно смеялся над дворником, что ныне если комар укусит, так уже человек думает — чума села на него.

Слабость мальчугана была настолько велика, что он, довольно медленно раздеваясь, должен был сесть на стул и отдохнуть, еще не успев снять с себя рубашки. Наконец он потянулся, потащил с себя рубашку, стащил ее и стал оглядывать свое, как показалось ему, похудевшее тело. И вдруг мальчуган едва слышно ахнул и покачнулся на стуле.

Он нашел на себе несколько багровых пятен.

От страшного нравственного удара мальчуган лишился сознания и только потому не свалился на пол, что случайно привалился к стене. Через несколько минут Митя пришел в себя и простонал. В ту же минуту дверь растворилась и в горницу вошел быстрыми шагами Артамонов, очевидно, искавший сына по дому. Увидя его почти голого на стуле, старик простоял несколько секунд разиня рот, но вдруг придвинулся к нему, нагибаясь и протягивая слегка дрожащие руки. Он хотел сказать что-то, но язык будто не повиновался ему. Глаза старика отца и сынишки встретились и будто сразу все сказали друг другу. Старик поглядел на худое голое тело сынишки, впился в него глазами и увидел то же, что увидел Митя, понял то же, чего давно уже боялся Митя. Покачнувшись, высокий старик упал на колена около его стула, схватил вдруг сынишку сильными руками, стащил со стула на свою огромную, могучую грудь и закричал хрипливо от душившего его ужаса:

— Нету! Нету! Не отдам я! Не дам... Врешь! Всю Москву переверну, в Питер уедем. Деньгами всех засорю. Нету, Митрий!..

Старик поднялся на ноги с Митей на руках и, не

одевая, голого перенес в спальню, уложил в постель, прикрыл и закричал еще раз как-то дико, будто на целую толпу фабричных:

— Нету! Нету! Врете. Я говорю... Я, Артамонов! — И затем он вышел неровными шагами из спальни, прошел две горницы, спотыкаясь и разводя руками, как бы пробираясь среди полной темноты.

Во второй горнице он еще более махал руками, будто стараясь ухватить что-нибудь, и вдруг закричал на весь дом:

— Стой! Стой! Держите! Помогите!

И Павла, шедшая в это время по коридору и слышавшая этот страшный крик, понявшая его, конечно, по-своему, услыхала, как что-то глухо грохнулось на пол.

Перепуганная, вбежала она в горницу и нашла старика Артамонова, в полузабытьи протянувшегося на полу. Перепуганная женщина, от роду не видавшая отца в этом виде, знавшая, что Артамонов человек железного здоровья, никогда не бывал без памяти, смутно поняла, что случилось что-то особенное. И первая же мысль ее была, что отец узнал об ее свиданиях. Стремительно бросилась она в другие горницы, звала Митю и нашла его в постели, с закрытыми глазами. Думая, что он спит, она стала звать его, схватила одеяло, увидела его голого — и вдруг поняла все. Через секунду, сообразив, что делать, Павла созвала людей, послала их на помощь к отцу и брату, а сама бросилась бежать в домик, где еще надеялась найти Матвея. Застав его уже садящимся на лошадь, она успела только крикнуть ему, в чем дело, и попросить прислать доктора. Затем, точно так же бегом, она бросилась назад домой. Старик уже пришел в себя и был в каком-то странном состоянии отупения.

— Павла! Павла! У нас-то что! — выговорил старик, как-то тупо глядя на дочь.

— Ничего, батюшка! Бог милостив! Как можно себя так пугать?! Ведь вы на пол упали. Сейчас будет лучший доктор. Узнаем... Что же мы-то в этом понимаем?

— Будет. Ну, да, спасибо. Всех надо. Всех докторов надо. Виноват я пред ними. Все их ругал. Пред всеми я виноват. Все вы меня простите! — шептал старик виноватым голосом.

— Ведь не все же, батюшка, от этой хворости умирают,— выговорила Павла.— Мало ли народу выздоравливает. Заболеть — не значит помереть.

Павла не успела выговорить это, как Артамонов

широко раскрыл глаза, ахнул; слезы в три ручья брызнули у него из глаз, он вскочил с места, схватил дочь, стал целовать ее и залепетал, как малый ребенок:

— Павлининька, голубушка, умница! разум раскрыла... Ах, и дурак! Вестимое дело! Что же это я! Ах я баба поганая!

И старик вдруг быстрыми шагами пошел к сыну.

Митя лежал с закрытыми глазами в полудремоте. Артамонов сел на кровать, у него в ногах, и выговорил самому себе едва слышно:

— И не встану отсюда, покуда не выздоровеешь.

IV

В тот же день явились в дом Артамоновых три доктора, один за другим, посланные Матвеем. Все они осмотрели больного, все трое пробовали заговаривать с больным и с стариком отцом, но не добились ничего ни от того, ни от другого.

Митя странными, тусклыми глазами смотрел на каждого из докторов, которые ворочали его, и почти не отвечал на вопросы. На лице мальчугана можно было прочесть убеждение, что все это одна лишняя возня и что от того, что чует так ясно его сердце, не уйдешь. Артамонов не двигался с постели сына, на которой он сидел, почти бессмысленно смотрел на тех же докторов и ровно ничего не отвечал. Павла, принимавшая докторов, объяснялась за отца и за брата.

Двое из докторов поняли, что мальчуган глубоко, фанатически, не по летам, убежден в своей смерти и что самое это убеждение увеличит лишь опасность болезни и может только привести к худому концу. Молчание убитого горем старика было еще легче понять. Только третий доктор или ничего не понял, или, боясь за самого себя и явившись на одну секунду, даже не дал никакого лекарства. В сумерки посланный от Воротынского объяснил Павле, что наутро будет, может быть, самый доктор Шафонский, с которым Воротынский не мог повидаться, так как тот всю ночь проработал безвыходно в кабинете главного начальника края. Павла, чтобы утешить отца и обнадежить Митю, объявила им, что наутро будет самый главный доктор, который, конечно, в два-три дня вылечит Митю.

При имени Шафонского старик как бы очнулся;

Митя тоже шире открыл глаза, но, сдвинув брови, вздохнул и выговорил, не глядя ни на кого:

— Незачем; нешто они могут знать, что я знаю; нешто доктор может увидеть то, что я чую на сердце. Мне виднее. Я лучше знаю.

— Что же ты знаешь? — выговорил Артамонов.

— Помираю, тятя.

— Не смей ты этого думать! — как-то дико, будто теряя разум, прокричал старик, оглушая больного.— Не смей! язык вырву. Скажи еще раз — убью.— Артамонов, дрожа всем телом, встал с кровати сына и, грозясь, поднял над ним свой огромный кулак.

Павла стала успокаивать странно раздраженного отца, который, казалось, окончательно терял рассудок.

— Брось меня! Уходи! — вдруг каким-то беспомощным шепотом отозвался старик и снова сел на то же место постели сына. Он смутно вспомнил, что обещал не вставать и не уходить, покуда Митя не выздоровеет.

Так наступила ночь. Митя забывался, дремал, тихо бредил, приходил в себя, тусклым взором озираясь кругом, подолгу глядел на отца, неподвижно сидевшего на кровати. Ночь была сырая, пасмурная, и на дворе моросило мелким дождем, как осенью. Тишина в доме была мертвая, и за эту ночь раз Митя, придя в себя и открыв глаза, встретил почти страшный взор отца.

Долго поглядев друг другу в глаза, старик и мальчуган, вдруг по какому-то общему для обоих чувству, нежданно сказавшемуся у них на сердце, отвели глаза, будто оробели оба, будто смутились. Митя стал смотреть на стену, и по его сильно изменившемуся, бледному лицу заструились, сверкая в лучах нагоревшей свечи, крупные слезы. Артамонов отвернулся в то же мгновение от сына, тихо, как от большой физической боли, простонал, медленно покачал лохматой седой головой из стороны в сторону и согнулся, понурился. И с этой минуты уже не суждено было старику снова когда-либо выпрямиться и гордо расправить свои могучие плечи.

Чрез несколько мгновений Митя, украдкой, краем простыни обтер свое мокрое от слез лицо и тихо позвал отца. Не сразу очнулся старик — так тяжелы были его думы.

— Тятя! — через силу и громче выговорил мальчуган.

— Ну, что? — встрепенулся Артамонов.

— Тятя, скажи мне! — начал было Митя и, смуща-

ясь, не знал, как сказать отцу то, что просилось на язык.— Скажи мне,— тише выговорил мальчуган,— очень там страшно или нет? Что там будет?

— Где там? — глухо отозвался Артамонов, поворачивая голову к сыну и вскидывая на него грозными глазами.

— Там, тятя. На том свете. Я ведь мало знаю. Я боюсь, тятя.

— Не бывать тебе там! — снова грубо, безумным голосом, хотя тихо, выговорил Артамонов.— Не дам я тебе помереть или помру с тобой. Тогда вместе пойдем.

И, помолчав несколько мгновений, старик прибавил:

— А более ты со мной об этом не говори!

— Ладно! — отозвался Митя.— Более говорить не будем, только дай последнее слово сказать. Буду я жив — хорошо; не буду жив, обещай ты мне исполнить просьбу. Слышишь? — строго выговорил мальчуган.— Обещай свято исполнить. Побожись.

— Ну?

— Не выкидывай меня на улицу, как я Тита выкинул.

— Ох, был бы ты здоров, отдул бы я тебя до полусмерти! — забормотал Артамонов, страшно озлобляясь.

Но Митя не обращал внимания на гнев отца и продолжал:

— И не давай меня везти на чумной погост. Не хочу и там быть. Побожись ты мне, что похоронишь так, как дворяне проделывают теперь в Москве. Ты слушаешь? Вели выкопать яму тихонько от всех в дому в подвале да там тихонько от всех и положишь.

— Что? — диким шепотом отозвался Артамонов, вдруг встрепенувшись всем телом и поднимая с постели сына.— Что? Скажи! в подвале?

— Да, тятя. Не ты первый. Так делают. Кому охота на чумной погост! — говорил Митя.

Но Артамонов, стоявший пред постелью, схватил себя за волосы, судорожно стиснул голову обеими руками и проговорил себе самому:

— Да вот, вот. Вот теперь верю. Я уже копал! уже копал с Егором в подвале. Копал! — И, не сознавая, что́ он делает, Артамонов мерными шагами пошел вон из комнаты.

Больной ничего не понял, но, потрясенный видом старика отца, почувствовал себя хуже и чрез мгновение

снова был в забытьи. Старик, не двигаясь, просидел всю ночь в соседней комнате, не наведываясь к любимцу.

Теперь, после странной просьбы мальчугана, старик, никогда не бывший особенно суеверным, был вполне убежден, что сын умрет. Он вспомнил вдруг, что видел во сне, как роет яму в своем подвале.

Поутру Артамонов, войдя к больному, был на вид гораздо спокойнее, но с сильно изменившимся лицом, и глаза его странно блуждали кругом, будто постоянно искали чего-то беспокойно и бессмысленно. Митя, уже с час пришедши в себя, слабым голосом попросил отца позвать священника, чтоб исповедаться и причаститься.

Если мальчуган четырнадцати лет всегда казался старше и по лицу, и по голосу, и по разумным речам, то теперь — в постели, умирающий — он казался еще старше. Слабо, но с решимостью в голосе Митя повторил свою просьбу.

— Священника? что же? доброе дело, христианское,— спокойно проговорил старик, как если бы дело шло о самой простой вещи и о человеке, ему совершенно постороннем. Казалось, что он даже не сознает, о чем ему говорят и что он сам отвечает. Однако старик тотчас послал двух людей пригласить в дом священника с дарами, а сам пошел бродить по всему дому, растворяя и не запирая за собою дверей, и, таким образом, около часа пробродил по всему дому бесцельно и бессмысленно. Казалось, что он что-то ищет, не может найти и упорно продолжает искать.

Посланные вернулись обратно, объявив, что не нашли священника, так как новым распоряженьем преосвященного им запрещено ходить на дом с дарами. Артамонов при этом известии вполне пришел в себя, и это полное сознание, вернувшееся к нему, сказалось страшным гневом и злобой.

— Как? запрет положен! Больному причаститься нельзя! Да за это мало их всех четвертовать! — стал кричать старик.— Вздор! У меня сейчас дюжина будет!.. А то самого преосвященного за хвост приволоку сюда!

И злоба сменила в старике горе. Он крикнул на весь дом:

— Шапку! Лошадей!

Через несколько минут Артамонов, растворив настежь ворота, несмотря на карантин, выехал со двора и поехал искать священника.

V

Скоро Артамонов, рыская по Москве, вполне убедился, что слышанное им от людей распоряжение преосвященного действительно правда. Можно было достать священника только с тем условием, что он приблизится к окну дома нижнего этажа, исповедует больного через окошко, не входя в дом и не прикасаясь к нему, и таким же образом причастит. Стащить больного Митю с верхнего этажа в подвальный, положить на подоконник и, таким образом, исповедовать и причащать показалось старику Артамонову немыслимо, позорно, даже греховно.

— Да это балаганное позорище будет! скоморошество! — кричал Артамонов на одного из священников, которого звал к себе.

Но священник стоял на своем, ссылаясь на указ Амвросия.

Старик был так взволнован, в таком нравственном состоянии, что забыл о том, что всегда, везде, за всю его жизнь выводило из затруднения. Он просто-напросто совсем забыл о своих деньгах, забыл, что, предложив крупную сумму первому попавшемуся попу, он заставит его не только прийти в дом и горницу больного, но и сделать все, что только ему надумается.

Но, видно, судьба хотела несчастьем одного осчастливить другого.

Выйдя из маленького домика священника, Артамонов не сел в свой экипаж, а пошел пешком посреди улицы, махая руками и вслух рассуждая сам с собой, и на его бессвязные речи невольно оборачивались прохожие.

В числе этих прохожих попался навстречу старику старый, седой как лунь, еще седее самого Артамонова, старик священник от Крестца. Ему нетрудно было понять речи Артамонова, так как вся Москва только и говорила о том, что, наконец, и причащаться нельзя умирающим. Поняв, в чем дело, священник, отец Авдей, догнал и остановил Артамонова. И на него вскинулся Артамонов, грозясь Амвросием всему духовенству.

— Полно, полно, ваше степенство, не тужи! Знаю я про греховный указ владыки... Сейчас я тебе все справлю; только у меня денег ни алтына. Дай мне рубль, и сейчас я тебе все справлю.

Артамонов вынул целую пачку денег, но старик отец

Авдей взял рубль, а остальное стал совать в руки купца. Но Артамонов не брал, и отец Авдей, чтобы не терять времени, сунул деньги в оттопырившийся карман сюртука Артамонова. Но Артамонов озлился, выхватил пачку и злобно швырнул на землю.

— Так вот же тебе, если не хочешь! — крикнул он.— Пущай прохожие подбирают.

— Ну и пущай! — кротко улыбаясь, отозвался отец Авдей.— Может быть, и бедным перепадет, а мне даром брать не рука.

— Чуден ты, батька! — крикнул Артамонов.

— Ох, не я! Чуден, да не я,— вздохнул отец Авдей.— Ты, купец, чуден! Ну, да что время терять!

И старик священник, взяв подробный адрес купца, обещался быть через часа полтора с дарами у него на дому.

— Я бесприходный — от Крестца, но есть у меня один иерей, который мне в этом деле не откажет. Только с условием, купец, молчи; достанется мне. А я же доброе дело хочу сделать.

Артамонов вернулся домой и, не входя к сыну, стал ждать, высунувшись из окна и оглядывая всю улицу. Он с нетерпением, с дрожью на сердце ждал нового знакомого, т. е. священника. Ему хотелось верить, что как только мальчуган исповедуется и причастится, то еще Бог весть, что будет. Смилуется Господь над ним!

А в это время в горнице больного сидела около постели на стуле Павла вся пунцовая, вся в слезах и сдерживала рыдания. Мальчуган братишка лежал в постели тоже с легким болезненным румянцем на щеках. Он сейчас, в отсутствие отца, увещевал сестру, увещевал, как мог бы это сделать старик отец, а не четырнадцатилетний братишка. И последнее его слово было:

— Я помираю, мне все едино; но помни, сестрица, мое слово: не женится он на тебе; а уже коли и был грех, так скорее отойди от него. Брось и замоли грех.

И при голосе младшего брата Павла будто проснулась от своего очарованного сна, длившегося так долго, и в первый раз поняла все, что произошло с ней за последние дни,— все, что сделала она как бы в каком-то опьянении. Наконец она поднялась, опустилась на локтях около брата, взяла в руки его горячую голову, стала целовать, не думая о страшной болезни, и тихим, но страстным шепотом сказала ему на ухо:

— Митя, голубчик, спасибо тебе. Нет, он женится на

мне, клянусь я тебе Божьей Матерью и всеми святыми угодниками. Женится,— на то я Павла, Павла Артамонова, такая же, как батюшка и ты. Женится, Митя. А не женится, то я зарежу его собственными руками. Я так много люблю его, что могу зарезать; кабы не любила,— не могла бы. Но я так люблю его, что рука не дрогнет. Да нет, пустое, он обещал, он женится.

— Нет! Нет!.. вот тебе мое последнее слово,— прошептал Митя.

Павла выпрямилась и выговорила тихо:

— Ну, так мы с ним будем на том свете. Только он будет с праведными, а я с грешниками и убийцами...— И Павла быстро вышла из горницы брата, услыхавши шаги отца.

Придя к себе в горницу, она вся горела как в огне, и одна главная мысль билась в ее голове:

«Обманет! Не женится! Как же я об этом не подумала? Как же я так доверилась? Где же был мой разум! Да нет, говорю же я: или мой будет, или мертвый будет! Я ведь не из таковских, что слезами кончают. Да нет, пустое. Он сказывает — любит меня пуще света Божьего и женится, как только в городе станет спокойно».

И долго просидела Павла, перебирая все те же тревожные мысли. Когда она пришла в себя, то увидела отца и услышала, что он зовет ее.

— Подь сюда, Павлинька! — говорил Артамонов мягким, ласковым голосом.— Помоги сундук отпереть.

Павла сразу заметила странное лицо и странный голос старика отца и не могла понять причину перемены в нем. Она последовала за отцом в его комнату; вместе отперли они большой, медью кованный, красивый сундук. Он был полон пачками денег. Половина состояния богача купца была здесь в виде бумажек и небольшого количества серебра и золота. Артамонов достал несколько толстых пачек, в которых было тысяч двадцать, запер сундук и пошел к сыну.

Павла последовала за ним и нашла там седенького священника, которого она не знала. Это и был отец Авдей. Он уже являлся во второй раз. В первый раз он исповедовал и причастил больного, и на неотступные просьбы Мити прийти снова — возвратил святые дары в храм, вернулся и снова сел около постели умирающего отрока. И здесь, покуда Павла в своей комнате билась и боролась с бесом, ею завладевшим, в этой горнице,

вместе с отцом Авдеем, пришли в душу умирающего и в душу огорченного отца тишь и благодать.

Отец Авдей тихо, просто и кротко пробеседовал около часу с Митей и с стариком, и оба слушали священника, и оба дивились.

Старик иерей примирил их с Господом Богом, и теперь Артамонов, войдя в горницу, сунул в руки старика священника несколько больших пачек ассигнаций, говоря:

— Ну, отче, бери, да и этого тебе мало за твое дело. Что деньги — прах! Господь воздаст тебе за то, что ты сделал. Человек за это наградить не может. Это дело Господа Бога, а я, грешный, только могу, что денег дать по моему состоянию.

Отец Авдей, увидя эту кучу денег, никогда им не виданную, отстранился как перепуганный. Он даже в лице переменился; сатанинским наваждением пахнуло на старика священника от страшной кучи денег.

— Бери! — говорил Артамонов.— Много тут, слова нет, да я хочу; за твое дело мало и этих денег.

— Нету! Нету! Что вы, Бог с вами! Как можно! — шептал отец Авдей, и губы его тряслись; он будто стоял на краю пропасти, куда его толкали и где должно было с ним совершиться что-то. Может быть — дивное, волшебное, а может быть, и пропадет он.

— Бери! — мягко повторил Артамонов со слезами на глазах.

— Да, батюшка,— берите. Что это, прах! — прошептал слабым голосом Митя.— Вот родитель за меня бы теперь не то дал, все бы за меня отдал, чтоб мне остаться в живых, а не может. Не может, потому что это прах, жизни этим не купишь. Берите!

Отец Авдей поднялся с места, схватил свою шапку, лежавшую на подоконнике, и хотел уже бежать от соблазна и искушения. За минуту назад лицо его, ясное, кроткое, теперь изменилось: губы подергивало, он был перепуган.

— Стой! — крикнул Артамонов и бросился между священником и дверями.— Стой, батюшка! Так не хочешь, то, вот тебе, погляди! — И Артамонов опустился на колени пред священником, протягивая ему те же деньги.— Еще ни перед кем Мирон Артамонов по полу не ползал, а перед тобой, святой человек, это не грех да и не срам. В ножки кланяюсь! Хочешь — лбом в землю бить буду. Бери!

Отец Авдей остановился, держа шапку в руках, и, окончательно потерявшись, только оглядывался кругом. Артамонов положил всю кучу пачек в шапку, потом встал, крепко обнял старика и расцеловался с ним.

— Приходи к нам опять — ввечеру ль, заутра ль, только приходи.

Чрез несколько минут Артамонов сидел около постели сына грустный, но спокойный, а Митя после беседы с священником, глубоко потрясшей и взволновавшей его, снова забылся и тихо шептал бессвязные речи, снова поминая и генерала, и домик в бархате и золоте. Имя Павлы повторялось тоже.

Молодая женщина слышала эти бессвязные речи и, смущенная, испуганная, стояла у окна, прислушивалась к каждому слову бреда больного брата и пугливо, изредка взглядывала на старика отца.

Она все понимала, но поймет ли старик? Но Артамонов слушал бред сына и ничего понять не мог.

Отец Авдей шел по улице и уже был далеко от дома Артамоновых и точно так же, вытянув руки вперед, нес свою огромную шапку, наполненную пачками ассигнаций, и только повторял пугливо:

— Господи, помилуй! Господи, оборони! Так что же теперь делать? Что же это будет? Жена, внучатки? Что же это с нами будет? — И, только пройдя довольно далеко, старик сообразил, что надо перекласть деньги в карман, надеть шапку и бежать скорей домой и там уже обдумать страшное, невероятное событие, с ним приключившееся.

Из нищего, бесприходного попа, умирающего с голоду вместе с женой и с кучей маленьких внучат, он стал в одну минуту богаче самых богатых соборных протопопов.

VI

Митя целый день не приходил в себя, и только ночью уставший старик, все сидевший около больного, был разбужен сыном.

— Тятя! тятя! — услыхал он довольно громкий и тревожный голос Мити.

— Что? — встрепенулся старик.

— Тятя! Ведь это же она! чума! Ведь мы забыли... Ведь ты со мной... ты все со мной... и Павлинька тоже.

Ведь я вас заразить могу,— и вы помрете. Уходи скорей! Запирай дверь! Уходи! Поцелуемся! Ах, нет, нельзя. Уходи, тятя! — И Митя с страшным усилием, исхудалый, с болезненно-синим лицом, вдруг поднялся, сел на кровать и протянул руки на отца, гоня его от себя.

— Уходи! Уходи! — через силу повторял он и снова упал на подушки.

Старик нагнулся над любимцем, стал целовать его потное лицо и выговорил тихо и ласково:

— Заразить можешь! Вестимое дело, Бог милостив. Вся моя надежда на то, что уйду за тобой чрез несколько денечков. Жди меня, мой голубчик. Слышишь ты? Обещаю я тебе: все, что только могу, проделаю, чтоб вслед за тобой пойти. А ты, вишь, глупый, думал, что я жить стану. Нету! Воля Божья на все. Насильно не умрешь. Самоубийцей я не буду, но все, что в моей воле грешной, то все проделаю, чтобы недолго протянуть.

И все это старик сказал так тихо, так ласково, с такою любовью, целуя сына, что Митя обхватил большую седую голову, наклонившуюся над ним, крепко обнял и, пробыв несколько мгновений с сладким чувством на сердце, снова потерял сознание. И худые руки сами собой с седой головой упали на простыню. И то, что сказал ему теперь старик отец, были последние речи земные, которые слышал мальчуган. Он уже не приходил в себя.

На другой день вечером Артамонов, долго прождав, что сын шевельнется или хоть двинет рукой или головой, взял его за руку, потом быстро стал щупать, хвататься за него, за его руки, за плечи, схватил голову, сжал ее в своих больших руках и вскрикнул раза два:

— Митя! Митя!

И тихо стал он опускаться на пол около постели; но он не опустился на колена, а все его большое тело, потерявшее силу, опускалось само собой, как безжизненное, и, наконец, старик уже лежал на полу, и в горнице пронесся только раз едва слышный стон его. И до утра пробыли так: мертвый мальчуган в кровати, а старик без сознанья — на полу, и никто не вошел в горницу. Людям было запрещено, да они и сами боялись, зная, чем болен молодой барин. А Павла не вошла, потому что, выйдя тайком из дому около полуночи, пробежала сад, вошла в сказочно разукрашенный домик и осталась там до зари. Она любила брата; горе ее было сильно; но сатанаискуситель был еще сильнее. Там, в этом домике,

у Матвея, потеряла она давно душу, сердце, и разум, и волю.

На заре, когда стало немного светать, Павла снова пробежала через сад, украдкой проскользнула в дом и прямо прошла в свою горницу.

Мертвая тишина в доме, конечно, не удивила ее и не остановила. Через несколько мгновений Павла спала мертвым сном. И если бы кто мог заглянуть теперь в душу этой опьяненной счастьем женщины и в душу старика, без сознанья лежавшего на полу у постели маленького покойника, то он, быть может, разгадал бы мудреную загадку — загадку, на которой весь мир стоит.

Проснувшись поздно, Павла узнала от людей о смерти брата и оторопела, смутилась; ей стало и горько, и стыдно за себя. Она взяла себя за голову и прошептала:

— Ах, пропала я! Что делаю — и сама не знаю. Такое делаю, за что и Бог, и люди накажут.

И Павла почувствовала, что тотчас же не может идти в горницу, где лежал покойный маленький брат.

— Нет, таким, как я, в такие горницы ходить грех.

И ей казалось, что, помимо стыда и укора совести, ей даже страшно приблизиться теперь к этому покойнику, который умирал, покуда она была, забывая весь мир, в объятиях Матвея. И Павла осталась в своей горнице, решившись солгать отцу, если он придет, и сказать, что она уже была в горнице покойного.

Но старик только раз вошел в дом и снова вышел. Где он пропадал весь день, Павла не могла понять.

И старик Артамонов, скрытно от дочери и от всех домашних, взяв самого верного из всех людей, был в подвале, чтоб, скрыв покойника от всех, успеть похоронить сына ввечеру. Артамонов вернулся домой и объявил всем домашним, что если кто проронит хоть словечко про покойника в доме, то он тысячи не пожалеет, а его в Сибирь спровадит.

Когда совершенно стемнело на дворе, старик поднял с постели маленького, исхудалого, обезображенного страшной болезнью покойника, взял его на руки и, обернув в темное одеяло, осторожно ступая, чтоб не разбудить кого-либо из домашних, понес его в подвал, где был лишь один пожилой мужик и сидел с фонарем около глубоко выкопанной ямы. Артамонов спустился в подвал, осторожно положил в яму свою ношу, но едва только он выпустил ее из рук и хотел сказать что-то

мужику, как все потемнело в глазах его. Старик в полузабытьи протянулся на земле около ямы.

Догадавшийся слуга без приказа, схватив лопату, начал захватывать большие глыбы из навороченной кучи земли и сыпать в яму, в которой под рыхлой землей исчезали бледные, худые члены синеватого тела и складки мягкого одеяла. И наконец все сровнялось, Артамонов пришел в себя, оглянулся и, приподнявшись, сел около свежей могилы.

VII

Матвей Воротынский за последнее время был, конечно, на седьмом небе после своей победы над строптивой и самовольной Павлой. Он считал себя счастливейшим человеком на свете. Победа эта далась мудрено, мудренее, чем когда-либо, и успех льстил его самолюбию. Теперь Матвей был убежден, что на свете не существует ни единой женщины, над волей которой он не мог бы восторжествовать.

Для этого успеха Матвей пустил в ход все, что только мог придумать. Он притворялся, лгал и обманывал Павлу всячески. Он не только поклялся ей при первом свидании в домике, что женится на ней, как только все стихнет в Москве, но даже решился на более дерзкий поступок, на то, что считалось в его время, в его среде, почти святотатством. Он приискал священника и ночью, в домике, как следует, по обрядам церкви, обручился с Павлой.

Впрочем, как и всегда, за всю жизнь играя комедию, Матвей сам не знал, насколько он играет и насколько он искренен. Иногда ему казалось, что, как только чума прекратится, он действительно женится на Павле, выпросит себе прощение и увезет красавицу жену в Петербург, где она, благодаря своей красоте, будет не последней. Иногда же он смотрел на свои отношения к Павле как на затею — милую и дорогую, делавшую его вполне счастливым, но только на время, может быть, даже на несколько лет, но не на всю жизнь.

Время это, со дня первого свидания в домике, конечно, промелькнуло для обоих быстро, как сон,— чудный, волшебный, золотой сон.

Одно только, что слегка смущало Матвея, иногда сердило его и заставляло задумываться, часто пугало его

мечты о женитьбе на Павле — был нрав этой женщины: страстный, огневой, крутой нрав, не знавший предела в любви, в ревности и во власти над своим любовником.

С первых же дней побежденная повелевала вполне. Павла отдалась бесповоротно дорогому человеку, но взяла его в свои железные руки. Матвей не смел шагу ступить без ее ведома, без ее согласия... И однажды Матвей понял, что затеял игру с огнем. Разумеется, это не смутило его...

«Там видно будет — как кончим!» — думалось ему.

Но в беспечной, веселой и счастливой жизни Матвея Воротынского всегда вдруг появлялась одна и та же проклятая помеха, являлась, как бы в насмешку, в самую счастливую минуту и портила все. Этот главный исконный враг молодого гвардейца — был недостаток денег или, лучше сказать,— неуменье справляться с деньгами.

И теперь случилось то же самое. Еще не так давно он получил от княгини Колховской, из рук в руки, огромную сумму денег; но, благодаря всяким затеям, среди которых сказочный, отделанный внутри, домишко был лишь самой малой затеей, он находился снова с несколькими червонцами в кармане.

Вследствие этого за последнее время Матвей не столько мечтал о Павле, сколько о том, как, где и каким образом достать денег или, лучше сказать, откуда снова свалятся к нему громадные суммы.

Вследствие опыта жизни он был, однако, почти убежден, что эти большие деньги непременно свалятся откуда-нибудь, хотя бы с ближайшего проходящего облачка. Но деньги эти, однако, покуда ниоткуда не появлялись.

В это время заболел опасно Митя, единственный наследник миллионера-купца. Матвей всякий день, озабочиваясь его здоровьем, расспрашивал Павлу о ходе болезни и мечтал... Он тотчас же сообразил, что, в случае смерти мальчугана, все громадное состояние очутится в руках молодой вдовы-красавицы и вдобавок обрученной с ним.

В тот день, когда Матвей узнал, что Митя умер, он решил бесповоротно, при первой же возможности, отправиться к старику Артамонову и просить руки его дочери.

Если бы это случилось, то были бы, со временем, на свете три более или менее счастливых существа — муж и жена Воротынские и старик отец, который, быть мо-

жет, когда-нибудь утешился бы с внучатами-дворянами в потере любимца сына.

Однажды, в половине августа, Матвей надевал новый блестящий мундир с тем, чтобы ехать к старику Артамонову свататься за его дочь.

Он знал через Павлу, что старик, грустный, задумчивый, проводит половину дня в подвале около могилы потерянного любимца и половину дня, тоже грустный, сидит у себя дома. Но он знал, что у Артамонова бывали минуты внутренней тишины, в которые он беседовал с дочерью, грустил, поминал своего Митю, но был доступен для всяких бесед.

И вот Матвей собрался ехать к купцу объявить, что он, старинного дворянского рода, офицер гвардии, блестящий придворный, просит руки его дочери. Сомнения в успехе, конечно, быть не могло.

И в этот день, около двух часов пополудни, Павла, горя как в огне, ожидая каждую минуту топот лошадей и фигуру дорогого человека, сидела около отца.

Старик был спокоен, тихо разговаривал с ней, и даже не об Мите, а об ней, о Павле, о ее будущности, о том, что, имея теперь волею Божьей все его состояние, она может выйти замуж самым блестящим образом. Казалось, судьба сама все готовила, все улаживала, а в действительности судьба этого не хотела.

В ту минуту, когда Матвей садился в великолепный новый экипаж, прибежавший из дома его отца лакей, Федька Деянов, принес ему удивительную весть.

VIII

Пожилой бригадир за все время, после смерти Аксиньи, сильно постарел. Он жалел любимицу, вдобавок он уже знал, как она умерла, почти с голода. Сначала он хотел немедленно сослать в Сибирь и даже наказать кнутом на площади своего дурака Деянова. Но затем, по странной капризной случайности, бригадир помиловал холопа и постоянно держал при себе потому, что это был единственный человек, с которым он мог говорить об Аксинье.

И сто, тысячу раз, в особенности по вечерам, дурак Федька, глупо ухмыляясь или глупо хныкая, рассказывал бригадиру, как он носил пищу Аксинье, что Аксинья говорила, как она умерла и много других вещей, которые

все до единой он сам сочинял. А бригадир, человек неглупый, верил достословно, потому что ему хотелось верить, хотелось говорить о покойной любимице.

Когда прошло около месяца после смерти Аксиньи и весь дом, оставленный с распертыми окнами и окуренный несколько раз, стал не опасен, бригадир снова вернулся в него и жил, никуда не выезжая и никого не принимая. И любимое занятие его состояло в том, чтобы ходить в комнату Аксиньи, посидеть немножко и подумать о ней, погоревать вместе с дураком Федькой.

В конце июля месяца в доме появился новый приятель Федьки, человек старый, худой, с изможденным лицом.

Сначала он жил в дворницкой, потом перешел во флигель, потом, с позволения бригадира, поселился в доме, и вскоре стал помогать Федьке во всем, что тот делал. Звали этого человека Ильей. Он был тихий, скромный, такой же нелюдим, как и бригадир.

Когда он не работал, помогая Деянову, то сидел, не шелохнувшись, в своей горнице и будто думал о чем-то, положа лысую голову на руки, или, быть может, дремал по целым часам.

Однако иногда, очнувшись, он глубоко вздыхал или стонал.

Федька был с ним очень дружен, очень расхваливал его бригадиру, но, однако, всегда, говоря о нем, как-то особенно глупо ухмылялся и иногда вдруг вместо того, чтобы назвать нового человека Ильей, он называл его Василием. Но бригадир этого не заметил.

А в доме был страшно изменившийся от второй болезни, уже после смерти жены, не кто иной, как Василий Андреев, и был он в доме с постоянно дорогой мечтой — зарезать бригадира.

Если бы не эта мечта, если бы не эта страшная жажда мести, которая сжигала его, то казалось, что Василий Андреев был бы давно на том свете. После смерти Аксиньи он был снова долго болен и едва не умер. Но, когда сознание после тяжелой болезни снова явилось к нему, он быстро стал поправляться и оживать, потому что это сознание заключалось в жажде мести.

Василий Андреев иногда чувствовал, что он только этим и живет и что как только удастся ему исполнить его намерение, то силы оставят его.

Бригадир видел когда-то Василия Андреева, но мельком, и если бы даже хорошо знал его, то не мог бы узнать

теперь. Не осталось ничего общего между прежним бодрым и даже, пожалуй, красивым дворовым и тем, что он стал теперь. Ему казалось на вид около шестидесяти лет, и черты лица, изуродованные двумя тяжкими болезнями и страшным горем, были совершенно другие.

Василий Андреев иногда сам, глядя на себя в зеркало, качал головой и шептал:

— Тело-то человечье от печалей и радостей человеческих меняется. Теперь бы меня и Аксиньюшка — будь она жива — не признала бы.

Вскоре после своего появления в доме бригадира Василий Андреев жил уже в одном этаже с ним и услуживал ему, даже нравился бригадиру своим спокойствием.

Василий Андреев, конечно, давно мог бы исполнить свое намерение и убить одиноко живущего бригадира, который еще с начала чумы распустил, разогнал свою дворню, а после смерти Аксиньи перевез в другой дом свою семью, называемую в Москве «сиротским отделением». Но Василий Андреев медлил, и по двум причинам. Во-первых, он хотел убить бригадира так, чтоб ни малейшего подозрения не пало на него. Жизнь была ему не дорога, но он находил наслажденье в мысли, что он отомстит, а сам не ответит. Отомстить, а потом пойти в Сибирь не удовлетворяло его. Кроме того, Андреев медлил и по другой причине: ему хотелось обставить свою месть особенно. Затея его была страшная, бесчеловечная, но взлелеянная на сердце, глубоко настрадавшемся. Ему хотелось, оставшись наедине с бригадиром сутки или двое, потешиться над ним, постепенно, как бы на маленьком огне сжечь своего давнишнего врага и злодея, разбившего всю его жизнь.

И это удалось Андрееву.

Однажды Федька Деянов был отправлен бригадиром в подмосковную вотчину старого приятеля за каким-то новым чудным лекарством от чумы, слух о котором дошел до него. Федька отлучился на два дня, и Василий Андреев принялся за дело. Взяв под кафтан топор и пилу, он вошел в кабинет бригадира, запер за собой дверь и глубоко, странно, даже страшно вздохнул, будто громадная тяжесть, навалившаяся на его плечи и годами давившая его, теперь свалилась с плеч.

— Настал час, и на моей улице праздничек! — глухо пробурчал он сам себе.

Бригадир сидел в больших креслах, у окна второго

этажа, и смотрел на пустой двор, на пустынную улицу, где уже было много вымерших и заколоченных домов. И среди мертвой тишины появление нового холопа, называемого Ильей, странно подействовало на Воротынского. Очевидно, что нечто, присущее в человеке, умнее самого человека, дальновиднее человека, почуяло и подсказало бригадиру, что наступает для него страшный час. Да и фигура остановившегося перед дверьми, слегка сгорбленного Василия Андреева была действительно страшна. Он стоял, глядел, не спуская мутных глаз с своего врага, и не спешил. Он знал, что за целый день, за два — никто не придет, не приедет, не помешает его делу. И вот Андреев двинулся, выложил из-под полы на подоконник огромный топор и большую пилу и снова вздохнул.

— Что ты? Что тебе? — уже тревожным голосом заговорил бригадир.

— Аксинью помнишь? — отозвался тот.

— Что?

— Ну, так вот я за Аксинью расправиться пришел с тобой — сатаной! — тихо и спокойно выговорил Андреев.— Не признал меня, старый дьявол, греховодник,— не почуяла твоя смрадная душенька, что я Василий Андреев, муж ее.

Бригадир в эту минуту все понял, вскочил с своего места и, угрожая, бросился на Андреева, чтоб, оттолкнув его от двери, выбежать вон.

Но едва он приблизился к этому сгорбленному человеку, который казался на вид не сильнее ребенка, он получил страшный удар кулаком, который сразу отбросил и опрокинул его навзничь на пол. В отчаянии и в ужасе бригадир снова вскочил, снова бросился на врага, и от другого, еще более сильного, удара снова упал на пол. А Василий Андреев стоял на том же месте, только рука его качалась после двух страшных ударов, которые дала.

И с этой минуты началась ужасная борьба и страшное дело, которого никто не мог видеть. То, что сделал здесь тихо, не спеша, Василий Андреев, то, что он начал поутру и кончил лишь к вечеру, мог только сделать или страшный изверг, или безумный; да, быть может, Андреев и был наполовину безумный. Бригадир умирал несколько часов под пилой и наконец испустил дух в страшных, отчаянных мучениях.

Целый день раздавались вопли и стоны в пустом

доме; прохожие издали слышали их, но на Москве в эти дни на каждом шагу совершалось такое, что всякому было не до чужого дела, не до чужого несчастия.

Чрез два дня Федька Деянов вернулся в Москву, вошел в дом, с диким криком выскочил тотчас же обратно и как полоумный бросился бежать к молодому Воротынскому.

И вот, в ту минуту, когда Матвей, в новом щегольском мундире, садился, чтобы ехать к Артамонову, он узнал о смерти отца,— но не от чумы.

Матвей часто подумывал, что хорошо было бы бригадиру отправиться на тот свет от матушки-чумы и оставить ему все-таки кой-какую малость состояния,— хотя бы дом и небольшое имение, и то бы хорошо было. Можно бы было тотчас же спустить с рук и то, и другое и пожить некоторое время на эти деньги до свадьбы с Павлой.

Но весть о том, что отец зарезан, и притом так, что Федька и объяснять не стал, а только махал руками, все-таки смутила молодого малого. Он поскакал в дом отца. Хотя не любил он бригадира, которого едва знал, хоть и был он крепок духом, но, однако, войдя в горницу, где был убит бригадир, Матвей, увидя отца, вздрогнул, закрыл глаза и вышел вон.

Офицер тотчас же поехал к Еропкину заявить о случившемся и просить разыскать злодея.

Между тем время уже шло и смеркалось; ехать к Артамоновым было невозможно, и Матвей отправился в свой домик в ожидании Павлы.

IX

Едва немного стемнело, Павла, как и всегда, тайком от отца, пробежала сад, явилась в домик и бросилась на шею друга.

Вследствие этих постоянных свиданий, они оба понемногу привыкли к ним; менее уже соблюдали тайну и были неосторожны. На этот раз они сидели у открытого окна, выходившего в сторону сада Артамонова, и громко говорили. Матвей рассказывал о смерти отца и о том, что весть эта задержала его в ту минуту, когда он ехал к ним в дом решать судьбу свою и ее.

Между тем старик Артамонов бродил по саду от

тоски, снедавшей его, и случайно очутился в том углу, где за чащей начинался огород пономаря и стоял покосившийся домишко. И среди тишины ночи, среди пустынной улицы, Артамонов услыхал веселые голоса, остановился и прислушался.

«Вот,— подумал он,— кому горе, а кому весело живется». И он стоял, прислушиваясь к этим веселым голосам. Но вдруг его нагнутая уже давно голова приподнялась, сгорбленное туловище выпрямилось, плечи расправились, и, в первый раз после ужасных дней болезни и смерти Мити, старик Артамонов был снова прежний Мирон Митрич, гордый и крутой нравом старик-богатырь.

Он услыхал теперь ясно и узнал голос... дочери.

И твердыми, бодрыми шагами пошел он к забору, глянул в щель между двумя досками и увидел Матвея, увидел дочь. Рука ее была на голове офицера, лицо которого было ему как будто знакомо. И она, его Павла, которую когда-то он любил не менее Мити, эта Павла, чрез несколько дней после страшной смерти маленького брата, весело целовала какого-то офицера. Артамонов толкнулся в забор, бросился вправо, влево, но, не найдя калитки, быстро, как молодой малый, перемахнул чрез забор, и только забор этот жалобно заскрипел под тяжелым молодцом-стариком.

Чрез несколько мгновений, пройдя незапертые комнаты и растворив настежь дверь, Артамонов явился в великолепно убранной комнате перед молодыми людьми.

Павла страшно, дико вскрикнула и упала без чувств на пол. Воротынский бросился к старику, забрасывая его речами, уверяя, божась, объясняя все, говоря все то же, что должен был сказать в тот же день утром. Но обстановка была другая. Артамонов только глядел на офицера и, не вымолвив ни слова, повернулся и тихо, спокойно побрел домой.

Когда Павла пришла в себя, то не знала, что делать, оставаться ли или идти домой. Матвей всячески успокаивал ее, уверяя, что завтра же будет у Артамонова, что все объяснится, все кончится благополучно, но Павла будто почувствовала, что всему конец.

И наконец она решила, что ни за что не вернется в дом отца. Напрасно Матвей убеждал ее, говоря, что она испортит окончательно все; но самовольная Павла стояла на своем и объявила, что скорее пойдет бродить по

улицам Москвы, если он будет гнать ее, но к отцу не вернется.

Между тем Артамонов, вернувшись, прошел прямо в подвал на дорогую могилку, опустился на колена около насыпи и около маленького беленького крестика, который он сработал топором и сам поставил. Несколько минут помолился он и затем теми же спокойными шагами отправился к себе. Но лицо его было бледно, глаза сверкали из-под нависших седых бровей, и невозможно было сказать наверное, в полном ли рассудке старик. Он вошел в ту горницу, где стоял уже несколько годов его красный сундук, переполненный пачками денег, где была половина его огромного состояния. Он отворил сундук и несколько минут простоял над ним, глядя на кучи ассигнаций.

И затем, вплоть до утра проработал в этой горнице крутой и полуубитый горем старик.

Все, что было в сундуке, все понемногу перешло в большую печь и все сгорело; сгорело то, что могло бы сделать счастливыми тысячу людей,— то, что собиралось годами, десятками лет. Но ведь это все завоевывалось когда-то для мальчугана, который был теперь уже зарыт в подвале, все завоевывалось для дочери, которая, по собственной воле, вышла замуж и была несчастлива, но которую он любил и уважал, а теперь и этой дочери не стало — она тоже умерла для него.

Наутро сундук был пуст, а несколько мешков с золотом выносил дворник и клал в рыдван, стоявший у подъезда.

Рано утром Артамонов выехал из дому. Иногда на перекрестках он останавливал кучера, выкидывал мешочки с золотом, среди слякоти улицы после дождей, и ехал далее. Кучер невольно покачивал головой и сожалел о барине, который ума лишился.

Тем не менее, после небольшой прогулки по Москве, все мешки золота были разбросаны, и по крайней мере на этот раз нашлось в Москве несколько безумно счастливых людей, которым судьба послала богатство.

Разбросав все деньги, Артамонов прямо отправился в палату, достал трех подьячих, и к вечеру документ был готов о передаче всего его недвижимого имущества в пользу подмосковного монастыря.

При этом старик сделал и завещание, чтобы его любимец сын был выкопан из подвала дома и похоронен в этом монастыре. Про себя старик сказал тоже, чтоб его

выкопали из того же подвала и тоже похоронили около сына. Он был убежден, что умрет через несколько дней. Только при этом условии отдавал он большое состояние в пользу монастыря.

Вечером, когда Артамонов вернулся домой, усталость взяла верх над горем: он лег и тотчас же заснул как убитый.

Через несколько дней сильно изменились обстоятельства. Павла была все в домике пономаря, не смея вернуться в дом. Артамонов исчез из дому, и никто нигде не видал его. Подвал же с железной дверью был наглухо заперт, да в него никто и не заглядывал. Матвей случайно, через подьячих в канцелярии Еропкина, узнал, куда перешло все состояние исчезнувшего старика. Он наведался в дом Артамонова, и здесь подтвердили ему об исчезновении хозяина и, кроме того, прибавили, что сундук, давно всем известный, пуст, а печь полна пепла, и, верно, старик пожег много денег. Кучер рассказал Матвею затею с мешками золота.

И Матвей, быть может, в первый раз в жизни не устоял на ногах, невольно опустился на скамью, около которой стоял, и понурился, и задумался.

Все было кончено. Павла была теперь нищая вдова приказчика с фабрики.

И когда, через несколько минут, Матвей удалялся от пустого дома Артамонова, он остановился на мгновенье, поглядел в ту сторону, где стоял, покосившись набок, разукрашенный внутри домик пономаря и где ждала его Павла. Матвей будто колебался минуту и наконец тихими шагами направился в противуположную сторону на Остоженку, к большому дому, в котором он жил.

X

В последних числах августа жаркие дни и духота сменились пасмурной погодой, мелким дождем, и Москва стояла грязная, в слякоти, в лужах, как в глубокую осень, и выглядела, как говорится, октябрем. Да и самые москвичи смотрели октябрем. Весь люд на Москве — и стар, и мал, и богач, и нищий — приуныл, будто ошалел, и, потеряв последнюю надежду, сновал по городу, будто ища спасения от ходившей повсюду черной смерти.

Мор людской разгорался на Москве все более, и, казалось, до тех пор не прекратится он, покуда не умрет последний человек, последний младенец. Прежде умирало в жаркие июньские и июльские дни по двести человек в день; теперь же умирало по семи- и восьмисот в день. Иногда на день, на два матушка-чума, будто уставши, отдыхала: умрет в эти дни сто, двести человек, и вдруг на третий, четвертый день сразу схватится она за работу, и в один день, с утра и до сумерек, вывезут из Москвы зараз тысячу мертвецов.

И теперь начальство, доктора, духовенство и сам народ, будто чувствуя себя побежденными общим врагом, перестали бороться.

Все меры правительства, все, что придумал Еропкин с Шафонским, теперь окончательно не исполнялось никем, и сами они, будто махнув рукой, уже не требовали исполнения строгих указов. Не все ли равно, ничего не поделаешь.

Сначала еще, весной, народ не хотел идти в больницы, не хотел лечиться, косясь на докторов и разные микстурки. Потом, постепенно, среди лета попривык к новым порядкам и стал было лечиться, стал слушаться начальства, шел охотно и в аптеки, и в больницы, и в карантины.

Теперь же, будто увидя вдруг, что ничто не берет матушку-чуму, слушайся — не слушайся начальства, лечись — не лечись, все то же: мрут люди, и несть конца Божьему гневу, народ снова, более чем когда-либо, перестал повиноваться начальству.

И теперь всякий, умный и глупый, всякий про себя придумывал средство к борьбе с черною смертью. Сегодня кто-либо выдумывал новое питье, и толпы сотнями валили в тот квартал и чуть не разносили по частям домишко, толкаясь в него от зари до зари и слезно прося нового лекарства у его изобретателя.

Завтра появлялась где-нибудь на Сивцевом Вражке старуха просвирня, у которой оказывалась чудодейственная святая водица, прямо из Иерусалима, и туда несколько дней, будто морской волной в прилив, лились народные волны. И просвирня продавала бочками и ведрами иерусалимскую водичку, которой стоило только умыться, чтобы избавиться тотчас же от страшной болезни.

Затем появлялось и проникало в устрашенные и потерянные толпы народа новое известие. Тот, кто отпра-

вится, предварительно не евши ничего целые сутки, в приход к Никите-мученику и отслужит молебен, тот будет тоже спасен.

И эти волны народные, так же как волны, загнанные бурей в залив, бились, сновали, вздымаясь, бросались из стороны в сторону. И вся Москва, от мала до велика, дошла до той степени душевной тревоги, когда всякий пустяк, всякая мелочь и пугали, и радовали, то заставляли плакать, отчаиваться, то, наоборот, восхищали, наполняли светлой надеждой.

И в это время прошла по Москве, как молния, новая, верная весть, что есть наконец спасение от лютой смерти, явил Господь свою милость, и только ленивый или грешник не спасется.

Весть эта, быстро обежавшая Москву, пришла из маленькой церковочки на Солянке, невдалеке от самого людного места Москвы — Варварки, Ильинки и Китай-города.

В этой маленькой, бедной приходской церкви, в домике болтливого и глупого попа Леонтия, приютился, после разгрома начальством «Разгуляя», солдат Савелий Бяков.

Солдат все еще горевал, с самой весны, о потере своего места — звонаря, и теперь он несколько утешился, так как отец Леонтий взял его в звонари своей церкви.

Однажды, когда серые толпы народа бросились к Сивцеву Вражку за иерусалимской водицей, Бяков тоже ушел с прочими. Водичка была ему не нужна. Бяков был убежден, что чума есть собственное людское баловство, людская робость.

— Не робей — и ни за что не помрешь! — говорил он.— Вестимо, что можно испужаться до смерти, это завсегда было. Ну, вот и теперь в Москве всякий человек пужается до смерти хворости, ну — и помирает.

На этот раз в толпе народа, толпившейся вокруг дома просвирни, Бяков встретился с своим давнишним знакомым и приятелем, Ивашкой.

Молодой парень тоже сновал по Москве без дела, как и все, так же, как и все, робел он, так же, как и все, искал всякого средства против смерти, которая захватит его не ныне завтра.

Приятели побеседовали, и Бяков пригласил Ивашку в дом отца Леонтия.

У парня, однако, было теперь место, где голову приклонить.

С неделю назад, узнав случайно, что Уля, с которой не видался он целое лето, и добрый Капитон Иваныч сидят в остроге, Ивашка в один день справил их дело. Он вспомнил слова Шафонского, его обещание помочь ему в случае беды, и тотчас же бросился к нему.

Он объяснил доктору все, что знал, все, что слышал о происшествии с Улей.

Шафонский исполнил свое обещание,— тотчас отправился к Еропкину, и ввечеру и Капитон Иваныч, лично известный начальнику города, и Уля были выпущены из острога, а дело о покраже у Ромодановой прекращено.

Воробушкин снова стал чиновником канцелярии Еропкина и, получая небольшое жалованье, мог нанять маленькую квартиру, где поселился с своей племянницей.

Ивашка, конечно, поселился с ними, но вскоре исчез, Бог весть почему. Время ль было смутное на Москве, или у Ивашки была какая-то тайная тоска на сердце, которая грызла его, или, наконец, не мог он перенести печального, полуубитого образа своей молочной сестры, которая сидела по целым дням не шелохнувшись и что-то тихо бормотала про себя, как бы лишившись разума. Ивашка однажды вышел из дому, не простившись ни с Улей, ни с Воробушкиным, и более не вернулся.

И, прошатавшись целые три дня по Москве, увлекаемый теми же расходившимися волнами праздного и перепуганного народа, теперь Ивашка с удовольствием принял приглашение Бякова. Все-таки новое место, новые люди, все как будто легче станет на душе. А надо бы, чтоб легче стало: томит что-то душу, изнывает она.

Отец Леонтий принял Ивашку с удовольствием. У него в приходе весь причет вымер: не было ни пономаря, ни старосты церковного; некому было прислуживать ему в церкви, а Ивашка был на этот счет молодец и знал все не хуже самого отца Леонтия.

И вот вдруг снова, попробовав всего на свете среди своей цыганской жизни на Москве, попробовав даже учиться, благодаря княжне, французскому языку и перебирать на арфе, Ивашка снова занялся тем, что любил, еще будучи у себя на селе. Он снова служил и прислуживал священнику в церкви, снова ставил свечи, подавал

кадило, перетаскивал с места на место аналой, подтягивал одному прихожанину-купцу на клиросе и даже ходил с тарелочкой по церкви, собирая гроши.

Но и здесь тоска не оставила Ивашку в покое и сюда пришла она за ним, и сам парень не понимал, что с ним делается.

И вместе с этой тоской всплывал изредка в его мечтах образ Павлы, то образ бледной, но доброй княжны Анюты. Но не чувство к ним, не желание увидеться с ними томило парня. Он просто разлюбил все то, что любил прежде, перестал заливаться соловьем и распевать свои песни, перестал рассказывать длинные сказки.

— Все это глупство одно! — думал и говорил он.

Ивашке хотелось испробовать другого чего-нибудь, а чего — он сам не знал.

Раз ему казалось, что хорошо бы быть солдатом, да не таким, что пешком ходить, а таким, что в золотом кафтане верхом ездить. Но и это желание прошло через два дня. Ивашка томился, скучал, не находя исхода из своей тоски, и мыкался в свободные часы по Москве или же сидел один в церкви пустой, куда заходил постоянно не ради молитвы, а ради того, чтобы быть одному с своими мыслями.

XI

Однажды в сумерки, когда на дворе стояла уже сентябрьская пасмурная погода, Ивашка после вечерни остался один в храме.

Отец Леонтий уже давно был дома и пил чай с матушкой и детьми. Бяков тоже куда-то исчез. Ивашка потушил все свечи в храме, прибрал все и хотел уже выходить из церкви и запереть ее, но нечаянно оглянулся и остановился.

«Чудное дело! Кажись, потушил все свечи, ан глядь — перед иконой Казанской Божьей Матери, что возле царских врат, стоит свечка. Чудно! — подумал Ивашка.— Позабыл!»

Он постоял немного, глядя на мерцавшую свечку, слабо освещавшую среди наступившей темноты убогую церковь. И среди этой полумглы ярко и ясно, как-то особенно хорошо, светился весь образ Божьей Матери с Младенцем на руках: так она, Заступница, и выступала

в лучах маленького света и будто шла на него среди темноты.

«Ишь как хорошо!» — подумал Ивашка.

Но вдруг какая-то робость проникла в его душу, и без того давно смущенную непонятной тоской. Образ был гораздо ярче, золотистее, будто больше размером, будто не на своем месте, будто двигался на него.

«Это так сдается,— объяснил сам себе Ивашка,— это от темноты; будь много свечей, этого бы не было, а вишь, одна горит».

Но будто другой голос спорил с ним, говорил:

«Нет, парень, тут дело не в свечке одной: гляди-ка, гляди, что сейчас будет!»

Ивашка глядел, не сморгнув, и робость, смущение все более заливали трепетавшее сердце.

И вдруг показалось Ивашке или вспомнилось верно, что он положительно потушил все свечи, что, стало быть, эта свеча сама зажглась, стало быть, это чудо Господь явил.

И парень, не выдержав, от страху бросился к дверям паперти, выскочил и запер храм.

Когда он очутился на дворе, то смущение его постепенно исчезло и тревога улеглась.

«Нешто может Господь чудо явить? — думал он.— Нечто таким грешникам, как я, бывает? Это только святые отцы да угодники Божьи сподобляются такого...»

Просто, стало быть, обходя церковь и прибирая все, позабыл потушить свечку.

Однако через час Ивашка подошел к окну храма и глянул снаружи в церковь. Света не было: свеча перед образом, знать, догорела и потухла.

«Вот то-то,— подумал Ивашка,— будь чудо-то, то она, поди-ка, и теперь горела бы. Свеча не простая восковая, а святая свеча,— и теперь, и во веки веков не потухла бы».

Ивашка вдруг озлобился на себя.

«То-то, дурень, сам не ведаешь, что тебе в башку лезет, и впрямь тебя бы в солдаты сдать или на дно реки Москвы с камнем на шее спустить».

Ивашка пошел к дому священника, чтобы поужинать и лечь спать в своем углу. Поев хлеба, немного каши, выпив плохой колодезной воды из ковшика, Ивашка собрался уже было протянуться на лавке и задремать, но появился Бяков — веселый, как будто даже выпивши.

И солдат не дал спать парню, стал болтать и рассказывать новую весть, которая ходила по всей Москве.

— Где-то у Крымского брода какой-то не то татарин, не то жид продает сережки, и весь народ валит туда. Кто такую сережку в ухо вденет, того чума не берет.

— Все пустое,— отозвался Ивашка, все еще злобствующий на себя и на всю Москву,— это один грех только. Нешто можно от гнева Божьего, от хворости черной, да к татарам или к жидам за спасением ходить? Молиться надо, вот к Никите-мученику — то другое дело.

И тотчас Ивашка поневоле, будто его кто толкнул, передал Бякову про то чудное дело, которое случилось с ним с час назад в церкви.

Сначала Бяков понял рассказ Ивашки на один лад.

— Позабыл, значит, одну свечу потушить! — сказал он.

— Стало быть, так! — отозвался Ивашка.

И ему почему-то стало обидно и неприятно, что солдат так просто объяснил дело, тогда как ему хотелось, чтобы оно было не простым.

Но затем Бяков, вдруг почему-то передумав обо всем, что слышал от Ивашки, сообразил дело совсем на другой лад.

— А что, парень, коли вдруг это дело да не простое? Почем знать,— вишь, времена какие.

Однако, побеседовав еще с полчаса, оба приятеля разлеглись на лавках и заснули мертвым сном.

На другой день утром Ивашка, проснувшись, не нашел уже Бякова в горнице. Солдат ушел, как всегда, поболтаться, потолкаться в народе, послушать, что рассказывается на Москве, нет ли чего нового, худого ли, хорошего ли.

Ивашка, захватив ломоть хлеба, вышел на улицу и тоже побрел зря, куда глаза глядят. Но в Москве не было и не оказалось ничего нового; все еще болтал народ о старых новостях.

Когда, пополудни, Ивашка вернулся домой, то отец Леонтий тотчас позвал его к себе.

Старик священник был немножко глуповат, большой болтун, любитель покалякать и от праздности проводил с Ивашкой целые часы, заставляя его рассказывать себе всякую всячину; а мало ли что мог теперь рассказать Ивашка, за целое лето перебывавший во всякого рода состояниях?

На этот раз оказалось, однако, что отец Леонтий зовет к себе парня совсем не затем, чтобы побеседовать, а затем, чтобы расспросить об удивительном случае, бывшем с ним накануне. Бяков еще поутру рассказал все священнику, что слышал от Ивашки, но при этом прибавил так много, что Ивашка, слушая в свою очередь свое же приключение, передаваемое священником, невольно рот разинул.

Добродушный, правдивый малый стал было противоречить отцу Леонтию и возобновлять весь случай, как он был, но отец Леонтий не соглашался с ним и говорил:

— Зачем таить, паренек, доброе дело? Божья благодать. Об этом деле молчать не надо, особливо в такие времена, как ноне на Москве. Может, Она, Заступница, затем и зажгла себе свечку, чтобы мы, грешные, поболее ей свечей ставили. А то, вишь, робеть умеем, а о молитве забыли; только снует люд по Москве, охает да робеет, а в храме не молится.

В тот же вечер отец Леонтий уж повидался с своим старинным приятелем, отцом Степаном, священником маленькой церкви на Варварке.

Наутро сотенная толпа народа завалила домик отца Леонтия, громко требуя фабричного и суконщика Ивашку.

Ивашка оробел не в меру. Показалось ему, что впереди толпы стоит какой-то военный,— может быть, комиссар, а может быть, чиновник самого генерал-губернатора. Но вскоре страх парня прошел.

Оказалось, что толпа эта, Бог весть как собравшаяся, явилась с Варварки и требовала Ивашку ради того, чтобы он передал об удивительном случае, с ним бывшем. Ивашка вышел. Его закидали вопросами.

Он отвечал правду: клялся и божился, что ничего удивительного с ним не было, а что просто свечу забыл.

Но, однако, та же толпа подхватила его, и, сам не зная, почему, зачем и как, Ивашка вскоре, вместе с толпой, очутился на Варварке, в доме отца Степана.

И тут, понемногу, вокруг Ивашки росла и росла и выросла огромная история, которая передавалась теперь из уст в уста, и расходилась по Китай-городу, и в этот вечер должна была разойтись по всей матушке-Москве. Ивашке самому приходилось слушать и удивляться, что было с ним накануне.

А накануне явил ему Господь с небеси чудо великое. И это были не враки, это была сама правда, глас наро-

да,— вся Москва говорила и повторяла это; не одному же Ивашке верить? что ж, он умнее других разве?

Вся Москва говорила, что парню Ивашке с Суконного двора явилась в ночи Боголюбская Божья Матерь, та самая, чей образ над Варварскими воротами, и сказала ему:

— До тех пор будет мор стоять, покуда Мне, Заступнице, не поставят сорок сороков пудовых свечей и одну всесветную свечу в тысячу пудов весом.

И в этот первый день Ивашка сначала мысленно смущался, разводил руками, почесывал за ухом, даже робел,— робел и народа, что налезал на него, робел и начальства, которому могло все это дело показаться совсем не так, робел самого Бога, на которого из-за него клеветали и лгали.

«Как же так? — думал Ивашка,— ведь это же было в нашей церкви, ведь это же образ Казанской Божьей Матери, а не Боголюбской. И опять Она, Заступница, только сияла очень, а ничего мне не сказывала,— ни про какую всесветную свечу, ни про чуму ничего она не говорила».

Побродив немного по Москве, Ивашка везде слышал свое имя: везде его поминали и везде рассказывали о явлении Боголюбской Божией Матери, и всякий прибавлял, обещаясь, как только можно будет, пойти к Варварским воротам свечу поставить.

И вдруг Ивашка пришел в совершенное отчаяние. Он схватил себя за голову и бросился бежать к Москве-реке.

— Утоплюсь я! — бормотал он.— Ох, Господи, грех какой! вся Москва говорит! Накажет меня Господь. Все я наделал: не забудь я свечу перед иконой, ничего бы не было; не расскажи я треклятому солдату Савелью, ничего бы не было. Ах ты, Господи! Что же теперь делать! — восклицал Ивашка вслух, прибавляя шагу.

Однако парень, простояв на Каменном мосту, конечно, не бросился в воду, а вернулся домой.

Отец Леонтий принял Ивашку уже не так, как накануне. Он обнял его, расцеловал, усадил с собой за стол, напоил чаем и обласкал, как родного сына.

— Смотри, парень, завтра с утра привалится к нам народ и опять тебя расспрашивать учнут. На всю Москву ты важной особой теперь будешь. Только одно негоже, очень негоже,— замотал головой отец Леонтий.

— А что? — спросил Ивашка.

— Да не засадили бы тебя в острог, потому начальство на эти дела удивительно: ничему-то оно не верит ноне, совсем безверным стало.

XII

Разумеется, эту ночь Ивашка провел плохо. Ему не спалось или спалось наполовину, дремалось; он забывался на несколько минут и снова просыпался.

Какое-то беспокойное, какое-то для него странное чувство копошилось на сердце. То страх его брал, боялся он начальства, боялся беды наутро для себя; то радостно и ясно становилось на душе, и он ухмылялся, припоминая, как по всей Москве, по всем улицам, проходя, слышал он собственное свое имя — «суконщик Ивашка». То вдруг снова страх брал его, но уже другой. Он боялся, что вот сейчас явит Господь и другое чудо: пошлет к нему ангела с мечом пламенным и накажет его за грех, за обман и за клевету на самою Матерь Божью.

Ивашка, как в лихорадке, дрожал всем телом, жмурил в темноте глаза, чутко прислушивался и ожидал — вот, вот, сейчас случится с ним такое дело, что завтра поутру народ, найдя его мертвым, ахнет и разбежится во все стороны с новою страшною вестью.

И тут, в маленькой горнице, вдруг среди тишины ночи раздался страшный, дикий крик и затем стон.

Ивашка — во сне ли, наяву ли, со страху ли и смущения — окончательно, знать, потерял рассудок: он и впрямь увидел перед собой ту же икону Казанской Божией Матери. Но она, Заступница, стояла перед ним в серебряном одеянии и что-то говорила про отца Степана, про Варварские ворота и про Каменный мост.

Ивашка так дико вскрикнул, что перебудил всех в доме, но не сказал, что случилось с ним.

Он как полоумный выскочил на улицу, чтобы отдышаться и прийти в себя.

Отец Леонтий, полуодетый, тоже вышел к нему, стал расспрашивать, но Ивашка на этот раз поклялся мысленно не говорить ни слова.

«Еще хуже будет, невесть что разнесут. И что же это такое теперь-то произошло?»

То, что было в церкви, уже не казалось Ивашке страшным, там дело было простое, наяву, а теперь действительно случилось что-то ужасное. Теперь он видел

не икону, он видел Заступницу в двух шагах от себя в серебряной одежде.

— Но почему же она говорила о Варварке и о Каменном мосте? При чем же тут Каменный мост? — рассуждал Ивашка.— Ох, Господи, и зачем это на меня такие беды сыплются!

Побоявшись вернуться в ту же горницу, Ивашка уселся на паперти храма и, несмотря на то, что уже рассветало, он, не спавши всю ночь, прислонился к углу стены и крепко заснул.

Поутру, когда солнце уже было высоко, Ивашка очнулся, пришел в себя на той же паперти маленького храма и увидел перед собой несметную толпу.

Передние тормошили его, звали, задние ряды гудели, а там, совсем назади, все шли и шли, все ломились, все налезали серые и пестрые людские волны, и уж слышался треск, ломилась ветхая ограда маленького храма.

Через полчаса Ивашка, подхваченный этою толпой, уже шагал среди улицы, впереди всех, но повинуясь толпе, а не ведя ее за собой. И с этой минуты, будто во сне, будто в какой-то сказочной волшебной полумгле, нанизались разного рода случаи и события, и Ивашка почти не сознавал вполне, что совершалось с ним и кругом его. Он чувствовал только одно, что в груди его как будто вспыхнула вдруг какая-то искра и стала разгораться, согревая его. Всякая робость пропала в нем, и сказывалось только хорошее новое чувство, с которым впервые познакомился он, когда на заднем дворе «Разгуляя» заступился за Шафонского.

У Варварских ворот гудела громадная толпа. К иконе, едва заметной, маленькой, закоптелой от пыли, приставили лесенку, потом две, потом три, и весь народ, и стар и мал, лазил по этим лесенкам и прикладывался к иконе.

А Ивашка, придя в себя, сам не понимая, как случилось с ним это, увидел вдруг себя на большой бочке, выше всех на целый аршин. Он оглянул гудящую кругом толпу и увидел на себе уже не десятки, а сотни и тысячи глаз, прикованные к нему. И в нем самом, и в этом несметном люде, и в воздухе, и на всей площади Варварской сказалось вдруг что-то такое, чего никогда не бывало, когда Ивашка прежде болтал сказки или пел песни.

Ближайшие требовали, чтобы он поведал им, как все дело было.

— Как все дело было? — гремело во вторых и третьих рядах.

— Сказывай, сказывай громче: как все дело было? — ревели и задние ряды.

И слова эти отдавались эхом и ударялись в высокие стены Китай-города так, как будто сами стены восклицали и требовали у Ивашки: «Как все дело было».

И вдруг здесь действительно совершилось чудо с парнем Ивашкой. Хоть и певал он хорошо, и звонок был его голос, хоть и знал он много сказок, часто рассказывал их и привык, конечно, издавна ловко языком вертеть и гладко речи складывать, но такого, что случилось тут,— никогда не бывало.

«Я ли это? — будто всплывал и дрожал у него на сердце вопрос.— Я ли это? Ивашка ли? Мой ли голос это на всю площадь гремит? Передо мной ли эти несметные тысячи притаились, разиня рот, и слушают меня, будто я первый вельможа на Москве?»

А между тем голос его, звонкий, певучий, громко звучал над толпой, раздавался по всей площади. И рассказывал несметному народу парень Ивашка, как все дело было! Как явилась ему Боголюбская Божья Матерь и как говорила ему, грешнику: поведать всему народу на Москве, чтобы молились ей, Заступнице, чтобы ставили скорей сорок сороков свечей и одну всесветную свечу в тысячу пудов.

И рассказывал Ивашка длинную, бесконечную, подробную, дивную историю. Но он не лгал, не обманывал, все это просилось ему на язык. И рассказывал он все это будто не про себя, а так же, как, бывало, рассказывая заученные сказки, сам не чуял и не знал, как прибавлял своего собственного и как, бывало, из маленькой сказки выходила огромная сказка и вместо изумрудного царства рассказывалось ему про яхонтовое, вместо жар-птицы, которой следовало прилететь, приезжал на коне богатырь и проделывал совсем другое. И все это прибавлялось само собой, шевелилось у Ивашки в голове и срывалось с языка против его воли. Так же и теперь. Повествуя на всю Москву о явлении чудном Заступницы, парень Ивашка не лгал, он сам не знал, что через секунду сорвется с языка его. Глаза его так вспыхивали, горели, так чудно обводили всю собравшуюся кругом и внимательно слушающую толпу, голос его так чудно

раздавался, что все, что сказывалось ему на этот раз, все глубоко проникало в потрясенные души давно истомленного мором народа.

И в тот же вечер не только вся Белокаменная, но и по всем подмосковным деревням и поселкам прогремело имя Ивашки и молва об удивительном новом чуде.

И с этого дня не только вся Москва во всех закоулках, но даже за двадцать, за пятьдесят верст от Москвы шевельнулся люд и, несмотря ни на какие заставы и рогатки, ломился, чтобы добраться до Варварских ворот, приложиться к святой иконе Боголюбской Божией Матери, поставить свечу и поглядеть на удивительного парня фабричного.

Но только три дня можно было видеть Ивашку у Варварских ворот.

На третий день, с кандалами на руках, сидел он в темном подвале на заднем дворе генерал-губернаторского дома, как бунтовщик и возмутитель общественного покоя.

Но если парень был заперт, в цепях, в четырех каменных стенах с железною дверью, то речи его, имя его, недавнее слово к народу гуляли на свободе, волновали и подымали этот народ. И то, что было в воздухе, то, что было на душе всякого москвича, того заковать в кандалы было невозможно.

XIII

После ужасного свиданья с отцом в домике Павла несколько дней провела в нем безвыходно, не решаясь пробежать сад, чтобы быть снова дома; послать же в дом, чтобы узнать что-либо, ей было некого. Люди же, конечно, не знали, где молодая барыня, и считали ее пропавшей без вести, точно так же, как самого хозяина, которого никто не видал с той минуты, когда он, разбросав золото по улицам, вернулся вечером домой и лег спать, а наутро исчез.

Пробыв несколько дней в одиночестве, Павла вышла из домика.

За все это время Матвей не наведывался, и Павла, не находя в себе возможности подозревать его в чем-либо, объяснила его отсутствие болезнью, и ужас брал ее при мысли, что Матвей, быть может, уже несколько дней болен той же чумой у себя в доме, а она не догадывалась об этом ранее.

Быстрыми, тревожными шагами пошла она, почти добежала до больших палат, которые занимал Воротынский, вскоре была на дворе, а затем в швейцарской. В доме этом она не бывала никогда, и на этот раз люди Воротынского, не знавшие ее в лицо, приняли ее за одну из тех московских красавиц, которые постоянно наведывались в дом молодого барина и на которых он не обращал внимания и, чаще всего, не приказывал принимать.

Люди приняли Павлу в швейцарской довольно дерзко и насмешливо, тем более что одета она была очень просто, как сидела в домике, как прибежала давно тому назад, вечером, в этот домик. Голова ее была даже не повязана, ничем не покрыта,— а какая женщина будет бегать по Москве с голой головой?

Однако Павла узнала достаточно,— даже больше, чем, быть может, желала. Она узнала, что барин никогда не бывает дома и с утра до вечера сидит у приехавшей в Москву княгини Колховской.

Павла попросила одного из людей, который показался ей наименее грубым, доложить Воротынскому, когда он вернется, что известная ему личность просит его непременно быть тотчас в домике Замоскворечья, у пономаря.

Не имея денег и боясь, что человек не исполнит ее просьбы, она сняла маленькое колечко, когда-то подаренное ей мужем и просто забытое на пальце. Она с удовольствием отделалась теперь от этого кольца и отдала его лакею.

Ворочаясь назад, Павла боролась сама с собой — идти ли ей снова в этот домик Матвея, который был ей теперь ненавистен, или идти домой и броситься в ноги к отцу. Она думала, что Артамонов один в горе мыкается по пустому дому, страдая от двух сердечных ударов — смерти любимца сына и от того, что думал он о ней, найдя ее с Матвеем.

В ней было теперь два ужасных чувства — боязнь за Матвея, т. е. ревность и страшное подозрение, что он изменил ей, бросил ее, а затем — боязнь свидания с отцом. Это второе показалось так мало, незначительно сравнительно с первым, что Павла почти легко решилась увидеться с отцом, чтобы просить прощения.

Явившись во двор дома Артамонова, смущенная и робкая, Павла нашла только старого дворника и затем

свою Пелагеюшку, которая когда-то была слугой в ее собственном доме.

Остальные люди или перемерли, или разбежались. Павла узнала, что отец, у которого она хотела просить прощения, давно исчез и уже более недели никто не видал его. И Павла осталась в этом доме одна, несмотря на свое новое тяжелое и как бы запутанное положение.

Она узнала от людей историю о сундуке, о том, как хозяин в одну ночь сжег все, что было в нем, и разбросал золото по улицам.

Павла смутно понимала, что если отец уничтожил все, что мог уничтожить из своего состояния, то это было сделано ради того, чтобы ничто не доставалось ей. Она хорошо знала отца и догадалась, что, вероятно, и недвижимое имущество тоже куда-нибудь пошло. Уничтожение только половины не имело смысла: на такой бессмысленный поступок Артамонов не был способен. И Павле смутно начинало казаться ее положение совершенно ясно — она нищая, и Матвей знает это и, зная, исчез и более не появляется. Павла в продолжение трех дней, и день и ночь, ждала Матвея. Она посылала Пелагеюшку в домик, посылала в палаты, но Матвей не присылал никакого ответа.

Наконец, в домике снова поселилась семья того же пономаря. Все, что было в домике, было оставлено и подарено хозяину щедрым молодым барином. Из большого дома люди отвечали всегда, что барин перестал даже ночевать дома,— все сидит у княгини, которая очень хворает.

Павла, которая была так безумно счастлива еще несколько дней тому назад, теперь вдруг потеряла отца, который недавно любил ее и которого она сама любила, потеряла любимого человека, с которым была обручена и с которым должна была венчаться, и, наконец, потеряла все состояние.

И нравственные мучения молодой женщины дошли до последнего предела. Молодая и сильная натура была, казалось, надломлена. Павла начинала все чаще ложиться на постель от слабости в голове и во всем теле, которую она все чаще чувствовала. Между тем единственный слуга, старик дворник, захворал, проболел всего два дня и, чувствуя, что умирает, сам вышел из дома, отошел подальше от барского дома и лег около выморочного домишки. Тут он умер, его подобрали на тележку и увезли вместе с другими.

В тот же день Пелагеюшка пришла к барыне просить позволения не отлучаться от нее ни на минуточку, так как ей одной внизу становится страшно. Каждую ночь, по ее словам, какая-то темная фигура украдкой проходит через двор; каждую ночь скрипит что-то под кухней, потом часа через два опять скрипит, и опять проходит через двор черная фигура.

Павла не поверила кухарке, но позволила ей остаться с ней в комнате, тем более что она чувствовала себя дурно и рада была иметь около себя живое существо.

XIV

А рассказ Пелагеюшки не был вымысел. Старик Артамонов, которого считали пропавшим без следа, распорядился совсем иначе.

В то незапамятное утро, когда он проснулся в полном разуме без сына-любимца, без дочери, потерянной навсегда, хотя живой, без состояния, которое отчасти уничтожил, отчасти передал в чужие руки, он распорядился по-своему.

Позвав к себе самого надежного и верного из всех своих холопов, он вдруг стал перед ним на колена и стал просить исполнить свою последнюю волю. Изумленный, перепуганный слуга даже прослезился и затем поклялся исполнить приказание хозяина, какое бы оно ни было.

А последняя воля и просьба Артамонова заключались в том, чтобы исполнить самое пустое и легкое дело. Артамонов взял с собой большой каравай хлеба и ковшик, взял ведро воды и заступ, затем он спустился в подвал, где был похоронен Митя, и велел себя старику запереть в этом подвале. И приказ его заключался в следующем: приходить тайком от всех каждую ночь, отпирать подвал и глядеть, жив он, Артамонов, или помер; если помер, то закопать его в том месте, где он будет лежать. Оставшись один, Артамонов, при свете фонаря, могучей рукой выкопал огромную яму около могилки своего дорогого Мити, и здесь, убежденный в том, что смерть непременно должна взять его, старик прожил несколько дней в темноте. Он сидел около насыпи над могилкой Мити, и Бог знает, какие мысли шли чередой через голову гордого и умного старика, который еще несколько дней назад был первым богачом всей Москвы, а теперь сам себя запер в темном подвале, сам

себе вырыл яму и упорно ждет, зовет на себя черную смерть.

Хотя и хлеб, и вода были на подачу руки, Артамонов не тронул ни того, ни другого, и единственное утешение его заключалось в том, что несколько дней кряду старик слуга аккуратно, тихонько приходил в подвал наведаться, надо ли закапывать хозяина или еще рано.

— Спасибо тебе, родимый, Господь наградит тебя за это,— всякий раз встречал и отпускал Артамонов слугу.

Наконец действительно пришла ли черная смерть на зов несчастного отца или, сам того не замечая, голодом сморил он себя, но Артамонов чувствовал себя все слабее и слабее и чаще ложился в свою яму. Сначала он еще вставал из нее, тихо, шепотом разговаривал с Митей, который лежал рядом, уже зарытый, но затем вскоре старик уже не мог подняться из ямы.

Однажды, как бы сквозь сон, смутно услышал он голос в темноте:

— Хозяин! Мирон Митрич! жив, что ли?

Старик хотел отвечать, но язык не повиновался ему; он только открыл глаза, но в темноте подвала ничего нельзя было увидеть.

И вдруг он почувствовал, как что-то шлепнулось ему на грудь, голову и закрыло ему глаза. Ужас и трепет пробежали по всему телу старика: он понял, что верный слуга, принимая его за мертвого, закапывает его живого.

И вдруг в железном сердце Мирона Артамонова завязалась страшная борьба, на которую вряд ли много людей на свете способны, вряд ли на тысячу один найдется способный на эту борьбу — сказаться или молчать. Сказаться хватит силы, но если черная смерть помилует его? Если он останется жив! Ведь не приказывать же себя убивать, да и кто на это согласится? А тут, по ошибке, верный слуга даст ему эту давно желанную смерть. Страшно живому под землей очутиться, задохнуться, но ведь один конец.

Старик боролся сам с собой, а между тем тяжелые глыбы, сбрасываемые в темноте с лопаты в яму на старика, все увеличивались, становились все тяжелее.

Под влиянием какого-то странного, необъяснимого чувства старик, лежа на спине, собрал все свои силы и повернулся на бок.

На это движение потребовалось так много усилий, так много воли, что тотчас борьба душевная прекратилась в старике и, несмотря на ужасное мгновение, он

лишился сознания и уже не мог решить сам, закапываться ли живому или сказаться.

Через полчаса верный слуга сровнял яму и сделал насыпь. Затем он ощупал руками в темноте, правильно ли рассыпаны рядушком обе могилки, поправил чуть-чуть землю горстями, стал на колена, помолился, пожелал царства небесного доброму хозяину — новопреставленному рабу Божьему Мирону.

Через минуту он так же осторожно вышел и запер тяжелую дверь на замок. Теперь он был свободен: данная клятва хозяина была исполнена, и он пошел бродить по Москве точно так же, как бродила вся Москва.

И Павла лежала слабая на постели за несколько шагов от того подвала, где живого закопали в землю ее отца, которого она считала исчезнувшим без следа где-нибудь на окраине Москвы в больнице, карантине или же на погосте чумном.

Павла считала себя слабой и больной вследствие страшного горя, постигшего ее. Она не сомневалась уже в измене Матвея.

Но пришел день, когда несчастная женщина увидала с ужасом, сообразила и поняла — что с ней, и, перепуганная, трепещущая, чувствуя, что не может устоять на ногах, кое-как дотащилась до киота и стала молиться.

Она нашла на себе то же, что видела на Мите, то же, что когда-то мельком видела на Барабине, т. е. внешние признаки чумной заразы.

— Чумная! Чумная! — глухим шепотом повторяла она, цепляясь руками за киот.

Болезнь Павлы пошла своеобразно, крайне медленно. Сознание не покидало ее ни на минуту, и только сильный жар во всем теле и слабость не позволяли ей даже двинуть рукой, двинуть пальцем.

В первый же день она сказала через силу Пелагеюшке, какая хворость приключилась с ней, и с тех пор она не видала женщины. Пелагеюшка отскочила от постели молодой барыни, прошла вниз, пробыла там один день и наконец совсем ушла из дому.

И два дня, две ночи Павла пролежала одна-одинешенька в большом пустом доме, где все окна и двери были растворены настежь. Постель Павлы стояла как раз против двери, тоже растворенной, и она могла, через силу повернув голову, смотреть и видеть насквозь весь коридор, всю большую залу и переднюю. И часто по целым часам не спускала она глаз с далекой двери в кон-

це дома, надеясь, что живой человек появится там и даст ей то, что было ей теперь дороже всего на свете,— воды.

И наконец однажды она увидела несколько человек, которые появились в доме в полутьме сумерек. Она поняла, что это были воры. С ее домом совершалось то, что делалось теперь во всей Москве, во всех выморочных домах.

Каждый дом, остававшийся пустым, хотя и заколачивался, но все-таки разграблялся сотнями воров и мошенников, теперь еще удвоившихся от распущенных из острога острожников.

Люди эти, грязные, страшные на вид, добрались и до комнаты Павлы; она услышала голос:

— Лежит человек — баба аль барыня.

— Мертвый, что ль? Нехай ее. Брось. На ней ничего нет. Тащи вот киот.

Павла собрала последние силы и выговорила внятно:

— Воды, воды дайте! Ради Господа — воды!..

Но все эти люди, которые ей казались еще страшнее в полутьме, посновав в ее комнате, ограбив весь киот, вышли из ее горницы.

Она слышала только неясный гул вокруг себя, слышала, как один из больших образов в ризе, вероятно, уроненный, застучал на полу.

— Господи, наказуешь меня! — с отчаянием на сердце прошептала Павла.

Но в ту же минуту над ней раздался голос и к ее губам дотронулось что-то холодное. Она открыла глаза и увидела пред собой такую же большую, плотную фигуру, какие сейчас сновали по комнате. И этот человек давал ей воды. Эта холодная вода, которую Павла жадно, залпом, выпила, возрождающим образом подействовала на нее.

Чрез несколько минут она чувствовала себя сильнее и уже без усилия снова просила воды. Затем она забылась и когда пришла в себя, то увидела в горнице зажженную свечу на столе, а около стола сидел, опершись локтями, огромный детина с страшным лицом и дремал. Павла поняла, что это тоже вор, но в то же время ее благодетель, и она не испугалась. Что заставило его дать ей стакан воды, который оживил ее? Что заставляет его оставаться теперь здесь, около нее, для того, чтоб, очевидно, ходить за ней? И с этого вечера около Павлы оказалась внимательная и добрая нянька — огромный, с страшным лицом, каторжник — не кто иной,

как наперсник Алтынова, самый отчаянный душегубец, Марья Харчевна. И только в такие, воистину ужасные, дикие дни, какие стояли теперь на Москве, могло случиться подобное.

На другой же день утром Павла с любовью глядела на эту страшную няньку, а Марья Харчевна, Бог весть почему, бросив грабить выморочные дома, как-то тупо, сам не зная зачем, находил удовольствие сидеть около постели красавицы барыни и исполнять ее приказания. Так как Павла все просила воды, все похолоднее, то Марья Харчевна вдруг догадался.

— А что, барыня, скажу я тебе: слыхал я в больницах, а то вот у раскольников льдом от хворости этой лечат. На голову лед кладут, и едят лед, и в воде холодной купаются — и выздоравливают. Давай попробуем.

И действительно, лед во всех видах так странно действовал на Павлу, что она начала постоянно глотать его маленькими кусочками, которые нарубал ей Марья Харчевна тут же на столе. Ледяное мокрое полотенце не сходило с головы ее. И чрез несколько дней Павла чувствовала уже себя настолько лучше, что могла садиться на кровать.

XV

Однажды, среди дня, когда Марья Харчевна отлучился, Павла, сидя на кровати, вдруг подумала:

«А что Матвей? Где он?»

Предчувствие ли сказалось в ней, почувствовала ли она, что в эту минуту Матвей подъехал к ее дому и входил по лестнице. Матвей ничего не знал о Павле, почти забыл о ней за это время, но в этот день ему необходимо было до зарезу, хоть повеситься, иметь небольшую сумму денег; но он нигде не мог найти ее, обрыскав всю Москву, и мысль о Павле пришла ему.

«Почем знать, думал он, быть может, она имеет что-нибудь, может ему дать, да, наконец, отчего и не повидаться с ней, узнать что-нибудь». Матвей тотчас же пустился в Замоскворечье и теперь, поднявшись по лестнице, шел, звеня шпорами, по пустым горницам ограбленного дома. Увидя эту пустоту и разграбленье, он остановился и хотел вернуться, сообразив, что Павлы в этом доме быть не может! «Где она,— думал он,— в карантине, на погосте или, наконец, благодаря своему

крутому нраву, утопилась с горя и отчаяния?» И Матвей стоял среди большой горницы, где все было в беспорядке, где прошла грабительская рука, поломав то, что не могла захватить с собой.

Но Павла, слышавшая из постели этот металлический звук шпор, давно ей знакомый звук, от которого не раз странно дрожало в ней сердце, поднялась с постели сверхъестественным усилием, полуодетая добралась до двери и очутилась пред Матвеем с поднятыми руками, как умоляющая.

Матвей сделал шаг вперед, хотел что-то вымолвить, но, вдруг страшно побледнев, отскочил.

Он понял все.

— Стой! Не подходи! — воскликнул он.

Павла при звуке этого голоса любимого человека, в котором, кроме ужаса и даже отвращения к ней, не было ничего, зашаталась и опустилась на пол. И, полулежа на полу, она лихорадочными, все-таки красивыми, глазами стала глядеть на него, и крупные слезы лились без конца по ее худому, изможденному чумой лицу.

Да, это была уже другая Павла, не прежняя красавица.

Матвей, вытянув руки, как бы защищаясь от страшного видения, снова попятился к стене от этой полузнакомой женщины и только по ее глазам, все-таки полным жизни и огня, полным страстной любви, мог он узнать Павлу.

— Ты чумная? Скажи, чумная? — выговорил наконец Матвей.

— Да, больна,— через силу прошептала Павла, не спуская с него глаз.— Слушай,— едва двигала она губами, собирая свои последние силы, чтобы сказать то, что было необходимо.— Слушай, я была больная, теперь лучше, я не умру, я буду жива, я знаю верно! Слушай, помни, ты обязан. Мы обручились. Помни, Матвей. Бросишь — я убью тебя.

Матвей смотрел с ужасом на эту изуродованную болезнью женщину, которая еще недавно была так красива, а теперь была почти отвратительна.

Он слышал, что она пугала через силу, но не верил, что она будет жива, и, конечно, не боялся угроз.

— Будешь жива,— выговорил он небрежно.— Тогда увидим, а теперь прощай. Поправишься — пришли сказать. Увидим. Ну, прощай! — И Матвей быстрыми шагами двинулся к дверям, искренно раскаиваясь в том, что,

по глупости и беспечности, заехал в зачумленный дом к умирающей женщине.

— Стой! — воскликнула Павла, теряя силы.— Помни, Матвей... Я тебя всегда найду. Ты — мой, покуда я жива. Мой, и ничей не будешь!

Но Матвей уже был в дверях и чрез мгновенье исчез из глаз ее, и Павла тихо, взяв себя за голову, опустилась совсем на пол и протянулась без памяти.

Явившийся чрез несколько времени Марья Харчевна поднял на руки с полу свою барыньку, перенес ее в постель и опять стал лечить. А Матвей поскакал прямо в дом княгини Колховской, где он сидел от зари до зари у постели больной княгини, но потому, что у нее, конечно, была не чума.

Княгиня, уезжавшая в подмосковную, неожиданно и без всякой причины, видимой и понятной, потеряла своего любимца сына.

Идиот князь Захар умер вдруг, как от удара, сидя в своем кресле и глядя на солнышко. Княгиня тотчас заболела с горя, и, вообразив себе, что у сына была чума и что у нее тоже чума, она вместе с дочерью поскакала в Москву. В Москве, конечно, оказалось, что у княгини никакой чумы нет, но, однако, какая-то очень серьезная болезнь, которая скоро и разыгралась.

И теперь княгиня уже вторые сутки лежала без сознания и движения в постели. Княжна Анюта и Матвей сидели не отходя около постели больной и за это время подружились и полюбили друг друга, как никогда прежде. Матвей, разумеется, шалил и играл по простым расчетам жениться на княжне, если мать умрет, а княжна сама не знала,— почему за эти дни Воротынский нравился ей более, чем когда-либо.

Быть может, в княжне Анюте проснулась женщина, которая до сих пор спала в ней. Доктор, лечивший княгиню, объявил наконец, что надежды нет никакой и что чрез день ли, два ли, или, наконец, чрез неделю княгиня, не приходя в себя, должна умереть. И теперь Матвея озабочивали две вещи: недостаток денег, а затем — мысль, что, может быть, княгиня останется в живых и тогда уже ему будет невозможно жениться на Анюте.

«И Павлу с ее богатством, как дурак, прозевал,— думал Матвей.— Опоздал перетолковать с ее отцом. И эта приданница, пожалуй, мимо носу пройдет, коль княгиня оживет».

Но, однако, чрез несколько дней Матвей вдруг сде-

лался бесконечно счастлив. На свете была сирота, богатейшая приданница, княжна Колховская, влюбленная в него, а княгиня была на том свете и уносила с собой ту тайну, которой не знала княжна и которая поэтому не мешала ей любить молодого Воротынского и выходить за него замуж.

XVI

В последние дни, у всей Москвы, перепуганной, истомленной, с ног смотавшейся, разум потерявшей, одним словом — очумелой, была на языке, на сердце и в голове одна мысль, одна надежда и три спасительные слова: Боголюбская Божья Матерь!

С самого того дня, что фабричный Ивашка рассказал про свое чудное видение Богоматери, несметные кучи народа толпились, ища спасения, у Варварских ворот, над которыми виднелась маленькая, серенькая, давным-давно забытая икона.

На второй или на третий день пробежала по Москве такая весть, после которой все живое, и здоровое, и хворое, и умирающее бросилось на Варварку к иконе. И теперь и стар, и мал уже искренно, всем сердцем верили в свое спасение, если только побывают на чудодейственном месте и приложатся к чудотворной иконе.

Весть эта была пущена неведомым человеком — или, быть может, весть эта сама родилась, сама создалась неизвестно как и где. Всюду, от больших палат боярина до последней хижины, рассказывалось, что рано утром, когда на телеге везли мимо Варварских ворот несколько покойников, то все они сразу ожили, сами слезли с телеги и, славословя Заступницу Матерь Божью, живы и здоровы вернулись по домам. Уж если мертвых воскрешает Заступница, то чего же может ждать хворый человек; и на что может надеяться здоровый?!

И вот, во всех местах близ чудотворной иконы, на Варварке, во всем Китай-городе, на Лубянке, Ильинке, Солянке, всюду забушевало вдруг огромное гулливое море людское, не знающее пределов в своем бурном и страшном разливе. Иное море берега сдерживают, а у этого моря и берегов не бывает.

И здесь, у самых ворот, уже было дикое, полубезумное и безобразное торжище.

К иконе на воротах была подставлена лестница,

устроен целый помост, и от зари до зари, и ночь, и день, полыхали сотни и тысячи свечей, а вкруг сотни аналоев надседались священники и, друг друга перекрикивая, служили и пели без конца молебны Заступнице Небесной.

Ночью тоже, когда вся Москва спала и утопала во мгле, только здесь неугасаемо горели сотни свечей, неумолчно пелись охриплыми голосами все те же молитвы и акафисты, и только с этого места неслся, среди тишины и тьмы ночной, какой-то дикий гул, подобный далекому осеннему завыванию бури, и только с этого места расходилось в высь ночную яркое сияние и стояло заревом вплоть до утра. И верст за пятьдесят от Москвы всякий сельчанин, глядя и крестясь на это далекое зарево, знал, что то сияют сотни свечей у чудотворной иконы, у того святого места, которого сама черная смерть боится и бежит.

У самых Варварских ворот уже были свои самодельные порядки, свои командиры. Как, когда, каким образом зачались эти порядки и появились эти самозваные начальники — никто не знал.

Невдалеке от ворот стоял, неизвестно откуда появившийся, огромный железный сундук. В нем кто-то наскоро пробил крышку, и сундук превратился в громадную копилку. И теперь всякий пятак, всякая гривна какой-нибудь мещанки и всякий рубль серебряный богача купца уже едва протискивались в переполненный деньгами сундук.

И тут же, невдалеке от казны Богородицы, сидели, не отходя ни на шаг, поп Леонтий, солдат Бяков и два командира: карабинерный прапорщик Алтынов и выпущенный по ошибке из острога дворовый, находящийся под судом, Иван Дмитриев. У них же было в распоряжении на посылках два десятка помощников.

Умен и хитер, зол и дерзок был всегда Дмитриев, а теперь, после своего пребывания в остроге, рассказов и поучений каторжных товарищей, стал он еще умнее, еще озлобленнее против всего и всех — против Бога, начальства, проклятых дворян и всех порядков, ими установленных.

Иван Дмитриев уже третий день сидел здесь, невдалеке от сундука, оглядывал несметные толпы народа и думал:

«Вот сила! Только в руки возьми ее, как дубинку, да умей орудовать ею — и все твое!»

Иван Дмитриев, явившись здесь, стал тотчас душой и разумом здешнего самодельного начальства. Алтынов, в виде нового Варварского полицеймейстера, смотрел за порядком на площади, а Дмитриев не удовольствовался одной Варваркой, власть его уже простиралась далее. Он не отходил ни на шаг от иконы и сундука, но знал все, что творится по всей Москве, и, главным образом, все, что творится, делается и предпринимается в доме самого начальника Москвы, сенатора Еропкина.

Один из главных, но тайных его помощников был юркий подьячий Мартыныч. Раза по два на день он бывал в канцелярии Еропкина и раза по четыре на день появлялся на минуту, пробираясь сквозь густые толпы, у Варварских ворот.

Несколько дней терпело начальство дикое торжище около иконы, но наконец, когда в духоте и давке, происходящей и день, и ночь на площади, стали умирать сотни хворых, которых привозили приложиться к иконе, начальство решилось принять строгие меры.

Несколько совещаний было у Еропкина: все начальство московское собиралось и целых три дня не знало, на что решиться.

Одна крепкая надежда была в сердце обезумевшего москвича, лишь один луч света сиял ему среди тьмы, лишь в одном чаял он спасения от черной смерти! Она одна, Боголюбская Заступница, могла сменить гнев Божий на милость и отвратить от Белокаменной, уж наполовину вымершей, страшную кару Господню, жестокий бич Божий, уже девять месяцев люд пожирающий,— мор. Чья же рука осмелится вырвать из сердца Москвы эту ее единственную надежду и потушить этот единый сияющий ей луч спасения?

Начальство собиралось и толковало, сознавало свою опасность положения, сознавало, что всякий день оно ухудшается, что не ныне завтра бушующее море разольется еще дальше и потопит все, и что в нем, как щепка в волнах, очутится оно само — начальство.

И как часто бывает, долго рассуждавши о самом главном, начальство в рассуждениях своих и разглагольствованиях будто позабыло самую главную цель, самую суть дела и порешило пустяки, предприняло вздор. Сначала оно хотело снять икону, перевести ее в ближайшую церковь Кир-Иоанна, восстановить порядок, допускать до иконы очередные вереницы народа и запретить давку и толкотню, чтобы прекратить заразу, а в осо-

бенности запретить привозить больных и умирающих прикладываться к иконе, которые часто тут же умирали и оставались по нескольку часов на жаре, заражая воздух.

Но благие намерения остались без исполнения. И кто-то,— трудно сказать кто, если только не Амвросий,— забыв об иконе, забыв о заразе на площади, забыв о самодельном начальстве, распоряжающемся у Варварских ворот, вспомнил только об одном — о сундуке с деньгами. Среди ужасов мора и возникающего народного смятения чьи-то поповы-завидущие глаза увидели похотливо только сундук, только гроши...

Однажды в сумерки явился у Варварских ворот Мартыныч и тайно сообщил Алтынову, Дмитриеву и другим, что наутро явятся консисторские подьячие и канцеляристы под конвоем солдат, чтобы опечатать и отобрать денежный сундук.

— Ладно, посмотрим, чья возьмет! — отозвался Алтынов.

И его два десятка помощников рассыпались по Москве. Недаром Прохор Егорыч был когда-то друг и приятель и отчасти командир Разгуляя и всего Лефортова. Теперь, когда ради похорон бесчисленных мертвецов и ради нужды в «мортусах» был распущен на волю весь острог, у Алтынова мог бы набраться целый полк.

Наутро действительно у Варварских ворот была какая-то перемена, было больше порядку, и по всей площади и до самой Неглинной были расставлены часовые, кто в чуйке, кто в армяке, кто в рубашке.

И здесь теперь нужна была только одна искра, чтобы вспыхнул сразу страшный пожар. И искра эта не замедлила упасть сюда из рук начальства.

Со стороны Неглинной в сумерки появилось несколько человек канцеляристов и с ними несколько солдат. Толпа расступилась перед ними, будто нарочно, будто говорила:

«Милости просим!»

Посланные от начальства приблизились к сундуку, сорвали с него две большие печати, наложенные купцом, первым опустившим в сундук сотню рублей на ризу для Заступницы Небесной.

Один из подьячих уже наложил свои печати. Уже появилась телега, чтобы ставить громадный, тяжелый сундук, где гремели и звенели гроши и рубли. Но вдруг

раздался на площади крик, которому суждено было двое суток диким эхом раздаваться по всей Москве и, вздымая рьяные волны народа, стать кликом призывным, кликом на месть и убийство.

— Богородицу грабят! — оглушительно, дико пронесся по площади крик, и через час этот крик уже облетел всю Москву.

Подьячие из консистории и конвойные солдаты исчезли бесследно, как капля в море; избитые до полусмерти и до смерти, они уже не вернулись домой.

Но тут уже зародилась новая зараза страшнее чумы — жажда крови, расправы...

Иван Дмитриев один из первых бросился на посланцев того начальства, о котором столько дней и ночей, озлобляясь, думал он, сидя в остроге. Но вот все они перебиты, растащены, и на месте, где сейчас стояли они, только кровь человечья видна да клочья одежды их затоптаны в пыли.

Но Дмитриеву уже мало этого! Он призывает свидетелей богохульного грабежа Богоматери на отмщение.

— Идем, братцы, с допросом к ним, зачем понадобилась им казна Боголюбской Пресвятой Заступницы! Полно им умничать, полно народ морить разными зельями! Идем! Идем! Вали!

И Дмитриев, радостно ликуя, что наконец померяется с ненавистным начальством, уже двигается в передних рядах, чтобы сгоряча вести народ к генерал-губернаторскому дому.

Но в эту минуту появляется незнакомый ему и никому не ведомый лысый человек.

— Стой! — кричит он,— стой, братцы!

И вдруг, повалив попавшийся под руку аналой, взгромоздив на него какой-то завалявшийся на площади ящик, он подымается и исступленным голосом объясняет окружившему его народу, что не Еропкин вся сила, не он виноватый во всем. Виноват во всем архиерей Амвросий, полутурка, безбожник и колдун!

И в речах лысого человека звучит столько искренности, столько правды; он не лжет, а от глубины сердца проклинает преосвященного. Перед ним Амвросий действительно виноват! Но теперь вся его искренняя, давно накопившаяся злоба, вся давно накопившаяся жажда мести невидимо и чудодейственно сообщается вдруг всей несметной толпе. И как, с полчаса назад, этот человечек, Василий Андреев, ненавидел и проклинал Амвросия, так

теперь вся эта несметная толпа тоже ненавидит и тоже проклинает...

И вся толпа, как дикое, громадное, сказочное чудовище с бесчисленными головами, ринулась по Китай-городу в Кремль, туда, где Чудов монастырь и где живет виновник всех зол и бед, виновник мора людского, проклятый лиходей и колдун!..

XVII

Огромные толпы двигались по нескольким улицам через Китай-город, забирая, как бы поглощая все попадавшееся на пути. Всякий шедший по своему делу, всякий стоявший перед своей лавочкой и зазывавший покупателей, всякий ротозей — все бросали свое дело и присоединялись к потоку. И гудящая толпа, выступив на Красную площадь, вливаяся в Кремль через Воскресенские и Спасские ворота, уже увеличилась вчетверо.

И всюду — и в передних, и задних рядах — раздался дикий клич:

— В Чудов! На расправу с лиходеем! Пущай ответ держит! Полно ему злодействовать!

Не мала была площадь Кремлевская, не мал был Чудов монастырь; но когда гулливые толпы залили всю эту площадь, потрясая воздух дикими криками, Чудов монастырь будто затонул среди темных волн людских и стены кремлевские будто вздрагивали от рева и гула бушующего моря людского.

Новые знакомые, Иван Дмитриев и Василий Андреев, сами не зная как, стали вдруг приятелями и коноводами и вели эти полчища за собой.

Сами они и передние ряды не знали, что будет в Чудове; не знали, вызовут ли они преосвященного на двор или сами войдут к нему.

Иван Дмитриев, более умный и дальновидный, по дороге, еще на Никольской, а потом на Красной площади, не раз почесывал за ухом, спихивая шапку набок, и не раз подумал про себя:

«Э-э, заварили, а кто-то и как-то расхлебывать будет!»

И он был уже готов заранее, в случае какой неудачи, ловко исчезнуть вовремя и бесследно потонуть в толпе.

Невдалеке от Чудова Дмитриев увидел вдруг арестанта с кандалами на руках и четырех солдат, сопро-

вождавших его. Сразу узнал Дмитриев именитого на всей Москве парня-суконщика, чудовидца Ивашку.

Действительно, Ивашка под конвоем, бледный и грустный, отправлялся из квартиры Еропкина в верхний земский суд.

Едва только с десяток человек узнали арестанта, виновника всей сумятицы московской, как имя его, произнесенное сотнями голосов, грянуло в Кремле, потрясая стены соборов и колоколен:

— Ивашка! Ивашка!

И не прошло нескольких минут, как солдаты конвойные, полумертвые от страху, разбежались в разные стороны, а с Ивашки сбили кандалы. На это сейчас же в толпе нашлись мастера, которые не раз с себя сбивали их. Ивашка, освобожденный, сам себе не веря от радости, очутился впереди всех, рядом с Дмитриевым. И теперь Дмитриев и его ближайшие товарищи уже будто знали: что делать, зачем идти в Чудов. Освободив Ивашку и разогнав солдат, они будто испробовали свои силы и теперь чувствовали себя и бодрей, и веселей, и, главное,— в сто раз смелее.

— Вали прямо к нему, к нему в келью! — кричал Андреев.

— Двери, поди, заперты! — отозвались голоса.

— Ладно! нет той двери, что у нас не вылетит.

Толпа окружила Чудов, но стала в нерешительности и, как-то переминаясь на месте, тупо глядела на запертые двери и окна монастыря. И вся сейчас по дороге завывавшая дико толпа, стихнув вдруг в каком-то странном безмолвии, толклась вкруг каменных стен монастыря. Начни кто-нибудь, скажи слово, кликни клич, подай пример — оживет сейчас это, будто оробевшее и притихнувшее, чудовище. Но никто не начинал.

«Что ж стоять-то,— подумал Василий Андреев,— коли теперь на миру не отплачу за Аксиньюшку, так никогда не видать мне праздника на своей улице. Нету, пущай пропаду пропадом, а этакого денька даром не упущу. Хоть один пойду, хоть разбегись все тотчас, а побеседую я с тобой сегодня».

И Василий Андреев, отчаянно мотнув головой, отделился от передних рядов, приблизился к монастырю и стал стучать в окошко. В Чудове, казалось, не было живого существа. Долгий, но легкий стук в стекло Андреева вдруг вызвал страшный, раскатистый хохот, так что площадь будто ахнула.

— Стучи громче! Чего жалеешь?

— Вдарь здоровей! — раздались крики.

Но в ту же минуту какой-то саженный детина, слегка пошатываясь и выписывая мыслете ногами,— очевидно, захваченный по дороге из какого-нибудь кабака,— выступил вперед. Зычным голосом, который далеко кругом огласил всю площадь, крикнул он, отстраняя Андреева от окна:

— Эх ты, сорока! Глянь, как я вдарю! — И детина, взмахнув кулаком, хватил в окно. И вся рама, переломанная пополам, задребезжала стеклами и звонко рассыпалась на сотни кусков; половина ввалилась внутрь, другая высыпалась, звеня, на мостовую.

Передние ряды, а за ними и все — ринулись к разбитому окну, будто вся эта толпа ждала только, чтоб ей освободили проход.

Детина еще раза два ударил, расчистил окошко и, взмахнув огромной ножищей на подоконник, полез в монастырь. За ним вслед ввалились с хохотом и с гиками уже трое, четверо зараз, а через мгновение уже несколько десятков были внутри здания и растворяли настежь огромные двери, на которые уже напирала вся масса народа. Дрогнули стены Чудова, загудел монастырь, будто заколебался на своем основании, и скоро в стенах его стон стоял. Всякий искал Амвросия по всем горницам, по всем чуланам и, не находя его, уничтожал все, что попадало ему под руку. Не прошло часа, как все, что было в Чудове: мебель, посуда, книги, рукописи, архиерейская одежда, утварь церковная из маленькой церкви — все было перебито, перервано, уничтожено и разбросано. Окошки во всех этажах были выбиты, и оставшихся на улице обсыпало теперь всякой всячиной. Печатные и писаные листки, шерсть, пух из мебели и матрасов, клочья парчи золотой и серебряной — все это вылетало на площадь.

— Нашли! нашли! — раздался наконец дикий крик, и человек пять, в том числе Иван Дмитриев, волокли за волосы и за плечи маленького старичка в монашеской рясе. Густая толпа, наводнившая горницу, расступилась: старика монаха выволокли в большую горницу, погоняя здоровыми колотушками. Обезумевший старик был полужив. Его забросали вопросами, но он не отвечал ни слова и обезумевшими глазами озирался на своих мучителей.

— Стой! Нешто это преосвященный? Чего вы? Брось

его! — воскликнул Андреев, хорошо знавший Амвросия в лицо.

— А кто ж этот-то?

— Его в церкви нашли,— стало быть, это Никон, брат его, Воскресенский архимандрит.

— Брось его, черта в нем!

— Ну, за хвост да об стену!

И кто-то, выхватив маленького старичка из рук ведущих его, взял его за шиворот и толкнул куда-то в угол. Нечаянно Никон попал под какой-то полунадломленный стол.

Между тем Ивашка, среди сумятицы, среди грабежа, влез на что-то; в руках его была чернильница с письменного стола преосвященного. Около него стоял знакомый ему раскольничий поп с Рогожского кладбища, с просветившимся радостным лицом, и учил Ивашку писать по стене.

— Да ты грамотный ли? — говорил он.

— Ну, вот тебе,— отозвался Ивашка.— Меня княжна именитая выучила писать, а не то что дьячок какой. Чего писать-то — ты сказывай только...

Монах отчетливо выговорил:

— И погибе память его с шумом...

И Ивашка, макая палец в чернильницу, стал выводить большие буквы по стене.

В то же время, когда стены Чудова едва устояли, едва не обрушились от ломившихся в них, все улицы московские были точно так же переполнены гудящим народом; все, казалось, высыпали на улицу, только одни умирающие оставались по домам.

Все это гудело, сновало, но еще не было руки, которая бы появилась и направила бы куда-нибудь эти бушевавшие волны.

И в этот самый вечер преосвященный, предупрежденный заранее, покинувши Чудов монастырь, поехал к сенатору Собакину, чтоб укрыться от рассвирепевшей черни.

Собакин был заперт в своем доме со всеми домочадцами и всей дворней. За несколько дней перед тем в его доме открылась чума, и он соблюдал строжайший карантин. Преосвященный поскакал к другому приятелю генералу, но тот не сказался дома. Он хорошо знал, что происходит на Москве и кого ищут, и, конечно, не хотел губить себя и свою семью из-за Амвросия.

Получив и здесь отказ, преосвященный и вспомнил

о Ромодановой, о ее огромном доме, и поскакал на Знаменку.

Действительно, Марья Абрамовна была дома и, не зная хорошенько, что творится на Москве, с радостью приняла у себя преосвященного. Амвросий отправил свою карету, которую знала вся Москва, и остался у Ромодановой до вечера.

Вечером приехал за ним его племянник Бантыш-Каменский, и в его простой маленькой карете оба они направились в Донской монастырь, чтобы выхлопотать наутро у Еропкина пропускной билет и спасаться далее в окрестностях Москвы. В конце Знаменки, при повороте с Ленивки на Каменный мост, густые бушующие толпы народа заставили экипаж остановиться.

И здесь, в карете, заливаемой со всех сторон темными гудящими людскими волнами, Амвросий пробыл несколько мгновений. Подвигаться далее было невозможно. Кучер кричал, хлестал лошадей, хлестал кнутом направо и налево по головам налезающих, но проехать было окончательно немыслимо. В этом месте будто встретились два потока: один лился из Кремля, другой, напротив, вливался в Кремль поглазеть на разбитый Чудов.

Преосвященный, прислонившись в глубь кареты, слышал кругом себя дикий вой озлобленной черни, слышал свое собственное имя, сопровождаемое проклятьями и площадными прибаутками. Каждое мгновение, когда кто-нибудь среди давки поневоле толкался о карету или лез на колеса, старик архиерей ждал и ждал... Вот кто-нибудь спьяна иль с разгула отворит дверцы, архиерейское одеяние выдаст его,— и Бог весть, что тогда будет!..

Но через несколько минут кучер, разгорячив кнутом лошадей, кое-как, давя народ, протискался к берегу реки. Карета шибкой рысью въехала на Каменный мост, а там впереди, за рекой, в Замоскворечье, было тихо, спокойно, безлюдно.

Амвросий отворил окно, высунулся, вздохнул глубоко. За этим безмолвным, полумертвым Замоскворечьем был Донской, за Донским — ширь полей и лесов, где мог спастись и укрыться самый отчаянный преступник, а тем паче ничем не повинный архиепископ московский.

Расходившаяся толпа, разбив Чудов, не оставив ничего в целости, быть может, благодаря глубокой ночи, рассыпалась бы, каждый восвояси, по своим домам

и углам, но неведомый человек шепнул кому-то на ушко, что в подвалах Чудова видимо-невидимо бочек с сивухой, романеей и всякими заморскими винами.

И это была правда: подвалы Чудова, именно будто на грех, отдавались внаймы и служили складом нескольких богатых виноторговцев.

Когда двери подвала были выломаны, когда бочки и бочонки увидели свет божий, то толпе разойтись было уже не суждено. Напротив, сонмище все росло и росло и до ночи гудело вокруг Чудова, наливаясь вином, поливая землю. Сотни мертво-пьяных ночевали тут же, на мокрой, спиртом упитанной земле.

Наутро, чуть свет, этой толпе для похмелья уже мало было вина — ей надо было опохмелиться кровью человеческой, и снова кто-то неведомый шепнул, что Амвросий бежал за город, в Донской монастырь, что можно еще там его накрыть.

И снова собравшиеся несметные толпы двинулись из Кремля через Каменный мост и Замоскворечье с криками: «В Донской!»

XVIII

Поздно вечером преосвященный Амвросий въехал в большие ворота Донского монастыря, спасаясь от бунтующей черни. Ворота и все калитки, выходившие в поле, были тотчас же заперты; всюду, где можно, были расставлены часовые из монастырской прислуги.

Племянник архиерея, Бантыш-Каменский, тотчас же принялся за хлопоты, чтобы достать лошадей и повозку. Усталый, измученный и взволнованный, Амвросий остановился в доме настоятеля монастыря, Антония, и сердце не подсказало ему, когда он переступал порог дома, что он искал спасения под кровом злейшего своего врага и давнего завистника. Не в добрый час, видно, собрался преосвященный в единственный из монастырей окрестных, где пребывание его было наиболее опасным.

Каменский тотчас же отрядил верхового в Москву к генерал-губернатору настоятельно подтвердить просьбу о немедленной высылке пропускного билета через рогатки и заставы, которыми оцеплена была Москва. Вместе с этим он приискал простую бричку и пару лошадок в крестьянской полуоборванной сбруе. Наутро Амвросий должен был уехать в Новый Иерусалим.

В эти дни, чем выше было общественное положение всякого москвича, тем мудренее было ему выбраться и бежать из Москвы. Простой народ окрестных городков и селений просто и легко приходил в Москву и уходил снова, минуя всякие рогатки. И если бы старик преосвященный мог идти пешком, то в этот же вечер был бы уж за всеми заставами.

Амвросий, рассказав в двух словах Антонию о положении дел в Москве и о необходимости бежать на время из столицы, ушел в приготовленную ему горницу, ссылаясь на желание отдохнуть. Но, оставшись один, Амвросий сел в кресло и далеко за полночь, положив голову на руки, раздумывал о последних событиях на Москве. Ему была обидна и оскорбительна эта необходимость бежать от бунтующей черни, перед которой он не считал себя виноватым.

Теперь Амвросий задавал себе вопрос, на который, конечно, как он сам, так и никто в Москве не мог ответить. Почему в эти смутные дни именно он, а не кто-либо другой, сосредоточил на себе ненависть и жажду мести московской черни?

Теперь преосвященный вспоминал всю свою деятельность в качестве московского архипастыря и, конечно, не находил ничего, чтобы объяснить свое теперешнее положение беглеца.

И Амвросий не подозревал даже, что главный источник ненависти к нему и главные виновники были те, судьбой обойденные, обнищалые попы Крестцовые, которым он строжайше приказал не зарабатывать себе хлеб насущный и, следовательно, строжайше приказал умирать с голоду.

Эти несчастные были даже не виноваты, что отчаянная ненависть к архиерею пустила глубокие корни в их далеко незлобивых сердцах. «Голод не тетка»,— сказывает народ, да прибавляет: «Мачеха люта, да голодуха лютее!»

И эти несчастные попы от Крестца неумышленно, искренно, вращаясь постоянно между чернью московской, разжигали ненависть ее к турке-архиерею, который хочет православных обратить понемногу в турецкую веру, у которого сотни сундуков переполнены награбленными церковными деньгами, у которого в воспитательном доме целый десяток собственных ребят, который запрещает в эти страшные дни кары Господней крестные ходы, молебны, стало быть, запрещает молить-

ся Господу и, наконец, принуждает умирающих отправляться на тот свет без покаяния и причастия.

Это была одна причина. Другая была еще проще. Из всего начальства, ненавистного теперь москвичам, Амвросий, как архиерей, был единственный, к которому можно было приступить безбоязненно. У всякого, начиная с Еропкина, была свита, были хоть солдаты в распоряжении или многочисленная дворня. У одного преосвященного были на защиту лишь два или три боязливых инока. Как Чудов монастырь никто не защитил от разгрома, так и самого Амвросия некому было бы защищать.

Еще пред грабежом Чудова кто-то разъяснил на площади толпе:

— Всему причина, всем бедам голова — архиерей. А архиерей тот же поп! Не генерал же он какой!

Покуда Амвросий сидел в своей горнице наедине с своими тяжелыми думами, в том же доме, в другой келье, настоятель Антоний скорыми тревожными шагами ходил взад и вперед, из угла в угол. Лицо его было особенно оживленно, глаза горели необычным светом, изредка он останавливался и тяжело переводил дыхание.

— Да,— прошептал он наконец,— если б их теперь заманить сюда. Тут бы всему и конец! Верно! Рука-то в Чудове размахалась. Но как заманить?

И Антоний вдруг, испуганно, оглянулся в своей горнице, будто оробев, что кто-нибудь может услыхать его.

Около часа проходил он задумчиво из угла в угол большой кельи; брови его давно сдвинулись; лицо стало злобно, и наконец он выговорил полунасмешливо, полугорько:

— Нет, где тебе! Трус! Баба! Упустишь! Мог бы теперь наутро же рассчитаться с ненавистником, да тебе, бабе, это не под силу. Ну, и работай опять на него долгие годы. Ты будешь гнить тут настоятелем монастырским и сидеть ночи не разгибаясь, а он будет себе царские милости и отличия твоими руками загребать!

И Антоний поглядел на свой письменный стол, где лежали развернутые книги с мудреной цифирью греческой и еврейской, и на большие серые листы бумаги, мелко исписанные его рукой. Это был именно парафрастический перевод псалтыря с еврейского на русский — огромный труд, в котором он помогал Амвросию.

Завистливый и злой монах, конечно, не мог предуга-

дать, что Амвросий, собираясь поднести этот замечательный труд императрице, заранее решил честно и правдиво довести до ее сведения, что наполовину обязан помощи Донского настоятеля.

Антоний в порыве гнева подошел к столу, схватил большую книгу в желтом кожаном переплете и несколько исписанных листков и с яростью швырнул их в угол горницы. Он не знал еще, что исписанные листки были теперь действительно ни на что не нужны, так как главная, огромная часть перевода уже была уничтожена чернью в клочья, и ветер кружил ими по всем улицам московским, будто баловался с этими клочьями многолетнего труда.

Несколько успокоившись, Антоний собрался уж ложиться спать и стал уж расстегивать свою рясу. Но вдруг, под влиянием нового прилива злобы, он снова застегнул ворот дрожащей от волнения рукой и все теми же быстрыми шагами, будто по самому неотложному делу, вышел из горницы в коридор и постучался тихонько в маленькую дверь.

— Спаси, Господи! — еле слышно пробурчал голос за дверью, и маленький седенький монах появился на пороге.

— Иди ко мне! — шепнул настоятель неспокойным голосом.

И через минуту Антоний, сидя пред монахом, с румянцем на щеках от стыда или смущения, опустив глаза в землю, слегка дрожащим голосом не просил его, не приказывал, а как-то однозвучно и нерешительно говорил, будто рассказывал что-то, будто советовался...

Старичок-монах был самое близкое, самое довереннное лицо к Антонию, даже его дальний родственник. Сморщенный, плюгавый на вид, он был на деле еще очень бодрый и живой разумом человек. Он понял вмиг все и решил дело просто.

— Что ж? Мы тут ни при чем! — шепнул он.— Укрывать мы его за все его ехидства не обязаны. Мы только слух пустим, а уж они сами на заре нагрянут.

— Но как слух пустить? — едва слышным голосом выговорил Антоний.

— Уж то не ваша забота. Тут приехал с вечера и ночует мой приятель, подьячий из иностранной коллегии, Краснов. Он с охотой возьмется за дело, мигом слетает в Москву. А приятелей у него там много. Против нашего-то лиходея он не злобствует, а вот на племяннич-

ка его, который с ним приехал, Краснов давно зубы точит. Он его из коллегии-то выгнал.

Наступило минутное молчание, и наконец Антоний выговорил еще тише, так тихо, что старик монах едва мог расслышать:

— Ну, как знаешь. Час поздний, можно и прозевать...

Старик поднялся с места и пошел к дверям.

В ту минуту, когда он отворял двери и переступал порог, Антоний выпрямился, глянул ему вслед блестящими глазами и быстро, будто невольно поднял руку. На языке его, от прилива мгновенного стыда и совести, были уж слова: «Стой! Не надо!»

Но эти слова будто остались у него в гортани, его будто задушила на мгновенье внутренняя борьба, и он не мог, не успел выговорить этих слов. Дверь заперлась, монах исчез, и через минуту шаги его замолкли в глубине длинного коридора.

Антоний схватил голову руками, крепко сжал себе виски и прошептал:

— Грешное дело! Да ведь я же не святой! Да и что же тут! Только слух пройдет, что он здесь, а может быть, из этого ничего и не будет.

XIX

Наутро, чуть свет, весь монастырь уж был на ногах. Все иноки, и стар, и млад, ради присутствия в монастыре преосвященного, поднялись раньше обыкновенного, и всякий прибрался тщательнее, принял порядливый вид и прилежнее взялся за свое дело.

В то же утро худой, чахоточный подьячий иностранной коллегии, отлучавшийся ночью из монастыря, снова появился в монастырской ограде. Осторожно, будто укрываясь, пробрался он в келью старика монаха, наперсника Антония.

Он привез два известия. Одно из них дошло только до настоятеля, и Антоний, выслушав краткий доклад, изменился в лице. Видно, слишком хорошо и успешно пошло то дело, которое он затеял.

Другое известие чрез него дошло и до Амвросия. Это были подробности о разграблении полном всего Чудова и всего архиерейского имущества.

— А икона моя большая? — воскликнул он.

— Все, все уничтожено, ваше преосвященство,— лукаво вздыхая, вымолвил Антоний,— вероятно, и икона погибла от руки изуверов.

— А книги! А наш перевод! Наши многие годы работы! — воскликнул Амвросий, хватая за руку настоятеля.

— По всей площади, сказывают, рванье одно...

Амвросий отвернулся, и две слезинки потекли по морщинистым щекам. Он опустил голову, тихо отошел к окну и стал печально смотреть на монастырский двор, где быстро сновали и перебегали монастырские служки.

В девять часов утра все население монастыря было в главном храме, в ожидании обедни, которую будет служить соборне сам преосвященный. И на весь этот люд было только три человека смущенные и озабоченные: преосвященный, настоятель и молодой Каменский.

Амвросий не мог утешиться в погибели своей любимой драгоценности, двухсотлетней картины Богоматери, писанной знаменитым итальянским мастером и стоившей ему несколько тысяч рублей. Он всегда мечтал по смерти завещать ее во вновь отделанный им заново Архангельский собор. А теперь двухсотлетнее полотно стало простой, серой грязной тряпкой от руки какого-нибудь острожника, а вернее раскольника.

Антоний был слегка бледен, тревожно озирался и в храме, и алтаре, тревожно прислушивался к малейшему звуку. Он будто ждал чего-то с нетерпением и боязнью, будто какая-то борьба с самим собою продолжала бушевать в нем, и он умерял ее, мысленно повторяя:

«Да уж поздно, дело сделано. Да и я тут ни при чем. Может быть, и ничего не будет».

Третий, молодой чиновник иностранной коллегии, был озабочен, казалось, более всех. Повозка, добытая им за ночь, была запряжена и стояла на монастырском дворе. Мужик-возница сидел на облучке и подремывал.

Сейчас же после обедни они могли бы вместе с дядей выехать по Воскресенской дороге, а пропускного билета из Москвы от Еропкина все еще не было.

Молодой человек не мог спокойно стоять в храме и молиться, как другие. Он постоянно выходил, поглядывал на монастырский двор, иногда доходил до маленькой калитки и глядел в поле через решетку, ожидая нетерпеливо с минуты на минуту верхового от генерал-губернатора.

Между тем преосвященный облачился; обедня началась; хор монастырских певчих зазвучал стройно и красиво, оглашая темные своды старинной обители.

Наконец вышел и диакон с Евангелием, положил его на аналой и собрался, ради редкого случая, присутствия самого преосвященного, прочитать на славу, чтобы похвалу получить.

«На грех мастера нет, да и Господь милостив,— думалось ему пред аналоем,— может, так прочту, что преосвященный тотчас в Успенский собор переведет. А в том соборе и царица иной раз бывает. Не редки случаи, что простые диаконы ради голоса зычного, горластого далеко шли, в именитые люди выходили, в те же архиереи попадали».

И в голове донского диакона быстро созидался целый заманчивый мир, и Бог весть, куда он забрался мыслями, и, быть может, из-за этого наступило во всем храме необычно продолжительное молчание и затишье. Уже давно все перекрестились, давно все ждали басистых звуков и слов:

— «Во время оно, вниде паки в Капернаум...»

Но в это мгновение Амвросий приподнял опущенную голову и едва заметно вздрогнул. Антоний, стоявший от него на подачу руки, напротив, вдруг опустил голову и стал креститься, старательно нагибаясь, будто скрывая от всех свое побледневшее вдруг лицо.

И все, что было в храме, и старики схимники, и молодые служки монастырские, все шелохнулось невольно, и настала еще большая мертвая тишина. Всякий будто хотел прислушаться и увериться: не ошибся ли он?

Далекий гул и рев будто прилетели откуда-то и пронеслись через монастырский двор, как проносится вихрь, и частичка малая этого гула скользнула в открытое окно храма. И после мгновенного перерыва снова тот же гул, но еще резче и сильнее ворвался в то же окно и уже будто ударил, как вихрь, в эту толпу и шелохнул ее. Все задвигалось, всякий невольно ахнул или шепнул слово одно, а храм огласился легким шумом страха и смятения. Всякий почуял новое, страшное, нежданное событие.

Монастырские стены заливала со всех сторон несметная толпа народа, привалившая из Москвы. Половина всех бывших в церкви монахов высыпала на двор, перепуганно озираясь и не зная, что делать. Вернуться ли в храм, бежать ли в кельи, броситься ли к калиткам

глянуть и воочию увидеть, что за чудовище ревет за оградой.

Дьякон далеко не зычным, а пугливым, дрожащим голосом начал читать Евангелие, путался, останавливался, вздыхал и, озираясь вокруг себя, забыл, что он делает, где он стоит.

Настоятель монастыря отошел от престола к двери ризницы и, несмотря на чтение Евангелия, на неурочное время, отвернувшись от всех лицом, стал поправлять что-то в своем облачении.

Амвросий, после первого же гула, более сильного, долетевшего до его слуха, обошел престол, стал перед ним и, опустившись на колена, припал лицом к полу. Отчего упал теперь старик архипастырь перед престолом Божиим? От избытка ли горячей, но спокойной молитвы к Богу о своем спасении, о даровании живота, о том, чтоб мимо шла чаша сия? Или от простой робости человеческой, плотской слабости, от суетного, ледянящего сердце, предчувствия?

Не прошло четверти часа, как сотни голосов уже гремели на монастырском дворе. Небольшая деревянная калитка, выходившая в пустое поле, на заднем конце двора, была сбита с петель, разломана, и по расщепленным, гнилым доскам, которые рассыпались по земле, врывался в монастырский двор серый, гулкий людской поток.

Скоро этот поток, разливаясь по двору, заливая стены храма с обеих сторон, захлестнулся с противоположной стороны его и будто затопил храм в своих пестрых, гулливых волнах.

Несколько человек, самых рослых и голосистых, коноводов по виду, шумно ввалились с паперти в церковь. Но служба церковная, знакомые с детства молитвы, хор певчих, менее стройный, но все-таки звучный, быть может, еще звончее от страха и смятения,— все это на минуту задержало и заставило умолкнуть с самой Москвы бежавших, с самой Москвы голосивших буянов.

Однако с десяток человек и с ними Иван Дмитриев спрашивали монахов: в Донском ли находится преосвященный? Одни из оробевших монахов молчали, не зная, что отвечать, другие отвечали, что нет.

В то же время, на дворе, высокий чахоточный чиновник показывал толпе на повозку, приготовленную для бегства архиерея. Затем целая кучка, отделившись

от всей толпы, вместе с ним бросилась в монастырскую баню, где заперся молодой чиновник, племянник архиерея.

Первый ворвавшийся в баню ухватил молодого человека за ворот, и тотчас же он получил несколько крепких тычков, тотчас же упал на скамью от сильного удара в грудь. Он взмолился со слезами на глазах и, доставая из карманов все, что было в них, пугливо совал все в руки ближайших. Тут были деньги, были большие дорогие часы Амвросия, его же великолепная, от императрицы полученная табакерка с алмазами.

Кучка бунтовщиков, по природе добродушная, только зря расходившаяся, тотчас унялась; расходившиеся и размахавшиеся кулаки тоже унялись, и раздались голоса:

— Ну, Бог с тобой, барин!

— Пущай его!

— Что в нем! Нехай его!

— Плюнь, братцы! Того упустим!

И все как по приказу высыпали из бани, оставив полумертвого от страха молодого малого, еще не верящего в свое спасение.

Ворвавшиеся было во храм тотчас же снова вышли из него и объяснили налезавшим буянам, что негодно в храме заводить бесчинства.

— Кончится обедня, тогда расправимся. Коли тут, то уйти ему некуда.

Между тем обедня быстро шла к концу. Амвросий причастился святых тайн и снова молился на коленях. И в нем теперь — после первой душевной тревоги и горячей молитвы — явилось простое смущение, слабая надежда на счастливый исход и простой расчет: разоблачиться или остаться в полном блестящем архиерейском облачении со всеми крестами и орденами, и выйти так — усмирить волнение убедительным словом, своим саном, своим внешним видом. Он уж было решился на это, он уже хотел, поднявшись с земли, идти прямо на этот дикий рев и гул, спросить у беснующегося народа, что привело его сюда и чего он хочет, но в ту же минуту бледный как смерть Антоний, у которого не хватило мощи видеть и пережить свою собственную затею, под влиянием смутного раскаяния, хотел успокоить свою совесть. Когда Амвросий поднялся с твердою решимостью выйти на паперть, Антоний дрожащим голосом выговорил, приближаясь к нему:

— Разоблачитесь скорей! Здесь, на хорах, есть укромное место. Скорее! Никто там не найдет.

И этого было довольно, чтобы поколебать слабую решимость преосвященного. Зачем дразнить судьбу, когда можно схватиться за соломинку?

Амвросий тотчас же стал разоблачаться при помощи самого Антония и еще двух иеромонахов. Вскоре старик преобразился и имел уже совершенно иной вид. Сейчас сиял он в своих одеяниях, стоял в сотне лучей, переливавшихся в золоте и серебре его саккоса. Сейчас горели ярко десятки алмазов в митре на голове его, блестели многие ордена. Теперь же он вдруг стал маленьким, оробевшим старичком в темной монашеской рясе. Теперь он походил на самого последнего монаха, каких сотни привык народ видеть на улицах и часто обзывать и озадачивать площадными шутками.

Антоний дрожащей рукой отворил тяжелую железную дверь в алтаре и, введя преосвященного на высокие темные хоры, под самые своды храма, указал дальний угол. Затем, не имея сил произнести ни слова от душевной тревоги, он быстро спустился вниз и снова запер на замок тяжелую дверь...

XX

И было вовремя.

Церковь снова наполнилась гудящим народом, и передние ряды уже налезали к алтарю. Но на мгновенье еще, между врывавшейся толпой и священнослужителями в облаченье у престола, робко ожидающими бури, была какая-то невидимая грань, которую переступить никто еще не решался... Эта грань — совесть людская, эта грань отделяет умысел от самого действия, и самое слово «преступленье» говорит о том, что была грань, которую надо было человеку «переступить». Наконец впереди всех стоявший Дмитриев, тоже в смутной нерешимости, тоже будто чуя эту грань невидимую между собою и алтарем, вдруг схватил за руку соседа, глупо ухмылявшегося холопа, Федьку Деянова, и толкнул его.

— Подь, спроси у энтого козла черномазого! — показал он на Антония,— где Амвросий? Его нам надо. Понял? А не скажет, хватай его за бороду!

И Федька, всю свою жизнь попадавший всегда во всякое чужое дело, как кур во щи, вечно ухищрявшийся

сдуру отведать в чужом пиру похмелья, теперь точно так же, от толчка Дмитриева, полез в алтарь справить аккуратно должность бунтовщика и злодея.

Антоний слышал слова Дмитриева, увидел Федьку. Он не выдержал, попятился к двери ризницы и, быстро захлопнув ее за собой, заперся на ключ. Другие монахи, в то же мгновенье, бросились в разные стороны. Двое выбежали из алтаря к тому же народу, будто чуя, что не им грозит беда, что их не тронут, но кто-то из них зацепил рукавом и повалил огромный подсвечник. И когда подсвечник звонко гремел, катясь с полыхающими свечами по каменному полу, зычный, дурацкий голос Федьки Деянова раздался на весь храм:

— Держи! Держи!

Крик относился к подсвечнику.

Но будто в этом глупом крике была особенная волшебная сила, особое таинственное значение, которые сокрушили невидимую грань...

Все, что было в храме, как на призыв, сразу ринулось в алтарь, и чрез несколько минут давки и рева алтарь превратился в груду обломков, тряпья. Дико-восторженный вой этого зверя, именуемого толпой, огласил весь храм, и самые своды будто дрогнули. И в нем повторилось то же, что и в Чудове. Ничто не осталось на месте. Те же иконы в ризах, перед которыми весь этот люд еще вчера клал десятки и сотни поклонов, были сорваны и потоптаны.

Все валилось на пол, и все топтала, сама себя бессмысленно обозлившая, толпа.

Наконец, обшарив все углы церкви, бунтовщики бросились снова на двор и рассыпались по всем другим церквам и по всем кельям монастыря.

Когда в алтаре все стихло и гул голосов доносился издали, из ризницы вышел бледнолицый Антоний. За эти несколько минут Бог весть что совершилось на душе его. Он слышал ясно из своего убежища бурю, которая пронеслась по храму и затем стихла, будто промчалась далее. В алтаре и во всей церкви наступила полная тишина. Антоний, припав лицом к маленькому окну в ризнице, видел, как толпы, бросив разграбленный и поруганный храм, устремились, ради розысков Амвросия, по кельям монашеским.

Конечно, прежде всего будут выломаны двери его дома настоятельского и будет уничтожено все его имущество, разграблены те небольшие деньги, которые

хранились в сундуке под его кроватью. Боязнь за свое имущество вдруг снова пробудила в Антонии заснувшее в нем или укрощенное им чувство зависти и злобы к своему врагу, который был в его руках и которого он, в минуту слабости, вдруг пощадил, укрыв на хорах.

И во сколько был смущен и нерешителен этот человек в продолжение целого утра и всей обедни, во столько решителен стал он теперь.

Выйдя в алтарь, Антоний, еще не зная, что он сделает, что предпримет, вдруг увидел около царских дверей сидящего на полу человека, который спокойно держал в руках согнутый сосуд и будто старался выправить его. Это был глупый Федька. Он же своим дурацким криком, как бы призывным кличем, поднял всю бурю, и он же теперь мирно остался в разоренном и оскверненном алтаре и, сам не зная зачем, переглядывал перепорченную утварь.

Антоний остановился перед ним и выговорил:

— Нашли архиерея?

— Нетути! Не нашли еще! — равнодушно отвечал Деянов, поднимаясь с полу.

— На хоры лазили?

— Не знаю. Нету.

— Вот дверь! — указал Антоний каким-то странно звучащим голосом.— Он там, на хорах.

— Ишь ты! — глупо ухмылялся Деянов.

— Поди, скажи.

— Сказать? Ладно. Да! а то долго, зря проищут! — вдруг обрадовался Федька и быстрыми шагами вышел из алтаря на паперть.

Антоний бросился к двери, вложил в нее вынутый за минуту ключ и потом, снова быстро вбежав в ризницу, заперся в ней. И снова припал он к маленькому окну и, слабея от волнения, уцепился руками за железную решетку окна. Он видел отсюда и паперть, и всю половину двора монастырского. Вот вышел этот глупый холоп, которого он послал снова поднять бурю.

— Вот он! — прошептал Антоний.— Сейчас скажет! Все это нагрянет снова! Сюда и наверх!

Федька, спускаясь по ступеням паперти, споткнулся вдруг, остановился и обернулся, разглядывая, за что мог он зацепить ногой. Затем он снова двинулся, но тише. Вот повстречал он двух мужиков, бегущих через двор.

— Вот скажет! — шептал Антоний, следя за всеми движениями Деянова.

Вся душа Антония перешла, казалось, в его глаза. Но Федька, очевидно удивленный тем, что узнал от встречных, более скорыми шагами пошел вместе с ними в противуположный край двора.

— Нет! — прошептал Антоний.— Не судьба! Господь спасет! А меня накажет...

Антоний понимал, что ему попался, быть может, самый глупый человек из всей толпы. Но ведь и это судьба! И он перестал смотреть на площадь, припал лбом к холодному железу решетки и закрыл глаза. Если не погибель Амвросия утишит и остановит бурю, то — разграбленье его дома и всего его имущества.

Шум на дворе заставил Антония поднять голову и снова глянуть. Густая толпа, чуть не бегом, неслась снова к храму, и впереди всех шагал Деянов. Действительно, Федька не сразу, но все-таки сообразил, вспомнил, что слышал от монаха в алтаре, и передал толпе. Весть, что Амвросий спрятался на хорах, в секунду облетела весь народ, и снова один из первых был в алтаре Дмитриев. Первый отпер он и растворил дверь на хоры, и человек двадцать бросились по ступеням.

И в эту минуту, в глубине хор, в темном углу, притаившийся старик преосвященный, уже надеявшийся на минование бури, услышал крики и приближение злодеев. Он перекрестился, схватил себя за голову и замер в этом движении. И два раза прошли в двух шагах от него искавшие его люди и не заметили его. Глаза Амвросия, уже привыкшие к темноте, ясно различали все. Народ же, ворвавшийся прямо со света, ходил ощупью мимо него. И вот последний из них снова прошел мимо, и он слышал возгласы:

— Все враки! Нету! Кой черт выдумал!

Голоса снова удалялись. Слышны уже были вдали шаги спускавшихся вниз и толкотня встречных на лестнице. Только какой-то мальчуган остался невдалеке от Амвросия и ползал по полу, старательно отыскивая что-то в темноте. И вдруг мальчуган увидел край полы рясы монашеской, высунувшейся из-за перегородки. Мальчуган, бросив свои поиски за пуговицей, которая отскочила от его штанов, пустился догонять народ.

— Дядя Егор! Дядя Егор! Сидит тут! Сидит! И кафтан видать! — весело воскликнул мальчуган, цепляясь за руку толстого мещанина.

— Где? Что ты брешешь!

Но несколько человек, уже собиравшиеся спускаться

с хор, снова пошли за мальчуганом, и дикий крик радости нескольких голосов огласил своды церковные.

— Нашли! Нашли! — раздалось на хорах, потом пролетело по церкви. А через несколько мгновений уже во дворе и даже за стенами монастырскими повторялось одно и то же слово:

— Нашли!

А десяток крепких рук уже волокли по лестнице в алтарь потерявшегося старика архиерея.

И тут же, в алтаре, уже несколько кулаков замахнулось над ним.

— Стой! — воскликнул Дмитриев.— Негодно здесь. Волоки его на двор.

И тотчас же, увлекаемый сильными руками, старик был выведен из храма на середину двора. Густые толпы обступили его кругом, и дикие крики, сотни бессмысленных вопросов, площадная брань, угрозы и проклятья — посыпались на него со всех сторон.

— Обождите! — глухо, робко, дрожащим голосом заговорил Амвросий.— Дайте, поясню я вам все, чада мои.

И Амвросий стал говорить, оправдываясь во всех возводимых на него обвинениях и клеветах.

И толпа эта постепенно стихала, все более прислушивалась к словам архипастыря, к его голосу. А голос его звучал все тверже, все громче, все более чувства убеждения было в речах его.

— Это кара Господня,— говорил он.— Кто повинен в ней? Никто. Не нам судить Господа Бога. Он послал мор на людей. Нам надо молиться, замаливать грехи...

И многие, близ стоявшие, слегка смущенные, уже искренно раскаивались в том, что сейчас волокли сюда преосвященного, как бы простого мещанина. Один Иван Дмитриев стоял в двух шагах от архиерея и ехидно улыбался, глядя на него.

«Что, родимый,— думалось Дмитриеву,— сладко запел теперь! Видно, ваш брат не всегда грозен. Этак вот Еропкина словить, тоже запоет соловьем».

Дмитриев оглядывался на ближайших и видел ясно, что слова преосвященного подействовали на многих.

Ему казалось теперь невозможным новое озлобленье толпы против старика архиерея. Да оно ему было и не нужно. Дмитриев ненавидел не Амвросия, а всю дворянскую Москву.

Если бы могла теперь вся эта вельможная Москва

воплотиться в одного человека и стать перед ним и перед судом всей этой толпы, то тогда бы у Дмитриева хватило, конечно, духу первому броситься и растерзать свою жертву.

Но вдруг толпа шелохнулась: кто-то проталкивался вперед, и в двух шагах от Амвросия очутился вдруг рассвирепелый Василий Андреев с огромным колом в руках, который он вырвал из поваленной ограды.

— Чего уши развесили,— зычно окрикнул он всю притаившуюся толпу.— Олухи! Нешто не знаете, что он колдун! Вот его чем надо!

И Василий Андреев высоко взмахнул колом и ударил. Оглушенный, сразу потерявший сознание, Амвросий тихо повалился на землю.

А все, что было кругом, ринулось...

Несколько раз бросал остервенелый народ безжизненный и изуродованный труп и снова принимался за дикую работу.

И только в сумерки снова опустел разгромленный Донской монастырь.

Толпы злодеев, найдя виновника мора людского и отомстив ему, ворочались в Москву, где по-прежнему, как и вчера, продолжала ходить по городу и косить народ черная смерть. И до самой ночи тихо было в Донском, никто не появлялся на дворе.

Обитатели его,— от настоятеля, боявшегося выйти из ризницы, и до последнего служки,— все притаились каждый в своей засаде. И только немногие украдкой, боязливо выглядывали в решетчатые окошечки и крестились в ужасе и страхе. Середи двора, на дорожке между монастырскими воротами и папертью храма, лежал распростертый на земле, истерзанный и обезображенный труп, едва прикрытый окровавленными клочьями изорванной одежды. И не один час, а два дня и две ночи провалялся так труп убитого архипастыря, середи двора, непокрытый, и никто не посмел прикоснуться к этой жертве народной мести.

XXI

Трое суток вся Москва была на ногах, бунт все разгорался, и полный беспорядок и сумятица царствовали везде, по всем улицам и площадям. Все, что было

живого люда на Москве, разделилось, так сказать, на три отдельные лагеря.

Самый многолюдный лагерь составляли, конечно, смирные обыватели, перепуганные мятежом, которые сидели по своим домам, не смея показать носу на улицу, или даже скрывались в погребах и подвалах, боясь смерти уже не от чумы, а от бунтовщиков.

Второй лагерь были именно эти бунтовщики, и число их росло с каждым часом. Все, что было на Москве обнищалых мещан, отпускных солдат, подьячих без мест, попов без приходов, выпущенных из острога мошенников, наконец, все одиночки, оставшиеся после вымершей семьи и лишенные всего имущества грабителями, во время пребывания их в карантине,— все это увеличивало каждую минуту лагерь злодейский.

Наконец, самая малочисленная, бессильная и нерешительная партия было само начальство.

Еропкин и во время бунта, убийств и грабежей оказался тем же добродушным, все извиняющим человеком.

— Это все от мора,— отвечал он,— очумели, бедные, рассудок потеряли!

Однако, ввиду новых насилий и боясь разграбления всех кремлевских соборов, были стянуты к Кремлю все имевшиеся в наличности команды и был приведен из окрестностей Москвы Великолуцкий полк. Набралось несколько сотен солдат под ружьем против нескольких тысяч бунтовщиков. Но, видно, изморенные мором, добродушные москвичи были не мастера бунтовать. Несколько сотен солдат в два дня прекратили бунт.

На третий день после убийства Амвросия, на Лобном месте, у Голичного ряда, у Спасских и у Боровицких ворот были схватки черни, вооруженной дубьем и каменьями, с солдатами. До полуторы тысячи обывателей легло в этот день; самые отважные, преимущественно острожники, были перебиты, а коноводы все захвачены и засажены в острог.

И через три дня в Москве наступило затишье, и только одна черная смерть, не обращая внимания ни на что, продолжала делать свое дело, продолжала уносить по восьми и девяти сотен жертв в день. Теперь нашлись для нее еще новые места, где было ей раздолье,— большие выморочные дома, где засадили тысячи захваченных буянов в ожидании суда. И многих из них чума

спасла от палача, плетей, клейма и Сибири, спровадив их из заключения на чумный погост.

В одном из домов, превращенных во временный острог за полным отсутствием как господ, так и дворни, были заключены главные коноводы.

Дом этот был не иной, как богатые палаты боярыни Марьи Абрамовны Ромодановой. И судьба, будто в насмешку, привела сюда Ивана Дмитриева. Он сидел с кандалами на руках, запертый в тех самых комнатах, где еще не так давно был полным хозяином.

Тут же с ним вместе были и другие: Василий Андреев, солдат Бяков, прапорщик Алтынов, командовавший бунтовщиками в Голичном ряду, два попа, Леонтий и Степан, болтавшие более всех о чуде, Федька Деянов, указавший место, где скрылся преосвященный, и, наконец, сам чудовидец, главный виновник всего мятежа, фабричный Ивашка.

Главными преступниками считались все-таки Василий Андреев, первый ударивший колом покойного архиерея, и Иван Дмитриев, вслед за ним вонзивший в упавшего старика небольшой нож, отнятый им у соседа мещанина.

И действительно, Василий Андреев, страшным ударом по голове лишивший сознания Амвросия, повалил его на землю, но первый, проливший кровь преосвященного и запятнавший себя и других, был Дмитриев.

Зачем и как сделал это злой, но не жестокий Дмитриев — он сам не знал теперь...

Сидя в качестве острожника в доме Ромодановой, он, однако, не унывал и не боялся Сибири.

— Везде люди живут! — повторял он давно сказанные кем-то на Руси слова.

Найдя в доме только одного мальчугана, бывшего когда-то форейтором при барыне и Бог знает почему оставшегося теперь в пустом доме, Дмитриев много узнал от него. А главное, узнал, что старая барыня, взявши с собой почти всю дворню, выехала из Москвы в вотчину, а молодой барин, еще до отъезда ее, был отправлен с каким-то монахом в монастырь, за тысячу верст.

Мальчуган уверял, что молодой барин очень убивался и плакал, так как барыня положила ему только по семи рублей в месяц на харчи и одежу. Барин очень

жалел, что не может повидать Дмитриева и посоветоваться с ним.

И в те дни, когда дядька Дмитриев был коноводом у Варварских ворот, его питомец, полуграмотный и избалованный недоросль, был уже в маленьком, бедном монастыре, в глуши непроходимых лесов Вятской губернии. Тут он не пользовался прежним вниманием, как в Донском, и был простым монастырским служкой, хотя из дворян, но из бедных.

Но это новое положение благодетельно подействовало на Абрама, будто образумило его.

Сидя в своей келье, гуляя изредка по монастырскому двору, зная, что он за тридевять земель от столицы, он стал раздумывать о себе и о своем прошлом, стал смутно понимать то пагубное влияние, которое имел на него его дядька.

Абрам, конечно, не оправдывал поступок бабки, упекшей его в монахи, и все-таки продолжал надеяться когда-нибудь, при известии о ее смерти, снова избавиться от монастырской жизни и снова быть офицером. Но состояние, все вотчины и судьба их в руках бабки, конечно, смущали молодого малого. Ромоданова могла заживо все раздать по монастырям и не оставить ему ничего.

«Бог не допустит!» — думал только подчас Абрам.

Его постоянные думы о прошлом, раскаяние во многих своих проступках, однообразная жизнь в монастыре — все соединилось вместе к тому, чтобы в очень короткий срок сделать из беспечного, по легкомыслию злого малого более серьезного и сердечного человека.

Теперь было у Абрама одно воспоминание, самое горькое, был в прошлом поступок, который наиболее мучил его совесть, была в прошлом личность, которую он загубил, потом потерял из виду и теперь не только жалел, но снова любил всем сердцем.

Абрам снова по целым дням думал об Уле. Он понял теперь, что никто никогда не любил и не полюбит его так, как эта светлоокая, кроткая и безгранично преданная девушка. И если Абрам часто мечтал избавиться когда-нибудь от монастыря, то еще чаще мечтал о том, как он разыщет свою Улю, обвенчается и снова заживет с ней в мире и любви.

XXII

Было одно существо на Москве, которое, слыша каждый день о новых покойниках, видя всякий день, как провозили мимо окон дома телеги, наполненные страшными полуголыми мертвецами, не боясь черной смерти, даже не думало о ней и, наконец, во время трех страшных дней буйства черни, не боялось выходить на улицу прогуляться и подышать чистым воздухом. Это бесстрашное существо была тихая, безобидная, но теперь будто Богом обиженная Уля.

Выпущенная вместе с Капитоном Иванычем из острога, по заступничеству Ивашки, Уля хотя не скоро, но понемногу пришла в себя.

В остроге она все путалась мыслями, не знала, что решить,— выдать ли Абрама, чтобы он тоже шел с ней в Сибирь, или промолчать и разлучиться навеки. Теперь, освобожденная, она мечтала, так или иначе, снова быть около него и если не жить с ним под одной кровлей, не быть снова любимой, то, по крайней мере, хоть видать его изредка. Вскоре Уля узнала, что Ромоданова привела в исполнение свою давнишнюю мечту и окончательно упекла внука в монастырь, за тысячу верст от Москвы. Напрасно Капитон Иваныч, принесший эту весть племяннице, утешал ее. Уля тихо и горько плакала снова от зари до зари. Только понемногу додумалась наконец ее нехитрая головка до того, что, быть может, печальная судьба Абрама со временем перевершит ее дело к лучшему.

«Разузнать бы мне, где он, голубчик,— думалось Уле,— да и наведаться к нему, повидать его».

Уля смутно понимала и надеялась, что Абрам, в несчастье, снова будет для нее, как уже был однажды, прежним добрым и любящим Абрамом.

Занятая исключительно мыслями и мечтами о милом, Уля почти не заметила, почти не обратила внимания на то, что Капитон Иваныч, улегшись однажды, в сумерки, на постель, не вставал поутру, ссылаясь на нездоровье, а затем, пролежав три дня и мало разговаривая с племянницей, лишился совсем сознанья.

«Что же это с ним такое?» — думала Уля, допрашивая больного и не получая ответа. «Должно быть, сильно застудился»,— думалось ей снова. Она сидела ночью у постели больного, слышала его бессвязный, горячечный бред и не знала, что предпринять, как напоить

бессознательно лежащего липовым цветом или чем другим. Уля только сидела беспомощно около кровати, не отходя ни на шаг и надеясь с минуты на минуту, с часу на час, со дня на день, что вот придет в себя Капитон Иваныч и попросит что-нибудь. От усталости Уля часто дремала. Однажды, утром, лицо Капитона Иваныча с открытыми глазами и с распавшимся ртом показалось Уле особенно страшным.

Он глядел на нее какими-то деревянными глазами и глупо, не то смешно, не то ужасно разинул рот.

— Не прикажете ли чего? — проговорила девушка, пугливо вглядываясь в лицо, лежащее неподвижно на подушке.

Капитон Иваныч не отвечал и не шевелился.

Чрез несколько минут Уля, боявшаяся снова взглянуть в это страшное лицо, будто начинала догадываться. Боясь своей догадки, не взглянув на лежащего, она быстро вышла из горницы и добежала к соседке объяснить ей все и просить помощи. Соседка, пожилая женщина, спокойно собралась, повидала Капитона Иваныча и объяснила девушке, что он — покойник и, должно быть, еще с вечера, потому совсем холодный. Уля только слегка вздрогнула, но не сказала ни слова, опустилась на землю на том месте, где стояла, и, закрыв лицо руками, застыла так на несколько часов. Единственный человек, близкий ей, любивший ее, покинул ее теперь, и она оставалась на свете полной сиротой, без крова и без родных...

Соседка, сделав свое дело, удостоверившись, что сосед — покойник, ушла к себе и дала знать в ближайший съезжий дом о покойнике. Уля до сумерек просидела на земле около домика, боясь войти в него и не думая ни о чем.

Наконец в полумгле сумерек громкие голоса заставили Улю поднять голову. Она вскрикнула и отскочила прочь. Около нее были страшные люди. Теперь она знала, что это простые люди, переодетые по своей должности. Она знала, что их зовут мортусами, но все-таки они внушали ей такой ужас, такое отвращение, что девушка не вынесла их вида и бросилась бежать в конец маленького двора. Мортусы не заметили ее и вошли в дом, где был покойник.

Уля, будто чуя что-то, едва стояла на ногах, уцепившись за жерди забора, и глядела, не сморгнув, сквозь полумглу в настежь отворенную дверь маленького доми-

ка. Вот появились двое тех же страшных мортусов. Они выходили задом наперед и на ходу будто работали. И вдруг Уля страшно вскрикнула, зажмурилась и, зарыдав, упала на землю. Она увидела, что мортусы крючьями волокут по коридору и по двору чумного мертвеца. Несмотря на несколько шагов расстояния, несмотря на говор мортусов, Уля слышала ясно, как шуршал по земле крючьями тащимый труп. И этот звук, это шуршанье болью отдавалось у нее на сердце. Наконец стихли голоса, замер звук колес телеги где-то вдали, а Уля все сидела на земле у забора и осталась так на всю ночь.

XXIII

Благодаря ужасному свиданию с Матвеем, Павла, уже выздоравливавшая, снова почувствовала себя хуже. Слабая, едва живая после страшной болезни, она сверхъестественным усилием собрала в тот незапамятный день все свои силы для объяснения с ним и затем, будто истратив зараз всю свою волю и весь свой рассудок, она снова пролежала неделю в постели без движенья, без единой мысли в голове, без единого чувства на сердце. Но заботливая нянька — каторжник Марья Харчевна не отходил ни на шаг от больной, разве только затем, чтобы принесть с погреба кусок льда.

И через неделю Павла снова была бодрее и снова могла спускаться с кровати и сидеть по нескольку часов у окна.

За это время Марья Харчевна стал пропадать по целым дням и, ворочаясь домой, рассказывал «барыньке» все происшествия на Москве, грабеж Чудова, убийство архиерея и сражения у Кремлевских ворот. Не будь хворой барыньки, с которой, Бог весть почему, нянчился острожник, то, конечно, Марья Харчевна был бы теперь одним из главных начальников и у Варварских ворот, и в Кремле.

Поэтому ему часто случалось жаловаться Павле, сожалеть о том, что он бросил приятелей и не участвует в их подвигах. Павла слушала этого безобразного мужика, иногда подолгу вглядывалась в него и дивилась тому, что могло случаться в такие ужасные дни. В иное время мог ли бы ходить за нею каторжник? Иногда она спрашивала его, как и почему остался он нянчиться с ней и спас ее от смерти.

Марья Харчевна сам не знал, как не знал равно, почему и за что его, мужика, по имени Семена Гаврилова прозвали женским именем.

Но не только эта странная и страшная нянька, но и все, что узнала от него Павла, все, что совершалось на Москве, все, что случалось с ней самой за последнее время: смерть брата, исчезновение отца, потеря имущества — все это стушевалось, обо всем этом Павла думала лишь мельком, как о пустяках. Одно только наполняло всю ее душу, сосредотачивало на себе весь ее разум — потеря любовника. Последний разговор с Матвеем вспомнился ей, и она ясно понимала, что он бросил ее и снова недаром стал бывать у Колховской.

— Может быть, он меня, чумной, боялся, а теперь опять...— утешала себя Павла, но не додумывала до конца.

В конце сентября она была уж настолько здорова, что выходила из своего пустынного, разграбленного дома в сад и тихо бродила в нем. Но ни разу не пошла она в ту сторону, где был домик пономаря. Она избегала этого места: у нее не хватило бы силы увидеть этот маленький, покосившийся домишко, где была она недавно так беспредельно счастлива.

Силы и здоровье стали быстро возвращаться к ней, и вскоре Павла была та же прежняя, страстная женщина с крутым нравом и могучей отцовской волей.

Следы страшной болезни, уносившей тысячи людей, почти исчезли. Павла только похудела. Лицо ее тоже стало немного худее, румянец на щеках не появился, но зато это матово-бледное, худенькое личико, оживленное большими чудными глазами, стало теперь, быть может, еще красивее, чем прежде. В этом лице сквозили теперь пережитые страдания, а в глазах этих было еще более огня и воли. Павла была уже раза три в церкви, и, несмотря на ужасные дни, все-таки всякий прохожий засматривался на нее, оглядывался. Такое лицо пропустить незамеченным было невозможно.

Однажды Павла, вернувшись из церкви, где долго и горячо молилась, позвала свою няньку и спросила у каторжника, хочет ли он сослужить ей иного рода службу. Марья Харчевна обрадовался, потому что Павла от зари до зари молчала всегда как убитая и почти не говорила с ним.

— Ты меня выходил, от смерти избавил, я этого вовек не забуду,— сказала Павла,— но жизнь мне не

мила, покуда не сладится другое дело, от которого зависит моя жизнь. Хочешь ли ты помочь мне на все лады в этом деле?

Марья Харчевна уже давно, сам того вполне не сознавая, обожал свою барыньку, Павлу Мироновну, и теперь, конечно, поклялся тотчас же умереть для нее, если то нужно, или умертвить хоть целую сотню народу, если она того пожелает.

— Хотел было я перестать воровать и душегубствовать,— сказал он.— Надумался, вишь, сидя около твоей постельки, до всякого глупства. Чуть в монахи не стал собираться. Но если тебе, барынька, понадобится, для тебя я свой зарок брошу.

Павла объяснила в коротких словах Семену Гаврилову, которого она не любила звать его прозвищем, что ей нужно знать, где молодой Воротынский, что он делает и вообще все подробности его жизни. И через день Павла уже узнала все. Марья Харчевна, побывавший и в Сибири, и в острогах, и в кандалах, был, конечно, самый ловкий и искусный поверенный, какого только можно было найти.

Он побывал в палатах, которые все еще были за Воротынским, и, наслышавшись там о княжне Колховской, побывал и в ее доме, а затем принес своей барыньке самые свежие и самые верные вести.

Павла, выслушав Марью Харчевну, хотя и была бледна после болезни, но побелела еще более, стала белее снега. Она простонала, так что Марья Харчевна ахнул, заметался около нее. Несколько минут Павла, опрокинувшись в кресле, пробыла без движения, чувствуя только одну острую боль в сердце.

Весть, принесенная каторжником, было, однако, давнишнее, оправдавшееся теперь подозрение Павлы. Она ошиблась только наполовину. Она боялась княгини Колховской, но теперь узнала, что княгиня на том свете, а Матвей на днях должен венчаться с ее дочерью, с княжной Анютой.

Два дня просидела Павла на своем кресле как окаменелая, почти не двигаясь и даже не ложась в постель на ночь, несмотря на все просьбы Марьи Харчевны.

— Убьешь ты себя, барынька; давно ли хворала, чуть не померла. Полно кручиниться, говорю — убьешь себя.

— Я и так убитая! — шептала Павла в ответ.— Ах, лучше бы помереть было мне!

Наконец вечером, уже на третий день умственной и душевной пытки, Павла спросила у острожника-няньки тихим, но совершенно твердым голосом:

— Убьешь ты его, коли я прикажу?

— Кого?

— Его. Ты знаешь.— И Павле не хотелось назвать Матвея.

Марья Харчевна догадался.

— Убить можно. Что ж тут мудреного? Да только мне бы неохота опять в Сибирь идти. Далече! Когда я оттуда опять уйду? А мне, барынька, теперь без тебя жить будет невмоготу.

Павла молчала и почти не слушала.

— Надо, стало быть,— продолжал Марья Харчевна,— подумать, как это дело сделать, чтоб в ответ не пойти.

XXIV

Еще чрез четыре дня в одной маленькой церкви, на Покровке, все было парадно убрано; горели сотни свечей, и, несмотря на приказ начальства, чтоб не было скопищ, чтоб разгоняли всякий народ, хотя бы и не ради смятения собравшийся, все-таки церковь окружала большая толпа любопытных. В церкви было назначено венчание именитого питерского гвардейца Воротынского и всем известной в Москве богачки, недавно осиротевшей княжны Колховской.

В сумерки, с двух разных сторон, подъехали к маленькой церкви два поезда и во главе их две великолепные кареты, одна богаче и блестящее другой. Первый появился жених в великолепном, редко виданном в Москве мундире, а затем худенькая невеста, неказистая, но блестящая в убранстве, с головы до ног в алмазах и самоцветных камнях.

Венчанье началось. Огромная толпа не могла вместиться в церкви и на несколько саженей кругом заливала маленькую церковь и лезла на ограду, на решетки и окошки.

Во время венчания чрез толпу протискался, расталкивая народ, огромный детина с страшным лицом, а за ним вся в черном, повязанная большим черным платком, наполовину скрывавшим бледное лицо, твердыми шагами шла женщина.

— Чего лезете? Теснота там! — бранились в толпе.

Но детина, почти расшвыривая могучими плечами теснившихся, быстро полез в церковь, а женщина вслед за ним. Добравшись до передних рядов в церкви, где были уже дворяне-сваты, дружки и все приглашенные гости, блестящие своими нарядами и мундирами, Марья Харчевна остановился. Его спутница сильно тянула его за руку, он обернулся.

— Стой! Держи меня! Я упаду! — шептала она.

Павла, твердо решившаяся на свою страшную месть, теперь увидела, что теряет силы, сейчас упадет на пол без сознанья. И эта мысль пугала ее! Она чувствовала себя сильной и готовой на все, покуда не вошла в церковь, покуда не увидела издали своего любовника перед аналоем... с другой! Матвей — стройный, красивый как всегда, даже краше, чем когда-либо, гордо, с самодовольной и счастливой усмешкой на губах, радостными глазами оглядывал толпу. Если возле него не стояла теперь первая красавица в мире, а, напротив, очень неказистая фигурка, вся покрытая бриллиантами, зато всей столице было известно, что эта невеста — первая богачка Москвы.

Едва Павла сбоку увидела лицо Матвея, силы покинули ее, все заволокло каким-то туманом и ей показалось, что и Матвей, и невеста, и священник, и все присутствующее, даже иконы на стенах — все закачалось из стороны в сторону и закружилось.

— Держи меня! — шептала она, вцепившись в здоровенную руку своего спутника.

Павла закрыла глаза, почти прислонилась к плечу острожника и твердо сказала самой себе, будто приказывая:

— Сейчас пройдет!

Действительно, чрез несколько минут она снова вполне пришла в себя и пробормотала почти вслух:

— Нечего думать, надо делать!

— Скоро уж и конец! — раздался над ее ухом голос острожника.— Уж обвели давно... Прикажешь?

Павла вся встрепенулась, будто ожила, выпрямилась и глянула кругом себя так, как, бывало, часто оглядывалась красавица Павла Мироновна, еще не пережившая никакой страшной болезни и никакого страшного горя.

— Прикажешь? — снова шепнул вопросительно Марья Харчевна и, достав из-за пазухи большой нож, укрыл его в опущенной руке.

Но вместо ответа, которого ожидал острожник, он услыхал твердо сказанное слово:

— Дай!

И он не понял.

— Дай! — повторила Павла.

И острожник почувствовал, как две ледяные руки с силой раздвигают пальцы его большущей лапы и вынимают нож.

— Что ты! Барынька! Сама хочешь?! — ахнул Марья Харчевна, обращая на себя внимание ближайших.

Но ледяные пальцы уже отняли нож, и Павла, стиснув его в своей руке, будто окаменела на месте, и вдруг она громко произнесла, глядя на Матвея чрез всю нарядную толпу:

— Нет! Нет! Я так люблю тебя, что смогу!

Несколько важных барынь и какой-то военный в ярком красном мундире оборотились на эти звучно и странно пролетевшие слова.

И, обернувшись к этой черной женщине, они своим движением будто очищали ей дорогу.

— Поцелуйтесь! — услыхала Павла, не спускавшая глаз с жениха и невесты.

Они нагнулись друг к другу...

Все пред глазами Павлы снова заволокло золотистым туманом, в котором только одно не исчезло, а ярко стояло в глазах, только фигура Матвея. Она рванулась вперед... И чрез мгновенье все вскрикнуло, все колыхнулось в церкви!

Стремительным движеньем, как молния, очутилась Павла пред самым аналоем и схватилась, судорожно стиснутой рукой, за шнуры блестящего мундира. В другой, высоко взмахнутой руке сверкнул блестящий нож и мгновенно вонзился до половины в грудь Матвея.

Страшно вскрикнул он, рванулся, но не мог освободиться от этих худых и бледных рук... И, смертельно раненный, он повалился навзничь, увлекая за собой судорожно, безумно вцепившуюся в него убийцу.

XXV

Двадцать шестого сентября в Москве была также сумятица, но не народная, не буйная, а порядливая, начальственная, даже парадная.

Все, что оставалось в столице дворян,— а дворянин в Москве теперь был великою редкостью,— все, что оставалось сенаторов и сановников, которые по долгу службы не могли бежать из зачумленной столицы, все крупное духовенство, напуганное страшной участью своего главы, даже все подьячие, имевшие в наличности какой-нибудь мундиришко,— все поднялось на ноги и все встречало именитого, вельможного, всемогущего в государстве графа Григорья Григорьевича Орлова.

Орлов был послан в Москву для прекращения мора, мятежа и всех злодейств. Вместе с ним появилась целая свита генералов и сенаторов, в числе которых были Мельгунов, Давыдов, Всеволожский, Баскаков и другие. Вслед за ними появились в Москве сотни солдат и офицеров в блестящих гвардейских мундирах. Орлов приехал бороться с черною смертью; выезжая в Москву, думал про себя, ухмыляясь весело:

«У братца Алехана была Чесма, а у меня вот будет — чума! Хоть и немного сделаю, да матушка-государыня пожалует муху в слона».

Графу Григорью Орлову за всю жизнь, всегда, везде была неслыханная удача,— точь-в-точь, как тому сказочному российскому витязю, который только свистнет — и все ему дается, все является, все с неба валится!

И через три дня после приезда его в Москву въехал, будто зараз во все заставы, великий и сильный ему помощник — сам государь мороз. Никто не заметил и не обратил внимания на этого графского адъютанта, появившегося на Москве под самый Покров, а между тем мороз-морозец, молодчина парень, как схватился с матушкой-чумой да загреб ее в свои серебряные лапы, то сразу повинилась воительница, сразу сдалась и присмирела.

С прибытием в Москву Орлова тотчас ежедневно стало уменьшаться количество умирающих, и все радостно почуяли, что приходит конец человечьему мору.

Орлов с своими помощниками тотчас деятельно принялся за дело. Москву разделили на бесчисленное количество участков, всюду назначили новых комиссаров с помощниками. Наступили строжайшие порядки не на одной бумаге. Москву мыли и чистили, карантины удвоили, больницы преобразили и привели в надлежащий вид. И все быстро пошло на лад! И потому особенно быстро, что за спиной Орлова и за спиной всех его по-

мощников работал без устали, все удваивая силы, государь мороз.

В сентябре умерло 22 тысячи чумных, в октябре — 18 тысяч, а в ноябре уже вывезено только 5 тысяч покойников. И Москва вздохнула спокойнее и веселее...

За это время, помимо приезда Орлова, его обедов и приемов, Москва болтала, ахала и охала немало от трех событий.

Первое, всех всполошившее, было известие, что Еропкин, этот скромный сенатор, на которого год назад почти никто не обращал особенного внимания, получил от государыни двадцать тысяч рублей в награду за свое мужество и высший орден в государстве — Андрея Первозванного.

Второе, не менее важное событие касалось прежнего генерал-губернатора, графа Салтыкова. Знаменитый полководец, увенчанный лаврами победитель Германии, был наказан за то, что зажился слишком долго на свете и не сумел вовремя умереть. Фельдмаршал был лишен высочайшим указом своего звания генерал-губернатора, в котором он все-таки продолжал числиться, сидя в своем Марфине, и, кроме того, ему было указано жить в своих вотчинах, не смея являться в столицу, которой он не сумел управить. Как ни плох был ослабевший головой и дряхлый телом старик, а глубоко, видно, прочувствовал гнев царицы и через три месяца, наконец догадавшись, что ему надо сделать,— умер!

Но похороны и последние почести фельдмаршалу, умершему в Марфине, были, конечно, «марфинские».

У его гроба стал на часах с саблей наголо только один воин, его приятель граф Никита Панин, да и то не из уважения к доблестям покойного, а ради своего вольнодумства и фрондерства перед правительством.

Наконец, третье, о чем немало толковала Москва и вельможная, и серенькая, была смерть долго пролежавшего в постели, долго боровшегося между жизнью и смертью, красавца гвардейца, сына всем давно известного бригадира. Все невольно качали головами, дивились и руками разводили. И действительно, чудна была судьба Воротынских — и отца, и сына. Оба, среди мора людского от черной смерти, погибли от насильственной смерти, оба были зарезаны. Если никто не понимал, за что и кем был убит бригадир, то все догадывались, за что могла известная богачка и красавица, замоскворецкая купчиха, зарезать молодого волокиту.

— И хорошее дело! — сказал кто-то.— Нашлась хоть одна лихая молодка, которая за других отплатила.

Через неделю после приезда Орлова в Москву были пышные похороны несчастного архипастыря, ставшего жертвой искупления за мор людской.

Долго провалялось изувеченное, обезображенное тело преосвященного середи двора монастыря, и никто не посмел прикоснуться к нему, убрать его. Затем, когда хватило духа у начальства поднять останки неповинной жертвы народной и переложить в гроб, то заколоченный труп несчастного прошел еще много мытарств. Никто не знал, что делать, где и как похоронить покойника. Ведь он архиерей!.. Но ведь он убитый! И в Москве не было теперь духовного главы, к кому бы обратиться за разрешением или приказанием.

Еропкин не хотел, да и не знал, как распорядиться, и решил ждать приезда Орлова.

И тело убитого шестнадцатого сентября архипастыря, провалявшись долго на дворе, затем уже в гробу пробыло непогребенное еще долее. И только через восемнадцать дней после своей кончины был наконец похоронен архиепископ в том же Донском монастыре.

По странной случайности родной брат его, старичок Никон, архимандрит Воскресенский, потерявший рассудок после истязаний в Чудове, умер за три дня перед тем и был отпет и похоронен в то же утро.

Два брата, две жертвы слепой и бессмысленной мести народной, легли рядом под одним общим крестом.

XXVI

Между тем суд и следствие над бунтовщиками шли своим чередом, и немало дивились на Москве, что граф Орлов, прибывший с безграничными полномочиями, стало быть, действующий по доверенности от государыни, отнесся к бунтовщикам несказанно милостиво. Ежедневно десятки и сотни захваченных мещан, солдат, купцов и разночинцев выпускались на свободу, и дома, временно обращенные в остроги, передавались по принадлежности.

Таким образом, скоро очистился дом Ромодановой, но бывшие в нем коноводы и зачинщики были переведены в настоящий острог, за железную решетку. Из них никто не был выпущен и никто не ускользнул.

Наконец, месяц спустя по приезде графа Орлова, Москва узнала, что, оказавшиеся по следствию главные злодеи и убийцы преосвященного, купец Иван Дмитриев и бывший дворовый господина Раевского, Василий Андреев, не будут наказаны плетьми на площади, не будут клеймены и сосланы в Сибирь , а будут казнены через повешение на самом месте их преступления. Остальные их помощники пойдут в Сибирь, и только один должен тянуть жребий — быть ему повешену или нет,— дворовый Федька Деянов.

И в острог пришла эта весть.

Василий Андреев, узнав о своей участи, только шире глаза раскрыл, и на минуту в груди его сперлось дыхание, но затем он тотчас же вымолвил:

— Ну что ж, пущай! А все-таки этим они ни архиерея, ни бригадира не воскресят. Я свое дело сделал, пущай и они теперь свое делают...

И он злобно ухмыльнулся.

Иван Дмитриев, наоборот, был наполовину убит, пришиблен известием. Он так давно и часто мечтал спокойно о путешествии в ту Сибирь, где «тоже люди живут», откуда по пяти раз иной бегал назад, что теперь мысль о предстоящей насильственной смерти привела его в какое-то полуомертвение и бессмысленное состояние.

Он по целым часам бормотал себе под нос:

— Купец Дмитриев! Купец Иван Дмитриев!

Преступники-приятели знали, однако, что им остается еще жить месяц, два, три, что казнь не будет ранее января месяца следующего года. Но вдруг однажды пришло известие, что вельможный граф спешит в Петербург ко дню тезоименитства великой государыни и что с казнью надо поспешить и совершить ее до его отъезда.

И 21 ноября, во дворе Донского монастыря и далеко кругом, чуть не на версту, несметное сонмище народа вновь гудело со всех сторон. Казалось, пол-Москвы высыпало сюда, чтобы на том же самом месте, где совершилось убийство незаконное, посмотреть на другое убийство — законное.

И среди полного затишья, заливавшего монастырь моря людского, в самый полдень, на двух виселицах, видимых за версту, появились два трупа. Долго оставались они и висели в назидание.

Федька Деянов должен был позднее вытянуть жре-

бий с другим бунтовщиком, а теперь он не знал, да и никто не знал, повесят его или нет. Но Деянову, всю свою жизнь так искусно попадавшему не в свое дело, так искусно терпевшему всегда в чужом пиру похмелье, конечно, попасть и на виселицу не прямо за вину, а по *жеребью*.

XXVII

В одно блестящее морозное утро декабря месяца, когда на Москве уж только поминали да рассказывали о чуме и мертвецах, в главном городском остроге по всем коридорам и на дворе была толкотня. Несколько начальников приехали в острог и распоряжались. Более сотни острожников, мужчины и женщины, закованные в кандалы, ждали наконец решенья своей участи. В этот день назначено было выступление партии арестантов в путь, и далекий путь. Некоторые были жильцы этого острога, других только в этот день поутру привели из других мест заключения, чтобы отсюда отправить в путь, смотря по состоянию, пешком или в тележках.

В числе небольшой кучки арестантов, приведенных в главный острог, было пять человек преступников, две женщины и трое мужчин, с которыми конвойные солдаты обращались несколько мягче.

Один из них был известный всему Лефортову офицер, теперь разжалованный в солдаты, карабинерный прапорщик Алтынов.

Но всего мягче, даже добросердно относились конвойные к вечно молчаливой, кроткой, послушной, слегка сгорбленной под тяжестью вины своей молодой женщине. Это была дочь бывшего первого богача Москвы, купца Артамонова, и вдова тоже известного купца Барабина. Нашлись люди, которые взялись было хлопотать за арестантку Барабину, нашлись подьячие, которые за большое вознаграждение брались избавить ее своим крючкотворством от Сибири. Но арестантка, вечно молчаливая, отвечала решительно:

— Нет! Мне в Сибири легче будет!

Прежняя гордая красавица Павла была теперь в грубом арестантском одеянии, с кандалами на руках и прикована цепью к какому-то длинному худому подьячему. Она постарела и изменилась настолько, что ее мудрено было бы узнать теперь родному отцу. Только одни чер-

ные думные глаза не хотели смириться, не хотели потухнуть, не хотели умереть, как умерло в ней сердце, как умерли все человеческие чувства. Глаза эти все жили, вспыхивали и горели по-прежнему. И в остроге, где не знали имен сотоварищей, все знали глаза эти, и все звали арестантку: «глазастая».

Давно ко всему равнодушная Павла, приведенная теперь в острог, молча села на скамью. Но вдруг здесь, перед началом далекого и трудного пути, она ожила на минуту, пришла в себя и даже слезы появились на ее худом изможденном лице.

Здесь, около нее, в толпе скованных арестантов, вдруг раздался радостный, восторженный, от глубины души идущий крик. Кто-то, загремев своими кандалами, рванулся к ней, упал пред ней на землю и стал безумно целовать ее руки и толстое арестантское платье. Это был один из самых главных преступников, который едва не попал тоже на виселицу Донского монастыря, сам чудовидец, смутивший и поднявший на ноги всю Москву своим видением Боголюбской Божией Матери.

И этот ужасный преступник, певун, маляр и сказочник, был повинен в том, что уродился таков, каков он есть. Повинен в том, что не родился в дворянстве и богатстве, а в крестьянстве, повинен в том, что Господь Бог одарил его богатыми дарами, да злая судьба одела его в сермягу, а не в мундир. Наложив на него со слепоты своей тяжелую руку, судьба, вместо того чтобы вести его к почестям людским, к счастью земному, повела по другой дороге и привела в острог, Сибирь и каторгу.

Через несколько минут после радостной встречи с Павлой Ивашка, уже более ловкий, чем прежде, бросился хлопотать. У него было теперь много истинных друзей среди острожников за его песни и сказки, и он решился устроить одно дело, затею, от которой теперь, казалось ему, зависит вся его жизнь.

Не прошло часу, как в углу двора столпилась кучка острожников и что-то работала, что-то спешила скорее докончить. Невдалеке стоявший смотритель острога делал вид, что ничего не замечает, и только спустя четверть часа крикнул:

— Полно вам! Скорее! Завидят!

Когда острожники, выведенные все во двор, стали рядами, скованные вместе по двое, по трое, то в числе других была новая скованная вместе пара. И счастливая

пара, насколько могли быть счастливы люди в арестантских армяках и кандалах.

Вышел офицер с листом серой бумаги в руках, и началась перекличка. Десяток голосов, по очереди, отзывались на нее. И были тут голоса твердые, слабые, старческие, дерзкие, злобные, разбитые, насмешливые. И иногда и не голос, а шепот полуживого существа отвечал на свое имя.

Дошла очередь и до вновь скованной пары.

— Павла Барабина?! — крикнул офицер.

— Я! — едва слышно отозвалась «глазастая» арестантка, не поднимая головы.

— Никита Краснов! — вскрикнул офицер.

— Я! — весело, радостно тоже выкрикнул Ивашка, прикованный к Павле.

Перекликавший офицер пошел далее. Длинный подьячий, бывший перед тем в кандалах с Павлой, отозвался теперь на имя суконщика Ивашки-чудовидца. А Ивашка радостно думал, стоя около своей дорогой Павлы Мироновны:

«И теперь до Сибири вместе. А там что Бог даст! И там сумею все обделать, чтобы не разлучили».

И парень прав был, ему можно было все обделать, что бы ни вздумалось. Денег у него нет, чтобы заплатить и обманом взять начальство, но зато у него есть его драгоценные сказки, его драгоценные песни, а благодаря им, у него всюду есть и будут, всюду найдутся в православном народе истинные други-приятели.

Со сказкой да песней нигде на Руси не пропадешь. За сказку чудную, за песнь лихую всюду накормят, всюду напоят, всюду ночевать пустят.

Когда в сумерки, по морозу, двигалась уже за городом, среди снежных равнин, длинная вереница арестантов-преступников, в хвосте этой вереницы «несчастных» раздавался веселый, раскатистый, за сердце хватающий, душу озлобленную смягчающий голос парня-певуна. Ивашка сидел в розвальнях рядом с Павлой и держал ее за руку, прикованную к его руке. И как дороги ему были кандалы эти! От этой руки, которую она теперь не могла бы отнять, если б и захотела, и которую он чуял в своей руке, от нее именно и заливался он соловьем, радостно и звонко оглашая дорогу и бесконечные снежные равнины.

XXVIII

В то же время по другой дороге, по тому же морозу, среди таких же необозримых снеговых равнин, но уж верст за двести от Москвы, двигалась кучка богомолов, и между ними тепло укутанная молодица. Это была тоже богомолка, она тоже шла в монастырь, и далеко, но сама не знала хорошо, где он.

Он там, за тысячу верст, в Вятской губернии, в глуши лесов.

Но Бог милостив, да и сердце, в любви могучее, доведет ее и найдет монастырь. Богатейший во всей Москве священник, отец Авдей, оставлял ее у себя, ласкал, как родную дочь, но она ушла... и денег даже не взяла на дорогу.

Идя потихоньку, сколько сможет, питаясь подаянием, ночуя иногда в сенях, иногда в клети, иногда и на улице, она все-таки не робеет.

«Как не дойти? Дойду и разыщу!»

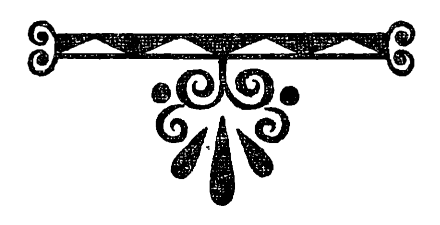
И богомолка, но не к святым местам, а к другу милому, недаром надеялась.

После четырех месяцев пути и скитаний, когда пахло в воздухе уже весной, Уля нашла среди лесов убогий монастырь и нашла в нем своего милого.

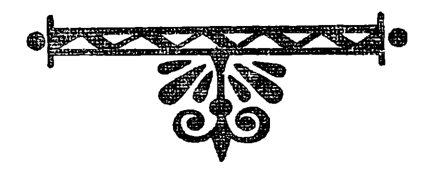
— Как ты дошла сюда? — восклицал Абрам, обливаясь слезами радости и горячо обнимая своего единственного верного друга.

— Любимый мой, мудрено ль? Я бы на край земли дошла.

И Уля правду сказала. Язык до Киева доведет! — говорит народ. А любовь до края земли доведет.



КОММЕНТАРИИ





НА МОСКВЕ

(Из времени чумы 1771 г.)

Исторический роман в четырех частях

Впервые — еженедельный журн. «Огонек», 1880 г.
Печ. по изд.: Салиас Е. А. Собр. соч., т. V. М., 1894.

Стр. 7. *Вовенарг* Люк де Клапье (1715—1747) — французский писатель-моралист, автор известного сб. «Максимы», друг Вольтера.

Стр. 13. *Просвирня* — женщина, занимающаяся выпечкой просфор, используемых в православных обрядах.

Стр. 16. *Пречистенка* — старинная московская улица, известная с XVI в., в конце XVIII в. считалась аристократическим районом Москвы.

Стр. 17. *Ленивка* — старинная московская улица, расположенная напротив Кремля. Свое название получила от находившегося на ней «ленивого торжка» — небольшого рынка, торговавшего съестными припасами.

Стр. 19. *Гохланд* — скалистый остров в Финском заливе, принадлежавший России с 1743 г.

Свеаборг — основанный шведами во второй пол. XVIII в. город в Финляндии; с 1809 г.— в составе России.

Стр. 20. *Иуда Искариот* — в Новом завете один из апостолов, предавший своего учителя Христа за 30 сребреников.

Стр. 35. ...*фельдмаршал Салтыков* Петр Семенович (1696—1772/73) — русский генерал-фельдмаршал (1759 г.), граф (1733 г.), прославившийся победами в Семилетней войне;

в 1764—1771 гг. был генерал-губернатором Москвы. Был уволен за непринятие надлежащих мер по борьбе с эпидемией чумы.

Стр. 40. *Еропкин* Павел Дмитриевич (ум. 1805) — сенатор, генерал-аншеф, за усмирение чумного бунта награжден Екатериной II Андреевской лентой и четырьмя тысячами душ крепостных крестьян, от последних Еропкин отказался.

Стр. 47. *Басманная* — московская слобода XVII в., а затем и улица, начинавшаяся за Красными воротами.

Стр. 48. *Лефортовская* часть.— Речь идет о полицейском подразделении, расположенном в заяузском районе Москвы, где при Петре I располагался полк под командованием генерала и адмирала Лефорта.

Стр. 50. *Селадон* — герой пасторального романа французского писателя Оноре д'Юрфе. Имя Селадона стало нарицательным для обозначения чувствительного влюбленного, а затем и назойливого волокиты-ухажера.

Стр. 53. *Раскеп* — трещина, щель.

Стр. 58. *Петр II* (1715—1730) — российский император с 1727 г., внук Петра I, сын опального царевича Алексея, приступил к демонтажу системы петровских реформ.

Долгоруков Иван Алексеевич (1708—1739) — князь, друг императора Петра II, при Анне Ивановне после длительной ссылки был казнен в Новгороде.

Стр. 61. *Донской монастырь* — московский мужской монастырь, основанный в 1591 г.

Стр. 63. *Амвросий* (Андрей Степанович Зертис-Каменский; 1708—1771) — архиепископ Московский, один из ученейших и образованнейших людей своего времени; был убит возмущенным народом во время чумного бунта.

Стр. 87. *Великий Фридрих.*— Имеется в виду Фридрих II Гогенцоллерн (1712—1786), прусский король с 1740 г.; в результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась.

Стр. 88. *Шафонский* Афанасий Филимонович (1740—1811) — врач, этнограф, действительный статский советник (1798), доктор права, философии и медицины, образование получил в Галле, Лейдене и Страсбурге. Во время эпидемии чумы был старшим доктором в Московском генеральном госпитале, первым начал борьбу с эпидемией.

Риндер Гюстав (Андрей Андреевич; ум. 1770) — немецкий врач, доктор медицины (1733 г.), живший и работавший с 1738 г. в России; не верил в реальность чумной эпидемии в Москве, в результате чего стал и сам жертвой эпидемии.

Стр. 92. *Шлафрок* — старинный домашний халат.

...à la Dauphine — в стиле дофина. Дофин — наследник престола во Франции.

...à la Marie-Antoinette — в стиле Марии-Антуанетты, французской королевы, казненной во время Великой французской революции в 1793 г.

Стр. 122. *Мазепа* Иван Степанович (1644—1709) — гетман Украины (1687—1708), стремившийся к отделению Украины от России. Во время Северной войны изменил Петру I и перешел на сторону шведского короля Карла XII.

Феофан Прокопович (1681—1736) — русский государственный и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I.

Стр. 146. *Четья-Минея* — «чтения ежемесячные», сборник житий святых, составленный по месяцам в соответствии с днями чествования православной церковью памяти каждого святого.

...книга Иова — одна из частей Ветхого завета.

Стр. 156. *...штофная* — вид старинной обивочной ткани.

Стр. 157. *Панин* Петр Иванович (1721—1789) — генерал-аншеф, граф, был одно время в опале. В 1774 г. принимал участие в подавлении пугачевского бунта.

Стр. 221. *...братья Орловы.*— Алексей Григорьевич (1737—1807) — граф, генерал-аншеф, один из главных участников дворцового переворота 1762 г. Командовал эскадрой в Средиземном море, за победы у Наварина и Чесмы (1770 г.) получил титул Чесменского. Григорий Григорьевич (1734—1783) — граф, фаворит Екатерины II, один из организаторов дворцового переворота 1762 г., генерал-фельдцейхмейстер русской армии. Первый президент Вольного экономического общества.

...Пассек Петр Богданович (1734—1804) — сенатор, генерал-аншеф, участник государственного переворота 1762 г.

...Бибиков.— Очевидно, речь идет об Александре Ильиче (1729—1774) — генерал-аншефе и кавалере ордена Св. Александра Невского.

Принцесса Владимирская — Елизавета Тараканова (ок. 1745—1775), выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, объявив себя претенденткой на русский престол. Обманным путем была привезена в Россию и заключена в Петропавловскую крепость. Ей посвящен роман Е. Салиаса «Принцесса Володимирская».

Стр. 228. *Сумароков* Александр Петрович (1717—1777) — русский писатель, один из видных представителей классицизма.

Лафонтен Жан де (1621—1695) — французский писатель, мыслитель и сатирик. Автор «Сказок и рассказов в стихах», комедий и знаменитых «Басен». В русской литературе традиции Лафонтена использовал И. А. Крылов.

Буало Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма, автор поэмы «Поэтическое искусство».

Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778) — французский писатель и мыслитель, деист. Был идеологическим предтечей Великой французской революции.

Дидро Дени (1713—1784) — французский философ-материалист, энциклопедист, писатель, идеолог революционной французской буржуазии XVIII в.

Эмин Федор Александрович (ок. 1735—1770) — автор первого русского оригинального романа, один из первых русских сентименталистов, выступал также как сатирик и историк (три тома неоконченной «Российской истории»), издавал журналы «Адская почта» и «Смесь», в которых критиковалось правительство Екатерины II.

Стр. 229. *Рубан* Василий Григорьевич (1742—1795) — русский писатель.

Волков Александр Андреевич (ум. 1788) — действительный статский советник, автор ряда комедий.

Мамонов (Дмитриев-Мамонов) Федор Иванович (1728—ок. 1790) — второстепенный писатель и поэт.

Стр. 244. *Элоквенция* — ораторское искусство *(устар.)*.

Стр. 252. *Варварка* — улица в центре Москвы — в Китай-городе, известная еще с XVI в. под названием Всехсвятской. По этой улице возвращался Дмитрий Донской после победы на Куликовом поле.

Стр. 309. *Сухарева башня* — построенное в конце XVII в. Петром I каменное сооружение, в котором до 1715 г. находились первое в России высшее светское учебное заведение —

«Школа навигацких и математических наук» и астрономическая обсерватория.

Стр. 310. *Кичка* — старинный русский праздничный головной убор замужней женщины.

Стр. 574. *...саккос...* — архиерейская одежда при богослужении.



СОДЕРЖАНИЕ

НА МОСКВЕ

(Из времени чумы 1771 г.)

Исторический роман в четырех частях

Салиас Е.

С 16 Сочинения в 2 т. Т. 2. На Москве (Из времени чумы 1771 г.): Исторический роман в 4-х ч. / Подгот. текста и коммент. Ю. Беляева; Худож. Г. Клодт.— М.: Худож. лит., 1992. 606 с.

ISBN 5-280-02674-3 (Т.2)
ISBN 5-280-02673-5

Во второй том Сочинений Е А Салиаса вошел исторический роман «На Москве» (1880), в остросюжетной манере повествующий о трагических событиях «из времени чумы 1771 года».

С 4702010101-182 / 028(01)-92 без объявл. **ББК 84Р1**

ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ САЛИАС

Сочинения в двух томах

Том второй

Зав. редакцией С Князева

Редактор Н Гришкина

Художественный редактор
Е Енейко

Технический редактор
В Нефедова

Корректоры
О. Наренкова, И Филатова

ИБ № 7375
Подписано в печать с готовых диапозитивов 04.03 92 Формат 84×108 1/32 Бумага офс № 2 Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая Усл печ л. 31,92. Усл кр-отт. 32,34 Уч-изд л 34,21. Тираж 100 000 экз. Изд № I-4446 Заказ № 201. «С» — 010

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Диапозитивы изготовлены в типографии «Печатный Двор». 197110, Санкт-Петербург, П-110, Чкаловский пр., 15 Отпечатано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» министерства печати и информации Российской Федерации. 113054, Москва, Валовая, 28.

